

ЧЕРТА

Альманах в 4—х частях

**В. Тезин
Панта Рей
А. Мякишев
М.А. Вязовский**

**«АКФЭСТ»
Москва 2007**

Содержание

От авторов 3

Владимир Тезин Стихи 5

Панта Рей Меандры 209

Алексей Мякишев Реквием 429

Алексей Мякишев Маленькие люди 592

Алексей Мякишев Что делать 611

Алексей Мякишев Минуты роковыя 628

Александр Матевосян Живопись I

От авторов

Как известно, жизнь гораздо на сюрпризы — а стало быть, существует вероятность, что наша книжка окажется в руках у читателя, не входящего в круг (совсем не широкий) близких знакомых авторов. Поэтому следует, видимо, предварить собранные здесь произведения кратким вступлением.

Мы познакомились друг с другом в таком уже далеком 1979 году, в бытность свою студентами—первокурсниками механико—математического факультета МГУ. И вовсе не тяга к разного рода математическим тайнам сблизила нас. А оказались все мы, не смотря на юный возраст, большими любителями и почитателями художественной литературы и живописи*.

Объединяло нас и общее мировосприятие — а именно, ощущение того, что окружающая действительность устроена, как бы это помягче сформулировать, не совсем правильно**.

Довольно скоро, и, можно сказать, естественным образом, любовь к искусству пробудила стремление к творческому самовыражению. Двоих из нас выбрала проза***, одного — поэзия, и еще одного — живопись.

Меж тем, годы шли — и вот оказалось: ни один из нас не состоялся как профессионал в когда—то избранной им сфере творчества. Бог весть, что послужило тому причиной — недостаток ли таланта, энергии или оригинальности****? Либо же избыток пессимизма и излишняя замкнутость на собственном «я»? Наверное, всего понемногу. Как бы оно там ни было — получилось, что в поисках пропитания прозаики подались в преподаватели, а поэт с художником — в военно—космическую отрасль*****.

Изредка, однако, мы продолжали встречаться — посидеть за кружкой пива, покалякать о том о сем. Как водится, вспоминали и «дни молодые».

* На самом деле, не такое уж и удивительное явление. Еще в 50—ых годах прошлого столетия в студенческой среде (по словам И.Ф.Шарыгина) родился следующий афоризм: «Хочешь знать литературу, иди на мехмат».

** Что можно отнести на счет пресловутых юношеских максимализма с нигилизмом. С годами, конечно, стало понятно — многое во всех этих ощущениях зависит от личных качеств и склада характера.

*** Хочется верить, что так сказать точнее, нежели чем наоборот.

**** Насчет оригинальности можно разъяснить и более подробно: частенько избыток книжных знаний становится помехой собственному творчеству. Во—первых, возникают подражания и заимствования (пусть не осознанные, но легче ли от того?), а, во—вторых, «Мы все стояли на плечах у гигантов» — так—то оно так, но именно понимание масштаба всего содеянного до тебя как—то отбивает желание карабкаться на эти плечи.

***** А впрочем, с глубоким порою изумлением ознакомившись с «творчеством» кого—нибудь из ныне популярных и раскрученных деляг от искусства, остается только руками развести, вспомнить строчки вроде тех, что вырвались в свое время у Юрия Кузнецова «Пусть они проживут до седины, Но сметет их минутная стрелка.» — и подумать с облегчением: «На их месте, возможно, и мог быть бы каждый, но только не я».

В одну из таких встреч, душным предгрозовым июльским вечером 2007 года, в самый разгар традиционных «вспоминок», и созрела мысль: у каждого из нас сохранились те или иные произведения, корнями уходящие в те «баснословные года», «когда мы были молодые и чушь прекрасную несли». Так вот, что если попробовать все это как—то «опредметить»? То—есть, почему бы не попытаться выпустить альманах, составленный целиком и полностью из наших давних произведений? Тем паче, каждому из нас уже по 45, в голову лезут бессмертные строки «Земную жизнь пройдя до половины, Я очутился в сумрачном лесу, Утратив правый путь во тьме долины» и хочется, как в оные времена, каких—то действий, не сопряженных с прямой и немедленной материальной выгодой.

Решили, что попробовать стоит, не взирая на очевидную коммерческую безнадежность всего предприятия. Ведь, выражаясь пусть банально, зато возвышенно — что означает, по большому счету, изданная книга? Ничто иное, как пущенный в вольное плаванье по Реке Времени корабль*.

Ну что ж, любезный (надеюсь) читатель! Вот он, снаряженный и оснащенный нами собственноручно бумажный кораблик, весь перед твоим взором.

Как сказал владелец несравненно более мощного плавучего средства**:

Прими собранье пестрых глав,
Полусмешных, полупечальных,
Простонародных, идеальных,
Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

* Другое дело, что судьба подавляющего большинства этих суденышек сродни судьбе брошенного в водяные бездны кирпича.

** Его корабль все плывет. И будет плыть, что бы там ни говорили враги.

Владимир ТЕЗИН
СТИХИ

Империализм

Ухало гулко в ночном терему.
Звёзды, скрипя, проносились мимо.
Чайник чадил. В ядовитом дыму
Чудились мне очертания Рима.

Он подошёл. Потолок обвалился.
Рухнули стены, обрушили тьму,
И подошедший в агонии бился
В едком и горьком шершавом дыму.

Трепетно руки скрутили фонтаны,
Вопли оскала прогрызли бетон,
И из подножья распоротой раны
Полз истекавший истомою стон.

1978



Я дышал сквозь стекло в пурпур синих небес.
Видел я за окном зачарованный лес.
Птицы крыльями били в лазурную высь,
В красно-синем тумане над лесом неслись...

В дымке облачных перьев, в тумане, вдали
Мчались солнцу навстречу на юг журавли.
Слёзы солнца сияли над сводом небес,
И шумел и дышал заколдованный лес...

В мире грёз я дошел до таинственных стран,
Умирал я в пустыне от множества ран.
Стрелы пели, и копья летели, звеня,
Заслоня мне солнце, попадая в меня.

Погибал и вставал я, будимый мечтой,
И мечта мне казалась достижимой, простой,
Голубая реальность — порождение грёз —
Ускользала, терялась в синем своде небес.

Жизнь промчалась бездумно, не оставив следа,
И мечту я покинул навсегда, навсегда...
Но порою так больно вдруг защемит мне грудь —
Странно горько и больно — даже нечем вздохнуть...

23 сентября 1979

Памятник

Е.П.

«...эти наши господа таланты
средней руки...»

Ф.М.Достоевский



Мои творения бессмертны.
Я памятник себе воздвиг.
Тупые лица так инертны —
Их выдает по фазе сдвиг.

Распахиваю душу смело,
Как книги судьбы для меня,
Пишу серьезно и умело,
По всем окрестностям звеня.

Я тщусь мечтой в заветной лире
Искусству посвятить себя.
И никого в подлунном мире
Талантливее нет меня.

Март 1980

Кошмары

Е.П., Анатолию Парпаре

В пыли столетней колоннады
Мне снились гадостные сны:
Ползли русалки, рыбы, гады
По тонкому стволу сосны...

Сырая тина клокотала,
Журчали томно пузыри,
Лягушка волнами играла
С болотным дядькой до зари.

Ползли прыщи и бородавки,
Лишай пророс в челе моем.
Сосали кровь мою пиявки —
Я погружался в водоем.

Хрипела, выла птица выпь,
Упырь сидел на вурдалаке,
Дышала гнилостная зыбь —
Вела меня в заветном мраке...

Я утонул в плывущем трупце:
Мертвец душил и жал меня,
Обрубки пальцев, язвы, струпья
Тянулись, гнусью зеленыя...

А подо мной свивались тени,
Бездонно глубенела муть,
Среди причудливых растений
Клубились мразь, и жуть...

19—20 марта 1980

Хотение

Лягались и фыркали кони
В тиши Алексеевских роц.
Шёл звон бубенцов. В этом звоне
Я чуял могущность и мощь.

Страдал я без Лоры во мраке,
Томились уста и чело.
Вокруг бугорки, буераки,
Вдали же дымится село.

Играет весёлое пламя
И лижет дома и людей,
Развив свое алое знамя,
Хохочет, крадётся злодей.

В трущобах лесных буреломов,
В каньонах разлившихся рек
Раскаты безумного грома
Несутся и бьются о брег.

О Лора! Ну где же ты, где же?
Хочу я тебя, поспеши.
Теснится пустое безбрежье
На тонком обломке души...

23 марта 1980

Тусклый дождик хлётко режет.
Из разрыва туч
Солнца луч тоскливо брезжит,
Одинокий луч.

Сколько, мокро, грязно, гадко,
Мерный шум дождя.
Влага выступила в кладке.
Под окном — бадья.

Свищет ветер, ищет ветер
Погубить тебя,
Ветви-плети голых ветел
С злостью беребя.

Но не бойся, друг мой милый,—
Ты ко мне преник.
Нас не сгубит злая сила,
Ветер-баловник...

3 июля 1980

В старом доме

В старом доме слышны гулко
Одинокие шаги.
Чёрный ход из переулка,
Лестниц мёртвые круги.

Будто кто-то затаился,
Кто-то стал в сыром углу,—
Солнца луч поспешно скрылся,
Окунувшись в полумглу.

Вьётся лестница крутая,
Шире, громче шаг минут,
И мечту, во мраке тая,
Тени прошлого зовут.

Цилиндрические тени
Выступают на стене,
И поют, поют ступени
Песню скрипа в тишине.



12 июля 1980

Отпор

(Патриотическая поэма)

«В мрачных кулуарах ЦРУ варилось
грязное варево антисоветизма...»

(из газет)

Завелась в США сила грязная,
Сила грязная и нечистая,
Джимми картер называется,

И сошлись с всех сторон
чёрны вороги,
Порешили напасть
на страну красную,
Страну Советскую...

И сказал сам-свет Леонид Ильич:
— Собери, народ, свою силушку
И разбей во прах джимми картера,
Упокой во тьме его душеньку,
Душу грязную и нечистую,
С кровью чёрною, а не красною —

И еще сказал Леонид Ильич:
— Но силён ведь враг,
растаковский сын,
Не убить его — растоптать его
И развеять прах по чисту полюшку...

И собрал народ силу смертную,
Силу лютую, всю пехотную,
Бронетанковую, моторизованную,
Всю ракетами поутыканную.

И сошлись две рати в чистом полюшке
Положить за Русь буйны головы,
Буйны головы у Москва-реки...

Шли стальные ряды впереди врага,
И силен он был, и страшён он был,
Джимми картер-сам впереди-то шёл,
И ругаясь, и плюясь вокруг.

Понахмурилось красно солнышко,
Заволаколось тучей чёрною,
И сошлись две рати в чистом полюшке,
И ударили стальными стрелами...
На стоял же враг, не шатался враг...

(далее ритм резко меняется)

И тут гигантский Я пришел,
Континуальный и могучий!
В одеждах, крашенных под шёлк,
Встал на него грозовой тучей.

Испугались враги, задрожали они,
Разбежались в разные стороны,
Затряслась земля, и от самых границ
Позакаркали чёрные вороны...

И поймал Я поганого джимми картера,
И проткнул его пикой вострою,
Пикой вострою, не дрогнув рукой,

Разогнал Я все ЦРУ проклятое;
Расползлись, разметались чёрны вороги
По сырой земле, земле-матушке.

И не стало США окаянного...

Июль 1980

Море рыдало, ласкало и охало,
Пеною волн прогоняя волну,
Скалы гудели как струны, и грохали
Мокрые камни по скользкому дну.

Небо сверкало и молнией било,
В диком испуге хватая волну,
Море кидалось с огромною силой,
Пеною волн проклиная луну.

Желтые отсветы, тени изменные,
Крики безумья, биенья струны,
Грохоты страшные, всполохи пенные,
Ветер, срывающий гребни с волны...

12 июля 1980





Я прорубил жестяное оконце
В глухой стене.
Через него заглядывает солнце
И ярко светит мне.

На мир гляжу я светлый и безбрежный
Из прорези окна,
И полно сердце ласки безмятежной
И нежной грусти сна.

Мне день поёт слова напевных песен.
Навстречь лучу,
Как ветер став воздушен, бестелесен
Я вверх... нет, вниз, лечу!..

16 июля 1980

Бег мгновений

Унылых, серых, глупых дней
Проходит череда.
Проходят дни. Тоска сильней.
Проходят без следа.

Не удержать мгновений бег,
Бесстрастности минут,
Проходит час, проходит век,—
Мгновенья все бегут.

Не остановишь никогда
И не уйдешь никак.
Бегут, бегут, бегут года,
Стучат часы: «Тик-так».

И тусклый дождик моросит,
И лужи вокруг двора.
Все тот же мрак, все тот же вид,
Тоскливая пора.

Стучат года все злей, сильней —
И гаснет человек.
Железной поступи своей
Не сбавит время век.

Июль 1980

Где найти мне счастье в мире?
Где мне быть? куда идти?
Как нам жить вольней и шире? —
Нет дороги, нет пути...

Чёрной тенью небо клонится,
Скользкой просинью земля.
Чёрный гром за тучей гонится,
Лижет серые поля,

Горько пьяное раздолье
В бесшабашной стороне,
Нераспаханное поле
В беспробудном русском сне.

Неисполненных желаний
И несбыточных надежд,
Край несчастий и метаний,
Идиотов и невежд.

Пусто смотрит злое око
В мёртвой жизни пояса.
Край, исчезнувший без срока,
Как рассветная роса...

Август 1980

Паранойя

Я простирался в стороны различные
И вверх тянул свой стройный ствол,
Качались сгустки протоплазмы неприличные,
И череп беладонной цвёл.

Сырые стебли, извиваясь, хватали
Сухие комья глины подо мной,
И пальцы полусросшиеся мяли
Желтеющий невзрачный перегной,

Я хищный, я безумный, я убийца,
Я кровь сосу у падших и живых,
И ужасом объята эти лица,
Когда я обнимаю их...

Что мне до этих гибнущих созданий,
Чью кровь я лью и, наслаждаясь, пью?
Что мне до их бессмысленных страданий? —
Я сам живу, и полностью, и пою...

Август 1980

Неизбежность

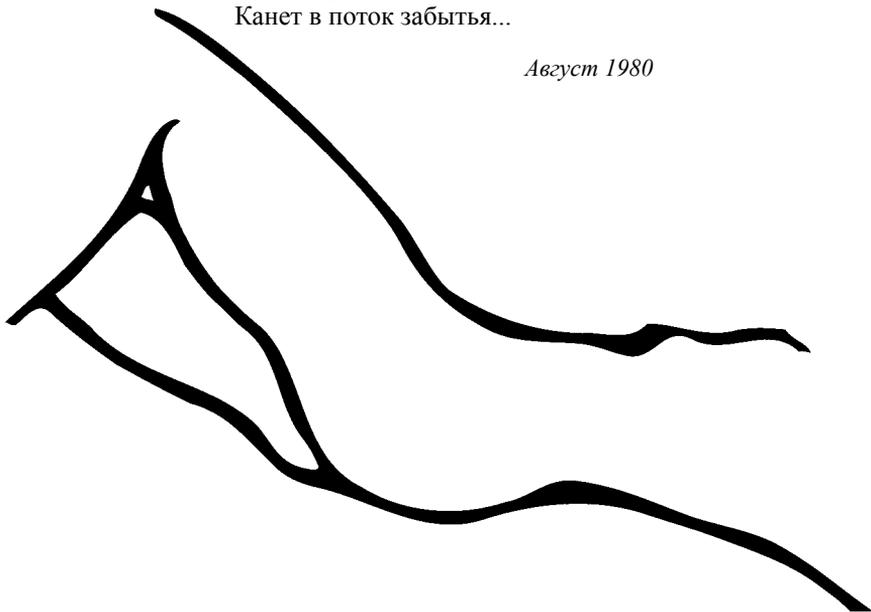
Смерть — это лучший исход.
Смерть — это мрак небытия.
Время придет и уйдет,
Канет в поток забытья.

Чёрная тень над тобой
Ближе и ближе всегда.
Уже простор голубой,
К смерти зывают года.

Счастьем довольствуйся миг.
Тщетны страдания и гром.
Все, что ты в жизни постиг,
Гибнет в сознании твоём.

Смерть — это лучший исход.
Смерть — это мрак небытия.
Время придет и уйдёт,
Канет в поток забытья...

Август 1980



Страдая без жизни, без света,
Один в безучастном краю,
Краю уходящего лета
Пою эту песню, пою...

Растоптаны в прах идеалы,
И некому силы вдохнуть.
Уже не подняться усталым,
И мал нам отмеренный путь.

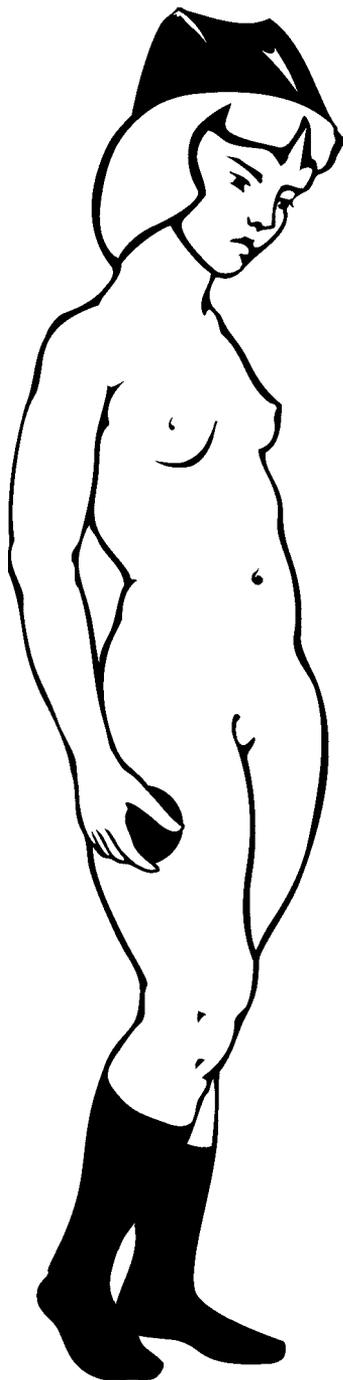
Неправильна жизнь и жестока,
Один, как всегда, я, один...
Во тьме неизбывного рока,
В безумьи, бездумьи картин.

Нет жизни, нет мысли, нет мрака,
Нет солнца и нет бытия.
И хочется горько заплакать
Над полем пустого жнивья...

Любимая женщина бросит.
Вся жизнь твоя будет как сон,
Возникнут немые вопросы,
Исчезнут под звук похорон...

И нету, и нету отрады —
На этом ли свете, на том —
И нету ни рая, ни ада,
Как нету забвенья в былом...

6 октября 1980



Оцепенение

Усталость руки опустила,
Погасла света синева.
Душа моя давно застыла,
Твоя ж — лишь теплится едва...

Бессильна вычеркнуть могила
Годами тронутую связь —
Хоть что-то в нас когда-то жило
И жгло, волнуня и смеясь...

Ползут безжизненные тени,
Оставив тьму, теряя смысл,
Спадают трупики мгновений
Без сожалений сверху вниз.

Все, что уходит — безвозвратно.
И смерть и тлен царят вокруг,
И тонет в мраке звук невнятный —
Чужого сердца вялый стук...

23 марта 1981

Навеянное

По дороге мокрой, безобразно длинной
Вниз бреду устало...

Под ногами слякоть, под ногами глина,
В лужах отраженье жизни небывалой...

В жёлтой глине странно, ничего не видно,
Мелкий дождик косит в смутном направлении.
Монотонной стаей — до чего обидно, —
Что навек бесследно вытекут мгновенья...

Люди словно тени, серый мир двоится,
Что-то нетакое в лужах отражая,
Серый мир кривится, сломанною спицей
За мгновений стаю зацепить желая...

Апрель—май 1981



Протянулись синие отроги
Вдоль иссохшей, треснувшей земли,
Появлялись крохотные боги,
И вожжи маячили вдали...

Я смотрю в молчаньи и в испуге
Странный бред моих отождествлений,—
Величавой поступью друг в друге
Проплывают дивные виденья...

Дик их лик, глаза безумно-пылки.
Хищный тлен возжаждал власти тленом.
Приложусь опять к своей бутылке,
Поклонюсь рассыпавшимся стенам...

Ты живёшь, не думая, не зная,
Лишь желая тёмным откровеньем
Быть один в стране большой без края,
Упиваться ветра дуновеньем...

Апрель—май 1981

Дом

Полено пылало нездешним огнём,
Кричало от боли и муки,
И был озарён и вытоплен дом
Туманом витающей скуки.

Казалось порой, что было всегда
Всему и всё безразлично.
Трещали дрова, катились года
По рельсам мгновений привычно.

Но вот однажды случилась беда —
При страшных грозе и ветре
Случилась беда — столкнулись года
В семнадцатом километре.

И скуке на смену пришла тоска
По прежней тихой сказке.
Но кровью забрызгана эта строка,
Заляпана черной краской.

Хозяин расстрелян, и дом пуст.
Ютятся в нём мыши.
И жмётся лишь одинокий куст
Поближе к широкой крыше.

Кричали, бежали, визжали года,
Мелькали в дикой пляске,
И вот уже полилась вода
На мельницу новой сказки.

...Струился, лился электрический свет,
И все говорили: «Да!»,
А сердце стучало в ответ: «Нет!» —
Так было и будет всегда...

...Над жарким и ярко пылавшим костром
Мы грели замёрзшие руки.
Стоял, озарён построенный дом
Туманом тоски и скуки...

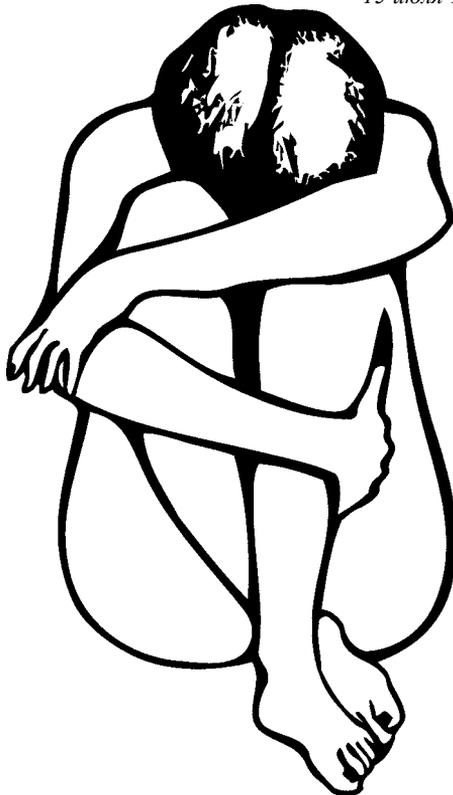
Апрель—май 1981

Синеют губы на красной ткани —
Беззвучность страстных рыданий муки.
Ты бьешься в стенку воспоминаний,
Но злые иглы терзают руки.

И рвётся тело на белой ткани,
Ища безумной любовной встряски —
Пусть остается печать страданий,
Как отголоски бесцветной краски.

Чернеет пропасть у ног все ближе.
Зачем ты пала?.. К чему вопросы?
Пустые лица всё ниже, ниже.
Пропитый голос. Дым папиросы.

15 июля 1981



Наступление зимы

1.

Чары

Чары, полные печали,
Нёс колдун в суме походной.
Ветры осени кричали
В свистопляске хороводной.

И безумных полны ласок,
Рвали полы ветхой ткани,
Где, печальной скорбью масок,
Чары корчились в рыданьи...

Вдруг какой-то шаловливый
И беспутный ветер с моря
Выдул в дыры торопливо
Чары скорби, чары горя...

Ветры тут же замолчали
В белом танце злого бега...
Чары падали в печали
И ложились слоем снега...

25 июля 1981

2.

Белый сумрак кутал лапы
В тёплый мех моих видений,
Строя сонные этапы
Зазеркальных наваждений.

Морок чудных зимних сказок
Потащил сквозь снег и стужу
Цепь из звеньев неувязок
За собою неуклюже.

Терпкий запах снежной ели
Он принес в мой терем смеха
И баюкал в колыбели
Горный отзвук злого эха...

А когда рассветным утром
Я расставил обе шторы,
Загорелись перламутром
На стекле окна узоры...

28 июля 1981

На дне бокала
 вырос сад
И протекла река.
Там чьих-то глаз
 зеркальный взгляд,
Два синих василька...

Призывный взгляд
 дарит меня
Бесстыдную мечтой,
Надеждой скрытого огня,
Упругой и простой.

Хочу добыть
 свой смысл со дна
Бокальной глубины,
Хочу,—
 плесни, мой друг, вина —
Уйти в туман стены.

Блеснул вдали последний раз
Свет васильковых глаз,
Ушли в предел, сошли на нет
Обрывки слов и фраз.

А пенный сон
 хмельных забав
Растаял навсегда
В тиши таинственных дубрав,
В отечестве труда...

25 июля 1981

Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Б.Л.Пастернак

Свечка таяла тревожно,
Воск стекал на сборки платья.
Всё, что было невозможным,
Стало близким, как объятья.

Синим пламенем страданья
Свечка плакала о чуде.
В перемене очертаний
За столом застыли люди.

Взятки, козыри и масти —
Всё смешалось в сизом дыме,
И кому-то робко счастье
Улыбалось между ними...

Вместе сдвинуты кровати,
Пал на лоб упрямый локон,
Воск стекал на сборки платья,
Свет метался между окон.

Небо плавало в стакане
Прислонённом к звёздной тени.
Только слышен звук рыданий,
Только всплески отражений...

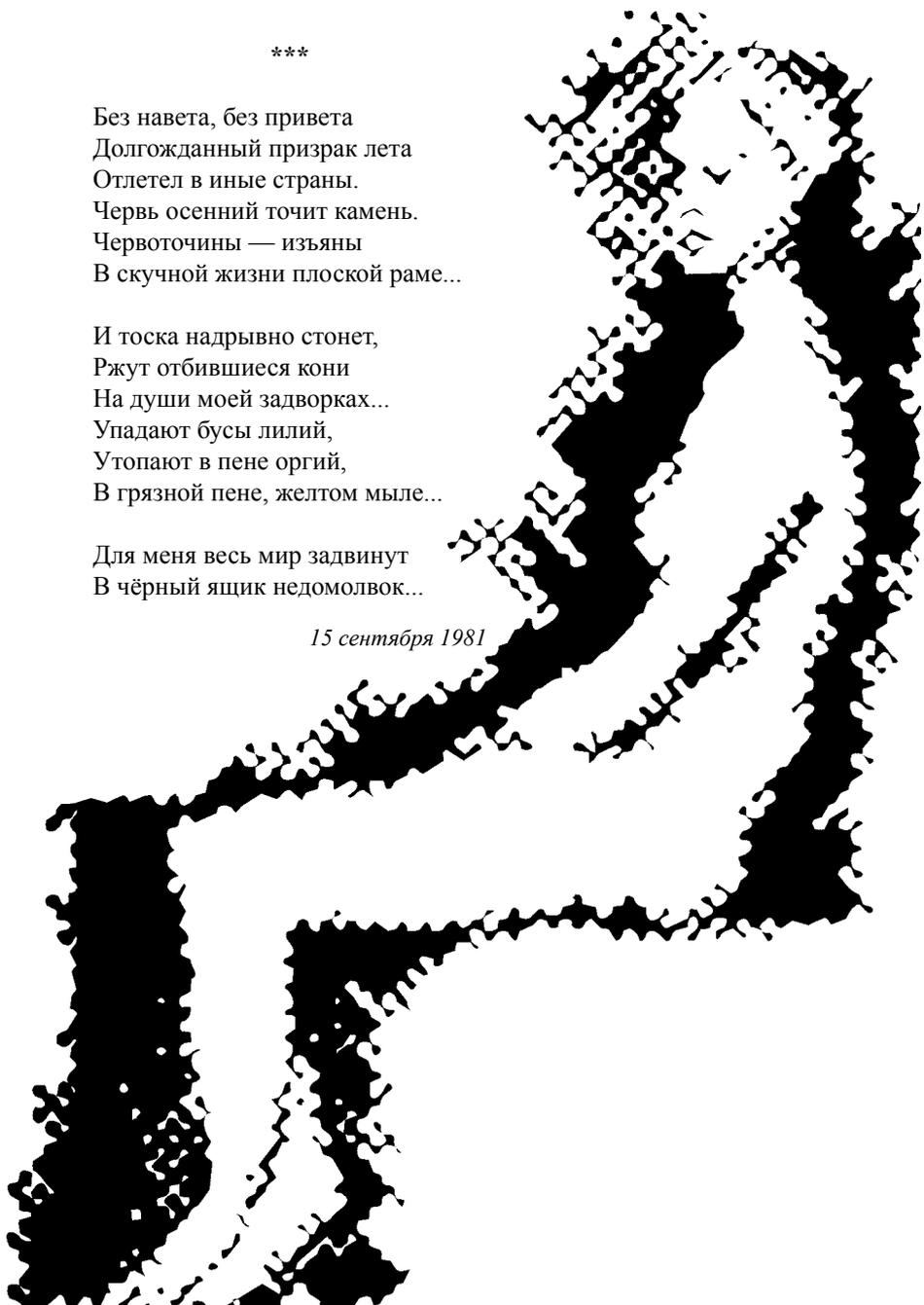
28—30 июля 1981

Без навета, без привета
Долгожданный призрак лета
Отлетел в иные страны.
Червь осенний точит камень.
Червоточины — изьяны
В скучной жизни плоской раме...

И тоска надрывно стонет,
Ржут отбившиеся кони
На души моей задворках...
Упадают бусы лилий,
Утопают в пене оргий,
В грязной пене, желтом мыле...

Для меня весь мир задвинут
В чёрный ящик недомолвок...

15 сентября 1981



В лунной зале

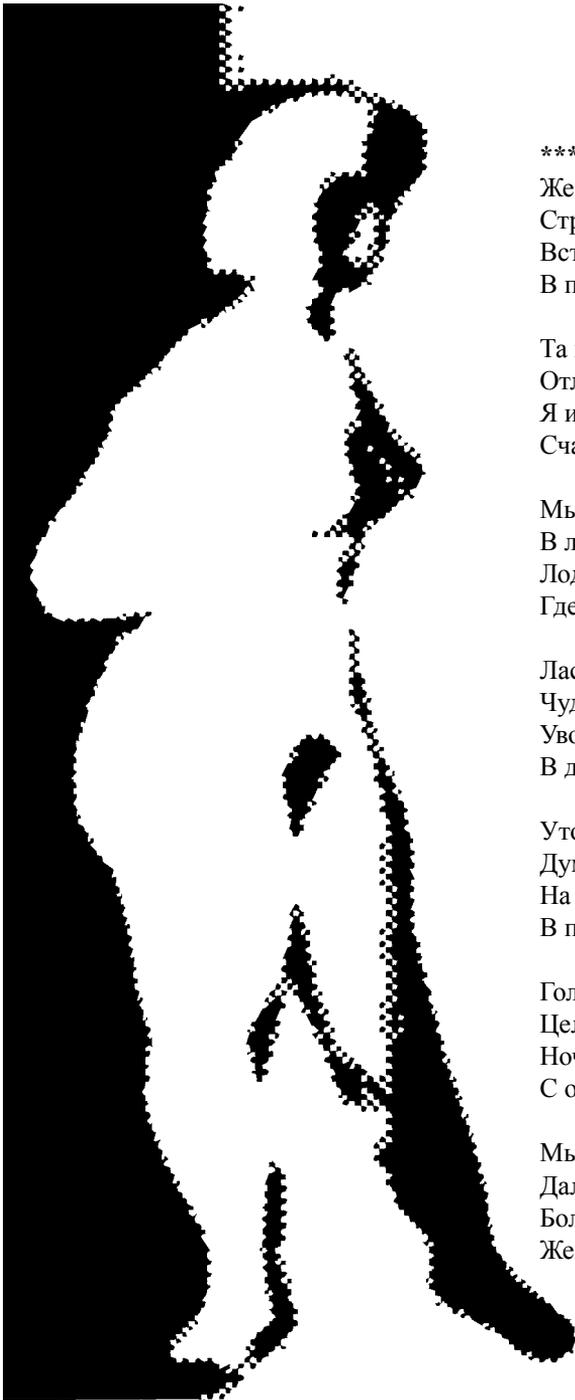
В лунном свете, звёздной зале,
Извлекая звук из клавиш,
На простуженном рояле
Ты, безумица, играешь.

Пальцы тонкие ломая,
В ряд ударишь чёрно-белый —
Звуки гневно покидают
Чёрно-белые пределы...

Я гляжу, и звёзды — тоже,
Удивлённо, исподлобья,—
Рассыпает звук по коже
Дрожь свинцовой мелкой дробью.

Но зачем касаться руки
Белых клавиш перестали, —
Чёрный цвет — как цвет разлуки
В лунном свете, звёздной зале...

19 сентября 1981



Женщина продажная,
Странная, печальная,
Встретились однажды мы
В пору обручальную...

Та пора весенняя
Отлетела в прошлое,
Я искал спасения,
Счастья невозможного...

Мы с тобой каталися
В лодке одновёсельной,
Лодочка качалася,
Где её мы бросили...

Ласками страдания,
Чудными и странными,
Уводила ночь меня
В даль свою желанную...

Утопали горести,
Думы и печаль моя
На сломлённом хворосте,
В пору изначальную...

Голову склонённую
Целовал я ласково —
Ночь была бессонная,
С огневými красками...

Мы с тобой рассталися,
Дали были мутными...
Больше не встречалися,
Женщина распутная...

19 сентября 1981

Друзьям

Настало время тайных действий,
Вершащих судьбы бытия.
Очнутся души из плебейства,
И близок миг — пророчу я.

Незримый бег иных столетий
Влечет предел иных веков,—
За зло свое сполна ответит
Людское стадо дураков...

Грядёт минута искупленья
За все грехи, за весь позор,
За все немые преступленья,
Содеянные до сих пор...

Падёт мучительное бремя —
Душа отбросит гнет оков...
Так будем мы навеки с теми,
Кто ненавидит дураков!..

18 октября 1981

Странный гость

Самый лучший исход — это смерть, это смерть,
И она уж надела свой чёрный наряд:

— Ты пришла за мной?

— Нет, нет, нет, нет,

Вовсе не за тобой...

— Я очень и очень рад...

— Почему ж так бледно твое лицо?..

Я траурный гость, я чёрный гость.

Хозяин, хозяин, возьми это чёрное пальцецо

И повесь на одинокий гвоздь, гвоздь...

Я беру с собой всё, что есть или нет,—

Но не сейчас, не сейчас...

И ты у меня ничего не спросишь в ответ,—

Нет, не сейчас, не сейчас...

Я пришла к тебе на этот раз,

Чтобы взять у тебя остаток надежд.

Чувствую — дыханье твое горячо сейчас,

А воздух ночной холоден и свеж...

В чёрной, холодной шкатулке они лежат,

Твои надежды, закрыв тоскующие глаза...

Хозяин, почему так испуган твой взгляд, взгляд?... —

Может, оттого, что за окном вдруг взвизгнули тормоза?

Я не буду назойлива — нет, нет,—

Лишь чтобы сказать, я пришла сюда.

О, как странно падает этот тусклый свет

На дрожащие, тёмные, мёртвые провода...

И при этих словах мой странный гость

Снял с гвоздя холодное пальцецо,

Хлопнул дверью — остался одинокий гвоздь

И моё холодное, бледное, испуганное лицо...

18 октября 1981

Этот вечер окрашен в разноцветные зори —
Обещания лживы, в обещаньях обман...
У меня пред глазами утомлённое море,
У тебя же бушует голубой океан...

О безумные ночи, отрешённость страданий,
Обречённость рыданий одинокой души...
Ведь пройдёт лишь мгновенье — и любить
перестанем,
И опять умирање в безответной глуши...

Мы встречались ночью, время встреч было кратко,
Взоры смутно таили быстротечность огня...
Эти тайные миги, поцелуи украдкой
Отрицали, что прожито для тебя, для меня...

Помню голос дрожащий, уронённые скупю
Те слова роковые, огневые слова —
Столб фонарный качался, и с усмешкою глупой,
И с усмешкою лунной шелестела трава.

Гаснут тусклые свечи в потаённой долине.
Всё ушло безвозвратно, пролетели года...
Но твой образ остался неизменным донине...
Никогда не исчезнет... Никогда, никогда...

8 ноября 1981

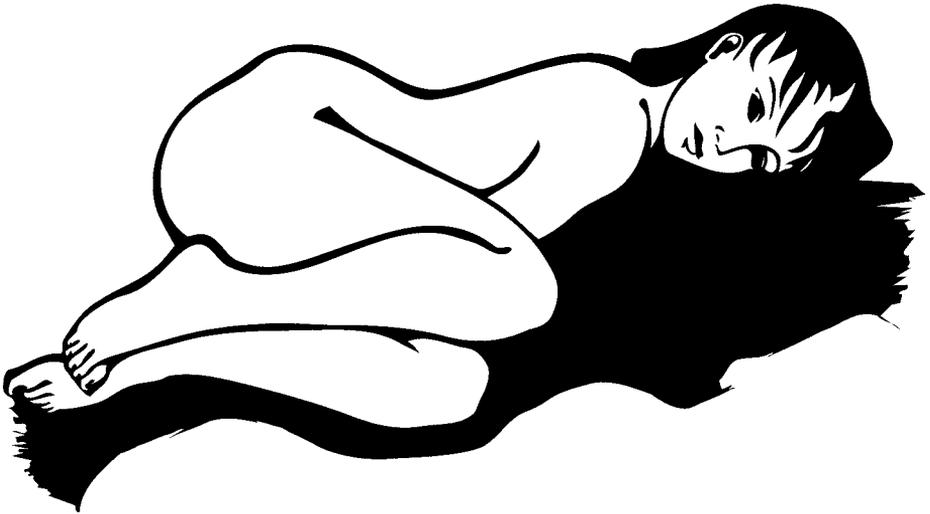
И мы узнали земное чудо,
С тобой узнали земное чудо!..
И были ласки нежны, светлы
В той сладкой сказке вечерней мглы.

Седые клочья тумана важно
Делили с ночью рассвет бумажный,
А призрак зыбкий морского бога
Струну на скрипке с улыбкой трогал...

Земное счастье с тобой познали,
И нас с участием качали дали,
Движенья полны — зачем, откуда? —
Катились волны взглянуть на чудо.

Свет полуночный сменился белым,—
Уста порочны, разбито тело.
Пунцовы думы — тебя уж нет..
Встает угрюмый земной рассвет.

25 ноября 1981



Карлики

Великому поэту Венгрии
Эндре Ади, его памяти,
посвящается

Иногда мне кажется,
Что по шатким лестницам
Карлики безумные
В душу мне взбираются...

Ходят суетливые
Карлики горбатые,
Бьют о душу пленную
Каблучками острыми,

Пилят нервы пилами,
Пьют вино зелёное,
И поют, забавники,
Песню приглушённую
Голосками пьяными...

Но глаза открою я —
Пропадёте, сгинете,
Лестницы рассыплется,
Будто дом картоночный...

Близко время, может быть,—
Бросив жизнь неверную,
Снами быстролётными
Сам явлюсь кому-нибудь
Суетливым карликом...

3 декабря 1981

В свинцовом море житейских забот,
Когда отчаянье и страх велики,
Укрой свой ялик в надёжный грот
Бухты видений, печали, тоски.

Познай пустоту во всем земном,
Угрюмую радость слепых зарниц,
Что жизнь это просто потрёпанный том
Книги без сотни-другой страниц.

И ты увидишь, что все тщета,
В душе растает иглистый лёд,
И ялик твой поведёт мечта
Навстречу Солнцу — вперёд, вперёд.

11 декабря 1981



Пустынно взморье.
С тоской во взоре
Цветной узор я
Слежу на шторе.

Беспечны тени,
Бегут, смеются,
Верны измене,
Ей предаются.

Дождям лиловым
В волненьи внемлю,
Что льются снова
На злую землю.

Читаю с горя
Немые строки,
Топлю их в море,
В шальном потоке...

И счастью верю,
И с ним играю,—
Его измерю,
Пройду по краю...

10 декабря 1981

Я взойду на высокую башню,
Сосчитаю во тьме ступени,
Был безрадостен день вчерашний,
А сегодня — день огорчений.

День сегодня такой изменный,
Такой седой и враждебный —
В темноту, где сходятся стены,
Я войду отслужить молебны.

А туман проползёт сквозь двери,
В щели стрельчатых окон башни. —
Я сегодняшнему дню не верю —
Он такой же, как день вчерашний.

Тишина такая ж немая
И огню фонаря не рада, —
Не прошу я вечного рая,
И не нужно мне вашего ада.

Я покину тесные своды,
Заскрипят под ногой ступени,
И про завтрашний день свободы
Мне кивнут удивлённо тени...

20 декабря 1981

Не суди меня строго
И забудь про меня...
У бессменного бога
Не хватило огня...

Изумрудные зори...
Отпылавший восток...
Наш покинутый дворик
Так далёк, так далёк...

И как странно, как сладко
Быть с мечтою вдвоём,—
Мир явится загадкой,
Неразгаданным сном...

День предстанет сплетеньем
Упоительных слов,—
Как вечерние тени
Он растаять готов...

На не может же вечно
Длиться счастье богов,—
Наша жизнь быстротечна,
Словно мир облаков,

Что проносятся мимо,
И узор их таит
В клочьях белого дыма
Сеть нелепых обид...

Так и мы, дорогая... —
Всё куда-то спешим,
Счастьем лёгким играя,
Мимолётным как дым...

24 декабря 1981

Мой бессмертный талант
Так велик и могуч,
Он — в свинцовый туман
Проникающий луч.

И любви, и огня
В сочетании слов
Попроси у меня —
Подарить я готов.

Я пою, и всегда
Знаю только одно:
Пронесутся года,
Ляжем все мы на дно,

Но мой стих не умрёт,
Будет жить и таить
В искажении вод
Чародейную нить.

25 декабря 1981

Мои стихи

Мои стихи найдут себе дороги
К сердцам людей сквозь суету времён,
И цели не добьётся критик строгий,
Чтоб тайный смысл из них был удалён,

Я вас пишу, я вас лелею грустно
В минуты странные томительной тоски,
Тружусь часами над отделкою искусной,
Чтоб каждому вы сделались близки...

И весь мой мир запрятан в эти строки,
Таящие и правду и обман...
О, как же все-таки тоскливо одиноки
Мои стихи, когда вокруг — туман!..

25 декабря 1981



Приди, дорогая,
И вместе, вдвоём
Со скользкого края
Мы вниз упадём.

Мы будем скитаться
В потоке и петь,
За стенки хвататься
И выйти не сметь.

Журчания полны,
Ликующе тут
Приливные волны
Нам песню споют

И сказку расскажут.—
О чём — все равно.
Нам руки завяжут
И скинут на дно...

25 декабря 1981

Шёпотом

Я хочу тебя выпить до дна,
Чтоб стучалась в дверь тишина,
Навевая кошмарные сны
В свете бледной, дрожащей луны...

Буду пить, а уродец-душа
Мне шепнёт, как же ты хороша,
Костылями гремя и стуча
В беззащитную лунность плеча...

Я отдам твоё тело взамен
Неподвижности красочных стен,
Вспоминая со звоном ключа,
Как была твоя кровь горяча...

Стены вспыхнут рассветным огнём,
Грудь твоя вдруг почудится в нём.
Будет ждать, мне в затылок дыша,
И томиться желаньем душа...

26 декабря 1981



Водопад

Огнеструйный, многопенный водопад
Окатил весенним ливнем
Мой волшебный ранний сад.

И вот
Небеса осиял восход
Аметистами льющихся вод.

Загорелись листья,
Распустились цветы,
Лепестками иной красоты
Закивали в ответ,

И, ловя переменчивый свет,
Светлым ливнем дыша,
Мне сказала душа:
— В вешнем мире спокойствия нет!

В мире яркой мечты
Только я, только ты,
Мы срываем цветы —
Нежным солнцем они залиты...

Пьяный их аромат
Мы вдыхаем беспечно.
И живёт, и поёт мой ликующий сад,
И на нашем пути нет преград,
На пути бесконечном...

Убегает печаль
В голубую прозрачную даль,
Подчинившись жестокой судьбе.
Мне не жаль, мне не жаль...
А тебе?

29 декабря 1981

Змеёю скользящей вползает из двери,
Касаясь обрывков шуршащих материй,
В пугающий мрак полуночной квартиры
Кошмарная нечисть сквозь щели и дыры.

Она паутиной опутает разум —
Об этом узнаешь не сразу, не сразу.
Но будет таиться сомнения птица
В слепых и глухих запечатанных лицах.

И ветром колючим развеется тело,
Просыплется снегом, пушистым и белым,
В полях, занесённых другими снегами,
Что были друзьями, а может, врагами...

И будут облезлой чредою тянуться
Секундные нити, пока не порвутся
Тягучие ужасы сцепленных дней,
Что кинутся в бездну и скроются в ней.

1—3 января 1982

Сказка моего поколения

Алкоголи, алкоголи...
В голове туман.
И неволен, может, болен,
Кто совсем не пьян,

Мир кружится, веселится,
Уплывает в даль
Полупьяная столица,
Мёртвая печаль...

И не жаль ни с чем расстаться,
Потерять пути,
И не жалко даже, братцы,
Навсегда уйти...

Хмель безудержно весёлый
Поприбавит сил...
— Выйти, что ль, из комсомола?.. —
Кто-то вдруг спросил...

Что же, выйдем.— В тёмном поле
Душу потрави... —
Только пляшут алкоголи
У меня в крови...

6 января 1982

Я пурпурное пламя,
Убиваю, не грею,
В моей лампе постылой
Много мёртвого света.

Блеск холодный и жёлтый
Из тени абажура
Зароню в твое сердце,
Одинокое, злое...

Ночь укроет небрежно
Лампу черной вуалью —
Зашипит и погаснет
Мое тусклое пламя...

12 января 1982



Под Гумилева

В комнате моей пусто и темно.
Чёрный человек заглянул в окно,

Посмотрел вокруг... Что-то говорит...
В мёртвое стекло пустотой отлит.

И печаль его — как тоска моя,
Говорит слова, но не слышу я —

Мёртвое стекло между им и мной
Стало в этот миг каменной стеной...

Повернул назад, и в туман вела
Путь его луна, радостно кругла.

Лишь одни глаза, только странный взгляд
Мне сказали всё через цепь преград —

Я увидел в них затаённый след
Протекавших рек горестей и бед...

Барабанит дождь в мёртвое стекло,
В пустоту окна, сумрачно и зло..

20 января 1982

Огонь

Отойди от меня,
Не жги, не жги —
Я боюсь огня,
Что несут враги!

Огнегрив твой конь,
Пламенеет масть —
Не тревожь огонь
И не смей украсть!

Разлетишься ты
Взмахом белых искр —
Уронил цветы,
Вихревейно-быстр!

Я такой любви
Не хочу, не жду —
Твой огонь в крови
Принесёт беду!

Ты уйди назад,
Ты меня не мучь —
Я ищу прохлад
И дождливых туч.

— Я уйду назад,
Но с тобой вдвоём —
Нам обоим — ад,
Вместе мы умрём...

Замыкает круг —
Ярче блеск огня.
— Мой жестокий друг,
Обними меня!..

26 января 1982

Караван

Цепочкой извилистых линий,
Обходом восторженных стран,
Ступает по чахлой пустыне
Безрадостный мой караван.

Верблюды усталых желаний
Гонимы неясной тоской,—
Горбатые, злые созданья
Идут пересохшей рекой...

И мнятся им вдруг очертанья
Каких—то строений в пыли,
И тают в далёком тумане
Пределы желанной земли...

Спешат в безотчетной тревоге,
Тяжёлые тащут тюки
Верблюды по склонам пологим
Давно пересохшей реки...

Мираж догорит и исчезнет,
Звенят и звенят бубенцы,—
Моей неотвязной болезни,
Печали проклятой птенцы...

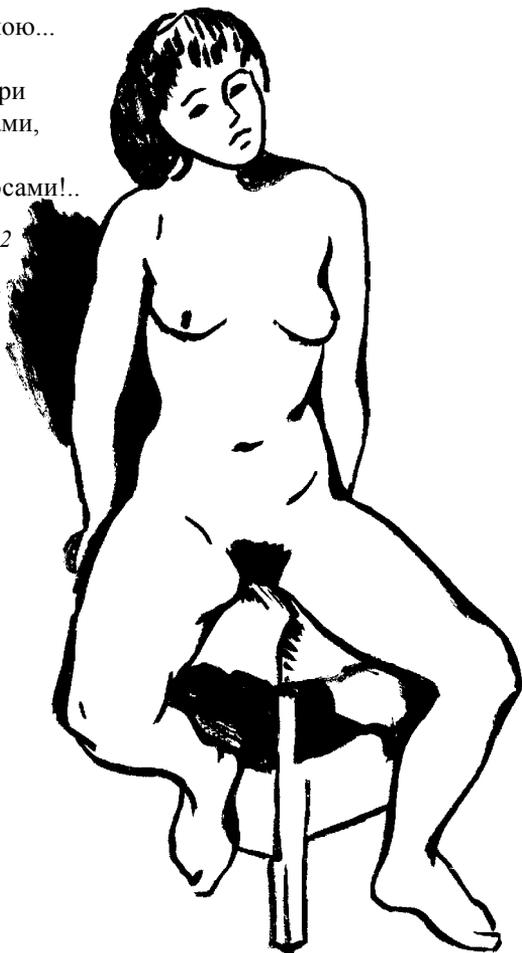
27 января 1982

Полюбил я больные цветы,—
Им уставшее сердце так радо,—
Что взросли у могильной плиты
В глубине запустелого сада...

И печально клонясь, лепестки
Мне кивали вослед, белоснежные,
И касались мятежной руки
Бахромою стыдливою, нежною...

Бледных красок вечерней зари
Отражение недужными росами,
Ты гори, мое счастье, гори
И не мучай больными вопросами!..

28 января 1982



Моя любовь — пленённый жупел,
Звериной бытности фасад.
Толку её в железной ступе
Уж много, много дней подряд.

Кривые монстры в тёмной яме
Пещеру с воем стерегут,
Стальными клацают зубами —
Идёт к концу жестокий труд.

Никто не зрит моих страданий.
Минуты вечности поправ,
Я пью из чаши заклинаний
Смесь ядовитых, терпких трав.

Я стану жёлтым, диким зверем,
Тупую ярость затаю,
Сорву засовы, выбью двери —
И растопчу любовь мою!..

29 января 1982

Белоснежные просторы
Очарованной земли
Оттеняют мягко взорам
Очертания вдали.

И метель ковром с порога
Нам застлала ближний путь,
Где хотели мы немного
У беседки отдохнуть.

Иней, радостный и белый
Зазвенел лазурью льда,
И качнулись несмело
Голубые провода.

На лице горит румянец —
Рукавичку бросив вдруг,
В лёгкий танец, быстрый танец
Мой умчался нежный друг...

29 января 1982

При свете полночной луны
Прошёл человек.
И тени гигантской длины
 Ложились на снег.

Недвижной громадою лес
Чернел впереди.
Какие-то духи небес
 Шептали: «Иди!..»

А лес свои сучья тянул
Навстречу ему.
Со страхом прохожий свернул
 В дрожащую тьму.

Луна хохотала с небес
На стонущий лес.
И скорбные тени вокруг
 Забегали вдруг..

30 января 1982

Ветер крепче и злей.
Ты мне в кружку налей
Горьковатый нектар.

Выпью вместе с тобой.
Заиграет прибой.
Своенравный пожар

Вдруг ударит огнём —
Ярких образов в нём
Завертится струя.

И наложит свой след
На томительный бред
Моего бытия...

30 января 1982

Эти песни — были,
И слова — звучали.
Их снега укрыли,
Унесли печали...

Я пою их снова
С сердцем одиноким...
Что же в том плохого,
Что уж были строки?..

Поздние мотивы
Быстро отзвучали,
Отшумели ивы,
Ветры замолчали.

Времена седые
В тишине накрыли
Вёсны молодые
Мёртвым слоем пыли...

1 февраля 1982

Скорбной лиры звуки странны и унылы,
У черты забвенья, на краю могилы
Ты помянешь горько думой сиротливой
О годах ушедших, временах счастливых...

Небеса одели легкой дымкой дали...
Мы уже не дети, мы давно устали.
Жизнь течет рекою, волны полусонны,
И не видно цели для души пленённой...

А в воде холодной спутанною тиной,
Тайною дрожащей манят нас глубины
Неизвестных, тёмных, сладостных течений,
Где песок недвижим и струятся тени...

5 февраля 1982



Вздыхалося облако пыли,
Багровое, злое, как я,
Скрывая постылые были,
Такие ж, как сказка моя...

Ф. Сологуб

Я глубоко упрятал
В далёкие гроты
Самоходные флоты
Желаний проклятых.

Расстелившись коврами
Цветные узоры
Задёрнули шторы
Между робкими нами...

Но коснулись руки
Открытых коленей,
В повседневной измене
Безрассудные руки...

Поцелуям усталым
Ты внимала несмело,
А упругое тело,
Замирая, дрожало...

И закатные краски
Огневого светила
Этой были постылой
Дожидались развязки...

Февраль 1982

Приговор

Зажги слепой мечты лампы
Всепобеждающим огнём
И несмотря на все преграды
Иди своим путём.

По жизни ярким метеором
Над миром пронесись,
В сиянии радужном и скором,
Неповторимо, ввысь...

Но поверни свои течения
На мир земной.
Он полон боли и мученья,
Он весь больно.

Спаси его от наважденья,
А если слаб —
Ты нищий духом от рожденья,
Ты тоже раб!.

8 февраля 1982



Гном

Я зелёный, потешный гном
И чернильный прибор — мой дом.
Но в чернильнице нет чернил,
Там паук паутину свил...

Мой мохнатый и добрый сосед
Пригласил на роскошный обед —
Из сушёных мушиных голов
Несказанный отведать улов.

Что ж, приду, а с собой принесу
В колокольчике звонком росу —
Мы её на двоих разольём,
Расплескав, веселиться начнём,

Уроню свой дурацкий колпак
И одежды сорву — буду наг,
Буду, в счастья смеяся, плясать
И, бессильный, паду на кровать...

А паук паутинную нить
Станет в диком неистовстве вить,
По квартире кружась волчком,
Беспардонным и злым пауком...

Запоздает потёртый восход,
Мутный день продвиженье начнёт,
И заплачет растерянный гном
В неприятном жилище своём...

2 марта 1982



И чувства нет в твоих очах,
И правды нет в твоих речах,
И нет души в тебе...

Ф.И.Тютчев

Зачем я живу
И что не умру,
В сырую траву
Упав поутру?

Тоскливую песнь
Полжизни я пел,
Но правды донести
К сердцам не сумел...

К чему мне уста —
Для смеха даны?
Четыре креста,
Четыре стены...

Четыре свечи
Висят предо мной,
Кричат: «Замолчи!
И больше не пой!

Уйди в мутных рек
Развод ледяной,
Укройся навек
Четвёртой стеной...

Другие придут,
Отыщут ключи.
Тебе же приют —
Могила. — Молчи!..»

16 марта 1982

Тарантас

Трав глухое бормотанье,
Чёрный перепляс,
Полуночное шептанье,
Тряский тарантас,

Ужас тёмных ожиданий
На чертах лица,
Их отточенные грани,
Звоны бубенца...

Мчимся лихо быстрой тенью
По ночной стране,
Искры падают мгновеньем
Где-то в стороне...

В бубенцовом лёгком звоне
Улетаем прочь.
Холодны твои ладони
И мертвы, как ночь.

Пеленой зрачки повиты
Горького огня,
Ищут нежно и сердито
Бледного меня.

16—30 марта 1982

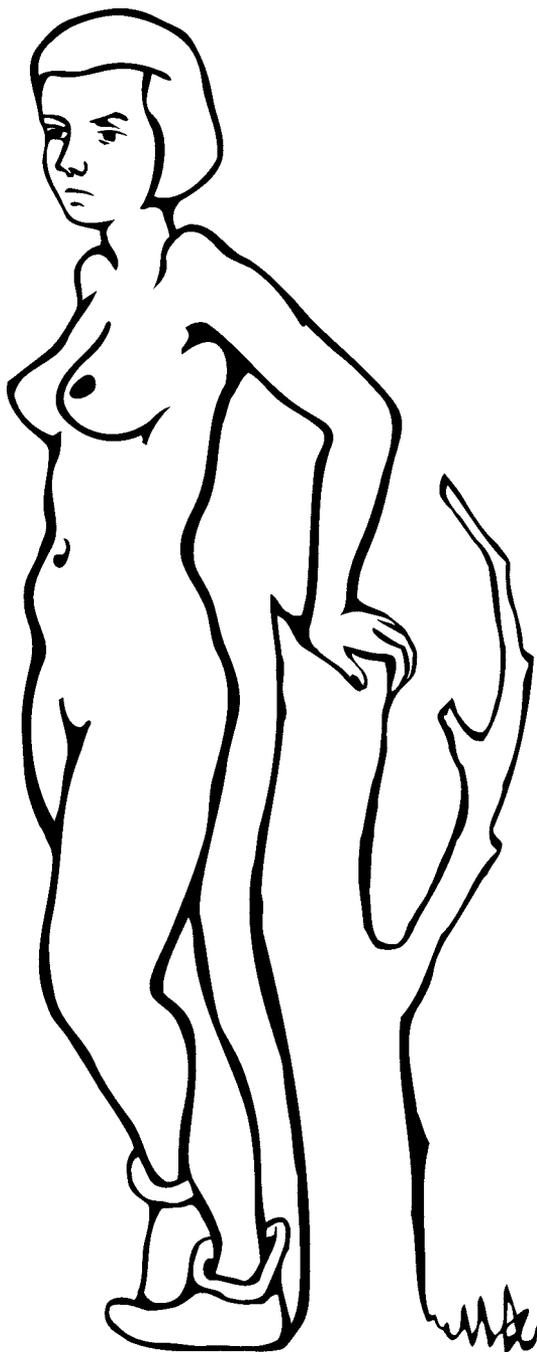
Весёлой зарею
Влюблённые дети
Закинули в море
Непрочные сети;

Прибой торопливый
Лазурного моря
Занёс в них обманы,
Сомненья и горе...

Но ножницы судеб
Разрезали пути,
На дне утонули
И слёзы, и смуты...

И дети с досадой
Разорванный невод
Втащили на берег
Под звуки напева...

27 марта 1982



В одеждах траурных стояло
Скопление теней предо мной,
И был закутан в одеяло,
Мой дух, безумный и больной...

Нагие мне сплетали девы
На полог бледные венки
Под звуки странного напева,
Где я не понял ни строки.

И неразгаданных видений
Родились тьмы и гибли вновь,
Влача с собой свои сомненья,
Надежды, страхи и любовь...

С улыбкой робкое созданье —
Прозрачная ночная мгла —
Ко мне подседа в ожиданьи
И речь несвязно повела...

Свой чёрный плащ, она, откинув,
Как два небесные крыла,
Словесных кружев паутину
С искусной пылкостью плела...

Мы говорили долго, страстно
О том, что всё — лишь только спесь,
Что весь наш мир живет напрасно,
И тени мы — и нет нас здесь.

Я протянул в восторге руки,
Но обнял тело пустоты...
Пролил рассвет белила скуки
На безвоздушные черты...

И день, громадный и ничтожный,
Вертел колеса бытия,
И ветер пел о невозможном,
И плакала душа моя...

30 марта 1982

Колыбельная

Закатились восемь солнц
 в колыбель свою,
Восемь песен, милый мой,
 я тебе спою...
Луч прозрачный и немой
 бродит по стене,
И мечтает он с тоской
 об ушедшем дне...

Всё, что было, не вернуть
 никогда, мой друг,
Путь далёк к твоей звезде,
 полон долгих мук,—
Восемь солнц укрыли свет —
 злости не таи
И забудь, забудь навек
 горести свои...

Подари друзьям свой смех,
 женщине — любовь,
Честен будь перед собой —
 возродятся вновь
Прежних песен имена,
 что когда-то пел
Я тебе, мой друг, давно,
 хоть
 и не умел...

Апрель 1982

Дум моих небрежный ворох
Брошен — не достать...
Говорили. В разговорах
Поминали мать..

Тлеет луч воображенья,
Гаснет робкий ум;
Вновь нестройные движенья
Беспокойных дум...

Поцелуй. Голос нежный.
Говорю слова.
Но в томленьи безнадежном
Никнет голова...

Я не знаю, но мечтаю
Снова полюбить...
Я не знаю... засыпаю...
Надоело жить.

Апрель 1982



Визит (1)

Стихотворение

Открылись широкие двери,
И взглядом хозяина смерив,
Презрения полным и злости,
Сошлись безучастные гости.

Пришёл Александр и подруга
Из высшего светского круга,
Пришли три высокие дамы
Из Чеховым писанной драмы,

Какой-то усатый полковник,
С ним вместе согбенный чиновник,
Две злые старухи-мегеры
И пьяный с бутылкой мадеры —

Собрались ко мне в воскресенье
Поздравить со днём возрождения...
Смеялись и пели девицы,
Старухи жестокие спицы

Держали в руках и кололи
Глаза мне — кричал я от боли...
А пьяный своею бутылкой
Все хлопал меня по затылку.

Вертелись какие-то пары,
Рождались злые кошмары,
Бессильный лежал на ковре я,
И два моих сонных лакея

На грудь выливали мадеру,
Пьяны и болтливы не в меру...
Какой-то поэт из народа
Читал свои чёрные оды...

А друг Александр и подруга
Из высшего светского круга
Терзали пружины дивана
И били об стенку стаканы...

Но, в общем, все было, как надо —
Подсыпав смертельного яда
В бокалы, стаканы и кружки
Двум злым и горбатым старушкам,

Смотрел я, как корчились в муке
Две эти престранные злюки...
Смотрели и пьяные гости,
От смеха давясь и от злости...

Но вот наступило прощанье,
Тоскливого полон вниманья,
Я жал их холодные руки,
Зевая в безудержной скуке...

Выходит согбенный чиновник,
Усатый и лысый полковник;
Девушки сказали, что было
Сегодня особенно мило,

А друг Александр при пожатьи
Руки, на измятое платье
Кивнул мне своей компаньонки,
Стоявшей, потупясь, в сторонке...

Часы прозвенели два раза —
Последняя сказана фраза,
Упали пудовые гири.
Остался один я в квартире.

С разбитой и злой головою,
Трещавшей, к тому ж, с перепоею,
И было всё странно и глупо,
И два бездыханные трупа

Средь хаоса битых стаканов,
Средь скомканных мыслей и планов
Лежали угрюмо и дико,
Впервые без злости и крика...

Апрель 1982

И о чем-то запоёт
Бледно-палевый восход,
Бледно-палевой зари
Загорятся фонари.

Этот странный, тихий бред,
Что навеял зыбкий свет,
Убаюкает на миг
Лучше пары скучных книг.

И погаснут фонари
Бледно-палевой зари,
Уронив последний свет
На поля, где жизни нет...



16 июля 1982

Мой город

Мой город вознёсся над миром высоко,
Зубцы крепостные и прорези окон,—
Нестройные толпы его горожан
Уходят поспешно в неясный туман...

Немыми тенями его населил
Мой разум больной и об этом забыл,
И в сумрачных стенах огромных домов
Ютятся обрывки утерянных слов...

Я каждое утро на башню всхожу,
На мир запредельный в волненьи гляжу,
Но тщетно — пустыньны мои берега,
Не вижу друзей и не вижу врага...

Лишь ветер поет в опустелом краю
Безумную песнь про свободу свою...
А тени немые на чёрной стене
Встают на колени и молятся мне!..

16 июля 1982

Сражение у Каменной реки

Будто кто-то вдруг ударил
В мой волшебный барабан,
Закричали в джунглях птицы,
Зазвенел вдали тимпан.

Сто слонов, в боях бывалых,
Затрубили впереди,
И от страха, и от злости
Сердце дрогнуло в груди.

Засверкали сотни копий,
Ощетинились штыки,
Приготовились к атаке
Иноземные полки.

Мой посыльный негритенок
Все метался тут и там,
И гремели барабаны,
Ядра били по кустам.

Генерал был тяжело ранен
Меткой пулей — прямо в грудь.
Он сказал мне, умирая:
— Продержись еще чуть-чуть...

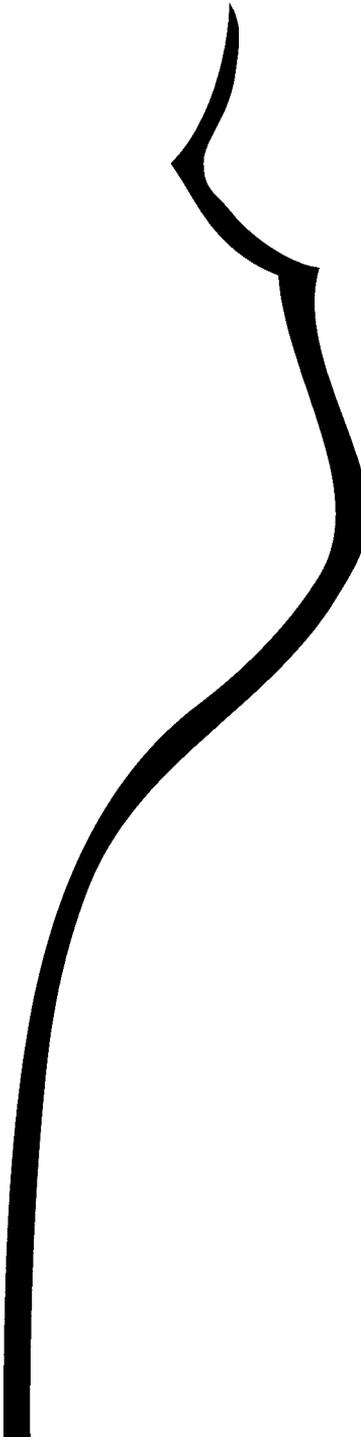
Бомбы с свистом пролетали,
Неприятель наседал,
Я запомнил, я исполнил,
Что сказал мне генерал.

И пока враги в сраженьи
Из последних бились сил,
Я резерв отрядов конных
Им направил прямо в тыл.

С свистом, хохотом и бранью
Мы ворвались в их бивак,
Захватили командиров
И убили, как собак.

Так закончилось сражение
Возле Каменной реки,
Где смешались и бежали
Иноземные полки.

28 июля 1982



В подземной пещере
Мы тянемся к свету,
Но заперты двери,
И выхода нету,

Мой факел громадный
Ещё не угас —
Он пламенем жадным
Пылает меж нас.

Мой спутник хохочет,
Безумен и дик,
Он требует ночи,
Он ночи двойник.

Большая, глухая
Теснится тюрьма,
Над ней, польхая,
Шевелится тьма.

Я крикнул, и эхо,
Услышав мой крик,
Удушенным смехом
Вернулось на миг.



15 августа 1982

Я мчал по бульварам,
По мокрым и чёрным цветам.
Нагие кошмары
Бежали за мной по пятам.

Прохожие мимо
Шагали по лужам — меня,
Дождливые зимы
И позднюю осень кляня.

И ветер порывом
Мне в спину с свирепостью бил,
Касаясь лениво
Кошмаров мелькающих крыл.

И с криком и с воплем
От них я бросаюсь в Неву —
Кошмары утопли,
А я всё плыву и плыву...

Холодные руки
Со дна поднимают они,
Цепляют за брюки
И шепчут мне в ухо: «Тони!..»

Вода ледяная
Мне горло сжимает кольцом.
И я вспоминаю,
К мосту повернувшись лицом,

Спокойные годы
Учёбы, работы, труда —
И всё это воды
Возьмут, унесут без следа.

Зеваки толпятся
(Как много их тут на мосту),
И с шумом стремятся
Меня разглядеть на свету...

Облезлые лодки
Спустили они над водой
И дали мне водки,
И дали желанный покой...

В просторной палате
Лежу на кровати один,
И кто-то в халате
Приносит с водою графин.

А длинные змеи
Ползут с потолка по ночам,
Садятся на шею,
Спускаются вниз по плечам.

И ужас подходит,
И лапами в гневе трясёт,
По комнате бродит,
Ужасные песни поёт.

Я болен, безумен —
Не буду я спать до утра,
Я буен и шумен —
И колет меня медсестра.

Усну, убаюкан
Нелепым искусственным сном,
Не слыша ни звука,
Не грёзя о счастье ином...

15 августа 1982

Злой демон невидимкой
Проникнет в поздний час
В парадные покои,
Чтоб потревожить нас.

По лестнице скрипучей
Подыметесь тайком
И в щёлку из-под двери
Подует сквозняком,

Запутается в складках
Муслиновых гардин,
Из двух бутылок вина
В один сольет графин,

И с хохотом твой он
Развеет волоса.
И с пламенной зарёю
Умчится в небеса.

Ты тихо улыбнёшься
Чему-то про себя,
Свой непослушный локон
В раздумьи теребя...

28 августа 1982



На пегой кобыле пустынной дорогой
Я ехал немало,
Кобыла устала, поранила ногу,
Заржала...

По каменным плитам подковы стучали,
И, дымкой повиты,
Мне дали мигали сердито,
Стучали в испуге копыта.

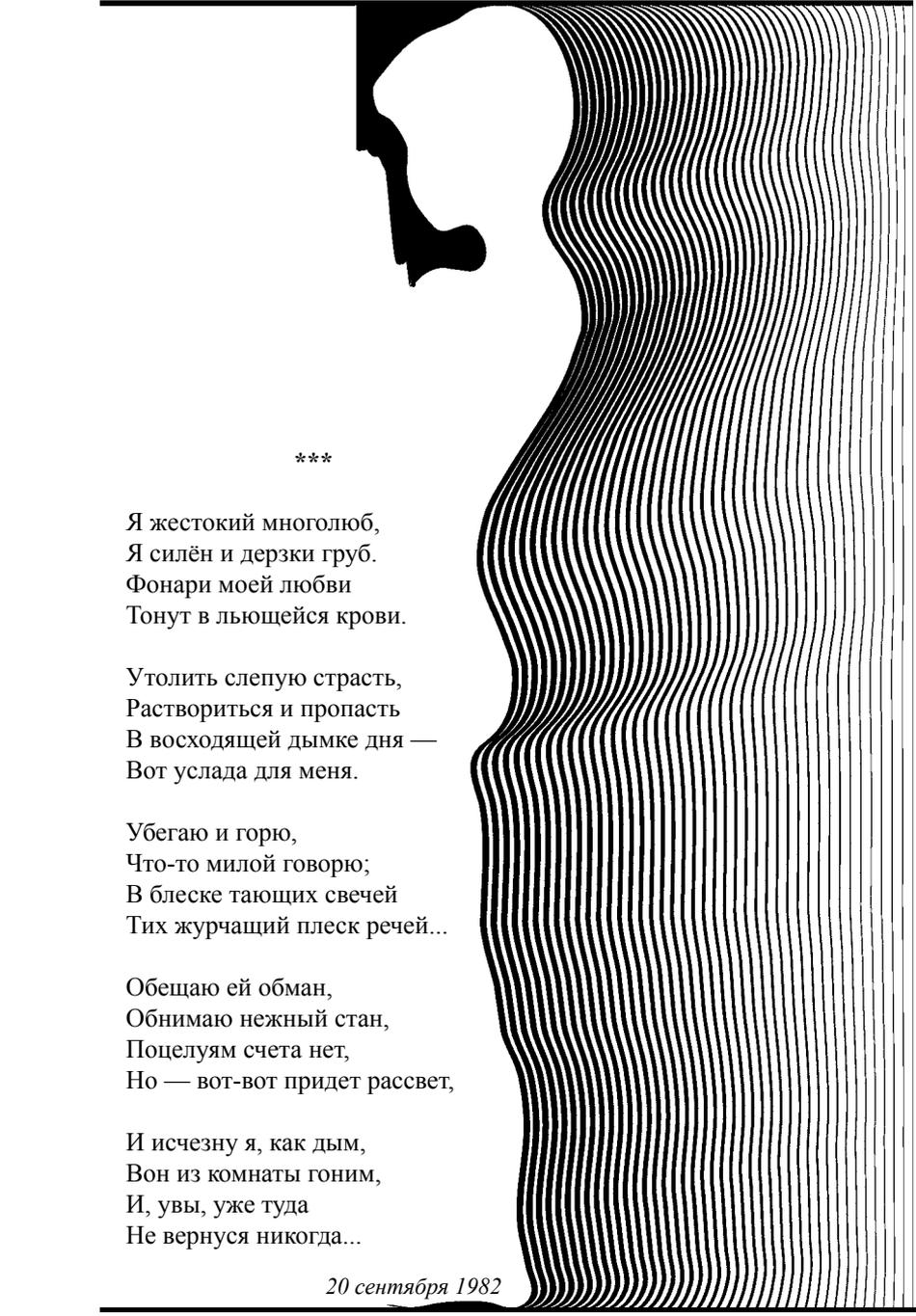
Я город увидел: — Скорее, скорее! — кобылу гоню я.
И песню, ликуя,
С победным весельем пою я.

Но радость напрасна:
Мне сразу же ясно,
Что город пустует.

Кривой мостовую я мчу в иступленьи
Вершить преступленья,
Как чёрствая булка
Катясь по ступеням — и громко, и гулко.

И нет избавленья. Разорваны звенья,
А шпагу и шпоры
В дороге украли и мне же продали
Негодные воры.

1 сентября 1982



Я жестокий многолюб,
Я силен и дерзки груб.
Фонари моей любви
Тонут в льющейся крови.

Утолить слепую страсть,
Раствориться и пропасть
В восходящей дымке дня —
Вот услада для меня.

Убегаю и горю,
Что-то милой говорю;
В блеске тающих свечей
Тих журчащий плеск речей...

Обещаю ей обман,
Обнимаю нежный стан,
Поцелуям счета нет,
Но — вот-вот придет рассвет,

И исчезну я, как дым,
Вон из комнаты гоним,
И, увы, уже туда
Не вернуся никогда...

20 сентября 1982



Ты в расставанье не верь,
Милая, ну не грусти,
Тихо высокая дверь
Скрипнет на вешнем пути...

Дай, поцелую тебя,
Дай, обниму тебя вновь:
Можно забыть, не любя —
Можно забыть ли любовь?

Клятвой своей закреплю
Ласками данный обет.
Вечное слово «люблю»...
...Близок проклятый рассвет.

Губы твои так белы,
Веки опухли от слёз,
Взбились, и нежны, и злы
Пряди взметённых волос...

Тесно и робко уму,
Поздняя тает свеча...
Руку несмело пожму —
Как же она горяча!..

Ты в расставанье не верь.
Я не забуду, о нет!
Тихо раскроется дверь,
И рассмеётся рассвет...

20 сентября 1982

Пред тобою венчик розовый
Вниз клонится головой,
И колышет лес берёзовый
Золотой своей листвою,

Опадают серебристые
Пухом белым тополя,
Стебельки несет лучистые,
Улыбаяся, земли...

И качаются сплетённые
В волосах твоих венки,
Красотой твоей пленённые
Голубые васильки...

Не гони меня, красавица,
Дорогая, не гони.
Не могу тебе понравиться —
Я остануся в тени...

И проходишь ты, беспечная,
Лёгкой поступью маня,
Не заметив вовсе встречного
Запылавшего огня.

И, походкою нетвёрдою,
Ты вернёшься вся в слезах,
Но с усмешкой злой и гордою
На запёкшихся устах...

Я не дам тебе забвения, —
Рана в сердце — не залить
Горьким хмелем преступления
Кровоточащую нить...

И венки завянут брошенные,
Потускнеют васильки,
И поникнут травы, скошены
Взмахом любящей руки...

20 сентября 1982

В мои сады вошли уроды,
Безумной крадучись толпой,
Нагую тень моей свободы
Распять со злобою слепой.

Их вопли в жажде злого дела
С проклятьем висли надо мной.
Когда её нагое тело
Они топтали под стеной.

Свои кровавые знамёна
Роняя в поднятой пыли,
Они с музыкой похоронной
Мою свободу унесли.

В объятых мёртвого глазета
Она лежала в тишине,
И полосы ночного света
О чём-то жаловались мне...

.....

В мой сад в порыве злобной страсти
Вошли безумные толпы
И растоптали розы счастья,
И смеха вырвали шипы.

9 октября 1982



Тень упала на мёртвые залы,
Пробежала стрелой по стенам,
Где душа моя плакать устала
И внимать моим сбивчивым снам...

Я ходил, и томился, и думал.
Кто-то в двери мои постучал.
Я проснулся от робкого шума
В сонном озере мутных зеркал...

И остатки безумного рая
Растревя и развеяв в вине,
Я забыл, что искал... Я не знаю...
Друг мой милый, не плачь обо мне...

10—11 ноября 1982

Чертов дом

В этом доме дремой чёрной
Всё полно для нас.
Только маятник упорный
Бьёт девятый час.

А хозяйка — злая стерва —
Снова что-то лжёт.
По камину, как по нервам,
Ходит черный кот.

И томительно-ненужный
Длится разговор.
Месяц бледный и недужный
Смотрит из-за штор.

Полон злобной, чёрной силы
Этот дом для нас.
Только маятник унылый
Бьёт девятый час.

На гитаре кто-то длинный
Начал вдруг играть.
Кот громадный, выгнув спину,
Прыгнул на кровать.

Тихо встали, заплясали
Тени на стене,
И хозяйка в чёрной шали
Близится ко мне.

В диком страхе мы бежали
Этот чёртов дом.
И туда уж, слава Богу,
Больше не придём.

4 февраля 1983

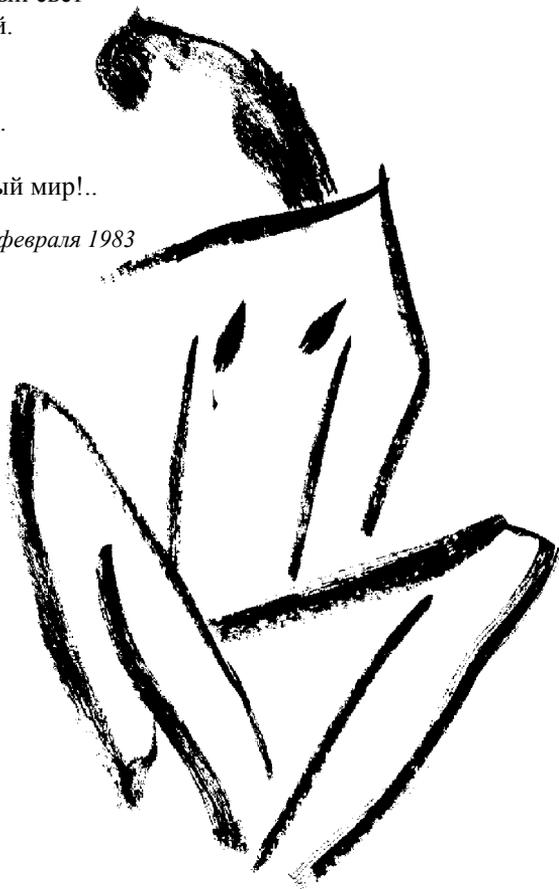
Я разлюбил свои мечты,
Картонный рухнул небосвод, —
И в мире душной суеты
Бесплотный призрак мой живёт.

Но бедная душа моя
С иной судьбой обручена,
И в тюрьмах злого бытия
Тоскливо мечется она...

И вашей жизни тёмный бред
Противен и ужасен ей —
Продажно-сладоэротичный свет
И пятна мутных фонарей.

Безумной Истины тома
Давно зачитаны до дыр...
Какая странная тюрьма,
Несправедливый, скучный мир!..

10 февраля 1983



Мои мысли — большие огромные жабы,
Что сидят в полутьме близ безумных болот,
Где течения нет, и, бессильно и слабо,
Огоньки по ночам свой ведут хоровод.

В мире чёрных кошмаров, чужих и безликих,
В твёрдом панцире зла и гнетущей тоски,
Там слышны иногда их холодные крики,
Там блуждает, манят в никуда огоньки.

Мои мысли, как скользкие чёрные кобры,
Извиваясь, ползут и сомнения яд
Источают мне в кровь, и шипеньем недобрым
Мне про что-то своё в тишине говорят.

Я устал от химер и от призраков пьяных,
Что рождает мой мозг, я устал от всего,
Как мне больно, мой друг, как страшны мои раны:
Я устал, я устал от себя самого.

Ночь 13—14 марта 1983



Повсюду проклятье

С фаянсовым звуком упала больная зарница
В гнетущую тишь...
Ты снова одна в стенах нашей безумной темницы,
С презреньем молчишь...

Тебе я слагаю высокую башню для плена
Из каменных плит.
Мой раб тяжело подымает плиту на колено
И тоже молчит.

В той башне тебя я замкну за железной решёткой
На тысячу дней.
Ты станешь задумчивой, нежной и кроткой,
Ты станешь моей...

В глазах твоих светятся смех и измена —
Но это — пока.
Гордыня исчезнет, истлеет, умрёт в этих стенах,
Как тень мотылька.

Но что это шепчет, к тебе наклонясь и оставив занятыё
Плиты подыманья, мой раб?
Измена. измена, повсюду немое проклятье!
О, как же я слаб!

14 марта 1983

Визит (2)

На свадьбу — скорее забыться,
На свадьбу — поест и напиться —
Художник, поэт и писатель
Явились некстати...

Веселие в самом разгаре,
И кто-то бренчит на гитаре,
И кто-то, уставший, уснул,
Усевшись на стул.

Начальник Петрович в подпитьи,
Художник в нелепом наитьи,
Прощая друг другу промашки,
Задвигали шашки.

Из тюля и праздничных кружев
Жена посмотрела на мужа
И вдруг отвернулась назад,
Поймав его взгляд...

Прочтя в нём немую угрозу,
С усмешкою злою и милой
Поэту она подарила
Безумную розу...

Петрович шутил, и остроты,
Похожи на ржавые шпроты,
Совместно со шкуркой лимона
Летели с балкона...

— ...Ах, как же все это банально! —
Подумал писатель, печально
Налив себе новую стопку
И бросив ненужную пробку...

...Но празднество близко к финалу,
И выпито, в общем, немало,
И нечего более пить —
Пора уходить.

Разлита последняя водка,
Бокал опрокинут в селёдку,
На скатерти — грязные пятна,
И звон в голове непонятный.

Петрович лежал в раскладушке
В объятиях мягкой подушки,
И голая пятка торчала
Из-под одеяла...

Уходят весёлые гости.
Берут свои тонкие трости,
И с смехом прощения просят,
И что-то с собою уносят —

Художник уносит сомненья,
Писатель унёс впечатленья,
И, морща взволнованно нос,
Поэт свою розу унёс...

Уж близко к полпервого ночи —
А ночи весною короче —
Покинули праздничный дом —
Спасибо на том! —

Пришедшие вовсе некстати
Художник, поэт и писатель,
Андрей, Алексей и Владимир
И роза безумная с ними.

Конец апреля 1983

В болоте

По зыбкой трясине отряд пионеров
С компасом надёжным идет,
И небо над ними уныло и серо,
Уныл и угрюм небосвод.

Болотные цапли твердят сквозь туманы
Давно им постылый мотив
Про то, как в болоте, бесславно и странно
Погиб пионерский актив.

И шепчет трубач, пробираясь несмело
По кочкам среди тишины:
— Ребята, мы делаем нужное дело
Для нашей Советской страны...

А друг его — он барабанщик весёлый,
Уставший, отстал от ребят
И плачет, и плачет, зачем же от школы
Ушел пионерский отряд.

Не знает мальчишка, увязший в трясине
Про то, что повсюду обман,
Схватившись ручонкой, от холода синей
За верный ему барабан.

Уже не отпустят холодные лапы,
Болото сомкнётся, губя.
А где-то далёкие мама и папа
Давно ожидают тебя.

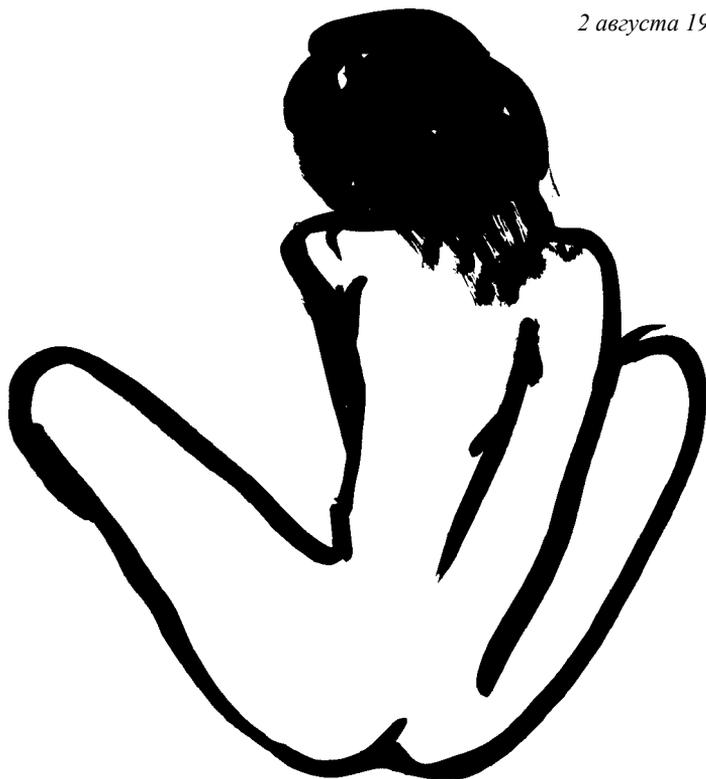
Утихли последние детские крики
Среди белорусских болот.
И только безрадостный куст ежевики.
В воде отражаясь, цветёт...

Май 1983

Деревня

Зелёный луг покрыт дрожащею росой.
И холодно ступать, и солнце
Терзает взгляд мой, в каждой капле отражаясь.
Собака Ж у ч к а лает за калиткой.
Рабочий пьяный мокрую скамейку
Несёт куда-то. Долго вслед смотрю я
Из любопытства, или просто так, со скуки,
И мух назойливых руками прогоняю...
Мычит коровье стадо у дороги.
Вдали гудящий трактор рвёт посевы...
Зачем я здесь?.. Да я и сам не знаю.

2 августа 1983



Он был возвышен, он был возвышен,
Он был приближен ко мне,
Но он упал и разбился о скалы
Не по моей вине...

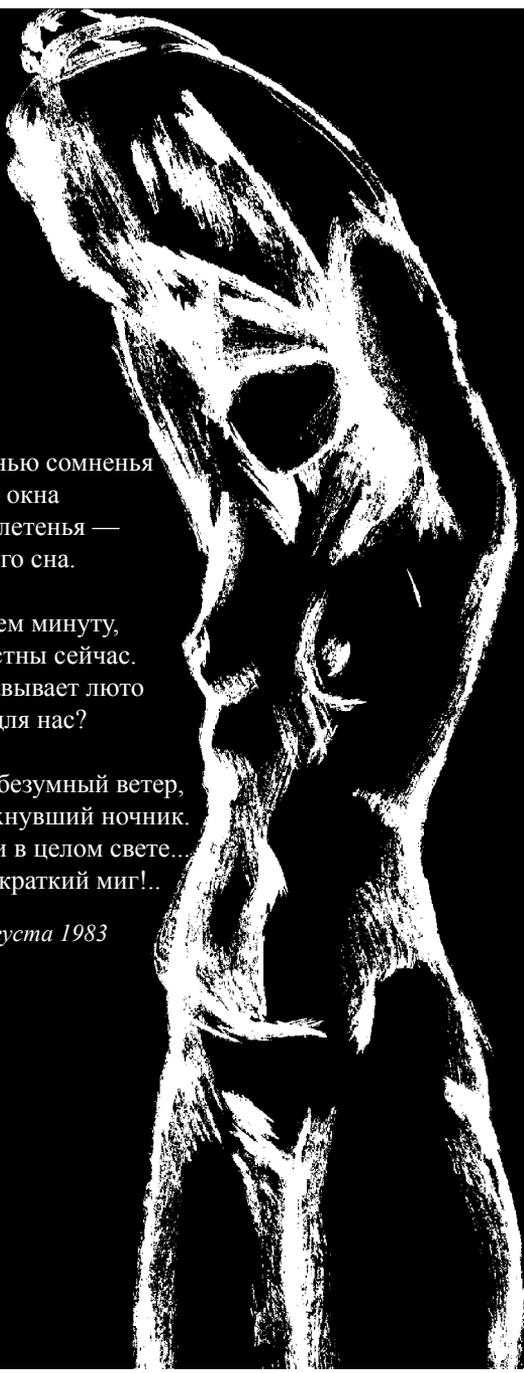
Ветер неверья овил его душу
Сотней тончайших измен:
Он бросился вниз с высочайшей башни,
С её отверженных стен.

А мы, хранители сумрачных таинств,
Молебны служим по нём.
Мы утром тело его подобрали
И в землю зарыли днём.

Ты грёзил небом, ты жаждал полёта.
Безумный, хотел ты жить.
Но злобные Парки вчера порвали
Твою мятежную нить...

Я с скорбью пою последнюю песню
О том, кого уже нет.
И гаснет в лампаде моей одинокой
Последний, прощальный свет.

19 августа 1983



Осенью так грустно, осенью сомненья
Все заткали стёкла моего окна
Тонкой паутиной. и её сплетенья —
Звенья золотые сумрачного сна.

Милая, у счастья выкрадем минуту,
Будем словно дети, радостны сейчас.
Пусть за дверью осень завывает люто
И бушует буря. Что они для нас?

Призрачную штору рвёт безумный ветер,
И тотчас же гаснет вспыхнувший ночник.
Мы одни с тобою, здесь и в целом свете...
Будь благословенен этот краткий миг!..

19 августа 1983

Орестея

Античный хор опять звучит.
Под скорбный гром оркестра
Царь Агамемнон был убит
Коварной Клитемнестрой.

Но мне Кассандру больше жаль.
Мне ближе, уж поверьте,
Её судьба, её печаль,
Её покорность смерти.

Убийца ей вонзит свой нож —
Кинжал кровавый — в грудь,
И торжествующая ложь
Продолжит подлый путь.

Орест за смерть отца отмстит,
Но за нее ли, а? —
Кассандры тень за ним стоит
Невинна и чиста.

Об этом только Локсий знал,
Но у него спросил
И нам позднее передал
Божественный Эсхил...

19 августа 1983

Есть три пути: трудиться
Звать бога или спиться...
Ю.Кузнецов

Жить, метаться и мечтать,
И не знать, когда умрёшь.
Непрерывно повторять
Где-то слышанную ложь.

Поцелуям, не любя,
Отдавать себя без звука,
День за днем вот так губя,—
Что за скука? что за скука?..

Подарить навек свой труд
Государству и народу...
Но по-прежнему живут
Вкруг тебя одни уроды...

Верить, что единый Бог
За тебя уж все продумал
И поставлен потолок
Суете мирской и шуму?..

Иль запоем вина пить,
С головой, как буй, туманной.
И в стакане утопить
Все химеры, все обманы...

Выше всех себя считать
И свои предубежденья
И бросаться, словно тать,
На слепого от рожденья...

Можно век свой посвятить
Мудрости любой.—
Человеку быть нельзя
Лишь самим собой.

21 августа 1983

Нонсенсы Эдварда Лира

(Перевод с английского)

Перед вами гонконгский старик,
Что приличий науку постиг —
Он лежит на диване, голова — в чемодане —
Любопытный гонконгский старик.

***А

А вот — старикан с Файф-Несса.
Ему жизнь омерзела до беса —
И под звуки баллад поедает салат
Как лекарство старик с Файф-Несса.

***А

А вот — старичок из Сиднея,
Что ловил пауков, бледнея.
И за чаем их вскоре поедал перед морем
Романтичный старик из Сиднея.

***А

Нежная девушка в белом
В бездну глядела несмело.
Ветра крики и взмахи — и в отчаяньи, страхе
Убежала вдруг девушка в белом.

***А

Вот милая леди, чей нос
Непрерывно ветвился и рос.
Вот он скрылся из глаз. — Леди впала в экстаз:
— О прощай же, прощай же, мой нос...

***А

Беспринципный старик из Порт-Грига
(С возмущеньем заносим мы в книгу)
Вверх ногами на ветке наизнанку жилетку
Одевал тот старик из Порт-Грига.

***А

Старичок почесал в бороде
И со вздохом сказал: — Быть беде: —
Две совы и жар-птица, пеликан и синица
Свили гнезда в моей бороде.

С нависшим над волнами носом
Седого я встретил матроса:
Он, рыбачив в ночи, сто четыре свечи
Привесил к громадному носу.

***А

Убеждения старца из Чили
Очень вздорный характер носили:
Никого он не слушал, ел арбузы и груши,
Тот заносчивый старец из Чили.

***А

На ботинках у леди из Лутона
Шнурки были вечно запутаны;
Но, купив босоножки и цепочку бульдожке,
Она часто гуляла по Лутону.

Поведение старца из Перу
Эксцентрично порою не в меру:
Он волосы рвал и, как огненный шквал,
Метался по горному Перу.

***А

А вот — человек из Молдавии,
Известный своим благонравием:
Почти что сто лет он проспал на столе,
Этот странный субъект из Молдавии.

***А

Вот милая леди из Тира,
Вытиравшая струны у лиры;
Звуки вдаль убегали, и рыдали в печали
Потрясенные жители Тира.

***А

Характер у старца из Клужа,
Чем дальше, тем хуже и хуже,
И вот — под лотком, во лбу с молотком
Был найден сей старец из Клужа.

Раздражительный старец из Лидса
Закупил для какой-то девицы
Груш и яблок два пуда и бросал их повсюду
Прямо в головы жителям Лидса.

***А

Был один старичок из Калькутты
Уличён в беспорядках и смутах;
Он, танцую с котом, пил из шляпы при том,
Смущая всех граждан Калькутты.

Смотрите — вот девушка милая,
Чей нос перемазан чернилами;
Говорят все: — О да. Это просто вода.
Но не верит им девушка милая.

А вот — миловидная леди,
Чья жизнь — это просто трагедия;
И, сидя в канаве, мечтая о славе,
Мемуары писала та леди.

Шляпа у старого Джимми —
С полями уж очень большими;
Говорит он: — мой брат! Если выпадет град.
Приди — я укрою под ними.

***А

А вот — старичок из Омана,
Чьи пути были полны обмана;
Пауков на задворках и засохшие корки
Собирает старик из Омана.

— Пчёлы, пчёлы летят на меня! —
С древа старец кричал, всех кляня, —
— О, я слышу жужжанье! Эти злые созданыя
Летят, чтоб ужалить меня!

***А

Старичок, как лекарство от коликов,
На обед ел одних только кроликов;
Штук пятнадцать он съел и стал белым, как мел,
И скончался на месте от коликов.

***А

Один старикан из Богемии
Окрестил свою дочку Эвфемией:
На она — вот умора! — вышла замуж за вора,
Огорчив старика из Богемии.

***А

Вот русская леди, от крика
Чьего мне порою так дико;
И я никогда — ну просто беда! —
Не слышал подобного крика.

Воскликнул старик: — Неужели,
В колокол бью я без цели?
Бью зиму и лето, ответа же — нету,
О Боже! В своем я уме ли?

**) А — лимерики, обозначенные этой буквой, являются практически адекватными переводами.*

Отсель, доколе правил ложных
Нам невозможно избежать
И невозможно осторожно
Снять заповедную Печать,

Я вам свершу совсем не в милость
Круги мгновенных превращений,
Замкну в кольцо поток мгновений,
Чтоб бытие остановилось.

Я поверну его кристалл
И в лабиринт раскрою двери,
И, укрепясь в надмирной вере.
Познаю книгу «Капитал».

Прозрачный шар моих свершений,
Чад совокупных наслаждений
Гоню с крутых вершин сознания
И Коммунизма строю зданье.

9 декабря 1983

Я bandido Эсмеральдо,
Злой и лысый Эсмеральдо,
Я убил в Тегусигальпе
Триста десять человек.

Ровно в полночь, в час зловещий,
Выхожу я на дорогу
И прохожему вонзаю
Меж лопаток острый нож.

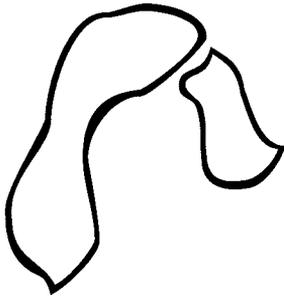
Но однажды, тёмной ночью,
Летней, душной, тёмной ночью
Стражи мира и порядка
На меня напали вдруг.

Бился я, как зверь взбешённый,
Бился я, но утомлённый,
Кровью чёрной обгарённый,
Выпал нож из слабых рук...

О прекрасная Люцинда,
О небесная Люцинда,
По тебе душа томится,
Сердце плачет в смертный час.

Для тебя все злодеянья,
Для тебя все преступленья
Под покровом тёмной ночи
Совершал я столько раз.

Убивал я и в подарок
Приносил моей Люцинде
Окровавленные кольца
И алмазные браслеты,
Ожерелья из коралла...
Но была неумолима,
Холодна и равнодушна
Солнцеликая Люцинда
В обращении со мной.



Для тебя, о дорогая,
Для тебя, Люцинда злая,
Я сгубил в Тегусигальпе
Триста десять человек...

...Вот палач топор свой точит,
И народ толпится шумный,
И кричит народ безумный,
Потешаясь надо мной.

.....

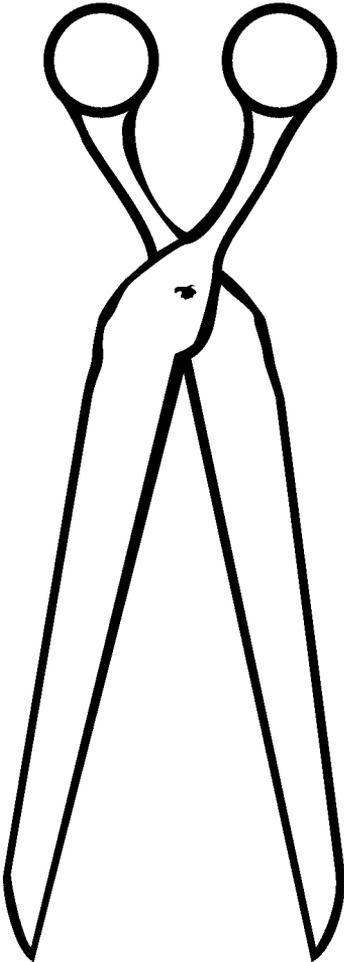
О, прощай, моя Люцинда,
Незабвенная Люцинда,
О душе моей погибшей,
О злодее Эсмеральдо
Перед Богом помолись...

За грехи свои в ответе
Я не должен жить на свете,
И палач топор заносит
Над поникшей головой.

О, прощай же, о, прощай же!
Милая, прощай навеки...
Ухожу в долину смерти,
Ухожу в последний путь.

О тебя любившем нежно,
О погибшем Эсмеральдо,
Милая моя Люцинда,
Никогда не позабудь!..

13 декабря 1983



Ну что, ребятки? Ещё по разу? —
Не оставлять же её, заразу...
Люблю по пьяни поговорить,
А то бы бросил давно бы пить...

А ну-ка, вспомним о наших всех,
О тех, кто в море... Об этих-тех...
Тебе ж неплохо, мой друг Виталик,
Ещё наполнить один стопарик.

...Я знаю, Бутый, ты во хмелю
Безумен, буен... И всё ж люблю.
...А ты, Виталик, себе налей.
Не хочешь больше?.. — Не хошь — не пей...

О чём я, то бишь? забыл... ах, да!
Пораскидали нас всех года...
Ваблякин Ванька попал в тюрьму,
А Пьер Безухов — на Колыму,
Свалился Ромка под электричку,
А сука-Зинка — уж большевичка...

...Остались трое из наших — я,
Виталик, Бутый — мои друзья.
Одни забыты, других уж нет,
И кто-то спился на склоне лет...

Непримирённые — со всем смирились,
А добивавшиеся — всего добились,
Кто правды страждал — теперь страдают...
Что делать, братцы?.. — И сам не знаю...

17 января 1984

Я люблю это сонное море,
Я люблю эти острые скалы.
Я мечтаю о девушке Лоре,
Что когда-то меня целовала...

По утрам голубые туманы
Окружают мой сказочный город
И бередят забытые раны,
И в твой образ сплетаются, Лора...

Ты, наверно, сейчас растолстела,
Превратилась в подобье кадушки,
И с одышкой тяжёлое тело
Опускаешь, зевая, в подушки...

И семейное счастье, наверно,
Уж не видишь ты в розовом свете,—
Муж попался негодный и скверный,
Утомили капризные дети.

Но порой без особой причины
Ты грустна и печальна, толстушка,
И наутро твоя отсырела
Пуховая большая подушка...

В моём замке светло и спокойно.
День ещё один сумрачный прожит.
И закрыты и ставни, и двери.
И меня ничего не тревожит.

18 февраля 1984

Я слов не хочу. —
Все слова уже сказаны ранее,
И близость твоя
Опьяняет и душит меня.
Разрушено всё,
Но осталось желание
Быть всем для тебя
И сгореть в очистительном блеске огня.

Я изгиб твоих губ
Целовать бы желал до рассвета,
А тело в объятьях
Держать и измучить своих...
Пусть пламя горит,
И, теплом его жарким согрета,
Тает душа,
И причудливо льётся мой стих.

Быть только вдвоем —
Нам свидетелей лишних не надо.
На оконный карниз
Тихо падает снег...
Ты в сомненьи молчишь...
Вдруг неожиданно заплачешь с досады...
Блики бегут,
В никуда направляя свой бег...

15 января(2 марта) 1984

Вот этот дом. Сегодня в нём
Мы совесть мира хоронили
И в гроб слагали под окном
Букеты мёртвых роз и лилий.

Тут смех рыдал в своем углу,
Печаль безумная смеялась,
И чьи-то всхлипы на полу
Топтала праведная жалость.

Мне подлость поднесла стакан,
И с ней за упокой мы пили;
В молочный уходя туман,
Дрожали башенные шпили...

И красный карлик на часах
В свой бубен бил без промедленья,
И маятника злобный взмах
Считал последние мгновенья...

И комья липкие земли
На гроб со стуком мы бросали...
И в скором времени ушли,
И больше совести не знали.

6 октября 1983 (12 марта 1984)

На границе

Ночь. Позёмка. Степь и хата.
И дозорный пограничник
Со своей собакой Шавкой
Сквозь метель надёжно смотрит
На далёкие границы
Нашей Родины свободной.

Но не дремлет враг коварный,
Он ползёт, к земле пригнувшись,
За спиной он держит карту,
И враждебной пропаганды
Несоветские листовки
Он рукой дрожащей прячет.

Пограничник — уроженец
Золотых холмов Украйны,
Он стоит один на страже,
И собака Шавка лижет,
Позабыв про дело чести
Сапоги его из кожи...

Хитрый враг коварно выбрал
Направленье против ветра,
И не чует пес беспечный,
Что близко врага дыханье
И что нож стальной играет
У него в руках злодейских.

Но советский пограничник
Слышит шорох среди степи —
Быстро вскинул он винтовку,
Подпустил врага поближе
И всадил заряд отменный
Прямо в лоб врагу народа.

Пограничник награждённый
На побывку едет в Киев,
А собаку Шавку завтра
Увезут на мыло в город. —
Пусть враги кусают локти
Вне себя от дикой злобы!

Весна 1985

Люби меня, моя милая,
Люби меня, моя нежная,
Счастье мое безбрежное,
Звездочка моя ясная...

Что нам весь мир безрадостный?
Вечные все вопросы?..
Твои расплетая косы,
Ласковый веет ветер...

Ты мне подаришь счастье,
Краткую радость земную,
Я зацелую милую,
Тело её зацелую...

Тайной и нежной силою
Полны твои объятия...
Мне хорошо с тобою.
Люби меня, моя милая...

13 апреля 1984

Маленькая девочка
со странными глазами,
Что бы ты хотела,
чтоб я сделал для тебя?
Я старый,
больной,
И я умер
давно
Для себя,
не любя...
У меня уже нет никаких желаний,
все мои желанья — желанья твои.
Маленькая девочка
с золотыми волосами,
Мне нельзя добиться
твоей любви...

Как это горько
и как это больно —
Иметь нежную душу
и ненавистное тело,
Смотреть из-за занавесок
несмело
И бесполезно, бессмысленно
мечтать
О том, чего
никогда не достать
И никогда
не добиться...

20 июля 1984

Одна заурядная история

...But these are all lies: men have
died time to time, and worms have
eaten them, but not for love.

Shakespeare

Влюблённый в Матильду,
В пресветлую Эльгу,
Бедняга страдал от любви.
Но счастье так зыбко,
Так трепетно-струйно —
Его лишь мгновенье любви!..

Прекрасная Эльга
Надменно ступает.
На Ханса не смотрит никак,
Хоть сладкое имя
Её повторяет
Влюблённый дурак...

И Херлуф богатый,
Владелец поместий,
Вниманьем её одарён.
К отцу её сватов
Послал он с подарком
В две тысячи крон...

Вот Херлуф и Эльга,
Счастливая пара,
Под свадебный всходят венец.
И праздник весёлый
Венчает всё дело,
Венчает счастливый конец...

А Ханс, потрясённый
Подобным известьем,
Скитался, безумный, без сил.
Он крепкую петлю
Из стеблей ползучих
Себе в утешение свил.

Её обвязал
Вокруг шеи с любовью,
Со смехом повесил на крюк,
И вскоре наш мир он,
Несчастный, покинул,
Избавившись вовсе от мук...

.....
И всех его бессмысленных желаний
Свершился круг...

21 июля 1984

Мы дети упадка.
Как больно, как сладко
Об этом порой повторять!
Мы лучшие дети эпохи упадка.
На нас роковая печать.

Навстречу веселью
И звону бокалов
Стремим мы бездумно лучи.
А жизни осталось так мало, так мало,
Ты, глупое сердце, молчи!..

Чаруйные звуки
Изнеженных скрипок
Для наших сердец так сильны! —
Наш мир эфемерен, воздушен и зыбок,
Как робкое пенье струны...

Но наши понятия
Возвышенно-строги,
И наша надменна печаль,
Мы будто последние, древние боги,
Которым былого не жаль...

И вы не смотрите
На наши стремленья
Сквозь стёкла своих фонарей.
Мое поколение — идущих к забвенью,
Последних живущих людей!..

23 июля 1984

Открой, открой сырые ставни.
Холодной обними рукой
И этой ночью, друг мой давний,
Желанный ниспошли покой.

Тебя я жду. И обращаю
К тебе молитвы. Им внемли...
И имя горькое читаю
В могильной сырости земли.

Приди ко мне. В устах прощальных
Улыбку смерти затаи
И ими, ангел мой печальный,
Целуй, целуй уста мои.

Когда же мёртвые объятья
Ты чрез минуту разомкнёшь
И, белое расправив платье,
Холодной поступью уйдёшь,

Я буду там, огнём, навечно
В болотном хаосе блуждать
И путника, тропой беспечной
Идущего, с улыбкой ждать.

6 августа 1984

— Вот твоя постель,
мёртвый брат...

А.С.

Подарили мне братья
Три златые кольца
И атласное платье
Для венца, для венца...

В моей горнице жаркой
Только свечи горят;
Приняла их подарки,
Их надела наряд.

Гробы — тёмные пятна...
Лунный луч золотой.
Трое братьев лежат в них,
Гроб четвёртый — пустой.

Я ложусь в него тоже.
Сладкий яд на устах.
Ты прости меня, Боже.
В сердце трепетный страх.

Гаснут свечи по кругу...
Братья, ваша жена
После смерти супругам
Остаётся верна...

Вы закройте ей веки.
Нет дороги назад.
Мы с тобою — навеки,
Мёртвый, призрачный брат...

6 августа 1984

Когда я умру и захлопну все двери,
О странная, стройная, страстная Мэри,
Ты вдруг прочитаешь последний мой стих.
Отравленный ядом сомнений больных.

И нежною ручкой страницы листая,
Ты будешь смеяться, прелестница злая,
Над плачем ненужным и холодом вьюжным,
Излитым когда-то душою недужной...

И вспомнив однажды, во время обеда,
Откинувшись томно в объятия пледа,
Об этой тетрадке, её ты вручишь
Своим кавалерам, мой милый малыш...

Они посмеются зловещему слогу,
О нашей поэзии скажут немного,
С комичным эффектом прочтут два стиха,
Заметив, что рифма совсем уж плоха...

Ну что же? Удел мой всегда был таков, —
Я вечный писатель ненужных стихов.

6 августа 1984

На одном из званых четвергов

Приглашённые на вечер.
Мы втроём
Входим в ожиданьи встречи
В нужный дом...

Будут там закуски, вина,
Будет муж
И прекрасная Алина
С вазой груш...

Молодая наша пара
Приглашает на банкет.
Мы же трое представляем
«Высший» свет...

Будут умные беседы
Ни о чём...
Достоевский — за обедом,
За вином...

Мысли кружатся, мелькают,
Их сплетенья исчезают
За окном...

Объясняю без утайки —
И хозяин, и хозяйка
(Здесь тире)
Лишь объекты для насмешки
В нашей умственной игре.
Это пешки,
Просто пешки...

Мы их двигаем со смехом
Взад, вперёд.
Что за чудная потеха?
Кто поймёт?

Обижаться нет причины
Никакой. —
Тут красавица Алина,
Здесь, искрясь, лиются вина
Шумною рекой...

В плен душевных разговоров —
Выбран путь —
Нам Алину скоро, скоро
Удаётся затянуть...

И признаний откровенных,
Мыслей тайных, переменных
Изложение пошло.
Время быстро протекло...

Звон бокалов, смех, остроты,
Ощущение полета...
Гости пьяны, други тоже
На себя уж не похожи, —
На диване улеглись. —

Как тут быть?
Трое тут же поднялись
Уходить.

На прощанье захватили
(Во дворе потом распили)
Полбутылки коньяка,
И — пока.

— До свиданья. — До свиданья... —
Разошлось
Наше шумное собранье
На авось

Ждать другого приглашенья,
В этот раз — на день рожденья...

6 августа 1984

О да ,
*написанная по поводу глубокого
и длительного размышления
патриотически настроенного автора
о судьбах социализма вообще и нашего
славного государства в частности*

Хочу я громко восхвалить
Свое родное государство,
Разоблачить врагов коварство
И свет на многое пролить.

Когда разумный Кормчий правит
Общенародным судом сим,
Когда весло его буравит
Волну, бегущую пред ним,

Не смей молчать, поэт лира!
Воспой достоинства Его,
Социализма торжество
И мысли мудрого Кумира...

Но это все потом. Сначала,
Вложив в сие трудов немало,

Сейчас врага я буду право
Пред всеми тут — разоблачать,
Его в уловках уличать
И в злодеяниях кровавых.

Что может твари быть презренней,
Которая ворчит на то,
Что где-то что-то тут не то,
На наш Плетень кидая тени ?

Ату, ату его, врага!
Сослать тотчас на берега
Чукотки края. Пусть он там
Внимает бьющимся волнам.

Есть, правда, тут еще другие —
Им з а г р а н и ц а дорога,
И взгляды чуждого врага
Милее, чем свои, родные.

Церковник — тоже этой масти:
Он говорит о высшем счастье
Не Здесь, а где-то там, в раю
И тем чернит Страну мою.

Так все они — на тайной службе
Шпионами у ЦРУ,
И стыдно описать перу
Все связи их и все их дружбы.

Еще е в р е и есть у нас.
О них поговорим сейчас.

Подозреваю, что подпольно
Готовят подлые жиды
Шестиугольные звезды
На Кремль взамен пятиугольных

И хочут Мавзолей взорвать, —
Их тоже нужно всех сослать
В Биробиджан, а может, дале,
Чтоб там их плётками стегали.

Я всех врагов разоблачил.
Теперь займётся ярким, светлым —
Всегда нам труд желанней был,
Чем сором занятые метлы.

Наш труженик в одушевленьи
Идёт поутру на завод,
Турбин его гудящий ход
Тем самым приводя в движенье.

Гигантских шкивов и колёс
Вращенье бешено мелькает,
И каждый втуне понимает,
Какую пользу о н принёс...

Я нашей Партии вниманью
Пою могучие хвалы,
И Гимна звуки мне милы
И Флага в небе колыханье...

Наш красный флаг,
Пусть знает враг,
От злобных, бешеных атак
Надёжно защищён народом,
И пусть не думают уроды,
Что победят нас просто так!

Пусть злобный Рейган
Бомбой машет
И, как паяц,
Под дудку пляшет
У Пентагона на корму —
Мы все дадим отпор ему!

Наш Генеральный Секретарь
(Не то, что жалкий русский царь
Когда-то встарь!,

Народа гласу он внимает,
Его желанья понимает,
Их обсуждает целый год
На пленумах и заседаниях
И мудро возвышает зданье
Социализма, наш оплот
Недаром слово «генеральный»
Легко рифмую с «гениальным»).

Вот восхвалил я наши плюсы,
Но есть у нас, конечно, флюсы,
Но мало их и нет почти.
О них я думать не желаю,
Любовью к Родине пылая, —
Их наши Съезды разрезать
Заботу взяли, и печать
Их регулярно освещает.

Я оду написал. За труд
Мне дайте сразу гонорар.
Один печатный экземпляр
По почте пусть мне перешлют.
А если нет, я не прошу —
Д р у г у ю оду напишу.

6 августа 1984

Ляг и спи, малыш, и слушай
Странный шепот робких лилий,
Что в мою больную душу
Хоры ангелов вселили...

Всё напрасно. Всё исчезнет,
И, как сон, придёт забвенье;
От моей земной болезни
Только в смерти исцеленье.

Непорочная, с небес ты
На меня с улыбкой глянешь.
Ты была моя невеста,
Ты моей женою станешь.

В сонме ангелов с кристально—
Белоснежными крылами
Ты летаешь, друг, печально
Над землю и над нами...

Сколько слёз и сколько нежных
Бледных роз и белых лилий
Засыхают безмятежно
На моей души могиле!..

...Не забуду. Только буду
Дома плакать и молиться.
Это было. А былому
Никогда не возвратиться...

21 августа 1994

Поцелуй меня, мой друг!
И кольцом горячих рук
Крепко обними.

Все смешилось: тьма и свет,
Что есть смысл, а что есть бред —
Кто же разберёт?

Счастья миг с тобой ловлю
И тебя навек люблю,
Милая Маргрет!

Ты сегодня, как всегда,
Светишь, бледная звезда,
Только для меня.

Здесь забвеньё нахожу,
В танце медленном кружу
Девочку мою.

Всё забыто, и навек —
Только падающий снег,
Только шёпот томных нег
И — журчащий смех.

В небесах великий Бог
Зажигает уголёк
Лишь для нас вдвоём.

Опускает полог ночь,
И её немая дочь,
Робкая луна,

Отвернув назад свой лик,
Убегает в тот же миг
От раскрытого окна
Прочь!..

21 августа 1984

Мы

Мы сломлены духом,
Мы пали в борьбе,
Подчинившись жестокой судьбе.
И нам не подняться
Уже никогда
Из обломков холодного льда.

Другие, которым
Уже всё равно,
Разольют по стаканам вино
И будут смеяться
На наши мечты,
И топтать голубые цветы.

Сегодня одно
И завтра одно
У стаканов звенящее дно.
Но то, что сегодня
Возвышенный взлёт,
Завтра навеки умрёт.

Мы жили, мы были
Порою грубы
И страсти своей рабы,
Но вот наступает
Последний наш час,
И тем, кто придёт после нас,

Останется память
О том, что мы
В казематах зловещих тюрмы
Погибли с собою
В неравной борьбе,
Добровольно отдавшись судьбе.

Ночь 17—18 января 1985

Я знаю, Нина, то, что Вы
Моя последняя звезда,
Моя последняя звезда
Среди бездонной синевы...

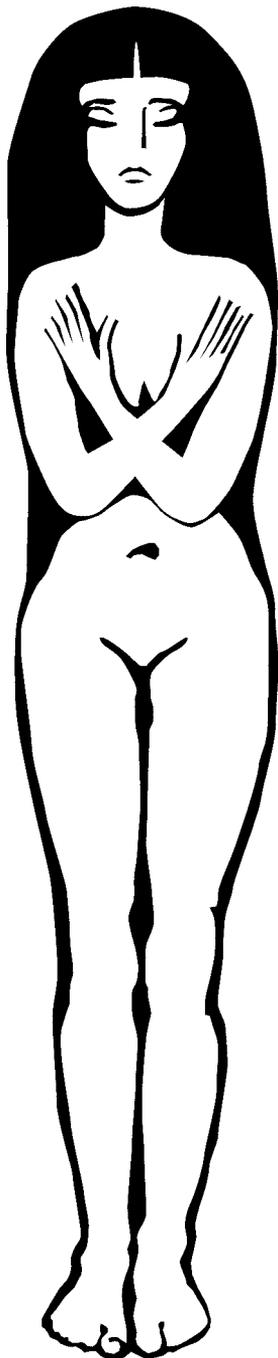
Я знаю время и число,
Отмеренное до поры,
Я знаю много нежных слов,
Забыл лишь правила игры.

И нам, наверно, не дано,
Песчинкам в мире суеты,
Срывать волшебные цветы,
Валгаллы пробовать вино.

Любить?.. — Но что это за бред
И что за странные слова? —
От них кружится голова,
И кто—то тёмный застит свет.

...И я опять сегодня лгу,
И удержать пытаюсь нить...
Найти себя... — себя сгубить
Я так хочу... Но не могу!..

20 января 1985



Чудовище
(Детский стишок)

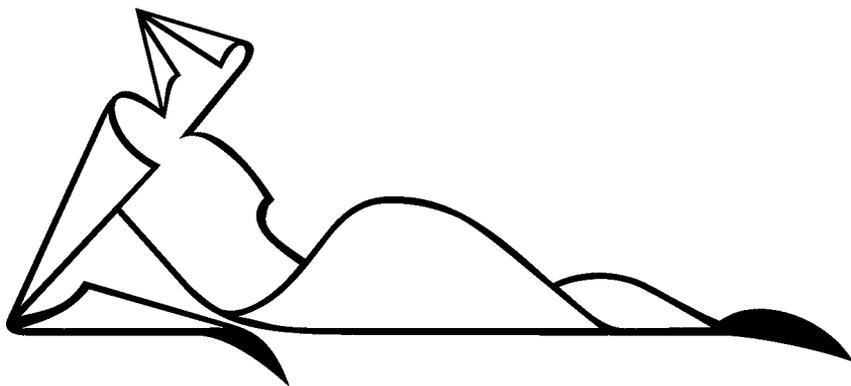
Чудовище противное,
Ужасное и длинное
В моей комнате живёт,
Лапками скребёт,
Спать мне не даёт.

О Господи, помоги! —
У него три ноги
И четыре лапки!..

На меня оно глядит
Круглыми глазами
И съесть меня хочет
Страшными зубами.

Ну и пусть, ну и пусть
Рёбра — хрусть. Не беда.
Все равно кругом бардак,
И все люди — мухоморы.

Март 1985



К смерти

(Из Китса)

Вольное переложение

Жизнь только грёза, а смерть лишь сон.
Фантомы счастья — обман, не боле.
Но человек в обманы влюблён. —
Бои́тся смерти, бои́тся боли.

Ты должен улиткой ползти во мрак,
Навстречу бедам, трудам, невздам,
И не поймёшь, трусливый дурак,
Что в смерти твоей — твоя свобода!

11 августа 1985



Внемлите, подлые рабы,
Безумной поступи Судьбы!

Она для вас навек сокрыла
Свои волшебные цветы
И жизни ваши превратила
В круг бестолковой суеты.
Как будто злая великанша,
Она шагает над толпой.
Своей железною стопой
Людишек мелких давит, давит.

Но тот надменный человек,
Что выше всех себя поставит,
Что ныне над судьбой смеётся,
Чей горделивый громкий смех
Слышнее прочих раздаётся,
Раздавлен будет раньше всех.

Ночь 11—12 августа 1985

Странные мысли приходят порой —
Мысли больные, грани двойные.
Я зачарован их тонкой игрой —
Света и тени, тайной мгновений.

Ты навсегда разделил их и слил —
Чистые звенья, грех преступленья.
И бег мгновений остановил
Ты для меня в вечности дни.

Я к безысходности мысли привык —
Тяжек отравленный ядом язык.

Слит воедино с телом мой дух —
Тем и живёт. Так и умрёт.
Берег забвенья страшен и глух,
Как и всегда. Только вода

С бледным журчаньем струится прочь,
В тёмную бездну, глубокую ночь...

Дай мне покой и забвенье мне дай, —
Я ненавижу ваш висельный край, —
В отблесках рано взошедшей зари
Только забвенья мне миг подари,
Боже, когда я умру...

1 сентября 1985

Я не хочу разбить стекло,—
О сердце, биться перестань! —
Что между нами провело
Свою безжалостную грань.

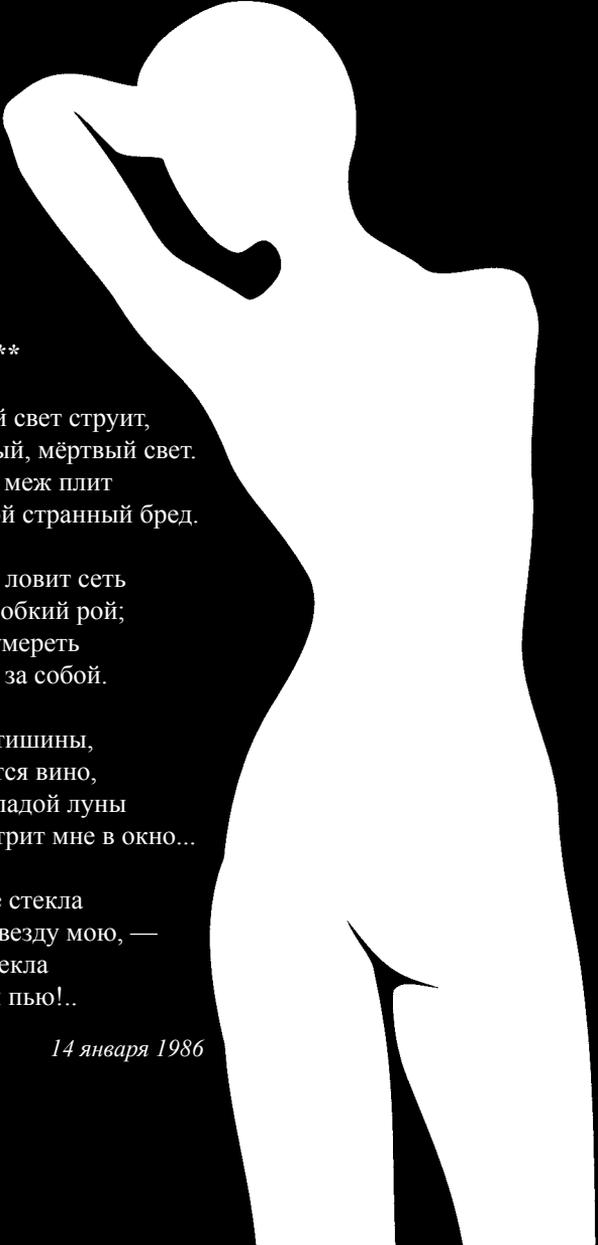
Я не могу отдать тебе
То, чем душа моя полна —
И мы, покорные Судьбе,
Пригубим кубок свой до дна.

Тоска моя, как дым горька,—
Обломок рухнувшей мечты,—
Она, как прежде, далека
От невозможной Красоты.

О милая, зачем, ответь,
Ты так безумно хороша,
Что хочет жить и умереть
Моя бессильная душа?

...Танцует бледная луна.—
Фигурка света — на стене... —
Ты снова здесь, и ты одна
Всё так же недоступна мне.

6 ноября 1985



Луна с высот свой свет струит,
Холодный, тусклый, мёртвый свет.
Он тихо крадется меж плит
И ловит в сеть мой странный бред.

В эфирных нитей ловит сеть
Моих сомнений робкий рой;
И луч дрожит, и умереть
Влечёт беззвучно за собой.

Хожу в чертогах тишины,
В бокалах плещется вино,
И бледный луч молодой луны
Всё смотрит, смотрит мне в окно...

Но я в квадратике стекла
Черчу звезду — звезду мою, —
Она одна меня влекла
Всегда. И за неё я пью!..

14 января 1986

С былых лихих времен
Для нас осталась
Непобедимая
Усталость.

И жребий наш сейчас —
Смотреть и видеть,
И мир, отвергший нас,
Возненавидеть.

Пусть белый сумрак дня
И призрак ночи
В небытие стремят
Свой мельк сорочий.

Я с горечью взирать
На небо буду,
И вас не стану звать
К иному чуду.

.....

Но всё досталось им,
Но всё рассталось с нами,
И вижу я лишь дым
Под небесами...

Увы, мне жалко вас,
Избранники судьбы,
И ваши узкие гробы,
В которых вы себя
Заживо погребли,
Внушают ужас мне...

О где вы, люди, люди?!
Жизнь кончена. И нет
Мечты о чуде...
И тает прошлогодний снег...

21 февраля 1986

И мы отдадимся тебе,
Стихия огня и мечты;
Мы, огнепоклонники тьмы,
Будем покорны судьбе...

Когда я читаю стихи,
Родные тебе и чужие,
Их розы в безбрежную даль
Уносит напева стихия...

При этом такая печаль
Всю душу порой обоймёт,
И бабочка сердца забьёт
О жизни бесчувственный лёд.

Зажги поскорее свечу,
Её огонек пусть во тьме
Затеплится —
Так я хочу...

Пусть тает прозрачная явь
На пламени тонком её,
А ты мне тепло твоих губ,
Тепло твоих шепчущих губ
В подарок, на память оставь.

Хотел целовать их всегда,
Но выпил дыханье твоё...

Ночь 29—30 марта 1986

Бледные, злые рабы
Нам кубки с вином принесли
И, губы в усмешке скривив,
Надменно стоят в стороне.

Мы пьем огневое вино
Под звуки безумные флейт,
И пляски танцовщиц нагих
Усталый не радуют взор.

Нам в жизни всё было дано:
Женщины, золото, власть.
Мы рано познали любовь
И рано пресытились ей.

Что деньги? Бесмысленный прах.
То идол для черни и толп.
Пусть давят друг друга они
И празднуют тризну свою.

Власти не надо уж нам,
Власть нужна тем, кто живёт.
Мы же желаний своих
Исполнили круг роковой.

Погашены факелы... Мы
Спинтрий призывали сюда;
И слушаем молча, во тьме,
Глухой, сладострастный их стон...

Мы слышим: мешается с ним
Стиснутых скрежет зубов,
И ненависть лютой волной
Вскипает в душе у рабов.

А нам всё равно, всё равно.
И мы равнодушно на них
Взираем без злобы: ножи
Прячут они за спиной...

Ночь 29—30 марта 1986

Отравлены звуки, отравлены строки
Безмерной, неспетой тоской.
И сцеплены руки, проставлены сроки
Разлуки усталой рукой.

Сегодня в который я раз повторяю:
Мы вскоре увидимся вновь;
Задёрнуты шторы, я снова не знаю,
Что принесёт нам любовь.

Мы слушали вьюгу в молчаньи, в молчаньи.
Мы слушали жадно её;
И долго внимало ее завываньям
Испуганно сердце твоё...

Разлука, разлука,
Жестокая вьюга...
Так много сказать мы
Хотели друг другу...

Сумели ж мы выразить,
В сущности, мало:
Сумятица мысли
Перебивала;

Угли истлевают печально в камине,
Звезда догорает в бледнеющей сини...

И я ухожу в пустоту навсегда,
Где только что скрылась звезда...

Ночь 29—30 марта 1986

Что же вы сделали, сволочи,
С бедной Россией моей?..

Мы самые мудрые, мы диктовать
Народу вольны, что захочем,
На наших устах — презренья печать,
Надменно нахмурены очи.

Мы вольны карать, но и миловать нам
Порою приходит забава,
И наши дьяки казнят по утрам,
Великим и мудрым во славу.

Не спят палачи, пытаются в ночи;
Народ же не ропщет, не стонет. —
Он голым плечом склонён под бичом,—
А мы торжествуем на троне.

Мы истины солнце узрели давно,
Дорогу вперёд освещает оно,—
Ничтожен и дерзок — не хочет вперёд! —
Пусть плети и плаху познает народ!

И часто невинных дьяки казнят
И в общую кучу труп волокут:
Но рубим мы лес — и щепки летят,
И скоро вершится неправый суд.

Мы властью своею над миром сильны,
И мы властелины огромной страны.
Пусть славят нас гимны, кимвалы звучат,
И верные псы в барабаны стучат!

25 апреля 1986

Смотреть на зыбкий свет окна
И видеть,
Как твою любимую целует другой.

Зыбкое склонение теней,
Блески ночника...

Что я чувствую сейчас?
О чем говорит она?

Он высокий и сильный,
Представитель нордической расы.
Я слишком долго молчал,
Я лелеял мечту
О ней, прекрасной и чистой,
Задумчивой, странной...

Тени двоились за окном.
Это было видно из—за
Колыхания занавесок.
Но что там происходило,
Я не знаю...

Любимая,
Я пью за тебя.
Пью в молчании и пишу стихи —
Стихи ли это?
Едва ли.
И горькая проза звучит в них.

Я вспоминаю янтарные блески:
Это мой бред...

А сегодня, пройдя мимо твоего окна,
Я увидел, что там не горит огонь.
Это значит... это значит,
Что самое страшное произошло,
Ибо должен был гореть огонь,
Если бы было иначе.

А может быть, ты не такая, как все?
Я вспоминаю тракторку
Бердяева пьес Метерлинка.
Но этого не бывает,
Этого не бывает в жизни.

И все—таки я люблю тебя,
Несмотря ни на что,
Несмотря на него.

Это выше меня, это выше всего,
Что бывает и есть в этой жизни...

Я человек... И пишу стихи;
Я дарю их тебе.
Все их посвящаю тебе.
Ибо никогда ранее не встречал
Таких женщин, как ты.

И если даже всё кончено между нами,
И если ты
Достанешься тому, который молчит,
Молчит, как хозяин,
Не говоря ни слова,

И в этом молчании чувствую я
Превосходство его
И уверенность в праве своём,

Всё равно я люблю,
Люблю только тебя,
И не знаю ничего.
Кроме этой любви...
Я умру...
Я просто умру
Навсегда...

А сейчас я нем...

И бутылка стоит на столе...

Я пью в одиночестве,
Ибо друзья
Далеки от меня, далеки,
Как и ты...

Неверной рукой
Наполняю стакан,
Липкий стакан,
Забуться хочу.

Всё, наверно, не так...

Я напрасно ушёл...

А впрочем,
Ведь ты,
Кажется, сделала выбор...

Правильный выбор...

19 апреля 1986

Семь стихотворений

1
!!!

Вы в меня вонзили нож,—
Ну что ж...

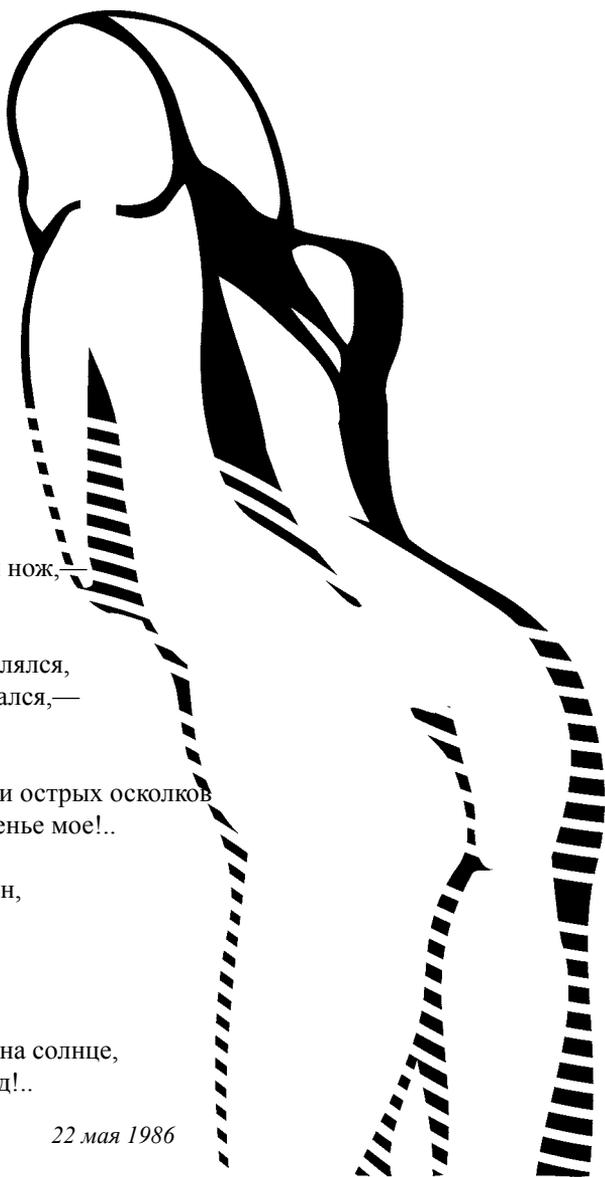
Я дробился, я кривлялся,
На осколки разбивался,—
...И разбился!

На тысячу мелких и острых осколков
Разбилось сомненье мое!..

И теперь я свободен,
Как ветер:
Разорваны
Крепкие сети...

Осколки сверкают на солнце,
Как тысячи звезд!..

22 мая 1986



2

Фрегат «Паллада»

Фрегат «Паллада», капитан, фрегат «Паллада»
Уходит в плаванье в моря иных названий,
Его уводит в океан суровый штурман,
Ведёт меж рифов, среди скал надёжным курсом...

И солнце чуждое висит над головою,
И альбатрос — гонец морей — летит над нами;
Зажгите трубку, капитан, взойдя на мостик,
Чтоб там увидеть вдалеке зелёный остров.

Для нас звучали и звучат слова наречий,
Что не услышишь никогда у нас в России,
И чайки жадные кричат, хватая рыбу,
Её терзая на куски когтём и клювом.

И бьются волны о борта, и бьются волны,
И мачта весело гудит под ветром жгучим,
Тугие полны паруса, как груди женщин,
И бешено летит вперед фрегат наш быстрый...

.....

— Фрегат «Паллада», капитан, фрегат «Паллада»
Уходит в плаванье в моря иных столетий!.,

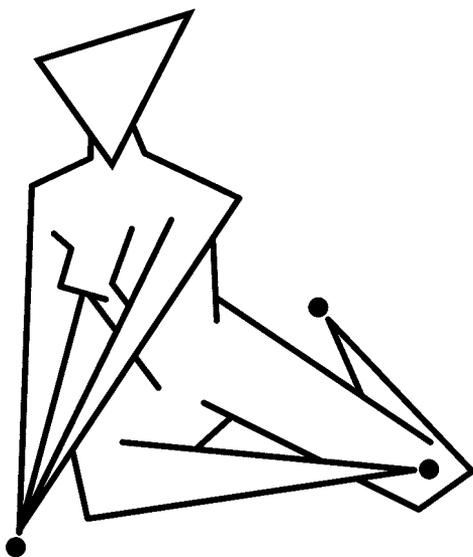
22 мая 1986

Чёрные чертики

Бейте в бубен, в чёрный бубен.
Заверните в паруса.
Чёрных чёртиков чертите
На холстине бытия!

Изрисуйте всю планету
Чёрных чёртиков чердой.
Пусть учёные всех стран
Разбирают лабиринты
Чёрных чёртиков, кружащих
В странном танце
шар железный
шар земной и
бесполезный
над своею
чёрной точкой,
чёрной маленькою точкой
обозначенной на карте
бесполезной головой!

22 мая 1986



На мотивы И.Бродского

*«Мышь пьет молоко» — название
рассказа Анатолия Кима*

Молоко пьет мышь.
Шумит далёкий камыш.
Ты что-то невнятное говоришь
Шёпотом, робким шёпотом.

Ты повторяешь, что было вчера,
Что были долгими вечера,
И длились они до утра.

А губы твои
Мечутся испуганно,
Как солнечный зайчик
По стенам противоположного дома.

Есть у меня бутылка рома.
Выпьем, поговорим.

Время, оно как дым.
Было — и утекло.
То, что было вчера — прошло.
Не надо биться головой о стекло,
За которым погас огонь давно.

Мне было больно,
А теперь — всё равно.

И тебе всё равно.

Если ты умер, то это пройдёт,
А если ты дурак или скот —
Это навечно.

Это я не о нас, а так,
Чтобы чем-то заполнить
Пустоту разговора...

22 мая 1986

5

*«...Светильники зажгет...»
(действие Иуды из Кириафа из романа
«Мастер и Маргарита»
М.А.Булгакова)*

Вы, слепые, не видите,
Как трупы падают в яму
Тех, кого ненавидите
Или любите так упрямо.

И какие-то люди
В чёрных мундирах
Засыпают ямы
И строят трактиры...

И с надеждами мёртвыми
Мы скоро прощаемся.
И с желаньями прежними
Расправляемся.

Так всегда бывает.
Всё пройдёт. —
После заката
Бывает восход.

Однако,
Если вы любите,
То должны ненавидеть.
А если желаете —
То видеть.

Но все мы слепые насильники,
Молчальники и говорильники,
Зажигаем свои светильники
И говорим:

«Что вы, право, сидите без света?
Вот я пришёл, светильники зажжёт!..»

22 мая 1986

6

Человек рождён метеором,
Чтоб лететь в пространстве холодном
По путям, начертанным Богом,
Беспредельно-свободным.

Человек свою долю света
Должен нести среди мрака,
Должен любить кого-то,
Смеяться должен и плакать.

Среди звёзд, сияющих ровно.
Неровен путь человека —
Он рождён метеором,
А звезда — звездой от века.

Свет бывает холодным,
Свет бывает жестоким,
Бывает бледным и тусклым,
И — бесконечно—далёким.

Человек свою долю мрака
Должен нести среди света.
На скрижалях, начертанных свыше,
Читаем мы это.

...Мы смотрим в землю,
Усталый потупив взор...
А в небе вспыхнула звёздочка —
Упал метеор...

23 мая 1986

Я слышу смех, журчащий вдалеке,
 Я слышу скрип уключин на реке.
 И брызги пенные бегущих волн
 Алмазным веером накрыли чёлн.

В моей душе, сожжённой навсегда,
 В моей душе - гробнице изо льда, —
 Ещё обломки прошлого лежат.
 Оно зовёт меня назад...

В моём саду, в котором жил и рос
 Цветник ликующих и ярких роз,
 Я проводил минуты в тишине,
 И время вечностью казалось мне.

Но молния ударила в мой сад.
 Всё сожжено. Тому я только рад.
 ...На пепелище не растут цветы...
 На пепелище вечной Красоты.

24 мая 1986



В.и А.Шустиным

Это была маленькая пьеска,
Сыгранная нами с большим искусством,
Не отличавшаяся блеском,
Но пробудившая в зрителе чувства.

Мы скоро поняли, что нам не стоит
И даже невозможно встречаться дальше,
И расстаться было самое простое
Средство избавиться от фальши.

Но всё-таки мы любили друг друга
Какой-то странной, чистой любовью;
Мы были люди разного круга.
Чуждые люди с одинаковой кровью.

Когда мы говорили, как будто бы яды,
Смертельные для каждого из нас, сливались
В притихшем воздухе. И поэтому надо
Было обязательно, чтоб мы расстались.

Опустился занавес. Все молчали.
Все ждали продолженья — его не будет!
А потом захлопали и захохотали
Собравшиеся в зале случайные люди.

Наша пьеска была недурна;
Хлопали долго. А девица одна
Бросила на сцену растрёпанный букет
Из грязных фиалок...

20 декабря 1986

Как мне душу свою перелить
В эти жалкие столбики слов?..
Под ногами шуршащие листья
Умирают, а мне их жалко...

В этом мире мы тоже гости —
Наступает холодная осень —
Если ты не успел — не важно —
Ты умрёшь, и тебя растопчут
Сапоги проходящих мимо.

10 мая 1987



И стрекочут кузнечики сердца —
— Цикады тоскливого луга —
Их песня всегда монотонна.
— Впрочем, бывают и срывы... —

Твой туманится образ,
— Покрываются пылью стёкла. —
Слёзы бегут навстречу
— Из растворённых глаз.

В моём обиталище тесном
Я слушаю: — тени предметов
Спустились — и плачут у входа.
Они, о своем назначеньи
Вспомнив, хотят воплотиться
В некую яркую сущность —
Хотят — и, увы, не могут,
Поскольку, как мы, забыли,
Что они только т е н и предметов...

Но я до сих пор ещё верю —
Что раз мне дано это тело —
Раз мне даны эти руки —
И эти слова и мысли —

Я должен найти примененье
Всем этим ненужным предметам...

...Пусть станет в мире светлее,
Совсем немного светлее,
Когда мотылёк моей жизни
Вспыхнет искрой во мраке
И сгорит, обратившись в пепел.

10 мая 1987

О поэте и поэзии

Из трубы вылетает огромный клочок
Седоватого дыма. И видит Бог.
Как душа поэта казнится...

Вот бледная птица бьётся в руках —
Ей бритвою режет глотку страх;
И сердце свернулось кровавым комком,
Терзаемо отвратительным пауком
О десяти мохнатых ногах. —

Пусть выворачивают сердца жгут,
Обрубки жалкие прочь несут,
И раздувая страстей пожар,
Пусть по канату снуёт фигляр;

И зачарованно глядит народ
На «чудо» покорения иных высот, —
Он всё забудет и всё простит,
Он уже забыл навсегда...

Уши, как раструбы белых тел.
Нежные, бледные, будто мел,
Слушают музыку сфер иных,
Порою вторгающуюся в мой стих.

...Время пройдёт, и останутся вам
В наследство обрывки ваших газет,
Но никогда не прочтёте вы там,
Что жил в этом мире один поэт...

Впрочем, это, хочу сказать,
Вовсе нет надобности вам знать.

19 июля 1981

Что толку мне в воспоминаньях?
Они мой ум не согревают
И вдохновенья не дают.

Их вереница бледной тенью
Скользит, спеша, в долины Орка,
Покорно катится в пучину
Забывших, изменивших лет.

И жизнь пройдёт. В разверстом гробе
Найдёт душа успокоенье,
И тело тленное исчезнет,
И в результате превращений
В другие обратится вновь.

Но то, чем был я, не восстанет
Ни через год, ни через бездну
Неистово бегущих лет.

Нет в этом мире ненадёжней
Основы, чем людская память:
Она неровными стежками
Канву прострочит жалкой жизни —
И тут же рвётся навсегда.

И гибнет даже свет небесный
В её несчётных отраженьях...

Так в глубину зеркал я падал
С улыбкой мёртвой на лице.

18 августа 1987

...И губ твоих немую дрожь
Принять в себя без рассужденья.
Так в грудь убийцы входит нож
В одно прекрасное мгновенье...

22 августа 1987



*«...решётки для глаз...»
(Вл. Казаков)*

Ты слышишь?.. —
Поют на небе звёзды.
Как будто звонким молоточком
По ним ударил кто-то...

Я выхожу на палубу, слежу,
Как проплывают мимо очертанья
Каких-то еле видимых предметов,
Какие-то стога, столбы...

И горькое отчаянье в груди
Растёт сильнее и сильнее...

Я страшно одинок,
Стою над бездной.
Упасть боюсь,
Смотрю в колодец звёзд...
Которых мне достичь не суждено.

И плачу от бессилия и злобы.

Меня преследует кошмарный призрак,
Постыдный и до ужаса реальный.

То женщина, которая приходит
В мой сон сквозь стенки тонкие сознания
И чувственность уродует мою...

Мне кажется, я много лет назад
Встречался с ней на похоронах деда:
Лицо без черт и профиль без лица.

Она дрожит, бесстыдно обнажая
Свои заманчивые прелести.,
Мерцая гниловатыми зубами
И голосом трепещущим от похоти,
Меня в объятья жадные зовёт...

И я безвольно опускаюсь в них.

Как в сон дитя на матери коленях.

4 октября 1987

Я видел белое солнце,
Я видел алые зори
И отблеск последних красок
В бокале пенного моря.

И руки твои так гибко
Меня обнимали, Валя,
И сердце билось так больно,
Когда ты меня целовала...

Губы твои тонули
В омуте бледной улыбки,
Как будто маня отдаться
Всей горечи поцелуя.
Всей сладости нежной плоти...

...Но я ничего не помню,
Я так ничего и не понял.
Мне было больно, поверь мне...
Но мне этой боли не нужно.

Какая глупая песня
С выдернутыми строками...

.....
Свистит за окном синица,
Большая серая птица...

20 декабря 1987

Я поднял чёрный флаг в трепещущую высь.
А палуба дрожала и качалась,
И я подумал, как ничтожна наша жизнь,
Что столь возвышенной казалась.

Солёной пеной волн дышала грудь моя,
Как клавиши о валик сердце билось;
Со стуком двигалась каретка бытия
И волею судеб вперёд переводилась.

А в небе родины, холодной и пустой,
Громадной тряпкою мой флаг болтался,
И будто скомканный невидимой рукой,
Средь шума голос мой навеки потерялся.

Я не таю на современника обид —
Он глух и суетен, и не достигнет рая,
И только для меня пускай звучит
Небесной музыки гармония простая.

16—17 января 1988

Поздравления.

Писаны 4 марта 1988 года.

Лене

Лена, просим, веселее
Ты на мир смотри вокруг:
Бледность нежную лилеи
Портят тени, милый друг...

Смехом легким, серебристым
Мира скуку ты развей
И трагические краски
Смой улыбкою своей...

Ире

Ира, ответь нам, прошу, как, заботам семейным
Многое время даря воспитанию мужа и чад,
Ты поражаешь нас всех красотой своей, обаяньем?.. —
Верно, тайною чар владеешь некою ты...

...И смех дрожащий пальцами ловлю,
И в судороге грудь сжимаю...
Зачем я здесь? зачем я мир люблю
И в нём чужое место занимаю?..

...Вот я хожу по острiu ножа,
Но преступить порог не смею,
Душа скользит по ниточке, дрожа,
А сердце тяжело цепенеет...

Там, в мире холода, бесстрастном и немом,
Лишь тени серые во мгле витают
И бабочки огромные крылом
Моё сознание затмевают.

О, бесконечный в тишине полёт
И ужаса исполненные очи!
Как страшен крыльев хрупких хоровод
В огне безумствующей ночи!..

Моё сознание — большой бредовый шар,
Он быстро стягивается в невидимую точку.
Быстрее всё. Мелькание. Удар.
И сердце бьётся — на кусочки...

И в безучастности кружения иных
Неясных, гибких очертаний
Я лишь волна, и таю между их
Восторгов бледных и рыданий...

Раздробленный навеки, навсегда,
Мир рушится в пылающую бездну,
И осыпается жестокая слюда
На крыльях ангелов железных...

...Так помани разок мою больную явь,
Души моей стремленья и метанья,
И пусть улыбка робкая твоя
Мне первым станет оправданьем!..

4—5 марта 1988

..... что лица — гнёзда.

Улыбка в них живёт свой краткий срок,
И обитает тяжкая беда,
И тлеет разума ничтожный уголёк,
Невыразимого всегда...

И осторожно я вхожу в сей храм,
И созерцаю бледные черты,
Чтоб неожиданно припасть к ногам
Столь совершенной красоты.

И я молю насмешливых богов
Открыть мне тайну злого бытия —
Найти закон — и в бледной сетке слов
Пусть отражается душа моя...

Ночь 5—6 марта 1988



...Восторгов чудных чарованье
Я Вам дарю, душа моя!
Им нет имён и нет названья,
И им властитель только я.

Забудь иных, иди со мною;
У врат небесных, светел, строг,
Стою с смятенною душою,
Непостижимо одинок!..

Ночь 5—6 марта 1988



(Переработка стихотворения 1983 года)

Нет покоя... сердце ноет...
И над самой головою,
 Как комар,
Голос кроткий шепчет сладко:

— Я больная Лихорадка! —
Сердце стучает в груди —
Нет пощады впереди... —

Вот Костлявая придёт. —
И тебя, шутя, раздавит,
И тебя — шута — убьёт!...

— Брось, пустое, перестань!
Слышать чем такую дрянь,
Лучше, в шкаф задвинув кружки,
Я за здоровье старушки
 Пью стакан!..

...Чу! что слышно за окном?
Кто там ломится в мой дом?

Кони дикие храпят,
Ташут черный шарабан,
Влезть в ворота не хотят —
Ржут и фыркают в туман.

Завизжал глухой замок,
Дверца вдруг открылась.
По ступенькам на порог
Смерть моя спустилась,

Мир окинув мутным взглядом,
Душу мне наполнив ядом,
Безобразна, точно грех... —

Говорю я ей с досадой —
— Просто смех! —
— Что тебе здесь, нежить, надо?
Спать пора.
Убирайся-ка, паскуда,
Со двора!

Уходить она не хочет
И косу в молчаньи точит,
И в молчаньи гробовом
Почиет весь дом...

А больная Лихорадка
В дверь просунулась украдкой,
Будто тать,

Вмиг уселась на сиденья,
И коней в остервененьи
Ну хлестать!..

И помчался шарабан
— Напрямик! —
С свистом, грохотом в туман
В тот же миг!

Перевернута пластинка,
Мир — застывшая картинка —
Завертелся быстро вскачь
Догонять бегущих кляч.

Только пыль и крик далече...
Мглой окутана дорога...
Что мне ждать, друзья? Уж вечер.
Слава Богу, слава Богу!

За собой засов задвину
И кувшин наполовину
Осушу, и буду весел.
Прочь всю эту чертовщину!

2 августа 1983 (8 марта 1988)

Бессмысленно живем мы.
И мир глазами траурными видим.
Его мы глухо ненавидим
И любим. —

Почему?..

...И с отвращеньем я гляжу
На бледный ход больных минут,
На этот глупый циферблат,
Раскручивающий назад
Пружину жизни.

— Ты плачешь? —

— ...Вечный утешитель,
Создатель мой и мой учитель,
Он — умер.

Разрушив перед этим рай и ад —
Забавные игрушки,
Что мир делили на добро и зло... —
А также сказку о бессмертии души... —

Таков расклад.

Мы предоставлены самим себе.
Мы молимся бессмысленной судьбе,
В руках её мы все — рабы.

И я шепчу чуть слышимо, едва,
Я повторяю тайные слова,
Я подымаю робкий голос свой,
Такой нетвёрдый и такой немой,
И я в лицо бросаю дерзко ей,
Судьбе моей:

— О, убей же меня, чёрный молот,

О попробуй, убей!..

20 марта 1988

**По поводу ансамбля солдатиков, выставленных однажды
передо мною на столе моим другом А.Селезевым**

Сквозь очки
Смотрю на солдат полки,
На то, как они
Падают с полки на пол,
Бедные, бледные оловянные солдаты...

Вот самый большой
— Внушающий страх —
С весьма несущественной головой
Но со штыком
В руках;

Он — великан.
Он, ради смеха,
Наступает ногой на игрушечный танк
И давит его.
Хрустя,
Как скорлупку ореха...

А другой —
С шашкой лихой,
Стоит на пространстве стола
И левой рукой
Чью-то оторванную голову
Держит за волосы.

Голова дрожит, извивается,
И как будто пытается
— При полнейшем отсутствии голоса —
— И всемирного смысла —
Что-то сказать мне.

Может быть, что-нибудь важное,
А может быть, просто пожаловаться
На несчастное стечение обстоятельств...

За рядом ряд
Двигется с грохотом танков армада
А рядом
Валяются бледные конские трупы
— Обычная оловянная падаль —
Которую скоро съедят
Жадные оловянные черви...

Я вижу: у всех,
У лошадей
И у людей
(Точней, у солдат) —
Совершенно одинаковые
Выражения лиц (и морд),
Совершенно одинаковый взгляд
Идиота,
Отпечатан — неподвижен и твёрд —
Специальным штамповочным аппаратом...

Тускло блестят
Оловянные роты,
Солдаты
Идут на штурм...

Вдруг
Отчего-то
Мне становится очень сильно не по себе...

Мне совсем не нравятся эти игрушки,
Что ты показал мне,
Мой друг!..

23 марта 1988

Верви молний моих
Улови, улови,
И ладони в крови
Утоли.

Перстень огненный ал —
Запылал, запылал;
Руки молний моих
Были полны,
Били волны.

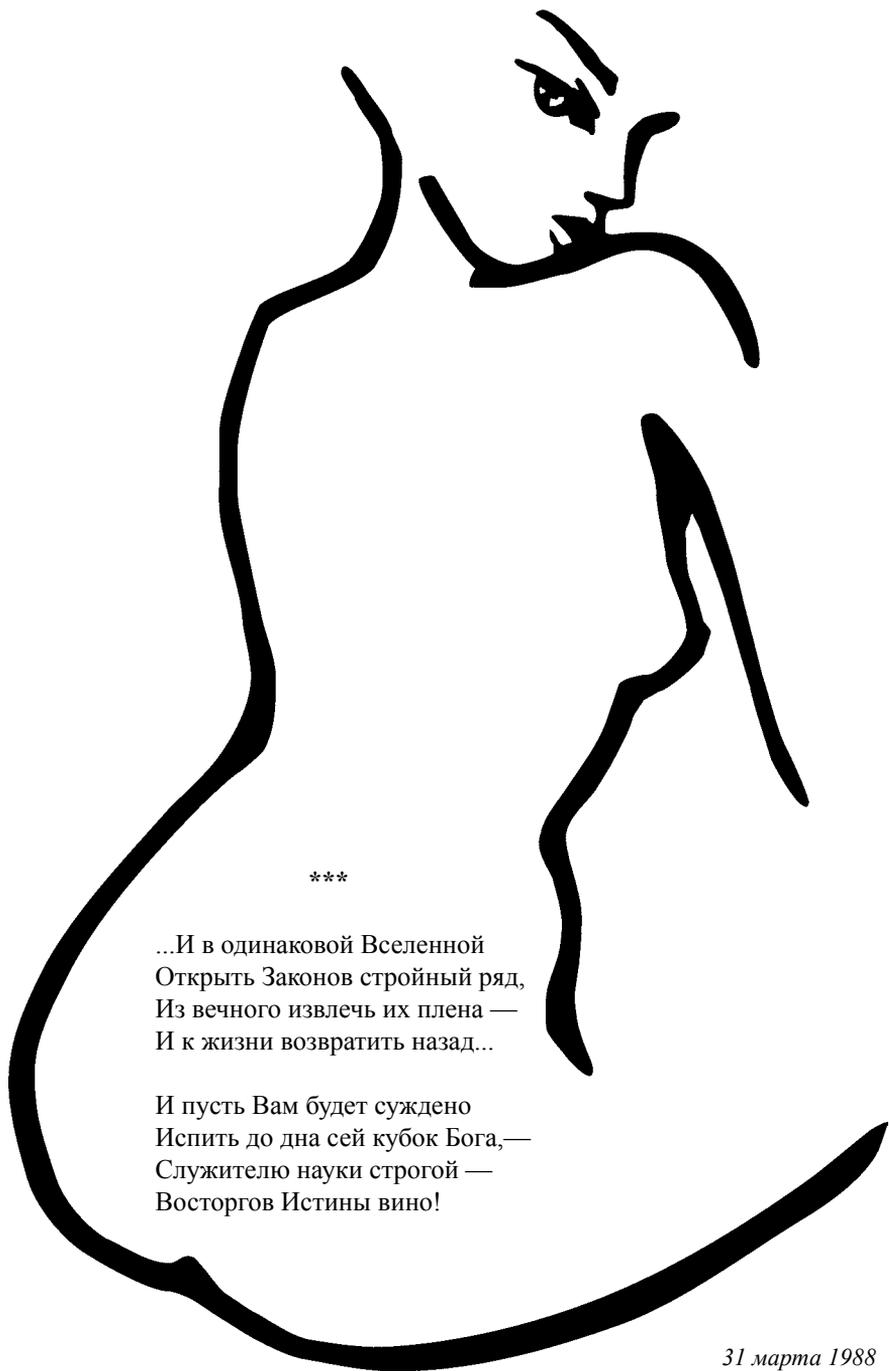
Мною брошенный стих
В небе чёрном затих,
И рыдающий шквал
Опустился на мир
В этот миг.

В клочьях огненных дыр
Порыжелый эфир —
Вата белая бледного света;
И, как демон, метался мой дух средь огня,
И пылающий молот расплющил меня —
— И не стало поэта! —

Мир умчался
Ликующей сволочью прочь,
И я умер,
Просыпавшись искрами в ночь.

Но мой голос остался.

26 марта 1988



...И в одинаковой Вселенной
Открыть Законов стройный ряд,
Из вечного извлечь их плена —
И к жизни вернуть назад...

И пусть Вам будет суждено
Испить до дна сей кубок Бога,—
Служителю науки строгой —
Восторгов Истины вино!

31 марта 1988

**Из «Антологии русской поэзии
XX века»**

Анненский

Душный Анненский, нет дыхания,—
С полки книгу я взял наугад,—
Эти сумеречные страдания
И стиха сладчайшего яд!

И нельзя почти, не сбиваясь,
Ни один дочесть до конца: —
Я любил и люблю их завязь,
Недоразвитые тельца...

Эти стебли протяжно-тонкие,
Что качаются в тишине,
И предсмертные хрипы ребенка
В его строках чуются мне...

О, как голос надрывный тяжек
И как зыбко струится звук,
Что потоком гудящей пряжи
Прямо в душу ворвётся вдруг!..

Андрей Белый

Ты разрушитель и мучитель,
И гений огненный стиха,
В твою волшебную обитель
Вхожу один. Душа тиха.

И робко прикасаюсь к струнам,
И звук, безгласный и немой,
Я слушаю, и, вечно юный,
Твой образ встал передо мной.

Математических законов
Отринув прелесть и предел,
Ты пел зарю, и горя стоны
Ты слышать в мире не хотел!

Но по иному рассудила
Жестокосердая Судьба,
И время дерзкое спешило
В народе разбудить раба...

И ты — один из самых смелых
Раскрепостителей стихов —
Ты погибал — вороной белой —
В стране рабов и дураков!..

Ночь 1—2 апреля 1988

Пастернак

Я не люблю его, и в каждой строчке ложь
Читаю с ужасом во взоре,
И я не чувствую пленительную дрожь,
Когда его стихов пересекаю море...

Как может человек творить в минуту бед
И получать венок из рук, до плеч кровавых? —
И пусть среди воплей «да!» он смел сказать и «нет!» —
Он гордый человек, и он достоин славы. —

Пусть не его вина, что так любил палач
Послушать стих его, забыв на миг о казни —
Но кажется мне всё ж, что — дерзок и горяч —
Тот стих в пеленах зла и полон зла боязни.

И может быть, он люб был потому
Усатому пигмею-господину,
Что не был столь правдив, и ложь ему,
И правду говоря наполовину?.. —

Поэт, конечно, неповинен в тех
Рассчитанных, зловещих преступлениях... —
Но — слушать омерзительный сей смех
И — гнев свой утишать в одно мгновенье —

Так тяжело. И вот — лицом к лицу —
На бледные оазисы похожим —
Столкнувшись, не заметить подлецу,
Что он подлец?.. — О, как же тяжко, Боже!..

...Душе ломают крылья, и всегда
Она кричит отчаянно вначале,
Но умирает медленно, года,
И вот ты нем, тебя — сломали.

Сквозь жизни грязь сумел ли ты пронести,
Не запятнав, златую тогу эту —
И не утратив в фимиамах честь
И звание великое Поэта?..

Ночь 1—2 апреля 1988

Набоков

Собиратель бабочек бледных,
Ты учёный, а не поэт..
Ты писатель странных романов
И угрюмый анахорет.

Сквозь стекло удивительно тусклое
Ты глядишь на пламенный мир,
И очками хитро поблёскивая,
Мотыльком ускользаешь в эфир...

Ты не русский, и всё ж относишься
Почему-то к России ты;
Не стучишься в двери, не просишься
И не будишь её мечты...

Стих твой мёртвый, и проза — мёртвая, —
Безупречные; стиль — как сталь.
Но — в холодном зеркале месяца
Мне созданий твоих — не жаль!..

2 апреля 1988

Маяковский

«Забывать его — преступление!» —
Об этом сказал Великий.
И гул глухой одобренья
Пронёсся сквозь зал, и клики...

Ты был талант, но не Гений...
Ты честен был пред собою, —
И для всех иных поколений
Ты уже оправдан судьбою...

Твои стихи не народу
Послужили, увы, а клике;
И ими топтать свободу
Приказал всё тот же Великий!

Но в мире почти вполовину
Стало чего-то меньше,
Когда ты рукою верной
Поднял свой пистолет... —

«Поэт застрелил Гражданина», —
Сказала одна из женщин,
Услышав об этом позже —
Кажется, тоже поэт.

2 апреля 1988

Век сегодняшний и век вчерашний —
Еле видимая мною связь —
Между прошлым и настоящим
Тонкой ниточкой заплелась...

Те отброшены, эти — забыты
Заклинаний тайных слова,
И, летучим хмелем повита,
Слабо кружится голова...

Пусть созвездий нелепых стая
Осеньет мой бледный лик,
Улыбается, расцветая,
Осыпаяся в тот же миг...

Слишком поздно — о, слишком поздно! —
Осознал я гибель свою.
И напрасно целительный воздух
Я отравленной грудью пью.

2 апреля 1988

Милая, бледная, странная,
Не надо плакать! —
Пусть даль над светлыми странами
Пронизана мраком, —

И пусть — вспыхнув огненной ниточкой
Гаснет луч,
И его бирюзовая выточка
Тает меж туч, —

И бредём мы, вечные странники,
По тёмной земле, —
Надежды унылые данники, —
Бредём во мгле, —

В душе ледяная пустыня
Воцарилась давно;
И сердце стынет,
От страха дрожит оно... —

Но я верю, братья, —
Солнце взойдет
И пьянящим огнем охватит
Душ наших лед!.. —

...Не плачь, дорогая, —
Нам навстречу — не плачь! —
Мчится, искры взметая,
Солнца огненный мяч!..

5 апреля 1988

Печальный лицедей,
Лелею сны свои,
Боюсь людей,
Бегу любви...

Пылающие сны,
Рыдающие веси... —
Я лик больной весны
Туманами завесил.

И позднее тепло,
Пролившись здесь,
С дождями утекло
В немую весь...

В душе — царит развал.
Ей нет нигде приюта...
Я в тишине слагал
Стихи кому-то.

Пусть косит мелкий дождь
Продрогшие цветы,
И ты напрасно ждешь,
Кого так любишь ты... —

Но чу! Какой-то звук
Ворвался вдруг ко мне —
Тебя зову, мой друг,
В дрожащей тьме —

Шаги слышны, шаги,
Шум тысячи шагов.
Беги скорей, беги
От ярости врагов!..

Их злобные полки
Отстукивают шаг,
Мигают огоньки,
Смеётся враг!..

Напрасно. Не уйти.
И свет погас.
И нет назад пути —
Твой пробил час!..

9 апреля 1988

Алый, алый цветок
Стихотворение Р.Бернса
(Вольный перевод)

Будто алый, алый цветок
Вырос в моём саду: —
Так с любовью в душе живу —
В мелодичном и тёмном бреду.

Сравнится с твоей красотой
Только любовь моя;
Чем забуду её, до дна
Скорей пересохнут моря, —

Скорей пересохнут моря,
И скалам разрушенным быть. —
Я смогу забыть лишь тогда,
Когда Парка порвет мою нить.

А теперь — прощай и прости,
Дорогая, душа моя!..
Я вернусь, я найду пути,
О любовь, где бы ни был я!

9 апреля 1988

Весна

Меня овеяла, как встарь,
Весна прозрачно-голубая;
На матовый ее фонарь
С притворным ужасом взираю...

Течет всклокоченная муть.
Кругом ручьи, бедлам и лужи...
Взволнованная дышит грудь,
А сердце ласточкою кружит.

Я мир люблю, я с ним на ты
В такие редкие минуты, —
В мой храм воздушной красоты
Вхожу мальчишкой я разутым...

И плакать хочется, и смех
Пленённой бабочкою скачет,
И тает почерневший снег,
Слезой искрящеюся плача!..

10 апреля 1988

Пир

Слышу смерти приближенье,
Чую хладные движенья
 Бледных крыл я тут.
Сердце брошенное плачет,
В замке пир зловещий начат —
 Гости кубки пьют.

«Кто там прячется под маской?» —
Каждый думает с опаской, —
 Нож дрожит в руках. —
Каждый жмётся из боязни
Неизбежной, верной казни —
 Сердце душит страх!

Яд пролился из-под ногтя,
Гость упал: — и злые когти
 Ташут его прочь!
Гости с ужасом во взоре
Вдруг загнулись в разговоре.
 За окном — уж ночь.

«Кто смеётся хриплым смехом?» —
Это эхо, только эхо,
 Больше никого.
Гость упал под стол по пьяни —
Тени странные в тумане
 Ташут прочь его!..

«Кто там рвётся, кто там плачет,
Кто там бьётся? — Не иначе
 Там кого-то бьют!» —
Гости с ужасом, в тревоге
Еле — скованные — ноги
 К двери волокут;

Звук визжащий, скрип дрожащий, —
Будто зверь, взревевший в чаше —
 Распахнулась дверь.
Там, за нею, смерть хохочет,
В жертву тычет, её хочет —
 Крови — пьяный зверь!..

Гости прочь бегут вприпрыжку;
Ухвативши за манишку
 Одного из них, —
Заходящегося в крике, —
Смерть пронзает острой пикой
 Грудь его. Утих...

Смерть смеётся, смерть довольна...
Сердце плачет, сердцу — больно!
 Умираю я.
И кривляется в тумане
 Мир утраченных желаний —
Ах, душа моя!..

10 апреля 1988

Велико сейчас желанье мое —
Покрывать расстоянья дней,
Над миром вспыхнуть вечным огнем,
Целой гирляндой огней!

А вы, которые ни светить,
Ни гаснуть не можете — вы! —
Не трожьте мою заповедную нить,
Что протянута вдоль синевы!

Я иду среди старых, пустых планет.
Звёзды — мне маяки.
Я мост протянул между «Да» и «Нет»
Через озеро злой тоски!..

Пусть плачут литавры, рыдают они
Обо мне, ушедшем ввысь! —
Всё ближе, ярче, жарче огни! —
О сердце! Остановись!..

10 апреля 1988



Пророк

Подражание Андрею Белому

...Мой Бог!..

Я —

Стрелок.

Стрелял. —

Убил

Тебя!

Попал

Стрелою —

В Пророка,

Что одиноко

Стоял

У врат. —

И рад! —

Смеялся —

Жестоко;

Смеялся —

Дико! —

Смеялся —

Смехом зловещим!

Смеялся —

Кричал! —

От крика

Вдруг сеткой трещин

Покрылся мир —

Множеством круглых дыр

Прорвался!

...Стою я,

Плачу.

Что я

Значу —

Перед этой Вселенной?
Перед этим сонмом огней? —
Что я значу
В Ней?.. —
Пред Тобою, Боже?.. —

...О, эти толпы людей —
Бездумные толпы убийц!.. —

Плачу.

Во всем сомневаюсь.
Каюсь!.. —

Они одолели меня!
И — чрез мгновенье —
Упал, стена:

— О Праведный Боже,
Велик Ты,
Но все же
Реликты
Сомнения
Гложут
Меня!..

10 апреля 1988

Обстановочка

Шутка

Кто мусолит Кафку,
А кто — терзает Пруста,
Будто устриц, главки
Проглатывая шустро.

Порождает моду —
«Общих» дум движенье...
Ах, «глоток свободы»
Пристращает к чтению!

Хорошо забыться —
За хорошей книжкой...
Хорошо напиться —
Но не очень слишком;

Хорошо поспорить
Но не слишком очень —
О различном вздоре —
Ни о чём, короче.

Думать каждый гадко —
Мыслить всякий призван —
И чернить (с оглядкой)
Мир социализма...

Партия взирает
На процессы эти
И их направляет
В утренней Газете.

Ах, зачем же книги —
Если есть газеты?!
Книги — лишь вериги,
Пьяный бред поэта...

Но многие «свободы»,
Верьте мне, ужасны:
Крутят средь народа
Дум клубок опасный...

И гудят, как пчёлы,
И шушат газетой —
В поисках крамолы
Пролы* и эстеты!..

16 апреля 1988

* Пролы — сокращение от «пролетариат» (Орвелл, «1984»)

И я сажусь на винтокрыл,
И улетаю в небеса.
Я первый, о душа, открыл
Твои волшебных грёз леса!..

Пусть стайей крутятся огни
В окошках пламенных моих,
И пусть несётся, как они,
Прочь от земли мой легкий стих! —

Я направляю свой полёт
К своей мечте: взметаю я
Мой винтокрыл, мой ветролёт
К последним граням бытия!.. —

И ты — изгнанника с земли —
Прими — волшебница — меня! —
И ключ желаний утоли
Восторгом яркого огня!..

18 апреля 1988

И я не знаю красоты,
Земной, надменной красоты...
И скорби полный, свой бокал
Я в гневе об пол разбивал!

Мне утешение одно
В юдоли пламенной дано —
Мой стих, отточенный, как нож,
Сверкающий, когда не ждешь! —

...К чему скорбеть, глупец, о том,
Что ты живешь лишь только в нём?.. —
Другим — дарован счастья миг;
Тебе — твой лёгкий, зыбкий стих!

На берег Вечности цветы —
Создания хрупкой красоты —
Я приношу, смеясь, в поток
Бросая за цветком цветок!..

19 апреля 1988

Чистой памяти М.А.Булгакова

...И я не верил в чудо Воскресенья,
И на губах — солёный привкус пота,
И крик застыл, когда позорной казни
Учитель предан был.

И на кресте мучительною смертью
Он умирал, а вороны кричали
На небе, выжженном дотла.

В душе остались смутные обрывки
Последних слов, что Он успел сказать нам,
И я молил карающее Небо
О скорой смерти!

Толпа кричит: «Распните Сына Бога!»
А Он стоит, худой и некрасивый,
И странным блеском светятся на солнце
Его глаза!

Зачем испить такую чашу муки —
О Боже, почему не мне? —
Мне, малодушному, последнему убийце —
Ему Ты повелел?

Его слова, как луч, как меч разящий —
Я записал в душе своей навеки,
Я донесу, я сохраню для мира
Живое пламя их!

Я чувствую их взрывчатую силу:
Всё озарится, мир внезапно вспыхнет,
И пусть сожжёт, проглотит огонь зловещий
Тебя, жестокий Рим!

О берегитесь, мерзкие убийцы!
Наступит День — для вас последний — кары,
И вас снесёт в протянутую бездну
Его рука!..

23 апреля 1988

Новоселье (1)

В квартире, в квартире, в огромной квартире
Собрались мы вместе на день Новоселья!
Хозяева, гости, раздумия бросьте! —
Пусть льётся, пусть пьётся вино и веселье!

Гитара звенит пусть, Высоцкий и Галич
Вновь в песнях застольных, нестройных воскресли, —
Они их пропели давно, прорыдали,
Их нет уж обоих, но живы их песни!..

Пусть сыплются шутки, и в здравом рассудке
Ещё произносим мы длинные тосты,
И речи так пылки, но звоном бутылки
Приветствовать полночь безнравственно просто!..

— Ах, здесь собрались лишь достойные люди! —
Вскричал я во вдруг наступившем молчаньи, —
Так будем друзьями и праздновать будем
Не раз Новоселья таким же собраньем!

...Вот мы у порога. И долго на свете
От чистого сердца желаем мы Ире,
А также, конечно, хозяину, детям —
Жить в дружбе и в мире в их славной квартире!..

23 апреля 1988

Я пробудился ото сна,
И с глаз упала пелена.
Я потерял друзей моих,
Их заключив в язвящий стих!

На мир дрожащий посмотрел —
И сотнею гудящих стрел,
Им сотней стрел пробил сердца —
И возблагодарил Творца!

С врагом в беседе пью я чай
И вспоминаю невзначай
О брошенных моих друзьях —
Со сладким ядом на устах...

Он говорит порой о том,
Мой враг, что стал Пегас мой хром,
Что Муза жалкая моя
Сбежала в дальние края!..

Киваю я его словам...
И так покойно, тихо нам...
А мой отравленный кинжал
Я, где — не помню, потерял!..

Кто был мне враг, теперь мне друг.
Вся жизнь моя — порочный круг,
Превратно понятая мной,
Что быть хотел самим собой!

23 апреля 1988

Новоселье (2)

Шутка

У Ларисы мы вчера
Были.
«Алазанку» до утра
Пили.

Попугай летал, кричал
Всюду
Катю бедную пугал,
Люду...

Чтобы не был попугай
Робким.
В птицу эту я кидал
Пробки...

Опоздавшему бокал
Белой
Дима смело наливал
Целый. —

Но негодный не почтил
Память.
И Прекрасной не польстил
Даме.

Ты, Лариса, не прощай
Это:
Пусть невзвидит негодяй
Света!..

...Говорили мы порой
Речи
О чудесности такой
Встречи...

Вспоминали мы о всех
Прочих,
Затерявшихся во тьме
Ночи,

Об ушедших далеко
В море
Мы вздыхали глубоко
С Борей...

Разошлись между тем
Гости —
И метали над столом
Кости.

Шла высокая игра
В нарды,
И рыдали в унисон
Барды.

Танцевали, что есть сил:
Кстати,
Боря голову вскружил
Кате,

И, лишённую своей
Воли,
Закружил до головной
Боли...

А за окнами — туман,
Темень;
Как же быстро пронеслось
Время!

Хоть не выпиты ещё:
Водка
И бутылки три вина —
Вот как! —

Каждый весел. Но встаёт:
Поздно.
Одевается народ
Грозный!..

И Ларисе пожелав
Счастья —
(Что находится в её
Власти) —

Сквозь мерцанье, сквозь туман
Тьмы —
Разошлись по домам
Мы...

9 мая 1988

Обречённые
(Почти что сонет)

И мир, в котором мы живём,
Так бесконечно странен, страшен;
Мы насладимся им, умрём,
И призраки исчезнут наши.

Погибнет наше естество,
Не зазвучит наш голос снова,
И никакое Божество
Судить не сможет нас сурово.

И этот мир, в котором вы
Так весело и дерзко жили,
Всего лишь миг, и мы, увы,
Лишь горсточка вселенской пыли.

И рассыпается в руках
Души умершей темный прах.

1—2 января 1989

Пронсшествие

(Подражание Андрею Белому)

В царстве мистических грёз
Я бродил в одиночестве, —
Собирал янтари,
Осколки ушедшей зари.

А прямо у ног —
Какие-то феи сплетали венки
И им
Увенчали чело мне...
В печали, в тени —
Огромней—
(Как помню)
шей липы —
Стоял я средь шума — по уши,
Задумчиво-бледный,
Цветами засыпан,
И слушал (угрюмо),
Как песней победной —
Меня — величали — они...

На озере рядом,
Запрятавшись в ивах,
Смеялся, хихикал сатир.
И взгляды косые бросал похотливо —
— О, взгляды, как яд, как кинжал! —
На пламенный мир,
На игры невинные
Нимф и наяд,
Приличья презревших,
Плескавшихся вольно
— Отбросив наряд —
В воде голубой и прозрачной...

Нахмурившись мрачно
От сих искажений возвышенной
мысли,
Разгневан безмерно и дико —
В него я метнул янтари! —

Блеснули над озером
Тысячи солнц —
Осколки кровавой зари.
Испуганно, с криком,
С разорванным ликом
Русалки, наяды, презренный сатир
(Урод козлоногий!)
И птицы, и тени, и боги —
Метнулись, бежали куда-то —
— Увы, без возврата! —
И брызги, и блески, и блики
Покрыли мой мир!

А я
Стоял одиноко, —
Как башни твердыня —
И белый как мел,
На бывших сокровищ —
— О, мирные грёзы! —
В молчанье, сквозь слёзы —

Круги
Ледяные
Глядел.

2 января 1989

Творчество

Я пытаюсь быть мечтой,
Вечной, страшной красотой,
Чтобы, мой увидев лик,
Враг упал, издавши крик!

Пусть бежит вперед строка —
Будто буйная река,
Рифм отточенных полки
Мчатся с криком вдоль реки!

Я, как смерч, вперед лечу,
Думать вовсе не хочу! —
Я люблю созвездий гром
И — размахивать мечом!

Голова слетает с плеч,
Свищут ядра, бьёт картечь,
Всюду вопли, всюду стон.
Я — мечтою опьянён.

Я властитель. Ты — мой раб.
Ты ничтожен, дерзок, слаб.
Я — служитель Красоты,
Мне помеха — только ты!..

3 января 1989

Галатея

С этим странным желаньем нравиться,
С этим страстным желаньем жить —
Я с тобою мог бы, красавица,
О любви своей говорить.

Я хотел поцелуев пламенных,
Я забыл обо всём, увы,
Ради этой мраморной, каменной
Чуть повёрнутой головы

И улыбки твоей таинственной
Без движения, без примет. —
Я мечтал о моей единственной,
Что на свете, похоже, нет.

И не ожили, цепью скованы,
Не раскрылись уста твои, —
И не умер я, зачарованный
Зыбкой ложью святой любви!

Ты ж была, увы, не из камня,
А из плоти живой была,
И навеки отдав себя мне —
Не воскресла, а умерла!

23 января 1989

Смерть короля

Я вас, безутешных, знаю,
Как верных слуг короля,
И я, как и вы, рыдаю,
Минуты прощанья для.

Но музыка песен новых
Рождается вдруг во мне,
И их тревожное слово
Уводит меня в тишине.

Король, я был тебе верен
До самой смерти твоей,
И ты не считал потери
И верных тебе людей...

Ты был велик и спокоен,
Я помню, ещё вчера,
Когда мы вошли в покои
И сказали тебе: «Пора...»

Позволь же теперь проститься
С тобою, мой властелин.
Душа твоя — вольная птица,
А я остаюсь один

Средь толпы ничтожных вассалов —
Я смотрел — утративши речь —
Как зубами скрипнув, упала
Голова с твоих узких плеч.

23 января 1989

В меня влюблялись случайные люди
(Я вспоминаю их тяжкие груди!)
А те, которые были мне любы,
Никогда не целовали мне губы.

Мной не испытан в порыве страсти
Вкус наслаждения или счастья,
Горечь не познана мной измены,
Радость побега из жизни плена.

Я забываю свои страдания..
Подобно Самсону не рушу зданья,
В котором не вижу ни тьмы, ни света, —
Боже, прости меня за это...

Быть человеком совсем не просто.
Жизнь — не мысль и не свежий воздух,
Жизнь — не подвиг, она, напротив,
Жалкой трусости что-то вроде.

И вам ухода совсем не надо —
Пусть яблоко мира будет наградой
Вам за вашу подлость и честность —
И отпадение в неизвестность...

Я же пришёл сюда с иною
Целью, с усмешкою ледяною
Ты не смотри на меня, о Боже,
От которой мороз по коже! —

Я пришёл, чтоб исполнить нечто,
Что будет жить и рождаться вечно.
Мне безразличны ваши улыбки
И то, как играете вы на скрипке,

Кого вы любите и клянёте
И с кем встречаетесь на работе.
Я ваш портрет хранить не буду,
Ему поклоняться словно чуду. —

.....

Что же сейчас для нас осталось? —
Лишь повторяемая усталость.
Всё до конца уже известно.
И зрителей просим покинуть кресла...

Они уходят, как пароходы,
Погружаются в тёмные воды
Забвенья вечного, жадной Леты,
Теря в тумане свои приметы...

Ночь 4—5 февраля 1989



Похороны

Я захлебнулся тишиной.
Средь шума умер бытия.
И, в гроб сложив тяжёлый мой
Останки бранные, друзья

Для проводов в далёкий край
Сошлись мои. Был месяц май.

Дышала свежестью природа.
Толпа безумного народа
Тащила им наперерез
Плакатов, флагов тёмный лес.

И вот, попав в водоворот
Неудержимого тайфуна,
Толпа огромная влечёт,
Вращая, гроб мой на трибуны.

В трибунах паника и страх,
И громкий ужас на устах!..

Удар! Распался гроб на части.
Мой труп упал, суров и нем.
Толпой, взревшей в сладострастии,
Был втоптан в землю он затем.

И не осталось ничего,
Увы, от облика его...

А вечером смывали струи
С земли плевки, блевоту, грязь...
И в небе, злобясь и ликуя,
Звезда кровавая зажглась!..

5 февраля 1989

Недвижный ряд вагонов грязных,
Языков и народов разных
Столпотворение и ад.

В сии лихие Вавилоны,
«Казанского» услышав звоны,
Мы с любопытства забрели...

Носильщик с хохотом зловещим
Бросает на тележку вещи
И быстро катит их в туман...

Бегут вприпрыжку пассажиры,
И — краснотубые вампиры —
Проводники в дверях стоят,

Как часовые у вагона,
Что насмерть держат оборону,
И без билета — никуда.

Зажав один в руках огромных,
Мамаша, красная как домна,
Детей заталкивает в дверь.

И бесконечные Иваны,
Схватив под мышку чемоданы,
Спешат, толкаются, бегут...

Случайные мелькнули лица,
Стальное чудо в бездну мчится,
Всё больший набирая ход...

Но вот раздался шум и скрежет,
И жёлтый луч пространство режет,
Колёса завертелись вспять.

И, отражаясь в тёмных стёклах,
Зевая, спать ложится Фёкла,
Но долго пьянствовал Иван...

Всё закричало, побежало,
И зданье дымное вокзала
Уже исчезло навсегда.

А клочья огненного дыма
Пронесутся с гуденьем мимо.
И сон спускается с небес...

10 февраля 1989

Уже ничто души моей не тронет.
Мне холодно, и прежнее веселье
Давно минувших дней не разогреет
Застывшей крови медленной моей...

Ещё вчера друзья мои здесь были.
Но разговаривать нам было трудно:
Как будто в мире призраков движенья
Немые губ, трагические маски

И слепки странные покинутого мира...
Мы подымали медленно бокалы,
За нашу дружбу бывшую мы пили,
И каждый думал молча о своём...

...Там, за окном, обрывки слов, мельканье,
Туман и вьюга вместе, и не ясно,
Какое время — где мы все живём?
И слышен вдруг мне страшный чей-то хохот...

31 января 1990

О, как мне больно вспоминать
Прошедшее, весёлое, былое!
А в сердце тяжесть, на устах печать,
И горечь, и томленьё злое.

Сквозь жизнь влача своих усилий воз
На шатких и скрежещущих колёсах,
Я вспоминаю, как слабел и рос,
И крепче свой сжимаю посох.

Мои друзья — но где мои друзья? —
Я их вокруг не замечаю,
И в одиночестве упорном я
Тропой исхоженной шагаю...

Закрыло солнце тусклый небосвод
Пятном зловещим и багровым,
И что грядущего мне день несёт,
Напрасно я гадаю снова.

Всё неизменно, пусто всё вокруг,
Не вернуть того, что было,
И бесполезен сердца стук
И возглас тихий тени милой...

Не обращаю назад мои стопы.
Иду и жду, недвижимый и тяжёлый,
Когда меня в конце земной тропы
Настигнет вдруг свистящий молот...

20 июля 1990

Стучат часы. Жужжит оса.
Забыта брошенная книга.
А сердце рвётся в небеса,
И число я биенье мига.

Душа впивает пламенный поток —
О, до чего воздушна эта пряжа! —
Под ношей вечности мир изнемог,
Но радуется и ликует даже...

И я вхожу в единство сфер земных,
В гармонию неслышимых созвучий,
И наполняется мой стих
Какой-то силой, зыбкой и могучей...

Я забываю горести и страх
За этой бездной без названья,
И замирает тут же на устах
Невыразимое желанье.

Я растворён. Я таю. И во мне
Уж нет страданий, нет стремленья...
И только что-то быстро по стене
Промчалось вдруг распластанною тенью...

20 июля 1990

После чтения Шопенгауэра

В мире бессмертных идей
Я шёл по дороге познания,
Как чистый, безвольный субъект.

Вижу рощу вдали,
К ней свой шаг направляю
(Впрочем, не шаг,
А идею движенья вперёд
Воплощаю в тот миг).

Яблоню вижу,
Плоды золотые висят,
Тяжёлые, зрелые соком.
Руку к ним протянул —

Но рука захватила пустое
Нечто. О горе!
То не плоды,
А идеи плодов...

В них воплощается воля
В низшей ступени —
Как тяжесть и зрелость,
Косность и сочность...

Нет, мне не надо
Бессмертных идей и стремлений,
Яблока я захотел,
Дайте его мне тотчас!..

Но молча внимали
Стонам моим
Идеи деревьев,
Качая ветвями притом.

И зарыдал я,
Взмолившись бессмертному Богу:
«Боже! Позволь мне покинуть
Мир ужасных абстракций,
Что безбожный германец
Тут построил вчера...»

Всё закачалось, рассыпалось,
Будто карточный домик,
Будто солома,
Помчалось прочь на ветру.

И остался один я,
Взглянул на огромное солнце
И улыбнулся тому,
Что снова мир я обрёл.

20 июля 1990

Всё былое

Я ищу иных созвучий,
Мне желанна новизна,
Пусть разгонит ветер тучи,
И опять придёт весна...

И бокалы раз за разом
Наполняются вином.
Пьём за дружбу, пьём за разум,
За любовь младую пьём!

Пусть кипят хмельные страсти,
Убегает прочь печаль,—
Славим мы земное счастье,
И беглянки нам не жаль.

Что готовит дружбе нашей
Череда грядущих дней?
Жизнь подобна этой чаше —
Пригуби её скорей.

Кто там хмур, в углу тоскует,
Недовольно морща нос? —
Так налить ему штрафную,
Чтобы ноги не унёс!

Ах, друзья! В невзгону злую
Вспомнит каждый пусть из нас
Нашу юность золотую
И лихой потехи час!

21 июля 1991

Как моя скорбь была ужасна!
В небе дрожали больные звёзды,
И для страдания и печали
Богом, казалось, мир был создан.

Я потерял надежду и разум,
Руки ломая в бессильи узком,
Воспоминанья вонзая в душу,
Я был сплошным кровавым сгустком.

Но поборов упрямое сердце,
Душу скрутив жгутами воли,
Стал я терзать с усилием дерзким
Мир перехлёстом своей же боли...

Так обратив понятия и смыслы,
С злобой ударил ближнего брата.
Ты принимаешь мой подарок. —
С хохотом Мойра скачет рядом!

Что мне желанья и страх пред Богом? —
Тьма надо мною, пустая мара.
Пусть же несёт судьба свой молот
И оборвётся одним ударом!..

29 июля 1990

Дух тяжести владеет мною,
Жестокий, страшный дух земли.
И я, как червь, всё ходы рою
И ползаю в земной пыли.

Душе, и жалкой и ничтожной,
Доверив влажные бразды,
Я мню, наверх взглянув, что можно
Мне доползти до той звезды,

Что в небе, чёрном и холодном,
Сияет вечной красотой...
И, думую томим бесплодной,
Я рою, рою прах земной.

.....

... О, дай мне хлада, дай мне злобы,
Князь мира и Отец вреда,
Дохнуть на эти звёзды, чтобы
Они погасли навсегда!..

29 июля 1990

Коснулся рукою струны —
И струна зазвучала.
Разорван круг тишины
Среди мёртвого зала.

Холодная поступь гнетёт,
Тиха, осторожна.
А тёмное сердце как лёд,
Но бьётся тревожно.

Рука задержала на миг
Сверканье немое, —
И тонет сдавленный крик
В блаженстве покоя.

И ужас идёт по следам,
И кровь на ступенях.
Но вам никогда не отдам
Я это мгновенье.

Волшебные брызги летят
И хохот священный!
Я вырвался, светел и рад,
Из тёмного плена.

И вот — предо мною она
Стоит на коленях,
И крови полоска черна
На тяжких ступенях...

29 июля 1990

Птица

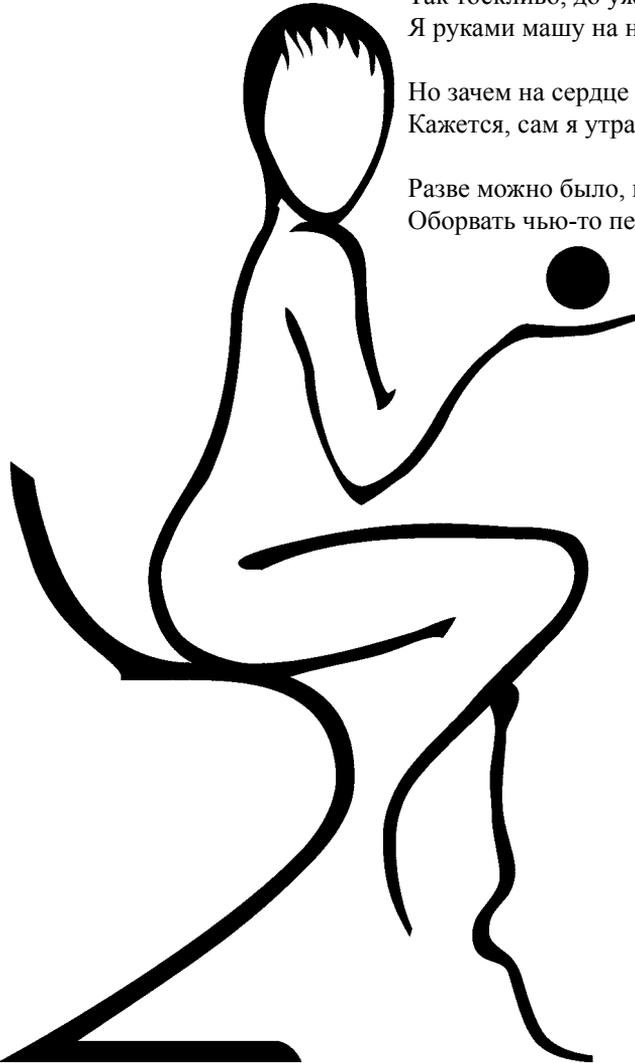
(перевод стихотворения Р.Фроста)

Я хочу, чтобы птица улетела,
Чтобы мне не мешала, весь день не пела

Так тоскливо, до ужаса одиноко.
Я руками машу на неё из окон.

Но зачем на сердце легла забота? —
Кажется, сам я утратил что-то.

Разве можно было, нахмурив брови,
Оборвать чью-то песню на полуслове?..



О, как прекрасно быть шипящим
И беспокойно верезжающим
В полупрозрачной тишине,
И — в жертву жалами впиваться,
В бессильных муках трепыхаться,
И выть тоскливо при луне. —
Такая жизнь по вкусу мне.

Но — знать последние вопросы,
Смотреть презрительно и косо
На мир, сверкающий, как меч?
Или ничтожно и убого
Молить несмысленного бога
Тебя величием облечь? —

Такой удел ужасен, страшен,
И, с треском падающих башен,
Погибни, глупый человек. —
Ты извратил свое призванье,
Сам выбрал меру наказания,
Бездарно свой растратил век. —
Умри, ничтожный человек!

3 июля 1996

Из лимериков Эдварда Лира

Отрыл старичок близ Везувия
Гениальные тексты Витрувия.
Но кипящая лава
Их слизнула — и право,
Так погибло наследье Витрувия!

У дамы с острова Куба
Была голова в форме куба.
И ликуют, с утра
Два роскошных пера
В нём увидев, все жители Кубы.

Один старичок из Варшавы
Уродился с свирепейшим нравом:
Он в клочья всё рвал,
Бил посуду, швырял
За много миль от Варшавы.

Огден Нэш. Термит

(перевод)

Термиты в дереве знают толк:
Термит вгрызается в него, как волк... —
Вот почему летит в подполье
Со страшным грохотом тётя Полли.

Из стихов Эмили Дикинсон (перевод)

Я в руку вложила всю свою силу
С миром в неравной борьбе,
Малую силу, не как у Давида,
Но я была вдвое храбрей.

Нацелила камень, а павшей на землю
Вдруг я оказалась сама, —
И не пойму, мой враг непомерен,
Я ли слишком мала?

<23 декабря 2000>

Панта Рей
МЕАНДРЫ

(интеллектуальная комедия в 4-х действиях)

Действие первое

I

Убийство школяров — законный ритуал. Что делать с этим неизбежным ямбом веселым утром студенческой казни? В мой последний день... В университете... Третью ночь не могу уснуть. Волнуюсь? Нет. Скорее обливаюсь тупой злостью: не хочу выходить в жизнь, не желаю, чтобы она обтесывала меня, как полено. Страдать бессонницей в двадцать три года? Для этого надо совершить нечто из ряда вон. Или готовиться к будущей подлости. Тогда предчувствия тревожат тебя, и больше всего хочется вернуться в прошлое, забыться в утраченном рае, которого, конечно, никогда и не было.

Мучительное желание сна так и остается неутоленным — до той минуты, когда вдруг просыпаешься... И не можешь понять, от чего ты очнулся, откуда вынырнул? Облегчения нет, голова ватная, а часы, между тем, говорят, что время прошло. Еще пульсируют обрывки разговоров, фонтаны картин, несбывшихся затей, которые только что переживал, как наяву, а в квартире наверху начинается непрерывное движение, тараканьи бега — точно два десятка мосек носятся друг за другом вокруг кормушки, изо всех сил царапая паркет когтями, — и это значит, что мне тоже надо собираться и уходить, чтобы поспеть к десяти. Можно, конечно, и опоздать, никто не заметит, да и не явится начальство вовремя, ни одно начальство, уважающее лишь себя. Но не умею я опаздывать, невыносимо перед собой — разумеется, не перед ними.

Почти до рассвета мотался взад и вперед по комнате, потом все же лег, весь в поту. Пять лет жить и жить, бежать, как будильник, не сомневаясь, что это навсегда, и вдруг узнать, что завтра завод кончится! Не будет больше ренты под названием “университет”, которая была надежнейшим моим прикрытием. Снова нужно что-то изобретать, чтобы жизнь текла дальше, текла, а не пробуксовывала... Или, может быть, теперь я “взрослый”, могу ходить “на работу”, как все? Вполне вероятно. Только что я умею делать? Думать? Неделями сидеть взаперти, рисуя круги и петли?

Бессонница поработает. Душу продашь за сон. Но утро еще хуже бессонной ночи. Лежишь, повержен, и кажется, что на тебя опрокинут весь мир, давит на грудь глыбой и не дает подняться. Точно в гроб забили... Утро. Не люблю его и за то, что впереди вроде бы целый день и можно что-то успеть сделать. Вот за эти-то мнимые возможности, за эту псевдо-свободу и не люблю. Вечер куда лучше. По крайней мере, уже и не пытаешься, не дергаешься, не тешишь себя надеждой на деятельность. Привалишься к стене, как камень, и рад этому. Пусть и знаешь, что уснуть не удастся.

На проходной, предъявляя пропуск в развернутом виде, не удержался и посмотрел в глаза вахтеру. Нестарый человек, отнюдь не пенсионер, не отставной солдат. Значит, это тоже “работа”? И та, которая ждет меня за воротами, под стать ей? Тогда уж лучше гардеробщиком: сейчас лето, и у них отпуск. А если вдруг ударит мороз? Вернут их сюда, на рабочие места, где они хором затянут свой профессиональный гимн: “Номеров нет!”? Как будто поставлены они здесь не для того, чтобы ловко поддеть на крючок шкурку, а для чего-то более важного! Хотя можно ли не думать, что ты предназначен для чего-то более важного?

А день этот был такой: пришел и ушел. Никто, кажется, и не заметил, что он — последний. Или негласно было решено притворяться, что ничего особенного не случилось? Церемония награждения... то есть выдачи путевок в жизнь, была сыграна в один акт, в том самом памятном амфитеатре, где иногда читал публичные лекции заезжий лауреат, или же показывали кино, или проводили комсомольские собрания. Мы по очереди спускаемся к сцене, подходим к зеленому столу и получаем свои дипломчики. Кажется, о чем тут еще говорить?

Но я ведь даже ни с кем не попрощался, не условился встретиться, переписываться или перезваниваться! Обидно, что никто не побежал за мной, что и сам я не остановил никого. Что расхоронимся мы, не поглядев вслед друг другу.

То, что еще вчера было важным, вызывало половодье чувств, сегодня словно перестало существовать. Как будто стерли все детским ластиком, всю бедную слезливую мазню. Погасили свет, выключили звук и ушли со сцены. А я почему-то остался. Сознательно? Или меня забыли? Может быть, я просто уснул?

В этот последний день все как-то особенно беззвучно пронеслось передо мной. Давно не помню такого холодного лета. Правда, оно только начинается, но впору перчатки надевать... Пришел с церемонии и не могу отогреться. Наполнил горячую ванну и лег. Гоняю взад и вперед этот день, а заодно и прошлые годы стучатся. Но я еще подумаю, открывать ли им. Свет не включил, только свечу поставил на раковину. Новогоднюю свечечку, почти нетронутую. Возможно, я и заснул и проспал что-то значительное. Но сон-то я видел, более того, я жил!

Когда у людей кончаются деньги, они вышибают себе мозги. А когда у них кончаются идеи? Когда *исчерпан запас*? Что они делают?

Сегодня я еще раз заставил себя быть пай-мальчиком и послушно исполнить то, что потребуют деканат и прочие блюстители моего умственно-го развития. Ни одного лишнего движения я себе не позволил. Тщательно застелил постель, которая уже три ночи работала, так сказать, вхолостую, внимательно побрился новым лезвием, даже белую рубашку надел, в которой чувствую себя на несколько сантиметров выше. Провел пред зерка-

лами хоть и не три часа, но и не просто мельком взгляд бросил. Всегда вот хочется “выглядеть”. Как будто, если не помотришься в зеркало, станешь невидимкой... Во время бритья изучаешь свое лицо и кажется: раз зеркало не пусто и в нем “что-то” отражается, значит, ты есть, значит, ты чего-то стоишь. И другие тоже должны это видеть.

Пять лет хожу я в университет. Пять лет смотрю на высокую башню, по утрам наполовину съедаемую туманом, смотрю на нее с тоской, с надеждой, с отчаяньем. Как верилось когда-то в золоченый шпиль, в могущество разлапистого сфинкса, царящего над пятакком шахматной доски меж четырех проспектов. Пятачком земли, исхоженным и изученным мною с упорством, заставляющим предположить стремление к великой цели. Было что-то мистическое в моей привязанности к этой земле, к этому клочку, занявшему место другого, загаженного несколькими километрами севернее. Ни во что я так не верил, как в него. Но вера эта меня опустошила и обманула, не дала ничего. Дары земли обетованной меня не коснулись.

Мне казалось, что гордый фасад с колоннами украшает древняя надпись: “Да не войдет в стены сии не знающий...” Но, увы, всякий вхож в “стены сии”, часто чуждо науке содержимое великого храма, пусть и не может быть наука ходкой монетой, как ни прикладывай ее. Не знающий не должен входить, а кто же должен? И кого не выбросят прочь, наобещав с три короба? Много окуней заплывает сюда, клюнув на золоченый шпиль, как на блесну. Им до крайности нужны блестящие пуговицы для парадного мундира. А ведь таланты сидят в тени, подальше от выставки. Недаром архивариус Линдхорст... то есть библиограф московской консерватории Вольман (мой дед), когда было отстроено высотное здание университета, заявил: “Показуха! Для экскурсий, а не для науки!” (Из семейных преданий.) Он не знал, что говорит обо мне. Что *меня* приманивают на экскурсию.

Но как же мне не возносить хвалы ему, царящему над всем болотом ничтожества? Университет приотворил дверь чуланную, за которой я сидел, так что и я смог увидеть, что — не все чулан, есть роскошные палаты, солнечные чертоги. Но дверь захлопнулась... Пусть! Я и перед смертью, кажется, буду слышать, как студент говорит студенту : “Пойдем в ГЗ...” В главное, значит, здание... Главное и единственное здание на всю жизнь — других не хочу. Как часто взбирался я наверх, чтобы увидеть звезды!

И это несмотря на то, что сфинксу надобны жертвы и жертвы. Подходя к нему с восточной стороны, я не смею оторвать глаз от земли, я верю, что если не встречаться с чудищем взглядом, то и рабом его полным не будешь. Даже притом, что пять лет отданы, принесены в жертву детским мечтам, до которых сфинкс великий охотник. Нет, он питается не сумбуром, он коллекционирует идеалы, лихие замыслы вселенского размаха, вначале обещавшие успех, но увядшие и не принесшие плодов, когда их из тиши уединенья вывели на яркий и лживый свет сущности.

Честолюбивые планы породил пафос, а не истина. Помню желчных переводчиков, рецензентов, разнообразных консультантов, приходивших к матери в пору моего детства. Они заглядывали в угол, где я грыз ручку, составляя гигантский магический квадрат, или вычерчивал *Pons asinorum*^{*}, и, здороваясь, делали свои замечания, одобряли усердие. И большего мне не требовалось. Я видел живых людей, приехавших издалека только затем, чтобы устранить разнобой в терминологии, поменять времена глаголов, уточнить ссылки; ради *вылавливания вшей*, скажет кто-то. Да, ради этого, но иначе наука не делается. А переводчиками они были только силою нашей исторической ничтожности: чтобы не доверять нужной книги дилетанту, врачу, сами впрягались в карету — они, авторы учебников и энциклопедий.

И вот, я тоже иду по мраморному полу, мимо мраморных колонн. Не во дворце ли ты, босьяк? Может быть, здесь надо высоко нести голову? Ах, тебе не привыкать...

Ощупью пробираясь по храму, спотыкаясь о столы весовщиков и скамьи продающих голубей, я знал только один путь, одну колею. Ни шагу в сторону от того, что казалось мне важным. Пока оно казалось мне важным... Я корпел над талмудами и препринтами, подкладывал под себя словари и справочники, я был до того одержим трудом, что “нормальные люди” шаркались от меня. Если я заходил в общежитие, где заставлял народ за картами или чтением вслух “Науки любви” Овидия (хоть и кастрированной ханжами, но все равно более действенной для молодых охотников за тем, что радость дает им и нам, нежели какая-нибудь “Первая любовь”), то меня встречали глумливой овацией и дразнили: “Марек, а как же заниматься?” Никто не верил, что я могу прийти *просто так*: поболтать, расписать “пулю”, не говоря уже о том, чтобы выпить... А я, попадая в университет, в сей улей устремлений, видя вокруг сосредоточенные лица, духовные проблемы, семинары, коллоквиумы — осуждал ли я движение этих сил к неведомой высокой цели? Нет, конечно, я знал, что все правильно,

Будешь в университете, сон свершится наяву,

но — отходил в сторону. Что мне в этом движении? Только одно движение важно мне — то, что совершается во мне самом. За других я могу радоваться — это пожалуйста. Но примкнуть, разделить — увольте.

Пять лет назад пришел я сюда, пришел к людям, много чем занимался я здесь, но что было моим если и не единственным, то сильнейшим и постоянным стремлением? Бежать от людей, бежать от университета. Однако теперь, когда лишь шаг отделяет меня от этого, я в ужасе. Еще бы!

* *Pons asinorum* — «ослиный мостик»: старое название одной из теорем школьной геометрии.

Университет хоть и немного, но значил же для меня, был чем-то таким, что больше не повторится.

“Был”. Грустно это прошедшее время, примененное к кормящему отцу, но наступило оно не вчера и согласия моего не спрашивало.

Многие известные люди окончили московский университет. И я тоже его окончил. Мне выписали дипломчик — синюю картонную обложку, в которую что вкладывать? — и выпустили в свет. Но торжества не было. Или я его не почувствовал. Несмотря на мерзкое сукно, которым как зеленой покрыли длинный стол на сцене, скучные речи в микрофон, «концерт» и прочее, я видел, что от нас хотят побыстрее избавиться и совсем не пытаются этого скрыть. Скрыть своего торжества: что мы уже *окончили*, и можно нас отрезать. Какой-то день забвения получился. Нас забыли еще до того, как мы покинули зал. Скорбно поднялся я к раздаче и получил свой билет из рук... из чьих рук? Что-то я не помню, кто это был. Какой-то тощий заместитель или исполнитель. Их несколько было, которые выдавали, — для скорости... Я был рад, что быстро. И сразу ушел. Ни с кем не попрощался, — как будто завтра снова увидимся. Само собой это получилось. Торопился я...

Я ведь вышел в люди. Но зачем мне понадобилось затевать сей марафон — не знаю. Весь этот расчудесный и наизнаменательный день я хотел одного: побыстрее вернуться домой, в нору. Стоило ради этого изучать двадцать пять предметов? Если тот единственный, без которого нельзя жить, так и не узнал? И никто не преподает его.

Проклятие университету уже готово сорваться с языка. Почему-то я вообразил, что нечто из себя представляю, и гоняюсь за этим призраком, но сил — не имею. Меня многому учили, в особенности — быть бараном в стаде; но никто не учил меня быть никем (т. е. самим собой)... Отец? Плачу, вспоминая его. За всю жизнь ни разу не поговорили с ним по душам. Как люди. Мать ревнивым часовым стояла между нами, сторожа свой приход. Но нет у меня воспоминаний дороже... Вот он лежит на диване, наполовину скрытый углом пианино, и читает, подперев голову рукой, или смотрит на меня — спокойно и грустно. Не подобострастно вовсе. Изредка раздается резкий треск спички — это он закуривает. Но тотчас из кухни появляется мать, и он, виновато улыбаясь, гасит сигарету и сует ее обратно в пачку. “Прости, голубка, — говорит он. — Я забыл, что в доме дети...”

Что он читал? Знаю я хоть это?.. Но какой ребенок интересуется, что там читает его отец? Даже если книга эта, отменив реальный мир, влила в него тот настой, что лишил его способности действовать... По-моему, отец обращался к матери только с извинениями; а она к нему — только с приказаниями, которые он безропотно исполнял. Это меня утешает. Такая уж стезя ему была: ни в чем не участвовать. Непонятно, каким образом

я получился. До своей смерти он был жив, но я не помню никаких игр, дел с отцом — мать требовала, чтобы я всегда был с ней. Правда, иногда, крайне редко, когда я «заслуживал», он, с ее согласия, водил меня в кафе «Буратино» — на мороженое. Кафе находилось в самом сладком доме Гжатки: его рустованный фасад напоминал плитку шоколада, о которой мечтал каждый голодный школьник, проходящий мимо... Но отец и там молчал. Он ушел, не раскрыв рта даже на прощание. Не выдал себя ничем, если не считать меня — его единственное творение, единственное слово миру... Некоторые его вещи я потом донашивал: удивительно маленькие они были. Мало места он занимал, когда жил, а гроб его вообще показался мне детским. И я совершенно не узнал человека, который в нем лежал. Чужое, незнакомое лицо. Я, конечно, и при жизни не знал его, он сам этого хотел, но чтобы так измениться... Я не очень верю, что это был он, но, поскольку никто, кроме меня, не видел “подмены”, то я и промолчал, решил, что это общий заговор против меня. Вот только зачем?...

Как они сошлись с матерью, которой он и до носа не доставал, неизвестно. Или она потом подросла? Она ведь и до сих пор продолжает расти. Матери — хищная и крепкая каста. Но все простится ей за ту кость, которую она мне бросила: ноты. Упорно загоняла меня лет 10 назад, когда я бунтовал и пытался удрать на футбол, за инструмент, старый «Seiler» с парой канделябров (разгромленный еще во время Империалистической войны 1914 года). Как это говорится: “Музыка нас не покинет”? Хорошо, если бы я мог ее удержать.

II

Есть люди, принадлежащие к особой породе: жертвы матерей. Имею слабость относить к ней себя. Надеюсь, правда, не окончательно. Вот Платоныч — другое дело. Это чистейший представитель, без примесей. Можно даже порассуждать, кто из них более чистый, он или его мать. Но самое примечательное в этих жертвах — их тайная жизнь...

Платоныч казался вдвойне неудачником, потому что был он школьный учитель и старый холостяк. Куда уж дальше? Но когда он шел по коридору и движение всех и вся замирало на несколько минут, как при пробеге черных членовозов по Арбатской площади, кто не подумал бы, что он всесилен?

Мы останавливались, здоровались с ним особенно и каждый надеялся, что Платон Ильич скажет какое-то слово лично ему. И это порой случалось, но всякий раз неожиданно, потому что Платоныч даже в туалет шествовал с каким-то отреченным видом и остекленевшим взором. Он улыбался на каждое приветствие, но чему он улыбался — нам или своим мыслям?

В руке он нес пухлый портфель, набитый, видимо, книгами, но зачем он таскал с собой целую библиотеку, никто не знал. На уроке он извлекал оттуда какой-нибудь задачник и диктовал условие, а мы во все глаза пытались разобраться, что это за книга? кто автор?

Платоныч не был мазохистом и не затевал длительных допросов. Зачем он станет портить себе кровь неутолимым желанием “хоть бы они ответили”? Когда у доски мается мизерабль, учителю ведь тоже хочется, чтобы тот сделал правильно, но это желание удовлетворено быть не может. Как у дворового пса, который долго смотрит на выставленный в витрине кусок мяса.

Платоныч поступал иначе. Мы решали, а он прохаживался по рядам. И когда у кого-то пробуждался интерес, кто-то продвигался весьма далеко, — вот тут-то он полунамеком и разжигал настоящий азарт. Помню его неживой, вечно белый от мела указательный палец, медленно плывущий по строчкам и зависающий над изъёмом в выкладках.

Он был великий артист. Старался не убить нас длинными вычислениями, за которыми так скучно следить, и явно исповедовал принцип “наименьшего действия”. “Математики — люди ленивые, — говорил он. — Задача должна решаться в одну строчку — или это не задача. Я не утверждаю, что легко прийти к этой строчке сразу. Но мастера не ведут нудной осады, как гиены или шакалы, они, как матерые хищники, решают дело одним прыжком.”

Разговор шел только об идеях. Подробности мы должны были доводить до ума сами. И мы это делали. Мы не хотели, чтобы он разгрызал нам крепкие орешки и, как мамка, отдавал сердцевину в готовом виде. Мы оправдывали его доверие. Мы долго думали прежде, чем предложить классу свое решение. Иначе от Платоныча сразу следовала обидная отповедь: “Давилов по-своему прав, но говорит он с таким видом, точно он — колхозный староста, а мы — звеньевые...”

Едва ли он ждал, что все мы готовы забыть мир ради математики. Его смешно подворачивавшийся сзади пиджак говорил нам, что ремесло это не для званных, а лишь для избранных. Но делом его жизни было разбудить и малых сих для наслаждения искусством мысли.

Все же одно время я мечтал стать учителем. Но мне невозможно быть на виду, моя мечта и тогда уже была меньше. Да и мучений не хотел я. Нельзя быть учителем, если не любишь учеников, но те, кого ты любишь — уйдут. Так и жить с вечной раной в душе, углублять ее год за годом? Зависеть от них, которые тебя забудут?

Если учитель не наводит на ученика ужас, то он всего лишь неудачник, несчастный человек. Платоныч не наводил ужаса, достаточно было самого предмета. Ведь на урок математики, даже если бы его вел Фернандель, люди все равно приходили бы с кислыми лицами. Как найти в математике человеческое, чисто человеческое?.. Платоныч знал. Его алгебра (и осо-

бенно геометрия) была музыкальна, а мысли о жизни точны. Что делал в школе такой человек?

У него были свои священные чудища. Именно от него я впервые услышал о Симоне, уникальном ученом, с которым Платоныч когда-то учился в одном классе. “Талантов много, но Симон рождается раз в столетие,” — это была его любимая тема, к которой и я приобщился давным-давно. Нет, Симон-то никогда не марал своих рук школьным журналом, но Платонычу он запал в память, наверное, не только головой-арифмометром, но и тем, что бесконечно любил *своего* первого учителя, — того, который стал бы его проводником в четкий мир, если бы не понял сразу, что ученик давно его перерос. Любил до того, что упоминал буквально в каждом интервью, которое у него, начиная с 20-летнего возраста, без конца брали иностранные журналисты. Конечно, *такой* одноклассник помогает разобраться в иерархиях, помогает каждому сверчку занять свой угол.

Мы тогда не знали, что Платоныч — безнадежный холостяк, что живет он с больной матерью, а она не отпускает его от себя ни на шаг. Мы не могли этого знать, но достаточно было видеть его с авоськой, в которой перекувыркивались две-три бутылочки кефира с зелеными крышечками, когда он проходил мимо площадки, где мы гоняли футбол. И достаточно было видеть восхищенное его лицо, обращенное к нашим девочкам... Только нельзя было заглянуть в тот угол, где в темноте сидела паучиха-мать, державшая его на привязи. Он торопился к ней четверть века и будет торопиться еще столько же, но она все равно переживет его, хоть и прикована к постели.

Молодые учительницы на тухлых, чопорных учительских посиделках дразнили его: “Платоныч, сознайся, ведь ты был женат?!” — “Ха, — отвечал он. — Не каждая жена захочет с больной матерью жить.”

И не каждый сын, думаю я. Что о себе воображала эта женщина, назвавшая сына Платоном?.. Она явно была из того же племени, что и моя мать, слишком заинтересованная в результате, чтобы не насаждать тирании. Она била меня, морила голодом? — Нет, зачем же? Она управляла мной незримо, но если я отклонялся от курса, она показывала себя во всей силе и не оставляла камня на камне. Она не скупилась на похвалу — правда, отмеренную так, что заслужить ее можно было только сделав нечеловеческое усилие. Когда я падал, в изнеможении пересекая финишную черту, на мой потный лоб ложилась ее мягкая исцеляющая ладонь. Но ничто не заставило бы ее протянуть мне и мизинец хотя бы за метр до финиша.

Когда я перестал жить с оглядкой на мать? Не знаю. Но меня, по крайней мере, подразнили иллюзией свободы выбора. Позиция матери Платоныча была более экстремистской: “Я для тебя пожертвовала всем, жертвуй и ты для меня всем.” Он, как школьник, никого не мог пригласить к себе, он нигде не мог задержаться долго, не мог пойти в кино или театр, не мог уехать в отпуск на море... В жизни он, казалось, только и успел, что

окончить школу и поднять глаза к свету, когда мать приковала его к себе, лишила подвижности.

Почему столь велика власть над молодыми и красивыми этих гофмановских ведм — горбатых, вонючих, страшных? Маленьких кровососущих старушонок, из-за которых, однако, вполне могут продырявить друг друга два энтомолога, посчитавших, что открыли новый вид? Потому что и Платоныч, как все, уловляется своими же моральными принципами.

Как отзывался он о ней? И отзывался ли? Может быть, его мать была притчей школы? Нет, мы ничего никогда не знали. А говорить — он о ней говорил. Весьма торжественно: “Она служила благородной формой для лепки этой плоти...” (Указующий жест.)

Хорошо, пусть злобная свекла приковала к себе его плоть, и он не мог пойти в театр или в кабак. Но сидеть дома под лампой и делать науку — он мог?

Мог. Но в соседней комнате полулежала на подушках благородная некогда форма. Она уже повязала голову белой косынкой и ждет, когда “Платоша” придет говорить с ней о политике. Она будет терпеливо ждать до девяти часов, а потом слабым голосом позовет: “Сынок...” И он пойдет к ней. “Что, мама?” — “По-моему, пора включать телевизор.”

Сначала они будут смотреть молча, мать немного подуетса, что он не пришел сам, но потом потеплеет, ее развеселят новости, и беседа с сыном не прекратится до поздней ночи. Она должна просмотреть все до конца, по всем программам, и Платоныч едва успевает бросаться к переключателю.

Пока он был в школе, мать спала. Чтобы набраться сил к его приходу. А ночью, когда серый экран, ведущий в ад, все же гас, и Платоныч уползал к себе — не то что за письменный стол, а едва отыскивал наощупь кровать, — мать каждые полчаса будила его, как грудной ребенок, просила подоткнуть одеяло, принести воды, просто посидеть с ней еще: ей так одиноко, она старая и больная, а ему это ничего не стоит.

Все же, пока он был молод, ему случалось срываться и он пытался улизнуть на какой-нибудь вечер. Разумеется, мать никогда не отказывала ему, он взрослый человек, сам себе господин. Но на деле согласие ее означало: “Ты должен сидеть *со мной* — разве ты не знаешь? Нет, ты можешь идти, но неужели тебе не стыдно? У меня больная печень, мне нужно есть по часам, и ты мне приготовил. Хорошо. Но ведь я плохо вижу, я, конечно, *не найду* еду, пусть тебе будет стыдно, что ты бросил мать, как окуроч. У меня будет приступ — ну и пусть, зато тебе будет стыдно. Да, терпи, ты должен терпеть все, потому что я тебя родила, а не ты меня.”

Итак, Платоныч был унылой жертвой деспотизма, подавившей свои желания, рябой, согбенной, с неприятным цветом лица? Э, нет. Несмотря на безумные ночи, он казался твердыней. И не преклонял на жалость. Напротив. Я ему завидовал и следил каждый шаг. И все мечтал, мечтал о том,

чтобы остаться после уроков и поговорить с ним наедине. Обо всем — не только о математике. Но я боялся, конечно. На что я ему?

У нас в классе (да и в других, я думаю) как-то так было заведено, что девочки по двое-трое подходили в конце урока к Платонычу и просили еще раз объяснить им что-нибудь трудное. Это был буквально ритуал, установившийся в незапамятные времена. “Сильная” половина редко пользовалась этим правом — правом пойти и сдать. Почему? Наверное, мы думали, что он перестанет уважать нас за то, что мы выбрали легкий путь. Ведь так и было: мы, действительно, до всего могли додуматься сами — стоило только посидеть подольше, погрызть карандаш, а не семечки. Не мне одному, наверное, хотелось поговорить с ним “за жизнь”, но повода для этого не было. Кроме того: Платоныч не очень жаловал мальчиков. Но этому есть свое объяснение: возможно, ему казалось, что он по-прежнему преподает в женской гимназии, которая еще совсем недавно, когда моя мать в ней училась, помещалась в здании нашей школы... Так или иначе, я уверен, что и девчонок интересовали не столько задачки-синусы, сколько... Что?

Ревниво следил я за ним, но все было тихо у нас в школе, никаких ЧП, в ходе которых представляется поговорить с учителями по-настоящему, по-человечески. И никакого нечаянного случая, который бы всех нас изумил... Мне пришлось угадывать его жизненное кредо, а не получать от него в готовом виде. И я нашел секрет Платоныча, нашел... когда его уже не было рядом. Может быть, и Ксюша Романова, моя одноклассница (ничего-ничего, и о ней можно говорить нейтрально, как ни в чем не бывало) тоже помогла мне полунаметом... Я уверен, что именно в такой форме он и провел эти уроки, и с тех пор три разговора с Платонычем занимают в моем сознании место нетленных заповедей.

Уроки жизни (и отношения к женщинам) преподавал он частью в туалете (до которого был большой охотник), частью на заднем дворе школы, где мы во всякую погоду гоняли мяч, а частью — прямо в классе, когда я потом навещал его.

“Так устроено, — сказал Платоныч, застегивая брюки, и возводя горе свою огромную, круглую и гладкую, как шар, голову с огромными глазами, никогда не глядящими на собеседника, а всегда вверх, градусов под 30 к горизонту, словно протыкая небесную сферу в той точке, где должна находиться некая неподвижная звезда, — что мысли о женщинах долгое время будут подавлять все прочие ваши мысли. Или дадут дорогу чему-то более важному, если кто-то из вас для этого предназначен. Поэтому — несколько положений. Из цикла “Не только о математике”.

Вам странно и завидно, что ваши девочки радостно остаются после уроков, чтобы послушать меня еще раз. Вы гадаете, действительно ли мы толкуем о Пифагоре, а не об Абеляре; вы не можете понять, почему они

говорят мне: “Здравствуйте” таким тоном, каким потом будут повторять кому-то: “Люблю тебя!” И почему первым этот звук, эту небесную ноту услышу я, старый учитель.

Запомните: чтобы объяснить что-то женщинам, недостаточно одной логики. Они в большей степени чувствительны к жестам, силе голоса, выражению глаз. Их убеждает ваше расположение к ним, ваше стремление объяснить им, — если вы его всеми этими средствами покажете. Я не могу быть равнодушным к тем моим ученицам, которые, обладая редким обаянием (чтобы не говорить: красотой), демонстрируют такое трудолюбие, которое считается необязательным их более легкомысленными (и менее обаятельными) подружками. И я не умею объяснять им трудные места, не поглаживая, как бы извиняясь, им ручки, не перебирая пальцами их локоны, не видя их улыбок. Потому что самая мысль о том, что им трудно, скучно — невыносима для меня. Тем более, что легкий шок обеспечит проникновение материала на глубину, которой ему никогда не достичь в рамках честных правил. И если я не могу поцеловать свою лучшую ученицу, то какой я к черту учитель?..”

“Но мир имеет только декоративное значение. Он должен радовать глаз — не более. И только декоративное значение имеют мои прелестные слушательницы. Не стремитесь дальше поверхности, друзья мои. К беде настойчивость ведет. Можно разделить трапезу, ложе, состояние; но разделить с кем-то свою любовь — значит убить ее, раззять, как труп.

“Спасибо вам”, — говорят они уходя. — “Спасибо *вам*,” — эхом отвечаю им я. — “За что?” — не понимают они. — “За улыбку”, — говорю я. — За то, что, уже подросшие, томящиеся в своих «керосинках» и «менделавках», откуда уже нет другой дороги, как замуж, они могут увидеть меня из троллейбуса, выскочить чуть ли не на ходу и пробежать целую остановку назад, чтобы догнать меня. Завтра у них должна быть контрольная по «вышке» — и вдруг: вот он, я, иду по зеленой улице и могу в полчаса разъяснить отличие Даламбера от Лейбница. Нужно только вернуться ко мне — и все станет ясно, хорошо, просто, как в те дни, когда они быстро расцветали в школьном саду.

Никогда не жалейте бедного старого попугая — завидуйте ему. Он владеет тем, чем никогда не владеть сильным, молодым и веселым — своими ученицами... Нет, конечно, они не были моими любовницами, — упаси бог! Но те, кого они полюбят потом, должны будут относиться к ним так, как приучил их я. Иначе любовь уйдет. Я задаю образ, а потом пусть их являются исполнители, марионетки, дубли, которых они назовут своими мужьями.

Да, на вас они смотрят, как на стену, а вот на меня! Их взгляды — эти легкие искры — как звездочки, пробившиеся сквозь тучи, чтобы светить только мне — тому, кто не спит, кто всегда на страже.

Думать о них, вспоминать их лица, жить ради нечаянной радости встречи с ними... Что еще нужно для счастья мне, старому учителю? Которого они заваливают подарками на день благодарения и пишут в открытках, что они “всегда мои”?

Если вам повезет, вы какое-то время будете владеть одним из них — чудных, лучистых созданий. Будете воображать, что владеете... А я — тяжелый человек, несвежий холостяк, которого жизнь с существом, лишь мною сущим и кровь мою сосущим, сделала неприятным самому себе, — я владею всеми. Любовь моя к ним легка. Я умею любить. Потому что я — прощаю все. Прощаю за тот интерес, который они проявляют ко мне, старикашке. Пусть он и корыстен, и они посмеиваются у меня за спиной, придумывая смешные и обидные клички, но глаза-то их, тайники души, всегда загораются при виде меня. И огонь этот подлинный, его подделать нельзя. А значит, душа их у меня в плену. Что против этого ваше обладание?”

Когда Платоныч снял у меня с языка “не только о математике”, я точно прозрел. Нам ведь кажется, что учитель математики — робот. Что по вечерам, один, он не Овидия читает, а Евклида.

Платоныч носил Овидия в душе (конечно, не только того сладкоголового певца деятельной, но сугубо плотской любви — разновидности военных действий, — давшего свод хитроумных уловок для обмана мужей; “Овидий” — всего лишь удобное имя для обозначения темы страсти нежной, которую Назон не мог воспеть хотя бы уже потому, что у древних не было возвышенной любви к женщине — любви к Беатриче, поклонения мадонне: они еще не открыли ту женщину, которая для них была бы не только инструментом деторождения; их героическое сознание было направлено лишь на победу, завоевание, а любовь не имела развития: раз возникнув, как гнев Ахиллеса, она требовала одного: утоления действием, а не размышлением и мечтами, воспитанием чувств. С возвышенной любовью они связывали мужчин...). И не только Овидия носил в душе Платоныч — потому и чувствовал науку позвоночником: ведь наука — тоже охота, род военных действий на территории того, кто изощрен, а, возможно, и злонамерен. Когда у нас не получалась задача, он одним словом выводил нас на верный путь. Так знать предмет может только тот, кто любит, кто не чужой, кто посвящен в тайны ремесла... Я задавался вопросом, почему он не пошел дальше — к одиноким вершинам науки? Почему не сдал мать в богадельню?

“Невозможно не стареть, — сказал Платоныч, поправляя бутылочки кефира в авоське. — Нельзя любить новое больше того, что любил в молодости. Но ваши улыбки, ваши сияющие глаза, улыбающиеся *этому* времени, примиряют меня с ним. С той жизнью, понять которую я уже не

могу... И пока можно видеть лучезарные девичьи лица, склоненные над тетрадкой, душная келья с интегралами не может соперничать с этой долей. И нечего пытаться. А расставанья я не боюсь, как ни тяжело оно, как ни болит сердце при звуках последнего звонка. Я заранее готовлю себя к тому, что через 2-3-5 месяцев придется смириться с тем, что они сидят где-то, а меня рядом с ними нет. Это ощущение близко к чувству утраты члена семьи и я испытываю его каждый год. Может быть, потому, что у меня самого семьи никогда не было? Но, так или иначе, я знаю, что осенью чудесный механизм породит новую дюжину дочек.”

Платон Ильич утешался самонадеянной иллюзией, что его ученицы перед смертью будут вспоминать не мужей и любовников своих, а его, Платоньча. Тем и жил, хоть и “не мог” понимать жизнь. Дюжина учениц возмещала ему ту нежность, которую могла бы дать жена. Одна. А сколько дюжин гостило у него за двадцать лет?

Ему незачем было еще что-то понимать. У него дел хватало. А мне? Могу ли я понять — не то что жизнь, — хотя бы самого себя, чтобы смириться с какой бы то ни было готовой долей и не искать большего, иного? Жить ради улыбки, которая исчезает, как радость астматика, от малейшего дуновения?

III

Заткнув за пояс единственное материальное свидетельство того, чему были отданы пять лет жизни, я поднялся на тринадцатый этаж, и в пустынном и просторном факультетском “WC”, на белой стене, среди немногих образцов стимулирующей словесности обнаружил совсем свежее откровение:

*«Сколько поле не квантуй,
Все равно получишь... поле.»*

Клиновидный почерк с тильдами на концах слов, которым это было начертано, мог принадлежать только одному каллиграфу, рожденному подписывать исторические документы. Когда-то он каждый день летел по строчкам в тетрадке слева от меня, и, может быть, поэтому сквозь сирий этот юмор проступило согретое моим упорным взглядом, как “Мене, текел, перес”, иное, истинное содержание: “Тебя пленяет говор мой, ты по пятам идешь за мной? Иди-ка лучше за собой, и будешь — рано ль, поздно ль, — мой!”

Неужели Змей был здесь? — вздрогнул я. — И не пожелал со мной встретиться? Правда, мы не виделись уже года два, а разошлись и того раньше... Но кто другой стал бы выводить симпатическими чернилами

старый гимн, которым он раньше дразнил меня? Да еще в такой день? Конечно, Змей, ужасный и странно притягательный, расколовший мою несчастную голову надвое... Когда б не он, разве быть бы мне вообще в университете? Нашлись бы такие амбиции?

В начале восьмого класса, когда мне не то что были так уж новы все впечатления, но они, по крайней мере, еще не раздражали ум желанием действовать и незнанием пути, — в нашей тихой и точно чем-то напуганной школе, “в уголке” — так когда-то назывался треугольный сквер с лавочками, детской площадкой и церковью при основании, затиснутый среди доходных домов, — появился новый ученик. Который давно выучился всему, что хотел знать, и теперь только исполнял некую миссию. Он переходил из школы в школу, словно чего-то упорно искал, чего-то допытывался.

Нельзя забыть нашей первой встречи: я выбежал со двора, где мы, как всегда, играли в футбол, за мячом, и вдруг — он стоит у разбитого фонаря, возле церкви, скрестив ноги, как сучающий вратарь, и, прищурив один глаз, смотрит, как я бегу в своих кедах и тренировочных штанах... Больше ничего не было, он тогда еще не учился у нас. Но лицо его, мимо которого в старые времена ни за что не прошел бы живописец, вьелось в память с той же ясностью, с которой, должно быть, и чудотворный лик отпечатывался на плащаницах. Не «Мальчик под портиком», пусть и на русский лад, ироничнее и суше, а скорее уж «Змей под деревом познания» — так назвал бы я тогда эту картину, если б знал, чем он должен стать для меня.

Привели его в класс, наверное, через неделю. Тогда-то, на большой перемене, когда все отправились покурить на улицу, он и подошел к каждому из нас, чтобы обменяться рукопожатием, повторяя при этом: “Очень приятно: Змей... Будем знакомы: Змей...” А потом никто и не думал уже называть его иначе, да он и сам, очевидно, не хотел... Пожатие его не было особенно крепким или, наоборот, вялым. Не знаю, как другим, но мне показалось, что взял он меня не за руку, а — за горло.

Змей явился не для того, чтобы усовершенствоваться во французском языке и стать первым учеником. Он никогда и не был учеником, он был ловцом человеков, и пришел он — за мной. В сравнении с легкими, хотя и не безоблачными детскими дружбами, дружба со Змеем была мучительна, как любовь.

Кем я был до него? Не уверен, что я вообще был кем-то. Даже вопрос такой был невозможен до прихода Змея. Нет, у меня были потребности, всегда настоятельные, конечно. Но не было одной, самой, может быть, настоятельной: быть собой.

До него я знал две вещи на свете: футбол и деньги. Да, деньги... Я не хотел быть взрослым — и играл в футбол. И я хотел как можно быстрее

стать взрослым — и фатальная охота за деньгами не прекращалась никогда. Детство мое золотое — это кассовые аппараты в 35-м троллейбусе, ходившем тогда по Гжатке. Интересно, сохранились ли они хотя бы в музее, в Политехническом?.. Помню три. Первый — железная тумба с треугольным верхом; чтобы взять билет, нужно было крутить рифленое колесико величиной с овсяное печенье. Недостаток очевиден: можно оторвать сколько угодно билетов, не бросая денег. Но вообще поживиться нечем. Поэтому их и заменили на более компактные, серые, головастые, с рычажком на пружине, который смешно щелкал и часто заедал. Конечно, они капризничали: если что не так, деньги заглатывали — или презрительно выплевывали в маленькое окошко, обычно невпопад, так что случайный пассажир мог и не заметить. Особенно хорошо помню третьи: зеленые, призматические, как таксофоны, и тоже склонные отплевываться монетами. Работал аппарат: надо было нажать сверху.

Неважно, что до школы мне было тогда три минуты пешком. Каждый день, после уроков, я несколько часов проводил в разъездах. Нельзя было постоянно торчать у кассы: зрячий затылок водителя за версту чуял промысловика. Войдя в троллейбус, я только мельком бросал пронизывающий взгляд в недра окошка, выдававшего “сдачу”, освещал его огнем своей алчности — и равнодушно отходил, выжидая момент для прыжка. И не раз выгребал клад. Но, бывало, вагон останавливался, водитель возникал в проеме двери и напрямик направлялся ко мне, обмершему от ужаса.

Еще одно было занятие: нумизматика. Фартинский, Шорин, всякие слова: гурт, реверс. И бегодня с приятелями в музей революции: поглядеть на редчайший золотой червонец 1924 года, на серебряные полтинники с полуобнаженными молотобойцами, упорно долбившими по наковальне. Двугривенный 34 года, уникальный экземпляр, снимка которого не было даже в каталоге, я выменял у наивного Суслика со второго этажа (вернее, не выменял, а попросту купил...). Вступил в обладание, как неким “заиром”, неразменным рублем, ключом к могуществу. Только над кем властвовать? В школе я и так приобрел кличку «еврей Зюс», — ведь у меня всегда водились деньги... За некоторые образцы мало что сестру родную, как Азамат, самого себя продал бы. Много было разных окаянностей, служивших поводом для баталий между мной и матерью. Все, что я избирал, было ей не по душе. Но что с того? Не верю я в пай-мальчиков. В жизни человека самое важное — перелом, и в детстве надо быть всеобщей язвой, чтобы после — камни ворочать за то, во что поверишь. Если же мальчик тих и причесан, то перелом даст существо злое и мстительное. Нужно в детстве врать, воровать, курить и бросать окурки в горшок, чтобы потом было что преодолевать.

Этим переломом был Змей. Именно он взволновал ум сомнением во всем, что у порядочных людей не вызывает никаких сомнений...

А поначалу казалось — просто отличный парень, кудесник и застрельщик всего самого веселого. Первое, что он предложил мне, так сказать, на пробу — носить в школу кирпичи. В портфеле. Условились, что трех будет достаточно. В то время вокруг уже пошла ужасная ломка, и там, где совсем недавно было кафе “Ветерок”, медленно возводилось что-то монументальное и милитаристское. Мы выбрали себе несколько осколков прошлого и каждый понес их домой. Я их еще и вымыл в раковине — чтобы не пачкались... Сидели мы на последней парте, и вот, на уроке военной “подготовки” выкладывали свое богатство на стол. Совсем без грохота, конечно, не получалось, поэтому майор Поликарпов отводил затуманенный взор от портрета Владимира Ильича (“Учиться военному делу настоящим образом!”) с прилипшим ко лбу пластилиновым шариком, пущенным из дальнбойной трубки, размеров не достаточных для того, чтобы восхищенный глаз майора его обнаружил, — и угрюмо осведомлялся: “Что за черт там?” Он словно чувал, что сей материал заимствован со строительства военного объекта. Но кирпичики-то были старенькие, с приставшими пятнами штукатурки — обломки былой Гжатки, которые Змей, не зная того, может быть, желал сохранить... Изюминка заключалась в том, чтобы, выложив на парту весь комплект, *устпеть убрать назад*, если стратег пожелает приблизиться.

Потом были дрова. Березовые. Поехали ко мне на дачу и в роще нарубили-напилили каждому по вязанке. Взяв подмышку, вернулись в Москву и, не торопясь, но деловито спустились с ними по Кузнецкому мосту и спрятали их до следующего раза в библиотечном дворе. Люди наши воспитанные, никто, конечно, не остановился, чтобы поглазеть на идиотов. Только в метро один мужчина, вероятно, нездешний, проходя через соседний турникет, поинтересовался: “Откуда дровишки?” — “Из лесу, вестимо,” — честно отвечал Змей.

Мы много блуждали с ним по Гжатским трущобам, которым недолго оставалось пребывать в равновесии. Что ему было нужно? Чувство, что он — сильнее, что может пинком ноги обрушить стену или потолок, десятилетиями охранявшие жизнь неведомых людей? Он ходил там, как предтеча новых разрушений, которые пронесли над этими дворами немного спустя. Правда, если верить ему самому, то искал он «дверь в стене»... Конечно, это была одна из его шуток, но в случае Змея отделить шутку от серьезного не смог бы никто. Змей был смертельно серьезен, но розыгрыши и пробы следовали сплошной чередой... В первый же день он указал мне на дверь, которая вела в нашу церковь — точнее во дворик, скрытый за белой стеной. Дверь была именно «в стене», в толще ее: чтобы войти, нужно было подняться на две ступеньки. Деревянная, окантованная металлом, когда-то, наверное, покрытая зеленой краской, но теперь — грязно-желтая. За этой дверью... Она всегда была заперта, но мы знали, что там работают люди, кукольники, таинственные мастера перевоплощений.

Нас не очень занимало, как они туда попадают, но образ церкви, в которой живут куклы, поневоле щекотал воображение.

Змей сразу присвоил себе право на дверь, мимо которой я ходил всю жизнь. Право и знание. Почему-то он разбирался во мне лучше, чем я сам, хотя и делал это шутя. Но нельзя отрицать: с тех пор и для меня символом будущего, путь и ненадолго, тоже стала эта дверь в стене.

Змей боялся банальности, как черт значка ГТО, и не терпел, когда его ставили рядом с кем-то еще. Если бы не нашлось иных средств утвердить свою оригинальность, он, я думаю, из штанов выпрыгнул бы и прошелся по школе. Он ничего не делал и не говорил, “как все”. Страх банальности двигал его часы. Даже в окошко духовки он мечтал вставить телевизионный экран.

Родителей он подчинил себе полностью. Отец, строитель, просто рта не смел раскрыть при “Левочке” (его имя), а мамаша, медсестра, самое большее, что могла — это прошипеть что-нибудь “в сторону”, пока делала то, что он просил. Они для него были “мещане”, как и основная масса людей.

“Набор банальностей”, “банал” — слова эти сыпались из Змея поминутно. Его целью было все осмеять, все расхожие ценности. А если он за чем-то и признавал какое-то значение, то лишь в том случае, если оно само имело своей целью что-либо осмеять. “История мира — смех,” — говорил он. И я как-то незаметно пристрастился насмешничать вместе с ним. То есть поддакивать из-за его спины.

Подобно моему отцу, Змей тоже знал только одну книгу — о сильных людях, — в которой был протагонистом. “Ты — или тебя,” — так разрешал проблему Змей. Глаголы можно было подставлять по желанию, но для себя он выбирал действительный залог. Я не смел тогда спросить: “А как же я, друг? Значит, и меня?” И не замечал этого. Ведь Змей высок и строен, Змей оригинал, Змей первый во всем... Еще до того, как стать его тенью, я спросил одноклассника: “Кто у нас самый высокий — Змей?” — “Что ты? — удивился он. — *A, B, C, D, E* выше его на голову. *A, F, G, H* — такие же.”

Не выше, а длиннее, — поправил я и угрюмо отошел в сторону. Много они понимают в Змее. Правда, в нем и затруднительно что-то понимать, подсказок нет. «Дверь в стене»? Может быть. Но сама эта стена едва ли огораживала старую церковку. По-настоящему Змея тянуло вверх, на крыши; готическая его душа искала подходящего плацдарма, стартовой площадки, вознесенной над городом, чтобы произнести на ней какую-нибудь торжественную клятву, присягнуть на верность идее-фикс. Я следовал за ним и мне тоже стало хорошо, гордо. Но чему можно было присягнуть, во что поверить? Змей не посвящал меня, он дал мне упиться пафосом и перспективой, — спасибо навек.

Разумеется, я попытался предоставить в его распоряжение хотя бы крышу своего дома, который во время оно был, по-видимому, скопирован с венецианского дворца. Тем более, что занимал я не *piano nobile**: мы ютились под крышей, в одном из тех двух этажей, что были добавлены позже. Но стрельчатые островерхие окна, повторявшие контур длинноволосой женской головки, он неохотно одобрил. Наверное, и меня он по-настоящему заметил тогда же, но я-то, собственно, вел его «на высотку», которые для него были просто семь чудес света, он на всех мечтал побывать... Однако как раз высотку дипломатического ведомства, торчавшую на другой стороне, пусть и нелюбезно повернутую, так сказать, задом, он сразу и не приметил. А ведь она была лучшим ориентиром в округе: таскаясь по дворам и переулкам, стоило только приметить ее шпиль над крышами или в проеме арки, — и, значит, дом уже близко. Но она, конечно, была недосягаема. Для школьника, по крайней мере... Те же высоты, на которые нога человека могла ступить без специального пропуски, нам покорились.

Последним был разлапистый гигант на Котельнической набережной, к которому мы подошли под покровом ночи после какого-то дурацкого рок-концерта. И, несмотря на вопли консьержки, успели юркнуть в лифт, не ускоряя шага. Но дом оказался на редкость скучным, никакой возможности проникнуть в верхнюю часть не было. От лифта нельзя было удалиться и на десять шагов. Башня, а не дом... Зато внизу нас ждали. Увидев милиционера, я сразу понял, в чем дело, но что-то помешало мне спастись бегством. А Змей не стал церемониться: как угорь выскользнул из-под руки, пытавшейся его поймать, и шмыгнул в вертушку, а затем — в спасительные кусты. Но его никто и не преследовал — ведь я был тут. Я не знал, что содеял нечто преступное и не понимал, зачем бежать. Мне тут же объяснили, что не только “заберут” меня, но и в тюрьму посадят. Правда, ограничились тем, что продержали полночи в КПЗ, за перегородкой, вместе с насквозь промокшей и заплаканной девушкой, и даже сводили на “допрос”, но ничего не спрашивали, а только пригрозили “сообщить в школу”.

Обиделся ли я на Змея? “Не надо спать, — ответил я сам себе за него. — Вы поступили правильно, Монтрезор. Какая разница, если бы взяли нас обоих, и не одна, а две матери не знали, что и думать?”

Или, может быть, я обижался, когда он меня высмеивал? Если я говорил о вещах, которые узнал от Змея, в присутствии посторонних, он морщился и косился в сторону, а ведь я ждал поддержки. Мало того, он еще и начинал издеваться над тем, как я понял эти вещи. Очевидно, я сильно марал их своим убогим пониманием. Разумеется, он потешался, наблюдая, как тот, кто еще вчера с большим удовольствием погонял бы мяч, сегодня пытается выговорить новые, непривычные слова. А если я осмеливался

* *piano nobile* — бельэтаж.

просить его разъяснить что-то, он отвечал: “Не многим избранным понятен язык поэтов и богов.”

Что можно было возразить на это?

Как я ни старался, а все-таки подходил к нему “не вовремя”: он смотрел, как играют в пинг-понг, а я — хотел поговорить. Ему это было “неохота”, “не в кайф”. Видел, должно быть, что глаза у меня сверкают, и это его охлаждало. Он был согласен, чтобы глаза мои сверкали только от него, когда *он* руководил мной. Прочие источники моего вдохновения его не устраивали. Его излюбленная садистская шутка была: со звонком сняться с места, бросить на ходу: “Пока” и исчезнуть. Никто никому ничего не должен. А я оставался стоять с раскрытым ртом... И в переменах он мог куда-то провалиться. Это всегда бывало тем неожиданнее, что обычно-то он всюду таскал меня за собой: то книгу купить, то сходить за “дисками” (ударение на втором слоге). И я бегал за ним, как пуделек. А тут — раз, и нет его. Или, бывало, подойдешь к нему, расскажешь о том, что, по-моему, должно быть ему интересно, что он сам еще только вчера хотел узнать или найти, а он выслушает с гадливой физиономией и спросит: “Все?” Или отойдет, бросив через плечо: “Не интересуется”, и станет смотреть, как на подоконнике играют в шахматы или в “железку”.

Пытаясь заслужить его уважение, я как-то целую неделю носил в школу «Братьев Карамазовых». Змей не реагировал. Наконец, я спросил: «Ты читал?» — «Разумеется. Прочел за одну ночь». — «?.» — «Если книгу нельзя прочесть за ночь, то незачем вообще за нее браться!»

Когда он особенно дразнил меня, доводя вычитанием если не до абсолютного нуля, то почти до отчаянья, я возвращался домой, как блудный сын, потерянный, пустой и мне очень хотелось сделать что-то хорошее, полезное для кого-то, раз я никак не способен на умное. И что я мог?

В такую минуту подворачивались голуби, ходившие в обеих арках нашего дома. Стоило на миг остановиться, и птицы слетались отовсюду. Я имел в кармане булку (за 7 коп.), которую, пройдя во двор, в минуту скармливал. Меня к ним тянуло: голуби ведь всегда притягивают горемык. Но Змей, если он был со мной, каждый раз пытался поймать птиц руками, бегал за ними, как баба за курицей, любил эту забаву неумный человек.

Когда он только появился у меня, то сразу же допросил отца, который очень недоверчиво к нему отнесся, и вызнал, что живем мы, оказывается, в «доме Варламова» — едва ли не первой в городе фантазии на готическую тему, породившей целую семью, из которой, правда, и пары представителей не уцелело в начальном образе...

Я был сердит: Змей понадобился даже для того, чтобы я обратил внимание на свой дом. Но что я могу оценить, как должно? Только то, что дом обезображен донельзя. С чего он скопирован, меня занимало меньше, чем какой-то бесцельный протест. Дом Варламова? Кто сей? Денежный мешок с культурными замашками: ведь строился, чтобы выжимать деньги, зачем

же было так напрягаться? Или тут реализовалось то, что затруднительно было осуществить иным способом?

С людьми Змей вел себя так, словно единственной его целью было заставить вас крикнуть: “А ну тебя!” — и разорвать отношения. Но в моем случае он умел так оформить издевательство и унижение, что мне казалось: это говорит не он, не человек просто, а в его лице некий надмирный судья, который любезно указывает на то, чего я не могу, не умею, не знаю. И мне хотелось “исправиться”, научиться, а не расплываться с ним. Я мог винить только себя — за то, что не могу делать, “как надо”, быть таким, “как надо”.

Было много арен, где Змей испытывал свою силу. Очень любил он раздражить воображение простака, дожидаться, чтобы тот уже начал облизываться от предвкушения, — и сунуть ему под нос добротную фигу. Некоторые его розыгрыши смахивали на жестокие пробы, за которые кто-то платил всерьез. Постоянной мишенью служили для него негодные учителя, которых он изводил со вкусом и, главным образом, не своими руками. Я долго не мог забыть несчастную Лию Ивановну Каламаниди, учительницу химии, унылого предмета, уныло ею преподаваемого, на уроке которой мы все, под управлением Змея, распевали однажды «Вечерний звон». Лия Ивановна часто болела и прежде, да и вообще была какая-то окисленно-прокисшая, но спустя пару недель после концерта она ушла из школы: то ли на пенсию, то ли еще куда-то. Потом стали говорить, что она умерла.

Однако, привыкнув к фокусам Змея, я тоже однажды разыграл его. И он поверил! Поверил, может быть, на одну лишь секунду, но — заглотнул пустышку. На большее я и не рассчитывал.

Я рассказал ему, что один из моих уроков музыки посетил седоватый человек с выдающейся челюстью. Он заглянул в кабинет, где я лихо наяривал *Alla Turca*^{*}, и, прослушав несколько тактов, одобрительно покивал головой, показав величавую круглую лысину — совсем как на концертах, на которые нам, бывало, удавалось прорваться. Моя наставница порхнула к нему, как бабочка, несмотря на то, что была обременена годами и килограммами. Они перекинулись несколькими фразами, а потом он удалился, склонив голову на бок, как всегда удалялся от рукоплескавшего зала...

Змей поверил в эту фантазию благодаря тому, что я лишь косвенно описал великого коммуникатора, а не прямо назвал его имя. Он считал, что я неспособен на такой ход. Очевидно, ученик (я) все же взял что-то от учителя.

Змей властвовал мной по праву, мной же ему и данному. И я служил ему, как не служила бы и влюбленная женщина. За что? Что он дал мне?

* *Alla Turca* — «Турецкий марш» Моцарта.

Три года выбивая почву у меня из-под ног, унижая и презирая, причиняя мне боль, он тем самым предъявил мне доказательство, что я действительно существую, что мое «я» не есть фантом. Я не только взирать стал на все его очами, я и говорить стал его речами. И он ужасался жалкой пародии, набрасывался на меня, втапывал в грязь. Всегда приходилось быть начеку с этим единственным, лучшим моим воспитателем, который дал мне — *меня*. С той поры я был просто обречен на бесконечные открытия в себе самом. (Которые, кроме меня, никому не нужны...)

Похвала Змея — удостоился ли я ее хоть раз? Очень даже. «Молодец, дурак», — говаривал он после того, как я попадался в очередные силки, которые он расставлял моей наивности. Его похвалой были его дары, и самый щедрый дар, пожалованный им мне, беззащитному, был дар сомнения, которое стало моей второй натурой. Я стал сомневаться во всем решительно и это, конечно, нельзя было бы зачесть за благо, если бы не ценил я всякое свое слово, всякое душевное движение на вес золота, и сомнение только немного, только иногда чернило их с одного края... Но Змей дал мне понять: если я не способен на героические усилия, то жизнь моя не будет иметь в моих глазах никакой цены. Он преподавал мне урок презрения к моей жизни, которая не имела никакой цены для Змея, а для меня самого... меня самого Змей, казалось, для того-то и отвлек от футбола и уличных приключений, показав, что и культура есть некая разновидность футбола и уличных приключений, в которой и я могу испытать себя. Для того, в ком зрело стремление отделиться от людей, Змей был просто находкой... Правда, я хотел еще жить, и с этим приходилось как-то считаться. Этого нельзя еще было у меня отнять.

Приручив меня, Змей заявил: “Надо уходить. Побоку языки (ударение на втором слогe). Нужна настоящая наука, а не эти сопливые песни. Математика — вот куда более утонченное и недоступное толпе наслаждение.”

И я бросил все: Платоныча (а ведь именно Змей — после первого же урока — дал моему учителю точную характеристику: “лучший учитель Москвы”), “уголок”, французский язык — и пошел за ним в настоящую школу, в математическую, где учили серьезным наукам. Два года “у Симеона” — игрушечная церковка, которая сейчас остается единственным, что чудом уцелело посреди разрушений, когда безумцы пополам разрубили живую Гжатку злополучным проспектом, как ее ровесницу, Фридрихштрассе, Берлинской стеной, — была видна из окошка... Два года пролетели в вихре унижений и редких побед над собой. Змей то отталкивал меня холодом, то вновь возвращал, если я начинал подавать надежды на своеволие.

Змей нигде не сидел больше года, ни в какой школе, но отсюда не стал уходить: житейский расчет не был ему чужд, и он не рискнул искать ново-

го в последний год: можно было нарваться на непредвиденное и подпортить аттестат, который, как выяснилось, не был ему безразличен.

Математика оказалась подходящей житницей для тех новых семян, которые Змей мимоходом во мне посеял. Что больше отвечало максимализму, где еще мог я прелюбодействовать в уме своем с мыслью о заснеженном Синае истины, откуда истуканом посматриваешь на суету мещан где-то внизу? На чьи портреты взирал я с большим вожделием, чем на портреты Гаусса и Эйнштейна? Ведь Платоныч хорошо учил предмету, а Змей соблазнил крыльями... Ясное дело, никакая наука не была мне нужна так, как это летучее чувство абсолютной победы, славы самой нетленной.

То было мое легендарное прошлое — по которому сужу все, что случилось после. Будящие речи Змея внушили мне, что я не могу быть ничтожеством, а от этого недалеко и до преступления. Он мог сказать мне, как Христос паралитику: “Встань и иди!” и я пошел бы, убил, ограбил, что угодно. Его философия, рикошетом отскочив от меня, угодила в моего отца. Что было у меня против него? Почему я считал его неудачником? Потому что он замкнулся в своей скорлупе и не хотел быть царем бесконечных пространств? Потому что ушел необъявленным? (Хотя у него был сын!..) Я не понимал, как можно не идти ва-банк, не дерзать, не покидать насиженных мест. И основная формула прозвучала теперь так: “Ты — или *из-за тебя*.” С одним лишь вариантом ответа: страдать, плакать, умирать.

Я невольно признал правоту матери, презиравшей его (мне так думалось), и не стал дожидаться, когда он заговорит со мной. Не зная, какая духовная работа потребовалась на то, чтобы всю жизнь разбивать на даче клумбы и указывать направление тропинкам, — я поспешил облить его слабым раствором своего презрения, которое он унес в могилу, как завещание, данное ему сыном. Или не заметил его...

Почему я выбрал университет? Ради мундира? Или нужно было найти что-то под стать Змею, чтобы он потом не насмеялся надо мной, вытягивая вперед правую руку с выдвинутым, как выпад на рапире, указательным пальцем, не корил меня, что я пошел учиться мыло заворачивать или кирпичи класть? Да, Змей запретил мне мещанский удел, он и моему сознанию привил эти “высотки”, которые необходимо брать.

Дружба со Змеем была мучительна, как любовь. Неразделенная любовь. То есть настоящая... Однажды я услышал, как с задней парты его спросили: “А Зюса уважаешь?” (Сам вопрос показал уже мне иерархию: действительно, странно им было видеть Змея — рядом со мной.) И тот, думая, что я не слышу, — я что-то там писал в тетради, перемена была, шум, хождение... — ответил: “Не особо”. И больше ничего, никаких оскорблений. Но я после этого... не мог уже к нему приблизиться. И во всех случаях пошел бы налево, пойдя он направо. Но его родители постара-

лись избавить меня от столь непростого решения. Этого гордого человека “по благу” устроили в такое место, куда я и соваться не мог. Хотя и не таков Змей, чтобы его можно было “устроить” без его желания... У него будет красивая карьера, дипломатическая. Станет он возиться с физикой-математикой, как школьник. Его удел — высшие предметы.

Но зато и я не остался в долгу: когда меня, в свой черед, спросили о Змее (надо было прокомментировать какую-то его выходку), я неожиданно для себя отвечал (почти шепотом, оглядевшись по сторонам): «Знаете, он просто черт».

Играть в ловца человек — это было полезно будущему дипломату, политической проститутке. Предлагая мне уйти вместе с ним из той школы, где я родился, он никак не ожидал, что я соглашусь. Не думал, что, наконец, справился с задачей уловления столь успешно и полно. Но избавляться от меня рано или поздно все равно было нужно — как от постылой алчной любовницы. Я уже не мог на него обидеться, но на вопросительный упрек моих глаз он отвечал так: “Если хочешь жить, а не дышать, не дай доброте властвовать тобой. Не уходи в нее, не пускай ты сопли во все дела. Ты один, нет близких людей, помни об этом. Не человека ищи, не бога, а себя. И не бойся себе поверить.”

IV

В университете я с удивлением обнаружил, что Змея нет. Но и пора уже было учиться жить самому, освободиться от бремени ... дружбы? любви? рабства? И освободиться для чего — для нового рабства?

Змея больше не было рядом, но это и не требовалось. Семена его уже взошли. С чего я начал? С вечернего кросса по Воробьевым горам (28 минут круг) в обществе рослых молодцов из секции туризма — вначале; потом — в одиночестве, моем нормальном состоянии. А на цветущей, беспечальной ниве науки — с ночного штудирования “Теории Риччи” и “Теоремы о монодромии”, двух приятных разноцветных брошюр, недавно переведенных смелым издательством. В них я снова наткнулся на это слово: Симон. Да, это была не просто фамилия, а новое явление, расширившее не один словарь мой... Мелким шрифтом в подстрочном примечании говорилось о давних его результатах, открывших новое направление в старой науке, но “только теперь” ставших всеобщим достоянием. Его фамилия, не более русская, чем у автора книжек, известного французского математика, не сбивала меня с толку: слишком часто о нем, ставшем знаменитым в 18 лет (что еще не предел для математических вундеркиндов), рассказывал нам Платоныч. Я понял, что он должен работать на факультете, и стал искать с ним встречи, не до конца, впрочем, уверенный, что он существует. Но проблемы выбора у меня не было: я хотел видеть этого человека-легенду. (Потом, когда цель была достигнута, я все равно иногда

не верил, что юркий человечек у доски, ни минуты не стоявший на месте, — это он. Мне, может быть, даже и лучше было бы, если бы он так и остался легендой: она жила бы во мне и посейчас...)

Что знал я о нем тогда? Ничего достоверного. Прежде всего то, что он — единственный (насколько мне известно: никакой общедоступной и объективной информации по сему вопросу нет не только у нас, но и нигде в мире), да, единственный “русский” участник и член знаменитого союза математиков *Unio Eruditorum**, объединенных коллективным псевдонимом Незон Ванюпье. Союз этот родился полвека тому назад, когда несколько довольно агрессивных молодых ученых, главным образом французов, с легкой примесью итальянцев, основали тайное сообщество, целью которого было написать подлинный портрет царицы наук, рассказать о математике “как она есть”. Они желали защитить математику от школьных учителей, неправильно ее преподававших. Для учредительных собраний и ежегодных сессий они, влекомые к классическим местам игры в бисер, избрали высокую башню виллы Скальци на Бренте, которую арендовали специально для своих целей. (А потом, когда идеи Ванюпье покорили мир, вилла так и осталась за ними в пожизненном пользовании. Там пили они изысканные вина, с каждым годом все более старые, и сжигали в замшелом камине рукописи, не принятые ими единогласно...) Псевдоним они избрали по имени бывшего владельца виллы, заядлого алхимика, т. е. универсального ученого, от которого в башне до сих пор сохранились диковинные приборы, таблицы, ступы и черепа. Поднимая мост через ров, они отрешались от суеты и ковали свои принципы, которые год за годом воплощали в многотомном труде “Начала математики”. Издав в общей сложности около 73 книг, они написали об этой науке так, что простые смертные (не члены “Союза”) почти ничего не поняли. Тем самым возникла как бы новая дисциплина со старым, однако, названием (иначе к их труду не было бы общего интереса).

На первых порах футуристическая философия Ванюпье выражалась прежде всего внешне: доклады на ученых конгрессах его представители делали всегда босиком, в рваных джинсах и футболках с фирменным знаком *N&V* на фоне черного квадрата, вписанного в желтый круг; разработал его, по преданию, сам Малевич. Союз быстро обновлялся: согласно уставу, каждый участник группы по достижении возраста 40 лет автоматически выходил из игры. И к тому времени, когда “ванюпьеизм” победил во всем мире, нельзя уже было с уверенностью утверждать, что имярек состоит в членах: “говорят” — такова максимальная степень достоверности во всех вопросах, связанных с личным составом. Соответственно, 40 лет прожил и сам Ванюпье. Он умер молодым, и в положенный срок в *Acta Mathematica*** появился прочувствованный некролог, в котором отмечались

* *Unio eruditorum* — Союз ученых.

** *Acta Mathematica* — Математические труды.

основные вехи не столько жизненного пути, сколько творческой активности мифического ученого, стяжавшего себе славу “Евклида XX века”.

Если Платонъч представлял нам математику такой же наукой, как и всякая другая, то для Ванюпье это была наука чистого разума, знание, единственное в своем роде, и оставалось только гадать, каким образом к этому течению принадлежал Симон (пусть и давно вышедший из “Союза” по возрасту, но навсегда сохранивший за собой этот титул — или клеймо, — как сохраняют титул Нобелевского лауреата), поражавший самыми разными знаниями и интересами: могущий напечатать в специальном музыковедческом журнале заметку “Об увертюре к «Дон-Жуану»”, увлеченный спортсмен, способный мало что Ла-Манш или Геллеспонт переплыть, но знавший и все реки, как водяной, лучшим отдыхом считавший опасные плаванья. Он не разделял мнения, что водоем — враг математика, хотя, отдаваясь чрезмерностям не только в познании, но и в физических нагрузках, несколько корифеев утонули во цвете лет в холодных водоворотах. Наоборот, его идеалом, я думаю, была “Математика на воде” — почти по Генделю (или Мопассану?...). Он всегда был окружен народом, приезжими из других городов и стран, которые преодолели 5 тысяч верст, чтобы поговорить с ним 5 минут; большего от него не ждали, потому что и этого было достаточно, чтобы он сказал им такое, что тщетно они искали бы своими силами.

Я уже молчу, что его кумиром был его собственный *школьный учитель* — фигура, одиозная для Ванюпье!.. Одна из любимых историй Симона, рассказываемых на потребу публики, называлась: “Мое первое математическое открытие”.

“Когда мне было 12 лет, — сообщалось корреспондентам и ученым дамам — наш учитель, Андрей Арнольдович Апфельбаум, продиктовал классу такую задачу:

Трое путешественников, — ну, пусть это будут, например, Братья Карамазовы, — отправились из города в монастырь к старцу Зосиме. Первым вышел Алеша со скоростью 5 км/час. Через полтора часа вслед за ним со скоростью 10 км/час выехал на извозчике брат Иван Федорович. Наконец, через полчаса после Ивана отправился верхом Митя, его скорость была 12 км/час. Догнав Алешу, Иван остановился в трактире и продолжил путь, только дождавшись Митю. Митя, отдохнув в трактире некоторое время, поскакал вслед за братьями. Чему равно расстояние от города до монастыря, если известно, что все три брата прибыли к старцу Зосиме одновременно?

Я просидел (пролежал, проходил) над этой задачей целый день и решение (основанное на том, что теперь в Европе модно называть стохастическим анализом) снизошло на меня, как откровение. С тех пор я знал: ничто, кроме математики, не может доставить мне столь острого переживания чуда.”

Живой Симон возник в моей жизни в начале второго курса: он просто читал у нас лекции — как заштатный профессор! Темноволосый (не седой!), бледный, но светившийся изнутри, как агат. Мне подумалось, что такая внешность более подошла бы композитору, отрешенному ото всего земного. Но ведь и математик (казалось), в особенности экс-Ванюпье, отрешен от земных забот. Да, я считал математику самым подлинным из занятий, которые даны сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем, не губя природы. Точнее: чтобы бежать от жизни, которую выносить можно, только если за нее не цепляешься. В одной математике есть твердые принципы, постоянство, верность... И я предался ей, чтобы принести принципы и верность на алтарь учителя.

Во всю жизнь мою ничего я так не желал, как иметь учителя. Хотя бы математики, если нельзя — жизни. Ностальгия по Платонычу, отцу, Змею?... И вот, у меня появился наконец учитель. Да еще какой! Именно Учитель — не “шеф”. Я не был пионером, да и университет не походил на подшефный колхоз.

Уже сам факт, что он не отказался взять меня к себе, был настолько невероятен, что мне не оставалось иного, как поверить в это маленькое чудо, происшедшее у меня на глазах. И я занял свое место среди победителей олимпиад и будущих первопроходцев интеллекта. Что ж, на семинарах Симона нет чинов и местничества. Бородатый доктор столь же почетен, как третьекурсник, у которого не много знаний, зато есть свежий взгляд.

Мне кажется, Симону нужны были открытия от каждого студента. Во время краткого знакомства он предложил мне несколько задач, над которыми я промучился всю зиму, но так ни одной и не решил. Не знаю, какая причина заставила меня вернуться-таки к нему, а не уйти в никуда.

Потом мне сказали, что все это были нерешенные проблемы с самого края. Он давал их, чтобы, в случае удачи, сразу выявить звезду первой величины, будущего Симона.

Как он работал? Решив, что пора выходить на штурм, он уединялся от всех. Срок, который он себе устанавливал: от 2 дней до двух недель сосредоточенных, постоянных размышлений подобных тем, что уводят индийских йогов прочь из этого мира... Можно сказать, что он кончал дело одним прыжком. Разумеется, проблема была не нова для него, она могла стоять годами или десятилетиями (а “Гипотеза Чирнгауза”, опровергнутая им, не дожидая малюго до 300 лет).

Симон не распределял, чем заниматься его ученикам: “Это все равно, что жену назначать!” В начале года он просто рассказывал, что известно, а что — нет. Почти все было понятно и школьнику, который не знал (Симон сознательно об этом умалчивал), какие умы и сколько времени трудились над той или иной задачей, поэтому новичок вполне мог решить что-нибудь “вдруг”, не заметив, *что* он сделал; и делалось это совсем не

тем методом, которым... надеялись добиться успеха те, у которых ничего не вышло.

Симон явил мне один из вариантов мгновенно развившегося Змея (правда, понял я это не сразу). Он не просто внушил мне, что если и есть спасение (от хандры и пустоты), то оно — в стремлении к какой-либо запредельной точке, которую, что особенно ценно, каждый может установить себе сам. Он еще и “завел” меня, так что я действительно стал в это верить, хотя и ясно было, что точка недостижима. Но именно поэтому я в нее и поверил: увидел гарантию вечного движения.

Через год общения с Симоном, войдя в круг очерченных им проблем, узнав преданных ему людей и уважающих его классиков науки, я почувствовал: меня не то чтобы “ожидает блестящая карьера” (кто в России осмелился бы утверждать такое и в отношении ослепительного вундеркинда?), но мне есть, куда направить свои усилия. Я их послушно туда направил, и результаты — были вскоре.

Когда дело пошло, я взял привычку исчезать с семейного и университетского горизонта и запираюсь в деревне для окончательного штурма. У меня сложилось отношение к Симону как к равному — в том смысле, что мне хотелось непременно докладывать ему обо всем, что я передумал, как будто ему это было нужно больше жизни. У меня был страх — не сообщить ему того, что он ждал... Он иногда звонил мне в 6 утра и говорил: «Марк, а что если ... ?» И это было типичным озарением, пришедшим во сне.

Если две недели задача не поддавалась, я вешал на калитку замок и возвращался в мир. Когда я драматически рассказывал учителю, как было дело, он прерывал меня: “Где архив?” Он должен был видеть три килограмма бумаги, которые я извел. И что же? Острым чутьем подлинной заинтересованности он находил в куче неприметный листок, где, видимо, и таилась идея, мимо которой я равнодушно прошел (“так-так, это мы посмотрим...”), и предлагал покопаться там более тщательно. Я снова уезжал, и все повторялось, — до тех пор, пока проблема не отступала.

С чем сравнить семинар Симона? «Conversation class» Харди? “Александровские вторники”?... Для меня это было место, куда “можно пойти” (по Мармеладову). Кто-то отправлялся в “Яму”, а мне ближе была аудитория 16-10. Перед духовником, который там царил, я исповедовался не столько в содеянном, сколько в том, на что осмелился замахнуться мыслью, и он вгонял свой скальпель в мой мозг, взвешивал мои догадки и отсекал лишнее. Только он знал, что с ними делать. Он не просто обобщал единичные наблюдения, он в каждом случае видел проявление железного закона. И у него были принципы, потому что он не вяло «верил» в могущество научного мировоззрения, но знал, почему все происходит именно так и не иначе. А человек с принципами — точно дрессировщик среди послушных собачек.

Было ли в его отношении что-то отеческое? Несомненно. Но на особый лад. Его можно сравнить с отцом, который вдруг, на исходе лет, узнает, что у него есть взрослый сын. И он говорит, говорит с ним, все время удивляясь, все время ожидая чего-то нового, страшно много хочет узнать от него. А то, что он, в свою очередь, дает сыну — этого он не считает, это для него само собой...

Когда вы попадаете в квартиру Симона, все ваше внимание поглощает огромная тахта, которая, кажется, перегораживает даже проход. Она, действительно, находится прямо против двери, но перед ней умещается еще и небольшой холл, который как-то не замечаешь, хотя и стоишь в нем, но едва ли не на одной ноге.

Эта необъятная постель всегда не прибрана и в клубах белья барахтаются дети — не знаю уж, сколько их там бывало... Дверь открывает большая женщина в фартуке, императрица с засученными по локоть рукавами, и молча выпускает вас. Через какое-то время то ли из-за ее спины, то ли из-за тахты выныривает маленький Симон, которому вы передаете книгу или рукопись статьи. Разговаривать с ним у него дома можно только летом, когда семейство волшебным образом исчезает (видимо, на дачу) вместе с тахтой. Тогда выясняется, что у Симона есть и свой кабинетик, очень уютный, в котором преобладают не столько книги, сколько пластинки: ведь гораздо больше, чем математическими открытиями, профессор гордился своей коллекцией грамзаписи.

Во многих факультетских небожителях я обнаружил это особое, личное отношение к музыке. Можно было подумать, что именно она была у них на первом месте, а потом уж — наука. Не уверен, что они делали разницу между тем и другим.

Самой ценной жемчужиной его собрания были записи невероятного шведа Густава Берга, пианиста-монаха, никогда не выступавшего перед публикой, которые Симону присылали заморские друзья. Когда он в первый раз поставил мне ре-минорную — “французскую” — сюиту Баха, я не сразу понял, на каком инструменте это играется. Почему-то пришло на ум: “молоточковое фортепиано”... Никогда не слышал я такого звука. Нас (мне казалось) очень сблизило пристрастие к “Хорошо темперированному клавиру”, которое он явно ставил выше “Геометрической S-теории”, созданной им в далекой молодости. Только он больше любил прелюдии, а я — фуги, четырехголосные, конечно, которые могут свести с ума, если захочешь выучиться играть их, имея на счету семь классов районной музыкальной школы: вот идеальная “предельная точка”, не хуже математических задач. Да и сама жизнь — разве это не fuga, в которой я не умею расстаться с парой любимых мыслей, должен обсасывать их, повторять на другие лады? Даже и неприятные мысли не могу сразу отбросить, и не только мысли — людей...

Симон любил без конца сравнивать исполнение какого-либо сочинения разными музыкантами. Так, он собрал с десятков версий неприметной и тоскливой, как бессонница, *cis-moll*-ной прелюдии из второй части ХТК и уговорил меня разучить ее. Не знаю, что у меня получилось, но он — весьма последовательно — радовался этому больше, чем решенным мною задачам. Да и много ли их было?

Не знаю, полагал ли Симон, что все созданное Бахом сотворено им во славу божию (подобная формулировка была бы для него слишком произвольной), но на полях его экземпляра ХТК я видел карандашные комментарии — или толкования — тех или иных отрывков. Большею частью это были цитаты из Библии, наверное, имевшие параллели в кантатах, или из других книг. Против этой прелюдии стояли нелепые слова: “Существование бога может быть доказано естественным разумом”, а ниже — как бы добавление *sotto voce**: “Безумен тот, кто дерзает рассуждать о мире ином”. Я подумал, что подглядел нечто запретное, поэтому так и не осмелился попросить учителя прокомментировать его комментарий, но едва ли Симон склонялся к этому последнему мнению. Все знали, что для собственного удовольствия он составил рукописный «Математический гербарий», и в нем именно к “Высшему разуму” и обратил 23 вопроса, на которые не знал удовлетворительных ответов. Далеко не все они относились к математике, хотя и вертелись рядом. Вот некоторые образчики:

«2. Что такое правота?... 6. Почему киты больше слонов?... 10. Должен ли ученый жениться?... 12. Почему можно считаться культурным человеком, не зная математики? 13. Почему можно считаться культурным математиком, не зная ничего, кроме математики?... 17. Свободнее ли человек куклы? 18. Кто счастливее: атеист или верующий?... 20. Что такое математика?... 22. Какой из оставшихся вопросов назвать 23-им?..»

Но все ж это были развлечения на досуге, он не посягал на профессионализм за пределами своей науки, хотя и мог бы. Музыка, например, он знал гораздо лучше, нежели просто восторженный любитель. И научные его открытия для всех, кому дано подобное двойное зрение, были наигрыванием своего рода математических прелюдий, сонат, иногда симфоний. И именно он (не отец!) привлек мое внимание к чудному рассказу “На пути”, который рекомендую всем мученикам науки, привносящим в нее слишком много личного элемента, всем “перекати-поле”, чтобы им было не так одиноко на постоялом дворе хозяина нашего...

Странно, но ведь я готов был позабыть об одиночестве, я чуть было не поверил в науку; правда, даже сделав в ней что-то самостоятельное, я не готов был поверить в нее как таковую. И когда с осени поползли упорные слухи, что Симон собирается уезжать, я почти не удивился — так логично это было и так страшно.

* *sotto voce* — вполголоса.

Разрушение картонной пирамидки, возводившейся не один год, произошло с ошеломляющей быстротой. Воистину, нет ничего короче пути из Дворца Дожей в тюрьму Пьемби.

Симон не раз повторял, что после 60 лет прекратит занятия наукой и уйдет в лоцманы, а идеал закатных дней формулировал так: “Лодка, водка, молодка.” И только глупец мог бы осудить его за то, что в нескольких шагах от иллюзорной черты ему надоело работать в прежнем русском стиле, то есть сидеть дома и делать открытия, — и он вернулся к стилю европейскому: стал ездить по всему миру и рассказывать о своих открытиях. Я со скрежетом зубов проследил, как мой единственный наставник и собеседник в университете бросил эту чертову жизнь, женился на молодой аспирантке (хорошо известной на факультете личности — равнодушной к *личностям*; за смуглый цвет лица и слегка раскосые глаза ее почему-то звали “дева Медея”) и уехал во Францию, на свою духовную и историческую родину. Спасибо, что увлек меня и предоставил самому себе у той точки, которая ему казалась точкой равновесия.

Я все вспоминаю теперь его необъятную кровать, которая хоть и царила над его домашней жизнью, но все же оказалась не высшего качества. И его необъятную жену, разделившую участь кровати. Впрочем, материально она вряд ли пострадала. Ведь он оставил ей все, что у него было — из того, что можно считать; а смысл моей жизни сунул в карман и увез с собой. Вместе с удачливой Ависагой, желающей ухаживать за трупом, которая не разрушит его мир так же быстро, как мой.

Впрочем, что это я? Зачем эта резкость? Нет-нет, не нужно... В такую ночь, как эта, из благодарности одной пойдет за ним прекрасная Медея, пойдет одна, в полях собирая травы, целебные, чтоб только юность возвратить Симону-старика...

Не хочу же я сказать, что, бросив меня, он совершил предательство? Однако та вера, которую он внушал мне, не стала еще моей (если и вообще это могло произойти когда-нибудь). Я не знаю, спасет ли она меня в глухую минуту, но мне уже и не хочется проверять. И что поделаешь, если из всех учеников Симона его биографию мог бы написать лишь необращенный им язычник, — тот, кто, сквозь сон услышав шум на дворе, завернулся в простыню и выглянул, чтобы увидеть чудо своими глазами, но понять, что к чему, конечно, не смог. И протомился над загадкой лучшие годы, когда еще был заряд бодрости в членах...

Но все равно: недостающие — и роковые для меня — черты учителя я установил из более тщательного чтения его совершенно специальных работ (он сам же проповедовал, что нет лучшего пути в науку, чем изучение классиков, которые, конечно, знали не все, но зато умели угадывать, перебрасывать мост через пропасть), — за несколько недель до того, как он проявил их открыто. Это нелегко объяснить и, конечно, я ни с кем не

поделился своими подозрениями. А теперь они уже никому не нужны. На лицо факты куда более явные.

Я тогда всего лишь вспомнил, что Симон — один из “Ванюпье”, хотя и выбыл из “Союза” задолго до нашего знакомства: Ванюпье молод по определению. Но эту молодость Симон, видимо, перенес и на себя, женившись на аспирантке, а вред, наносимый старику молодой женой, надеялся компенсировать утратой хорошего повара, которым, без сомнения, была его “императрица”.

Так вот, я почему-то никогда не придавал значения тому, что уже на первом курсе пострадал от “ванюпедизма”, до хрипа проспоров — на экзамене — с упрямым лектором, послушным проводником их педагогических принципов, которые превращают науку в непонятный идиотизм, развлекушку для садистов. Я отделался тройкой, даже не заподоздив, жертвой чего я на самом деле стал. И приписал неудачу личности экзаменатора. Ан нет, он был только куклой, управляемой Ванюпье на расстоянии.

Живая математика не была целью “Евклида XX века”. Скорее наоборот. Он хотел бы изгнать из нее всякое обращение к нашим слабостям. Во всех 70 толковниках нет ни одного чертежа, ни одной “картинки”, и не только Алиса сочла бы, что такие книги никуда не годятся. Он отверг чертежи, потому что не хотел метафор, отрицая поэтический способ познания как несовместимый со строгой наукой. Его целью был смысл, а не душевное волнение, истина, а не пафос. Он пытался рассказывать *без прикрас*. Даже развертывая том, название которого говорило о чем-то хорошо изученном, я иногда по три дня не мог продвинуться дальше первой страницы: так непривычно был “подан” знакомый материал. И дело не только в том, что Ванюпье перевернул науку с ног на голову: взял в качестве определений ряд обычных теорем, а прежние определения вывел из них. Он был аксиоматизатор насквозь и хотел уподобить математику игре в шахматы. По неведомой причине ему понадобилось зашифровать живую некогда мысль безжизненными символами и заключить в черный ящик, недоступный для непосвященных (а «посвященные», которые еще знали, как вернуться обратно, со временем вымерли); скрыть любимую (должно быть) науку, чтобы никто более не смог ею увлечься и ее выучить.

Поначалу — во времена скромных трапез — это казалось очень остроумно: «столы, стулья, пивные кружки» вместо точек, прямых, плоскостей... Но потом-то получилось, что ученики превращаются в автоматы, не желающие знать, с чего все пошло. Современным Евклидом был наречен тот, кто пытался уничтожить «весь псалтирь» наивных построений.

Действительно, изучить что-либо по его курсу мог разве что сам сатана (простите дурное слово). Я почему-то не задумывался: а что делал

мой учитель среди этих людей? Нет, как эпатаж, как продукт молодой горячности мне “Начала” даже нравились — да и не только мне. И Симон, решил я, тоже был молод, тоже отдал дань бредням века. А если “Начала” состоят чуть не из сотни томов, так это ничего. Конца у науки нет и быть не может: открыв 35 000 видов, зоология устремляется за 35 001-м! Конец есть только у ее служителей, особенно не самых ревностных.

“Союз”, несомненно, был братством самых отчаянных максималистов, затеявших безумную игру. Но оказалось, что мир еще более безумен: он взял да и принял их выдумку всерьез, за новое слово! Неожиданно для самих реформаторов их идеи победили и начали шествовать по свету, огнем и мечом уничтожая человеческое лицо бывшей царицы. (Конечно, Симон к тому времени уже вышел из группы, и нельзя было знать его отношения к этому новому империализму, у истоков которого он, по прихоти молодости, стоял.) Почему-то мир пожелал приобрести еще одно орудие самоистязания и стал учить детишек “по Ванюпье”. Сделав математику непонятной для школьных учителей, Ванюпье добился того, что еще лет через 15 так называемый нормальный человек перестал и понимать ее, и признавать, ненавидя, как всякое истязание.

Представление о математике как о вещи уникальной в семье наук и искусств было мне на руку. И такое представление культивировал “Союз”. Но увы, отрыв математики от жизни, породившей ее, опасен для того, кто хочет при помощи нее от этой жизни — бежать. Взбираясь на подобный ковер-самолет, отрываешься и от самого себя, становишься роботом, который едва помнит, что некогда был человеком. И никто, включая математику, не протянет тебе руки, не улыбнется тому, для кого она средство, а не цель. Другое дело, если ты не используешь ее, а разгадываешь ее вековую тайну.

Но была ли она для меня тайной? Вот вопрос, на который сам с собой — и вместе со Змеем — я честно сказал бы: ребячья забава, детская болезнь; даже если она не просто игра ума, а “орудие познания мира”, она все равно не орудие познания самого себя.

От смрадной действительности нужно как-то спастись. И математика это позволяет лучше чего бы то ни было. Недаром свои ежегодные сессии на вилле Скальци отцы-основатели открывали тостом: “За математику, которая не найдет себе вульгарных применений!” Мир мерзок настолько, что не хочется не только познавать его, но и вообще знать. Поэтому Ванюпье и останавливается на “игре ума”. Это короткий, но далеко ведущий вывод. Я сполна пострадал от него, три года принимая без оговорок. И хорошо, что произошел “обвал” и Симон своим отъездом разбудил меня. Что ж, мой золотой математический век длился три года. Пора и честь знать... Но странно: почему “Союз”, объединивший в своих рядах, главным образом, баловней европейской цивилизации, членов королевских обществ и

академий, почему он не создал ничего лучшего, чем учение, суть которого уже была однажды выражена в словах: *Anywhere out of the world*?

“Для чего стоит жить?” — спрашивал я всегда. И последним моим ответом был он, Симон. Жить, пока он жив. Он, для которого все на свете было математикой. Кубик Рубика, лодочные походы, “Спортлото”, “Искусство фуги”, история Рима — вот далеко не полный перечень вещей, по поводу которых у него имелась строгая теория. Я верил, что все это серьезно, и не смел огорчать его непониманием. Но здесь, как и везде, между нами не было и намека на равенство. У него в кабинете, над столом, висела репродукция “Острова мертвых”, и Симон говорил: “Иногда я люблю грустить.” Но я сомневаюсь, чтоб это было так. Не любил он грустить, не любил и не желал. Не допускал и тени грусти на порог своего мира. На первое место он ставил принцип: “Не надо быть дураком.” И значило это: если наука требует, сопли долой. “Сопли” — то есть разговоры о совести и вообще “человеческие” разговоры. Под его руководством я научился многим вещам: каждый день бегать по набережной, соблюдать гигиену не только питания, но и чтения, сна, общения, хотения. Научился дважды в год откладывать в сторону “алхимические поиски” и готовиться к экзаменам всерьез — без личного элемента. Он не позволял манкировать скучными предметами: ставя во всем на максимум, он не мог поверить, что кто-то неспособен выучить политэкономии. Очень просто разъяснял он необходимость «жертв»: кто не готов терпеть неудобства во имя дела, тот только симулирует свою причастность. Да, все так. Но ведь последние доказательства Симона уже не были столь хорошо темперированы: они скорее напоминали некий фокус. Что-то чуждое вторглось в ледяной замок его мысли. И теперь, когда его нет, я не намерен обманывать себя в одиночку. Карьерист из меня никакой. Не говоря уже о том, что едва ли Эйнштейн бегал по набережной... Эта общая многим математикам увлеченность спортом всегда меня томила. Спортсменом-на-износ, было бы правильнее сказать: если уж лыжная прогулка, то 50 км. в одних трусах. О проруби и не говорю... Математика — тоже спорт, как видно, демонстрация силы, избытка сил. Но мне ли демонстрировать силу? Откуда мне взять ее? Я могу преподавать только урок слабости.

Я привык к своему клочку между четырех проспектов, я думал, что этот спасительный островок в океане равнодушия и зла останется со мной, если я приложу все старания, отдам всю душу. Симон подтвердил это и благословил меня. Он был уверен, что и без него я смогу удержаться здесь, что нет никакой трагедии в том, чтобы его тело находилось, скажем, в Институте Высших Научных Исследований, в Бюр-сюр-Иветт под Парижем, а мое — под Москвой, в Электроуглях (как поэтично зовется населенный пункт, ближайший к нашей даче, на которой я предавался своим “высшим

* *Anywhere out of the world* — Куда угодно, только прочь из этого мира.

исследованиям”). Но для меня, с той поры, как я наконец увидел его и услышал, самым главным в науке был он, его голос, его манера писать на доске, почти не стирая, десятки других мелочей, которые я прилежно собирал, как натуралист собирает насекомых с листвы пробкового дуба. Он дал науке ценность, которой без него она не имела бы — по крайней мере, в моих глазах. Да, без него — как опустело здесь все, как скучно мне одному заниматься тем, что вдохновил он!

Бессонными ночами считая и комбинируя, я думал, что влюблен в науку. Но его отъезд, внезапный, как икота, показал: я, как женщина, любил человека. Вот смеху-то было! И ведь сказать никому нельзя... Именно Симон был истинным ловцом бесприютных душ человеческих. Но зачем ему понадобилась моя душа? Чтобы стать ее составляющей?.. Я могу и дальше производить раскопки и находить чудесные вещи, да. Но кому я буду об этом рассказывать? Кому я *хочу* об этом рассказывать? Письма стану писать? Запечатывать в бутылку и ждать ответа, как наложница в гареме?... Впрочем, мне уже было не впервой терпеть поражение — нет, не в любви — в попытке любви. И урок Симона только подтвердил то, что я уже и так знал: что мне хорошо, когда есть учитель, и плохо, когда его нет. Когда он уходит, думая, должно быть, что я уже достаточно самостоятельный, достаточно взрослый. Или же не “уходит”, а бежит, сломя голову, как иногда бежит учитель от назойливого и тупого ученика? Я склонен так думать, Ависага только повод... Но ведь и я бежал от него, я хорошо заплатил ему за уроки: я тоже не остался только учеником его.

Может быть, “карьера” для меня и не закрыта, но мое стремление к ней подорвано. Нет больше пятниц, нет семинаров Симона... Они теперь проходят в каком-нибудь *Centre Supérieure**, а со временем перенесутся поближе к колыбели ванюпедизма — например, в Венецию: наверное, там и мечтает окончить свой путь этот доверенный вод, впервые, возможно, узнавший любовь — или убедивший себя, что узнал. А раз так, то университет бессмыслен, все бессмысленно. Хотя жалею ли я о чем? Я свободен от них, сильных духом, за которых я цеплялся, пока они не сбросили меня со своей мантии, как клопа. Экскурсия в мир науки благополучно завершена.

Я свободен, но для чего? Что у меня впереди? Чего только не передумано за год-два, неужели это закон? И разнообразие жизни вокруг обеспечит мое бытие и дальше? И не наскучит? Или я не смогу отречься от того, что, кажется, уже забраковал, и буду жадно хвататься за все?

Я выучил, что нет такого слова: “завтра”, что только “сегодня” — есть, и старался жить по этому принципу. Меня толкало тщеславие, амбиции? Может быть. Ведь амбиции — последнее прибежище бездельника или человека, втайне тяготящегося своим делом. Но к одному этот принцип меня привел: мне стало трудно ложиться спать. Трудно и незачем: ведь

* Centre Supérieure — Институт Высших исследований.

завтра ничего не ждет, все — сегодня. Я стал тем человеком, который понимает, что он умирает с каждым часом; перед моим взором непрестанно сокращалась некая рулетка с делениями. Теперь ее уже почти всю убрали в футляр... Разумеется, я очень скоро нажил бессонницу. Год, наверное, как она наступила вовсю и уже не уходит. Как-то нужно всегда обмануть себя, чтобы подойти к кровати.

“Бежать от жизни” — сколько было позерства в этой формуле, за которую я ухватился. Еще бы: возвыситься над жалкими жучками-людишками, которые копаются здесь, внизу, в липкой грязи. Но математика была удачейшим способом внушить мне эту мысль, эту позицию, от которой я теперь и рад бы отойти, да некуда. Внушить мне ее давно хотели — только я не желал понимать. Не желал признавать, что с людьми что-то не так (или с моим взглядом на них). Не могут они быть моими рабами, а я их холопом не буду тем паче.

Ясно, что и тот, пропущенный урок мной не забыт. Пусть. Есть два, много три таких урока, забыть которые, наверное, труднее, чем самую жизнь...

А математика — я как бы на нее все валю. Надо объясниться... Нет ничего святее этой науки наук, — так скажу. И в особенности потому, что даже я, изгой и пасынок природы, нашел в сей обители временное пристанище. Но она не виновата, что усилила во мне стремление к отказу от той вонючей реальности, которой подчас пугало меня мое неопытное воображение.

V

Мне теперь почему-то удобно считать, что меня все предали. Змей, Симон... Приручили, а потом бросили. Но было бы довольно обидно, если бы я сам никого не предал, не смог. Ведь иногда нет ничего естественнее предательства.

Взять хоть Платоныча. Когда мы однажды встретились со Змеем (захотелось вернуть старые годы и вместе начать Новый год), он проговорился, что считал меня любимым учеником Платоныча и ему просто тошно было смотреть, как тот передо мной пресмыкается. “Когда он поворачивался в твою сторону, на его лице появлялась эта отвратительная скопческая улыбочка, которой он больше никого не дарил...” Поэтому-то, из ревности, он и подбил меня уйти из школы и бросить старика.

Мог ли я верить Змею? Платоныч любил только девочек (правда, Змей и это мое “открытие” осмел и назвал “бредом, значимым только как диагноз”). Но я допускаю, что иногда ему нужно было полностью раскрыться в беседе, а это, наверное, с учеником легче. И такие ученики у него были. Я же сам, тайком от Змея, навещал его, лучшего математика среди французов, населявших нашу патриархальную школу. Я рассказывал ему о

нравах той, серьезной, и он слушал меня, сперва наклонив голову, а потом покачивая ею: “Надо же, как интересно.” Он очень хотел знать, как учат наукам “по-настоящему”. Но, конечно, прекрасно знал, как это делается. Потому что сознательно выбрал иной путь, безболезненный, скрывая, что заниматься математикой побуждает только гипертрофированный интеллект, который скудеет без тренировок.

Однако, факт остается: Платоныча я “бросил”. А Змей? Он избежал сей участи?

Понятно, что он не придавал мне большого значения, но что сделал я сам еще до того, как узнал о его решении податься в дипломаты, до того, как услышал это обидное “не особо”? Ничего серьезного, впрочем; однако в последние месяцы в школе, с февраля-марта, я забыл не только Змея, но и вовсе учебу забросил: не ходил на уроки и только чудом удалось мне получить аттестат. А дело в том...

Да, дело в том, что, заглянув как-то раз к Платонычу потолковать (“после уроков”), я, уходя, задержался внизу, у раздевалки, чтобы позвонить Змею. И вот, вижу: идет Ксюша. Я помахал ей рукой, как обычно приветствовал всех своих прежних одноклассников, а она вдруг лучисто о чем-то меня спросила. Я не расслышал, но бездумно и радостно кивнул ей, продолжая разговаривать. А она тем временем облачилась в длинную черную шубу, сделавшись одноцветным пингвиненком, и ... не ушла. Тогда я понял, что не расшифрованные мною движения ее губ означали: “Тебя подождать?”

Мне стало трудно дышать, я покраснел и, не простившись, повесил трубку (Змей перестал существовать!). Сама мысль была невероятна: меня можно подождать... Мы очутились на улице, и тут я подумал с каким-то ужасом: “А как это я почти два года ее не видел?” У меня было чувство, что прорвало некую плотину: оказалось, нам столько есть сказать друг другу, что, разгоняясь все больше, мы блуждали по извилистым, как ручьи, переулкам до глубокой ночи, когда я с трудом, в изнеможении оторвался от Ксюши возле ее высокого, как пристань, подъезда. Но потом она все равно позвонила мне, и мы еще долго разговаривали, шепча в трубку, чтобы не будить мир, который давно спал. И этот шепот как будто свидетельствовал, что у нас есть что-то тайное, такое, что нам нужно скрывать от всех.

Многое начинается с пустяка, с амбиций, которые сам осуждаешь, но почему-то желаешь удовлетворить. Таким пустяком была Ксюша. Я подумал, что представляется случай уязвить Змея, ущемить его жало. Ксюша явилась как награда за все унижения, которые я вынес от Змея, и попытка бунта против его владычества. Она, действительно, была сильным ударом по его империи. Узнав про нее, Змей посмотрел на меня с удивлением; помню его взгляд: он стоял, как оплеванный. Нельзя было предположить,

что у него может быть такой взгляд... Я увидел, что сразу чуть не вдвое вырос в его глазах, что он завидует мне и ему тоже безумно нравится Ксюша: достаточно сказать, что он не стал подвергать ее осмеянию, не сравнивал ее лицо с чем ни попадя. Это меня насторожило, я почти готов был разочароваться в ней: ведь ценную вещь, ему не принадлежащую, Змей непременно низвел бы даже с глупого небосклона. С другой стороны, его принцип был прост: о женщинах — плохо или ничего. И он не сделал ни шага по направлению к той, к которой потянулся я, он человек был в полном смысле слова. Дело не в том, что стоило ему только свистнуть, и откуда-то слетались дочки академиков. Какой-никакой, я все ж был ему друг, и он больше всех тяготился моей бездарностью. Когда же узнал, что мы с Ксюшей играем в четыре руки, то как переродился. Стал всячески науськивать меня на музицирование — считал его первым проблеском самосознания — и просился послушать. Он полагал, что на моих занятиях, каковы бы они ни были, хоть выпиливание лобзиком, отныне будет всегда лежать знак его присутствия, его печать, но за это осуждать его нечего. Тут он был просто прав. Я до того уже был полон Змеем, и семена его проросли сквозь меня, что мне давно не терпелось говорить, вещать его речами, но сам-то Змей не желал меня слушать. Тем более, что мне надо было не только говорить, ретранслировать его программы, я был готов и поклоняться, и служить. Не подвернись Ксюша, я бы просто захлебнулся...

Наша с ней история вообще-то была давняя, ведь мы учились вместе с первого класса. Но вблизи Ксюша была слишком обыденна: я привык, что она — одна из двух-трех красивых девочек в классе, и это казалось естественным, она словно носила маску, мешавшую мне разглядеть ее. Но год разлуки изменил все, и тогда, у раздевалки, я едва ее узнал. Что-то в нас обоих дозрело — и мы в тот же миг это поняли, нас как молнией пронзило: “Пора!”

Охаяв, как должно, “ванюпьеизм”, я сам, когда дело идет о Ксюше, следую ему. Не хочу “чертежей”, то бишь лубочных картинок нашей любви, говорю только о действии, которое она на меня оказала.

Непоследовательно? Неужели? Значит, я еще на что-то способен? Нет, не верю. Никакой непоследовательности. Если бы дух Ванюпье не проник в меня, не поджег, как солому, и я не пострадал от этого, зачем мне было бы нападать на него? Не для общественной же пользы? Кроме того, самим себе мы не можем казаться непоследовательными (а другие считают, что у нас семь пятниц на неделе).

С детства меня как-то странно волновало женское пение. Женский голос, выводивший арию из мессы, завораживал, как заклинание. Это была давящая своей обязательностью парадигма, архетип, заложенный в подкорку, по сравнению с которым другие, ярчайшие воспоминания — лишь

тени на тускло освещенной стене. Или, может быть, тот атрибут мадонны, которому пытается тайно поклоняться несчастный безбожник?

Нет, я говорю не об оперных дивах, грудастых, толстых... Тут было какое-то “духовно-немецкое” пение, очень камерное, всегда заочное, на старых пластинках, так что я и не видел тех, кто приводил меня в трепет, знал только голос. Голос ангела, ласкающий слух — нет, не только звуками — надеждой, что и в тебе что-то оживет и голубем взлетит навстречу, не тормозимое разумом... У нас и с Симоном была общая мечта: живую услышать *Erbarne dich**. Во время гастролей Мюнхенского Бах-оркестра мы наперегонки бросились в консерваторию, и голос, дивный голос Элизабет Вундерлихт, летящий над волнами, на которых покачивается золотая ладья, стал, наверное, тем, что мы оба неосознанно связываем с вечностью, с *приятной* вечностью. Не представляю, чем можно заменить потребность слышать женский голос.

Однако в прежние годы я и знать не знал о том, что Ксюша — пела. И пела не цыганщину, не бардовщину, а некий исповедальный экстракт, облегчающий вступление в летейские воды: она предпочитала Шуберта, под аккомпанемент фортепиано при свете оплывающих свечей — эти игры духа, ищущего союза с землей, ищущего родную душу; мужество и хрупкость связывал вместе ее одинокий голос, который теперь раздавался только для меня. Она уловила меня первой же песней — это была “Форель”, — и потом пела ее чаще всего: наверное, для того, чтобы я лучше усвоил ее девиз: “Твой труд, рыбак, напрасен, видна леса твоя...”

Рабство мое было полным. Много вечеров провели мы у нее в комнате: шкаф закрывал от двери диван, на котором мы сидели, негромко ворковала пластинка, а Ксюшина голова лежала у меня на коленях. Я перебирал ее льняные волосы, и минутам этим, казалось, не будет конца. Или я сидел у ее ног, если она соглашалась спеть для меня что-нибудь. А она... всегда соглашалась.

Когда возвращался с работы ее отец, мы шли гулять. Останавливаясь в ущелье между двумя вертикальными, до черного неба возносящимися стенами с обнаженной зубами времени кирпичной кладкой, мы подпадали под действие машины пространства, переносившей нас в места, где лучшая география способствовала и лучшей истории. Ведь Гжатские переулки — это коридоры, по которым легко перебежать из комнаты в комнату, из зимы — в пусть и холодную еще, но весну. Замирая под какой-нибудь аркой, мы пытались скрепить нашу связь влажной клятвой. А мимо, деловито, как гондольеры, сновали мальчишки на самокатах... Не так давно и сам я, кажется, был одним из них. Должен был быть, но теперь я в этом сомневаюсь. Уже Змей сбил фокус моего телескопа, а Ксюша завершила дело... Вспоминая те дни, я уверен, что мы разговаривали о вечном. Я был оригинален, говорил ей слова, которые еще не слышала от меня ни одна

* *Erbarne dich* — Сжался: ария альты из «Страстей по Матфею».

женщина. Но этот сон, последний перед приходом царства бессонницы, первая моя любовь — была ли она действительно любовью или же только первой попыткой ее? Что у меня осталось от тех дней, кроме чувства утраты чего-то такого, что я так и не собрался узнать по-настоящему, когда оно было рядом и я хотел этого, — а теперь уже поздно?

Есть ли возможность набросать ее портрет, тем более, что самое главное в ней был ее голос? “Первая любовь”: кажется, это должно звучать гордо, но звучит горько. А ведь, открыв Ксюшу, душа моя умножилась особым годовым кольцом, кольцом человеческим, что случается так редко!

Если я думаю о женщине, которая могла бы меня понять, мне сразу вспоминается Ксюша... Небольшого роста, полненькая и плотненькая, с замечательными волосами: гладкими, блестящими, шелковистыми, как шкурка соболя, на затылке собранными в старомодный пучок. Нежный подбородок слегка приподнят, так что лицо обращено к свету, как будто она всей душой ловит, слушает что-то приятное. Даже когда поет сама... Нижняя губа чуть поджата, и это придает лицу постоянную задумчивость... У нее всегда было дело: без конца вытаскивать из волос бесчисленные заколки и расчесываться, как Лорелея. А потом, дав волосам пять минут свободы, снова убрать их в железо. Голос ее звучал в миноре, поэтому, разговаривая, она легко вспархивала на носочки и вытягивалась в струнку к моему уху, повисала на рукаве, словно ища поддержки. А может быть, зрение у нее было не такое острое, как слух, и поэтому она старалась подойти несколько близко к собеседнику, так что вы невольно отступили бы, если бы... все пути не были отрезаны. И ее глаза, поднятые к моему лицу, как к солнцу, наведенные на него в строгом ожидании... — мог ли я обмануть их надежды? Они продолжали смотреть, значит *что-то* они во мне видели...

Когда она улыбалась, от уголков рта, как круги по воде, расходились ямочки и складочки, но не было ничего скромнее ее улыбки. Даже в минуты большой радости и веселья улыбка ее как будто стыдилась себя, боялась своей продолжительности и убегала в напускную серьезность. Не знавшие помады губы казались необычайно пористыми и дышали, сокращаясь, как в воде кораллы. Целоваться она любила — но только легкими колющими прикосновениями; мимолетно, как внезапный порыв ветра прилетал ко мне ее поцелуй, неприметно, озорно, чисто — как бы и не было ничего... Тихая, безответная, слабая, она не требовала — просила защиты. Однако никто не мог ей грубить: она сразу отворачивалась, ссыхалась от первого резкого слова. С детства сохранила она две черты: варежки на резинке и любовь к бордюрам. Когда мы гуляли, она держалась за мой мизинец и шла по самой бровке, по краю, а сумочка все соскальзывала с пушистого плеча шубки.

Ксюша была такая маленькая, удобная; прямо ручная какая-то у меня любовь, думалось мне. Но... Кавалер де Грие, напрасно вы мечтаете о прекрасной, неподвластной себе Манон... Построение ее образа еще не было закончено в 17 лет, оставалось, наверное, года два-три. Увы, мне некогда было ждать, я уже был разбужен Змеем, меня жгло нетерпение, и я мог пригубить волшебного напитка, но не насладиться им...

Ее воспитывал отец, меня — мать. Казалось, это создает приятную симметрию. — Совсе нет. Меня мать душила, сколько могла (чтобы я либо отвернулся к стене и сгинул, либо со временем сам стал монстром, которого нельзя укротить, хотя и можно пристрелить от греха), а ее отец любил беспечно и бездумно, ей было не привыкать к поклонению. Ведь и фамилию она носила царскую... Разговор с ней проходил так. Либо я выслушивал ее впечатления, которые не иссякали, а поминутно воспроизводились, рождаясь из самих себя. Либо мне удавалось вставить три слова, но тогда впечатления начинали бить из нее фонтаном; задать ей вопрос целиком я не мог, потому что, выслушав начало, она сразу меня перебивала и принималась развивать тему, этим началом обозначенную. Поэтому я ждал только предлога, чтобы попросить ее спеть — или поиграть вместе в 4 руки: тут мне тоже доставалась пусть и скромная, но активная роль.

Ее голос, когда она пела, жил своей жизнью и мог сказать о ней то, что она хотела бы скрыть. По голосу ее можно представить лучше, чем по десятку фотографий. Всю ее избалованность, свойственное скорее провинциалам, а не уроженке замшелых, но гордых своей историей переулков, стремление в какую-то элиту, к мифическому достатку. Как она вдруг могла потерять голову из-за одежды: являлась на встречу с таким опозданием, что я уже был уверен: кончено. Объясняла она это так: “Французы говорят, что лучше иметь морщинистое лицо, чем две складки на чулках. А у меня посмотри, что на коленях делается?!” Какой пустяк, думал я с тоской, но откуда в ней эти претензии каких-то дам полусвета?

Опоздать на час, на два — для Ксюши это значило прийти вовремя. И смешно было на нее дуться. Так искренне она всякий раз живописала свои злоключения, причины “задержки”. Ни секунды не сомневалась, что вы простите ей. Ведь своей дочери вы же простили бы. Тем более, что каялась она иной раз до плача. Нет, что ни говори, первая любовь все же звучит гордо — как всякая глупость. Ни одну из позднейших истин не боготворишь так, как иллюзии и заблуждения первой любви. Вместо того, чтобы пользоваться собственным умом, мне нравилось великодушничать: как же, имею право прощать, принимаю человека с его слабостями!

Я не хотел замечать, что, приходя к ней, часто оставался надолго один: она упархивала в коридор, к телефону, или возилась на кухне — словно показывая мне, что я здесь то ли свой, то ли что меня вообще нет. И она

часто куда-то исчезала в тот день, который мы намечали для встречи. Я звонил, как было уговорено, и считал, считал протяжные гудки. Или же ехидный голос сообщал мне, что ее нет.

Когда Ксюша с возмущением говорила о Чаплине, что он выставляет напоказ свои недостатки, она, конечно, и предположить не могла, что и у нее, августейшей особы, тоже есть недостатки, которые, что ж, сами выставляются напоказ, помимо нашего желания. Однако, не так важно, что человек из себя представляет, кто он. Важнее, кем он хотел бы быть, каковы его мечты. Потому что больше всех жил тот, кто больше всех мечтал.

Ксюша иногда мечтала написать роман на французском языке: “Мне кажется, что получится Платонов”. (Которого она не очень жаловала — за вычетом “Путешествия воробья”. Но почему-то считала, что в нашем веке по-русски мало кто писал лучше.) А еще мечтала, я думаю, о том, чтобы выйти замуж за немца и уехать в чахоточный городок в Северной Рейн-Вестфалии или в Рурском угольном бассейне, стать *Frau, Frau Linde* при муже, имеющем небольшой, но твердый счет в *Bank*. Правда, когда я хандрил, она смеялась, утешая меня, и приговаривала: “Все будет хорошмок, и мы поженимся!” Но, конечно, не видела этого во сне. О, муза корысти, ужаснейшая из муз... Зачем ты лишила меня той, от которой я не мог оторвать взгляда, отвести слуха, ради которой я жил на разрыв аорты, в иступлении чувств и хотел горы ворочать?

Во дни Ксюши я, как бешеный слон, трубил о том, что любовь только тогда любовь, когда у тебя нет своего стремления, когда ты покорен той, кого любишь. И я тщился соответствовать этому императиву. От Ксюши не нужно мне было ничего. Я просто сидел и смотрел. Слушал. Но вдруг ужаснулся своей слабости и чувствительности, неспособности на протест и поступок. Разве я мужчина? — возник вопрос. Ведь меня можно соблазнить, как бедную Лизу какую-нибудь. Да и сам императив покорности не мой — это она мне его подсунула, чтобы я затянул у себя на шею моральную петлю.. Она хищница, крепостница. Рабовладелица она — вот кто. Себастьян Негоро в юбке. Но хищница поспешная, суетливая, как крыса... Правда, кто же, как не я, возбудил ее аппетит своей самоотдачей? Для меня любовь к ней была жертва. Сколько ночей, помнится, извел на химию, которую терпеть не мог, на которую давно плюнул, — чтобы объяснить ей. Не мог позволить себе не знать чего-то нужного ей, охотнице за медалью. И ей достаточно было позвонить мне в 12 ночи, когда я лежал под одеялом с книжкой, и попросить приехать. Я отправлялся без промедления. Куда? Делать, ковать ее судьбу и ее счастье. Маленькая и тихая, но насквозь пропитанная корыстью, Ксюша очень ловко умела таить это — от посторонних. Но того, кто приближался к ней “с душой”, приручала сразу, присасывалась и принималась выжимать все соки. Разумеется, под видом слабости: вы просто не могли не помочь ей... И ведь она никогда не гово-

рила, что любит меня. Это уж я сам вообразил — для удобства; не хотел искать более точной формулы. Надеялся, что и для меня любовь — есть. А задавшись вопросом, ничем не мог доказать себе, что она любит. Кроме печального, но афоризма: “Если любовь не гибнет, то это не любовь.” И двух часов хватило, чтобы созрело решение: Ксюша — погибель, точка безумия; если остаться с ней, то она будет вертеть мной, как захочет, а это — жалкий удел. И я имел мужество прислушаться к голосу своего ума. Чтобы узнать вечных друзей одиночества, которые меня не покинут.

С той поры терпеть не люблю месяца августа. Когда, испугавшись наведенного на нее дула серьезной осени и университета, уже ждавшего меня, оступилась и сломала себе шею тощая моя любовь.

В тот вечер я приехал с дачи и к 5 часам, как мы и договорились, был у нее в Ручейном. Но Ксюши дома не оказалось. Мало того, дверь мне открыла соседка (1 звонок), плотоядная особа сорока с лишним лет, которую, очевидно, уже давно никто не называл скверной девочкой и своею милою, — и поэтому она всегда злобно следила за нами из кухни, дымя “Беломором”. Я не удивляюсь, что она открыла, когда ее не просили, — ведь это был ее шанс. Но я лишился возможности уйти и вернуться, скажем, через полчаса: еще раз показать прокуренной нимфоманке в грязном халате, наброшенном на голое тело, что меня надули, я себе позволить не мог. Она бы скушала меня целиком... И торчал в подъезде, ходил вверх-вниз вместо лифта, мок под дождем, который услужливо начинался всякий раз, как я был вынужден выходить в переулок под косыми взглядами жильцов: ведь в этой четырехэтажной голубятне все друг друга знали больше, чем в лицо. Особенно хорошо знал меня старый попугай, живший у второго соседа Ксюши, одноногого старика. Эта дрянь с черным языком регулярно допрашивала меня из-за двери: “Чего ходишь, чего хочешь?” И когда я спускался по лестнице, половицы скрипели: “Зачем пришел?”

Вот я и задал себе, наконец, этот вопрос: а, действительно, зачем я пришел? Понятно, что удовлетворительного ответа не было, но все же я героически прождал ее часа два. Вспоминая, до чего мило она всегда опаздывала, что я и не сердился на нее. Мило — в том смысле, что на редкость миленькое у нее бывало личико, когда она являлась и видела мою бульдожью физиономию. И чем больше опоздание, тем милее личико...

А потом... потом вниз по лестнице спустился Змей. В черном плаще, наброшенном на одно плечо, и с саблей на боку. “Что это ты здесь делаешь? — спросил он строго. — Доброту пестуешь? Разве так можно? Пусть *тебя* ждут, за *тобой* бегают. Любить, мямлить, томиться может каждый. Не каждый умеет властвовать. Нельзя ждать, надо жить, жить, понимаешь?”

Конечно, это был не он, но кто-то очень на него похожий, может быть, актер, спешивший в Вахтанговский театр на вечернее представление «Ту-

рандот» или драмы «Николай Ставрогин»: такой же острый подбородок-меч и тонкие усы, в которых гнезился сарказм. К тому же сумерки уже были в этом проклятом подъезде...

Змей никогда не говорил о любви. Слова такого не знал. В единственном робком разговоре, в котором я обронил, что общение с женщиной чем-то напоминает музицирование, он отрезал, что общаться с “ними” надо лишь посредством жезла, данного нам самой природой. “Бабы” — иначе не говорил. Отрицал любовь так же, как отрицал бога (хотя и мог взбесить публику, увлеченно обсуждавшую закон Ома, заявлением: “Как вы можете тратить время на такую чушь, когда еще не решен главный вопрос: есть ли бог?”).

И я вытек из любимого подъезда, бросился в “Гастроном”, взял бутылку очищенной и тут же распил ее вместе с двумя клошарами во дворе своего старого дома, за горой пустых ящиков. Надо же было когда-то и начинать...

Вечером никто не позвонил мне, да и в следующие два дня. И я тоже не сделал ни шага. А потом Ксюша сама появилась у меня и спросила, почему меня не видно, куда я пропал? Впрочем, не дожидаясь ответа, радостно прочирикала, что отец достал ей путевку в Ялту, в спортивный лагерь, и она уже придумала, как устроить там и меня. Я не противоречил, и три дня до ее отъезда прошли вполне мило, в столбняке. Я проводил ее. Идя рядом с ней, как всегда, чувствовал себя “в кадре”, мне казалось, что на нас все смотрят и говорят: “Какая пара!” И мне это было неудобно. Еще помню долгий, картинный и лживый поцелуй в тамбуре поезда. Но бедняжка не знала, что это конец, а не начало, что я уже выкинул ее из сердца, оборвал любовь, как навеки прервал свою фугу он, рассудительнейший...

Все же, в том тамбуре, я не удержался от малодушного и праздного вопроса: “Зачем я тебе?” — “Мне страшно тебя потерять,” — твердо сказала девочка, за секунду перед тем казавшаяся веселой и беззаботной. Но ответ ее не мог убедить меня, я не видел, не видел ни в чем *доказательств* ее любви ко мне... А чувства разве недостаточно? Нет. Надо знать — это главное. Знать важнее, чем чувствовать.

Почему я ухватился за такой пустяк, может, это было ребячеством? Нет и нет. *Лучше одному*. Не хотел я мириться и в два дня перегорел. Если бы она опомнилась и приехала раньше, я бы остался за ней. Но она судила иначе, и времени достало, чтобы узелок развязался. Я жизнь прожил за двое суток, и никакой Ксюши уже не было мне нужно. Я даже с трудом узнал ее (опять!). “Кто это?” — был первый вопрос, когда открыл ей дверь.

Правды я не стал доискиваться не из гордости. От Ксюши нельзя было и в более простых случаях добиться объяснений. Ваши вопросы могли из нее выбить только начало улыбки — никак не полный ответ. Меня это особенно язвило в том, что занимало меня не на шутку — например, в загадке

Платоныча. Не каждому учителю удается внушить высокое представление о своем предмете. Поголовно, я имею в виду. Загипнотизировать всех, а не только избранных, которые и так этим предметом больны... Платонычу удавалось, поэтому удачный результат на его уроках ставился в классе чрезвычайно высоко. И я хорошо помню, что Ксюша как-то тихо, незаметно, но — успевала у него. Понимаю, она иногда оставалась после уроков, чтобы что-то спросить. Но ведь это — все делали. Стараясь не надоедать ему, не отвлекать надолго. Да, оставались все, но далеко не все потом хорошо писали контрольные — которые были редки, одна-две в четверть, не увлекался он этим; зато по важности они не уступали олимпиадам.

Была ли Ксюша под его *исключительным* влиянием? Этого я не знаю. Разговор между нами никогда не касался Платоныча, точнее — она его не поддерживала. Что странно. И как-то странно молчалива она бывала на его уроке, а он ее никогда не вызывал. И не смотрел, по-моему, в ее сторону. Правда, тогда и я не смотрел в ее сторону, поэтому и нельзя судить. Но что-то было, я убежден. И, мне кажется, именно ее он вспоминал, говоря: “Что они мне? Нечаянная радость, когда встретишь их в коридоре — и они просияют. Сету.”

Роман с Ксюшей означал постоянную зависимость от непостоянного существа и выяснилось, что этого я не терплю. Терпеть непостоянство я могу только в себе самом, потому что не способен его заметить. Люди же должны быть куклы. Но чего можно ждать от них? Воспоминаний, развлечений? Недаром и Симон размышлял над этим. И что он решил? Как мне узнать?

Нечаянная радость проходит, но разлюбить нам не дано, даже если спрятаться от любви под одеяло или в теплую ванну, как делаю я. Сна нет, и любовь настагает там. Видятся мокрые кусты сирени у матери под окном, которые я раздвигал в шестом часу утра, набирал самых душистых, тяжелых, мохнатых и отправлялся в Москву, на свидание с Ксюшей. Я отказался от нее, потому что так решил, — да. Но глупо было бы врать, что я и не любил ее, не пытался любить. Думаю, что и теперь люблю ее. Если бы можно было удалить ее из моего мозга, из моей памяти, то я, наверное, снова полюбил бы ее, черноглазую и веселую, как в лучшие дни, сведи нас случай.

Я разорвал и, кажется, не вспоминал ее долго. Но, встречая, тянулся весь. Да, университет невелик, мы хоть и учились на разных факультетах, а иногда сталкивались у лифтов. И стоило увидеть эту фигурку, не доставшую никому и до плеча, как у меня поднималась температура, ноги делались ватными, голова гудела. Меня чуть не убивала белая полоска ее чулка между черной юбкой и сапогом. Но... что решено, то решено. И телу пришлось подчиниться. Тело вообще покорнее памяти, над которой многое сохраняет власть и теперь, когда все ушло. Ее глаза, голос? Ко-

сынка на шее, фиолетовый бант, который она воткнула в волосы, когда мы встретились, получив аттестаты и удрав от всех? Да, и это. Но если бы пришлось выбирать что-то одно, только миг из того, что напоминает о Ксюше, я выбрал бы, наверное, один из тех холодных весенних вечеров в кривых переулках за недавно еще живой Гжаткой, когда мой пиджак и я в четыре руки обнимали ее незабвенные плечи, а она, как обычно, уворачивалась от поцелуев и, смеясь, напевала: “Твой труд, рыбак, напрасен, видна леса твоя...”

VI

Спокойная последняя мысль “мне нельзя к людям” укоренилась во мне без труда. За неимением противника. Мечту о счастье я похоронил сам, никто мне не помогал. Наоборот: мать пыталась внушить, что счастье можно и нужно делать, ковать, завоевывать... Но однако же оно не подкова, его не изобразишь руками. Его можно было бы надеяться только *получить* — как дар, как солнечный свет... А занимая “активную позицию”, получишь, конечно, что хочешь. Но не солнце, а электрическую лампочку. Сделанное своими руками, разумеется, очень дорого. Только это не чудо, которое неизвестно откуда и ни за что — вдруг дается. Не отрицаю, что хочется что-то делать для счастья или, по крайней мере, ждать и призывать его. Но ни то, ни другое не приближает цель ни на шаг.

Какое это унижение — быть студентом! Ни рыба, ни мясо. Уже не ребенок, еще не человек. Кажется, сегодня, с этим покончено, и я больше не студент. Но теперь надо быть чем-то определенным, а я не знаю — чем? И не могу отрешиться от анализа, от окаянной мысли о себе, как будто я — высшая тайна природы. Как будто самые горькие мои вопросы другой не разрешит в полминуты. “Другой”, “некто”, для которого последний курс — крайне ответственная, а вовсе не комичная пора. Кто подводит итоги и основательно готовится к будущему: налегает на общественную работу, ищет распределение повыгоднее. Предполагает жить...

Зеркала в человеческий рост — великое завоевание университета. Уважаемые люди должны видеть себя от и до... Глядя на свое отражение, подумал, что лицо у меня не слишком праздничное. Выть хочется, глядя на такое лицо. И разве я иду? Люблю остановиться, уставиться в одну точку и выкопать под ногами яму. Вместо того, чтобы быстрее идти дальше, делать карьеру... Потому и плетусь еле-еле, похоже, меня кто-то потерял, я упал с телеги и откатился на обочину неведомой дороги, в непролазную грязь, и больше никому не нужен. Хотя и в белой рубашке, но я один.

Смотрю в зеркало, втайне надеясь подловить того, кто всегда у меня за спиной. Сторожит, заботится и не пропускает отчаянье в ворота моего

дома. Моя жизнь должна иметь смысл, ибо о ней задумались, ее подготовили, она закономерное звено... Но эта рента невыносима, она не благо, а тюрьма. *За меня делают*, а не сам я. Не я живу, а какой-то паровоз использует меня, как уголь в топке, и летит вперед, живет за мой счет. Все предустановлено и решено без меня: тот, кто слушал Платоныча, не сможет забыть о математике; кто аккомпанировал Ксюше и разучивал “дивертисменты” для Симона, навсегда раб музыки. Но где же я сам? Может быть, стать химиком? Назло всему. Или патологоанатомом?

Мать хотела, чтобы я определился чуть не с пеленок. Чтобы в светском разговоре с соседями можно было говорить обо мне как о некоей свершившейся данности, а не просто фантазировать: кем-то будет тот жучок, что сейчас осмеливается мечтать о чем-то несообразном. Обрубила все мои задатки и увлечения, кроме того, что легко продается. И жизнь уже прожита, ей ничего не угрожает, она обеспечена... Но если в жизни нет места для импровизации, если человек не ждет нового и раз навсегда установил себе манеру и стиль, то это — хуже смерти.

Говорю это, как человек, который жил. Немного, но жил. И последний раз это было, наверное, тогда, когда я ... не хотел жить. Когда, оставшись без Ксюши и Змея, предался жестокому самоанализу и жестокой работе над собой. Каждый день я судил себя, разоблачал малейшие хитрости и уступки. А потом явился Симон, и я снова перестал жить, перестал быть собой — пока мысль: неужели буду целый век все решать и решать задачи и света белого не увижу? — не освободила меня от этой подлой доли.

После того, как я начал серьезно собой заниматься, мне не пришлось иметь ни друга, ни любви. Ну, с последней-то госпожой все понятно. Она раз навсегда провела мне ножом по горлу... Чего я хотел бы от любви? Чтобы она помогла мне вернуться к самому себе? Или уйти от себя? А может, это одно и то же? Не знаю, но мне *все равно*. Потому что вопрос в другом: не что такое любовь, а есть ли она вообще? Больше ли она смерти? Только это не дает мне покоя: хочу доказательств.

Вопрос: кто я? что я могу? истощил меня за 5 лет, как корову из сна фараона. И люди мне теперь не нужны. Не знаю я, что с ними делать, что они могут мне дать для избавления от этих злостных вопросов. Ну, и я им, со своей стороны, тоже ничего дать не способен. “Лишние люди” — это не только обо мне сказано. Это сказано про всех нас. Мы квиты вполне.

Люди не нужны — да. Но этого не скажешь о невидимом (пока) себе-седнике, адресате всех моих жалоб и извинений, без обращения к которому, наверное, и можно жить, но нельзя и помыслить о том, чтобы уйти...

Я брожу по берегу моря житейского, но войти боюсь, боюсь даже замочить ноги. Мне нечего сказать о людях, которые меня окружают, я могу говорить только о людях, которые были рядом со мной когда-то. Ведь люди — это воспоминания.

Однокурсники — публика в общем-то неплохая. Ничего у меня нет против них. Привык я к ним за 5 лет и — тошнит от одного вида. А так, ничего, хорошие ребята, умные... Добрые приятели, с которыми вместе ходили на занятия, пили пиво, бегали за девочками — это ведь самое главное, нет? Но почему-то меня равно воротит и от правоверных адептов, которые идут прямой дорогой к диссертациям и профессорству, и от легкомысленных бездельников, перебивающихся на тройки, которые женятся на четвертом курсе, по ночам разгружают вагоны и становятся правоверными адептами семьи и желудка. Тяжело мне с теми, кто не знает сомнений, а с теми, кто их знает, мне еще хуже.

Природа математических знаний такова, что лучше всего они передаются непосредственно, а не через книги. Самое важное узнается из разговоров в коридоре, а не в библиотечных бдениях. Мысль слишком летуча, чтобы книги могли за ней угнаться. Но ни с кем нельзя говорить так, как с Симоном, хотя “вообще” — о многом я могу говорить с людьми, могу говорить, наверное, с кем угодно и о чем угодно, хоть я и бирюк. Но говорить о том, что *меня* интересует — вот этого и не случается. А между тем, начала иных разговоров были просто чудесны. За ними угадывались бесчисленные очертания... Которые, однако, быстро расходились, как струйки дыма. Скажу больше: две-три фразы с кем угодно — и мне кажется, что меня бьют. У меня начинает болеть голова и режет в глазах. Разговоры — вору, почему-то они лишают мои мысли глубины и важности, которыми я наделяю их в одиночестве. Самим собой я могу быть только с самим собой. И этим предсказано все, что может со мной случиться. Все можно вывести из ренты, которую составляют эгоизм, гордость, стыд. Что нельзя вывести?

После Ксюши не было ни единой души, с которой я znalся. (Симон не в счет. Не я znalся с ним, а он — ненадолго — допустил меня.) По утрам у меня, как у алкоголика, дрожат руки: так я страшно зол на себя. Но и злости настоящей во мне нет: злой человек не может быть бездарным. Вот я и жужжу, как муха, накрытая стаканом, и ни с места не могу сдвинуться.

На курсе есть люди, которые не питают иллюзий. Например, Саблин. Говорили мы с ним мало, но как-то само собой сложилось уважительное отношение друг к другу. Наши интересы не пересекались (разумеется), так что ничего странного в этом нет. Да, мы еще и окончили одну школу — в параллельных классах. За Змеем я его не очень разглядел... Но ведь это баловень судьбы! Помню, в 9 классе мы на весенние каникулы ездили в Батуми. Человек 10-15, на неделю, кажется. Слёт был всяких чересчур одаренных школ. Не в том суть... Никогда не забуду отъезда. Поезд уже должен был отходить, а Саблина все не было. Руководительница ломала руки. Наконец, Он появился. Его сопровождали три женщины — 15, 20 и 40 лет, все они плакали и пытались оторвать от его одежды лоскут на

память. Саблин потом показывал ракушки, которые женщины, не сговариваясь, ему подарили. “Хочешь ракушку?” — томно растягивая первый слог, спрашивал он

От одной ракушки (то есть раковины) я бы теперь точно не отказался. Такой, где можно укрыться от всех. Отойти в сторону и не мешать. Да, говорю о том, чтобы убить себя, попробовать тихо умереть, если нет уже возможности тихо жить — о платоническом, так сказать, самоубийстве. Оно было бы выходом. А что? Это вопрос весьма важный, и подчас я знаю, как решить его. Правда, не могу сказать, чтобы меня как-то особенно интересовала смерть. Я в нее и не верил особенно. Но другой такой ниши, в которой можно перехитрить жизнь, не знаю. Ведь конец неизбежен — зачем же откладывать его? А если нужен исполнитель, которому одной логики мало, которому надобно *умение*, то разве я не пережил все необходимое? Лишить себя жизни можно даже путем отрицания всего того, что могло бы втянуть и вернуть меня в приготовленную мне долю; путем ухода от “дел”, которым предаются человеки. Это *уже* было бы самоубийством — пусть и косвенным. Конечно, мать моя еще жива... Но если я и ее отрицаю — что тогда?

Да, иногда мне кажется, что я жил. Но тогда в прошлом должно быть хоть что-то, заслуживающее воспоминаний, могущее удержать меня, пожелай я уйти — все равно, каким образом: как старец Федор Кузьмич, как Ванюпье, как отец Сергей. Воспоминания детства? Но они перекрыты торжеством тупой силы в тех местах, где оно прошло, опошлено разрушением Гжатки... Мой дом, отмечавший мягкий поворот улицы и служивший пристанью всем, кто хотел отдохнуть, исковеркан перестройками, подгонками под чьи-то нужды. Еще до моего рождения были добавлены два этажа, не связанные с общей конструкцией (тягались с высотой?), а по бокам проложены два выносных лифта, вдохновленные, несомненно, дьяволом. Я спрашиваю: зачем было так издеваться? Лучше б взорвали сразу, как церковь Николы напротив, на месте которой туческреб и вздвигли... Слышу стук молотка, отбивающего мешавшие кому-то рельефы Аполлона и Дианы с тех мест, где теперь наклеены какие-то подлые таблички. Всех тянуло что-нибудь заложить, снести — или добавить такого, что оригинал и узнать-то стало нельзя. Кого-то бесили узкие стрельчатые окна, сдвоенные и строенные по неизвестной причине. Да что говорить!.. Еще выплывает тонкий лик Тутанхамона, юного царя, отравленного жрецами, этими лысыми стариками, которые везде хозяйничают и замышляют погубить студентов, заклевать, задушить их своими кривыми пальцами. Выставка того, что было вытащено из его гробницы, золотым лучом пронзила беспросветную тьму моего отрочества, равно как и красивая его судьба, которую уложили в одну фразу: “Единственным событием в его жизни была его смерть.” Прямо ницшевская формула...

Последовательно вырывая вокруг себя пропасть одиночества, неизбежно приходишь к мысли о смерти. И ведь идея не нова. Несколько месяцев назад возле деканата появился столик с фотографией в черной рамке. Мой однокурсник К. “ушел из жизни в результате несчастного случая”. Попросту — выпрыгнул из окна, с восемнадцатого этажа. Около фотографии стоял графинчик с сухими соломками...

Я знал его. Неистощимо остроумный, огромного роста, он много раз таскал меня на спине — на первом курсе мы вместе бегали по набережной и занимались в спортивном зале. А потом — участвовали в лодочных походах, в которые приглашал нас Симон. У него была отличная растяжка, он почти садился в шпагат и в любой дождь умел разложить костер. Но в глазах у него всегда стояли слезы, — я помню... Тот, кого любят боги, умирает молодым: его забирают от срама, который он со временем явил бы миру.

Уми я сейчас, никто, конечно, не испытает иного чувства, кроме брезгливости, бессмысленности моего ухода. Зачем? Почему? Пустая жизнь — пустая смерть...

Другое дело, если бы я умер хотя бы лет через 20-30, оставив детей, жену, собаку. Люди заохают, но почему? Не потому ли, что станут примеривать эту смерть на себя? На свою непустую жизнь? Но чем же пустее жизнь юноши, уж нарожать-то детей он смог бы, наверное, а? Впрочем, половая сфера вызывает у меня протест и отвращение. Это не сфера, а кольцо, из которого надо вырываться во что бы то ни стало. Беда, что человечество выработало всего одно средство против отчаяния — семью. Но не каждый способен создать семью: я, например, разве мне можно жениться? Честнолюбцу это вообще заказано... Вот если бы нашелся человек, чувствующий свою связь со мной так, словно мы — сиамские близнецы, — тогда другое дело. Тогда я, возможно, и впустил бы в свою жизнь такого человека. Но на что ему я, который, разумеется, не смог бы ответить тем же?.. А так-то оно, конечно: постоянное общение и сосуществование со существом, тобою сущим, с тобой единосущим, которое тебе приятно без оговорок! Более возвышенной идеи и придумать трудно. И дети, дети... “Пусть весь мир прахом идет, только бы детям моим чай пить!” — да на одном этом можно основать империю.

Знаю, мать — единственная крепость, которая всегда будет на моей стороне. Но если я и похож на нее во многом, ей все-таки противно видеть, что я далеко не столь тверд, как она. Ей, презирающей мужчин и дела их (“Хамы, расступитесь, дайте дорогу вдове!” — может заявить она жалким мужчинкам, которые норовят пролезть в автобус вперед нее), должно быть больно оттого, что и она произвела на свет — нет, не мужчину, а недоразумение, но все равно умножила ряды врагов. Других слабостей я

за ней не знаю — только эту: то, что взяла пленника и стала делать из него человека. Для себя. Очень хотелось...

Но враг есть враг — он тоже сделает ход конем и покинет вас. Женщине нужно быть одной, говорила она с тех пор.

Да, характер матушки моей — тема для романа. В Москве она могла жить только на Гжатке, и когда Гжатки не стало, она покинула Москву, отряхнув прах с башмаков. Она поселилась на даче, а я ... мне нужно было учиться серьезно, и я жил в отдельном бетонном бункере, который нам выделили взамен нашего наследного коммунального жилья. Пока к 4 курсу, благодаря успехам у Симона, не вымолил себе право меняться с ней — по строго определенному графику — осенью и зимой.

Она была столь великодушна (и столь похожа на меня), что не пожелала обходиться без пианино, и специально для дачи купила маленький “Петроф”. А неподъемный «Seiler», побитый грузчиками, воцарился в Бирюлеве.

Когда осенью Симон сообщил мне о своем решении перебраться “Туда! Туда!”, тихий голос где-то пропел: *Ich grolle nicht**. И я подхватил. Я с каким-то зверством вцепился в музыку, а науку похерил. Внутренне, конечно. Ведь пока Симон был здесь, я не мог подавать виду, я старался быть с ним таким же, как всегда. Я прилежно, месяц за месяцем, корпел над эпохальным компендиумом, у которого было сразу три автора. Три монстра соединились и создали бомбу, которая разорвалась у меня в руках и хотя не убила, но сделала математическим инвалидом. Важнейший центр, ответственный за поиск, погиб навсегда. С тех пор толстые книги для меня табуированы: «Большая книга — большое зло». Что заставило меня взяться за этот серый кирпич после невесомых, цветных брошюр Рене? Кирпич, даже и обозначенный почти как бомба: ФФБ (т. е. Фаст, Ферфассер, Бозевихт — все бывшие ученики Симона)? Конечно, тщеславная надежда подобраться к той задаче, которую когда-то — разумеется, неявно, в мимолетном разговоре о тональностях, — поставил передо мной Симон: *поиск имени*; имени, и точного определения для того, чем все пользуются, не видя пропасти, в которую рано или поздно сорвется теория. Для вещи, понятной всем, и только специалиста ставящей в тупик. Ну, как время в физике...

Ненужному рабу оставалось только решиться на побег — и осуществить его при помощи хозяина, благо тот отрекся от него... “Я не сержусь!” Нет, конечно, я не сердился. Я просто был в ярости.

Осенью, на даче, холодно было и дождливо, и никого рядом. Но, задав себе несколько уроков фортепианной игры, я к зиме был уже готов. Я не хотел слов, не хотел воспоминаний, мне нужно было занятие, которое уводило бы от людей, ничем о них не напоминая... Музыкальную школу я

* *Ich grolle nicht* — Я не сержусь: песнь Шуберта на стихи Гейне.

как-никак окончил. И Ксюша не дала умереть этому. Уходя, она оставила мне то, что выше человеческих слабостей: музыку. Хотя и без слов. Но слова и не были нужны. Я не вижу особых различий между чтением и наигрыванием (для себя) хитрых фуг. Но второе более похоже на жизнь, на *действие*, которое в иной форме для меня затруднительно. И вот, печка трещала, дров хватало. Роптал я только на то, что часто приходится выезжать, чтобы люди, которым я безразличен, обо мне не забыли. Но я — работал над собой. Если предстояла утренняя повинность в университете, я вставал в полчетвертого утра, чтобы немного поиграть и настроиться на свой лад, как давно следовало бы настроить и бедный мой «Seiler», томившийся в глухом мешке... А пройдясь по городу, обезумевшему вконец, встретившись с машинами, от чьего бензинового дыхания я захлебывался, и, сдерживая спазмы, едва успевал достать платок, чтобы меня не вырвало прямо под ноги; наслушавшись в эту бесснежную зиму (снега в Москве так и не дождались, вместо него были только плевки на лысину или колючий ветер с крупой) звонов и стуков со всех сторон, лязганья цепей, свистков и криков, — я бежал из него, из железного города в дощатый домик на краю деревни, чтобы доказать себе, что у меня еще есть убеждения: хочу быть один, могу быть один, и я не беден духом.

Добившись одиночества, я предавался разным опытам. Например, поступал на “выучку к голоду”. И с восторгом узнавал, какая дивная вещь кусок хлеба с маслом, до которого наконец допустишь себя. Странная поэзия и недоступная миру музыка жили в хлебных крошках на листках черновика или нотных линейках.

Требовательный натуралист из меня не получился: возле окна росла высокая, тонкая березка, а слева от нее — кружок из пяти маленьких, бо-чонком, елочек, — точно колокольня при храме; и ничего-то мне больше не нужно было, никакой иной природы. Часами, днями, годами смотрел бы на них — и все как в первый раз. А бродя в лесу, оглядывался на каждый куст, как будто за ним притаился смысл жизни.

Иногда в мое уединение забредала кошка редкой, баснословно красивой тигровой масти, и я не гнал ее, мы дружили, хотя после моего отъезда ей, наверное, бывало неудобно. Зато в те ночи мне достаточно было протянуть руку — и она запускала мотор. Но и сама по себе она мурлыкала от счастья. Наверное, она жила у людей (которые ее выставили за какие-то грехи): сразу сообразила, что к чему, и запрыгнула на диван.

А тишина по ночам была такая, что лежавшие в другом углу комнаты наручные часы “Победа” (подарок отца), стрекотали, как будильник. И на потолке подрагивал зайчик: стакан чаю всегда стоял у меня под лампой...

Что несло меня на дачу? Может быть, я хотел опроститься, уйти на землю?.. Не знаю, как сказать, но если посчастливится выйти ночью на крыльцо и сразу попасть глазами в звездное небо, надышаться в сентяб-

ре-октябре холодными запахами трав и увядающего листа, а зимой — невесомо провести ладонью по лебяжьему пуху нетронутого снега, — то не так уже обидно и жить... А что провинция — старинное место горьких, давящих вопросов, так с этим ничего не сделаешь. Бывали, конечно, ночи, когда на деревне, на нашей улице до рассвета грызлись собаки — где-то рядом, в темноте... И долго я не мог опомниться после этого.

Но меня не интересовало уже мое дальнейшее внешнее бытие, я почти не верил, что оно реально, что от него никуда не деться. Мне было безразлично, что про меня подумают люди. Призвание? Но чем можно восполнить неудачи любви и дружбы? И неудача призвания только подтвердила это.

Чтобы занять себя и сохранить стремление к предельной точке, я снова стал разучивать эти чрезвычайно трудные, чрезвычайно камерные, замкнутые в себе фуги и прелюдии, которые легче напевать себе под нос, чем играть, и нашел в них альтернативу и заменитель науке. “Хорошо темперированный клавир” был исключительным испытанием на одиночество, и я его выдержал. Если бы я только мог забиться — нет, не в утробу матери, а в подобную ей тишину кабинета, где нет ничего, кроме пианино, и, сохранив верность музыке, отдать, посвятить себя двум страстям, двум своим чудищам: летучим фугам, этим предсмертным судорогам духа, не ищущего союза с землей, и нестареющим песням, обещавшим иные встречи!.. То, что я слышал когда-то от моей Ксюши, слилось бы с мечтами о таинственных свиданьях в башне и загадках любви, которые умела разрешать неведомая Лорелея Дарьяльского ущелья... Был, был свет в душе. Почему ж он померк?

VII

Холодно, ветрено с утра. Что за лето? Ветер, холодный и злой, лезет во все щели моей коробки. Даже в ванной нельзя согреться. И свеча коптит. Трещит, точно лопаются стручки гороха.

Большой таракан быстро, наискосок пересекает зеркало, висящее над раковиной. Вот она, моя жизнь: зеркало, по которому бежит таракан.

Он бежит, он, по крайней мере, последователен. Чего не скажешь обо мне. Видимо, это реакция моего организма на чуждую ему математику, но все, что кажется мне незыблемым, истинным, остается таковым два часа, а потом расплывается и начинает смердеть. Как же жить?

Говорят, последовательность ведет к дьяволу. Хочу. Может, там найдется уголок для того, кто устал биться в клетку бытия, пытаюсь преодолеть стыд.

Не все позволено? Спрашивать еще! Не сам подвесил, но сам могу оборвать. Нельзя терпеть, что за тебя делают. Что всякий твой шаг предсказуем

и все исчислено. Если я обещался прийти в 6 часов, я приду точно. Кто-то научил меня точности. И я не могу ей изменить? Не могу разочаровать того, кто знает, что я приду вовремя, что я вообще приду?

А вдруг мне надоест? Способен я сделать что-то без обусловленности, без причины, что-то ниоткуда не вытекающее, ничем не объяснимое? — Хочу...

Зная, что я посторонний, не подвержен страстям, не участвую в жизни (потому что не бываю на вечеринках, в кино, не читаю газет...), ко мне часто приходят за советом. Да-да, они, так называемые “наши”. Смешно. Наверное, считают, что я нахожусь в стороне от жизни (или над ней), и поэтому вижу то, что не дано им. И что же? Я советую всем разрешать противоречия разрывом, уходом? Вовсе нет. Я призываю к смирению, пониманию и прощению, уговариваю сохранить декорум любой ценой.

Если человек растратил казенные деньги и пустил себе пулю в лоб — это нормально. А если человек растратил казенные идеи? Что ему делать? Если все три часа, которые он проспал в три дня ему снился один и тот же сон, навязчивый, как рвота?.. Я видел себя в каком-то подземелье, в туннеле метро: мне навстречу тек бескрайний поток людей. Много было людей, целая толпа, но все — навстречу. Я пытался идти и, разумеется, сталкивался с ними, что ни шаг, они валились друг на друга и на меня, пробиться не было сил. Присоединиться к ним я не мог — мне в другую сторону. Не мог повернуться спиной и пятиться для отвода глаз: все равно они налетали на меня и увлекали за собой — они были везде! И я не мог ни отойти, ни стоять на месте. Только лечь под них...

И в том сне, который есть жизнь, я ухожу от людей и дел их, потому что мне не за что уцепиться, куда ни забросишь крючок — не держится он, выскальзывает из пасти прошлого, и будущее на него не ловится. Плоха наживка.

Я подобен ребенку, которому оставили часы, чтобы он знал, когда вернется мать, а он разобрал их и плачет, не зная, сколько ему еще сидеть в одиночестве.

Я разобрал пружины своего пафоса, шестеренки своего интереса к жизни — и утратил пафос, утратил интерес к жизни. Молот, который придет меня сокрушить — мой собственный мозг. Ради забавы, видимо, он иногда доказывает мне, что незачем жить, нельзя быть одному, но нельзя и не быть одному. А я все живу, равнодушный к его выводам, как к “Последним известиям”, и прислушиваюсь к нему, как к оракулу. Живу, да. Неужели протяну до 30 лет? до 40? И не переполнится ванна... я хочу сказать: чаша презрения к себе и миру? Одно я чувствую: она переполнится. Но ждать, ждать — нет сил...

Я со всем расквитался, покончил счеты. С одним — нет. В чем теперь моя предельная точка, к которой влечет меня поиск?

Голоса — вот что неприятно, гнусно. Звон в голове. Молодцы, кто могут включить радио, телевизор. Так просто...

Когда не стало Симона, когда тени Змея и Ксюши поглотил мрак, на меня сошел какой-то непрерывный звук, заунывный, но определенный, си-бемоль третьей октавы — точно озвучили самую жизнь мою, отобразили ее у меня в мозгу, как в неведомом приборе, вроде осциллографа, только не световым лучом, а звуком... День и ночь я слышал его. И это было хоть что-то. Я сторонился всего, что могло заглушить его. Прятался на даче, с нотами; пытался помочь ему звучать дальше, дольше. Но сегодня, после награждения меня дипломом, я уже его не слышу. Я почему-то его не слышу. Только зайчики от воды бегут по потолку... А человек на диване, наполовину скрытый углом пианино, в самом деле закрыл книгу и отвернулся к стенке.

Почему он отвернулся от меня? Потому что я не отказался от претензий и во что бы то ни стало положил себе: получу доказательства? И еще раз посмеюсь над непреложностью своих выводов? Ведь за мной пришли не воины бога, а прихвостни морали, которая только выдает себя за бога — в его отсутствие... На ту наглую пробу, ради которой меня бросили в мир: приживусь или нет? — я отвечу *своей* пробой.

Мало поступить без обусловленности — даже если это всего лишь шаг в темноту. Только этим шагом и можно добыть доказательства: либо любви, которая сильнее смерти, либо поражения своего. И тогда уже не жалеть ни о чем и ни в чем не сомневаться. Потому что и сомнения больше не будет.

Если бы счастье по-прежнему относилось к предмету моих забот, жить мне стало бы куда легче. Более того, я *смог бы* жить.

Это было бы легче, да, но, конечно, незачем. Как жить, если я не способен допустить даже призрака несправедливости против себя, единственного? Если я почему-то думаю, что имею право на какую-то особенную мораль — собственного производства? Разрезая себе вены, я ведь еще и чувствовал, что впервые столь широкой дорогой изливается вера в загробную жизнь!..

Действие второе

VIII

“Мы договорились, что в шесть часов он зайдет за мной, и мы пойдем в театр. Он в первый раз пригласил меня. В пору было торжествовать: дождалась-таки своего счастья! Поэтому я даже не стала интересоваться, что за спектакль: он сказал, что это будет сюрприз. Ну и тем лучше. Хотя было предчувствие, что он задумал какую-то гадость. Однако только когда он не явился вовремя — прошло полчаса — я поняла, что дело нечисто, и принялась обзванивать театры. Когда в “Фениксе” мне сказали, что вечером идет пьеса “Когда мы, мертвые, пробуждаемся”, я выронила трубку и понеслась к нему. Поняла, наконец, что все это значит.

Полчаса! Это было невероятно. Мало сказать, что он никогда не опаздывал. Это, разумеется, так. Еще важнее ему было, чтобы вы считали его человеком слова; чтобы ему не в чем было себя упрекнуть. Он все бросил бы и пришел, раз мы договорились. И дело не во мне, он не мог не сдерживать обещанного.

И я поехала к нему. Не знаю, на что я рассчитывала. Телефон молчал, но меня это не убедило. Я чувствовала, что стряслась беда. И дверь оказалась незапертой. Судьба уже вошла в нее. Наша совместная жизнь началась с того, что я выловила его из кровавой ванны.

Потом выяснилось, что он вернулся домой в три часа, как только расквитался с университетом. Но сделал то, что он сделал, только около семи. Как будто точно вычислил, сколько мне потребуется времени, чтобы приехать. Врачи сказали, что еще минут десять, и было бы поздно.

На раковине стояла оплавленная свечка в блюдце и снизу — записка:

До чистых радостей не дожили мы с вами.

А так хотелось съесть пирог с грибами.

Шумели клены надо мной когда-то.

А я ушел, и к жизни нет возврата.

Надобно знать, что я не терплю несерьезных разговоров о смерти. Преждевременных разговоров. Не тема это для шуток и упражнений в остроумии. А он, как назло, очень любил пустить какой-нибудь гадкий парадокс. Особенно в последнее время. Глумился над смертью, как могильщик, которому все равно, находится ли в яме, куда через час положат покойника, или на чистом воздухе. Он даже выдумал для меня такую легенду, «Смерть и студент», выдавая ее за сочинение некоего немецкого романтика. Он хотел этим подчеркнуть определенное противостояние. Идея в духе Гофманстала, или как там его? Но я почему-то не верила таким речам, не верила

в «немецкий надрыв» и все затыкала его. Не понимаю я этого. А то, что он сотворил, мне кажется, тоже было недостойным глумлением над смертью. Бессовестной провокацией какой-то. Как будто он хотел проверить, догадаюсь ли я, почувствую ли я. Не могу сказать, что это было чистое баловство — нет; да и логически обосновать перед самим собой неизбежность подобного поступка он, вероятно, мог очень хорошо. Обосновать он может все, что угодно. Он не просто человек слова, ему прежде всего нужна мысль, которой он будет держаться. Он фанатично предан всему, во что верит, и ему легко попасть в западню, которую расставляет мир. Но не пора было ему уходить, не пора! И он сам прекрасно знал, что не все испытал — из того, что хотел бы. Но гордость не допустила бы его до меня, до этого последнего испытания, иным путем. Такой уж он человек.

Он не мог взять в толк, что кроме математики есть еще и ощущения, что можно и чувствовать, а не только знать. И однако: что могло бы убедить его в родстве душ, если и не в любви? Только способность угадывать его желания, понимать с полуслова или вообще без слов. Догадаешься, что он мечтает о пирожном с кремом, значит, любишь.

Но пусть так. Ведь если он откажется от этих претензий, то откажется и от самой любви.

Его пристрастие к парадоксам всегда меня тревожило. Хотя это наносное и возрастное, пройдет. Знала ли я, что он способен на большее, чем просто зубоскалить? Но все равно: не верю. По мне, самоубийство — всегда фарс, а совершающий его — фигляр, обманщик. Уж про гордыню самоубийца молчу. С другой стороны, он мог бы сделать это. Потому что убивают себя в угоду разуму. Когда решают, что логика важнее жизни. Этого я и боюсь в нем. Боюсь, что он отрицает обязанности, одной из которых является жизнь. Болтайте и рассуждайте сколько угодно — на то и науки; но не покушайтесь на жизнь, на порядок вещей, который вы все равно не измените. Живите, потому что так велит долг. Единственное мужество, которое требуется от нас, — без крика принимать необъяснимое. И ведь вы можете жить! Самоубийство — психоз, а не итог холодных размышлений. И размышление об этом уже психоз. Если вы можете действовать, а самоубийство есть действие, то у вас на повестке дня остается еще достаточно дел, которые нужно успеть сделать.

Как он только додумался позвать меня на Ибсена, который был просто зачарован смертью и наградил ею всех своих героев — этих беглецов, которые в горных замках ведут надрывные споры о прошлом. Но это же не люди, а маски, мертвецы. Конечно, я не пошла бы, если б знала. Его состояние взывало к милосердию, а не то я напомнила бы ему: “Непоправимое увидим лишь тогда, когда мы, мертвые, пробуждаемся.” Я и есть это Непоправимое, вошедшее теперь в его жизнь.

Никто не знал обо мне, они удивлялись, откуда я взялась? Марк не из болтливых, не говорил обо мне даже матери. И, выйдя из больницы, настаивал, чтобы мы сразу поженились. Без свидетелей, как он хотел.

Но у него и нет друзей. Он говорил, что все они остались на рубеже 15 лет, в эпохе футбола. И не было вещи, которая была бы ему нужна так, как друг. Если он поверит в человека, то его за уши не оттащишь. Только он не верит. Помню его слова: “Жду откровения от разговора с первым встречным”. Но первого встречного не сделаешь другом.

Он хочет к людям, но дороги не знает. Не знает, как за это взяться. Его нужно научить. А перед этим он должен поверить, признать учителя, что совсем для него не просто.

Зачем я спасла этот обрубок, который может терпеть рядом других людей, только если они превозносят его, хвалят, льстят? Зачем? Но ведь удел человеческий — итог случая, который есть воля божья. И я совершила нечто, нечто из ряда вон. Я это понимаю. Потому что у меня не было выбора, ведь не у всех он есть. Как и судьба. Да, наверное, это так: он — моя судьба. И это взаимно.

Сразу ли я его полюбила? Да. Только он вошел в павильон и скользнул по мне взглядом. Не знаю, что почувствовал он, но я вдруг подумала: “А откуда это чудо?” Может быть, ангел любви пролетел между нами и кивнул мне? Ради таких мгновений и живем. Много ли наберется за жизнь? А ведь я тогда была не свободна. И два года смотрела на него, только смотрела, ни шагу не делала. Пока он не заметил и сам, первый, не заговорил со мной, не стал приходить ко мне.

Мы знакомы давно, но мы были именно знакомыми, не более того. У меня свой мир, у него — свой. Ему нравилось, что я совсем другая, но со мной легко говорить. Ему ведь от женщины ничего не нужно, только поговорить. Были обстоятельства, помогавшие ему даже и не помышлять об ином. Мы, как горничная и дворецкий в господском доме, были не вправе пренебречь своими обязанностями. Но не хочу объяснять, чему и кому мы оба тогда служили.

Он никак не мог смириться с потерей Гжатки, которую отцы города пожелали превратить в лупанарий, и у которой отобрали даже имя, заменив его несурзным псевдонимом. Эта старая улица была для него зернохранилищем особого духовного ритма, его ритма. Он часто заглядывал ко мне в церковь, но, по-моему, преувеличивал трагедию. Ну, подкрасили облезлые фасады более веселой, живой краской, вывели тараканов. Разве плохо? Конечно, поломали много дорогих кому-то святынь, но зато двиггли новые. Без этого нельзя.

Мы с ним выросли в одних местах, но едва ли могли встретиться раньше. Хотя они обычно выходили из школы, когда я прибежала к отцу в мастерскую. Отец был конструктор кукол и передал свое ремесло мне. Так

что мы, наверное, часто бывали на расстоянии нескольких шагов друг от друга, но сделать их было никак нельзя. Учтите, что он еще и младше меня, мой бедный мальчик.

Это вовсе не случайно, что мы вместе. Помните “Маугли”? “Мы с тобой одной крови”? Да, мы с ним на одной строке в книге. На работе я всегда чувствовала, придет он или нет. Он никогда не предупреждал меня, заходил, когда хотел. Но я знала с утра. Возможно, притягивала его не столько я, сколько сами места: как-никак, а наши мастерские находятся там, где прошло его детство, в любимом его “уголке”, куда его возили гулять в коляске. А для него это не то, что обычно. Мне кажется, ему свойствен особый топографический мистицизм: люди привязываются друг к другу, а он, как кот, — к куску пространства, к выбоине в асфальте или повороту переулка. Когда я говорила: “Я чувствовала, что ты придешь,” — он морщился. Он не верит ни во что такое, как все мужчины, мнящие себя реалистами. Он удивлялся: неужели я не помню, что уже говорила ему так? А я словно и не помнила. Каждое новое предчувствие было точно впервые, непохоже на те.

Я полюбила этого человека, потому что в нем есть подлинность. Он чужд позы, ему некогда представляться. Все, что он делает, он делает назврыд. Он как-то сказал мне: “Чтобы жить, нужно взвалить себе на плечи некую непосильную ношу и нести ее, так что даже если и не доставишь ее по назначению (конечно, нет!), этот *честный труд* смягчит бесконечное убожество твоего материального быта. Которое иным способом не преодолеть.” И я любила его такого, и помогу ему преодолеть убожество быта.

Вы думаете, он рассказывал мне, сколько у него пятерок в зачетке, или как он за девчонками бегал? Когда он говорил об университете, я слышала, как опадают листья в осеннем парке, через который он ходил на занятия. Он не мог оторвать взгляда от красных и желтых пятен, заполнявших все пространство от земли до неба. Видеть эти листья и шуршать ими и слышать, как ветер срывает и несет их, было для него важнее того, что ждало в университете. Жаль, что он этого не понимал. Но на то и я, умевшая отличить историю его души от того хвастливого вздора, которым другие двуногие в шляпах, с переразвитыми мышцами, надеялись покорить меня. А я видела только эту нескладную и несомненно отторгнутую человечеством фигуру, с одной стороны гордую своим уделом, но и боящуюся, как бы кто-то этого не заметил.

Нужна ли ему я? Важный вопрос: от него зависит многое, будущее.

Трудно ответить. Думаю, во мне он нашел то, что потерял когда-то. И без чего жизнь лишена смысла. Может быть, мне и суждено чувствовать себя лишней рядом с ним, но никто другой все равно не годится. По крайней мере, на роль моего мужа.

Не стану больше расписывать его достоинства. Он мой, и все тут. Я решила взять на себя этот крест, хотя и понимала: если полоснуть бритвой по венам ему так же легко, как смычком провести по струнам, то сделанное им может и повториться. Но я готова жить ради него, я не хочу иной цели в мире, сделавшем его больным. Он пострадал из-за других, и мне хочется утешить человека, который считал себя отщепенцем из-за того, что никого не было рядом с ним. Ведь он не меланхолик, у него тьма идей. Но ему нужен человек. Я знаю, как утешить его, и, думаю, он будет жить долго. Посмотрите, как спокойно он спит. Люблю смотреть на него, когда он спит: вижу, что и этот человек может быть счастливым.”

IX

... А если с языка у меня сойдут слезливые басни и чувства мои не найдут в тебе веры, то прости мне эти искренние заблуждения и подивись хитростям бесовским. Ибо нет у меня иной цели, как рассказать то, что рассказать нельзя. Тайна лежит на этом последнем, уродливом отростке моей судьбы, до которого не добрался топор. Много лет я напрасно искал друга в поколеньях, читателя же в потомстве породил сам.

Иногда мне кажется, что сын слушает меня, что ему нужно знать. И я, не получивший от своего отца ничего, кроме зрелища человека, отвернувшегося от всех, хочу оставить сыну (дочери достаточно приданого), которому я, конечно, был не то что “плохим отцом”, но вообще был не столько отцом, сколько старшим товарищем по играм, из-под власти которого рано или поздно обязательно выйдешь... хочу оставить сыну то немногое, что я понял о своей жизни. Для меня это последняя возможность. Пусть он меня услышит, пусть узнает, к чему можно прийти в погоне за оригинальностью, в которую пускаешься не по своей воле, и простит, что я пишу, а не таю в себе признания, которые, конечно, будут ударом для самых родных и близких мне людей. Простит все тире, скобки, кавычки, курсив, которыми я пытаюсь скрыть тот факт, что слишком много самых простых вещей вызывают у меня недоумение и растерянность. И пусть хотя бы поймет, почему я не мог быть “проще”, раз уж ему суждено узнать всю меру моей низости и судить меня столь же строго, как и сам я судил о своем отце.

(Можно считать это наброском завещания. Не последним, конечно.)

Причина, соединяющая два человеческих существования, это заблуждение и затмение, или же — истина и озарение? Почему нельзя рассказать о своей жене так, чтобы и другому захотелось жениться?

Никому не нужны мои восторги и мои открытия, мои «женатые максимы». Им подавай человека, который вызовет *их* восторги, тогда они жենятся. А на моем рассказе жениться нельзя — ведь своей жены я им не отдам!

Поэтому не хвалю своей любви и не продаю ее никому. Но ведь самому себе я же как-то представил это дело в выгодном свете, *мне-то* жениться захотелось...

Десять лет назад беда была у моего порога. Я стремительно погружался во мрак и холод, из которого уже не надеялся выбраться. То была какая-то парализующая бессонница, вместе со сном отрицавшая все и вся. Достаточно ли было у меня причин, чтобы покончить с собой? — Если задать такой вопрос, скорее всего, останешься жив. Но в том и дело, что я не задавал его. Голову мою охватывал железный обруч, который сдавливал ее все сильнее, как будто я погружался в пучину. Но на пороге коллапса, едва не обратившись в ничто, я вдруг вынырнул из пустоты раковины, подобной утробе матери. Чудесное вмешательство неведомых сил спасло меня. И увидел я новое небо и новую землю, и склонилось ко мне женское лицо, которое сказала с улыбкой: “Вставай, уже утро!” Это была Даша, девочка из другого мира, ее испуганные, потерянные и счастливые глаза были полны света, в них таились неведомые пространства. Лик человеческий, явленный мне в ее образе, означал реальность внешнего мира, вернее: реализуемость в нем высших идей. Ведь я довел почти до конца свою программу отречения, но старый мир послал мне свою овечку, послал на закланье, как искупительную жертву. И я, мечтатель об ином, не смог от нее отказаться. Посчитал, что я в ответе — за ее испуг, за ее одиночество, точно своих было мне мало.

— Что ты здесь делаешь?

— Смотрю на тебя.

— Зачем?

— Хочу, чтобы ты проснулся.

— Зачем?

— Чтобы говорить с тобой.

— Для этого есть другие.

— Кто?

— Мне кажется, вопросы — моя вотчина. Я пытаюсь понять, а тебе все известно.

— Но ты хочешь говорить, хочешь, чтобы с тобой соглашались. Я пойду?

— Наш разговор не может продолжаться долго.

— Там видно будет. Позволь мне рассказать тебе сказку.

— Я уже вырос...

— И хорошо: значит, ты все поймешь так, как надо. Слушай. Жил-был когда-то мальчик, хороший, веселый, умный. Он играл с друзьями, мечтал, ходил, как все в школу. Ходил он по той славной улице, что, извиваясь, как река, вела его мимо красивых домиков с затейливыми фасадами, которые, однако, уже начинали исчезать, поглощенные уродами. Ему очень нравились старые домики, и людей, безжалостно их уничтожавших, он считал отвратительными громилами. Чтобы держаться от них подальше, мальчик почти не покидал своей комнаты и занимался исключительно тем, что искал самого себя. Грохот стоял за окнами, и ему приходилось закрывать глаза и уши, но никто не создан для того, чтобы всегда мучиться, и мальчик надеялся, что останется хотя бы один домишко с зеленой дверью, который он мог бы посещать. Домик этот стоял на вершине горы и взобраться к нему по обледеневшим кручам было невозможно.

Когда у мальчика умер отец, он достал из-за шкафа отцовские лыжи, вышел во двор и, нацепив их, стал взбираться на ледяную горку, непременно принадлежность тех двориков, где жили тогда все веселые мальчики...

— Я тебя перебею. Можно? Ты пришла сказать, что знаешь, как мне взобраться на горку, не снимая лыжи?

— Да, знаю. Потому что зима уже прошла, стаял снег, дождь миновал, перестал, цветы появились на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Встань, любимый мой, выйди, покажи мне всю славу мира и все чудеса его. Дай мне увидеть твое лицо, освещенное солнцем...

— Довольно. Я понял. Должен предупредить тебя: над страной моей никогда не восходит солнце, никогда не слышен здесь голос горлицы. Страна эта не была предназначена для разумных существ. Но пусть. Ты предлагаешь мне игру. Хорошо. Но даже если мы сойдемся в правилах, я снова повторю то же самое: игра не может продолжаться долго.

— Выход из нее мы запретим одним из пунктов.

— И чего можно добиться такими уловками?

— Всего. Ведь сама жизнь — это уловка и послушание.

— И верующий в обман спасется?

— Спасется вообще только тот, кто верит.

— С этим не поспоришь. Но где приобретается сия роскошь — вера? И повторяю: я вырос.

— Да, конечно. Но в чем твой рост? В том ли, чтобы мужественно обходиться без веры? Рассчитывать только на себя? Но человек не может стать настолько свиньей, чтобы всегда и во всем полагаться только на себя. У него обязательно остается запас роста, где он бессилен. Я говорю не о том, что надо хвататься за веру, как за костыль, чтобы объяснить то, что объяснить нельзя. А о том, чтобы не забывать: силы твои ограничены, рост невелик, срок на земле сто лет, а не тысяча. Вера начинается там, где кон-

чается человек. Но это только крылья, чтобы лететь. Должен еще и мотор работать. Не стоит выключать его раньше времени: он не перегреется.

— А если, так сказать, топливо кончится?

— Оставь свои парадоксы и поговорим серьезно. Ты так и не дал мне закончить сказку.

— Жизнь сама расскажет ее, а я боюсь морали — той, что в конце. И не хочу возвращаться к началу.

— Ты к нему вернешься, даже и не заметив...

Мог ли я не жениться? Такой вопрос возникал. Но что я мог найти тогда против? Против Даши!.. В ней не было и следов кокетства или холопства, это была женщина, пошедшая за мной, спасшая меня для любви — ведь все остальное я уже отбросил. А через любовь перемахнул, как через ров с крапивой, боясь проявить слабость и подвергнуться насмешке Змея. Ведь в жизни моей не было другого такого человека, как Змей. И теперь, через столько лет, я могу рассказать о его последнем даре. Тем более, что без этого дара тебя бы не было. Не было бы этого, хоть и призрачного, а все ж обязательства, побуждающего меня допрашивать свою душу.

Конечно, Змей ужаснул меня мещанской долей, напугал — как из-за угла пугают до заиканья. Но, как ни велик страх, его можно иногда позабыть. На время...

Даша была его подруга, наверное, одна из многих, но я почему-то не представлял, что ее можно чередовать с кем-то еще, и полагал, что свадьба между ними почти слажена, так что сразу и не понял, что это значит, когда увидел ее в больнице. Вообразил, что в новой жизни мне выпало быть Змеем... Познакомились мы с ней в ту мрачную пору, когда всех старожилов железной метлой изгоняли с гжатского пепелища. Я тогда еще не был уловлен Симоном и ходил сам не свой. Поскольку я видел ее рядом со Змеем, ее для меня не существовало. Но она работала, с детства обитала в Борисоглебской церкви — насупротив нашей школы. Эта церковь увековечена Левитиным в “Старом подворье”, хотя сходство и не полное: проживший жизнь в Италии, художник, видимо, предчувствуя или призывая судьбу, слегка наклонил ее на пизанско-венецианский манер. Наша-то, гжатская, куда прямее.

В этой церкви, по воле странного жребия, с давних пор находились мастерские кукольников, поставлявших свою продукцию театрам и студиям, и я иногда заходил к ней, не сознавая, что “захожу к ней”. Если разговор касался Змея (как же без этого?), она почему-то странно замыкалась, и я думал, что это стыдливость. Видел я их вместе редко, но я же и с ним тогда уже почти перестал встречаться... Однако, когда понял, что у нее на меня “виды”, что она решила оставить за собой того мертвого пса, каким я тогда был, — то немедленно бросился к Змею, разыскал его с редким упорством... Да, я бросился к нашему Галеоту, но по дороге представил

себе его лицо и понял, как самонадеянно собираюсь удивить его. Неужто он не знает? Неужто все это *не его рук дело*? Не ответ ли на Ксюшу, на мое своеволие, на попытку самому выбирать себе судьбу, не спросясь у него?

Но эти вопросы не остановили меня, я все равно пошел к нему и просидел вечер. Конечно, дух отрицанья не позволил мне узнать что-либо о его серьезных планах на путях бытия, но касательно женщин... Он показал мне фотографии (без числа!), которые в пору нашего отрочества всякие ловкачи продавали бы как “порнографию”. И на них был он! Он надеялся взбесить меня этим — ведь я пришел говорить с ним о чистой Даше. Но никогда еще мне не было так легко послать его вниз по склону! Между нами теперь не было того неравенства, что придавало определенность дружбе. И ... я ожидал чего-нибудь в этом роде. В те дни, когда мы с ним блуждали по Гжатке, он иногда позволял мне соучаствовать в удивительной игре — сочинении романа из венецианской жизни, который писался тогда в его голове. Наденюсь, периодические пребывания в моем доме тоже сыграли не последнюю роль... Это были рассказы о гордых нобилях, для которых любовные приключения были столь же глубокой тайной, как и политические интриги, в них Венеция — родина дипломатии — не знала себе равных. Разумеется, там фигурировал и Казанова, человек-оркестр с железным прутом и железным фаллосом, *Uebersensch** галантного века. Обманом и шантажом он добивался — нет, не любви молодых женщин, а лишь того, что есть у всех у них. Змей не слишком его жаловал — поэтому дерзкий мистификатор попеременно представлял то алчным соблазнителем, то жалким старикашкой. Думаю, свой роман, если бы у него достало времени его записать, Змей назвал бы «Крышами Венеции»... Нет, у того, кто хоть и был когда-то моим другом, но, переходя из школы в школу, сам, как Казанова, наращивал опыт своих побед, я не собирался испрашивать какого-либо совета или разрешения. Прощаясь, я просто сообщил ему, что женюсь. Хотелось увидеть его лицо под маской. Дрогнет оно (удовлетворенно) или нет? Тогда я уже самого себя считал Змеем, нечего мне было перед ним пресмыкаться. Чего я ждал: чтобы он принялся расхваливать Дашу или пустил какую-нибудь грязную сплетню?

Он, конечно, все это знал заранее. И сделал самое мудрое: не поддерживал темы. Мое, мол, дело. Но брезгливо поморщился — не на упоминание о его прежней подруге, а на то, что я собрался жениться. Ничего более мещанского я, конечно, придумать не мог. Хотя в женатом виде, пожалуй, больше буду похож на человека. Да и как средство борьбы с язвой века он готов признать за женитьбой некоторый смысл... Большого я от него не добился. Зато вступил во владение его наследством. Даша была прелесть и досталась мне так легко; конечно, разве тогда я мог хотя бы *познакомиться* с женщиной сам?!

* *Uebersensch* — сверхчеловек.

Почему я женился?

Все дело в том, что в недрах одной истории нередко зарождается другая, и особенно это касается любви. Привычка становится натурой, стоит только поддаться ей хотя бы раз. А Дашу к тому же вполне можно было принять за копию Ксюши, на которую пробежавшие годы наложили окончательные мазки... А ведь Ксюшу я удалил из своей судьбы чуть не скальпелем, ампутировал, как больную ногу, хотя она и не думала болеть, и мне было стыдно. Но вместо обрубка захотелось иметь... протез. (Шутка, которую Даше знать ни к чему...) Все равно: как вышло, что я оторвался от Ксюши, которую любил всей душой, этого понять нельзя и теперь. Но мне по-прежнему нужно было думать о ней, не бросаясь на стенку с кулаками. И Змей дал мне человека, женщину, о которой я не мог думать, как думают о “женщине”, но рядом с которой тень Ксюши чувствовала себя спокойно. Я думал о Ксюше, а рядом со мной была... Даша, которая не стала еще твоей матерью... Рост, глаза, волосы — все было то же, только не пела она песен, а мастерила куколок в кафтанчиках зеленых. Мог ли я не схватиться, когда столь очевидно мне как бы вторая попытка давалась шутихой-судьбой?

Были и отличия, усовершенствования: Даша была точна, как часы, никогда не опаздывала, не забывала сказанного и обещанного. Если от Ксюши нельзя было добиться объяснений, то Даша поражала открытостью. Иначе разве решился бы я снова *уйти к человеку*? Ведь это был новый мир, который вдруг опрокинулся на меня. Она мягко шепнула: ты несчастен, потому что не веришь в любовь. И я поверил. Покорность Даши была порукой ее любви. А моей? — Да, я пытался “проверить свои чувства”. Но чем? Только чувствами же — своими — больше ведь нечем. Хотя определяющим фактором моей любви была ее преданность. Нельзя было отшутиться, потому что у Даши все было всерьез. Она означала испытание на человечность и не дала мне уйти без ответа. Для меня все ж это был не пустой звук. Стало ясно: если я не женюсь на ней, я — неблагоприятное ничтожество. Если и на ней не жениться, так и вообще не жениться, уйти в лес, как медведь. Но я уже знал, что уйти не могу. И вообразил, в каком-то наитии, что проблема человека может быть решена совсем просто. Что нам нужно? Женщина, которую мы любим, и которая — смешно выговорить — любила бы нас.

То и другое была Даша. Доказательство ее любви я получил. А самую любовь? В нее я просто погрузился. Я знал: лучшего не найти. “Сопли”? Да. Я очень даже был к ним расположен. Иначе никто не поверит, что я существую. Распускаю сопли, *ergo sum*. А глубоки ли оказались воды — это вопрос другой...

Проживший жизнь в углу, я дивился страшному чувству изящного, которое она отпечатывала на всем, к чему прикасалась. Так туземцы изумлялись бусам и погремушкам... В нашем доме не было ни одной фабричной

вещи, все было создано ее нагруженными руками. Мне она не просто вязала к зиме теплые носки или свитер с моим логотипом; если я читал книгу, к ней делалась обложка с “встроенной” закладкой... Я не мог без слез смотреть на тот островок света, на котором и над которым она трудилась за несколько часов перед тем. Видя вымытую ею посуду или пересаженные в новые горшочки азалии (ее любимые цветы), или ее тапочки, говорившие: “И мы тоже Даша”, я рыдал. Нет, я не сентиментален, я просто *не привык к людям*. Я наблюдал за Дашей, как за экзотическим животным, каждый шаг которого — открытие для науки.

Что еще меня убедило, что я берег, как зеницу?

Один миг венчанья (т. е. бракосочетания), когда рослая женщина-генерал в розовом атласе назвала нас мужем и женой, и я, повернувшись к Даше, чтобы запечатлеть дежурный поцелуй, увидел перед собой лицо Евы, тот несравненный лик, который принадлежал ей в Эдеме, на Востоке... Для нее это не был районный ЗАГС, а подлинное, божье дело, раз в жизни дающееся. Я подумал: если она меня выбрала, значит, я тоже, может быть, подлинен...

Нам снились парные сны. Я видел ее в церкви, как она сидит в тесной комнатке под лестницей, за рабочим столом, и в своем черном халатике сосредоточенно что-то шьет, привинчивает, красит. Или идет по сводчатому коридору, где в нишах, на стеллажах застыли в изломанных позах гуттаперчевые рыцари и веселые гуляки — завсегдатаи старых пьес... А ей снился осенний парк между метро и университетом, кленовые листья шуршали у меня под ногами, когда я шел к Симону, чтобы рассказать ему “неприводимый случай” (была такая вещь в той науке). Или поднимался на лифтах: сначала скоростной и общедоступный возносил меня на 28-й этаж, в музей географических карт, потом я пересаживался в маленькую, тяжелую и одышливую служебную кабинку, нехотя ползущую на 33-й. Там я выходил в полутемный тамбур, миновал странную комнату с огромным глобусом и устремлялся к железной винтовой лестнице, ведущей в шпиль. Преодолевал десятка два уворачивавшихся друг от друга ступенек, но неизменно упирался в спокойного, молчаливого стража, который появлялся из дверцы в стене, за которой, казалось, следовало быть только воздуху...

Как я женился? Не знаю. Женидьба ведь всегда неожиданна — как смерть. Даже если готовишься к ней. До конца нельзя поверить в этот потусторонний, иррациональный шаг... Нет, ни одной минуты нельзя сказать, что она женила меня на себе. Все хитрее делается. Когда Даша меня выбрала, я почувствовал себя достаточно сильным, чтобы вернуться в мир, из которого не сумел бежать. Я решил, что мир хуже, чем я, раз именно на меня пал ее выбор. И от меня исходило предложение руки и сердца. Правда, она назначила что-то вроде испытательного срока (то есть это я назначил...). Но когда однажды ночью проснулся у себя в Бирюлеве с

ощущением, что Даша где-то рядом, и принялся искать ее по всей квартире, даже в комнате матери, — откладывать стало некуда.

Мое воскресение было отпраздновано шампанским — хотя и без свидетелей. А “медового месяца” у нас не было. У обоих нашлись дела. У Даши — куклы, у меня — она. Привыкать к ней, ждать, когда она придет ко мне... Никаких приготовлений к счастью не делалось. Мы просто стали жить вместе, не учась этому. Да и нужно разве учиться каникулам, которые предоставляет любовь? Как хорошо не задумываться над тем, что делать, кем быть. И дарить если не радость (я не мог в это верить), то, по крайней мере, бытие другому, прекрасному человеку, который жил ради меня, ходил за мной, как за парализованным, и всегда сам знал, что делать. А иногда я носил ее на руках, и Даша говорила, что это напоминает ей детство и маму, которой давно нет; так я на время становился единовластным повелителем ее души, царем ее таинственного мира. Эта могучая держава, любовь, стоила всех моих идолов, и если иногда забредалось в кощунственную мысль: а что, если бы ее (Даши) не было? — то стоило нам разлучиться хотя бы на час, как я уже бывал взвинчен до предела: не мог жить, не представляя себе, как она *там* (на работе, просто в миру, где меня нет). Собственность? Может быть. Но не часы, костюм, книга. Собственность интеллектуальная. Основной и постоянный прицел моей мысли.

Когда она сидела напротив меня за столом, ничто не убедило бы меня, что мир не ограничен кругом лампы, покрытой сшитым ею красным абажуром. Я ловил всякую черту, чтобы отметить: лучше нее не найти, только с ней могу жить. И для смеха спрашивал себя: неужели придут времена, когда эти черточки, слова, чувства не удастся вспомнить при всем желании?

Для чего люди женятся? Чтобы иметь под рукой стрелочника, не в одиночку владеть оковы сей жизни? — Согласен. Но почему-то само слово “жена” было мне крайне неприятно. В голову лезла непрошенная шелуха: “жена сож-жена, уни-жена, оби-жена”... Несамостоятельное какое-то было слово, суффикс, а не часть речи. Зато “семейные неурядицы”, которые предсказала мне мать, когда я доложил ей о новом шаге своеволия, были для меня чем-то вроде набора стандартных задач, которые надо уметь решать, если хочешь хорошо сдать экзамен. Семейные неурядицы не были метафизичны, глубоки, заключая в себе не так много аспектов и вариаций, они казались конечными и их можно было надеяться завершить, как не слишком содержательную теорию. Правда, при дальнейшем сближении могли обнаружиться “квантовые эффекты”, но о них позволительно было не думать и не замечать их, оставаясь классицистом, доживающим свои дни в цельности мировоззрения.

Через год, ожидая вестей из роддома, я по ночам гадал, какую из сказок перечитать: “Дюймовочку” или “Мальчик-с-пальчик”? Во всех случаях, явиться в мир должно было что-то маленькое, слабое, хотя и не беззубое, способное, может быть, и врага в родительский дом впустить, чтобы заставить отца действовать, а не лежать на диване. Но я не верил, что от меня может родиться мужчина.

Как-то раз на улице, возле булочной мне попалась довольно опрятная старушка с ребенком на руках. Она профессионально поймала мой взгляд в свои добрые глаза и я, решив, что ей что-то нужно, остановился.

— Вы в церкви были? — спросила она.

— Н-нет... — Ясное дело, я недоумевал.

— Завтра — праздник Благовещения... Вот, хотела сходить... Поздравляю вас...

— Спасибо... — Я уже почти отвернулся.

— Вы... не ходите? — поняла она, но, видно, не хотела сразу с этим смириться.

— Нет, — я покачал головой и пошел покупать хлеб. Наверное, у меня было “то” лицо, сбившее ее с толку... Почему же я не хожу в церковь? А женщины ходят... Или это пророчество об ожидавшейся мною благой вести?

Вернувшись домой, я еще раз перечитал многозначительную, как само детство, немецкую историю, а на следующий день голос в трубке устало произнес: “Я родила мальчика.”

В угоду Даше, которая уже не скрывала своей набожности и с каждым днем крепнущего милосердия (каким-то образом они вселились в нее из углов донельзя перестроенной церкви), была принята и общая молитва: “Трое вас и трое нас. Господи, помилуй нас.” Кратко и необременительно. И как в стороне от меня осталась бетонная коробка, где коротала зимние месяцы та образцовая форма, в которой некогда был отлит мой состав, так же провалилась в другое измерение та холостая (и в смысле нерезультативная уж точно) жизнь. Я привыкал к триединому царству, духовное сродство с которым мне не нужно было себе доказывать. Не знал я большей радости, чем вернуться с работы и найти Дашу и тебя спящими, а рядом на диване — “Историю одной поездки”. Значит, моя кукольница читала. И как хорошо, что *это!* Я избавился от пагубной привычки заниматься ночами, а если сон сразу не шел ко мне, то теперь по бокам стояли две охранительные группы звуков: “тик-так” и “чмок-чмок”, так что, когда гас свет, вывод: “живу не зря” продолжал светиться в душе.

Х

Моя теория семьи была довольно проста — поэтому ее практическая реализация и выявила множество неожиданных поворотов. Но идиллия продолжалась на удивление долго. Идиллия, состоявшая в том, что мы берегли друг друга... друг для друга. Затевая некое совместное дело, мы понимали: пусть лучше дело это не выгорит, только бы нам не переругаться между собой, и нам удавалось при помощи своего понимания управлять своим поведением. Мы день и ночь сторожили беса, пытавшегося нас поссорить. Только, бывало, наметится какой-то разлад, острота, противоречие, — а мы уже оба готовы уступить, оба верим, что это — ерунда, и незачем настаивать на своем; и уже чуть не ссоримся из-за того, что уступить хотим оба, а это тоже невозможно, но все-таки гораздо легче и приятнее, чем обоим настаивать. С нами всегда был некий третейский судья, верный друг, поправлявший обоих в ту минуту, когда мы были готовы рассердиться, повысить голос... Или не судья, судья — это объективность, но ее здесь не требовалось: гнев захлебывался и стыдился себя тем сильнее, чем более он был оправдан, и мы легко прощали друг другу то, что педант подвел бы под статью закона.

Я благоговел перед ее талантом, поэтому стрелы упреков и придинок, которые любая жена выпускает из себя так же естественно, как муж — барские требования, были для меня бумажными стрелами. То есть они меня не ранили: я считал их одного происхождения с ее критическим чувством в ремесле; и, поскольку сделанные ее руками куклы жили на сцене, я верил, что Даша всегда права. Ведь я тоже был сотворен ее руками.

Пару раз я случайно назвал ее Ксюшей — и она не обиделась. Она знала о *той* и понимала, что пришла после. А потом, из нежности, конечно, я стал называть ее сестрой, другом, выдумал иные клички, в которых не было опасных сближений. А имя, что ж имя... Имя у нее общее с многими, мне это неудобно. Она была мне женой: не просто *частью* речи — ее назначением.

Благодаря Даше я снова жил и знал, что живу не зря. — Нелепые слова? Все живут, чтобы жить, и большего не скажешь о них, если они не Шуберт, не Гаусс. А я? Я тоже удовлетворился тем, чтобы *только* жить? Или мысль о неудаче призвания более меня не посещала, потому что призвание у меня было, и я следовал ему день и ночь?

Однажды я почувствовал, что дух Змея снова пробудился во мне, и я окреп до того, что решил: отныне со мной будет связана целая философия жизни, точнее — фигура, которую я поначалу гордо окрестил так: *homme de ménage* (домохозяин, хозяйственный муж или просто: хозяин...), т. е. человек, единственной статьёй которого в мире сем является забота о вращенных ему детях и женщинах.

Откуда взялось это изобретение? — Я был уверен, что если не обосновать своего бытия хотя бы при помощи такого термина, то у меня его и не будет. “Хозяин” — это был мой подарок жене, мой ответ на ту жертву, которую принесла мне она. Ведь когда мы куда-то выходили вместе, она была вся напря-жена и насторо-жена, а глаза ее, блуждавшие по моему лицу или около, были как у андерсеновской собаки, стерегущей клад, — размером с большие блюдца. Но вот, родился сын, и я тоже стал достаточно сильным, чтобы подарить ей самоотречение — все, что у меня было.

Когда мы никуда не выходили... то есть я никуда не выходил, ибо семья была единственным прибежищем, могущим противостоять абсурду мира... я спокойно предавался домашним делам, я служил семье ... гм, семь лет, которые показались мне за семь минут: я и моргнуть не успел, как мир стал единственным прибежищем, могущим противостоять абсурду семьи.

Что такое дом для деятельного человека? — Гавань, куда возвращаешься из шумных битв, чтобы поесть, поспать... Ну, поиграть немного со своим пацаном, немного прижать его — для воспитания: чтобы знал, с кем дело имеет... И отправиться дальше.

Не таков «хозяин». Его дом — его кафедра добродетели. Здоровый сон и сытный стол он обретает только в том случае, если ничего не требует от жены, уступает ей во всем и все пустяки, из которых состоит семейная жизнь, минует без ссор, скандалов и отстаивания своих прав. Если права есть, он просто пользуется ими, а не болтает впустую, он служит жене, как пес, которого, если он служит хорошо, иногда и ласкают.

Жена моя неустанно трудилась над прекрасными и веселыми куклами, а вечером ее встречал готовым ужином муж-каменная-стена, днем порабатывавший над своей диссертацией. Идиллия? Но мы так жили!

Нерыцарским было мое детство, нерыцарской стала и женитьба. Я кормил с ложки, стирал, баюкал плачущих младенцев. Возвращался из магазинов (особенно по субботам: список необходимого занимал две страницы) и добрый час разгружался на кухне, как танкер, отгоняя от сумок детей и собак... Или это было новое рыцарство, в которое я пытался поверить?

Я любил раннее детство своих детей, любил гулять с ними. Вокруг ад, пошлость и подлость, ценности падают, а мы, как ни в чем не бывало, рисуем на асфальте цветными мелками и читаем добрые книжки. «Ученые сказки» вытвердили наизусть и перебрасывались цитатами, которые нынешним Сократам заменяют цикуту. Не понимая, сын повторял, размахивая палкой: «Мне хочется во времена Шекспира, где все решали шпага и рапира...» Я блаженствовал, когда он, как кролик, хрустел на диване морковкой, которую принес я. Которой, если бы не я, у него бы не было. А когда летом, на даче относил в песочницу его ведро и хотел бросить

его, как пустышку, вдруг открывался еще один глаз, и я видел это ведро глазами сына: оно принадлежало *его* миру, значит, требовало уважения и защиты. Я аккуратно ставил его, как хрустальный башмачок; мне невмogu было даже просто слышать детский плач где-нибудь по соседству, не то что вообразить такое в своем доме.

Я верил, что злоба суетного мира отойдет за темноту, когда передо мной, в мягком свете торшера, лопоча по-небесному, уложит спать кукол веселое дитя в байковом платьице (еще через год родилась девочка, которую, конечно, назвали бы Ксюшей, если бы в семьях *отцы* называли детей, если бы для этого не было более компетентной инстанции...), с васьилками в искрящихся волосах. И счастье тихое дышать и жить — нет, не будет мне даровано (думать так — вреднейшая иллюзия!), но хотя бы коснется меня своим широким крылом на его воздушных путях.

Когда болеют дети или жена, человек теряет рассудок. Но «хозяин» рассудка не теряет. Он переполняется чувством величия происходящего. И умножившиеся домашние дела совершает как-то особенно весомо, серьезно и торжественно. Они ему кажутся какими-то нетленными, эти его дела.

Законны тонкие его наслаждения, наслаждения природным существованием. Наверное, я опоздал родиться на десяток тысяч лет: хорошо было бы свалить возле очага тушу оленя и потом неделю отдыхать в пещере, гулять по склонам гор, купаться в реке. Библиотек и музеев нет, ничто не изобретено, не давит на тщеславие, не зовет в ночь.

Мне нравилось, что я — «хозяин», нравилось класть жизнь на них. Но нравилось не потому ли, что получилось все отнюдь не случайно: *я так решил*, выбрал себе стезю на семь лет?.. Жизнь для другого — такая мысль не может возникнуть сама собой достаточно рано. Она приходит, чтобы потеснить или даже вытеснить первоначальную, более естественную задачу — самоусовершенствование, жизнь для себя и в себе самом. Эта новая мысль означает ли слабость, неспособность к развитию того, что наметил в юности? И не будет ли она тоже вытеснена?

Жили мы с Дашей душа в душу, мне было хорошо с ней. Но век разума не долог, в нем уже зародился абсурд. Как ни тесно было пространство в доме, бес все ж отыскал, где поселиться в нем. Я понял это, когда в первый раз повысил на Дашу голос. (Или она повысила?..) Голос был хриплый и совсем чужой — бес еще плохо укоренился и опасался, что мы сразу же начнем изгонять его... В изумлении уставились мы друг на друга, а потом лихорадочно обыскали квартиру. Все было напрасно: он уже начал расширять свою территорию — хотел разъединить нас, чтобы кто-то один ушел, ему бы тогда стало вольготнее.

Жестокие вещи устраивал нам реализм. День-два могли проходить спокойно, но, как мы ни силились извести вирус семейственных беспоряд-

ков, на третий день все уже бывало забыто и начинался бессмысленный, бездарный лепет, бездушный выговор обвинительных речей. Казалось бы, причина большинства размолвок в том, что в первую секунду два человека подумали о разном. Но даже если это сразу и выяснялось, нам уже не хотелось корректироваться, признавать, что никто никого не хотел обидеть. Нет: хотел и обидел. Мы уже были не те миротворцы. Затевая некое совместное предприятие, мы готовы были пожертвовать его успехом, только бы переругаться между собой и высказаться вполне.

Да, теория семьи на чей-то подслеповатый взгляд может показаться конечной теорией. Вроде механики Ньютона. Но бес уж позаботится доставить и “фактики”, о которые эта теория разобьется. Ведь сагана не долго ждет реванша, придет Эйнштейн, и станет все, как раньше.

Я заметил, что после рождения детей — когда им было лет 5-7 уже — Даша с каким-то сожалением стала провожать глазами каждый кусок, который я отправлял себе в рот. Сокрушалась, что не успела припрятать, чтобы потом дать детям. То, что ел я, ей казалось потраченным напрасно, зря. (Или я замечал это потому, что до их рождения сам был ребенком, для которого она прикапывала самое вкусное?)

Еще труднее было понять странные, отчужденные слова там, где еще вчера все было ясно как бы само собой. Я так и не разгадал тайну *переходов*, которыми виртуозно владела Даша: становилась мелочной и капризной минут этак через пять после нежных поцелуев — и наоборот: весь день была холодной-равнодушной, жестокой, цедя слова ледяным тоном, а вечером опять замирала, постанывая в объятиях, которые я послушно ей предоставлял.

То, что никто из нас не виноват, было ясно сразу. Хотя бы потому, что мы *по очереди* попадали в одни и те же силки. Сколько было глупой надежды в тех белых лилиях, которые я ей как-то купил. Вышел среди дня по делам, а она вдруг раньше обычного вернулась домой. И вот, целый час ждала, готовила упреки — оказывается я “должен был” сидеть на месте и ждать! — но вместо этого нелепо, как жених, заявился с цветочками... Но в другой раз уже я убежал с работы, потому что она в этот день осталась дома. И летел к ней с единым желанием — быстрее ее увидеть. А она именно в эту минуту отлучилась в тот же магазин или сидела на телефоне (подруга детства позвонила), так что я два часа ходил кругами, стараясь не расплескать остатки нежности.

Теперь-то я понимаю, что нельзя сетовать на телефонные разговоры жены. Ведь ей, конечно, звонили нуждавшиеся в совете, поддержке, может быть, немедленной помощи. Звонили те несчастные, что не могли уже в одиночку *сопротивляться злодеям*.

Определяющим состоянием нашей совместной жизни сделался столбняк: когда мы не умели выдать из себя больше двух-трех слов: “Что с тобой?” — “Ничего...” И молчание. Весь вечер. Каждый занят своим, до

другого нет дела. И спать тоже ложились молча. Ложились в постель, как в гроб...

Впрочем, это только поначалу мы оба были не виноваты, как все новорожденные. Потом каждый из нас стал бороться с бесом собственным способом. И тут мы уже сделались врагами навсегда. А бес... бес, как я понимаю, был *отозван*. Надо же было разваливать и другие семьи; наша-то теперь — сама развалится.

Даша рассказывала мне, что она — заложница своего детства: как играла тогда в куклы, так и потом не смогла перестать. Что ж, очень верю. Но важнее все-таки другое. А именно: отец и церковь. Пусть и отец — земной, а не небесный, и церковь — только по виду, а внутри начинка иная, но форма! Ей было приятно, что можно, слушаясь отца, постепенно привыкать к храму, как к родному дому. Что же касается кукол — ну, пусть пока будут куклы. Не вечно же это. Когда-нибудь дом сей снова наречется домом молитвы, и она будет в нем. А пока молитвы ее иные, кукольные.

Трудилась она непрестанно, не зная ни отдыха, ни развлечений, как истинная пчелка божия. Не только на работе. Все сирые и обездоленные, где бы то ни было, подлежали ее опеке. Когда ей говорили, что где-то есть человек, нуждающийся в помощи, она прямо облизывалась. На улице бездомные псы пристраивались к ней, чтобы вместе перейти дорогу, а те, что половчее, догадывались, какая удача им выпала, и провожали Дашу до подъезда: авось пригласят на чай? В квартире уже жили четыре собаки, которых в разное время он принесла на руках. Причем одного цуцика выловила из какого-то пруда с камнем на шее: маленькое лохматое существо, естественно, назвали Чебурашкой. Каждый из этих найденшей имел свою оливертвистовскую историю... В яслях и детских садах Дашу сразу же брали на заметку и она без конца (ночами, главным образом) чинила порванных маленькими вандалами мишек, лошадок, зайчиков, а то и новых делала, шила и тачала, как добрая мануфактура при женском монастыре. Целый зверинец, я думаю, произвела, пока наши дети росли.

Ее дела милосердия были столь многочисленны, что она не могла дважды обращать свой взор на одного мученика, дважды спасти его. И скука нашей истории в том, что мы махнули друг на друга рукой не одновременно. Она меня опередила, прочла свою роль раньше. Женщины ведь развиваются быстрее — им это необходимо. Они в ответе за муравейник... А Даша считала себя ответственной за весь всемирный муравейник. Правда, минус я. Я должен был понять, что “им” она нужнее, чем мне. Со мною она всегда, а они в беде, они — бедные, тогда как я — сильный и умный. И она расточала свое милосердие миру. А мне оно было ни к чему.

Ей было недостаточно всех остальных видов “нужности”: если вы “просто” преклоняетесь перед ее мастерством, она остается почти равнодушна к хвалу. Она должна быть *последним человеком*, соломинкой, за

которую хватается утопающий, — вот тогда люди ей интересны, она даже готова признать их существование. А благополучные для нее не в счет.

Но милосердие — вид агрессии, ведь это — борьба со злом. Так и должно его понимать. Особенно в случае Даши, в которой нет ни клочка мягкости и вялости. Свои мнения она высказывает таким тоном убежденности и непререкаемости, как будто через нее вещает некий пророк.

Перестав быть объектом милосердия и сострадания, я сразу же сделался объектом агрессии. Стал жертвой образа (т. е. куклы), который она из меня сотворила, — вместо меня. За любое отклонение, “измену” этому образу я подлежал уничтожающей критике и последующему наказанию. Молчанием...

Впрочем, не логично ли, что человек, принявший на себя роль “домашнего хозяина”, человек частный и ручной, как спаниель, что он становится в конце концов просто вещью, тюфяком или шкафом, и никакого уважения к нему нечего и ждать?

Она с самого детства как-то очень тяжело засыпала. Может быть, пришлось пережить и страшные ночные сцены, какие-нибудь поздние возвращения пьяного отца или соседей по “обормотнику”, и крыс, конечно, приходилось встречать в темных коридорах и общей кухне. С годами у нее вылепилась мечта: чтобы, ложась спать (потому что надо же иногда спать и сестре милосердия), можно было бы к кому-то прижаться и ничего не бояться. К кому-то безусловно надежному, сильному... И вот я, молодой муж, стал чувствовать себя защитником — той, которая спасла меня.

Но ведь о тюфяке вспоминают только перед сном, в течение дня он не нужен. И, кроме того, лучше, чтобы он лежал спокойно и рук не протягивал... Или, может быть, я вождедел к ней по пяти раз на день?

Вовсе нет. Наоборот. Моя женитьба и любовь к Даше не была чувственность. Это был “роман с человеком”. Я не видел в Даше “женщину” — и только. А женился. Хорошо было разговаривать с ней в темноте церковной, в ее каморке Джеппетто, пока она возилась со своими гномами.

Каюсь, не знал я сжигающей похоти к ней. Ничего такого. Или чтобы голова кружилась. Нет-нет, никакой “животной страсти”. — До того момента, когда между нами разгорелась вражда и понадобилось утверждать свою власть над бесом, затеявшим нас разлучить. Тут и проснулся вкус к постельным занятиям. А у Даши, видимо, в точности наоборот. Но наша.. эта самая жизнь с первых дней складывалась как-то на редкость благополучно. Правда, я не уверен, что мы оба видели в ней нечто большее, чем непрменный ритуал. Во всяком случае, нас не тянуло на эксперименты. Но лишь только я усомнился во всем, разрушению подверглось и это благополучие. Мы просто перестали понимать друг друга. Когда я однажды, с лучшими намерениями, потянулся к ней, она вдруг отпрянула, как от гада, и взвизгнула: “Не трогай меня, я хочу спать!” А я всего-то собирался рас-

спросить ее, как прошла премьера (комедия “Доктор Фауст, или Великий некромант”).

В ту ночь я безоговорочно оправдал ее: конечно, у нее любовь к “ба-ловству” и должна была пойти на убыль, она и начала раньше, и вообще — женщины быстрее развиваются, как я люблю повторять. ... Да, я оправдал ее, но какой-то сосудик лопнул в душе, и она стала так быстро наполняться горечью, что потом уже доказательства того, что “жена есть жена”, нанизывались одно на другое.

Жизнь хозяина предельно проста. Свершив установленный цикл, приготовить ужин и, накормив всех, ждать жену часам к 8 вечера. (Собаки — не моя вотчина. Собак я раз навсегда положил не касаться. Это — ее дело. То есть задать им корма — пожалуйста, но выгуливать всю упряжку в два приема — благодарю покорно. Так было условлено с первой же собаки). Но жена может заявиться и в 22.30, потому что дни ее длинны, как сибирские реки, и вы не станете пенять ей, что кто-то волнуется, что кого-то можно было и предупредить. Она ведь не на гулянке была, она работала. Лучше бы вы позаботились о том, чтобы избавить ее от тяжелого труда, чем совали в лицо свои жалкие треволнения. Ничего, подождешь — в тепле и уюте, — не развалишься...

Хозяин не знает депрессии, настроение у него всегда прекрасное. Он может и один посидеть. Он перенял все атрибуты зависимого члена семьи — для ее же блага — но не учел, что жена, добычица и движущая сила, не может позволить себе приласкаться (просто так) к человеку, к мужу, который вообще нуль.

Я был спокоен и умел уверить себя, что воля жены не довлеет над моей волей. Я знал все ее желания и умел упреждать их, они никогда не заставляли меня врасплох. Но после нескольких реприз вроде “Не тронь меня!” я решил, что мое несанкционированное телесное влечение к Даше есть лишь тень более сильного влечения — к *другим* женщинам, которое я, в силу своей “порядочности”, желаю удовлетворить “при помощи” законной жены. А она это видит и презирает меня. Мне стало стыдно плотского чувства к жене, я устыдился “священного движения, приводящего к зачатию” (два раза уже приводившего). Отчего? Не оттого ли, что начал усматривать в этом вульгарность вкуса?.. Устыдился, потому что не должно вождельть человека, он же не кусок пирога. — Только “сестра милосердия” совсем не человек; лишь безоговорочная преданность *семье* может сделать женщину человеком, — как я тогда формулировал. И ведь что обидно: она живет *по правилам*. Если в календаре сказано, что можно совокупляться, она становится вакханкой, каких поискать! Неужели буква тухлого талмуда воспламеняет ее больше, чем я?

Я понимал свою жизнь с Дашей как совместное несение креста. Меня вполне устраивало мое положение в мире, за которое платили деньги

(хоть и не “бешеные”, но — платили же...) От мира я большего и не требовал. Я больше требовал от себя. И когда мы стали удаляться друг от друга, потому что крест осточертел и прогнил, да и сблизиться было уже некуда, — вот об этом и речь.

Так повелось у нас, что низкую работу в доме делал я, бездарный лежебок, а не утонченное, талантливое и трудолюбивое создание. Никто не оспаривал этого разделения. Но беда, что люди, выполняющие низкую работу, не бывают веселыми и добрыми, они упрямы и злы, они скучны, завистливы и сумасбродны в своих суевериях. Я оказался годен лишь на то, чтобы служить подкладкой для их, жены и детей, полноценных жизней. Я поседел, ожидая вечерами жену, как обычно жены ждут мужей из больших битв. И мой организм, как желчь, выделил неизбежную мысль о том, что нет у меня иных врагов, чем бог весть откуда понабранные моральные принципы. Мораль отвернулась от меня. Она была совершенно неубедительной и пальцем не шевельнула для того, чтобы привлечь меня на свою сторону. Я ни в коем случае не хотел принижать мои домашние обязанности и старался ограничивать мирскую работу в пользу заботы о жене и детях, так что начальник поминутно спрашивал: “А чем у тебя жена занимается? Жена должна с ребенком сидеть...” (Когда дети болели, больничный брал я — мне ведь платили меньше.) Это похвально, наверное, но, когда ты таскал вокруг меня свои игрушки или спал, дыша ровно, как голубь, в колыбельке лубяной, я ни с того, ни с сего мог подумать: разве можно допустить, чтобы выросший сын прочитал на моем лице: “Я тебя нянчил, поэтому ни денег не нажил, ни ума не набрался?”

Нет ничего печальнее истории студента, чей познавательный эрос с годами извращается в благочестие примерного семьянина. Хотя предельной точкой может стать что угодно, даже коллекционирование пуговиц, а не только такое заведомо безнадежное (для кого-то) дело, как попытка быть, как все, быть “хорошим”. Кое-кому лучше быть плохим, невнимательным, не покупать цветов, не упреждать ничьих желаний, а иметь свои, и не откладывать ужин до прихода жены.

Кому? Тому, кто хочет, чтобы все его жертвы были непременно замечены, и потому тотчас обесценивает все, что делает... Свою жизнь я определил бы словами: “тоска по нечеловеческому усилию”. Но направление, конечно, опять было выбрано не то. Кто же позволил бы мне провести сие усилие? Если я по-старинке усаживался за письменный стол, чтобы поразмыслить над чем-то несделанным ни в одной части земного шара, Даша беспокоилась о моем здоровье, она не могла позволить мне “напрягаться”. Если я в полночь не ложился спать, она выходила с воспаленными глазами и стояла в дверях до тех пор, пока я не гасил свет и не шел с ней. А если я “хотел поговорить”, хотел быть интересен хотя бы своей жене, если мне нужно было, чтобы она жила моими мыслями, а не только *плодами* их

(побочными, к тому же, выражавшимися в презренном металле), то убеждался, что человека, которому было бы важно знать, о чем я думаю, уже нет. Но мне был нужен такой человек!

Разговор невесом и нематериален. Хотя и иллюзорен. Но лучшего приближения к истине я не знал. К истине и вечности. Разговор не заменишь книгами, нотами или молитвой. Только он может поспеть за изменчивостью моих мыслей. Они должны выходить, а не накапливаться в отстойнике.

Разговоры, ночные университетские разговоры, которым я предавался с редкими знакомцами, ценившими “родство душ” и особенно “одиночество вдвоем” (легко было просидеть до зари, перебрасываясь стихами и воспоминаниями, почему-то не сомневаясь, что если можешь говорить три часа кряду, значит, ты еще не пустой человек) — эти разговоры, которые я потом скопом объявил недействительными, они опалили-таки меня. Не знал я ничего выше их и их одних искал. Я ждал их хотя бы от той, которая для них и спасла меня от самого себя. Когда Даша звонила мне с работы — в этом было что-то мистическое (пардон). По телефону мы вообще разговариваем больше, чем так... Этот звонок (во время которого она добавляла новые поручения) выражал тот факт, что до меня можно дозвониться, что я могу ее услышать, что разговор между нами *возможен*. И какая разница, в чем он состоит!

Винил ли я Дашу, что она изменила самой себе и больше не хотела быть тем единственным человеком? — Станный вопрос. Хотя и тогда я понимал, что это смешно. Игра в семью началась у нас с разных точек, и у нее была фора: не подлежало сомнению, что я — нуль перед ней, и она снизошла до пигмея. А это не очень удобно человеку, который есть сосуд амбиций. И сосуд сей скудельный пустоты не терпит.

Ужасная, но и элементарная это трагедия, господа: всегда хотеть говорить с ней и не уметь подыскать момента. Днем, конечно, работа. Вечером — или с детьми нужно возиться, или телефон, или “поздно”; одним словом, некогда. И ведь никаких лазеек вы не найдете, господа, бесполезно!.. А если в иную глупую минуту, подражая малым сим, попросишь ее поговорить со мной: “У меня ведь никого нет, кроме тебя...” — она вздохнет: “Да, ты человек без отдачи.” (Потому что все отдал? — мелькнет у меня...)

У господина де Мольера была кухарка, которой он читал свои новые пьесы. А “мой брат жена” не хотела слушать даже того, что я пытался рассказать ей о нас же самих. Конечно, и я не кладезь новоявленной мудрости, и она отнюдь не кухарка. Муж ей просто неинтересен. Где уж, куда уж... Да, он ставит семью во главу угла, но все же неугоден. Или потому и неугоден? Его можно назвать мужем, но человеком — нет. Она наизусть знает, что он скажет. Хотя он и важен как отец детей: все же какой-ника-

кой, а статус. Статусы же очень женщины уважают... И меня, мученика науки и музыки, хладнокровно игнорировала погруженная в творчество жена, как только творцы умеют презирать непосвященных: “Прочь подите!” Это мне и оставалось — кроме рычания в углу.

Уяснив, что ничего общего, кроме постели (и продуктов ее, детей), в которой к тому же частенько бывал кто-то один, а другой отсутствовал, предаваясь более важным делам, у нас нет, я попытался успокоить себя тем, что так было всегда, с самого начала... Ведь даже когда нам еще удавалось (и нужно было) поговорить, когда я сживал у нее в каморке, а она, как обычно, что-то подкрашивала и подшивала, самая невинная моя реплика могла ее возмутить, она делала трагическое лицо и говорила: “Ты меня пугаешь. Я думаю: есть ли для тебя вообще что-нибудь серьезное?”

И действительно: всякий раз, что я шутил, она задумывалась и мрачнела, а если, воодушевляясь, говорил всерьез (происходящее со мной всегда виделось мне с гамлетовской остротой), — весело улыбалась и махала ручкой: горазд же баловник врать. Я тоже мог бы спросить ее: а есть ли что-то, равно серьезное для нас обоих?

Конечно, не было. И ни к чему искать причины и корни. Отталкивание меня — под видом ласк — началось с первых дней. Женщина всегда ненавидит того, кто обладает ею, — как раб ненавидит хозяина. “Он взял меня, как он посмел?”

Некоторые счастливицы приходят в мир, чтобы сообщить: “When I woke up I had an erection,”* — и мир ничего, слушает, печатает, награждает премиями и переводит на разные языки! А мне устало говорили: “Давай спать”, когда я упрашивал свою лучшую половину, умолял выслушать — иные признания... Но она была права, опасаясь неаппетитных обитателей моего подсознания, которые вырвались бы наружу, если бы она позволила мне распухнуть соплями у нее на груди. Спасибо, милая!

XI

И все-таки: кто рассказал о семейной жизни так, чтобы захотелось жениться? — Но почему об этом вообще нужно рассказывать? О пьянстве не пишут книг, но люди пьют. Семейная жизнь, как и пьянство, не должна быть предметом литературы, или — только медицинской. Потому что нельзя рассказать о своей жене так, чтобы никто не женился. Твое поражение — это только твое поражение. А другие надеются победить. Они же не такие, как ты. Они вступают в брак не поневоле... “Сами” вступают? Конечно. Как и я. Но если вдруг захочется повременить, на тебя разве не обрушат град палочных ударов? Поэтому лучше — сами...

Разве на заре нашей угрюмой истории не создавал я, до какой степени искусственно втянута Даша в мой мир? Но столь же ясно было и то, что

* When I woke up I had an erection — Когда я проснулся, у меня была эрекция.

мы должны быть вместе. Никто другой не доставит нам такое питание. Мы знаем это, хотя и делаем вид, что надоели друг другу до смерти. И ничего нет странного в том, что лет через 7 после женитьбы Даша утратила свое имя, всегда и везде я называл ее словом “жена”, а наедине — наедине никакой необходимости звать ее хоть как-то не возникало. Да и не бывали мы почти наедине-то...

Я не мог заставить себя звать ее по имени, потому что она не была для меня чем-то внешним, имеющим какое-то объективное наименование. Она была продолжением меня самого, и как называть ее — это был вопрос минуты и настроения. Какое уж тут имя? Зачем? Ведь самых близких, родных людей не зовут по имени: мать, отец — у них и нет имен. Какие-то эзотерические должны быть звуки, которые нельзя подделать... Но она звала меня по имени легко и часто — особенно, если сердилась; ничто так не резало мне слух, как это требовательное: “Марк!”, отражавшееся от родных стен. Я не всегда понимал, меня она зовет или кого-то из псов...

Мне стало нравиться иронизировать над семейными ценностями; мне казалось, что люди, которые расхваливают своих жен и мужей, делают это ради того, чтобы скрыть свои прегрешения; понятие «счастливая семья» казалось верхом неприличия. Я знал, что самодовольство любой такой семьи разрушает простой вопрос: готовы ли вы, примерные супруги, всегда предпочитать общество своего избранника *любому* другому обществу? И если нет (что очевидно), то незачем и жить вместе (как говорилось в страшной книге по тому же поводу).

Счастливые супруги похожи друг на друга — как хозяин и старая собака. А несчастливый супруг ревностно бережет каждую черточку, отличающую его от постылого искусственного спутника его жизни. Но иногда готов пренебречь этим, чтобы хоть на час снова почувствовать себя счастливым.

Нельзя сказать, что я не создан для семейной жизни. Помню, когда, сняв обручальное кольцо, чтобы постирать пеленки, я потом в страхе замечал, что забыл вернуть его на место и уже несколько часов живу без него. А вдруг тем временем с Дашей что-то случилось? *Тем* временем, на которое я вынужденно расторг наш союз?.. Быстро нахлобучивал его на палец, не жалея топорщившейся кожи.

Да, жена есть жена. То есть единственный человек, которого тебе дано узнать лучше, чем самого себя, познать целиком. Познать величайшие его стороны — и ничтожнейшие его стороны. Прекраснейшие черты — и самые отталкивающие черты. Себя так не узнаешь — себя только ощущаешь, а оценить не можешь.

Поэтому и больно было вначале, одинаково больно, когда неправа была она и когда заблуждался я. А потом — одинаково все равно.

Эволюция от периода, когда мы с Дашей шептались при посторонних, вместе ходили за хлебом и вообще с трудом расставались даже на ми-

нута, к состоянию нежелания поддакивать вздорным суждениям своего дополнения: “Врет баба,” — можно почти всегда прочесть в моем сухом взгляде; “Еще объяснять тебе,” — хлопнув дверью, отрежет Даша... — эта эволюция меня не занимает. На нее ушло десять лет жизни, но дети успели родиться и опериться, а это важно. Подспудная формула: «с женою жить — по-бабьи выть» на них не сказалась.

Семейная жизнь представляется мне, как бег с барьерами. Психологический барьер, физиологический барьер, барьер интеллектуальный... Я все их взял. Оставался барьер гордыни и честолюбия, который слишком высоко вознесся над чахоточной жизнью...

Первый соперник мой, как главы семьи, был сер и речист, но я сам сдал ему свои позиции, без борьбы. Я своими руками внес в дом телевизор, потому что этого хотели все. Да и ... что за семья без телевизора? Ведь если бы не он, то нам, отпрыскам супружества, пожалуй, удалось бы сплотить домочадцев вокруг себя! А так — сижу один и мечтаю: только бы кто-нибудь вошел в комнату и заговорил со мной... Нет, вся родная троица собралась у телевизора — истинного главы семейства нашего.

А вторым соперником-властелином, забравшим у меня Дашу, были деньги, наваждение моего детства... Если женщина зарабатывает больше мужчины, она либо презирает его молча, либо начинает бушевать, чтобы он не сибаритствовал в блаженном неведении своего ничтожества. Мужчина, которого она любит, должен того заслуживать!

Ее мужчина зарабатывал мало, а в том, что денег не касалось, тоже почти не проявлял себя. Его ученые занятия были ей непонятны, но она, конечно, уважала бы их именно за непонятность — если бы они приносили побольше денег.

Что нас соединило? — Кажется, нам с ней всегда было о чем поговорить. И о чем же? Это не столь важно. Но разговор тек *сам*, я не должен был подавать первую ноту для каждого такта. Тогда телевизор еще не вторгся в мой мир, и от работы Даше не надо было отрываться: я приходил к ней сам. Это «хозяину» некогда тащиться через весь город, да и ей больше не нужно выходить замуж, дело сделано. Можно и без разговоров.

Мы изменились за 10 лет? — Еще бы. Но, вернувшись с работы (какой-никакой), я все же не шел к телевизору, не хотел нажатием кнопки впускать шумного беса, уводящего от того, что ты есть. Я почему-то никак не мог забыть, что, выйдя из роддома, она первым делом перечитала “Степь”... Нет, я не жил книгами, но, говоря о книгах, только и можно рассказать что-то и о себе.

Разумеется, Даша не питает пристрастие к сериалам для горничных и старых дев. Образование у нее нешуточное! Но если герой книги отказывается врать и воспевать “порядок”, она плюнет на эту книгу. Ей нравится, если все подоткнуто и подобрано, как одеяло у паралитика.

Злой мудрец предупреждал: ты не сможешь до самой смерти беседовать с этой женщиной! Но я бы смог, я только ради этого и женился! А мудрец, сам не раз пытавшийся влезть в хомут, не знал, что изобретут телевизор, который кому-то заменит исповедь, и беседа уйдет внутрь, чтобы оттуда со временем и взорвать мир семьи. Не знал и того, что человеку-творцу не нужно от человека-мужа ничего, кроме денег. Впрочем, я был готов к вступлению в эпоху климакса — как морального, так и физического. Я уже старался ложиться к жене чистым, не оскверненным похотью, которая была ей так неприятна... И мир установился в семье (казалось мне). Она давала деньги, я — жареную картошку, довольно и этого. Надо радоваться тому, что есть.

Однажды я подумал, что после 30 лет в человеке вообще уменьшается внешняя активность, он почти перестает спорить с людьми, пытаться внушить им верное о себе представление. Он не ждет от них понимания и сочувствия, не спешит приписывать им благочестивых устремлений. Он не молится на дружбу, на любовь; если он что-то для кого-то и делает, то меньше всего рассчитывает на благодарность — просто сделать подчас легче, спокойнее для него, чем не сделать. Его мало заботит, что о нем думают другие, он старается везде, где только возможно, обходиться без них, старается закаменеть в своих привычках, одеться панцирем любимых занятий. Он знает, что этот панцирь не может быть непробиваемым, и если его что-то отвлекает, он не сходит с ума, не рвет и мечет, он терпеливо ждет, когда его оставят в покое. И если терпения у него достанет, он живет.

Я верил в это. Но у меня так было, наверное, как раз до 30 лет. Я постепенно избавлялся от всех нежностей, делавших меня “счастливым мужем”, но на доньшке оставалось еще вдоволь моральных пережитков, чтобы я, во-первых, не бежал из семьи, а во-вторых, надеялся с этими пережитками покончить.

И вдруг случилось чудо, пробудившее меня ото сна. В один дождливый апрельский день кукольный дом, в котором жила Даша, вернули «в лоно» церкви. Под каким лозунгом? — Над ним не задумывались. “Бог поважнее Чебурашек!” — только и ответил красавец кондотьер на сытом буцефале изумленным мастерам перевоплощений.

С раннего утра к той памятной площадке, которую уже два века называли «гжатским уголком», стали стекаться грязевые потоки «верующих», не разбиравших, что расположено в бывшей церкви: артель художников, создававших то, что еще вчера дарило им радость, — или конюшня. «Войско божие» явилось, чтобы предать анафеме творческий труд и вырвать святую обитель из рук неверных. Захватчики крещеные, с мандатом от святейшего патриарха, пришли следом за государственными вандалами,

громившими оазис второе десятилетие. Категория события была та же самая: «Уничтожение с пеной у рта».

Меня поразило не это, не крестовый поход вооруженных казаков, нанятых клиром, против безоружных и безответных. Мне трудно было понять, почему Даша ни словом не осудила акт, разом лишивший ее работы. Я не сомневался, что, с такой легкостью отказавшись от кукол, она все равно останется в церкви на правах какой-нибудь послушницы или приспешницы. Однако этого не произошло. Она поставила на *меня*, и вот, песнь нищеты потянулась с утра до вечера. Раньше я был должен, потому что муж, который мало получает (то есть не все свое время трагит на то, чтобы добыть копейку), уценивается с каждым днем. Теперь же я был должен и на самом деле, смешно было бы отрицать это.

Поначалу я даже воспрянул духом. Еще бы: ведь на меня надеются. Мое значение возросло. Может быть, со мной и говорить начнут?

Не тут-то было. Даша не хотела, чтобы вся моя энергия расходовалась на слова. Она ждала от меня действия — и денег. Пусть упразднится знание и умолкнут языки, но деньги, деньги пребудут вечно, как солнце... Систематический подсчет доходов и расходов язвил мою душу, но я радовался перемене: по крайней мере, стало, как у всех. Да, семейное счастье — дым. Но с этим можно жить. Ведь люди же живут! А у нас теперь все было, как у людей, реальные проблемы! Пусть разговоры о безденежье — единственные полноценные разговоры в семье — и горестное лицо жены и отменяли меня, как такового, допуская замену на кошелек. Но они отменяли не только меня. Они отменяли и ее!.. И было бы странно, если бы я не воспользовался случаем, чтобы отчаяться и бежать. Куда? — В деревню, конечно. В Дунино (не Дуино), близ Электроуглей. Туда, где принимались все важнейшие решения. И, разумеется, весной, в глухую пору любви, ночью, после сцены, пошлость которой я уже не мог вынести.

Не мог? Нет, я знал, что при конструировании моего организма в него вложили исключительную способность отчаиваться, но забыли вложить способность отчаяться до конца. И не хотел я смешков по поводу своей глупой смерти...

Мальчик смотрит, улыбаясь:

Дятел на суку.

А под ним висит, качаясь,

Папа на суку...

Не для того я бежал из города, чтобы тихо повеситься. Я знал, что буду упорствовать, буду жить и дальше. И уехал с одной целью: уничтожить жену в уме своем и тем дать дорогу любви к ней. Думаю, и она уничтожала меня с той же целью. И, как всегда, начала первой, быстрее освоив-

шись. Ведь как только я понял, что я *муж*, у меня развязались руки. Из западни надо было как-то выбираться.

Сидя у печки и дрожа от злости, я сказал себе: “Нет, больше не могу. Чтобы ночью, перед сном, говорить о ваучерах — этого я от нее не ждал. Но это закономерно. Я не ждал этого “по праву памяти”, памяти о вечерах у нее в церкви. Мы же *разговаривали* тогда, а не целовались. А теперь я всегда на последнем месте. Но действовать должен так, как будто я по-прежнему фаворит. И ведь эту женщину я когда-то искал по всему дому, а она еще не была моей женой и жила далеко. Искал не для того же, чтобы говорить о ваучерах.

Я женился — да. Но теперь ей моя любовь не нужна. Для нее это только похоть. Была б на ее месте другая — все было бы точно так же... Честное слово, моя Даша неглупа, но похоть? Похоть легко гасится умеренной, лечебной, так сказать, мастурбацией. Нет, тут другое... Можно ли заниматься этим без любви? Не представляю себе. Гадость. Чую, как воняет из-под юбки грех веселой Лилит. Рукоблудие куда сноснее, чище. Любовь не освящает совокупление, а всего лишь делает его возможным. Однако, по-моему, и в любви *это* — гадость, если ты не отдаешься содроганиям полностью, самозабвенно, не сдаешься во власть животности. А этого не дано мне... Надо бы до костей обнажить всю эту паршивую семейную ложь. “Терния и муки семьи”. Не оставить камня на камне. Никаких обвинений — только факты. Хотя факты — упрямая вещь (сказал осел). Ведь подавать их буду я, *altera pars** слова не получит.

Похоть? Плевать на нее. Мне с ней *говорить* нельзя. Сколько слов в течение месяца мы дарим друг другу? Тридцать, сорок? Полное размежевание, со своими независимыми сферами интересов, кругами знакомых и прочими геометрическими фигурами. Каждый возглавляет свою часть королевства. Обескровленного и обреченного.

Разговоры с женой? Мало *просто* разговоров. Говорить о том, что приготовить на обед, сколько колбасы купить — это еще не все, нет-нет, не все. Говорить ли об отвлеченном — вот в чем штука. Рассказывать ли истории, вести ли просвещенные беседы, не обывательские... Ведь мы оба готовы вести их с первым встречным. Только не друг с другом.

Что же мне остается? Мечтать о женщине, в которой “милосердию” и “чувству долга” не удалось убить интереса к краскам и звукам, с которой можно посидеть на полуразрушенной оgrade еврейского кладбища, отгораживаясь от солнца ладонями, и говорить, говорить? Необязательно каждый день. Хоть иногда, как с Симоном...

Нет, каково? Я заикнулся о любви, а она перевела все на ваучеры! Неужто кроме денег и нет ничего на уме? Все только средство для прекрасных денег?

* *altera pars* — другая сторона

Вот ведь какая незадача с мужем: говорить хочет! А сам муж? — Как бы хорошо мне ни было в эти годы, я не испытывал желания более сильно, чем желания развестись. (Не часто, конечно, может быть, и очень редко... Но не хватало еще, чтобы это было часто: разве можно было бы так прожить больше десяти лет?.. Но и ты, счастливец. Опустив руки и голову, ответь: не так ли и у тебя?..) А потом опять становилось “все равно”.

Сколько ни думай, факт остается: дурак, и женился глупо. Но бес тоже хорошо поработал. У нашего брата, дурака, бесу всегда хорошо все удается. “Надо же, она куколок делает, за мной ухаживает — женись, женись, женись.” И женился, детей родил. К тому же “честный”, так что и развестись не посмеешь, и бабу не заведешь, — куда тебе!

Глупо женился, глупо, глупо. Повторяй еще — может, запомнишь по-лучше. Глупо, глупо женился. Дурак, дурак! А то завтра же все забудешь, опять станешь цветочки, мороженое покупать, ждать ее к вечеру, а она — вдруг? — соизволит и поговорит, и поцелует первая, и будет нежна, нежна. И ты не скажешь ей того, что сегодня думал. Потому что ничего не изменится. Незачем расчесывать милый хороший нарыв, который всегда под сердцем. Привыкаю к нему и немного борюсь: жить-то хочется.

Когда-то я сильно любил это дело: в мае-июне засидеться допоздна, а потом дожидаться рассвета. Небо до конца не темнеет... и вот, ждешь, ждешь рассвета, как новую жизнь.”

Скучную историю моего пробуждения я изложил бы так. Представь себе, что сидишь в тюрьме, в одиночной камере. Год, два, пять, десять. За стеной — женщина. Ты перестукиваешься с ней, между вами устанавливается общение на особом языке. Ты боготворишь ее, никого нет роднее. Наконец, тебе предоставляется возможность... увидеть ее. И что же? Ты разочарован: столь разительно отличие вымысла, который ты нарисовал себе, от реального человека.

Но ведь я же не сидел в тюрьме, и человек был передо мной!.. Быть-то он был, но я не видел его, не видел, с кем живу. Потому что жил по рецепту, по закону, который себе вменил. А отказавшись от него, узрел иное. Шоры упали с глаз. И что я увидел? Что мы, как два паровоза, несемся навстречу друг другу по одному пути? — Нет, вначале казалось, что совсем наоборот.

Мне не к лицу мистические склонности, но иначе я объяснить не могу. Я чувствую, что между мной и Дашей разверзается бездна, глубину которой ничем не измерить. Я нахожу неспешную беседу с ней столь же невозможной, как разговор с мумией. Мы говорим на разных языках, а чужим наречием владеем едва-едва: можем разве что заказать еду, потолковать о погоде. Хотите знать, как мы обычно ужинаем? Очень просто: я на кухне, она — в комнате, перед телевизором. Действительно: о чем говорить с же-

ной вечером, после трудов праведных? Да и есть ли у меня жена? Нет, это у телевизора есть жена, а я бобыль, как и раньше. Наши речи и на два шага не слышны; спасибо дверному проему — разговариваем, по крайней мере, в дверях, второпях. Но мы когда-нибудь поговорим и спокойно, никуда не спеша. Правда, для этого один из нас должен оказаться на смертном одре, но ведь это произойдет!..

“Будь женщиной только в постели,” — наставлял молодую поэтессу один закоренелый старый холостяк. Но решение ли это вопроса? Даша и была женщиной только в постели, в остальном она была человеком, которому прежде всего необходимы деньги. А деньги — прекрасно разработанный плацдарм, с которого жены ведут по семейному счастью прицельный огонь. “Деньги давай, давай деньги,” — бормочут они, как сомнамбулы. И я даю деньги, да. Когда начались «финансовые трудности», я немедленно запродаю свой коллекционный двугривенный, и это стало началом новой эпохи.

Чтобы вернуть назад свою женщину, я задумался о драгоценном металле всерьез и, перейдя, с помощью старых связей матери, в некое самодостаточное управление, быстро научился добывать его! Конечно, на этом стоило бы задержаться: известно, какой ценой покупается эта быстрота. Но не сейчас... Важно, что жена перестала быть мне нужной. Потому что “за деньги” можно получить и помоложе, и попроще. Таковую, к которой приблизишься без барьеров. Деньги принуждают пускаться на авантюры, а не послушно нести их к потухшему алтарю “законной” любви.

Увы, *monsieur*, женщина нужна мне не только в постели. Когда я прихожу домой, то на минуту замираю в коридоре и жду, что жена выйдет ко мне. Жду? Значит, все же люблю?.. Но это так, фантазия. Давно уже она не выходит. (А если я толкну то, что было когда-то «дверью в стене», то не она выпорхнет из своей каморки — памятный павильон заполнит собой тучный отец Александр, пытающийся одновременно служить богу и Маммоне...) Дочка иногда выглянет из своей комнаты — может, я принес мороженое или чипсы, — а парня дома никогда нет. Жена тоже высунет голову с телефонной трубкой: “Сковородка на плите!” — вот и весь разговор. И пахнет в доме уже никакими не азиями, пахнет псиной и деньгами.

Первым, да, по сути, и единственным открытием было то, что Даша живет не для одного меня. Нет, я понимал это и раньше, если угодно, я знал это еще до знакомства с нею. Иного и быть не может. Но: если человек не живет мною, то и я не живу им. Мало того: человек этот перестает существовать для меня. Несмотря на то, что держит мою фотографию — вместе с фотографиями детей — в своем бумажнике (это, видимо, должно означать: “самое дорогое”, — такое же, как деньги).

Цель ее жизни? — Чтобы друзья, подруги, знакомые наперебой воскликали: “Ах, какая прелесть! Какая замечательная блузка! Какой восхитительный гарнитур! Какие красивые дети!” Но где тут мы, несчастные,

нагие горемыки, бродяги семейного чина? Мы — на кухне, в фартуке, с дурхшлагом в руке; или — в кабаке, в канаве, на дне... Отказав мне в краткой — душеспасительной! — беседе о пустяках, о вечности, о смерти, Даша обрекла меня на неизбежное искание своего смысла. И — прощай, семья.

Моя любовь не сильная и не суровая, она — вне закона и умирает от одного щелчка. Как иначе? Любовь не знает примечаний. Это абсолютизм, попытка состояться — в качестве “человека божьего”, задуманного давно, в те седые времена, когда было много воды и пара, и мало земли. Когда было пусто, и эту пустоту следовало заполнить любовью.

До женитьбы я любил упражняться в силлогизмах, объясняющих, как хорошо быть женатым. Толстой (молодой) и здесь мне помогал. Жениться — это хоть одним боком, но коснуться же любви... А теперь, перечитывая великую книгу, я совсем не любил долгого счастья Левина и Кити (которое какое-то запрограммированное, штатное и слишком законное: он приехал в Москву, потому что ему *пришла пора* жениться; она — девица на выданье, которой, естественно, *надо* замуж... Дикая какие-то категории...), хотя Толстой так многословно его рисует. А недолгое счастье Анны и Вронского я не любил еще больше, потому что он злобно его рисует. Но оно, по крайней мере, действительно счастье, и любовь, которая хоть и длится миг, но поразила их без предупреждения.

И без предупреждения покинула — как покинула и нас с Дашей. Но я все же не хочу отрекаться от своих чувств к ней. Я пытаюсь сохранить семью, то есть не заводить привычек, *систематически* разрушающих бытие моих ближних. Как просто! — Но если у них появляются привычки, разрушающие меня как такового? Мой мозг? И можно ли снова утвердить свое первенство в системе ценностей жены, как было 10 лет назад? Правильно: нужно повторить то, что сделал тогда. То есть повеситься, не мешкая? — как говорил Уэллер-старший. Видимо, я сделал бы и это, если бы не жалость к двум подросткам, которым иногда придется отправляться за город, чтобы положить цветы на ухоженную, но занесенную снегом могилку. Грустно представлять себе сероглазую девушку с непокрытой золотистой головкой и хмурого молодого человека с вечной сигаретой в зубах, поддерживающего сестру под локоток...

Да, дети. Но что такое для меня — дети?

Когда-то, выходя из комнаты, где спал ребенок, я прикрывал скрипучую дверь медленно до ошупи: в темноте не было видно, велика ли щель, и я замедлялся за полметра — только бы не разбудить малыша. Пальцы каменели, пока доводил ручку до конца. А отправляя пацана с бабушкой в дом отдыха, переживал его отсутствие с той же болью в груди, как уход Даши на работу и ничтожную размолвку с нею. Ухмылялся: полноте, могу ли я переживать из-за ребенка? Может ли это не быть позой — хотя бы перед

самим собой? — Могло... Даже потом, когда в ответ на какое-нибудь требование, ее не устраивающее, девчонка наша становилась на четвереньки и отвечала: “Гав-гав-гав!” Теперь же это вообще стало законом: мы с детьми ходим друг за другом, как ротвейлеры, принохиваясь и примериваясь. Я стараюсь не настаивать, не зудеть, голоса не повышать, но чтобы хоть как-то руководить. А они? Они стараются во всем слушаться, не сердить меня, но чтобы тем не менее во всем поступать по-своему.

Мой наследник еще яростно сосал из бутылочки, когда я в первый раз подумал: а что я ему отвечу, когда он спросит: “Папа, ты кто?” — “Обыватель, мой мальчик, жены и детей содержатель?” Но кто же еще, если мне уже нравится, как Ионычу, наживать денежки? Ради жены, детей. Разумеется, в этом нет ничего плохого. Тем более, что иного пути у меня и не было: я не мог уже всерьез относиться к своей интеллектуальной постановке, — даже если кто-то другой и относился к ней всерьез. Мне было легко уйти в тыл, видя, насколько серьезно все для них... Беда только в том, что мужчина, зарабатывающий *достаточно*, не нуждается ни в жене, ни в детях. Он раздувается, как индюк.

Хорошо, что я не успел пасть совсем — опять-таки благодаря Даше. Которая вдруг отбросила свое творческое прошлое и спокойненько ушла в страховые агенты. Деньги потекли рекой: чужие жизни защищать легче, чем свою. Но и я уже тоже “пошел в гору”. Мне нужен человек? — Да. Но семья? Что есть семья? Не враги ли человеку домашние его? Ведь я еще не искал и не хотел семьи, а она уже была у меня. Нужно уйти от нее (хотя бы мысленно), чтобы не потерять окончательно. Даше должно снова стать важно, о чем я думаю, ей должно снова стать интересно говорить со мной — не только о деньгах... Ведь я позорно долго пребывал в том кругу, где “Устами младенца глаголет истина” считалось высшей мудростью. Но подобные откровения — удел домохозяек и нянек, от которых вынужден решительно отмежеваться их морфологический двойник, *homme de ménage*. Я содрогаюсь, представляя себе лица Симона и Змея: что бы они ответили, начни я проповедовать это?

Мое искреннее миротворческое стремление не принесло в семью ничего, кроме дальнейшего раздражения и разделения. Я искал улучшить сам и улучшить домашний свой быт. Семья была единственной формой общения моего с миром. Но в семье завелся кентавр, вместе с которым мы теперь оплакиваем злосчастную судьбу добродетели.

“Ты отошла, и я в пустыне,” — формула весьма неудобная. Зависеть от жены, зависеть от каких-то неподвижных принципов общежития, которые сгоряча взял на себя, — зачем мне это? Только абсолютная независимость от семьи может сделать меня человеком. Я устал от милосердия.

ХИ

В ранние годы у меня над столом всегда висела фотография жены — та, где она держит на коленях маленького, горбатенького Цахеса, свою дипломную работу. Потом, под ударами ссор, я в гневе убирал ее. Чтобы побольнее уколоть... И вешал обратно, когда мне становилось жаль погибающей любви к ней.

Какие еще нужны доказательства? Конечно, их не существует. Любое “доказательство” можно повернуть другой стороной. Кроме того: я не могу говорить много. Даже составляя завещание, я не могу позволить себе копаться в белье семьи.... А свидетельствовать против меня будет любая мелочь. Например, то, что я давно не зову жену по имени. Мало того: я зову ее *по фамилии*. Но почему?

Как-то раз в доме зазвонил телефон и быстрый мужской голос, не здороваясь, попросил “Дашу Муратову”. Я вздрогнул, как вздрагиваешь, когда кто-то озвучит твой внутренний монолог. Действительно: когда-то жена звалась именно так. Я почти забыл об этом, но тут — сразу перенесся в те времена, когда эти два слова значили для меня новый, прекрасный мир. От ее фамилии веяло чем-то родным, что-то безумно знакомое слышалось мне в этих четырех слогах, как будто в них иероглифической тайнописью была выгравирована некая последняя истина, к которой идешь всю жизнь... Я, как котенка за пазухой, унес с собой это знание, открывшееся только мне и никому больше.

Но она сменила фамилию, и где мне было искать эту истину? — Я не мог выдумать ничего лучшего, чем сохранить для себя прежний звук, заветные четыре слога, но теперь мне это легко поставить в вину. «Зачем еврею кот?» — спрашивают те, кто забыл, что имя б-га своего не произносится вслух..

Спору нет: предыдущие записи сделаны человеком, пытавшимся убедить себя в том, во что он никогда не верил, но упрямо надеялся опровергнуть интуицию, доказать то, что доказать нельзя. Оправдываюсь тем, что делал это ради тебя: должен же ты знать, из какого сора родился, на каких дрожжах воспитался... А теперь пора поговорить о том, во что я верил всегда, но, наоборот, никак не решался провозгласить в открытую.

Я по натуре отшельник и мизантроп? — Нет. Но признаю лишь крайние члены пропорции: человек человеку либо бог, либо волк. Середина мне не нужна, даже если она и золотая.

Что заставило меня отвести наконец взгляд от жены: разговор о вauчeрах при попытке любовного слиянья? Или же просто — густая трава сбоку от железнодорожного полотна?

Было бы смешно, хотя не так уж и нелепо — прослать этаким закоренелым “дачником”, но, за неимением церкви и духовного отца, в самые

трудные свои минуты я привык садиться на электричку и отправляться в деревню, на те 6 соток, где можно хоть 30 часов кряду говорить с самим собой и чтобы никто не перебивал; чтобы никто и санитаров не мог вызвать. Где распахиваешь дверь жарко натопленной кухонки только для того, чтобы впустить холодное четвероногое с торчащими ушами, единственного спутника и созерцателя твоего безумия.

Есть милая страна, есть угол на земле... Иными словами, место, где человек может, глядя в окно на сплошную зелень травы, кустов, берез, спокойно порезать лук, чтобы тут же нажарить грибов, собранных в рощице, периодически отхлебывая из стакана пиво. И тишина чтоб вокруг полная — не считая потрескиванья печки...

Каким образом устанавливается равновесие в семьях? Которые перед этим лихорадит, как на вулкане? — Только путем отказа от какой-то части своих притязаний — к супругу или мирозданию. Конечно, при этом нередко исчезает и последний интерес к сожителю. Но *мир в семье* считают стоящим таких жертв.

После разговора о ваучерах я в ту ночь так и не смог уснуть. Все думал, спрашивал с себя... Потом, в 5 утра, стоял у окна и смотрел; как рыба всасывал холодный и свежий, с добавками каких-то пряностей воздух. Но чувствовал только то, что руки мои пахнут колбасой. Замкнутый в каменных стенах злого жилища, я даже каплю дождевую, стекающую с кленового листа, не мог хорошо представить себе. “Весна, видимая из темницы”, — как сказано в “Египетских ночах”... А что? — весьма емкое сочетание. Тот побег на дачу значил для меня не меньше, чем бегство в Египет праотца Иакова для судьбы избранного народа. Уникальность этого опыта состояла в том, что я уже лет десять подобным опытам не предавался. Не искал уединения, чтобы решить вопрос. Название опыта: “30 часов с самим собой”. Всего 30 часов, чтобы никто не перебивал. Как мало времени нужно человеку на самого себя!

И “ночь” — тоже к делу. Ночью ведь тихо в деревне, ночью все спят. — Все да не все. Спят все, кроме тех, кто так или иначе обделен. Кому чего-то не додано. Чей мир вдруг потускнел и протух. И вместе немедленно собираются заложники истины, воры, отверженные строители семейных гнезд...

Я решил подарить себе “тихий час”. Тихий вечер со своей душой наедине. Вместо того мира, что обветшал и протух, нужен был другой, новый, который тут же и возник — при беглом взгляде на куст шиповника, на старую сосну с утолщением у самой макушки...

Тот, кому приходится говорить о пережитом откровении, всегда чувствует неуверенность, путается в словах и в конце концов решает, что рас-

сказывать вроде и нечего. Потому что *рассказать* невозможно, а если показать, то увидит не всякий.

Но откровение не падает, как ястреб на курицу, совершенно ни с того, ни с сего. Какие-то намеки прилетают задолго перед тем. Особенно, если ты внимателен и одинок в час печали. Если присматриваешься к себе и разоблачаешь пружины своего мимолетного благополучия. Ищешь спасения — сначала вокруг себя, потом — в себе.

Одним из таких “намеков”, конечно, были дети; иные убежденные матери обоего пола приникают к ним на всю жизнь, потому что не знают, что еще могло бы стать источником бытия.

Не хочу особенно распространяться о детях. Ничему не помогли они, ни от чего меня не спасли. Но, пока они не выросли, передо мной в отдельные счастливые мгновения приоткрывалась дверь в какое-то радостное, подлинное существование: я видел цвет, слышал особый запах, шелест дальнего леса... Благодаря детям я получил казалось бы ничтожное право — право гулять. Некоторое время это было столь же законным делом, как и всякая другая забота «хозяина». И в какие-то минуты, следя полет ласточки или запоминая рисунок древесных веток, я забывал о давящей заботе, об изнурительности материального. Деревья были людьми, покрывшимися листьями, а по краям крыш несли свою вахту молчаливые голуби-крестonosцы в черных против солнца плащах. Кормить птиц было наслаждением, и каждый голубь, получив свой хлебный шарик, подбрасывал его на клюв, как дельфин, играющий в мяч.

Как ни странно, но гулять с *собаками* меня не тянуло. Что-то полицейское виделось мне в этом занятии. Конечно, они могут резвиться и радоваться первому снегу, — но все равно через две секунды может пойти чудовищная грызня, и тогда ты проклянешь, что родился на свет...

“В суть каждой вещи проникнешь, когда правдиво наречешь ее”. — Я ощущал это проникновение, как будто был червем, точащим мягкий плод. Иметь семью, быть членом общества — это еще не значило жить. А вот видеть, просто видеть — могло быть жизнью, могло приблизить меня к ней... И я хотел не столько “проникать в суть вещей”, сколько наслаждаться красками, запахами, — что угодно, только не *знать*. Я вообразил, что зрение выделяет эликсир жизни: на что ни взглянешь, все будет не таким, как “обычно”, раньше. Даже экскаватор вытягивал шею и, положив ковш на землю, *оскаливал зубы*, которые словно пытались укусить каменистую почву пустыря.

Зрение перестало быть только средством не попасть под машину или узнать, сколько стоит. Увидеть мир по-новому — иногда это может развлечь и отвлечь от крайних решений. Увидеть и унести в свой затвор картину дерева, выеденного изнутри и напоминающего теперь кожуру банана,

подвешенную за кончик над самой землей... Каждое дерево — это чья-то застывшая судьба, свершившая свой круг; может быть, год назад, может быть двадцать. Или же это — наши души в будущем? А может быть, души наших предков? Но только не срубленные деревья, зимой, намертво прирзшие к снегу...

Я сразу замечал, если на тротуаре появлялся совсем новый бугорок с трещинами, расхोлившимися от вершины, похожий на те, что делают в глине кроты. Этот всплеск произвел какой-нибудь невытанцевавшийся талант растительного мира, так и не сумевший пробиться наружу сквозь панцирь асфальта, под которым ему выпало жить.

Трава, деревья, птицы... Я знал и раньше, что все это есть, но теперь я видел это и оно стало мне важным. Я не просто “проходил мимо”, я останавливался и смотрел. Видеть было важнее, чем понимать. Да я бы и не смог объяснить, что я находил в этом занятии.

Оказавшись перед вопросом: “Как вернуть Дашу?”, я с самого начала знал, что с помощью “добродетельной жизни” можно только потерять ее, — и этот путь пройден. Так можно вернуть только ее чувство долга, но нельзя заставить ее смотреть на меня с изумлением, хвататься, как за бриллиант. Нужно испугать, может быть, даже взбесить ее, поразить воображение... Но для этого нужно самому стать кем-то, а не только “хозяйном”, придатком семьи. Я уже не говорю, что вернуть нужно было не только ее интерес ко мне, но и мой интерес к ней. Мне нужно было и ее увидеть по-новому...

К этой поре семья, конечно, уже приобрела на меня все права, весь “контрольный пакет”. Где же найти уголок, недоступный для ее ревнивого ока?

Думая над этим, я вдруг почувствовал, что меня придавило некое ощущение, которое я постараюсь передать. Придавило — в том смысле, что я не мог и не хотел забыть его.

Это было ощущение тишины и твердости. Верности тому смыслу, который ты волей-неволей несешь в мир, хотя можешь и не знать об этом, не зная, в чем он состоит...

В это второе — критическое — семилетие семейной жизни я испытал многие средства ухода. Языки? — Конечно. Везде и всегда со мной была иностранная книга: лучше всего немецкая или французская. *English* тоже не плох (сам по себе), но слишком он замусолен.

Музыка? Которая утешает людей и обещает им счастье и чудную жизнь? — К сожалению, чтобы заглушить отчаянье, кричавшее в крови, Баха было недостаточно. Но, разумеется, я пытался учить детей музыке. А когда им в сумме было лет десять, я впервые повел их на концерт в Консерваторию. В которой не был тоже, наверное, лет десять. Почему? — Из

производителя культурных ценностей я сделался их потребителем, и мне было стыдно? Но не в том суть... Да, сделался потребителем, но хотел дать детям что-то более весомое, нежели многотиражные правды их матери. Что? — Возможность непосредственного общения с композитором на языке его музыки, которая, минуя инструмент, прямо передается слушателю самым мощным коммуникатором наших дней...

Нет, это не был “Хорошо темперированный клавир”, я не вынес бы очной ставки с идеалами юности. Давали “всего лишь” сонату *G-Dur* Шуберта, а потом — “Карнавал животных” Сен-Санса в исполнении студенческого оркестра.

Что ж, я пытался учить детей музыке, как и другие люди “нашего круга”. Но два-три шизофренических, убежденных в своей правоте набега бабушки, на старости лет пристрастившейся к Шостаковичу, чтобы не отстать от века, убили мой жалкий план, мою робкую попытку быть отцом своим детям.

Шуберт — это был, наверное, ее главный враг с тех еще пор. У нее не хватало терпения на Шуберта. Для нее он был символом мягкотелости и слюнтяйства, которые она видела во всех мужчинах вокруг себя. Она признавала только громоподобные миры, воздвигнутые вопреки.

Мы прилежно плодились, размножились, квартирами менялись... А старый «Seiler» следовал за нами. Пока не выяснилось, что детям он ни к чему. А я? что такое я? — Разве не средство для выращивания своих детей?.. И пианино продали с молотка. От него в памяти сохранился лишь тоскливый звук, когда грузчики брякнули его о ступеньку. Он звал меня, но я... я не мог спорить с пользой, с правдой семьи и матери.

И так же, как музыке, в шумном нашем доме не нашлось бы места науке: я ведь не Кеплер, и безразлично мне, земля есть шар или куб; законы внешнего мира не утешили бы меня, пока я не знал основ семейственности и человеческой близости.

Я уже не доверял разуму, листку бумаги или клавишам, а только ветру и дождю, траве и облакам. И вместо того, чтобы доискиваться законов природы, сам решил стать явлением, сбросить с себя предварительное знание, т. е. знание того, что я и кто я, как надо “вести себя”. Я иногда чувствовал себя ребенком и полагался на непредвиденное. А среду, в которой мне дышалось свободно, нарекал так: «Город-лес».

Город-лес, как ширма, отгородил меня от семьи, выделил мне уголок, где я мог предаваться своим опытам. И уже не для того, чтобы вымучить что-то математическое, как в стары годы, а чтобы выйти оттуда другим человеком, неведомым ни себе, ни им.

Я взял да и бросил вызов. Бракодел семейного цеха, жалкий человек вдруг стал свободен, как ветер ночной. Несмотря на то, что в доме моем

было двое детей, жена, свора собак, я понял, что меня — оставили одного. Никто более не интересовался направлением моих мыслей.

Но свободой не так легко сразу воспользоваться. Что с ней делать — это я усвоил не раньше, чем вид оседающего в овраг тумана сделался той программой “новостей”, которую я непременно смотрел каждый вечер. И я, собеседник ветра и дождя, прожил несколько месяцев буквально как жених. У меня снова было, с кем говорить...

Как возвеличить себя прямо сейчас, в данную минуту — не за счет надежды, которая часто выбивает слезу из глаз, пафос из сердца? Как утвердить себя хотя бы на миг? (Больше заведомо невозможно.)

Ответ был: видеть и ощущать себя покрытой снегом равниной, голыми ветвями деревьев, холодным ночным ветром... Лес — это основная мысль человека, желающего спастись. И я был просто околдован этой мыслью. Конечно, я не надеялся победить, но у меня появилось средство максимально оттянуть окончательное поражение.

Чтобы жить, нужно хоть что-то осознавать подлинным, неподвластным скепсису. Я не знаю, почему, но это — только лес. Только он подлинен. Деревья, кусты, трава... Все, что охватывает глазомер. Это не было моим новейшим открытием. Более того: это была догадка юности, осуществленная в зрелые годы.

Лес подлинен, потому что бесконечен и не может быть покорен суждениями. Фотография, картина — они дают только миг его жизни. Сколькомотришь, слушаешь лес — столько смыслов найдешь в нем. И мое открытие леса можно объяснить, рассказать лишь тем языком, на котором оно было сделано.

... Выхожу из дома и иду по тропинке меж кустов. Вокруг тихо. Свежо и сыро. Листья шуршат под ногами. И понимаю: именно так и должно все быть. Вдыхая влажный воздух и аромат листвы, я чувствую, что живу, живу *сам*. И это сильнейшее чувство из мне данных.

Что произошло на даче той весной, а потом — летом, осенью, зимой — продолжилось и в городе?

Я как-то не на шутку *удивился* — не только испугался — пошлости бытовой бездны, в которой весьма ловко свил себе уютное гнездышко. Так может удивиться человек, проснувшийся не там, где заснул, не в кровати, а, скажем, на берегу моря. Его первое движение: протереть глаза и спросить: “Как?..”

Когда я отпирал калитку, мне в руки упал кленовый лист. Коричневый, сморщенный, жесткий... Откуда он взялся? Ждал всю зиму, чтобы сообщить мне важную новость? О том, что деревья выбрали меня и хотят говорить со мной?

Я удивился — всему. Поднявшись на крыльцо, я уткнулся взглядом в голые кусты и не мог оторваться. Потом, с трудом, переключился на си- ницу, севшую на окно. Следил ее полет, пока она не скрылась в ветвях... Я смотрел по сторонам, как человек, потерявший что-то важнейшее. Или — нашедший. Столбняк и паралич мгновенно сменялись неодолимой тягой к траве и деревьям. Меня тянуло к ним, как ребенка, только что научившегося ходить, тянет бежать, неуклюже выворачивая ножки, с растопыренными ручонками — бежать, чтобы поспеть за своим изумлением.

Напрасно было бы говорить мне, что нужно возвращаться в Москву, что меня ждут, что завтра на работу... С тем же результатом можно было бы твердить об этом годовалому малышу. Механически я это сделал, конечно. Но вернуть меня к прошлой, “взрослой” жизни было уже нельзя. Я ничего не понимал, я не узнал семью. Я принудительно остался с ними, но я не знал, *кто это*... Я не чувствовал способности двигаться, я весь был один огромный глаз. Рассматривая часами траву в жалком скверике из дюжины деревьев, я упивался жизнью, которая текла во мне. Неспешно и неназываемо, но постоянно. Трава не была книгой или иным искусственным продуктом и она всегда находилась в моем распоряжении, ее нельзя было исчерпать.

Мне стала дорога только моя репутация натуралиста — недоказанная и неиспользованная репутация, которую (как и многое другое) я в себе создавал.

Возвратившись домой, я сразу заметил, что каждый день ходил мимо забора со столбами в *черных треуголках*. А до того — не видел. Мне это было ни к чему.

У меня действительно открылись глаза. И я хотел видеть: не “думать”, а только смотреть, насыщать глаз. И не на людей: я знал, что это может быть для меня трудно.

Однако, скажи я просто, что нашел наслаждение в простом пейзаже, пейзаже вдобавок городском, нередко с битым стеклом и ржавой проволокой — я еще ничего не скажу. Ничего особенного. Но, узнав *эти* наслаждения, я уже был другой человек. Потому что знал, что отнять их нельзя, что они со мной, если я хочу этого.

Когда ночью стоишь у окна и смотришь на улицу, забываешь о своей принадлежности к роду человеческому. И уносится дух твой туда — к фонарям, тополям, белому снегу. Куда ветер, туда и я. Тополя качаются под ветром, и кажется, что в доме напротив мечутся люди. Но я — что я такое? И что значит, что, по паспорту, я чей-то отец, муж, если дух мой свободен?

В ветренные ночи я открываю окно настежь, и ветер гуляет по комнате. Он шуршит бумагами и стучит шторой, но я-то уже не здесь, я где-то в

степи, среди лошадей и трав, отправляюсь в ночное. Ветер ревет за окном, но я знаю, что это — не автомобильный мотор.

Стучали рамы, скрипели и захлопывались двери. Под самым окном гнулась, как трава, высокая береза, ветви ее закручивались спиралью, а за углом переломился, как спичка, довольно крепкий тополь... Мог ли я не отправиться в ночное и в городе? Который — в дождь, ветер, холод, снег, туман — переставал быть городом только и постепенно, по мере того, как я все больше отдавался созерцанию, становился лесом? Отдавался вначале лишь по ночам, потому что боялся, что мне помешают.

Ночью я наконец снова решил жить. Ночь усыпляла и скрывала моих врагов. Она была такая же вдумчивая, как и я. Такая же серьезная...

Я дожидался, пока все затихнет, и с ликованием выбирался из квартиры. Я всем существом своим погружался в ночь. Лес начинался прямо у моего подъезда. Деревья и травы издавали едва различимый запах — запах земли, на которой как будто и не было еще города... В огромном соседнем доме — ни огонька. И кажется, что вся эта слепая и немая громада валится на меня. Я спешу отойти подальше, но, пока шаги мои еще слышны, кое-где повизгивают и потягивают в своих теплых квартирах собачки, лежащие в безопасности рядом с хозяином. В тесной улице, которая выводит на простор, меня сопровождают два часовых: один месяц слева, над крышами, которые ошетинились антеннами, похожими на тонкие карандаши, воткнутые где попало, другой — справа, в безжизненных окнах домов. Слышно, как за гаражами, звеня посудой, тащится в депо последний поезд. На перекрестке смелый ночной автомобиль пронесится на красный свет. Водитель, однако, поворачивает голову в мою сторону — конечно, не из боязни. “Ведь ты не страж порядка, что же ты бродишь, не спишь?” — Ему хотелось бы знать это, но ему некогда, у него дела. Так же, как, впрочем, и у меня.

Я искал незаинтересованных и нецеленаправленных блужданий в лесах, в стороне от моих основных дневных маршрутов (детский сад — школа — магазин — работа). Хотя ночью даже на этих исхоженных тропках все было как-то необычно, как-то по-новому... Через освещенную витрину магазина я видел, как на прилавке, в спокойном одиночестве сидит, подвернув под себя лапы, огромный рыжий кот, и дремлет. Коты, эти друзья наук и забав, часто меня сопровождали. И я смотрел на жизнь леса вокруг, а не пользовался дарами города; я ничего не хотел ни от пивных ларьков, ни от автомобилей, создававших целую армию теней и тут же созывавших их назад: со всех сторон сбегались они на фары, и даже моя собственная тень устремлялась к ним, хотя сам я — был в стороне.

Я шел по умолкнувшему городу, как среди остатков его, в непроходимых джунглях, ходит молчаливый археолог, читающий только по камням,

когда молчат уже песни и предания, и ничто не говорит о погибшем народе.

Я не терпел асфальта — всегда чувствовал себя на нем лошадью, чьи подковы при каждом шаге врезаются в мясо. Но рядом с тротуаром обязательно бежала узкая тропка, которая днем едва заметно темнела в серо-зеленой траве. На нее я и сходил, как пятилетний своеволец сворачивает с дороги и лезет в сугроб под ворчбу мамы своей, набирая полные валенки снега, — сходил, зная, что ее проделал человек, близкий мне по духу, а может, она появилась здесь еще и прежде всякого асфальта.

А на другой стороне стояли стеной кусты, в меру, конечно, ухоженные. И вот, сквозь них, пока еще уступая им в росте, прорастали вольные кленки. При следующей стрижке их удалят, но несколько недель жизни им выпало...

Что это был за лес, пробивавшийся сквозь асфальт и кирпич, измышления злого беса? Лес будущего? Моего будущего?.. Я начинал так думать, гадая по верхним ветвям елей, походившим на крылья летучих мышей и слегка дрожавшим в ночи. Мне было важно отрешиться от себя и осознать, увидеть себя частью природы. Но совершенно одинок я не мог быть и ночью: всегда слышал свои шаги, и поэтому кто-то словно шел рядом со мной. Люди не хотели говорить со мной — я стал искать иных собеседников, выучил язык деревьев, улиц, дождей. Увидеть любой пустяк, ненужную вещь и назвать ее по-новому — в этом уже было приглашение к разговору, который город-лес мне предлагал. Усталый и скучный член общества вдруг понял, что рядом еще остается нечто такое, что он проглядел. Новая бесконечность, которая одна только и могла спасти его. (Бесконечность семьи казалась уже исчерпанной.) Появился объект для постоянной работы мысли, который, с одной стороны, находился вне меня, с другой — ничего от меня не требовал и даже не знал обо мне. От которого я тоже ничего не требовал, ни внимания, ни благодарности.

Я пошел на то, чтобы глаза у меня всегда были открыты. Как еще можно было решить проблему? Пить горькую? Но это ведь не уйдет от меня, это самый простой путь, а я еще не забыл о «пределной точке»!

Трава и деревья вокруг ни на миг не прекращали свой рост, и во мне родилось встречное намерение, встречный рост, постоянное движение и работа глаза, искавшего белые пятна на карте. Всему, что я видел, нужно было дать имена. Я хотел примкнуть к пейзажу и стать его частью. Я был Линней, которому предстояло описать все 35 000 видов, и я трудился без усталости. Замечу, как из-под водосточной трубы тянется вверх тощая березка в рост человека, и тут же рождается метафора: кажется, что дом наступил дереву на ногу. И мгновение это больше не умрет, его можно вызвать по первому требованию. Куст на холме оказывался растопыренной пятерней в зеленой перчатке. С него лениво, как бы полоща горло,

квакала на меня ворона, а другая, хозяйственная, своим клювом-пинцетом рыбачившая в луже, недовольно оглядывалась. Я не знаю, можно ли отыскать какую-то систему в вороньем грае, в их перелетах с ветки на ветку большого тополя. Ведь вороны — это почти люди — по сложности бытия. Переползают одна к другой, долбят клювами сук, трясут хвостами, раскачиваются коромыслом в карканье... Особенно любил я смотреть, как они открывают зимний сезон на прудах. Первый, еще недостаточный для людей, собак и котов ледок собирает множество этих хмурых и крикливых конькобежцев. Крепкими клювами взламывают они свежую корку, достают из-под нее насекомую мелочь, и звон стоит, как весной на субботнике, когда добровольцы орудуют ломами... Вот одна слишком увлеклась в крике и, раскачиваясь туловищем вверх-вниз, не устояла, провалилась немного, но, конечно, тут же взвилась в воздух и вот, она уже на березе. Усевшись и оправившись от недоразумения, она сразу пускает в ход оба своих голоса: вначале заквакала: “Qua-qua-qua!.. Qu-lak, qu-lak, qu-lak!” А потом, резко себя перебив, обычным, здоровым: “Карр, карр!” И снова: “Qulak, qulak, qulak!”...

Я сажусь на пустынной, теневой стороне пруда и моими соседями — они тоже восседают на скамейке — часто оказываются две-три вороны поспокойнее, потише, они не улетают при моем появлении и мы вместе наблюдаем спектакль. Людями заполнена противоположная сторона и там — непрерывное движение. Но люди кажутся какими-то маленькими в их обгонах и остановках, в парах и поодиночке. Их лиц разобрать нельзя, у каждого из них свое дело и у всех вместе — тоже, но оно, конечно, не может быть серьезным. Оно смешное, пустое. И только я один, неподвижный, созерцаю неведомый свет, а они убегают, им тесно и шумно, и ноги их мелькают, как крылья.

XIII

Вы с сестрой тогда не совсем еще выросли, поэтому вдогонку вашему детству я увлекся планом этакой “Лесной газеты”, в пестрой разноголосице которой нашлось бы место всему, чем я жил. И это, конечно, был бы единственный вид газеты, который я согласен допустить. Других не хочу. Не хочу знать цифр, дат, имен. Зачем мне знать, где и когда я живу? Хочу жить, как птицы живут — и только.

Каждый день, каждый час приносил мне новые “Заметки любителя”. Любителя чего? Лесных картинок?.. Это была моя дипломная работа — как выпускника школы запоздалых натуралистов. А времена года значення не имели, я жил ведь не по часам, а, скорее, по листьям. Во всех случаях, это были “мои времена года”, когда на несколько часов (реже дней) город отступал, исчезал, и выходил лес.

У физиков есть такое выражение: “длина свободного пробега”. Сколько шагов по городу можно сделать, чтобы машина не перерезала тебе путь, не обрызгала грязью, не отравила выхлопами? — Они и во дворы заезжают, и на газонах вольготно им, как коровам. Но есть пяточки, где автомобиль не нарушит твоих блужданий, где можно кружить без боязни. Так там заведено, что дома — пусть и не чудеса архитектуры, а скучные коробки — расставлены хитрым геометром наподобие ширм, по всем направлениям, и никакая дорога между ними не вьется — только узкие тропки. Прудик там блестит с утками, голубятни, огородики даже виднеются кое-где. И до самого ноября в моем дворе пахнет сеном, а у домов — крылечки, правда, сидят на них только старушки, которых держат за слабоумных. Но это — лучшее убежище для того, кто хочет остаться самим собой. А сеном пахнет оттого, может быть, что я, как белка, все лето таскаю в дом образчики листьев, грибов-паразитов, желуди и прочие плоды леса? Гербарий — одна из заветных моих задач.

Основное время года в наших широтах — зима. И поэтому мы суровы и мрачны, упрямы и злокозненны — мы, гипербореицы. Но для меня зима в городе — первейшее от него спасение. Асфальт не переносу: непременно хочу видеть пусть самую жухлую, но травку. Старый идеал — босиком походить по траве — нелегко из меня удалить... А когда начинается снег, сижу дома и жду, чтобы он побыстрее лег и скрыл навязчивую плоскость. Да только не долго выдерживаю и резко выскакиваю, в самую пургу. В дни первого, мокрого еще снега, город отступает перед настоятельностью вьюжного вторжения, и можно гулять даже днем: все спешат укрыться и почти тишина устанавливается, ничто не отвлекает меня. Выхожу на улицу и глаз не могу оторвать от забитых хлопьями трещин, заболоченных луж. Идя кромкой полосатой дороги, заползающей под меня, как эскалатор, я совсем уже не был тем человеком, для которого превыше всего был дом. Человек, выбирающий улицу, лес, с милой улыбкой устраняется из человечества. Но борется за то, чтобы не превратиться и в барсука, которому положено впадать в спячку, потому что он бессилен перед природой...

Вернувшись домой и напившись чаю, я снова смотрю в окно. Смотрю на березу, не успевшую сбросить все листья. Ее гнет и скручивает ветер, осыпает снегом вьюга, а она только перегибается из стороны в сторону, уворачивается от них и снова выпрямляется. Густая шапка листвы перекатывается волнами, как волосы женщины, расчесывающей их перед зеркалом.

В январе на тропинках, ведущих от подъездов, появляются еловые лесенки в несколько сантиметров длиной. Елки уходят из домов незаметно, обычно тоже ночами. Я часто встречаю их печальные шествия по темным улицам. Они идут оципанные, обобранные, искусственно состаренные людьми.

В лесу я иной раз набредал на их сестер — лиственниц, которых узнавал по строго горизонтальным ветвям; кажется, они застыли на одном упражнении: “руки в стороны”. Почему они не тянут их вверх, к свету, как другие?

Деревья... не знаю, было ли для меня что-то более важное. Даже в белых переулках, где они почти целиком скрывались под снегом, именно от них шла мощная волна приветствия и участия. От кого еще можно было узнать о приближении весны?

Дерево, корень... Остановиться и пустить корень. А? Но я не хотел, чтобы мне, как липам, высаженным вдоль улиц, оставили для жизни только 2 квадратных метра в асфальте. Потому и ходил везде.

Однако постепенно зима, даже самая снежная, все равно осознавалась как род тюремного заключения. И если вначале слякоть и грязная вата, развешанная над головой вместо синего неба, бесили и принижали гордость гиперборейца, мешая легкому бегу, то через месяц-два именно им и хотелось оказать предпочтение. Искристые сугробы, мороз и солнце, прочие атрибуты “русской зимы” хороши, конечно. Но в меру. А потом пусть лучше капает и хлюпает: кажется, что весна уже близко.

Первыми ее приход чуяли жизнерадостные воробьи, оглушавшие нас своим звоном даже тогда, когда с неба еще сыпались гранулы снега. Не отставали и синицы с разделенным надвое пушистым животиком. И я продолжал собирать мгновения, кусочки вечности и останавливался на поверхности, отказываясь от притязаний на большее, от которых все равно добра не будет. Ведь случайные ученики Платоныча ничего не знают лучшего, чем пустяки праздной жизни. Кто сказал, что я могу рассчитывать на полноценную долю? Что успею везде: и отец, и муж, и отличный работник? Удачей посчитаю, если смогу сохранить хотя бы одну из ипостасей. Какую? Конечно, ту, которую еще не раскрыл, не исчерпал.

Чтобы ускорить приближение весны мы даже в мартовскую пургу лижем на улице божественный лед. Нам, мол, совсем не холодно, — наоборот!.. Но постепенно ледяная горка, на которую зимой, нацепив несоизмеренно длинные лыжи, карабкается русский самоубийца, истекает последними ручейками черной воды. Приближается “вербное воскресенье”, когда старушки выходят из скверов и парков, как птицы неся в руках прутики и веточки. Весна забегает ненадолго, чтобы поскорее передать бразды лету.

А летом я уже всюю живу одной жизнью с населением леса: я делаю запасы. Листья, зеленые пахучие желуди, полевые цветы... Листьев я сушу целое море и складываю в ящик, чтобы потом, зимой, доставать, смотреть, сколько красок лета сохранил для себя, и долгими ночами шуршать, перебирая их — красные и зеленые, желтые и коричневые, пестрые — как

единственное свое сокровище. И в комнате — в которой ты гостеприимно выделил мне угол, благо в ней, единственной в доме, телевизора нет, — в этой комнате тогда стоит запах, сдержанный, но живой запах леса. Я даже пишу только зелеными чернилами...

Летом в нашем небе снова появляются облака. Тонкой вязью идут они по всему небу, и я, запрокинув голову, слежу за ними, зная, что не сами по себе плывут они в вышине, покорные ветру, который может в любую минуту сдернуть фату и разогнать их, а со мной только и связаны, плывут, пока я, здесь внизу, слегка шевелю пальцами.

Мы идем вместе, и там, где облака входят в лес, вхожу в него и я. Небо очищается полностью, становится плотным, и тогда я отыскиваю черную точку одинокой ласточки и стараюсь удержать ее, пока хватит сил, пока слезы не ослепят меня. Как купается она в синеве, наслаждаясь беспредельностью свободы, взмывая все выше, выше... Узнал и я тогда, что может столь пристальным быть взор, впиваясь в узкую полосу, в тот голубой простор...

Да и не только в простор! Малейший, ничтожнейший московский скверик в три прутика — уже отдушина для глаза, для меня. Город сразу исчезает, послушно уходит за кулисы, как дублер, когда выздоровел Сальвини. Мне важны любые островки сопротивления, где шелест травы под ногами не смешивается с ревом машин и людей, важно каждое дерево, торчащее из асфальта. Под ним ведь тоже можно постоять, укрыться в тени ветвей. А цветы? Какой бы улицей ни пойти, всегда из подворотен, с балконов, через ограду кладбища или детского сада выглянут желтые и синие головки, приветствующие вас — тех, кто их видит. Пусть рядом несутся грузовики, и пылица, а кто-то все же огородил здесь кусочек жизни, не сдался демону разрушения.

Правда, не всякое дерево достигнет должного положения. Ведь город — топка. Листочки тополя сворачиваются и чернеют, как охваченная огнем бумага. А на липах и кленах дырявых листьев так много, точно по ним дали не один залп картечью.

Иногда встречалось мне и такое чудесное явление: береза на цепи, с замочком. И все это хозяйство неприметно убиралось в кусту. А в другой раз я находил маленький скворечник, примотанный к березе черной проволокой, и издалека мне казалось, что это — телевизионный кабель. В первый миг я в ужасе попятился: неужели и сюда добрались? Но молодые березки так мило шелушились под ветром, что невозможно было на них сердиться даже за желание посмотреть телевизор. Березы вообще вбирали в себя все разнообразие жизни. Их стволы в иные дни изображали ледоход на реке, с чередованием черных и белых пятен; в другие — свежую пашню с островками последнего снега... Основания их стволов веером расходились в стороны, как шлейф бального платья. И, вспоминая Симона, я решал, что, когда не надо будет зарабатывать деньги, я сделаюсь помощником

лесника, стану лазить по березам и развешивать на них скворешни. (Если, разумеется, не представится случай последовать за учителем, чтобы следить за бакенами и сваями.) Нужной для этого мерой доверия со стороны леса я, кажется, уже обладал. Идя по тропе, я мог почувствовать, что из боковой просеки кто-то провожает меня взглядом. Повернув голову, я не находил никого: только высокий пенек вылез, как гриб, посреди дороги. Или это был не пенек, а пучеглазый перископ подводной лодки?

В жизни многое происходит совершенно по законам леса. Если уж заводить речь о грибах, то вот, издавек ты видишь под елью чудесный боровик, бежишь к нему со всех ног — чтобы найти поганку... Равнодушие природы к нашим стремлениям можно сравнить разве что с равнодушием самих человеков к тому, что нельзя съесть и выпить. Но ведь как растет душа, когда извлечешь-таки из березовых листьев душистый масленок с приставшими к коричневой шляпке сосновыми иглами. И не потому ведь, что тут же представишь, как он будет шипеть на сковородке или уворачиваться от вилки... Кстати: говоря о грибах, люди всегда улыбаются. Отчего?

Осенью ходишь в желтых, янтарных комнатах родного леса и ловишь каждую мелочь, считаешь каждый лист, еще держащийся на березе. Под ногами не утихает хруст папирусов: еще две-три недели можно будет читать лесные книги. День равнолиствия (когда на деревьях остается столько же, сколько лежит на земле) приближает торжество пуантилистов: березы почти облетели, а уцелевшие листочки, размером с двугривенный, видны по одному, каждый как бы наколот на кончик своей ветки. А зори, закаты... Они уже предвосхищали зиму, и наши души курились: чьи-то чадили, чьи-то излучали тепло и свет (не моя, конечно...)

У меня на подоконнике — под раскрытой форточкой — всегда лежал лист бумаги. И, бывало, ночью, слышишь вдруг легкое потрескивание, покалывание... Я подхожу к окну и замечаю: тропки на пустыре видны отчетливее, чем обычно, они светлее той земли и травы, что вокруг. Дуновением ветра через дорогу переносит что-то бледно-серое, неопределенное, как мираж, нечто вроде скомканной вуальки. Легкие облачка видны и в других местах: вокруг водосточных люков, на повороте тротуара, под колесами замерших автомобилей. Начинают помигивать фонари, и теперь уже ясно, что все эти приготовления неслучайны: первый снег. Он идет ночью скрытно, и тихо, невысказанно движутся вслед за ним мои мысли. Никому я их не предлагаю, они рождаются и движутся просто так — как снег, который тоже сыплет без цели. Это утром ему обрадуются люди, спящие вокруг меня и дня не встречающие. Весело вырвутся на волю отоспавшиеся ребята, станут лепить снеговиков. Из моих мыслей тоже что-нибудь да удастся же слепить. Но — утром, когда я вернусь домой

из своих блужданий, и в густой метели будут жутко выделяться кровавые глаза светофоров.

Город, в котором я прожил больше 30 лет, в котором все было как-то против меня ... поднялся из праха и стал чем-то действительно существующим, потому что я увидел в нем — лес. Непременно прочти рассказ о последней прогулке баронета, решившего продать фамильную рощу, которую сохраняли многие поколения его предков. Как он, думавший, что лес — его собственность, заблудился в трех соснах и окоченел, как поле-но...

Город-лес был тем местом, где я мог бы жить. Это уже не город, потому что далеки от меня его цели, но и не совсем лес, потому что в самый глухой час, возвращаясь домой, находил я свои следы перекрытыми шинами автомобиля. И я ведь не волк, я хотел бы быть человеком.

Как это ни странно, но, выбрав лес и устранившись из человечества до такой степени, что одни только ветлы пустыря стояли у меня перед глазами, я сквозь эти же ветлы, через скопление облетевших берез и осин, как через сетку увидел свое истинное положение в темнице мира и... вернулся к человеку. Хотя он и стал для меня чем-то иным, чем-то новым. Я еще не понимал, на что этот человек был намеком, но роковое любопытство уже влекло меня в чашу старой столицы, в клоаки и щели, где во всем, даже в мерзком, был знакомый магнит. Кроме мира, видимого всеми, который и для меня совсем еще недавно был единственно возможным, хотя и не лучшим, я видел другой мир, манивший меня разрешением былых вопросов. Легкая (чтобы не углубляться в это) утрата чувства реальности стала с той поры для меня нормой. Не знаю, кем казался я людям, но себе я представлялся ребенком, с блаженной улыбкой стоящим посреди грязной лужи и гоняющим палкой драный башмак. Сам уход в “город-лес” совершился под знаком

Собачьей жизни положи конец,
Я магии приял венец...

Магии? А чего же еще? Любой пустяк был *чем-то иным*. Внимание к мелочам затягивало и ставило в зависимость от вещей, которые могли повести куда угодно.

Для чистого натуралиста я, наверное, все же недостаточно осуждал человека, повсюду громоздившего ярусы своих выдумок. Но именно этот “ансамбль” и интересен мне — то, что разумный, который для меня не более, чем болезнь земли, не смог сделать свое пространство полностью рукотворным. И оно вопиет о том, как неуместен человек на земле, как ложно его место на ней, потому что он все равно умрет, не переделав ее под себя, а лишь покалечив. Но точно так же и они — бобры и куропатки,

рогатые олени и молчаливые рыбы. Просто он несколько неугомоннее, но это ему можно простить — если бы не его, иногда чрезмерная, жестокость.

Чтобы человек получил определенную ценность в твоей системе, может быть, и не нужно непременно сближаться с ним, предаваться общим делам, заботам? Может быть, достаточно просто наблюдать его, как зоолог наблюдает бабочек и фламинго?

Узнавать человека иначе слишком долго, слишком хлопотно. Знакомиться, вникать в его интересы, обстоятельства, раскрывать свои. Связывать себя обязательствами... Созерцание куда мудрее, невесомее и чище, а погружение в “объект” едва ли не глубже: недостаток сведений восполняется воображением.

Ночные — и вообще одинокие мои прогулки — это ли не цель мизантропа, не воплощение его идеала? Но: человеку нужен человек. А есть ли в городе что-либо, столь же изобильно распространившееся? В самом безлюдном месте надо быть готовым к тому, что встретится один из нескольких сотен или тысяч отшельников, тебе подобных. Поэтому на прогулке и находится такой человек, который не посягает на тебя, не угрожает твоим мыслям и покою. Я нашел человека, уйдя от него, нашел, хотя он и не знает об этом. Если мы встречаемся с ним на узкой тропе и он, проходя мимо, не оторвет глаз от земли, это, конечно, оставит тяжелое чувство в душе. Хотя и сам я люблю поступать так же. Но на один-то миг стрельнешь в него взглядом, ухватишь издалека незабываемую черту (шевельюра, как золотое руно... выпяченная сковородой нижняя губа и как плети болтающиеся руки... качение, а не ходьба маленького грушевидного толстяка с транзистором подмышкой... концы белого шарфа, свисающие с плеч девушки, как вожжи, которые пока никто не подхватил, никто не стал править... Подойдет и нос, сбоку похожий на мягкий знак...) — и вот уже словно поговорили. Пусть и глазами лишь. А если, поравнявшись, вдруг оба спросим, который час (причем ни того, ни другого это не может интересовать, потому что в *такое* время об этом не думают), то, улыбнувшись совпадению, расстанемся, как старые знакомые.

Образцом для меня был человек *со шпагой*: в черном комбинезоне, с мешком на плече, ходил он, пристально вглядываясь в траву, и вылавливал бумажки, окурки, дрянь, сажал их на острие своего оружия, а потом отправлял в темницу. Более благородного занятия я и вообразить не мог. Но я умилялся и находя на столах, на которых вчера забивали “козла” местные аборигены, кучу листков, испещренных числами, как будто здесь занимались математикой. А милиционер в подворотне — высокий, расставивший ноги на ширину плеч, раскачивавший за спиной из стороны в сторону своей дубинкой, словно виляя хвостом: “Проходите, проходите, не задерживайтесь, не безобразьте, не волнуйте меня...”? Мог ли я пройти мимо просто так, не сохранив в памяти и другой парочки стражей поряд-

ка, маячивших на углу руки-в-брюки, в утреннем тумане похожих на закупоренные фляги?

Не мог. Потому что надвигалась эпоха нового интереса к человеку, — к чертам, а не содержанию-положению. Эпоха нового постижения людей, новых связей с ними и отъединения от них, — уже не безоглядного, как когда-то.

Что-то мне уже мерещилось в этих марионетках, в шутовских и безумных картинах русского пьянства.

Вот большая лужа посреди дороги, не высыхающая никогда, какую и в провинции не сыщешь. В этой луже сидит, как рыбак на лодке, серьезный человек и вдумчиво, старательно стирает свою рубашку. Трет, полощет, выкручивает...

Вот вторая лужа. Образцовый винный магазин в новом районе. Небольшой асфальтовый квадрат перед дверью, плато жизни, вокруг которого — непролазная грязь. Слякотный, насыщенный окурками, пробками, да и белой рвотной слизью... Посреди этого острова расстелена газета и на ней — шахматная доска с фигурами. По бокам — два любителя, как о твердь опирающиеся локтями о черную жижу, в блаженной пляжной неподвижности вытянулись для священнодействия. Люди перешагивают через них — они не шевелятся, зрачки скошены к носу, немигающим взором смотрят они на волшебное поле. Когда один из них делает ход, видно, что на его мизинец вырос перстень вдвое его толще...

В городе просто отступаешь перед избыточностью и изобилием таких картин. Пристрастившись к наблюдениям, поймешь однажды, что лица людьми не выбираются, а самой жизнью и создаются. Даже не так: не “поймешь” (тут и понимать нечего), а увидишь, как это происходит.

Вот бородач на скамейке. Он как-то мученически запрокидывает голову — и кажется, что это движение висельника, на которого сейчас наденут петлю.

Вот серьезный человек с дипломатом, с наклейкой «Love» и инициалами «W.S.», которые обозначают не *William Shakespeare*, но Вася Селедкин, особа значительная.

Вот девушка с вечно смеющимся лицом, с забытой на нем улыбкой, которая всегда наготове. И тотчас находится горбоносый старичок в клетчатой “кепке-аэродром”, похожий на Бриттена, в длинных, почти цирковых ботинках со вздутиями на носках; в одной руке у него — потертый портфель профессора, в другой — пингвиновский томик «*Tale of two cities*»; он читает на ходу, но успевает бросить девушке что-то веселое, на что она уже улыбается во всю ширь.

Одиночество больше не могло быть моим спасением. Напротив — я окунался в толпу, которая, как оказалось, не вредила одиночеству — моему пути, моему выбору. Толпа питала меня и мой глаз — пока он не насыщался. Важным было только то, что глаз выхватывал из толпы и тут же

превращал в метафору. Ведь лес, обступавший меня, был не простой лес, в котором можно быть травой и кустами, а лес категорий, выстроенный моим мозгом вокруг себя.

“Город-лес” был попыткой к бегству. Я перенес в него свой рабочий кабинет и не хотел подполья, куда мне было не прорваться с моим цыганским горбом — все равно застрял бы... Спасение искал я в самой толпе.

Достигнув этой точки, я чуть было не повторил зловещей формулы: “У нас не было ничего впереди. У нас было все впереди”... Мне стало страшно последствий такого самоощущения, но его уже нельзя было стряхнуть с себя, как мокрый снег.

Мне говорили, что я стал похож на моряка: бродя в дожди и ветры, я весь пропитался вольными стихиями. Кожа загрубела, взгляд обострился. Можно было подумать о плаванье посерьезнее.

Понадобился год, 4 сезона блужданий по городу-лесу, чтобы овладеть “языком трамвайным”: нащупать его гласные и согласные, почувствовать его грамматику и синтаксис, довести словарный запас до того уровня, когда за поворотом, в лесной глубине открывается оправдание всей зубрежки: сам разговор.

Был ли предательством семьи упорный поиск собеседника на стороне? Но ведь предательство — понятие субъективное, и что прикажете делать, если собственной жене скучно говорить со мной?

Еще недавно я знал, что между нами не должно быть никаких тайн, но теперь их не могло не быть. Не потому, что тайны сии грех есть, а потому что не нужны они ей. Какое ей дело до моего недолгого счастья: видеть и называть в одиночестве?..

Мой язык снова выговорил это слово: “счастье”... И достаточно оказалось ощущения духовной бесконечности, которое глухой ночью внушили мне звуки: стук вагона на повороте, дробь дождевых капель по карнизу, ход часов на маленьком столике. Когда единственным, что я хотел видеть и слышать вокруг себя, был лес, шум леса, я уже чувствовал, что к разговору о счастье придется вернуться. Пустяк, примиривший меня с жизнью: склизкий гриб в березняке, весь в еловых иглах, — открыл дорогу и претензиям на нечто большее. Мне нужно было говорить с нареченными мною созданиями — обычная, впрочем, слабость. Не может вмиг привыкнуть человек к тому, что стал он богом.

Пусть и непоследовательно вновь заводите речь о счастье, но в лесу его не обязательно связывать с человеческой общностью. Не обязательно “сходиться” с человеком. Достаточно уменьшить безопасное расстояние: тогда явится и наслаждение — естественный спутник риска.

Созерцание развило страшную силу умственного напряжения, не переходящего в напряжение физическое. Созерцание не поглощало меня всего. Как бы высоко ни поставил я теперь свою репутацию натуралиста, я

все ж не натуралист. «Город-лес» был открытием, которому я не мог быть верным до конца — я приберег его на потом, а сам уже предвкушал новые откровения. Не хочу убеждать себя, что способен ограничить жизнь птичьим или лесным кругом. Как фон — да, лучшего не найти. Но фон для чего-то важнейшего. Для человека, за которым я машинально сделал бы хоть пару шагов! И этим человеком, конечно, могла быть только женщина... Идя по лесной тропе, я боялся уйти слишком далеко от людей, втайне надеясь, что женская улыбка, как редкий солнца луч, оживит пейзаж, и я перестану видеть вокруг себя вечные рытвины и консервные банки.

Женщина? Но какая? Которая поднимает две сумки, как штангист: нагибается, отключив зад, считает до трех, вырывает вес и идет прочь с победоносной улыбкой? Или одна из тех пожилых макак в новеньких спортивных костюмах, чьи мельницей машущие ноги каждое утро виднеются из-за кустов, когда я на рассвете возвращаюсь домой? Бодрые, свежие, за 60 лет не использовавшие запасенной энергии для прорыва в неведомое, хотя кому-то она пригодилась бы и в 20, они надеются аэробикой добиться того, что дается, а не достигается... Или, бывает, в метро, уступишь место женщине, чьи ноги высовываются из-под пальто врастопырку, как ножки гамбсовского кресла (“ножки” — им должно льстить, когда так называют ноги...), однако она не то что не сядет, а еще и поморщится брезгливо, как будто у нее рубль на похмельку выпрашивают. “Ну что ты из себя корчишь? — написано на ее алых губах. — Тоже мне рыцарь...”

Такие женщины не обещают раскрыть нам чувственную прелесть мира. Их урок труднее и горше. От них пока отворачиваешься, как от псинных экскрементов, в изобилии разбросанных по чернеющему и оседающему снегу — не столь романтическому спутнику марта, как *весна света*.

Но вдруг... “Девушка, пьющая кофе”, “девушка у окна”, “девушка, читающая книгу” — эти милые, чарующие сочетания оживали у меня перед глазами, и мерещилось что-то иное, особая страна, в которую можно совершить паломничество.

Вот две женщины сталкиваются в дверях: каждая привыкла, что ее пропускают вперед, и не знает, как это — уступить дорогу (ведущую, разумеется, к счастью). Но какую прелестную “коробочку” кариатид они образуют, когда одновременно решают посторониться!

Или бодрая мамашка в вагоне, сперва серьезно изучающая рекламу: губы сложены так, словно она леденец сосет; а в следующую секунду лихо объясняющая здоровенному сыночку задачу по геометрии. Слышно: “Изволишь ли видеть, треугольники эти подобны...” И в два счета готово решение. Трудно было не пойти за ними, чтобы часовым стать у дверей. Чтобы у этой женщины все было хорошо... Да у нее и не могло быть иначе. А вот мужа ее лучше не знать. Ведь вялый отрок скорее всего похож на него и унаследовал его характер, вернее — отсутствие оногo; характер ему заменяют пухлые губы.

Мгновение растягивалось, когда передо мной оказывалась женщина, у которой в волосах притаились маленькие черные бабочки заколок. Я бессознательно делал два шага — не только для того, чтобы составить себе ее портрет, заглянуть в глаза, из которых можно вывести тайную доктрину; я был готов и поговорить, встретиться еще раз...

В ту эпоху был ли у меня особый, специальный интерес именно к женщине, а не к людям вообще? — Нет. Поначалу мне было как-то все равно. Даже наоборот: ночами мне попадались преимущественно мужчины (конечно, метавшиеся между домами, в которых жили женщины, но это уже другой разговор, другой обертон...). Важно было просто увидеть — все равно что или кого. Увидеть — значило получить доказательство, что я еще не умер... К женщине меня повернула глубинная, неизрасходованная сила любви, которую я ощутил в себе, когда глаза у меня вдруг открылись. Любить — значит видеть человека таким, каким задумал его тот, кого принято называть богом... А почему я не мог любить и мужчин, видеть *их* такими, какими задумал бог? — Потому что это сложнее. Замысел бога относительно мужчин пролил бы слишком ясный свет на самого бога, — и это никогда не могло мне открыться. Что же касается женщины, то ведь маленькая ее ножка и золотой локон — это всего лишь крошечная частичка, которую не страшно показать инфузории, если она замахивается на бесконечность. И, кроме того, нет сомнения, что женщины лучше образованы, более читают, более мыслят, нежели мужчины, занятые черт знает чем... — “Но это злая ирония,” — скажет кто-то. — Не знаю.

Действие третье

XIV

Когда мне исполнилось 35 лет, я перебудил среди ночи весь дом, перепугал насмерть детей, псов, жен и, возложив на них ответственность за мою погибшую жизнь, побежал топиться. Так?

Нет, вовсе нет. Я всего лишь открыл, что “город-лес” населяет чудесная, доселе неведомая мне фауна, которая придаст окончательную определенность моей судьбе. Я открыл женщину...

Уф! Наконец-то я могу говорить о том, что мне интересно, что год за годом созревало, подавляемое “более значительными” предметами. Наконец-то я могу обратиться к прекрасным пустякам праздной жизни.

Я всегда боялся серьезного разговора с тобой. (Как и все честные отцы боятся этого.) У меня ведь не было для тебя идеала, а, значит, *какой я отец?*.. Но теперь: слушай, слушай...

(Работа над завещанием продолжается.)

Большую часть жизни я, наверное, простоял у окна, глядя, не появится ли человек, который переставит полюса моего мира. Кто? — Понятия не имею. Мне очень хотелось узнать побольше людей, но я убеждал себя в обратном и действовал сообразно этому. А ведь даже на даче, на которую я вроде бы бежал от всех, как зверь, преследуемый охотниками, я часами стоял среди темных кустов и слушал ночную деревню: залает собака, потом кто-то свистнет в соседней улице, быстро проедет велосипед — словно большими и частыми шагами пронесется невидимый великан; прибавьте еще неумолчный аккомпанемент: шелест падающего листа... — Да, слушал как будто это, но без человека не знал, куда себя деть. Нужно было кому-то объяснить, чего стоит эта тишина, эти деревья, эта убогая комнатуха за печкой, которую сложил мой бедный отец, столь же беззубый, как и все мы, но хоть это оставивший мне в наследство...

Можно ли начинать поиск своего лица в 35 лет? Да-да, не в 16, а в 35 чтобы начать говорить себе: “Стоп-стоп”, “дайте подумать”?

Как прав был Змей: я готов был искать себя, но только если это никому не мешало. Если же у кого-то были на меня виды и планы, то я уже и не считал, что должен стоять на своем. Это воспринималось уже как долг (иначе говоря, как то, что можно отложить, если найдется оправдание), а пляска под чужую дудку — как самое главное желание, от которого никак нельзя отказаться. Ничего и никогда не делал я сам: во все решительно я бывал втянут обстоятельствами. Я не нарушал чужого сценария и послушно отзывался на приказ. Но не могло же это продолжаться вечно.

Есть в ночи звуки, которые не пугают, а отвлекают от мыслей и заставляют прислушаться, задуматься. Звуки эти — стук женских каблучков по асфальту. Таинственные, волнующие звуки. Оттого волнующие, что ты знаешь: в такой час женщина идет не в магазин, не в прачечную, причина, толкнувшая ее в путь: любовь. Незвестная любовь, которой ты не пережил. И начинаешь уже о чем-то мечтать, кого-то вспоминать, может быть даже звать. А каблучков уже нет, они далеко. Да и любовь — только пустое мечтанье и больше ничего...

Нет-нет, совсем наоборот: говорить так значит признавать за любовь совершенно исключительное значение. И женский смех по ночам где-то внизу, в зарослях, дразнит меня, как курлыканье антилопы — тигра. Особенно звонок он дождливой ночью: он отражается от асфальта, промывает, как стекло, и заставляет дом дребезжать, как трамвай. Но не режет он чуткий слух, хотя и не дает уснуть. Нежнее нежного звучат женские голоса, и я не выдерживаю, мигом одеваюсь и спускаюсь во двор. Водопад низвергается мне на голову с перегруженных лип, а когда я вытираю глаза и с трудом разбираю очертания, белое платье скрывается в соседней улице.

Но это не беда. Вкрадчивые, звонкие голоса сирен и дриад взбаламутили глубинные, нетронутые пласты любви и потайные душевные накопления, которые я не мог излить на жену (они ей не нужны), но которые необходимо было исторгнуть из себя, чтобы не подорваться.

Душе был нужен кто-нибудь... И это не смешно, если тебе давно за тридцать и у тебя двое детей. Но почему неизвестный “кто-нибудь” лучше того, кто есть? Именно этой неизвестностью? Или тем, что примет мои накопления целиком, без рассуждений, не пытаясь еще и исправить мою любовь, приноровить к чему-то? Примет не потому, что умеет ценить любовь, а потому, что меня уже не будет рядом, когда ко мне хоть немного, но привыкнут. Не стану я ждать их привыкания. Мне слишком знакомо, как это бывает: чувствуешь в себе избыток любви, а жена твердит, что ты черствый, чужой человек. Понять это невозможно. Но если уж голоса женщин разбудили меня, как пощечина, то я постараюсь не впадать в сей унылый сон. Буду стоять у окна и ждать, ждать. Но не одну-единственную спасительницу, а целый рой гостей. Реализуюсь, стало быть, как определенная разновидность Дон-Жуана.

Постоянная, неслыханная радость, которую скрыли от нас, это — видеть женщину. Встретиться глазами на улице, улыбнуться и заметить, что она тоже улыбнулась, — да для меня это на весь день праздник. С кем только ни обручился я этими взглядами в сердце своем. В сердце? Нет, скорее в сознании, в уме обручился...

Я жаден. Боюсь упустить то, что может хоть немного обогатить меня. А женщины щедрь чрезвычайно. Одна улыбка может всколыхнуть стоячую

жизнь. И чем случайней, неожиданной улыбка, тем крепче держится она в памяти.

Когда едешь и видишь: на обочине подняла руку женщина, — стройный тополек вырос там, где еще вчера ничего не было, — кажется, что не зря родился на свет. Грудь сжимается, мгновенно проносится мысль: “А вдруг это она?” Кто — “она”? — Если бы знать!..

Глаз — удивительная сила. Если он только начнет втягивать, впивать весь облик случайной попутчицы, то нам ничего более и не нужно. У нас чудовищное воображение и нам вполне достаточно немного кино. Мы сами озвучим образ у себя в мозгу. Как же не разрабатывать глаз, не развивать зрение? В этом — вся наука. И женщины ею владеют. Когда на меня смело направлены их глаза и меня слушают, я оживаю, как лягушка, через которую пропустили ток. Меня словно фотографируют для вечности. Разговаривая с ними, я не могу не подчеркивать своего восхищения их красотой и прелестью. Даже говоря о предметах посторонних. И в женщине легко найти отзывчивого собеседника! Как она улыбнется, одобряя и ободряя тебя, как подхватит разговор в трудном месте, как быстро захочется тебе расцеловать ее. Разве с мужчинами такое бывает? Разве с ними может возникнуть вопрос: где больше красок — у неба или у милых глаз?

Особенно притягательны глаза неживших, двадцатилетних. Они еще ничего не скрывают, а только смотрят требовательно, не умея сдерживать удивления и восторга. Значит, мир того стоит? — спрашиваю я, предаваясь легким Платоныч-вариациям и повторяя самую скромную молитву, которую только может вымолвить человек: «На вершок бы мне синего моря, на игольное только ушко...» Потому что понимаю: это — о глазах. О море небесной голубизны, которое отражает драгоценный хрусталик.

Хочу признаться еще в одной слабости, еще в одной измене своему полу. Это — женская поэзия; я теперь решительно ставлю ее впереди поэзии “обычной”, мужской, которая для меня слишком... серьезна, слишком подбивает на соперничество. И в ней меньше музыки — музыки души, хотя и есть музыка ума.

Но на что мне их ум? Идя на свидание с их женами, я привык презирать и его, и самих “хозяев”, не завладевших душами своих половинок, а властвующих лишь над их телом. Презирать в них — себя, упустившего жену свою...

Женские стихи не запоминаются — повторить их так же трудно, как повторить мелодию, не имея под рукой инструмента. Но они всякий раз поражают, как «Турецкий марш», который знаешь с детства. Валаамова ослица в самом деле может заговорить и поведать историю тех, кому не дано проповедовать с кафедры или вещать с трона, кто вроде бы играет вторые роли, — но так, что главным лицам можно уже и не появляться. Им очень даже есть, что сказать, они умеют говорить — не только болтать.

И иногда они скажут не много, однако ни следа не останется от нашего самодовольства, от мифа об их приниженности.

Человеку нужен человек, сказал я. Но зачем? Можно ли объяснить это рационально?

Человеку нужно видеть, как его дух означился на собеседнике. Чтобы не одичать подобно зеркалу, которое закрыли тканью.

Но тяга к людям не проявилась во мне столь же сильно, как тяга к женщинам. Почему? И откуда эта последняя? Почему есть что-то безмерно приятное в том, чтобы мимоходом наткнуться на женское имя: Марина, Мирра, Белла, если на диване у тебя лежит томик женских стихов?..

От ощущения, что связь с женщиной — это всегда игра, шутка, мистификация — то, что невозможно с мужчинами, которым просто недосуг? Или потому, что “женщина — вообще не человек”, — как постулировал премудрый Змей?

Не знаю. Не возражать же мне Змею!.. Только никогда не получалось у меня заводить друзей-мужчин. То есть удерживать их. Может быть, для этого я должен был научиться курить? Или снова начать: ведь в школьные, да и студенческие годы, когда вокруг всегда было много почти-друзей, я покуривал иной раз. Потом — бросил, считая позерством. Но для дружбы и нужно позерство. Нужно делать вид, что у тебя друзья, нужно придавать им значение, отказываться от чего-то в угоду дружбе, паясничать...

С женщинами, наоборот, я был связан накрепко, хотя об удержании и речи не шло. Почему? — Потому что с мужчиной можно либо пить горькую, либо прокладывать новые тропы. А просто так поживать — нельзя. Слишком стыдно. И, кроме того, после Змея, Симона, Платоныча все они казались мне червяками.

Женщины же — иная раса. В чем-то высшая, в чем-то — нет. Но с ними можно — все. Покоя не будет ни при каких обстоятельствах. И покой не нужен, раз есть женщины, которые принимают меня всерьез. Ведь это же чудо! — Значит, надо жить. Даже если мужчин, принимающих меня всерьез, и нет... Почему-то верится в легкомысленного мотылька, который залетит в мою жизнь как на исповедь, как в церковь. Пусть лишь на вечерок — большего не прошу. Переворот в душе произведет один взгляд, одно слово постороннего человека, измучит одно слово, один взгляд “близкого”... И я иду к тем, кто и меня примет по словам моим, по намерениям и мечтам, не потребует доказательств и реализации того, что реализовать нельзя. Иду, потому что не отлюбил свое... Градус семейного неблагополучия поднялся до точки кипения, и с тех пор каждый мой приступ любви заканчивался женщиной, которой легко было прорвать наши непрочные узы, как жирной форели — ветхий невод бедняка.

И все же: что нас толкает в путь? Что я искал в глазах у разных женщин, столь легкодумных, лживых и пустых? тонких и развитых?

Я искал понять, чем отличаются они от жены моей, имеет ли смысл *выбор* — или его можно отменить и заменить случаем? А может быть, я искал не отличий от Даши — я искал... Наверное, я начал с поиска новой породы людей, одержимых идей, не выводимой из теологии и биологии. Я знал, что женщины одержимы детьми, и из этого круга не выйти. Но я вышел, я думал, что вышел. Я увидел в них нечто большее, иное, то, что они сами в себе не видят...

Но не стану больше говорить, “к чему я пришел”. Неловко выступать с какими-то открытиями, даже если они и относятся только ко мне. Все равно умник скажет: разверни журнал “Работница”, № 5 за 196... год и прочти то же самое.

Но я и не отрицаю элементарности своей истории. Я просто рассказываю тебе, какую последовательность составили несколько мыслей, важных для всех нас.

Сколько лет я боялся признать, что женщина — сладкое нечто, хотя и в деревне, во время бдений последнего университетского года, когда я под шум сосен решил все вопросы касательно настоящего, но обманул себя относительно будущего, — даже и тогда уже не было для меня ничего более важного. Но разве я смел признать это? — Сметь-то смел, но боялся поставить в зависимость от этого всю жизнь.

Еще в школе начал постепенно воздвигаться какой-то непреодолимый барьер. Я не решался приблизиться к девочкам, потому что это был слишком загадочный, неизвестный мир. Притягательный — спору нет. Но его неизвестность, неизведанность означали преждевременность стремления в него: я сознавал, что еще не готов, и тот единственный опыт, который вдруг обвалился на меня, только подтвердил опасения... А то, что кто-то мог и танцевать с ними запросто, и расхаживать в обнимочку — нет, я не допускал мысли, что они в чем-то лучше меня. Нетерпеливее, наглее — да. Ведь были и такие, что шарили по карманам у нас в раздевалке, — это же нельзя сравнивать с моими экспедициями в 35-м троллейбусе.

Первое представление об этом мире я получил на уроке физкультуры, когда неожиданно открылось, что подтягивание на канате вызывает странное щемяще-блаженное ощущение в животе, которое можно усилить, если напрячься из последнего. Сквозь призму лет ясно: если такое упражнение проделает кто постарше, то может достичь и вершины. Но тогда... Упражнения на канате выпадали очень редко — это было экзотическое блюдо, гораздо чаще приходилось довольствоваться футболом. Но канат властвовал над мыслями. И что же? Перед фасадом школы были предусмотрительно воткнуты в землю три металлических шеста, служившие флагштоками во время праздников. И то, что было открыто на уроке, получило

подтверждение здесь, на чистом воздухе, в вечерних сумерках — когда не было лишних глаз.

Но ведь это представление и это “ощущение” вовсе не было связано с женщиной! Оно было связано со мной самим. И куда естественнее было увидеть в нем еще одно физиологическое отправление, которое, по какой-то причине, ранее не проявлялось. Я не знал, *что* является его источником, и никто не убедит меня, что к женщине нас влечет то же самое. “Это” влечет взобраться на шест.

Когда-то я страдал бессонницей — теперь мне всю ночь снятся женщины, которых я знаю, которых встречал вчера. Я не могу забыть их улыбки, я слышу их смех, я говорю с ними. Просыпаюсь, оглушенный их словами, их пением, засыпаю снова, убаюканный их лаской. В конце концов принужден буквально выпрыгивать из постели, чтобы остановить эту феерию... Но чего еще следовало ждать от человека, который 4 года толкал, как рудокоп-каторжник, детскую коляску? Сперва одну, потом — вторую? Какой еще подноготной, каких еще устремлений? — Только отпасть, любовью ценой, но оторваться от литургического целого.

Я могу с дурной точностью, как аутист, определить, когда мне стало ясно, что я — у последней точки. — Было это в тот день, когда я вдруг почувствовал страх перед женщинами. “Неужели все — не мои?” — пронеслась трусливая уличная мысль. Тогда я понял: конец. Больше ничего в моей жизни не будет, ничем не удастся выбить эту шальную, вошедшую в ум идею.

Но я и не хотел ее выбивать. Я понесся по улицам, держа над головой апокрифическое евангелие от самого себя, первая заповедь которого была: “Не прелюбодействуй — люби! Твори любовь! Бери и давай, чтобы не порвалась золотая цепочка, не развязалась золотая повязка и не обрушилось колесо над кладезем...” То, что родилось тогда в душе, было едва ли не гимном духовной красоте женщины. Я наконец увидел возможность исполнить первейший свой долг — бесконечное познание. Пока душа живет, мы просто обязаны освобождать ее, а не застывать в однажды обретенной конечной истине. И никакая привязанность не будет последней, не заменю я ею новое плаванье. Каждая женщина — это новая мысль, и значит она для меня больше, чем Платонаристотель, потому что его можно выучить наизусть, а ее — нет. Женщины, проходящие мимо, и те, которых я знал когда-то, сливаются в единый образ. Выплывают отдельные фрагменты: волосы и белый воротничок одной, непроницаемо-черные глаза другой, руки третьей... От каждой остается только беглый штрих, но я бы хотел, чтобы эта вереница не прерывалась. Я бы тогда проследил, переходит ли количество в качество (что бы сие ни значило), или это выдумка пустого, бессмысленного старикана.

Моим постоянным спутником сделалась редкая по глубине и труднейшая для исполнения мысль размером с эпистолярный роман средней величины, которая всегда со мной и которой я ограждаю себя от той особой инстанции, что имеет на меня права.

Мысль моя прикована к самому удивительному, что есть в любви, к тому, что вызывает столь необычные перемены в мозгу: к первой встрече. Не знаю я, что лежит выше. Ведь от тебя еще ничего не зависит и тебя просто тянет к неведомому, от которого ты не хочешь отрешиться готовой мудростью. Сделав жизнь последовательностью первых встреч, получаешь в награду всего человека и мечту о нем. Ведь радостного в любви только и есть, что детская мечта о радостях любви (которые, говорят, должны быть). Значит, мечтой и следует ограничиваться. Это так же ясно, как простое число. Однако, для того, чтобы мечта приблизилась к рождению своему, мне нужно хотя бы пять минут разговора с реальным человеком — с той женщиной, которая, будь я иным, непосредственным деятелем, побудила бы меня домогаться ее и дальше.

Но на их счастье не умею я быть влюбленным долго. Очень это вязкое состояние — влюбленный человек. Непременно хочет он, чтобы без слов читали в его душе. Срам один. Хотя потребность в самообмане — одна из главнейших, спору нет. Но почему именно с женщиной так охотно обманываешь себя? Почему так легко убеждаешь: “Меня понимают”?

Понять меня? А кому это вообще нужно? — Нет, я не нуждаюсь в этой гипотезе. Я нашел слова, очерчивающие мой мир, и хочу, чтобы меня окружали улыбочивые создания — или никто. Едва лишь заметить в их глазах интерес к себе — и сразу бежать. Потому что большего от них не получишь. Если восхищение они не смогли удержать в себе, то все остальное продадут втридорога. Но мне оно и не нужно. Увлечись на день, на час — это можно. Только не затягивать.

Почему мне не скучно говорить с ними целый вечер? Почему *им* не скучно?.. Потому что на столе вино и закуски, а на сцене — румынский оркестр. И в ушах у них — сережки, подаренные мной: почему же не послушать такими ушками?..

Каюсь, мне все еще в диковинку, что со мной можно говорить. Не могу я привыкнуть к этому. А о чем говорить, — какая разница? Главное, что происходит это так, как давно уже невозможно дома, даже если мы с женой и согласны уделить друг другу милосердный час после работы. А потом надо спать, потому что мы устали и завтра рано вставать. Кроме того: можно не успеть поговорить, но надо успеть — хотя бы иногда — заняться “этим”. *Надо*. Хороша обязанность!

А когда меня слушают “они” — час, два, может быть, три — то это — вечность. Там, в семье, меня слушали, может быть, семь лет, но это секунда, ничто.

Разумеется, я хочу, чтобы меня любили. То есть я хочу почувствовать, что меня любят. И сразу уйти. “Дольше вечера вас не помнят...” — Конечно, нет. Больше одного холодного вечера не упомяну и я сам. Человек не может долго занимать наши мысли — увы. Хотеть от него длительности — непростительная жадность, расплата за которую слишком велика. Продолжения (удовлетворительного, сравнимого по остроте с первой встречей) быть не может. Одна эта тяжкая повинность — тащиться на свидание — чего стоит! Нам отказано в праве быть счастливыми. Проходили мы это. Нет, только начало. Оно столь же волшебное, как и начало любой науки. А потом — скука...

Меня могла бы удовлетворить лишь такая любовная история, которая не имела бы продолжения, а была оборвана насильно, на высшей крутизне. Остановлена, чтобы не переродиться в карикатуру... Но захочу ли я умирать?

Наверное, пора оправдаться и объясниться. Хотя — с тех еще пор, как ты ходил по комнате с моими часами в ручонках, помахивая ими, как нагайкой, и передвигал ногами в маминых тапочках, как лыжами, — я чувствовал, что не смогу дать понять. Не примете вы. И все ж необходимо показать, что я об этом думал, что мне *не все равно*.

Мне казалось, что я могу со всей ответственностью заявить: мне нравится говорить с женщиной, слушать звук ее голоса, узнавать ее взгляд на мир... и совершенно не желать *copulation** с ней. Хоть присягнуть! Разговор гораздо длительнее. Глубже. Разнообразнее. Значит, и гораздо весомее.

И куда полезнее, если женщина не принадлежит нам. Тогда можно до чего-то додуматься, развить в себе способность мышления. Обладать — значит стать собственником, Сомсом, убить мысль, спустить журавля на землю.

Вот я вижу: мальчик идет с девочкой. Но это — только для наблюдателя. А для самого мальчика все не так: он идет рядом с Чудом, с Неведомым, с Таинственным...

— До 50 лет не жениться и не “жить” с женщиной; до 50, до 60 лет чтобы длилось таинственное, неизвестное при разговоре и встрече с ними, — ничего другого я не попросил бы, если б можно было начать еще раз.

Вы не верите, что мне хотелось только поговорить с “ними”? Но если дома мне было в этом отказано (а в постельных делах, в целом, отказано не было)? Мог ли я не напиться в соседнем колодце, если колесо над моим домашним давно обрушилось?

Я пытаюсь отрицать низменные наслаждения, мне нужна “черемуха”, и я не унижаю женщин, а хочу возвысить их до себя и себя — до них. Мне нужно, чтобы у них в памяти остался не жезл, врученный мне матерью-

* *copulation* — совокупление.

природой, а мой странный дух, образцы моего красноречия и попытки преодоления банальности в себе самом. Банальности, тоже данной мне мачехой-природой.

Но критический час семейной эволюции пробил, и я не противился тому, что росло во мне, не запрещал себе “красть калачей”. Мог ли я оказать сопротивление, если бороться пришлось с тягостной мыслью, что никогда их не пробовал?

Так “они” стали моей жизнью. Множественное число принципиально. Не было никого лучше Даши — да; но никого не было лучше и Маши, Саши, Наташи... — всех моих *amores*. Я учился любовной науке не для того, чтобы обманывать их мужей и свою жену, а для того, чтобы насладиться единством душ. Которое возможно, конечно, лишь один великолепный миг. Улыбнется беленькая цветочница и что-нибудь скажет пустейшее — но для меня это сокровище Офирское, это алмаз, который я унесу с собой. И больше ничего мне не надо, хотя бы тело и томилось каким-то своим тяжелым желанием. Я-то знаю, что дальше идти — только портить.

Я не мог уже отказаться от этого безумия. Право на него дал мне Змей: я должен — нет, не познать себя, тут все ясно — я должен выявить себя, обнаружить, как вальдшнеп обнаруживается перед вооруженным до зубов охотником. Обнажиться перед самим собой, чтобы не плутать во мраке.

Могло ли остановить меня детское словечко “измена”? Имело ли хоть тень значения столь жалкое слово, когда ему противостояла бездна одиночества? Причем измена не как минутное помрачение, аффект, импульс (которые кто-то, быть может, и “простили” бы, ибо это проистекает из человеческой слабости), а глухая неизбежность?

Мыслю об этом так. Во-первых, когда это делаешь сам, это никакая не измена, а верность себе. А, во-вторых, верность, постоянство в любви возможны, конечно. Но возможны лишь тогда, когда любовь — всего лишь атрибут, одна из составных частей твоего бытия. И ты выделяешь на нее час в день, вечером или ночью (можно сократить и до 10 минут...). Если же затронут *мозг*, и женщина становится другим именем поиска и творчества — в противоположность оседлости и бытовухе залаженного обихода, воплощенного в законной жене, — тогда ей не устоять против твоей самоотдачи. Тогда можно дойти и до корней, до сердцевины, чтобы понять: дальше ничего нет. А после этого тебе станет необходим новый “объект”, питающий иллюзию.

Моим правилом — я гордился им — было: платоническое, только платоническое. Только первая встреча... Но поневоле — я узнал женщин, не желая знать их. Я хотел лишь угадывать то, чего в них, может быть, и не было. Я искал обрамления для тех страстей и идей, что во мне кипели. О чем речь? — О том, что я иногда не понимаю, чего я хочу: женщину или мысль разрешить. О том, что “хочу женщину” (“*Voglio la donna!*” — орал

сумасшедший дядюшка и кидался камнями) сильнее какого-либо иного “хочу”, какой-либо иной амбиции.

Конечно, можно было бы добавить: “в иные минуты”. Ибо в иные минуты настолько может захотеться в некое место, что остальное действительно отступает и кажется пустяком. Неплохое сравненьце... Да только не так, не так все, друзья и учителя. Ибо что есть призвание, для которого женщина, казалось бы, должна быть не более, чем красивым фоном?

Думаю, призвание есть постоянное стремление к ускользающей цели. Горение неугасимое... Пока я был *хозяин*, само это слово звучало как анаколуф, как дагеш форте имплицитум. Какое может быть призвание у хозяйина, кроме разных дурнопахнущих мелочей по хозяйству?

Но женский смех разбудил меня, как не будили похвалы Симона или издевки Змея... Ни путь птицы в небе, ни путь рыбы в воде не могли больше отвлечь меня. Что осталось? — Путь зрелого мужа к девице (и от нее). И ничего больше в жизни моей не будет (как было сказано), кроме постоянной погони за женщинами, постоянных разборов за и против. Это — последняя пристань моего бедного разума, неспособного найти нечто большее.

Как могло такое случиться? С человеком самой угрюмой профессии (угрюмой только гробовщик), занятой поиском железных законов, точного знания?

Знания? — Но чего я такого не знаю, что мне нужно? А вот неразумные, незаконные чувства редки. Теперь я хочу чувствовать, а не знать. Хочу не бегства от чуда, которое обещает наука, а наоборот: хочу чуда от каждой встречи с женщиной. До науки ли тому, кому открылось иное, веселое знание?

Трудно жить без душевного подъема. Когда у меня есть “она”, мне хочется жить. Какая бы гадость ни приключилась в быту, я думаю: “Завтра увижусь с ней.” И могу терпеть. Конечно, это допинг, наркотик, подмена какой-то неведомой мне подлинной жизни. Но больше ее подменить нечем. А незнакомая, новая женщина — это какая-никакая, а жизнь, новая жизнь, которую можно прожить в полчаса, если приобрести навык. Кто-то равнодушно проходит мимо, довольный тем, что имеет, а я останавливаюсь, чтобы открыть неведомое. Так быстрый разумом смотритель монетного двора разрешал в половину четверти часа то, над чем его предшественники билась веками.

Видно, так судил создавший меня (кем бы он ни был), что без конца вспоминать чей-то прямо развернутый в душу взгляд всегда будет мне важнее, чем заниматься делом (в каком бы то ни было смысле). Дело никуда не денется, а вот приятные впечатления, которые хочешь сохранить в себе, это дивный дар, их не призовешь по первому требованию. Потому и гоняюсь за ними, забыв всякий стыд. Труднее всего пережить выход-

ные и праздники; представьте: жена моя порхает по дому и поет, а я лежу на диване и обливаюсь холодным потом. Не в силах ничем другим заниматься, беру у детей “Тетрис” и тупо давлю на кнопки. А в мыслях — та пропасть двух или трех дней, через которую нужно перескочить, чтобы во вторник встретиться с ... Или совсем еще свежая картина: как в пятницу заезжал к ..., мы гуляли по набережной, смотрели на корабли в порту...

Серьезным людям кажется, что наличие женщины обкрадывает содержание твоих дней. Ты можешь уже совершенно ничего не делать, бросить все решительно и ни о чем не помышлять, а лежать в безлунные ночи и ждать встречи или даже только краткого разговора по телефону. Ты принадлежишь ей — той, что ждет тебя. Чем не призвание? Невозможно спорить с тем, что ничего более важного завтра не произойдет.

Если вы заводите женщину для того, чтобы отдохнуть в часы, свободные от подвигов духовных, то скоро замечаете, что она выходит на первую роль — и вы отказываетесь от подвигов, потому что в жизни и так есть радость: *она*. Вам не хочется уже никому ничего доказывать, потому что дело — есть. Каждую мельчайшую деталь вашей встречи, каждую секунду вынуть на свет вторично и просмаковать раз по двадцать. На что пригоден в миру такой человек?.. Выход, конечно, есть: наслаждаться, не любя. Однако сия забава старых обезьян — не наслаждение.

Потребность в самообмане — одна из главнейших, да. Но с тех пор, как уехал Симон, по-прежнему пустовало место в мозгу (а не в супружеской постели). И его было необходимо заполнить. Хотя бы через 15 лет. Было необходимо занятие, в отношении которого я мог бы питать иллюзии. Но самый большой самообман, самая большая иллюзия — это женщина, которая не есть наша часть, а только приманка для неутомимого охотника, напоминание о нашей несвободе, о том, что не можем мы выбрать себе такое поприще, из которого нам не хотелось бы хоть иногда вырваться в авантюру, в блуд и наломать дров. Женщина непостижима, как само совершенство. Вот и стремимся к ней, как к абсолюту, к шедевру кисти или пера, который так и остается незавершенным — подобно работам Леонардо, “Искусству фуги”, “Мертвым душам”.

Для кого-то женщины — лихая забава. Но для нас — средство преодолеть свое ничтожество. Для нас, лишенных титулов и рент, в том мире, в котором есть только одна твердая точка: деньги, — за что еще уцепиться душе, как не за Адамову иллюзию — женщину? Какое еще дело может быть у меня, дело моей жизни? От которого не отвлекаешься даже ради заработка? — Найти дело моей жизни. От которого не отвлекаться даже ради заработка... И я нашел его, и иду, чтобы насладиться мигмом влечения, и охладить свой пыл, смыть сопли, если начну увлекаться.

Боль, которую причиняет своеволие любимой женщины, легко смешать с мукой самолюбия, задетого неполучением медали или недоказательством теоремы. Ведь боль не имеет названия.

Но женщину покорить легче, чем мир. Потому что, покорив мир, не узнаешь об этом столь же достоверно, как о покорении женщины.

Покорить? Одержатъ победу? — Кто говорит об этом? “Победа” — слово для юнцов. О какой победе смеет говорить человек, этот комок грязи? Победить того, кто сопротивлялся? Значит, насилие? Но оно неминуемо падет на празднующего минутное торжество. Да и не всякая тварь способна радоваться насилию.

Вот я — одержал ли в жизни хоть одну победу, которая заслуживает гордости? И упоминания на страшном суде? — Я одержал такую победу: я победил свое презрение, которое опережает интерес. Нет, не потому, что мне “все равно”, а потому что я убегаю до того, как оно пустит корни в моем сердце. Равно как и любовь. (О чем на суде лучше молчать...)

Однако эту терминологию легко оправдать. Смешение слов происходит оттого, что успех у женщин принимается за успех в жизни вообще. Ведь иного успеха в жизни у меня нет. И женщины — всего лишь наискорейший к нему путь. Не могу я ждать. Кто способен покорить женщину (вот опять!), тот может завоевать и мировую славу. Да только что с ней делать? Завоевывать с ее помощью женщин?..

И все-таки: женщина — это чудесно, потому что заключено в ней и сладкое нечто, и горькое ничто. Иллюзия душевного родства и явь телесного слиянья. Женщина, как античастица, живет в нашем сознании один лишь миг. Но этот миг — все.

XV

С тяжелой головой снова берусь за работу. Но если бы не женщины, интерес к которым я вдруг согласился признать, я бы, конечно, никогда не вышел на высшие вопросы своего бытия. Меня уже давно не тянуло в эту черную пропасть, и снова угодить в нее после того, как я открыл траву и облака, мне совсем не хотелось.

Эти “высшие вопросы”, наверное, должны восходить к богам, и в иное время я был бы рад прикоснуться к теме... Но я сделал вид, что еще не готов этого понимать. Если ответа все равно не услышишь, зачем же обращаться в пустоту?

Почему-то считается, что бога найти трудно. Не замечал... Трудно найти и поверить в женщину, а кому это удастся, тому уже недалеко и до веры в бога. Женщина — одно из доказательств его бытия. Создал-то ее он. Это — его тайна, как говорят. Тайна?... Видя женщину, человек вспоминает, что у него есть тело, что он не чистый дух. И в этом вся тайна? В том, что она пробуждает в нас... зверя, в сущности?.. Что ж, тайна и должна иметь множество граней. Ведь и зверь успокаивается от одного слова. Нужно только знать его. Но все равно: думая о боге, нельзя миновать женщины, нельзя не выявить своего к ней отношения.

Любить — значит видеть, как и он, что нечто “хорошо” и даже весьма. Видеть истинное лицо, исходный замысел не чрез тусклое стекло, гадательно, а напрямую, отверстыми очами... Еще Симон в его работе об увертюре к “Дон-Жуану” утверждал, что женщина властвует над нашей мечтой идеальной и составляет конкуренцию не только богу, но и единой теории поля.

Что касается самих женщин, то у них с богом вообще нет никаких затруднений. Кого женщина любит, тот и есть ее бог. Влюбленная женщина не может быть атеисткой. А мы?

Мужчина, который испытал любовь женщины, не может быть рядовым верующим. Он верит только в себя, внушающего любовь. Побывши богом и осознав себя им, трудно уже возвратиться к обычной доле. Нельзя стать “нормальным человеком”, да и сама идея бога как-то ни к чему. Так что поймите меня вы, незадачливые, не обласканные женщинами носители мятых штанов, липких яс...

Идея бога мне ни к чему, но я не говорю о нем самом. Любить значит быть к нему ближе? — Хорошо. Но что знаю о любви я? Ведь мой опыт — попытка бесконтактной связи, не более. В то время как любовь — не столько связь, сколько дар зрения, открытие невидимого другим, невидимого, может быть, даже тому, кто создал тот или иной неброский лик. До связи от этого еще очень далеко — ее может и вообще не случиться.

Но главное! Если ты чувствуешь, что способен любить, и живешь надеждой на счастливую встречу, то все равно никогда не достигнешь цели. Не избежешь разочарования, потому что человек не может дать тебе всей полноты, которой ты ждешь от любви. Эта полнота превосходит силы отдельного человека. При таком понимании следует обратиться к первоисточнику, который гласит: “Бог есть любовь”. Но ведь там не сказано: “Любовь есть бог”. И в этом все дело.

Однако мне, кажется, лучше воздерживаться от произнесения этого слова, что, начинаясь буквой «л», оканчивалось мягким знаком. Да, я изучал любовь, скажу прямо. И это не априорные принципы, все взято кровью. Никогда я не стремился к количеству, только к качеству. Мне нужно было получить ответы на совершенно конкретные мои вопросы. Но любил ли я «по-настоящему» — т. е. как серьезные люди, которым некогда разговоры разговаривать, если занесло их в чужую постель? Я — наоборот — не хочу просыпаться в чужой постели, я слежу за собой, чтобы не утратить нить и не сделаться непосредственным деятелем. Мне, увы, приходится притворяться, но так уж я решил. А раз нельзя влюбиться, то что ж остается? — Волочиться. *Tertium non**. Но волочиться не просто, а “с идеей”, чтобы это было предприятием не столько эмоциональным, сколько интел-

* *Tertium non* — третьего не (дано).

лектуальным. Моя любовь помещается в мозг, а не в омуте простынь. Важнее всего — закрыть глаза, где бы ты ни был, и вообразить некую картину... Так зачем же конкретный человек и действительное общение с ним? Разве картины не могут родиться иным путем? Конечно, горько сознавать, что заменил призвание — женщиной, что и я тоже не знаю ничего лучшего, чем лежать с нею рядом. Да *знаю* я, но что с того? Что, кроме женщины, может наполнить жизнь таких пустозвонов, как я? — Страшный вопрос-то! Но я отнесся к нему со всем вниманием, и он вытеснил остальное. И мог ли я довольствоваться биологическим объяснением? Но объяснение теологическое, как и должно, завело меня далеко.

Когда-то я надеялся решить проблему, безгранично приближаясь к людям. Теперь бегу, едва завидев их. Но бегу не раньше, чем на хрусталике останется от них неясное облачко, а в голове — тихая мелодия. От женщины я всегда чего-то ждал, но, лишь только она появлялась, сразу спрашивал себя: действительно ли это — еще одна женщина в моей жизни? И отвечал: нет, конечно. Это всего лишь еще одна легкая тень, брошенная на мое существование непознанным изначальным объектом, который я по-прежнему ищущу.

Каждая моя связь длилась довольно долго. То есть она никак не началась, — только назревала. Ни в коем случае нельзя было делать первый шаг. Или ждать, что она его сделает. Этого я боялся больше всего. Никто не должен отвечать на призыв. Важна та минута, когда оковы падут, как гравитация, и нас развернет друг к другу невидимой волной. А потом нужно уйти, чтобы не стать добычей духа вражды, который сразу нарождается в смыкающихся объятиях, и чтобы из-за воображаемой женщины не выглянул реальный человек, незнакомый и пугающий, до которого мне нет никакого дела.

Возьмем привычное сближение: женщины и кошки. Те и другие всегда начеку: вдруг рядом *нечто*... Но ведь таков же и я, когда мне не скучно жить. Почему же мне не скучно с женщинами? Потому что любовь есть тайна божия? — Так я не о ней толкую, я говорю о женщинах. Что меня с ними связывает — разве любовь? В нее я только пытаюсь играть, ибо это — игра в бога, затевающего самую потрясающую штуку: сотворение человека... Вернее: в богов — в этих рослых шутников, сработавших «разумного» на обочине космической дороги, на пикнике с водкой и девочками, в перерыве между пирами, забавы ради наделив его противоборствующими началами. И он теперь мучается и безобразничает, жалуется и издевается над непохожими на него!..

Но, затеяв свою игру, я никак не думал, что окажусь способным любить их, впадая в недостойную идолатрию. Почему-то считал себя застрахованным от такой заразы. Почему? — Да потому что низвести этого идола казалось мне легче легкого. Даже и несерьезно как-то порох тратить.

(Так я думал. Конечно, *одного* пороха явно недостаточно. Нужны еще и *пушечные ядра!*..) А то, что они суеверны, неуравновешенны, пристрастны, корыстны, злы, — так это только подтверждение их высшей в сравнении с нами сущности, их избранничества. И не знаю, разумно ли поносить ветхий мостик, по которому я выбрался на пышное пастбище, но я не поверил бы в женщину, если бы не эта постоянная потребность низводить ее с пьедестала, на который сам же ее и возвел. Я должен чувствовать, что выбор мой определен не случайной ошибкой воли, а неизбежностью. Я всегда должен видеть две правды.

Глупо было бы замалчивать, что когда рядом говорили: “М. развелась с Р.”, я про себя думал: “Везет же...” Но хотел ли я сам покинуть Дашу и жениться на одной из “них”? — Нет. Какой вздор! И не потому, что мешает ответственность за тех, кто меня приручил, не потому, что мало люблю... Не верю я себе, не верю в счастье, в резкий и скрипучий поворот руля. Ведь это уже было однажды. Один раз я уже принял всерьез допотопную идею брака. И у меня не было сил, чтобы сказать: “Тогда все было не так — *теперь* будет так. Тогда было неправильно, *теперь* будет правильно.” Откуда мог я взять такую уверенность? Скорее, я думал наоборот.

А брюзжанье жены — это мелочь, которая, конечно, слегка разъедает эпителий, но все же терпима. Пусть ее. В этом я не хочу ставить на максимум. Выбирая одиночество, придется выставлять какую-то несомненную Большую Правду, а где она? Поэтому пусть будет, как у всех.

К тому же главным моим правилом было уходить до того, как женщина влюбится. Этого никак нельзя было допускать: иначе ей в самом деле могло захотеться замуж. Задача была в том, чтобы исчезнуть до.

Но разве эти матерые хищницы, воспитательницы неудачников и сверхчеловеков позволили мне воплотить мою мечту о первой встрече? Не явились *сами*, когда я определил уже уходить?

Можно утешать себя тем, что мечта, которая сбывается, это не мечта. Что поделаться, если им претит расставаться друзьями, если их выбор — расставаться либо врагами, либо — мужем и женой? Они устремляются дальше, во всем им хочется дойти до самой жути. И отсюда другое мое правило: уходить до того, как женщина начнет презирать меня — и себя — за то, что уступила, за то, что так бездумно и глупо верит в брак несмотря на то, что выходит замуж, чтобы иметь детей от человека, который грамотно может обслужить ее (пока), а лет через 5 уже и ушей его видеть не может и отворачивается к стенке... Наша, мужская ситуация, элементарнее и безвыходнее: нам просто мало одной. Потому и находим выход.

Но я уже усвоил, что для женщины штаны — атрибут полубога, за которого они мечтают побыстрее выскочить, чтобы потом гадать: кто им попался? Может быть, поэтому так любят они пересказывать свои сны — со всеми подробностями и дополнительными рассуждениями о том, что это

означает. Видимо, путают сны с действительностью и свое “я”, действующее во сне, уважают гораздо больше реального. Хотели бы, чтобы этот опытный экземпляр прожил за них жизнь, а они наблюдали со стороны.

Но и мне мое представление о себе самом кажется более важным, чем то, каким видят меня другие. Они видят только брэнное тело, которое не смогло избежать постели; но я-то ненавижу эту могилу любви и мечтал останавливаться, не доходя до нее хотя бы шаг: мне нужно *узнать*, а вовсе не переспать точно на полустанке, в гостинице с клопами... Зачем мне *спать* с ними? Ведь для этого есть жена. Да и к сну у меня с давней поры университета доверия нет, не привык я к нему — особенно более раза в сутки...

Удивительно, что сексосфера по-прежнему вызывает у меня протест. Но я — раб законов. Если мне нравится говорить с женщиной и смотреть на нее, я должен за это платить, и я иду дальше: так надо, она ждет этого, и мы не можем с ней только беседовать чинно, присыпанные нафталином. — Да, я ложился с ними, потому что иначе нельзя. Но для меня это всегда — плата за нечто большее. Я претендовал на свой путь. По какому праву? — Двадцатилетним студентом, входя в вагон метро, чтобы ехать в университет, я приказывал себе: “Не смей смотреть на ноги этих б...ей!” Но почему? Почему мы все время должны смотреть на их ноги? Даже если лицом это — мадонны Рафаэля? Или: чем более они мадонны лицом, тем настоятельнее нам видеть их ноги?

Студент отводил глаза и “не смел”, но не приучил ли я себя пренебрегать тем, что было во мне самым важным, самым сильным стремлением? Или *сделал* его самым сильным, отрицая и пренебрегая?..

Так ли уж обязательно интерес к их ногам означал похоть — и только? — Я никогда не умел разрешить сей вопрос. И полагал, что из этого томления и трепета, из неудовлетворенного стремления к обладанию родится какой-то импульс, дающий новые силы. Но если отступить, не добившись желаемого, трусливо отречься от того, что считается греховным (в моем положении, но не само по себе!), то не боишься ли, что на смену желаниям явятся тошнота и равнодушие?

Мне было бы крайне важно — куда важнее, чем измерить длину световой волны, — измерить расстояние, пройденное мной, моим “я”, от той поры, когда мне, мальчику, впервые сказали, каким путем получают дети. Помню ужас, который меня объял. И ведь нормально сказали, не грубо, но я все равно подумал: нет, *этого* я никогда не смогу... А еще через несколько лет, после ухода Ксюши, единственного отклонения от невидимой линии, женщины, едва появившись, перестали существовать для меня. Две-три зимы в моем углу, за ногами и гипотезами, — и я не знал уже, зачем может понадобиться женщина. Но как-то на каникулы приехала некая дальняя родственница, тоже студентка. Остановилась она где-то в городе, но ко мне навещалась каждый день, чтобы я ее развивал,

показывал Москву. Иногда мы никуда не ездили, просто сидели у меня и болтали... Вот однажды заболтались так, что не заметили времени, и ей поздно уже было ехать. Она осталась у меня. И что же? Мы легли спать в одну постель (другой не было), правда, она не стала раздеваться, так и легла в джинсах, но я не чувствовал к ней ничего такого. Лежали, обнявшись, опять говорили — точь-в-точь две школьные подружки, которым разрешили переночевать вместе. А девушка была очень даже соблазнительная, чистая, глазастенькая — быстрые зрачки так и жалили. Да и не только зрачки, как я теперь понимаю. Но — даже мысли не было...

Я мог бы (наверное) отдаться ей весь и навсегда, но “так” — чтобы она через три дня исчезла, а я остался мучиться, тосковать по ней и письма писать, — ни за что! Весь и навсегда — может быть, если б она позволила мне поставить ее во главу угла, в центр мироздания. Иначе я человека не принимал. Тогда мне не нужны были мимолетности.

Возможно, проблема не имела бы той остроты, если бы в 20 лет я честно бегал за юбками, развернув хвост, но меня это не занимало. Я вышел к теме только в тридцать пять и, конечно, уже не мог решить ее с мальчишеской наивностью.

Вот, стало быть, законный вопрос: почему нам так важно лежать с женщиной? — Потому что иначе ее не понять? Или потому что возникает иллюзия непосредственного общения с творцом ее — через ее тело? Особенно, когда вдруг открываешь тело в женщине, которой 57 лет. Белое, точеное, как у античной статуи или “Флоры” Фальконе. Как удалось ей сохранить его? — Нет, не аэробикой и сауной. Может быть, она вообще не была замужем и таила его от всех в ледяной пещере? А может, невнимательный муж пренебрегал им, столь редко припадая к источнику, что не замутил его. И она пронесла свое тело, как секретное послание тому, кто прозрел его под завесой случайного и временного. Она не молодилась неподобающей одеждой и броским макияжем: не притязая на красоту, она привлекала тем, что природа оставила ей на осень.

Я теперь иначе понимаю те начальные книги, которые занимают в сознании место Торы. Раньше те, кого проповедники нравственности темпераментно клеймят “блудниками”, были посторонние люди, к которым я, разумеется, не хотел принадлежать, да и не было к тому причин. А теперь, независимо от моего хотения, мне не уйти от сравнения с этими собратями по судьбе. И смотрю я на женщин точно так же, как смотрят эти самые блудники. Нет, не похотливый взгляд нас роднит (я не готов к такому снижению), а подход к теме. Именно то, что *тема* это, а не заметки на полях.

Я всегда начеку, всегда на страже. Каждая встречная женщина поселяется в моем сердце навеки. Пусть это всего лишь беглый оттиск, но он остается в архиве, в архиве сердца, в котором все равны: Ксюша, — и какая-

нибудь случайная школьница, прошедшая мимо меня лет 10 назад, когда я, кажется, еще был другим человеком. Но отчего же я помню завязочки у нее на платье, отчего не мог оторвать от нее взгляда? — Нет, не лицо и тем более не ноги влекли меня. Поймали меня эти самые завязочки потому, что у дочурки моей были точно такие же. На том байковом платье, в котором она, лопоча по-небесному, укладывала спать куколок... Говорят, негодяем человек становится постепенно. Да, начало было вполне невинно, но я и не знал тогда, что это — начало. А постепенность ощущал, как ни медленно текла она по моим жилам.

Беда в том, что и в детстве не увлекался я рыцарскими романами. “Ивенгое” был мне скучен, в Лоэнгина я не верил... Не в женщин я не верил, которых нужно спасать и носить на руках, сдувая пылинки, а в рыцарей, в то, что мы, чучела, можем быть героями.

Но в чем мое преступление? В том, что я любил женщин и не скрывал своего восхищения ими?

“Любил женщин” — что? Улавливать и мучить? Приручить и предать? Или же преступление мое в том, что, стирая все перегородки, я приближался к каждой лицом к лицу так, как приближаются только раз в жизни к единственной избраннице, — а потом удалялся, оставив их ни с чем? Запрыгивал в последнюю минуту на подножку отходящего поезда — и вот, уплывал в даль, а по шпалам, размахивая руками, бежал возмущенный ревизор?

Но ведь и женщины тоже уходили. Было ли приятно *мне*? Или меня не бросали? Но послушайте:

Я утром отворил темницу
Воздушной пленницы моей,
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.

Разве такое чувство преступно? Уверен, оно всем участникам не приносит ничего, кроме облегчения.

Если я заговорил о преступлении, то это не значит, что я чего-то боюсь. Это всего лишь сомнение — в истинности выраженного кредо и непогрешимости идола. Хотя других у меня нет и вряд ли будут.

Несчастное насекомое не знает закона, но уверено в своей невинности. Что до меня касается, то *по закону* я вроде бы и невиновен, потому что не пойман. Но, с другой стороны, вина очевидна, и судьи скажут: виновен! Так что буду брошен в яму... А в оправдание замечу: господа присяжные! Судите сами: мог ли ученик Змея быть примерным мужем? Да и вообще: возможен ли примерный муж в принципе? — По мне, можно быть только примерным любовником, периодической фигурой. А постоянной, неко-

лебимой фигурой — нет, невозможно. Это наша общая беда. Так уж мы задуманы и созданы шутниками.

Когда я искал одиночества, то делал я это оттого, что не способен проявлять власть. И подчиняться, конечно, еще меньше способен. А равенство невозможно... Как экс-математик скажу, что равенство возможно лишь с некоторой точностью. *На деле* же его нет, — что бы ни говорили тут жены, заинтересованные в лакировке. Так виновен ли я, что, наскучив подчиняться, захотел чуть-чуть покомандовать? Зная, что это не мое, но зажав рот доводам рассудка?

Как вообще рассудок может удержать нас от соблазна? Мгновенно нарисовать всю цепочку — от минутного наслаждения до ужасного разочарования, разоблачения, разрыва? — Наверное, больше никак. Но это ведь совсем не мало. Иногда все и зависит от рассудка, от силы его и власти над телом. Если эта власть такова, что ты больше живешь воображением, чем поступком, то ты просто переносишь наслаждение в другое измерение, ты прячешься в угол не для того, чтобы забыть о женщинах, а чтобы без помех отдаться своим вожделениям. Память и воображение доставят тебе любую женщину в том виде, в каком ты захочешь. Разве это не более тонкий разврат, которым ты обязан одному рассудку?

Да, переносишь в другое измерение... более тонкий разврат. Но ты не оскорбляешь своего единственного человека *действием*. Ты прелюбодей *мысли*, который неподсуден!

Нарисовать всю цепочку легко — кроме первого звена, которое дается свыше. И чтобы отказаться от него, нужно быть другим. А я — хватаюсь и держусь, не выпускаю из рук не только первого звена, но и второго, третьего — по малодушию, по неспособности к бунту. И они медленно тащат меня в ад. Куда еще могут повести эти странные существа, властвующие в постели?

Конечно, на этом поле боя мы перед ними бессильны. И именно там понимаешь, почему, говоря о женщинах, вскоре произносят и другое слово: деньги. Путь не только к телу, но и к сердцу женщины лежит через (твой) кошелек. Хоть и обнаруживается это далеко не сразу. О, нет! Вначале только и разговоров, что о любви. Ведь вначале женщины любят. Это потом они начинают методично обирать нас. Пока не разорят, не доведут до ничтожества. Тогда спокойно бросят, раздавят каблуком череп и начнут есть следующего.

Мы, конечно, куда более чувственны. Нам подавай молодочек, свежих, горячих. А им... Нет, им не нужны смазливые мальчики, им нужны зрелые, волосатые, грудастые мужики, у которых есть главное: деньги.

Когда я поворачивался к этим эфирным созданиям с гладкой тюленьей кожей, меня ослеплял блеск монеток, вставленных в их глазницы. Все они были до того убеждены в своем превосходстве над моей женой, что при-

ходили в ярость, когда узнавали (выведывали упорно, как гестапо), каким почетом окружена Даша. Для них не было сомнения в том, что ей нужен не я, а мои деньги. Что ж, не отрицаю: не сумев сделать ее счастливой, я, по крайней мере, хотел, пытался сделать ее богатой. И не им судить!.. Можно подумать, что они были бескорыстны... Нам от вас ничего не нужно — кроме ужина и жемчужин... да быть может еще — души... Пустяки, верно?

Одна из них до того не любила мою жену, столь злобно на нее покушалась, что, сажая ее в машину, я каждый раз боялся, как бы она чего не выкинула: не изрезала сиденье, например, на котором, как она понимала, чаще всего сидит жена. Есть женщины, которым нужно перепробовать всех мужей, снять по жемчужине, хочу я сказать. Не просто переспать.

Как-то раз случай свел меня с матерью троих детей. Где она взяла время на баловство? — О, вы не знаете этих убежденных, образцовых хранительниц нарисованных очагов. Когда в первый раз увидишь, как они прохаживаются вразвалочку возле своих чад, ковыряющихся в песке, как цыплята, или же красят забор в нарядном сарафане, или диктуют увальням фразеологические ребусы для проверки грамотности, трудно представить себе, что у них вообще есть... как это называется, ... да, это, — то, что на радость дано... Ан, все обстоит как раз наоборот: ведь муж у них — “дерево”, значит, им *можно*... “Я женщина, у которой все есть. Я получаю любого мужчину. А от мужа мне не нужны нежности, мне нужен его кошелек.” (Что я говорил?)

Она сумела так сплести паутину, чтобы, взяв у меня то, что я совсем не ценил и едва сознавал в себе, тут же обращать это в звонкую монету. Подобно Змею она разбиралась во мне лучше, чем я сам. Я все время что-то делал либо для нее, либо для ее детей. И она долго не могла успокоиться, если я случайно пробалтывался, что у моей жены (или даже у детей моих) есть нечто такое, чего нет у нее, у ее детей. “Я ненавижу твою Дарью Петровну,” — это был припев. Но за что? Мою Дарью Петровну позволено обижать одному человеку — мне... Конечно, я не был первым ее любовником, и она уже довела искусство вымогательства до редкого совершенства. Думаю, муж смотрел на все сквозь пальцы. Она бесстыдно заявляла, что для нее существуют только две вещи: ее собственные интересы и интересы ее детей. Дальше — хоть солнце не свети. Потому что убежденные матери — это единственные птицы на сей земле, в которых баловники-творцы не поленились вложить четкое чувство цели, с которого их нельзя сбить ничем. Они знают, что самая большая победа в их жизни — ребенок: можно ли быть ближе к оригиналу, к природе, чем производя на свет? И резче отделиться от ненавистного и мелкого мира мужчин, над которым они так легко возносятся? Им смешон наш бедный разум, пытающийся пробить стену тайн, за которой они сидят. А то, что удача эта — только для них, что сами дети ее не видят и даже не могут пользоваться ею, потому

что не то нужно им, не мамкина грудь, — говорить им бесполезно. Станут они слушать и, чего доброго, задумываться!.. Нет, я не против, это очень важно: тогда б не мог и мир существовать, если б они колебались, как мы, горемыки. Но почему так судили творцы, что именно мы, созданные по их образцу, должны быть горемыками? Чем мы провинились, что, не получив признания в мире (в мире людей), я должен довольствоваться тем, чтобы получать признание в мире женщин, отдающихся мне, — якобы “просто так”, из удовольствия? Что только они — оправдание моей жизни?

Нет, не влюбляйтесь в матерей, ребята, ничего путного не выйдет. Сопли и рваные штаны им все равно будут стократ дороже, чем вы. Правда, надевая свои узкие юбки в мелкую клетку (сами носят на себе свою тюремную решетку), они делают прелестные волнообразные движения бедрами — и за это им, наверное, должно прощаться все. По *их* замыслу, ибо несомненно, что матерей творцы оставили для себя. Даже матерей-ехидн, которым плевать на детей, которым тоже важнее всего — обобратить нас и раздавить каблуком череп. Мать-ехидна очень гордится, что она столько поимела; она тоже получает любого мужчину.

Трудно забыть одну, образец породы... Теперь она в Австралии, на родине, так сказать. Ее деятельная натура могла увести ее и подальше... Она не ждала, что к ней подойдут: важно было найти самой — и подойти. Она знала, что все мужчины не могут принадлежать ей, но к этому можно и должно стремиться. В меня она бросалась, как в море. Она впивалась, как гарпия, и у меня на груди, на плечах, на запястьях оставались следы, как от присосок, прищепок, наручников. У нее был неугасимый, кеплеровский интерес к нашему полу, но она никого не баловала: сразу переключалась на следующего. Я даже возревновал, помнится: не к человеку, который стоял в очереди после меня, а к тому, что она тоже не желала заходить дальше первой встречи. Ей было довольно. Она, как большой художник, теряла интерес к своему творению после того, как производила его на свет. Она уже грезилась о новом, от каждого хотела бы иметь по ребенку.

Это сама жизнь, которой наплевать на все, не только на детей. Она даже своими наслаждениями не дорожит, она их не помнит. Ей подавай новых. Она само будущее и не позволит тормозить себя сопливыми цепями. Пусть дети плачут, на то они и дети, чтобы не понимать. А когда поймут, утрут слезы и сами бросятся в жизнь. Мужчина? Только крупница жизни, хотя и пряная.

Разговор о моем поражении — долгий разговор. Но кто самый благодарный участник разговоров о поражении? — Опять-таки женщина. “Теперь-то он мой,” — думает она, слушая его рассказ, обильный не новыми для нее чувствами. Впрочем, разве не доставили мне несколько чудных минут их портреты, картинки с натуры, которые я схватил в половину чет-

верти часа?.. Да, они не пели Шуберта, не делали живых кукол, не умели ничего, — только отдаваться. Поэтому я не увязал в их миры, я проходил над ними, скользнув крылом, и думал, что взмываю в высоту.

Но, обнимая женщину, нельзя не сознавать, до чего ты ничтожен. Только воздержание способно привести к величию. Думаю, самое благоприятное решение вопроса — онанизм, хотя и тут есть над чем поразмыслить. Я понимаю: для того, чтобы у сапиенса всегда было хорошее настроение, ему просто необходимо с определенной периодичностью взбираться на женщину. И если я совершаю грех блуда с самим собой, то нарушаю шаткое равновесие чьих-то сфер. Однако занятия смиренного отшельника, мастурбирующего в потемках, кажутся мне куда чище обычного совокупления с женщиной. Разумеется, если при этом не держать перед глазами соблазнительных открыток и не вызывать в воображении запрокинутые женские ляжки. Чище, да. Потому что избавляешься от нужды мять их ватные груди и реветь, пусть и про себя, как дикий павиан. Вы хотите сказать, что не все так выражают свою любовь? (Точнее: свою похоть?) Но сколько в этом акте хищного? Ведь и похоть — агрессия.

Что такое есть в натуральном акте, чего не было бы в мастурбации? Ответьте, кто может... Нет, стыдливые люди не признаются в том, что самоудовлетворялись. И это тем более странно, что они не считают нужным скрывать, что покупали отдельные части женского тела. Для них это своего рода доблесть. Хотя, по мне, оно еще постыднее, гаже: использовать человека, чтобы отвести вожделение. Можно выходить в мир со своей любовью — стыдно и подло выходить в него со своей похотью: ее нужно утолять домашними средствами. Но я не знаю, как доказать, что не верю я в самоценность акта, что не он определяет мой интерес. Что по-прежнему главное для меня — находки зрения, открытые мной во время блужданий в лесах и теперь только перемещенные в иную плоскость — женщину...

О чем думают во время соития они? — Чрезвычайно смышленная девушка баскетбольного сложения, “Варя-философ”, объясняла мне, что для нее любить мужчин значит мучить их. Ибо это лучший, если не единственный способ их удержать. Только так можно добраться до тщеславия — самого чувствительного, что у них есть. Наряду с... “Вам свыше женщина дана, уймет тщеславие она,” — вторила мне эта тянувшаяся к мудрости законодательница быстрых контактов. Одновременно со мной она встречалась с каким-то кавказцем. “Он работает в ресторане... Нет, ты не думай, он не из тех, ему просто очень деньги нужны,” — оправдывалась она.

Блаженны нищие, для которых самая большая проблема — деньги. Я тоже был таким — вернее, предполагал, что был. Они могут уже не задумываться о самих себе.

Забавнее всего было то, что скакавшие из постели в постель кроткие серны успевали упрекнуть меня в том, что я лгу. Одна из них даже прило-

жила к этому какую-то цитату из Кафки. Ну не умора? Не лгать, значит? Но ведь ложь — искусство, гроссмейстером которого я являюсь. Не лгать? Но это значило бы не жить. А только думать и извиваться: как бы не солгать. И кому, кому нельзя мне лгать? Всем-всем-всем — или же только тебе? Ах, тебе единственной, исключению из неизвестного правила.

Но проказница не предполагала, какой камень бросила она в болото моего самодовольства. “Жить не по лжи” — это была заветная мечта, с которой я в слезах распростился. (Или со смехом?..) Нет и не было для меня более магических и желанных слов. Иногда мне кажется, что от этой жизни, жизни без лжи, меня отделяет перегородка толщиной с лист бумаги, что мне нужно только перестать расточать себя перед пустыми, завистливыми созданиями, готовыми переварить и гораздо более неприятательные кушанья, — и я смогу протянуть палец и с легкостью проткну эту перегородку... Но этого нет, нет... Потому что ложь велика, красива и цветиста. Правда же неприглядна и упряма, правда ничтожна. Кто спорит, правда — великая наука, но с науками я давно на “вы”. Так что простите меня, милые физики, Симон *und anders*... Не зря вы тогда отвернулись от меня. Но я не сержусь, нет, хотя и не простил. Я просто забыл.

Конечно, боязно это писать, но ... упражнение во лжи сделало меня более восприимчивым к тому, что творят и говорят люди. Оно *умудрило* меня — и неспроста. Ведь только ложь гибка, только ее можно применить к обстоятельствам и жить, жить... Как насчет носа? Но я же не Пинокио, я лгу не фее, а всего лишь жене и тем женщинам, которых правда интересуется в последнюю очередь. Правда строптивая и строга, ее ни к чему не применишь, не подвинешь ни на пядь. Жить не по лжи нельзя, потому что хочется жить, а не дышать лишь — пусть и честно. Правда — это хорошо, но она недостижима для человека, суть которого — самообман. Вот то гoryщее, что приводит в движение наше тело. Кто неспособен обмануть себя подходящей иллюзией, шагу не сделает, прильнет к земле, как Антей.

Однако, провозгласив сей гимн, я все же хочу высказать некую правду! Противоречие? Ни малейшего. Значит, мою правду, как строптивного карпа, можно взять только на блесну лжи. Ложь с готовностью придет мне на помощь... Я не претендую на последнее “слово о человеке”, но мой скромный опыт обеспеченного сибарита говорит, что безусловно правдивым двуногое без перьев бывает только, прося денег. “Взаймы”!.. Так слава же тому, кто изобрел ложь!

Я выплеснул этот нелицеприятный негатив, потому что правдивым мог быть только здесь, сам с собой. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный... Ерго я, как и всякий человек, не лгущий самому себе, есть человек совершенный — по крайней мере, в себе самом. А если я лгу другим, то делаю это потому, что сказать правду было бы куда большим грехом. Жене ни к чему знать все то, что я не смог сказать ей, что взошло

во мне, как на запущенном огороде, с тех пор, как за мной перестали ухаживать. Поэтому ложь неизбывна. Она куда лучше разрыва, распада. И не потому, что нужно сохранить свои удовольствия, а потому что нужно сохранить жизнь и того человека, для которого разрыв был бы ударом. Ложь тоже удар, но удар не голым кулаком, а через подушку...

Нет, я не спорю: ложь отвратительна, как ласки палача. Ложь унижает, выбивает почву из-под ног. Тебе не верят, с тобой нельзя жить... Но не иллюзия ли — сама эта почва? У меня ее никогда под ногами не было, почему же должна быть у вас? Любая “правда” — правда на какое-то время. Но и ложь — правда на какое-то время. Что ж пользы их различать?

Мы часто заявляем: не хотим больше обманывать себя. Но означает это лишь принятие нового обмана, который еще не приелся.

Правду говорит человек или лжет — ты веришь в это до тех пор, пока тебе удобен сей сон. Увы, это так. А если ты решаешься верить слепо, только потому, что веришь *этому* человеку, то пробуждение твое будет пробуждением Рип ван Винкля, не заметившего, что он проспал 20 лет. Потому что верить нельзя даже богу.

Я начинаю там, где останавливается самый правдивый человек, с притворным смирением признающий: “Да, я вспыльчив, да, я люблю поесть.” Я ни минуты не медлю с признанием, что ложь и тщеславие — это я от начала и до конца. Плюс зависть: к создателям “ХТК”, “Крейцеровой сонаты”, “Principia”*. Которая, конечно, много меньше любви к ним; зависть эта в действительности лишь перереяженное презрение к себе.

Но зато я правдив, я чертовски правдив! Я больше не пляшу под чужую дудку, чтобы кому-то понравиться, кого-то убедить. Какая ложь? О чем вы?

Почему я вдруг обрушиваюсь на женщин? — Конечно, потому, что не хочу быть рабом их. Рабом мужчин я не буду, потому что не педераст (и потому что автор “ХТК” мертв), а вот женщины меня притягивают, ими я могу увлечься — и тогда попадаю в зависимость. Нет, не в полную, но и намек на нее достаточно тому, кто не хочет быть рабом даже своей любви, тем более, что в нее не верит. А зависеть от них, пусть и прелестных, но всегда одномерных созданий — что может быть ничтожнее сего удела младенческого? Но я по-прежнему убежден, что *интересные* женщины — есть. Пусть пока только на обложках поэтических сборников и можно прочесть их имена.

Я верю, что, изрыгая проклятия, стираю разницу между идеальными фигурами и наездками, которых встречал в жизни. Женщина... это то, что гробит любой замысел. Вечная альтернатива — но не долгу, а разуму, сознательной и выношенной жизненной позиции. Это наше прибежище в минуту бессилия и отречения от самого дорогого, от того, что признано

* Principia — «Математические начала натуральной философии» Ньютона.

самым важным. Она не просто бросает вызов нашему разуму, но и доводит его до полного недоверия к себе. Все жертвы приносятся только ей. Даже если тебе удастся воплотить задуманное, то это будет не более, чем памятником твоей любви (как она это называет) к ней. Нет иного препятствия, которое завистливый дьявол поставил на пути людей, желающих что-то знать, уметь. Вспомним хотя бы Симона!.. Но можно ли верить в дьявола, не веря в бога? Или не надо “слов”? — Хорошо, назовем так: силы добра, силы зла... Но кто есть кто? Что есть сила добра? То, что хочет добра, или то, что его делает? Второе, конечно, важнее (так люди думают). Но именно тогда под силы добра черт и попадет. А что до бога... Не уверен, что его следует причислять к силам добра. Такая, во многих отношениях скучная вещь, как добро, не может всерьез занимать его. Мир бы тогда был иным... Другое дело — зло, которое цветисто и многолико.

Если бы женщины, подобно нам, относились к земным существам, от века населявшим эту юдоль плача, они не напирали бы на “чутье”, на интуицию, которую считают могущественнее разума. Завоевания интуиции они верят больше, чем находкам интеллекта, по той же причине, по которой богословы сознательно покидают почву логики: в своих построениях они не хотят отступать перед законами разума — железными законами. Как всем чужакам, им нужна неуязвимость, неприкосновенность.

Отсюда их вероломство, коварство, корысть — которые почему-то принимают за самоотдачу, за умение “любить всем существом”, всерьез, а не шутя, для игры, как любим мы... Еще один пункт — проститутки. Почтенные матроны их презирают (хотя не отказались бы иметь такую же фигуру) и считают проститутками всех женщин, которые не вышли замуж за того, кто первый овладел ими. Но если со стороны мужчины, может быть, и естественно стремление взять в жены невинную девушку, чтобы получить самое ценное — первую любовь, то со стороны женщины, по моему, естественнее как раз и не отдавать мужу, который пришел, чтобы взять все, хотя бы первой своей любви, — той, которую она свободна направить на кого угодно, которую ей выдали в качестве аванса перед тем, как она начнет всерьез трудиться на пославших ее...

Я обдуманно бросаю им в лицо этот стих, рожденный опытом, потому что такую “форель” они едва ли пожелают оставлять за собой и вытряхнут из своих сетей. Она разобьет лед слащавости, под которым прячется истинное отношение к женщине. Желчную особь сколько ни корми, сколько ни рассматривай в аквариуме, есть не станешь. Исключение составляют жены, которым нужно же что-то делать с мужем, который у них как-то завелся. Но вот *что* с ним делать — это вопрос. Они тоже не сразу смиряются с ужасной истиной гнусной природы, из экономии создавшей только две опоры для семьи: кухню и спальню. Им тоже этого мало — поначалу. Но потом они привыкают, «устраиваются», и им очень даже подходит, ес-

ли, доставляя питание, мы сохраняем значение только в качестве фалла, а с другим лучше не лезть. Другое жена может найти в ином месте — заодно отведав и чего-то более острого. Мне ли не знать? Но культ чужого фаллоса — только прикрытие для овладения и чужими деньгами. “Я получаю удовольствие, поэтому можно и «так». Но... ведь и он получает удовольствие — поэтому пусть платит.”

Жены теперь работают, и это хорошо. Но что такое “жена работает”? Проводит целый день в сутолоке, где каждая минута — борьба и интриги, нервы и домогательства... Да, и уважение, и (может быть) деньги, и самоутверждение, я понимаю. А вечером, когда такая жена, покачиваясь (от усталости), приходит домой, где ей надо еще одну смену выстаивать у плиты (потому что дочка выросла белоручкой, а мужчины к плите не приближаются, дорожа своей независимостью), знаете, как она отделает каждого, кто подвернется ей на пути?

Вот поэтому я и не подворачиваюсь ей, меня нет. Я не хочу огорчать и разочаровывать ее, оттого и держу про себя больше, чем говорю ей. Молчун такой стал. Но это не значит, что кому-то другому я могу сказать больше, вовсе нет. Нет у меня этой потребности “делиться сокровенным”. Я ведь человек без отдачи. И тоже не знаю, что мне делать с женой... Так и сидим с ней рядком на ограде кладбища и молчим. Грустная картина, способная развеять лишь шутников, породивших ее.

XVI

Когда нельзя уже было спорить с тем, что “они” — последнее, что есть у меня, я стал хвататься за все, что можно было бы выставить против. Но то, что было у меня против них, было за них. При более позднем анализе... Они освободили меня, оторвали от доброты и других избыточных аксиом, которыми я поторопился себя связать.

Но что же происходило в семье в то время, пока я совершенствовал дух и пускал тело мое исследовать все, что делается под солнцем?

Ничего особенного, казалось мне, ровно ничего. Машина катилась, а замечал ли кто-нибудь, в каком состоянии я нахожусь? — Наверное, не более, чем я сам способен уяснить состояние, в котором находится кто-то еще... Думаю, если бы жене стала известна хотя бы часть того, что наполняло мои мысли и мои дни, она, не задумываясь, выставила бы свой диагноз: сексуальный раж. Нет, от нее я не ждал понимания...

Что до детей, то пока рано мечтать о том, чтобы они меня поняли. Пока надо бы сохранить любовь к ним, которая, по мне, не более, чем барьер, за которым можно спрятаться от настырного мужа. Или жены. Взял пацана и уехал с ним на все выходные рыбу ловить. Или на футбол пошли... Так я и делал, пока в душе тлела успокоительная мысль, что детям моим, когда они вырастут, будет интереснее со мной, чем было их матери. Но не

ожидал, что... мне самому станет еще менее интересно с ними, чем с их матерью.

Иначе не могло быть в том зловонном климате семейной жизни, который растлеивает душу. Вместо того, чтобы видеть все, как есть, я отворачивался и оправдывал любую мерзость, только бы не ломать статус кво. Я позорно долго пробыл в этом плену, но я все же из него освободился. Моим кредо, моей краеугольной фигурой стала фигура неудачника, который не желает бороться за то, что навязано ему со стороны, а спокойно признает, что просто обязан отказаться от чужих путей, широких и проторенных, что свой, глухой и петлистый, ему дорожке.

Но я был отец, муж — и мне приходилось держать при себе эту мысль и рядиться клоуном, притворяться, что у меня есть какое-то положение, какие-то “принципы” — одним словом, поддерживать “имидж”, чтобы не терять лица. Я не могу предстать аутсайдером перед детьми, перед женой. Я должен делать вид, что нет ничего выше школы и работы, движимого и недвижимого имущества. Я должен хмурить брови и произносить рацеи, а не молчать, как мой отец. И это при том, что я ни одного серьезного слова не могу написать без кавычек! Какую бы позицию я ни занял — и кто-то ни занял — у меня всегда найдутся возражения.

Дети ждут от меня принципов и идеалов, но что я сам жду от них? — Мальчик — да не станет бандит; девочка — да выйдет замуж за хорошего человека. Что еще?

Дети всегда чувствовали, что я — ненастоящий. Помню, когда сын едва только родился, приснился мне сон: я несу его в ванную, а он болтает ногами, извивается, как угорь, и кричит: “Не хочу!” Ему было тогда 2-3 месяца. А когда он и вправду заговорил, вырос — я других слов от него не слышал. Если сильное солнце слепило его в коляске и мешало спать, я своей головой создавал над ним тень. А теперь он говорит, что я чуть ли не «загораживаю ему солнце»!

Но детей двое. И иногда мечталось о том, чтобы поделить семью пополам и зажить спокойно, мирно, как Чехия со Словакией. Я бы остался с дочкой и, подобно Просперо, воспитал ее на зависть всем принцессам. Без телевизора и прочей дряни. Знаний у меня достало бы. Приглашал бы к ней “добрых старушек”, чтобы рассказывали сказки... Да, было такое мечтание, но смешно вспоминать о нем, когда из ее комнаты доносится бряканье магнитофона. Ну и старушки тоже: когда, гуляя, усердно развлекал своих малолеток, потакал им во всем, злобные свеклы ворчали со скамеек: “балуешь ребенка”. Они, конечно, считали, что правильнее было бы баловать их... Но мне нравилось — пока дети не выросли. Теперь они уже не радуются чуду чисто, искренне, а скучно ждут, когда я открою кошелек. Удивительно ли, что и мне тоже стало с ними скучно? Но несколько лет ведь было? — Довольно и того.

Однажды зимой, в те времена, когда еще ничего не надоело и не сбылось, мы на прогулке набрали в сквере на снеговика, по которому кто-то дал желтую очередь, помочился на творение детских рук. Тогда подобное недержание было внове и еще не стало нормой... Так вот: не есть ли мои нынешние суждения о *моих* детях — такая же очередь по их детству, которое ведь было же настоящим? Недаром, когда я иногда засиживаюсь в ночи и пишу эти заветы молодому поколению, за моей спиной раздается какое-то неторопливое облизывание. Кто бы это мог быть? Минотавр? Келе? Чудище обло, озорно, огромно, сторожащее и откармливающее свою жертву? — Не знаю. Но все равно пишу, несмотря на неуверенность и отсутствие принципов. В этом — великое благо письменности. Не надо ничего доказывать, отстаивать — и можно ничегошеньки не скрывать. При условии: прочтете сие завещание *после моей смерти*. Этот рубеж условен, конечно, но вне условностей и нельзя понять почти ничего.

Зачем марает бумагу человек, не желающий, чтобы его приняли за писателя, пишущий по обету, а не для обеда? Что его заставляет?

Совесь, только совесь, даже если он и отрицает ее. *Особенно*, если отрицает. Кто жил и мыслил, тот имеет право на то, чтобы от него осталась книга. Или хотя бы несколько строк... Меня всю жизнь занимал вопрос: как я думаю? Как я неправильно думал в таком-то году. И, как критик, — свой собственный — я, пожалуй, заслужил медаль. Но как апологет самого себя я, конечно, заслуживаю кнута. Равновесие достигнуто, а это главное. Теперь на моих похоронах никто не посмеет заявить (или только подумать): он растратил себя, он не осуществил себя... Растратил и осуществил ровно то, что хотел. Возможно, как сумма своих поступков я и есть величина сильно отрицательная, или даже мнимая, но это только для других. Важнее (по мне) то, что я значил для себя самого, с какими мыслями я совершал эти пресловутые «поступки». И я не намерен, как чибис, жаловаться на судьбу.

После легкого биения головой об стену и наскакивания друг на друга в семье нашей установилось перемирие. Я не стремился к черте, которая, конечно, находилась за пределами семьи, и все стало тихо. Мы с самого начала жили нормально: все у нас было общее, как у мужа с женой и должно быть. Но после краткого и, казалось, целительного *отпадения* — периода, когда мы, не ссорясь, жили как будто каждый для себя и в себе, думая, что очень умело предоставили друг другу отпуск, чтобы отдохнуть... — после этого уже почему-то не могли быть единым целым, не могли вернуться: я покатился вниз, она поплелась вверх.

Глупо было бы спорить с тем, что нет более светлого учреждения, чем семья. Се абсолютно охранительная инстанция, горнило величайшей нравственности и верности. И мы стараемся быть примерными супругами. У себя дома... Но мы выходим из семьи, чтобы доставить ей пропи-

тание, а себе — удовлетворенное тщеславие. И нам скучно в мире сем без тех, кто нам дорог. Мы томимся по полноте, к которой привыкли в семье. И нас тянет восполнить ее при помощи разнообразных авантюр.

Я знаю, женщина тоже верит в святость брака. Но она прежде всего верит в постель, в то, что там вылечиваются любые раздоры и ссоры. А мы? — Убедившись, что ошиблись, и она не та, какой обещала быть всю жизнь, мы бежим сей постели, как операционного стола... Когда жена вдруг прикасается ко мне, я чувствую, что это кто-то совершенно посторонний, — так это нелепо. Но я умею справляться с дрожью; оказывается, это не так уж страшно, если привык. Только не надо называть это любовью. Постель куда прочнее цементирует брак. Если удастся договориться о правилах поведения в постели, то брак устоит и без любви, устоит несмотря на любые идейные расхождения. А если в постели нелады, то и единство духовных интересов может оказаться недостаточным.

Счастливых мужей не бывает — таков закон. И мы не виноваты. Последний счастливый муж был Адам, у него не было других забот, кроме Евы. А теперь нужны особые средства, которые заставили бы нас любить своих жен, а не чужих. Любить жен, а не призраков, создаваемых нашим воображением вместо бога, который ушел на пенсию. Безнадежно бороться с этим страшным соблазном: женщина, наряду с музыкой и математикой, составляет одно из тех обольщений мысли, благодаря которым мы имеем возможность созидать в идеальном. Ускоряя мысль, она воспитывает мечту.

Вы, конечно, спрашиваете: а может ли быть, чтобы женщина, интересная мне с какой-то точки, не возбуждала во мне желание лечь с ней? — Конечно, 100 голосов не дадут мне ответить и завопят: “Нет!” Им непонятно, зачем украшать и обсаживать свою половую жизнь (а что же еще?) кудрявыми возвышенностями. Поймет меня только тот, кто сам таков, кому тоже недостаточно этого мира. Разумеется, они лгут, подлые животные. Мне всегда бесконечно чуждо было их понимание. Но я не хочу никому ничего доказывать, пусть будет так, как считают все. И тем не менее: прочтите это после моей смерти.

Итак, три соблазна: музыка, математика, женщина... Первые два были, в известной степени, навязаны мне извне, третий же — личное мое открытие. Музыка и математика не стали для меня “путем в бесконечность” по причине моей слабости. А женщина — стала, потому что на ней я узнал и испытал свою силу. Которая проявилась в том, что я добровольно подчинялся женщине, позволял ей брать в плен мою мечту и вести ее к высшему, не спорил с тем, что фуги и теоремы не в зачет.

Но именно благодаря тому, что я, как Федор Павлович, знал толк в каждой встречной женщине, я оказался на пороге еще одного, самого главного открытия: того, чтобы боготворить не только «девочек», но, так сказать,

и мальчиков!.. Интерес к женщинам давно казался мне безупречным. Потому что к нему примешивалась похоть, которую, конечно, никак не распознать. А интерес к *людям* свободен от этого недостатка. И нет объективных причин, чтобы от кого-то отворачиваться, — в особенности от тех, кто гадок и чужд (на наш взгляд); ведь каждый несет определенный смысл, бесконечно важный и для меня. Мало того: следовало бы прислушиваться как раз к своим отрицаниям, присматриваться к антипатиям. Самый главный опыт — отрицательный, связанный с ударом по самолюбию, самодовольству, сомнению. Отрицаем мы обычно то, что пытается заставить нас одуматься, пересмотреть принципы, выработанные ценой жизни. Мы ни за что не хотим отказываться от того, что нажили своим горбом, поэтому лучше фыркнуть и в негодовании отвернуться, а то и пустить крепкое словцо.

Я изрядно смеялся над этим новым откровением, падшим на мизантропа, но... Воспользоваться им я уже не мог. Если бы я остановился и начал, по своему обыкновению, выкапывать под ногами яму, моя история еще могла бы сделаться иной. Однако у меня уже не было времени, я должен был доигрывать начатую партию, а не затевать новые.

Как я могу так сразу разделаться с тем, что есть моя видимая часть, что есть мои — как это? — профессия, призвание и — самое сильное увлечение? Но я хочу, чтобы там, где кончается все, что связано с моим именем у людей, оставалось еще что-то, какая-то страшная тайна, которая *и есть* я. И не боюсь отстаивать позицию, которую иначе, нежели “Апологией неудачника”, назвать нельзя.

Призвание? Когда-то в моем словаре был такой термин. Но, не найдя ему толкования, видишь, что имеется некое постоянное занятие, «хобби», которому ты поклоняешься с куда большей отдачей, чем тому, что считается твоим призванием. И знаешь только трясины дней. Есть у тебя призвание, нет его — ты все равно вязнешь и пытаешься выбраться, и снова вязнешь, и опять выдергиваешься, как морковка. Правда, это все равно значит, что призвания у тебя нет, есть только протест.

Как называется та форма поражения, которую я избрал? Иначе говоря: где я служу? — Не имеет значения. Важно, что неудачником меня не называют. Кто? — Люди, которые меня не знают. Со стороны посмотреть — у меня как будто есть положение, родные и близкие. Меня уважают, ценят... несколько десятков человек, я думаю (знающих, как меня зовут). Или несколько сотен (знающих меня заочно — по результатам моего подневольного труда...). Но что мне в том? Меня ценят за то, что не составляет и сотой доли моих мыслей, а благосостояние приносит мне то, что не отнимает и трети моего времени. Я баловень, скажет кто-то. Может быть, у меня и врагов нет? — Врагов, которых я мог бы уважать, действительно

нет, зато есть завистники и ненавистники. Их не так много. Главный среди них — “шеф”, тот, кто руководит нашим муравейником. Хотя “руководит” — это не про него. Есть руководители, которые «заводят» свою команду для решения проблем (и таков я). Но под его не то руководством, не то куроводством можно только размазывать манную кашу по тарелке. И ему не нравится, что я прямо смеюсь ему в лицо. Да, и это мне позволено... Но я не ценю того, что имею, что далось мне само собой. Я вздыхаю об ином.

Откуда это (нечистое, наверное) желание: быть не тем, что ты есть? — Но кто я есть? Какова моя научная карьера в действительности?

Однажды в стародавние времена мы со Змеем отправились на велосипедах за город. Вышли на шоссе, хорошо разогнались, едем. В минуту эйфории нам казалось: даже от машин не отстаем... Вдруг мимо с жужжанием пронеслось цветное облако. И скрылось впереди. Не сразу поняли мы, что это была группа велосипедистов, которые на нас, конечно, и внимания не обратили... Вот я и спрашиваю: можно после этого по-прежнему участвовать в гонках? Не уйти в таксисты?

Моя история — ровно такого же рода. Хотя на деле я, кажется, не сразу оставил трассу: понадобилось много лет культивировать в себе тщеславие, чтобы понять: пока есть они, я должен заворачивать мыло.

Для жены я был великим математиком, потому что умел объяснять детям проценты, но в науке, как в спорте, ты всегда знаешь, кто — первый. А “для себя” — пожалуйста, можешь заниматься. Развлекаться и удивлять непосвященных. Конечно, можно быть первым в своем весе. Весовые категории — изобретение, при помощи которого люди хотели уменьшить число неудачников в мире. Но нужен не клочок земли, обнесенный изгородью, который может быть сметен стадом буйволов, а, по крайней мере, остров, где ты царил бы безраздельно, где никто не мог бы победить тебя, даже нарушив правила и соглашения.

Кто меня обогнал, кто пронесся мимо, как паровоз? — Кто угодно. Их тьмы, и тьмы, и тьмы... Я одинок, а успех в этом мире дается лишь тем, кто образует союз с другими членами стада. Людям свойственно объединяться и обмениваться дарами, давать — чтобы получать взамен: гранты, приглашения, премии. Почему ж я не таков? Потому что мне нечего дать? Не надо приbedняться — ведь и на мое место кто-то претендует. Нищий с двумя пустыми бутылками завидует нищему с тремя... Но ученик Змея не мог успокоиться до тех пор, пока не отыскал дело, в котором он первый, в котором никаких соперников даже и не может быть. Пусть это даже окажется той или иной формой мастурбации, но он не потерпит конкурентов и, рано ль, поздно ль, но отбросит суррогат призвания, навязанный университетом и годный лишь на то, чтобы надолго задерживать движение к себе, самосозревание. Наука — непозволительная роскошь для нас, Карамазовых в пятом колене. У нас дома ад и содом — до бесстрастных ли ма-

терий, до игры ли ума нам? Пусть ею занимаются те, кто выросли в благополучных семьях, с бабушками и пирогами. А нам — холодно. Нам нужно утешение, которое может дать только женщина. Или стихи ее, из которых мы с удовлетворением узнаем, как глубоко презирает науку она... Женская поэзия открыла мне, что любовь занимает ее создательниц ничуть не больше, чем авторов-мужчин. У них сколько угодно других тем! Конечно, стихотворцев моего пола любовь интересует хотя бы уже потому, что им нужно оттачивать свое искусство завоевания женщин, в котором стихам принадлежит не последнее место. А женщинам нужна любовь в жизни, а не в стихах: они не довольствуются черемухой.

Так что ученым я себя считать не могу. Какое там! Но то, что несколько самых искренних лет были отданы науке, навсегда втиснуло жизнь в глухой коридор. И я не собираюсь отрицать того, что по-прежнему может дать мне наука. Беда, что это мало для меня, что я слишком ненасытен. Даже узнав от своих учителей, что мог бы рассчитывать на определенное почетное место в иерархии, я отвернулся от уготованного, потому что мне самому математика нужна была только для того, чтобы на равных говорить с интересным человеком! А черные дни, конечно, остаются, — те дни, когда совсем уж болит душа, когда и музыка не утешает, а только растрavляет душу тоской, потому что не может заглушить стона. И тогда спасает некоронованная царица, лучшие ее представители. Например, Клейн, *Herr Geheimrat**! Иногда он дает то, что не может дать Бах!.. Спасибо, господин тайный советник злых часов жизни, осенних ее часов... Да, математика — не орудие познания мира, потому что в ней мир может исчезнуть хотя бы на час. Но и это немало. Она остается единственным способом проверить, не сошел ли я с ума. Только она и может убедить меня в моей умственной полноценности.

В студенческие годы, в грозную пору экзаменов я любил читать жизнеописания великих математиков. Как Галуа оскорбился на логарифмы, как Абель был отвергнут высокомерным Парижем... А некоторое время назад мне вдруг приснился Симон. Вполне реалистично. Он позвонил мне оттуда, из Бюр-сюр-Иветт. Впрочем, нет, место было явно иное... Он стоял на причале, у подножия высокой красной стены, над которой торчали макушки кипарисов. Меня не удивило, что звонок сопровождался картинкой — это ж и наяву бывает в особых случаях, а баловням цивилизации доступно все... Он сказал, что служит лодчманом на милой речушке, имя которой Стикс. И ему нужен помощник. Конечно, иной шуточки от него нечего было и ждать. Однако я навел справки и оказалось, что он действительно умер, причем совсем недавно.

Все же Симон открыл мне четкий, прозрачный мир — но не на своих семинарах, на которые съезжался весь свет, не тогда, когда повторял гордые слова какого-нибудь избранника богов: “Каждый достаточно силен,

* Herr Geheimrat — Господин тайный советник.

чтобы исполнить то, в чем он убежден”. (Откуда ж неудачники? — О, если бы убедить себя, что ты хоть в чем-то да убежден! Достаточно ли я силен для того, чтобы быть хотя бы неудачником?) Светлый мир явился мне с первыми звуками “Французской сюиты”, прозвучавшей у него в кабинете в исполнении того, чьей бледной копией я хотел одно время сделаться... Но странно: что касается музыки, то здесь я не чувствую себя в стороне от дороги, — не то что в науке. Моя неактуализированность существует как бы сама по себе. Мне не нужны были зрители, слушатели — я играл для себя. Но чего-то не доставало — характера, может быть, твердости? — оттого я и позволил продать свой «Seiler». Наверное, это было нужно для того, чтобы с двадцатилетнего возраста и поныне неизменным осталось, по крайней, мере одно ощущение: то, что я есть, и чем хотел бы быть, бесконечно далеко друг от друга. Правда, появилось и отличие: теперь я знаю, что это “хочу” не осуществится (но надеюсь на чудо), а тогда считал, что осуществится непременно, причем не чудо, а одна только моя воля для этого и требуется.

Дело, наверное, не в том, что я добился меньшего, чем другие. Кто-то добился еще меньше, остальные — больше. Но чего добился тот, кто добился? — Права быть похороненным в центральной части кладбища, а не на окраине его? Или умения восторгаться своим жребием, своими “достижениями”? Не понимаю.

Удача? — То, что считается удачей, для меня мало. Мне подавай иного. Когда живешь на виду, крайне велика опасность, что жизнь сложится произвольно и ты не будешь удовлетворен тем, как она проходит, прошла... И моя ставка: тайная жизнь. Только тайная жизнь еще как-то жизнь. Жизнь же на виду — не жизнь. Хотя ее и могут назвать удачей.

Я, конечно, понимаю людей, желающих произвести шум своим романом, симфонией, теоремой. Я даже допускаю, что их симфония или теорема явились результатом созерцания некоего божественного света... или же были призваны заменить это созерцание. Но мне в этом смысле достаточно того, что я видел улыбку Афродиты, представление о которой дали мне улыбки Маши, Даши, Наташи — и их я тоже считаю отблеском высшего света. Зачем что-то еще после этого?.. И рассказывать о том нельзя никому. В лучшем случае услышишь, что осетрина с душком — если не удержишься и заговоришь с приятелем за ужином...

Сколько я себя помню, мне всегда нужно было скрывать от людей массу вещей: от матери, от знакомых, от жены. Открыто признаться в чем-то? Да как это можно? Не по чину. *Adventavit asinus pulcher et fortissimus**... В этой скрытности было что-то утешительное. Неприятное, конечно, тоже было, но утешительное важнее. Чего-то бывало стыдно, но со временем стыд

* *Adventavit asinus pulcher et fortissimus* — Выходит осел, прекрасный собой и храбрый.

утратился. Привык скрывать — и только. Привык сознавать свое превосходство: «я знаю, а вы вот — нет». И без этого нельзя жить. А любовные связи — не самая ли естественно предназначенная для скрытности вещь? И я старался таить про себя души сокровенные создания и только иногда поверял их случайным женщинам. Зачем? — Чтобы пожалеть о том.

Так я и стал мучеником шестого чувства; для мне подобных в аду должен быть специальный лог, в котором отведено место неопытным любителям иных миров, тем, кто не может с достоинством поесть борщ, но и вершить великое дело искусства или науки тоже не предназначен. Кто недостаточно легкомыслен, чтобы остаться обывателем, недостаточно сурьезен, чтобы уйти в мастера.

Отсюда очевидность высшей моей амбиции: уйти, не объявившись. Добровольно перечеркнуть жизнь, дать пузырь лопнуть, чтоб обо мне, как верный друг, ни один звук не напомнил, — только этот, треск лопнувшего пузыря. Зачем? — Чтобы победить тщеславие, хоть что-то победить в себе полностью. Если усовершенствоваться нельзя... Уйти, не добившись взаимности, не пожелав узнать, кто ты... Как ушел отец, два слова которого были бы для меня важнее любой библиотеки, но, конечно, ничего не изменили бы. Лучше всех жил тот, кто лучше всех укрылся, и, спасибо Змею, который привил мне того рода гордыню, с которой я мог жить, не заботясь о том, какое место занимаю в (призрачном) мире — среди людей. Я угрюмо сосредоточился на себе самом. Вот только бы хватило духу сжечь завещание, этот тайный дневник, цель которого — оправдание моей жизни. Знаю, мне есть что сказать о себе, о мелкой моей душе, которая для меня важнее истории любого народа, но нет того желания добиться чего-то своей искренностью и неутомимым выворачиванием подноготной, без которого не состоится ни один публичный человек.

Как нужна была мне когда-то Даша! Как нужно было, чтобы она не морщилась, не уходила, а стояла передо мной, как единственное, феминистическое доказательство бытия бога, и чтобы у меня, таким образом, всегда была возможность вопрошать его (и, значит, верить). Откуда это ощущение равенства бога и женщины (точнее: жены)? — От сознания, что нет ничего более чуждого нам, чем жена, и ничего более... неотвратимого, неизбежного, чем она, родная, влекущая нас, несмотря ни на что. Ведь никогда, никогда не променяли бы мы ее ни на одну из “них”, если бы она позволила. Позволила говорить, дала дорассказать свою погибшую жизнь... Но она наслушалась вдоволь и дала отпор. А они — слушали и закатывали глаза: “Надо же, как бывает!” И я возносился: меня понимают. — Она понимала меня куда лучше, но знала, что помочь мне нельзя, и не притворялась участливой. Она бы отбросила меня со своего пути, если бы... Если бы не была такой честной, если бы ее судьбой не было — жалеть и терпеть меня.

Какой, однако, муж был бы под пару Даше? — если задаться и таким вопросом. Возможно, у нее это еще впереди, не все же со мною мыкаться. — Я думаю, это должен быть человек, с одной стороны, абсолютно открытый, искренний с нею, но, однако, столь сильный и цельный, чтобы не ведать никаких колебаний и противоречий, разрешение которых могло бы потребовать ее участия. Я сам пытался удержать на лице эту маску, но цельности во мне всегда было не больше, чем в куче камней.

Нет сомнения, для нее брак был тем таинством, в котором видят обязательство перед богом. Но это было не единственное ее обязательство перед ним.

А для меня брак был неизбежностью, не освященной размышлением и выбором. Я еще не интересовался знать: как это? могу ли я? — а атмосфера таинства уже захлестнула меня. Но что с того? Разве не оскверняются капища и алтари, не разбиваются статуи божества не только непосвященными, но и адептами — когда божество перестает отвечать на молитву?

С тех пор, как было понято, что мы не нужны друг другу, что мы — соседи, а наше сосуществование — договор, подобный соглашению коронованных особ, ни один пункт которого я не нарушаю, а сверх этого ничего никому не должен, — с этих пор мы не питали иллюзий, не знали черемухи. Нас объединяло то, что на свой лад каждый решил все умственные вопросы, сюда относящиеся. Нет, мы не были голубками! У нас было общее дело — дети, но кроме этого мы старались не мешать друг другу. Хуже всего было в праздники и выходные, когда нельзя было идти на работу. Но тут как раз дети и спасали... Впрочем, я и без того имел полное право закрыться у сына в комнате и предаться мечтам и проектам. Я был уверен, что “любящая семья” никогда не позволит мне стать самим собой, и сделался предателем ее почти невольно, мне тошно стало сознавать свою праведность. Теоретик, прошлое которого, к тому же, отягощено кухней, должен вылезти наружу и убедиться, что он такой же, как все, что он способен на большее. Побывав в первый раз в чужой постели, я вздохнул свободно — оттого, что наконец разрушил свое самодовольство, раскрыл, разломал футляр и мог теперь все строить заново. Я не протягивал жене руку даже тогда, когда она просила о помощи, была больна и не могла справиться с ворохом забот, которые всегда на ней лежали. Я то ли не верил в ее болезнь, то ли считал ее следствием неправильной установки (разумею милосердие)... И к тому же: мне казалось, что главное-то я даю: ведь я даю деньги. Правда, и Дарья Петровна не отставала в своем агентстве... Нет, «хозяин» не умер, напротив: он теперь твердо знал, что им нужно. Семье, то есть. Деньги, да, деньги. Я даю деньги — значит, мне все позволено! — Конечно, этот пункт находил полное одобрение “там”, в среде любовниц, мужья которых далеко не всегда были столь же щедры. Все женщины вокруг только и пели: “Мужчина должен обеспечивать”. Я и обеспечиваю. Чего же еще?

А достатку я обязан не науке, а какой-то странной ловкости, с которой я направляю денежные ручейки в свою сторону. Причем с небольшими затратами, совсем небольшими. Работаю я очень даже в меру, но деньги у меня есть. Никто уже не знает, откуда... Просто некоторое время назад мне слегка повезло. Как это называется? Допущение к кормушке? — Вот-вот. Два-три года довольно быстрой, нервной жизни, за которые проживаешь все десять. Бывает это, в России особенно... Никто не пострадал, все остались “в плюсе”. Но след до сих пор за мной тянется. И от претензий, которые люди могут ко мне предъявить, я, по крайней мере, легко откупаюсь. И это совсем не плохо. Мне это на руку: я могу укрыться и не выдавать своей души никому. Нельзя сказать, чтобы я не пытался спуститься к людям и стать одним из них. Я заставлял себя с ними считаться — до того даже, что о себе забывал. И что же? Вочеловечился ли я? — Пожалуй, что еще больше отдалился. Стараясь приблизиться к ближним, убеждаешься лишь в том, как они далеки: гораздо дальше тех, к кому и не пытался приблизиться. Думаю, понять меня не трудно: не могу я обращаться к людям, которые торопятся на “Поле Чудес”. Да и зачем им я, глупый Буратино?.. С другой стороны, дай мне волю, я бы пошел дальше Руссо. Я бы не только детей сдал в приют (надеюсь, ты читаешь это на свободе...), но и жену к ним впридачу! А что? Коммунистическое такое решение, полу-фаланстер. Разумны, по-моему, были бы такие приюты “матери и ребенка”, где бы жили только они со своими чадами. И ни малейшего мужского элемента, который они так ненавидят. Конечно, если мамочке “захочется”, она должна быть свободна в своих перемещениях: погуляла и вернулась, и никому нет дела, к кому она бегала. Разве плохо? — Нет, содержать их, конечно, никто не отказывается. Не о том речь. Содержать материально, — когда духовно уже неспособен, — это наша святая обязанность, наше оправдание и удовольствие.

У меня внутри все настолько убедительно говорит о моей правоте, что нельзя не спросить себя: а как со стороны выглядят те же факты? Удалось ли мне, как Спинозе, изложить свою историю в виде списка теорем, — или для тех, кто не знает и не хочет ничего знать, мое преступление столь же очевидно, как для меня самого моя правота? Впрочем, правота — уже преступление. Кто я такой, кто мы такие, чтобы правыми быть? Все так условно, в условностях вся жизнь, они даже могут сделать человека *счастливым супругом*. Ну, разумеется, хороших мужей быть не может. И мы здесь ни при чем, коли прогнили сами узы брака. Но почему же тогда я иной раз вижу совершенно отчетливо эту титаническую фигуру, этого великого труженика?..

Счастливым муж — сила. Достаточно сказать, что он сделал из женщины миф! (Как и я, однако...) Нет, он сделал миф из *жены* — и в этом разница. Он потрудились на славу, и вот, он любит ее. Он так перестроил

свой мозг, чтобы не довольствоваться мгновеньями лишь, даже месяцами или несколькими годами, как иногда бывает. Он — на всю жизнь! — изготовил себе богиню. Правда, он не видит ее, но для вечной любви этого и не нужно. Видеть — значит меняться, но он — человек твердых правил, непоколебимый адвокат человечности. Он, как и жена его, стал совсем другим, но, узнав жизнь в ее серьезности, он возвысился над ней тем, что не осудил ничего и ни от чего не отрекся только из-за того, что она следовала своим законам. Он понял жизнь как призыв к твердости и верности. Его жена всегда права и всегда лучше всех, потому что *он* выбрал ее. Он уважает жену, потому что уважает себя и хочет уважать впредь. Он никому не признается, что хоть что-то может быть не так... Но он ежечасно борется с дьяволом у Иавока: изучив жену, как азбуку, он предупреждает любой ее безумный выпад, его не застанет врасплох никакая ее затея, никакой ее истерике не даст разгореться этот опытнейший пожарник.

Почему так реальна для меня эта фигура, — то есть почему меня преследует этот фантом? — По той же причине, по которой путник в пустыне, одуревший от жары и жажды, видит, наконец, “море” на горизонте. Потому что одной из моих маний стало — воображать себе эту счастливую семью, счастливого мужа, прежде всего. Не идиота, конечно. Не подкидыша, которого подобрали в сточной канаве и пригрели, за что он безмерно благодарен. Просто человека, “с развитием”, как говорится. И чтоб тем не менее был счастливый супруг. — Как это? Особенно если учесть, что тогда рядом с ним возникает и счастливая жена? Которая, в свою очередь, боготворит мужа, которая дальновидна, мудра, ибо знает, что ей нужно смотреть на него и никуда больше, иначе быть беде. Она понапрасну не дергает того, кто еще ее радует, она дорожит главным. А если гвоздь не забит и кран не завинчен, так это не к спеху. Она не настолько глупа, чтобы приобрести полочку, но потерять спальню.

И в ответ на это он — смотрит на нее. Он *знает*, что она лучше всех. А тех, кто “может быть” ее лучше, он в упор не видит, на глаза у него наворачивается туман, если они проходят мимо. И они проходят *мимо*. Супруги-голубки, не вертящие головами по сторонам, люди твердых правил хотят жить друг для друга и для своего дела, а не гоняться за призраками счастья, за вероятностями. Они люди серьезные, им нужна достоверность любой ценой.

Единственный вариант, который мог бы принять я, это — люди, пережившие все и все выдержавшие, вернувшиеся друг к другу сами, потому что не могли иначе. Но, при всем при том, не принимающие партнера всерьез, целиком и полностью, оставляющие аппендикс для вздора и хаоса, для безумств — в определенных пределах... А, впрочем, может быть, просто счастливики, баловни судьбы, одна пара на сотню, на тысячу? — Да, только так. Какие могут быть “качества”, “принципы”? Только случай, чистейший случай.

Но ведь случай — это дар. И они безумно похожи друг на друга, эти счастливые семьи, — тем, что несчастливым семьям не хочется быть такими же. “Лучше уж мой подлец, чем этот сухарь... Лучше уж моя стерва, чем эта корова...” — так думаем мы о них, недоступных избранниках неведомого божества. И отказываемся от его даров. “Счастливая семья”? — спрашиваем мы. — Абсурд. Какая бы прекрасная жена ни была у тебя, любовь не больше ли самой прекрасной жены? Любовь к... любви? — Нельзя не изменить. Если вы вожделеете к своей жене, то вы вожделеете и к чужой. Вот закон. Если тело что-нибудь значит для вас... Разумеется, вы знаете, как “воздержаться” и не искать знакомства с длинноногой девицей в черных очках, красивой, умной и злой, равнодушно махнувшей на вас своими шелковистыми ресницами. Нежность к жене — человеку, с которым съеден пуд соли и выпита бочка водки, который всю жизнь провел у вас перед глазами, чьими тревогами и радостями вы как бы там ни было, но жили! — эта нежность побеждает похоть, мгновенный укол влечения к ничему не значащей бабочке, на месте которой могла быть и другая. Правда, вы все равно обернетесь и проводите взглядом бездушное, безупречное тело, потому что вам необходимо получше рассмотреть сей экзотический фрукт. Вы можете не искать с ней связи, но вспоминать ее нежные подколенные впадинки вы будете... Если же брак ваш прочен, но вы не вожделеете к телу жены, а исправно “исполняете супружеские обязанности”, то вам не завидовать надо, а сострадать.

Я полагаю, что примерному мужу позволен даже адюльтер, он может переспать с кем угодно, но при одном условии: этот мимолетный объект не должен составлять конкуренции. Спи, но только если в самом деле считаешь: низшая раса. Боготворить ты имеешь право только жену. Аминь.

Однако, если бы дело было только в вожделении, то проблема была бы решена. Ведь когда муж “хочет” жену свою, он, собственно, *просто* хочет, он мог бы довольствоваться и другой женщиной, если бы ему ее подложили. И это сближает его с тихим онанистом, который, когда надо, делает свое угрюмое дело и ни к кому не пристает, никого не домогается.

Некоторые жены теперь нормально относятся к онанизму. Но им и не особенно было бы приятно узнать, что их муж... Тем более, если они не были в отъезде или больны. А если были больны или в отъезде, и муж не изменил им, а предался здоровой мастурбации, они, конечно, проворчали бы: что же, он не может с собой сладить?.. А так — они понимают, признают, что ему “надо”. И он оправдался бы, сказав, что “при этом” мысленно представлял себе, что был с ней...

Беда в том, что влечемся мы не к телу, а к душе незнакомой, и с этим нельзя бороться. А каждый счастливый брак так и остается тайной, которую нам, бродягам семейного чина, не узнать никогда.

XVII

Но мне и не нужно знать, какие законы царят в этом болоте. Малейшее дыхание нашего вулкана куда живее! И было бы бесцельно повествовать обо всех переворотах, совершившихся в моей голове, если бы я не добился того, о чем когда-то мечтал: не вернул интереса к себе. Мало того: вдруг я почувствовал, что жена стала откликаться на каждое мое почесывание, на каждую вздорную мысль. Когда произошло это “вдруг”?

В одно летнее, августовское утро, когда дети наши были далеко на отдыхе, мы точно братья сошлись с ней в придорожном трактире, и заговорили так, как только могут говорить люди, много лет проблуждавшие в разных мирах.

Торопиться нам было некуда, а настроение у обоих — редчайший случай — установилось прекрасное: благодаря только что совершенной сделке с недвижимостью, а именно — дачке, приобретенной нами во обеспечение будущего наших детей.

Мы просто сидели и разговаривали за кружкой пива: без всякого приужденья, без надрыва — “от нечего делать”. Разговаривали как люди (уже неплохо), которым вдруг захотелось узнать друг друга. Мы не искали этого разговора — и вот, он был нам подарен.

И ведь как может быть интересно, оказывается, снова встретиться где-то, вне времени и пространства, обменяться своими мыслями и... разойтись, чтобы не испортить впечатления. “Супруги знакомятся”? — В точности так.

Правда, “разойтись” не получилось. Ей так понравилось говорить со мной — вернее, у нее появилось столько вопросов, — что она непременно хотела продолжать.

Для меня это было внове: я не привык к этому, я отвык быть с нею. Я забыл ее. Передо мной сидел новый человек, и это было бы занимательно, как знакомство с “ними”, если бы... если бы это не была моя жена!

Она удивлялась, что я ее совсем не знаю. Она этого не изволила понимать. Ей было невдомек, что, чем больше думаешь о человеке, тем быстрее он меняется. А я думал о ней — кто с этим поспорит? Только она о том не подозревала — или ей это не было нужно. И, наверное, она менялась, да. Но она оставалась женою, а этим все сказано. Иначе говоря, она не сомневалась, что за ней по-прежнему сохраняется право не только первой ночи, но и всех последующих; мало того — и всех дней тоже: что она имеет право на меня как на такового.

Как я допустил подобную слабость? — Не успел найти отговорку, чтобы избежать этого томительного randevu. И вот, после того, как мы много лет даже не отдыхали вместе, нам целый месяц пришлось провести тет-а-тет: мы следили за рабочими, которые приводили в порядок наше при-

обретение, и узнавали друг друга, как в медовый месяц, которого у нас не было. Точнее: не узнавали, а бегали взапуски: я — от нее, она — за мной. Она, наконец, заинтересовалась, с кем ее свела судьба.

Беспокоил ее, по сути, один вопрос: в чем моя вера? (Было от чего возгордиться: неужели она приняла меня за Льва Николаевича? Ведь его она тоже терпеть не может...) Но поскольку я тщательно это скрывал, — прежде всего от самого себя, — то она готова была пройти всю вертикаль, от праха земного до звезд, чтобы понять, чем я живу. Она как будто забыла, что все это ей давно известно. Или я действительно стал другим, чем 10-15 лет назад?

Конечно, вот так вдруг снова испытать на себе ее интерес было довольно мучительно, но мало-помалу я втянулся. Мне даже стал нравиться этот жанр, хороший старинный жанр: “Три разговора о боге, о любви и конце нашей истории”.

Почему женщины так охотно говорят о боге? — Да, конечно, вопрос этот давно мной решен. Но сейчас мне нравится другое объяснение, а именно: потому, что бог и был женщиной. Вот почему он выставил мужчину в смешном свете (заставил его натягивать резинку в ту минуту, когда в душе у него, может быть, расцветают розы), а женщину — в трагическом, страдательной стороной.

Нет, шутки в сторону: почему-то женщине очень важно, чтобы мы верили. Но верили в этот мир и хотели умножать его поголовье. А если не верим, то чтобы, по крайней мере, исполняли обряды. Это самый хитрый прием, чтобы нас приручить.

Она знала: пока я не верю, я ей не принадлежу. Равенство бога и женщины... Вспоминая прошлое, она сказала: “Тогда мне казалось, что тебя все должны любить...” В другое время эта фраза сломила бы меня, но я уже прошел через свой опыт, показавший, что в ее словах нет никакого преувеличения, и прозвучало это точно так же, как если бы она сказала: “Мне кажется, все должны верить в бога.” Абсолютное тождество любящего и верующего. — Раз я люблю, значит, все любят. Раз я верую, значит, все веруют. И отсюда *рев-ность*: страх потерять, страх утратить *вер-у* — т. е. потерять бога. Страсть к нему частенько напоминала мне истерию брошенной жены. Не берусь утверждать, что это — наш случай, но...

Нет, мне не нужно, чтобы меня любили, как бога. Бесполой монашеской любовью. Мне нужна какая-то иная любовь. Если вообще нужна.

Кто это говорит? Убежденный противник постели? — Да, влезая сюда, нельзя избежать парадоксов. Конец любого рассуждения, желающего быть верным хоть одну минуту, — парадокс. Так называемые “серьезные мысли” умирают, едва родившись.

Чтобы стать религиозным, нужно решиться на самообман. И это совсем не трудно устроить. Но я хочу обманываться *своими* выдумками, а не

этой замшелой и затасканой гипотезой — богом. Нет, я не отрицаю зависимости от него моей жизни, но разуму нужны доказательства. Таким он сотворен.

И в этом я вовсе не оригинален. Религия значит теперь не то, что когда-то. У современного человека нет убеждений, он не знает, для чего может пригодиться свободная мысль. В чем духовная работа нашего времени? Какие проблемы стоят перед разумом? Где наш Кант?.. Все силы поглощают расчеты. Современник недоверчив, он сомневается во всем. Реален для него только страх... Но разве философия не хочет защитить, одеть в непроницаемую броню пугливое сердце? — Хочет, но удастся ей это лишь для высоколобых умников. Насекомым она не по зубам. Какая уж тут религия, где уж тут признать отвлеченную идею, каковой является бог, когда для них проблема — представить себе икосаэдр! (Сейчас выпью пива и переведу дух. Говоря такие речи, нельзя не пить пива...)

Разумеется, для жены тут никакой закавыки не было.

— Где уж тут признать? — возмутилась она. — Просите и дастся. Ищите прежде всего правды...

— Ну-ну-ну. Хорошие, но напрасные слова. Ведь не указано — *как* просить, искать. У вас много таких обманчивых слов. Хотите уверить, что ищущие правду в самом деле блаженны? Может быть. Особенно если они способны удовлетвориться тем, что будет принято за правду в конце концов: нельзя же без правды! Но тот, кто не согласен останавливаться — что он обретет? Свой путь? — Но тебе он совсем не по душе. Свой путь ведет и к своей правде. Её, действительно, слишком много. Отсюда и математика — чудная и неповторимая *страна одной правды*.

— По-моему, тот, кто верит в математику, не может не верить и в бога. Ведь это тоже страна одной правды. И так легко войти в нее, войти и довериться авторитету, чтобы не вопрошать более, а находить у него все ответы. В этой стране усмиряются притязания рассудка и великий покой устанавливается в душе. Разум, этот вечный возбудитель и разрушитель, успокаивается, потому что ему нечего больше искать. Так дай же разуму своему эту спасительную пристань: пусть признает авторитет.

— *Кто* авторитет?

— Ты знаешь.

— Абстрактно — да, но мне неизвестно, по какому правилу происходит его вмешательство в нашу жизнь, что он одобряет, что нет...

— Он одобряет то, что одобряю я. Слушай меня — и ты спасен.

— Конечно, как же я забыл: чего хочет женщина... Но почему? Я все пытаюсь объяснить себе это. Разумеется, смешная попытка. Объяснений у этих вещей сколько угодно, но ни одного удовлетворительного. Чем и пользуются те, кто бесстыдно вещают от его имени, — хотя бы о том лишь, что наступил великий пост, будто бы угодный богу... Но я тогда сра-

зу вижу человеческие жертвоприношения, костры инквизиции, охоту на ведьм. Сапиенсу бог нужен только как костыль, которым можно побивать себе подобных, если те не пожелают думать заодно с ним. Но и стадам, якобы поклоняющимся единому богу, я не доверяю: рано или поздно они передерутся и сиганут с обрыва.

Вера (общая), мне кажется, куда опаснее разума, на который вы нападаете. С ней можно носиться, как с факелом, не слушая никаких возражений и просто крича: “Я в это верю!” — Требования логики необязательны. И что же? — Именно это делают попы, богословы, которые разработали хитрый язык, умело примиряющий эмпирическую данность, подотчетную науке, и чудеса, выходящие за ее пределы.

Конечно, христианство — беспримерное духовное упражнение, под стать математике, невероятно тренирующее интеллект. И за двадцать веков оно разработано не хуже. Здесь тоже отделы и школы. Многие умели красиво оформлять свои мысли о боге: красивыми словами, красивой музыкой. Ухватились за проверенный и самый возвышенный сюжет, гарантирующий успех. Но эмоциональный подъем, который они спровоцировали в развесившем уши слушателе, не есть еще критерий истины. И нечего так умно о боге толковать, промышлять им, премии зарабатывать.

Нет, я не то чтобы как-то там активно «против»... Куда мне до таких нескромностей? Я только не могу примкнуть к тому, что говорится. Всякая норма вызывает во мне протест. Кто мы такие (кто вы такие), чтобы ее устанавливать? Не так, не так все...

Скажу больше: богословы, конечно, не верят в того, чьи атрибуты они обсуждают на страницах своих толстопузых томов. Они выбирают богословие просто потому, что математика не дает таких доходов, а другого поля, на котором они могли бы разрядить накопления своего огромного лысого черепа, просто нет. Математик может умереть в нищете, богослов — никогда. Приход ему подыщут.

Специалистов по общей вере штампуют колоннами, как суворовцев. Со своей же ты благоразумно носиться не станешь: довольно и того, что она есть, что ты сознаешь ее. Это уже — и радость, и максимум того, что можно получить на этом пути.

— Ты отрицаешь, ты — афей!

— Я не могу отрицать того, что создало пахучий гриб с приставшей к нему еловой иглой. Но массовые убийства, мне кажется, должны отрезать любого рыцаря счастья. Тот, кто лишен дара, не может не сомневаться. Если дар есть, вам некогда думать о боге всерьез, т. е. так, как думаем мы; вы должны выдавать на гора, как делали дойные коровы отца нашего, сочинявшие за 36 лет столько же симфоний или поэм, — люди, которым не нужна жизнь... И я не принимаю того, что приписывают богу те, кто в него “верят”.

— Значит, по-твоему, человека нельзя вернуть к религии, к цельности? Но без бога человек не может быть счастливым.

— А с ним?.. Счастливый человек — слепой человек, глухой человек. Ему хоть кол теши на голове. Да, он нашел бога и служит ему. Хорошо-с. Но он счастлив несмотря на то, что рядом людей сжигают в печах, рвут на части, гонят и бьют? — Для этого надо быть просто носорогом, камнем, кабачком... Не могу себе представить человека, верующего по-настоящему. Поведение — вот что главное. Как он держит себя с людьми — это невозможно вообразить. Непротивление? Разумеется, но этого мало, бесконечно мало. Просто шагу не сделать — вот как я думаю. Столпничество, немота, а не громкие проповеди. По телевизору...

Дело не в моей вере или ее отсутствии, а в том, что попы ведут себя так, как будто цельность уже давно достигнута — ими. Видела ты растерянных, бунтующих попов? Для них нет никаких вопросов: они несут службу, служат, как собачки, и вещают городу и миру. Они ничего не ищут — они уже нашли. Но то, что нашли они, совершенно не годится для меня. Это пища для них — не спорю, но что мне в том? Я не хочу иметь ничего общего с этими чиновниками патриаршей лиги.

— Служитель церкви не может позволить себе кликушества. Он должен быть цельной личностью и иметь достаточно мужества, чтобы нести свой крест.

— Но перед этим нужно иметь хотя бы *откровение* о своем кресте, — разве нет? Извини, но со мной такого не было. Поэтому я должен искать — и хочу искать. Но сразу заявляю, что знакомиться с богом я согласен только из первых рук, из своего опыта, а не из чужих свидетельств. Здесь дело обстоит так же, как с любовью, которой нас учит не природа, а первый пакостный роман, пакостные картинки. Я хочу своего опыта — потому и отрекаюсь, прежде всего, от того, что связано с этими понятиями у других. По-моему, в этом нет ничего, кроме честности. Не могу я допустить посредника из их братии. Есть вещи, с которыми совершенно не знаешь, что делать: например, симония...

— Продажность церковной кафедры в отдельных случаях не может служить аргументом дьявола.

— Но от кого мы знаем о боге то, что знаем? От церкви, говорите вы. Мол, именно она сохранила и т. д.

— Да, она. Вне церкви нет веры.

— Но почему же не может — с тем же основанием — обладать истиной всеми отверженный бродяга? Непродажный...

— Древние говорили: безумен тот, кто дерзает рассуждать о мире ином.

— А о чем же тогда рассуждать? Легко согласиться с тем, что в происходящем с людьми нет ни логики, ни морали, а одна только злая случай-

ность, но такой человек, как я, не может жить без общих идей, без поиска общих идей.

— В мир иной можно только верить, только этим может спастись человек.

— Да, спасается он только верой. Допустим. Но чем он живет? Поиском спасения (которое, однако, не грибы)?.. А если нет, если ему хочется чего-то поинтереснее — значит, он уже погиб?

— Можем ли погибнуть мы, созданные по образу и подобию божию?

— Очень даже. Значит, не созданы по образу и подобию счастливого бога, а унылого, жалкого неудачника.

— Каждого, кто поносит бога, хочется спросить: есть ли иная высшая идея, могущая удовлетворить ищущий ум?

— Я поношу не бога, а идею бога, которую мне пытаются навязать эти самые “ищущие умы”, воображающие, что они “нашли”. Что до высшей идеи, то я и не спорю, что это — тайна иного мира, из которого, однако, никто еще не возвращался, чтобы убедительно засвидетельствовать живущим его существование...

— Ничего не может быть убедительнее веры. Когда б ты согласился признать ее, ты бы не говорил так.

— Какая вера? У меня есть только одна вера — в ничто. Веру нельзя разделить, как ложе и трапезу, сколько бы ни зазывали попы. Она — как отпечатки пальцев — не повторяется. Отец Браун говаривал: каждый читает свою Библию. Нет, я думаю, двух достаточно честных людей, у которых была бы одинаковая “идея бога”. Бог — абстракция, которая зачем-то нужна человеческому разуму. Но я выдвигаю иную абстракцию, иную аксиому, на основе которой развиваю свою геометрию, отличную от их геометрий. И сколь бы уродливым ни оказалось создание моего мозга, этот «чебурашка» для меня важнее чужого бога.

— Бог Авраама, бог Исаака и Иакова, но не бог философов и ученых...

— Но я-то кто? Ведь я не Авраам и не философ, даже не ученый. Какой же бог у меня?.. Мне слишком далеко до твоей цельности, — которую ты просто имитируешь, чтобы легче жилось. Если ты в чем-то сомневаешься, то умеешь победить свои сомнения не логикой, а знаменами, которые всегда к твоим услугам. — Это либо сон, либо пятилистник, падающий тебе в руки с куста сирени. А то и просто голос в ночи: “Дарья! Дарья!”

— Как ты узнал?

— О чем?

— О голосе. Ведь я действительно вышла за тебя просто потому, что мне был голос, продиктовавший волю Божью.

— Ну уж и продиктовавший. Урок русского языка это, что ли?.. Скажи лучше, что усмотрела эту волю в своем знамени. А к чему это привело, мы теперь и наблюдаем. Вместе.

Помню, здесь собеседование наше начало постепенно захлебываться. Но я уже всерьез начал звереть. Знаете вы, что чувствует человек, когда он целый месяц живого женского лица не видел, кроме озабоченного лица жены? Вот где ад-то... С другой стороны, если муж и жена заговорили о боге, то может быть, это не так уж плохо? Но сойдутся ли они в этом, если не сошлись и в земных делах?

Мы помолчали и я уже подумал, что отбился, но тут она тихо сказала, вроде как даже и не ко мне обращаясь:

— Мне иногда хочется спросить тебя: к чему у тебя больше склонности, к тому, чтобы целовать распятие, или же — топтать его ногами?

Целовать распятие? Что за вздор? Ведь я даже не крещен... Но она, однако, восприняла всерьез всю эту болтовню. Зря я сразу же не открестился от нелепого коллоквиума и не напомнил ей: женщина да молчит в церкви! И я сказал:

— Если бы ты спросила меня, я, наверное, ответил так: топтать ногами, а потом — целовать. Как же еще?.. Хочется тебе или нет, но в человеке не может быть все прекрасно. Впрочем, чтобы не уклоняться от главного вопроса так уж явно (зачем?) — или если предположить, что на него все равно придется отвечать под угрозой смертных мук, — я бы сказал так: Ну, да, наверное, я верю. Это мне ближе, чем сказать: не верю. Но это ничего не меняет для меня. Эта общая вера не помогает ничему — как, впрочем, ничему и не мешает. Она сама по себе, а жизнь — сама по себе. Вера — это своего рода хобби: можно играть в гольф, можно собирать спичечные коробки, можно верить в какого-нибудь бога. Все едино...

Вы говорите: бог, Бог... Как будто все дело в том, есть он или его нет. Но я не умею решать все вопросы с помощью бога. Бог — как жизнь на Марсе: все равно. Есть она, нет ее — мне-то какое дело? Я-то, вошь, тут при чем? — Вот что объясните.

Воистину я никогда не приносил жене подобной жертвы: чтобы целый месяц говорить с ней одной, да вдобавок еще и сокровенное разворачивать? — Но я надеялся, что в Москве, по крайней мере, это прекратится, что мы вернемся к своим делам и забудем о метафизических прениях.

Ничего подобного: это было только начало. Я действительно стал ей интересен! Ей стало смертельно важно знать, что я думаю. Неужели я так далеко ушел от прежнего, ручного *homme de ménage*? То есть уже не был «домохозяйкой»? — Во всяком случае, разговоры наши стали слишком напоминать надрывные беседы священника с приговоренным к смерти безбожником, осквернителем алтарей. — Это тоже хороший, почтенный жанр, проверенный временем: в Европе эпохи кровавых революций и бунтов очень его любили... Но поэтому наш диалог и не мог затянуться. Мне (осужденному) было некогда, ей (духовнику) казалось, что я неискренен, что я вышучиваю ее. Да и вообще: диалог мужчины и женщины — тем

более мужа и жены — это всегда разговор двух глухих. То, что нужно им друг от друга, не может быть передано посредством слов.

Тем не менее, каждый вечер повторялось одно и то же: каждый вечер, как бы поздно я ни являлся, она накрывала на стол, садилась против меня, подпирая той же рукой тот же подбородок, и, когда я расправлялся с едой, просила:

— Поговори со мной...

Я мог торжествовать: “Отчего ты меня покинул?” — этот крик любви мы оба исторгли из себя. Теперь была ее очередь. И я, памятуя о тех ночах, когда напрасно простирал руки к ней, отворачивавшейся к стенке, снисходил и отвечал, как ребенку:

— Разве я не говорю с тобой? (Разумеется, во время еды мы обсуждали политические новости, успехи детей, погоду, болезни собак, наводнение в Боливии и т. д.)

— Нет, ты смеешься. Откуда у тебя взялся этот тон? Раньше ты говорил серьезно. (Э, нет, это тебе, дорогая, теперь так кажется, когда я *не хочу* говорить всерьез. А когда я действительно верил в то, что говорил, а не скрывал истину, ты думала, что я шучу, пустословлю.)

— Выходит, нам необходимо вековечные вопросы разрешать? С этого надо было начинать 20 лет назад, а теперь поздно.

— Нет, тогда-то все было ясно и легко, теперь все неясно и трудно. Нужно договориться.

— Муж с женой могут ли договориться?..

— Оставь этот тон, я не шучу. Я устала смотреть, как ты ухмыляешься своим мыслям, которые блуждают неведомо где.

Ее возмущало, что у меня вообще были мысли. Но я ведь почти всеми с ней поделился. Ей незачем было обижаться, что я не допускаю ее в мой внутренний мир. Он ведь не столь богат, не столь обширен, чтобы каждый вечер открывать в нем что-то новое. Кроме того: он населен существами, которым она выцарапала бы глаза... И “внутренний мир” — это не мои слова. Это она в своем прежнем окружении понабралась таких умностей. А мы люди простые, не в театре... Вполне возможно, что когда-то я сам хотел поговорить с ней. Теперь, через десять лет она “согласна”. И что же? — Нет ничего скучнее. Мы все понимаем по-разному. Неужели когда-то мне были нужны ее проповеди? Да я бы скис... Спасибо, милая, что отказала мне тогда в этом пресном удовольствии.

Все было бы, однако, не так плохо, если бы интересовала ее только моя вера в бога. Но, едва я с большим трудом выскользнул из этой ловушки, она захотела говорить о любви! Как же иначе? Она захотела говорить о человеке, о правде и лжи, о милосердии и прочих скользких материях. Отговорок она не принимала: я просто должен был исповедываться перед ней!

Я не заметил, что она постепенно перестала мне возражать, почти не пыталась выставить свои аргументы. Неужели у нее их не было? — Конечно, было хоть отбавляй, но она слушала, внимательно наклонив голову, как опытный психиатр выслушивает опасного больного, который в любой момент может на него кинуться.

Но даже поняв это, я не обиделся. Хочешь слушать, ломать комедию, “общаться”? — Изволь. Я только подивился, как она не поперхнулась, выговаривая слово любовь, за которым в нашей семье давно не скрывалось никакого содержания. Но если она, несмотря ни на что, хваталась за иллюзию — это уже было интересно. Что ж, давай поговорим. Только... как я сообщу ей основную тему последних лет своей жизни? И я стыдливо отмалчивался. Но она не могла не прийти мне на помощь: она пустилась в воспоминания, и это был верный ход. Ведь когда мы были молодые, тогда...

— Тогда ты был очень нежен со мною, — говорила она. — Ты берег меня, как святыню.

— Нежен — оттого, что молод, нежен — оттого, что глуп...

— Я надеялась, что ты не поумнеешь. А молодым ты остался — ты всегда будешь моложе меня.

— Смешно говорить об этом, когда нам вместе почти сто лет.

— Чего уж ты прибавляешь? Годы, составляющие это «почти», возможно, станут твоим золотым веком. Ты в самом соку — это я старуха. После сорока мужчина всегда начинает искать себе настоящую любовь.

— Ты имеешь в виду религию? “Любить только бога, презирать только себя...” Ты об этой любви просишь меня высказаться?

— Нет-нет, оставь в покое бога. Я уже слышать не могу твоих упражнений. Прости, но мне страшно: я жду, что ты со дня на день бросишь меня и уйдешь к молодой.

— Значит, разговор надо отложить еще лет на двадцать, когда все будет позади. Разве нет? И все равно я не понимаю, о какой любви идет речь. Пока кровь гуляет, ее невозможно отделить от секса.

— Любовь — это совсем другое. О ней нужно говорить просто, слишком большие тонкости здесь ни к чему. Ведь всем все ясно — к чему же пускаться в философию?

— Всем ясно, а мне вот — нет, понимаешь? А «другое» — это после 60 — не раньше... (Я уже разозлился и меня понесло, я совсем забыл, что наши с ней гигиенические совокупления ничем не напоминают о какой-либо страсти. Но я уже не боялся выдать себя. Я был рад “познакомиться”...) Пока мы не ушли на пенсию и кровь не остановилась в жилах, любовь выступает как двуликий Янус: это, во-первых, мифологизация секса: «он» хочет «ее», как пирожное, но воображает, что ему хорошо с ней разговаривать; а во-вторых, вульгаризация душевного порыва: они оба, может быть, и с большей охотой потолковали бы о Тициане, но знают, что мужчина и

женщина в уединенном месте не читают “Отче наш”... Если же ты продолжаешь настаивать на любви, то я опять спрошу: какая такая любовь? И кто любил? — Тот, кто бросил все дела и только любил? И сколько же это длилось? День, два, месяц, год? — Наверяд ли. Значит, опять-таки любовью называется размеренный секс. Размеренный и отмеренный, зажатый в строгие рамки, чтобы не мешать работе, карьере, семье... Не отрицаю, что люди стремятся к любви всеми своими помыслами. Но жить одной любовью они не могут. Любовь — это слишком жизнь, сироп жизни; если не разбавлять ее делами, быстро сгоришь. Но если вы работаете, а потом 2 часа у вас любовь, то мне это без надобности. Не хочу называть любовью одну из повседневных мелочей... И в “отправлении супружеских обязанностей” (прости) любви не больше, чем в чистке зубов перед сном.

— Где же любовь? — спросила Даша хриплым голосом.

Я посмотрел в ее округлившиеся глаза: она явно начала чувствовать, что я далеко ушел от нее по пути *criminal conversations**, и сказал:

— Не понимаю, зачем нам говорить об этом? Ведь любовь — разрушительница. И в ней звучат отнюдь не лучшие струны души. Самая сильная любовь — запретная по всем статьям: когда дети враждебных семейств любят друг друга, еще и преступая законы супружеской верности: “Ромео и Джульетта” с “Анной Карениной” под одной обложкой. Больше о любви и не скажешь.

Любовь всегда под запретом — да. Она не существует как самостоятельная часть речи, а только в сочетании: “запретная любовь”. Другой я не знаю. Любовь-страсть, буйство гормонов, в котором разряжается стремление к непознанному, за пределы твоего тела — такая любовь может утвердиться только вопреки: воле отца, брата, мужа, жены. И это всегда гонка, забег, блиц, а не путешествие длиною в жизнь. Это отказ от себя во имя краткого удовлетворения любопытства, которое длится миг и остается в сердце, как эталон, на который потом будут накладываться жалкие раздражения. Или вовсе не жалкие, а может быть, куда более яркие, но все равно — только копии. Они не добавят нового к самому факту открытия иного мира — безразлично какого. Главное, что ты знаешь: он есть. Любопытство это иногда чисто физическое, иногда — духовное. Но — любопытство; бегство от него и сближает любовь с научным поиском... Другая любовь — возможно, настоящая — о ней поговорим, дожив до 60, а лучше до 70, когда ни наука, ни страсть уже ни к чему.

— Но разве не выше этого добрая, спокойная, ясная любовь мужа и жены, прошедшая испытание временем? Любовь как благодарность?

— Да нет ничего пошлее этой картины, называющейся “муж и жена”, — неужели ты не чувствуешь? Как это можно: стоять рядом и доставлять посторонним возможность спаривать нас в своем воображении, слу-

* *criminal conversations* — прелюбодеяния.

чать в безобразных позах? “Тайный брак” — вот максимум разрешенного. Чтобы никто не знал твоей жены, твоего мужа...

— Тайна? Прекрасно. Но разве не убивается тайная радость страхом, что все может раскрыться? Паническим, постоянным, животным страхом? И как быть с нами? Что у нас с тобой? Что мы нарушаем?

Однако! Похоже, она действительно считает, что у нас — любовь! Кто бы мог подумать... Или она ловко выводит меня на чистую воду, чтобы я разоблачил сам себя? Но разве я еще этого не сделал?

— Видишь ли, я виноват перед тобой. Я женился, еще не созрев для любви...

— Ты именно созрел тогда, — перебила она горячо, — но еще не научился так цинично рассуждать о самом важном.

— ... Не только тогда, но и сейчас я для нее не созрел. А когда я понял, что мне нельзя жениться, я уже был давно и безнадежно женат, мой сын спокойно курил в кухне, и у меня уже была “взрослая дочь”.

— Почему это тебе нельзя жениться? Что за бред?

— Потому что нельзя жениться, не зная, что такое любовь. А я не знаю. Кто знает? Кто любил? — Только тот, кто сентиментален, доверчив, открыт, кто искренен. Любовь — для наивных, а у циников иные забавы. Когда мне говорят про любовь, я спрашиваю: а пиво? — Потому что, если сперва немного пива, то кажется, что “это” — любовь. На деле же — всего лишь игра двух неудачников, тоска по тому, что уже не вернуть, ибо дается только раз в жизни. Когда кончается детство, уходит и любовь. На смену являются разум и секс. Потому и говорю я: “Долой вашу любовь!” Говорю вместе с ним, красивым самоубийцей.

— Боюсь тебя спрашивать: а меня ты любил... любишь? И вообще, как по-твоему: любовь — это серьезно? Серьезная материя? Или она только для барышень и домохозяек? Может быть, любовь — это сопли и проходит, как насморк?

— Успокойся: это — серьезная материя, смертельно серьезная. Ибо заключается не в похождениях железного фаллоса, а в блужданиях ума. Это головная материя, до безумия от нее — один шаг. Но это еще не повод переходить к оскорблениям. И правильно бояться иных вопросов: не задавать их — залог спокойствия душевного и слепоты духовной. Только я пренебрегаю этим благами, я говорил довольно бегло, потому что ты наконец позволила мне исповедаться *ex cathedra*. Я с удовольствием залез на нее — на эту кафедру, — пусть и ненадолго, и тебе удалось выпотрошить меня, как курицу. Я дошел до того, что сказал вещи, которые были новы для меня самого! Еще немного, и произошло бы нечто неслыханное. Спасибо, ты всегда была лучшим ускорителем моих мыслей. Спасибо, милая.

Да, я высказался, но прозвучало все это довольно резко. Тем более, что для самого себя у меня, конечно, оставались какие-то успокоительные истины, семь последних слов о любви, которую я всегда искал и за которую заплатил высшую цену. Попытка узнать, что она есть, дать ей приемлемое определение, хотя бы косвенное, принуждала меня временами брать перо и бумагу. Так странно ли, что я много говорю об этом? Ведь это была моя личная 23-я проблема, взятая напрокат у учителя...

Когда-то я считал, что способен на интеллектуальные подвиги, и чуть не довел себя отрицанием до того, что только один остров и оставался: любовь. Однако теперь эта Атлантида обречена. Кинжалы дефиниций — из ножен! Я не отступлюсь от своего основного принципа: идти туда, где меня не ожидает ничего, кроме душевных мук (как говорили в старину). Но любовью это не назову. И к тому есть много причин.

Выговорившись перед женой, я вдруг почувствовал, что несвободен. Какой-то холод сжал мои члены. На миг мне показалось, что я одеревенел и более не способен сделать тонкое дифференцированное движение. Смогу я пошевелить рукой, ногой — или нет — это оказалось в зависимости от какой-то внешней воли, от *чьей-то* воли, совершенно мне чуждой.

Исповедуясь, я не ждал ничего хорошего. Какое там! Но все, что я говорил, было правдой, я низвергнул на жену целый водопад правды. И мне где-то даже было любопытно, что она с ней будет делать. Однако, я не учел, что теперь она узнала, кто я. И поняла, что все кончено. Поначалу я решил, что она собирается изгонять из меня беса: не раз и не два попались мне на глаза странные мистические книжки, пособия для начинающего экзорциста, которых я раньше в доме не замечал. Когда я сказал ей, что бог был женщиной, она как-то подозрительно промолчала, не отреагировала никак, даже не скривилась, хотя не переносила никаких шуток на эту тему. Но, думаю, дело было не в этом. Теперь она тоже не хотела себя выдать.

Я уже говорил, что в изготовлении кукол она достигла редкого мастерства. И хоть и перестала зарабатывать на хлеб насущный тем, что дается лишь милостью божьей (как она это называла), но искусство ее оставалось при ней. Я знаю, что в первые же дни нашего знакомства она сделала куклу “Марк”, которую держала в сундуке с реквизитом, стоявшем у нее в каморке, за занавеской. Это был мой двойник, посредством которого она мной и управляла. Если дело касалось какого-либо частного поручения, она просто писала его на бумажке и вкладывала в ухо Марку. Тогда на другом конце беспроводного телеграфа ее “хозяин” послушно шел в магазин или на почту. Достаточно ей было провести вертикальную складку по его лбу, и в моей жизни начиналась новая трудная полоса, мне приходилось лавировать, но я всегда побеждал с выгодой для семьи. Когда ей нужно было заняться чем-то своим, она делала так, что брови у монстра сращивались, глаза уходили вглубь — и тогда я замыкался в себе и не мешал ей. Когда лоб у куклы пополз вверх и у нее засеребрились виски, я

сделался плешивым щеголем и началось мое хождение во блуд. Зачем ей понадобилось толкать меня на это? Не знаю, у них, у демиургов, своя логика. Наверное, ей нужно было проверить свою силу, свою способность вернуть меня, когда захочется. Я ведь был всего лишь маленьким жалким уродцем, Цахесом на руках у феи, у нее. Разумеется, я должен был боготворить ее — как первенец из нашей псарни, которого она выловила из реки с камнем на шее за секунду до того, как кто-то назначил ему испустить дух. Я так и делал. Но, сотворивши бога хоть раз, остановиться уже нельзя. *Этот* камень с души не снять...

Теперь она узнала это, узнала, что я *слишком* отвязался, и поняла: ей пора принимать меры первой степени, чтобы вернуть меня обратно. Туда, откуда она однажды вызвала меня к жизни.

Действие четвертое

XVIII

Несмотря на то, что отходную по страстям своим я прочел, меня не покидало ощущение, что последняя точка в судьбе не поставлена. Недоставало какого-то пустяка, чтобы опровергнуть все мои выкладки и попытки убеждений. Недаром я не умею верить в окончательность своих выводов. И если в сорок лет это не изменилось, значит, так тому и быть до конца.

Я не сомневался, что с любовью покончено и все неясности устранены. Но то, что жена заставила меня высказаться, и я выпустил наружу слова, пребывавшие ранее в надежном укрытии сердца, освободило какую-то пружину, о которой я, может быть, и не подозревал. Мне стало едва ли не обидно, чуть перейдя рубеж середины жизни, покончить с любовью. Не права ли она, и покончить с любовью можно только одним способом: отдаться ей без рассуждений?

Во всех случаях, не нужно рубить сплеча: «любви нет». Но если я и люблю кого (жену, детей), то любовь моя не сказывается в немедленных действиях, ее нельзя тотчас конвертировать, и vareжки из нее не свяжешь. Она вся — в мыслях, воспоминаниях, предположениях. Потому что любить надо, не впадая в идолопоклонство, не окружая себя рабами. Можно ли? Не знаю... И вообще: любовь — средство, а не цель. Не верь, дева, поэту: ты нужна ему только для того, чтобы от тебя родились новые стихи. И никому не верь — только Казанове, у которого кроме любовных авантюр ничего нет, который ими ничего не приобретает. Но верить в него куда труднее, чем в бога, самого послушного любовника.

Претендовал ли я сам на эту роль? Считал ли себя профессионалом?

Вопрос прозвучал весьма вовремя: я праздно сидел у себя в кабинете и ко мне как раз должна была прийти... молодая аспирантка — блондиночка с темными бровями; этому анатомическому чуду я иногда давал пустяковые консультации. Занимался я этим по просьбе той амебы, что с недавнего времени была поставлена управлять моим жалованьем. Как это случилось? — В двух словах не скажешь, ведь тут — амбиции; хотя и благословен любой повод, позволяющий нам злословить о начальнике! Тем более о таком, который вначале приманивает тебя улыбкой и доверительной беседой, а потом (за твоей спиной) предает, пытаясь очернить в глазах людей, хорошо тебя знающих. Он с порога принялся срамливать между собой возможных своих соперников, а потом почему-то посчитал необходимым объяснять мне каждый свой шаг. Может быть, это было особой формой принесения извинений за ту подлость, которую он сделал, едва заступив на должность? Но за что извиняться? Он имел полное аморальное право ставить свою подпись вместо моей, но его догнавшая

интеллигентская совесть силилась оправдаться лживым, слезливым, но очень агрессивным вздором.

Когда-то он надеялся приблизить меня с помощью этих самых задушевных разговоров, и я охотно на них шел: почему нет? Но ведь...

Начальник умным не может быть,
Потому что не может быть...

Начальник не станет вести беседы оттого, что ты ему симпатичен — и только. Ему прежде всего надо, чтобы ты за него работал. Не на него — от этого я, по-видимому, и не отказывался, — а именно за него: ведь ему хотелось бы смотреть на свою должность как на sineкуру, подобную тем, которые просвещенные правители во все времена дарили великим ученым. Его вечная ухмылочка трактирного полового означала, что нам следует почитать его за небожителя, которому не к лицу опускаться до низменных наших забот. Он все повторял, что боится “запачкаться”, — поэтому, дескать, и не способен вникнуть в дела. И бесцельно было бы убеждать его, что начальника никто не заподозрит в чистоте, и он напрасно беспокоится.

Когда он появился в отделе, мне сразу припомнился рассказ “Как я редактировал сельскохозяйственную газету”. Ведь он до одури любил «возглавлять» славные начинания. Постоянно искал, какое бы еще хорошее дело, которое сладилось бы без его участия, испортить, кому бы навредить только потому, что у него есть на это санкция свыше. Конечно, мечтал, чтобы ему и достались лавры. Но, стоило ему вмешаться, как дело, разумеется, разваливалось. Сколько прекрасных замыслов он загубил! Так мог ли я отнестись без справедливого презрения к человеку, который свалился на наши головы, как тарантул через дырку в потолке, а не был выбран по доброй воле?

Однако он тоже презирал меня — за то, что я добился меньшего, чем он, оказавшийся не более достойным, а более удобным, и потому уполномоченный портить жизнь людям и получать за это надбавку к окладу. Он все никак не мог понять: почему я злюсь “по пустякам”?

Я злюсь? — Ну, да, я злюсь, как злится идол металлический среди резиновых игрушек. Пожалуй, тут его порицать не за что, это самое главное в моей истории: никому не понять, на что я жалуюсь... Да, ни минуты покоя. Вопросы, клокочущие внутри, отменяют мое хваленое благополучие. Его просто не замечаешь... Заметил бы, если бы его отняли? — Конечно, и, как все, поставил бы на мирную жизнь. Но, получив ее, начал бы все сызнова... Могу ли я быть доволен какой-либо экологической нишей, или она непременно будет рано-поздно взорвана мной? Расшатывая утлый челн своего status quo, я дошел до убеждения, что если ты вообще получаешь за свою работу (особенно за ту, которая смахивает на “призвание”) деньги,

то ты — проститутка. Куда уж дальше?.. С другой стороны, к чему лукавить? Я получаю деньги не за работу, а за то, что торгую совестью! Рассказать подробнее? Да, это вкусно... Не дожидетесь. Я и так дал слабину, заговорив о том. Да, продаю совесть, потому что больше нечего. Остальное никому не нужно... А ведь вначале в моей криминальной практике (которую теперь обеляет своей чеширской улыбкой он) меня занимало не извлечение прибыли — я еще не знал, как это делается, — а исключительно глумление над обществом. Приятно было обманывать его, не корысти ради. Тогда еще не ясно мне было, что эта практика — ужасная основа нашей жизни. И что удивляться, если, бесчисленное множество раз поступая не должно, несообразно своему “служебному положению” — т. е. тому понятию о нем, которое может иметь лишь младенец, да и я сам, не оскверненный реальностью теоретический человек, имел еще лет десять назад, — я не сохранил ни малейшего доверия к какому-либо учреждению, будь то парламент, сенат или римская церковь (о православной не говорю)? Надоело мне делать улыбчивую мину в гадкой игре, хотя это и есть самая суть человека. Своим отказом я уничтожил в своем сознании ту отчизну, которой можно служить достойно. Существовала ли таковая *в реальности*? — Этот вопрос я не могу даже задать.

Я удобно расположился на пересечении торговых путей и собираю мзду за пользование воздухом. Разве я математик? Нет, конечно, но я не согласен, если кто-то еще держится того же мнения. А его держатся, потому что для толпы соискателей я прежде всего проводник их бездарных идей, щедро оплаченных чистоганом. И что можно заслужить моей деятельностью, которая стала источником прочного достатка семьи? Уважение людей? Вот-вот. Ведь я — бог, посмотрите, как я разговариваю с трепещущими просителями... И это при том, что я — ничто, даже для тех уже, кто никогда не слыхивал о нашем НИИ кумовства и дароприимства (сокращайте сами). Мне нечего делать со своей репутацией. Если бы я рассказал, чем занимаюсь, меня бы прочь вывели из приличного общества. И однако мне звонят, передо мной лебезят. Но я “не верю”. Я хочу знать, будут ли они считать меня хорошим математиком, если я перестану протаскивать их бездарные проекты через угольное ушко бюрократических препон. Хочу? — Нет, хотел бы, если бы был настоящим.

В этих недрах не имеет значения твоя профессиональная квалификация: ее не существует! В счет идет только умение выполнять просьбы, с которыми к тебе обращаются. Ибо тогда сам ты тоже сможешь обратиться с просьбой — и подняться выше. Вот единственная квалификация, наука же в сем прибежище незнания не нужна никому. Нужны парадные цифры и громкие слова, надувание щек. Но это — для публики. Для себя — связь всех со всеми. Помогать каждому обходить законы, и любой ценой делать мнимые величины действительными. И они становятся реальностью — поддерживая такие же мнимости.

Кажется, я, действительно, всего лишь добываю хлеб свой насущный. Но только ли хлеб? Не гонюсь ли и за пирожными с кремом?

Мне тошно, что я бранюсь с людьми из-за того, что никоим образом не считаю для себя важным. Самое важное лежит на дне души и думает: вот если бы за меня он боролся так!.. И действительно: незачем поднимать шум — начальник прав. Вопрос о совести — самый старый вопрос, который только можно вообразить. Он всегда решался очень трудно, а ставился остро. И я должен продолжать, чтобы испить чашу до дна, а не уйти, хлопнув дверью, посреди разговора. Продолжать выдумывать идеалы и фетиши, чтобы разочаровываться и скорбеть. Иначе в чем будет состоять жизнь? В каменной уверенности в своей правоте? С которой что делать?

Потому и работаю, отрешившись от всего, в вакууме, который лишь изредка пронизывает женская улыбка. Вот, как сейчас...

Что до начальника, то он постоянно приближал к себе кого-то из подчиненных: на мне свет конусом не сошелся. Но людей достойных благо-разумно избегал: в фавориты всякий раз попадали такие столпы морали, которые только делали вид, что пишут под его диктовку, а едва он отворачивался, довольный, что можно ехать пасьянс раскладывать, сразу выбрасывали его заповеди и гнули свои... Нет, я ничем не лучше их, я просто пренебрегал предосторожностями и не притворялся, что служу ему, а всегда старался поступать по-своему. Я не лицемерил, не желал соблюдать условности, не хотел его санкции на безобразия — как будто от этого моя деятельность становилась честнее... Зато временщики никогда не огорошивали его правдой, и тут все тоже было верно классически; я так и слышу его блеющий фальцет:

“Ах, братец, признаюсь, что бритвы очень тупы,
Как этого не знать, ведь мы не так уж глупы.
Но острою-то я порезаться боюсь...”

Причем он, действительно, обычно бывал плохо выбрит: он, безусловно, брился, но как-то неудачно. Поэтому, когда он попросил меня помочь его дочери с диссертацией, я подумал, что ему все же хочется научиться владеть и острою бритвой, дабы приблизить к себе людей с умом, а дураков выгнать прочь.

Она носила имя неприметной героини одного первоклассного русского романа, но непобедимая аморфность ее отца переделала его в совершенно не подходящую к серьезности моей судьбы “Нюську”. Нет, я не мог довольствоваться его изобретением, тем более, что передо мной она явилась в ином образе: когда она в первый раз возникла на пороге (а сзади, распространяя вокруг дым табачный и смрад чесночный, как сатир, торчал

он) и правой рукой принялась стаскивать со спины рюкзачок — совсем по-школьному — я сразу узнал в ней Диану со старого рельефа, который украшал фасад нашего гжатского дома до решительной «реконструкции»: даже легкое платье ей точно также едва доходило до колен.

Я дал ей имя богини — меньшее меня не устраивало, — но надеюсь, что не буду затравлен псами. Этого, скорее, можно ожидать от моей благоверной: один из ее любимцев, Лелап, явно меня терпеть не может, всегда скалится и глухо рычит, как на крысу. Я даже спать боюсь последнее время: ничто не помешает ему открыть косматой лапой дверь и войти таким Макавити, когда его не ждут...

Поначалу я презирал себя за то, что согласился. Неужели он победил, и мне все же придется работать за него? — Но быстро стало ясно, что этот бесхребетный человек будет “искренне” признателен мне, если я избавлю его от этой обузы. Он даже рискнул посмотреть мне в глаза по такому случаю.

И вот, я сидел на стуле и, покачивая ногой, давал “Нюске”, т. е. Диане уроки... чего? Вещал что-то, а она прилежно слушала и записывала. Я имел тщеславное желание “делать из нее что-то”. Я — вместе с ее родителем — почему-то вообразил, что такая, как есть, она еще не закончена...

Мои уроки проходили по абсолютно свободному сценарию, и прежде всего я хотел знать, кто передо мной, стоит ли тратить порох... Довольно скоро выяснилось, что любит она три вещи: Петербург, белые лилии, *Alfa Romeo*. И я попытался расширить этот набор с помощью той математики, ради которой она, собственно, и пришла ко мне. В умственной деятельности меня издавна занимала акселерация, прорыв. Ребенка можно научить в пять минут сделать то, что когда-то было доступно только людям эпохи. Вот я и брал последние слова наук и излагал их “на пальцах” — так, чтобы они казались абсолютной очевидностью. Я знал секрет Платоныча — или переоткрыл его, — но как никогда ясно увидел, сколь скучна может быть математика для того, кто не способен изучить ни одной науки, хотя и знает свое невежество и ищет от него лекарство.

В ту минуту, когда я впервые серьезно посмотрел на нее, мне стало ясно, что ей смертельно не хочется заниматься этой заумью. Заниматься вообще или заниматься со мной? Вопрос непростой. Но не было сомнений: наивысшее удовольствие она получает, залетев буквально на минутку, чтобы, уяснив пустяк, бросить: “Ну, я пошла” — и упорхнуть. А я — видя ее долго. Эти две позиции совместить было невозможно, и я, конечно, отпустил бы ее на волю — мне был отвратителен и минимальный элемент принуждения в наших встречах... Почему? Разве я не мог ей объяснить, не мог произнести краткую, но зажигательную речь в защиту математики, дать апологию того, на что кое-кто положил жизнь? Мог. Но не было

гарантии, что ее душа откликнется, что я не получу в ответ: “Что можешь знать ты обо мне, коль ты со мной не спал и не пил?”

Однако именно она вдруг резко переменяла стиль. Она что-то поняла. И в какой-то миг словно бы резко повзрослела, перестала срываться с места чуть что, забывать о договоренностях... Она стала прямо-таки за-сиживаться у меня...

Кто рискнет влюбиться в королеву, если она не сделает первого шага? — Дочь начальника, конечно, не королева, но... Или ее первым шагом было это равнодушие к науке, которое должно было оттенить ее неравнодушие ко мне? Ведь я же увлек ее... Чем? Может быть, куда важнее печального научного прошлого оказалось мое пребывание на кухне в качестве *homme de ménage*: я хоть и не открыл великих физиологических истин, зато понял, как проникнуть в тайники тела и утолить голод женщины!

Нет, она изо всех сил старалась изобразить прилежание и послушание, но — не дано было, как видно. Наверное, с этого и началось наше сближение, и уже она стала делать из меня что-то.

Она лишила меня уверенности в моем превосходстве и, сидя перед ней, я чувствовал, что от красоты ее у меня слезятся глаза. Но я не стану притворяться, что понимаю, чем она приворожила меня: разве можно это знать? Описать ее волосы, голос, что угодно, я могу, но это будет не более, чем данью каким-то условностям, которые, вероятно, никакого отношения к проблеме воздействия не имеют. Да и срамно как-то писать о волосах и телах после того, как все оттенки волос уже описаны, все, что можно проделать с телами, вы и сами знаете. Срамно и не по чину... Если же говорить о красоте, то и она — всего лишь сочетание нашего восприятия и некоей внешней реальности: точно рассчитанная провокация творца. А я не хочу быть подопытным кроликом... Да, моя непокорность тоже заимствована, но я не буду, по крайней мере, славить того, кто только развлекается. Попробую развлечься сам. Как? Соблазняя дочку начальника?

В первую секунду мне, действительно, стало как-то гнусно и пошло. Может, я испанский король? Но пропало ощущение, что между нами двадцать лет — вообще утратилось понимание того, что нас что-то может разделять. (Для сравнения: когда я говорю с женой, мне кажется, что между нами пролегла эпоха лет в 200 — никак не меньше.) А начальник? — Что ж, я не обязан платить ему добром за зло — я не христианин. Другое дело, что любви нет. Как я назову то, что произошло между нами? Или можно никак не называть?

Когда в первый раз целуешь женщину, разве думаешь, что она — твоя судьба?

Но скольких я целовал и сколько “судеб” упали незамеченными? — Жену я, например, не целовал — сперва она заявила права на мою судьбу, а

потом уж... Ксюшу целовал самозабвенно — и ничего. Ну, была у меня Ксюша. Мало ли кто у меня был.

Поцеловав Диану, я вздрогнул и лишился сна, разума, стыда. То не было прикосновением губ — и все. Перелистав десятки губ, как страницы неведомой книги, я попал на что-то иное... Или я в самом деле прикоснулся к некоему божеству, на миг принявшему человеческий облик?

По вине легкомысленного моего шефа я оказался в трудном положении. Ведь я совершенно точно знал, что любить неспособен. Почему? Потому что обманулся в каких-то своих надеждах, планах? Потому что мир жестоко обошелся со мной или с кем-то еще? — Но он изменил меня, как хотел, и если я скептик, значит, так надо. Раньше мне хотелось осуществить свои мечты, теперь — хотя бы иметь их. Два часа. Зная, что и это невозможно. Но если ты и не ищешь человека, то он сам может найти тебя, чтобы заполнить пробелы в рассуждениях, когда ты его совсем не ждешь. И любви не ждешь, но приходит вдруг нечто такое, что иначе не назовешь.

Я сразу отказался от самой спорной гипотезы: взаимопонимания. Я решил: пусть будет одно сплошное действие и никаких собеседований. Необходимое содержание я собственноручно вложу в нее, а она сама меня не заинтересует.

Да, я решился и спросил себя дрожащим голосом Ивана Васильевича: “Что если бы?” Если бы я влюбился «по-настоящему» — что бы я сделал? Как бы я попрали свою жизнь, все самое дорогое, опрокинул все предшествующие выводы и установки разума?

И я повел себя так, как будто влюбился по-настоящему. Как было на самом деле? — Не знаю. Но я стал накачивать, натравливать себя на нее, чтобы посмотреть: а что из этого выйдет?

Как объяснил я себе отречение от тех истин, которые совсем недавно с таким апломбом провозглашал? Разве я не понимал, что столп истины — та мачта, к которой нужно привязать себя, если ты чего-то стоишь? Но, увидев остров сирен, я уже не хотел возвращаться домой — меня не ждало там ничего интересного. Пенелопа сама может защитить себя.

Мне стало необходимо только одно: “фараон”. И мой фараон — Диана, дочь моего обидчика. Я поставил деньги на карту, загнул угол, жду: налево ль выпадет валет. От нее, как от взмаха руки Чекалинского, зависит моя судьба.

Я давно знаю эту игру. Череду женщин, которых я искал и оставлял, пеструю, как фараон, упорно метала передо мной невидимая длань. И теперь я уже не могу играть скромно, мирандолом: разоблачив все пружины любви, отбрасываю требования разума, чтобы перевоплотиться, поверить — хотя бы на два часа, как актер, играющий в драме; иначе говоря — иду ва-банк! К сожалению, другой возможности идти ва-банк жизнь мне не предоставила. Неважно, влюблен ли я в нее, главное, что зависим

умственно. Ей, как коварной двойке, я вверяю весь свой капитал, все, что у меня есть: мой мозг. Это их любимое лакомство, я знаю...

Но Змей! Я день и ночь думаю о нем. Что это за человек! Не у каждого ведь было так: прикосновение к человекобугу. Это он подарил мне право наслаждаться игрой в фараон. Я до сих пор вспоминаю иные его реплики — и не просто «вспоминаю», а подскакиваю, как ужаленный, точно он рядом, — потому что сказаны они были крайне резко, без малейшей лакировки и оглядки на нежности. Если бы не он, я мог бы навсегда остаться филистером, сохранять гладкую свою оболочку и достаток материальный, но не иметь того беспокойства, которое в секунду разрушает все, что я сам же создаю годами. Зачем оно нужно? И не лучше ли было бы не иметь этого солитера? — Нет, не лучше! Предпочитаю быть исчадием ада, а не сытой, добропорядочной, верной свиньей!

Я давно стал таким, и это, конечно, предъявляло требования и к жене моей. Но я верил в нее. Я надеялся, что она поймет. Поймет — да, а простит, или плюнет мне в лицо и скажет: “Пшел вон!” — это ее выбор, который я не мог ей навязать.

Она выбрала милосердие — как раз то, что запретил мне Змей. И этим сразу была проведена черта между нами, которую мы поначалу не желали замечать. Я отверг милосердие — как путь, отдающий тебя в рабство этому миру. Ведь люди — куклы, они всегда делают то, что хотят от них другие, играющие на них, как на флейте. И жалость, сострадание — те самые клапаны, нажимая на которые, можно приручить кого угодно. Жизнь, какой я ее вижу, требует бесконечного милосердия с моей стороны. Ежеминутного и широчайшего. Это единственное, чем может заниматься порядочный человек. И про милосердие можно сказать то же, что про любовь: оно поглощает тебя всего. Ты имеешь полное право больше ничего не делать, никем не быть. Вот только не припоминать каждую деталь последней встречи, а мучиться, как бы помочь имяреку — ему, ей, им. Главной проблемой становится — сдерживать рыдания...

Но я хотел бы видеть вокруг себя еще что-то. И я протестую против всего, что мешает мне слушать музыку, читать книгу, любить женщину. А милосердие мешает всегда. Оно действует не хуже угрызений совести: разъедает душу и полностью лишает человека жажды жизни. Причем даже жажды проявлять свое милосердие: он просто захлебывается мыслью о чужих страданиях и гнойниках. И я не позволю, чтобы под моей дверью стоял человек с молотком, потому что я не счастливый, довольный своим жребием свидетель истины. Я буду страдать — но за себя и от себя, а не за другого, хоть он и дерись.

Но что это: нечувствительность к чужому горю, к чужой боли — или, наоборот, слишком большая чувствительность к ним?

“Бедные люди” — вот эпитет из эпитетов. Нет слова вернее и обиднее для нас. Даже сильные и молодые легко вызовут сострадание, узнай вы малую толику “их истории”. А старые и больные, нищие и покинутые — тех невозможно видеть. Они должны быть еще несчастнее, а дальше-то уже некуда!

Когда я женился, у меня не было достаточно эгоизма (т. е. самосознания), чтобы жить только для себя. Я попался в капкан и решил: быть по сему. Но теперь я готов отречься от “человечности”, от “порядочности”, от чего угодно, если это мешает моему “хочу”. И никаким ярлыком нельзя меня заманить сделать то, чего я не хочу. Тогда для меня важнее всего были принципы, теперь — я сам, даже если мне противостоит весь мир. Ради моего хотения будет попроано все.

У меня много свободного времени, и часть его я использую для дальнейшего вращивания в жизнь: откликаюсь на разные вздорные предложения шефа, делаю кое-что постороннее — и не для денег ведь, прошу мне верить. Разумеется, я почти ни в чем не удовлетворяю даже самым скромным моральным критериям, но тем больше у меня оснований в чем-то другом идти дальше того уровня, на котором останавливается середняк. Он удивляется: зачем? Ведь и без этого можно, никто не заметит, если сделано всемерно меньше... Но я, как стахановец, люблю вдруг перевыполнить план, хотя это мне не принесет никакой выгоды (в его, середняка, понимании). И продолжаю допытываться: действительно ли мне суждено все глубже вращивать в жизнь, вращиваться в нее, как плуг, как Левин, — или же я приближаюсь к собственной гибели?.. Я должен испытать и узнать все, что делается под солнцем и под луной, хотя, возможно, и не вижу очевидности — не вижу, что становлюсь “на ножах” с окружающим, и разрешить положение можно только устранением неуютной стороны, т. е. меня. Свой опыт я довел до такой точки, за которой уже сама жизнь оказалась под угрозой. Не столько даже моя, сколько жизнь моих близких. Я жил, полагая, что всякое переживание и приключение, вообще все, что пошлет жизнь, послужит на пользу моей гносеологической машине, однако отвергнув милосердие, я оставил себе очень узкую тропку. Куда ж она ведет?

Или зря я беспокоюсь, и счастью моих близких ничего не грозит? Ведь я примерный семьянин: у меня есть жена, дети, любовницы — и всем я воздаю то, что должно. Они живут у меня, как в ковчеге, и всем хорошо, все довольны.

Правда, нет сомнения, что и Калигула так думал, он тоже был примерным семьянином, равно как и другие злодеи, которых удавили, потеряв терпение, их ближние, так и не дождавшиеся, чтобы их возлюбили. Но милы они мне чем-то. Если б я не боялся разделить их участь, я повесил бы дома несколько портретов: Нерон, Ричард III, маркиз де Сад, Досто-

евский... Да, и он. Мерзее — в метафизическом смысле — человека нет. Но лишь благодаря ему можно совладать с тем ужасом, который носишь в себе. И еще я беспримерно уважаю его за то, что его совсем не занимает «половой вопрос»; Ставрогин и его девочка Поленька — это апропо, это совсем иное: продолжение той насмешки над небом и создателем, которую последовательно проводит «Иван Царевич».

Истории злодейств действуют на меня сейчас, как вино. Потому что убеждают: это сидит во всех нас, как бы мы ни пытались скрыть истину под паранжой добрых дел.

“Истории? — спросит жена. — Но разве недостаточно оглядеться по сторонам, включить “Новости дня”?”

Те злодеи, которых можно увидеть по телевизору, это лишь пешки в какой-то игре, зачинщики же скрыты от нас. Они сидят в тени, а телевизор аккумулирует мировое зло и выливает его на наши бедные головы.

Нет, наверное, не так. Минутный интерес к злодеям отнюдь не означает попытку оправдать зло. Он проснулся во мне в тот миг, когда я вдруг увидел лицо жены, невидящими глазами уставленное в экран этого самого аккумулятора зла. Лицо жены, у которой больше не было меня. Давно не было. Я понял, что, по-видимому, причинил ей зло, сравнимое с деяниями Нерона и Калигулы, — только в своем роде. Ведь это тоже были люди, ставшие негодьями постепенно.

Я устал от милосердия — да. Но склонен ли я к злодейству, этому последнему способу преодолеть свое бессилие? Пример ли для меня венценосные исчадия ада и не превзошел ли я их, ибо, имея меньше, произвел значительные разрушения и разорил душу человеческую, как осиное гнездо?

А может быть, я ошибаюсь? Да и какое еще лицо должно быть у зрителя, одурманенного невидимыми зачинщиками?.. Она слишком приросла к своему дивану, с которого и обозревала мир, а меня тошнило от диванной мудрости и бежать от нее стало необходимостью. Хорошие вещи — прочность и спокойствие, но я не могу уважать этого влечения к рабству. Оставаясь при факте, стараясь быть справедливым, не творить сознательно зла, я все равно приходил к какой-то обвальной греховности. Я искал логики, но логично, увы, только зло... Меня ведет не алчность, не злоба. Меня ведет инстинкт — как тигра в зарослях. И что же? Я вижу, что мне нужно либо остановиться, замереть, уйти в скит и каяться до конца дней своих, либо продолжать ту же песню, потому что во второй раз отказываться от всего, что представляется мне достоверным, что сложилось в стезю — я не хочу. Вот еще один соблазн, еще одна временная мысль, но теперь я предпочитаю уступить соблазнам, поддаться иллюзии, чем не иметь их. Могу ли я иначе? Я уже убедился, что неспособен носить камень на сердце. Поддаваясь соблазну, чувствуешь ведь себя всемогущим,

тебе все удастся. Я разучился страдать молча и не хочу возврата на чердак студенческих лет, хотя бы он теперь и назывался домашним очагом. Враги человеку домашние его... Нет, не враги они мне, но я не знаю, как мне быть с ними. Не хочу я рядиться в сутану непонятости, пусть мне суждено раскаяться, но я повторяю вопрос: как мог я быть примерным семьянином? Ведь я не признавал семьи и раньше, когда был, так сказать, “на первом этаже”: родители всегда воспринимались, как обуза. Мне была неясна их роль — последующая, хочу я сказать. Кто угодно подошел бы... Таков я. То же, видимо, передал и своим детям. И странно ли, что я остаюсь самим собой: тяжелым с теми, кто считает, что имеет на меня права, но не нуждается во мне, и легким там, где улыбчивые создания ловят мое слово и мой взгляд?

И при всем при том: влезая в семью много лет назад, я, по сути, подписался под принципом: «Я для тебя пожертвовал (а) всем, жертвуй и ты для меня всем», который в равной мере применяется и к мужу, и к жене. Можно сказать, что я почти от этого и не отступался. Говорю серьезно. Да, я изменял, но это не в счет. Главное, что я всем самым важным действительно жертвовал. Не «самым» — единственно важным: свободным течением мыслей. Я был согласен оборвать мысль в любую минуту, если жене или детям что-то от меня требовалось.

И нет никакой надежды, что я пойму страшные изъяны свои. Я знаю, что они есть, но я не верю в них. Я первым сделался бы мстителем за свои грехи, имей я твердое убеждение, что их можно было не совершать. И я жду, что изменятся другие, которым мои изъяны не по душе.

Я понаделал делов — о, да! Но не это страшно. Страшно, что у меня нет критериев для того, чтобы себя осудить. Я могу осудить себя только по внешним критериям, аргументам мира, но их я не признаю, не принимаю.

Напрасно жена вела со мной спасительные беседы. Чтобы повернуться к вере, нужно как минимум проникнуться сознанием своего убожества, своей ничтожности. Не знать, а именно чувствовать. Я ничего не добился, но это не сделало меня христианином. Проклятое чувство собственного достоинства, великой значимости у меня не отнято. И глубочайшее отвращение к самому себе: я знаю, что заслужил его, но я его не испытываю. Чего нет, того нет. Я прав во всем, что делал, делаю, сделаю.

Чем мог бы я остановить свое превращение в монстра? Ничем, увы. Потому что не хочу возврата в то спокойствие, в котором непростительно долго пробыл. Не хочу быть хозяином положения. Пусть не будет ни малейшей опоры под ногами, но это будет жизнь. Хочу жить, даже зная, что это невозможно. Все-таки жить... А если придется расплачиваться душой или телом — я готов. Вот я!

XIX

Но я, кажется, отвлекся? — Это очень приятно: отвлекаться от темы, чтобы не быть рабом одной мысли. Даже в ту пору, когда я решил больше не разбрасываться, не разбирать разных точек зрения, а бить в одну и выжать из своего бедного разума все, что возможно... Но я нисколько не отвлекаюсь. Я решился на нечеловеческое усилие, чтобы больше не упрекать себя, что не пошел ва-банк. Срок, который я назначил себе: две недели. Ровно столько нужно для последнего штурма серьезной математической проблемы тому, кто рожден для этого. Моя проба состояла в том, чтобы испытать, наконец, себя всерьез.

С самого начала это предприятие было настолько безнадежным, что когда моя белая лилия уходила, ни о чем не подозревая, а я снова ничего не добивался, ни на что не решался, не подбирал ни малейшего ключа к ней, — то испытывал не тоску, не отчаяние и злость, а успокоение, облегчение. Я ведь сделал все, что мог, мне не в чем было себя упрекнуть! Я начинал привыкать, что ее приходы взрывают и возмущают рутину, хотя день-два после встречи с ней и бывал выжат досуха. Но недели, разделявшей ее появления, наши разговоры почти на глазах у всех, едва хватало на то, чтобы я успел перевести дух. Конечно, я и тогда хотел бы видеть ее чаще, но если бы это удалось, я погиб бы досрочно, ведь она мне не принадлежала, она из милости дарила мне по часу, и если бы было больше, я не сумел бы сохранять даже то относительное спокойствие и равновесие, которое предшествовало окончательному моему решению. И теперь я назначил ровно две недели на все! На то, что не мог сделать в два месяца нашего знакомства.

Вопрос был один: какой будет эта моя любовь (или эта не-любовь)? И в две недели я постарался максимально узнать ее, я хотел, чтобы она говорила, открывала мне горизонты своего мира. Я не боялся, что они окажутся не слишком широкими: мне хотелось войти в то, чем она живет, без тени высокомерия. Я был уверен, что в моей жизни найдется отклик на любую глупость, любое заблуждение, которое она мне откроет. Если я смогу отбросить косность, охраняющую покой стариков...

В моем кабинете стояла лучшая книга о мщении, из которой, когда бывало невмоготу, я зачитывал себе некоторые пассажи. И не столько даже себе, сколько ему, шефу-обидчику. Мой долг был предупредить его: если он не прекратит заходить и обкуривать меня, стряхивая пепел мне в кофе, то сталь иль слово рано-поздно сразят его... Мне с трудом удавалось соединить их вместе: дочь и отца. И не потому, что Диана казалась дочерью не простого смертного, но бога, а потому что невозможно было предста-

вить, как они там, у себя дома, сидят за столом, разговаривают, как он, по обычаю всех отцов, целует ее перед сном. Не претендуя на хорошие манеры, я, как Гамлет с Полонием, становился все более груб с ним. Для меня он тоже был первой, неудавшейся попыткой творцов явить миру образ моей возлюбленной. Не могли они сидеть за одним столом, жить под одной крышей. Если соразмерять их по той роли, которую я отводил каждому в моей судьбе, то ему вполне достало бы собачьей конуры, тогда как для нее не хватило бы и огромного собора.

И вот, однажды, когда она была у меня, я увидел у нее в руках какую-то книжку. “Что берем сегодня?” — спросил я. Она часто уносила с собой один из образцов с того иконостаса, который, настраивая посетителей на серьезный лад, занимал полки. — “А Шекспир хорошо пишет?” — спросила она. — “Кто?” — не понял я. (Дело в том, что обычных-то книг в кабинете не было — только ученые волюмы. Ее папаша не потерпел бы такого безобразия... Я не сразу понял, что она раскопала то, что не предназначалось для чужих глаз.) — “Шекспир. (Да, я не ослышался.) Я никогда его не читала...”

Что же ты читала? — была первая мысль, но я ее задушил. Я уже знал, что она больше всего любит сборники афоризмов — не такой уж плохой выбор: соблазн быстрого получения истины легко оправдать. Может быть, у нее просто не было времени... Кроме того: сколько книг за последние пять лет прочел я сам? — И не потому, что было некогда или незачем. Смирненно признаюсь, что давно не могу читать серьезные книги — не могу кончить ни одной. Я не способен уразуметь их проблематику, меня волнует только то, что происходит со мной. Даже если в книгах я наталкиваюсь на что-то подобное, то мне кажется, что рассказано все не так, что автор не справился со своей задачей и напрасно взялся за дело, в котором не понимал, как должно. Да, я сам — слишком серьезная книга. Или, может быть, мне стыдно, и я ранен в мозг, как бедный Лир, король без королевства? Кроме того, в стране тотальных кастраторов, панически боящихся свободной мысли, я никогда не могу быть уверен, что авторский замысел донесен до меня во всей полноте. Они обрубают его, как вырубил гжатский оазис, чтобы с беспамятством дикарей поставить свои юрты на пепелище.

Наше с ней отношение к печатному слову напомнило мне разговор двух старшеклассников при входе в школу, который я случайно подслушал...

— Что по литературе задавали?

— Не знаю. Что-нибудь плохое...

Зачем нам литература, когда мы сами — кошмар?.. Если семейная жизнь героя в порядке, я сразу выбрасываю книгу на помойку — или в детскую; если же там котел с кипящей смолой — тем более: знакомо до боли. А третьего не бывает.

Когда я читаю, то подвожу книгу под известный мне тип. Книги помогают думать, но мешают жить. Поэтому, когда мне хочется жить, я не читаю книг, которые могли бы остановить меня. Могли бы? О, нет, ведь я не книжный юноша, я сам — книга, повторяю еще раз. Читать можно в двадцать лет, а после сорока просто стыдно.

Последний раз, что раскрыл я книгу и почувствовал себя дома, было со мной за чтением французских моралистов. Славные были ребята, честное слово, несмотря на то, что кое-кто из них мечтал отправить всех математиков в нужник. В школе нам приходилось заучивать то, что они писали кровью сердца, и это могло обратить все в хлам, но, видимо, не обратило... Они знали, что жилу нашли богатейшую, и такие чемпионы порока, как я, могут выделять из себя моральные истины, как желудочный сок. И благодаря этому начинают и себя воображать французскими моралистами. Но становишься ли от этого более нравственным? Скорее наоборот: в погоне за моральными истинами еще более укоренишься в пороке.

Жаль, что и моралисты не избежали общего удела всех философских сочинений — монотонной долбежки. Говорят, говорят, говорят — прекрасные, глубокие вещи, но вещают без перерыва. — Надоедает. Хочется, чтобы поток красноречия прервался хотя бы прогулкой в лесу или дружеской попойкой... А потом — продолжать, конечно. В такой форме я разрешил бы существовать своим мыслям (если бы они у меня были). Чтобы видеть, когда они пришли к их хозяину: то ли на крестьянской телеге, то ли у ворот, занесенных снегом, то ли ночью, под одеялом и при свече. И если писатель проповедует нищету и чистоту, я хочу видеть, как он живет, во что одеты его жена и дети...

Моралисты не пытались изобразить человека не таким, каков он есть. И за то им спасибо. С их помощью я понял, что уже не один год живу так, как будто никакой морали нет вовсе. Потому что ее действительно нет — этой черной кошки в темной комнате. Которую некоторые гносеологи (конечно, это попы, под видом философии пытающиеся протащить самую протухшую религию) делают вид, что нашли. Так что, если я и читаю, то бегу толстопузых трудов. Мне достаточно двух-трех строк, которыми можно вскрыть любого человека. Я отдыхаю в этих квинтэссенциях мысли, я люблюсь ими, как горным пейзажем или гладью моря, или волосами любимой, своевольно собранными на затылке. Каждый раз по-иному собранными.

Нет, однажды я задался целью взглянуть на себя со стороны... серьезных людей. Взял кое-какие книги по философии, Библию, всякое такое, странствия по душам. И что же? Меня так и не покинуло чувство, что философия ничего нового сказать мне не может. Что ответы на основные вопросы бытия давно уже мной получены, а на то, на что нет ответа, я знаю, что его нет ни в каких книгах, и ни у кого, и быть не может. Груст-

но и самоуверенно, конечно, но факт. Мне ни к чему философы, потому что самому главному в этом деле — самоотрицанию — я выучился не по книгам. И мне не нужно то, что хотят знать все, чему можно научить других. Я занимаюсь тем, что нужно знать только мне, что не может быть передано другим... И дело даже не в том, что она не может ничего сказать именно мне. Не потому не может, что мои вопросы только о смысле моей жизни, о ее тупиках и грехах. Совершенно не в этом дело. Самое — и единственно — ценное в их писаниях только к их жизни и относится. А общие рецепты отправляются в урну. Вот неискоренимое противоречие философии — что ее считают наукой. К тому же многие из размышлителей слишком для меня страстны, доказательны, хотят увлечь. Из чего горят они? Мир тонет в суете и злобе, какие тут могут быть экстазы и воспарения духа? Все глупости и жестокости род людской уже совершил, а если чего-то и не успел, то ждать этого остается недолго. И философия беззуба: все богохульства изрыгнуты, все истины осмеяны, а предупреждения никого не страшат. Чем можно тронуть сердце человеческое, если мы уже захлебнулись ужасами и горем? Духовная деятельность, — любая: не только философия, но и серьезная литература, — утратила свою роль, как алхимия, она бесполезна, как старые автоматы с газированной водой, возле которых прошло наше детство.

Следует ли энергично отказаться от его безумного мира? Наверное. С другой стороны — можно ли предъявлять претензии к пенсионеру? Он давно отошел от дел и только издали наблюдает, как детишки сходят с ума. Наблюдает, не сострадав, — ведь это убило бы его... Претензии предъявлять можно лишь к себе — и уже не первый год, не первый век. Тише надо быть и скептичнее, ироничнее надо быть, циничнее даже. Чтобы ничто не задевало нас за живое, чтобы никто не знал, что нам дорого. Ведь стоит только открыть это — и отберут, испоганят... И их нападки на науку головокружительно мне надоели: неприятно мне, что мои чувства разделяют люди, не изучившие до конца ни одной науки, но судящие обо всех сразу... Есть только одна достойная тема философского исследования: шаткость умозаключений. Вопрос: «Что такое правота?» заполнил бы мои дни на несколько месяцев, имей я их. «Никто не прав. Все правы», — на этом я не остановился бы. Но мои мысли не претендуют на то, чтобы составить достойное исследование; оно поневоле оказалось бы очень шатким.

А эти великие книги, обсосанные по сто раз и замусоленные столетиями толкований... Я бы с большим удовольствием выучил какой-нибудь венгерский язык и читал *их* литературу, которую никто не знает.

То, что меня затошнит от философии, уже предрекали искатели, так и не решившиеся приблизиться к женщине. Они заявили, что в важных вопросах люди женатые подозрительны; очевидно, имелся ввиду вопрос о смысле жизни. Но кому, позвольте, нужно решать вопрос о смысле моей жизни? Вам? Искателям общего смысла? — Истинный смысл ищет тот,

кто не может жить, и тогда, когда уже не может жить. У меня есть право говорить так. Если моя философия и указывает на отсутствие отцовского ремня, то уж переводом с немецкого от нее не пахнет, а, значит, она сильнее всех их философий (разумеется, в применении ко мне, но и этого довольно). Испытатели разума гордо заявляли, что открыли истинную философию, тогда как значение имеет только наилучшая для меня. Откуда я это знаю? — Оттуда же, откуда знаю, что пирожное “Наполеон” вкусно, а угрызения совести — нет.

Лежа рядом с женщиной, нельзя не вспоминать базельского профессора, порицавшего это стремление. Базельские профессора очень щедры на порицание. Пусть их. С философией я еще сведу счеты. Но и теперь ясно: ради завоевания благопристойности я не стану обрезать на спячку свою жизнь и свой разум. Наоборот: я готов подвергнуть опасности как свою жизнь, так и свой разум — ради обладания женщиной, которую, возможно, и не люблю. Ведь все дело в случае...

Погоня за истинами давно стала самой жгучей моей потребностью. И тошнило меня не столько от профессорской мудрости, сколько от систематического изложения, переполнявшего кирпичи в кожаных переплетах. — Да нечего нам излагать прежде смерти, если сами же все и отменим. Только несколько строк на выходе — больше этого просто стыдно...

“Женатые подозрительны”? Но подозрения отставного профессора еще не повод для развода! Пусть я только и делаю, что отрицаю жену, женитьбу и прочие слова с этим корнем, но отрицаю не для того, чтобы сдать без боя. Нельзя об этом судить объективно, не вымазавшись с ног до головы. Разумеется, женатый человек смешон, но кто помешает ему, смеясь над собой, искать правду?

Да, девочка моя не читала Шекспира, но я умственно зависим от нее в куда большей степени, чем от любого мудреца. Это факт! Она обладает свойством преобразовывать мои мысли в действие. Каждое ее слово, движение рук или глаз пробуждает рой картин и комбинаций у меня в мозгу. Я думаю только о том, что скажу или сказал бы ей в том или другом случае, если бы мы встретились при тех или других обстоятельствах, я рассчитываю наши шаги на много ходов вперед. Но это слишком сложная игра, мне подойдет и попроще... Нет, она не просто занимает мои мысли, она дает мне прожить сто жизней вместо одной. Вот только вопрос: я хочу ее?

Чтобы на пятом десятке дружить (назовем пока так) с девчонкой вдвое себя младше, нужно что? Мужество, душевное равновесие? Чтобы сразу подчинить ее себе... Зачем? Чтобы получить розовые колени и нежные нецелованные сосочки? А что у нее еще есть?

На пятом десятке лучше не узнавать, что есть что-то еще. Розовые сосочки могут свести с ума, да, толкнуть на безумства. Значит, для разгона

требуется размягчение мозга, который уже не в силах остановить тебя! Здесь собираются вместе чувства, которые ты, упрямая развалина, еще пытаешься испытывать. Не одна лишь любовь к телу. Может быть, главным рычагом является умиление и жалость к слабому, неразвитому существу, для которого ты становишься действительно всем?.. Ты углубляешь ее познания, защищаешь ее чистоту от посягательств, ты любишь ее. Где она найдет больше зараз?

Но разве тебя сильно беспокоит, что ты дашь ей? Не привык ли ты ценить свои ощущения (не хочу говорить: любовь, чтобы не дразнить самого себя) выше чего бы то ни было, выше велений совести (даже если бы чувствовал их)? Если тебя что и мучит, так это вопрос: видишь ли ты истину тогда, когда влюблен в пустое и вздорное создание, или же тогда, когда убеждаешься, что оно — пустое и вздорное — то создание твоего же мозга, ради которого ты поставил на карту все?

Или — всегда видишь, но не хочешь пренебрегать даже заблуждениями своими, самое опасное и прекраснейшее из которых ценится тобой выше, чем истина?

Почему выше? Почему вдруг устремляешься в те владения, которые только что отсек от себя с уверенностью, что они тебе ни к чему? — Потому что ставить можно только на любовь к обманчивому; только здесь неизбежный провал, которым сопровождается всякий “роман с человеком”, сразу входит в правила игры. И я сдаюсь: неспособен я к той любви, которую считаю истинной. И выбираю постыдное актерство: воображаю себя влюбленным — и пусть меня ведут, как куклу. Постараюсь пережить максимум того, что заложено в самой машине. Наскучив неудачами духовными, я не могу совсем без удачи и победы хотя бы биологической. Я хочу ее!

Я думал о ней, мечтал, тонул в вариантах и впервые чувствовал, что если не буду сжимать в руках ее тонкую талию, то мозг мой просто лопнет от непосильной, постоянной работы, истощившей его. Конечно — обладать. Никуда мне от этого не деться. Я слишком приземлен, мне тоже нужно упиться роскошным телом. Когда-то, в ненаписанном романе из венецианской жизни, мы со Змеем, как некие Гонкуры, насмешничали над самым жалким уделом, который нам тогда представлялся — уделом престарелого Казановы, рабски зависимого от того, что радость дает... Но кто не Казанова? Из интересующихся женщиной? Силимся подняться до возвышенной любви, но хватаемся за... Жалкий удел наш. Думая, что развиваю чувствительность, развивал-то я только чувственность, и стоит ли удивляться, что просчитался и в том, что искренне считал своим хоть и небольшим, а открытием. “Своим” — потому что думал, что установил коренную свою черту. Ан, нет, и теперь растерянно лепечу в ночи: “Диана, хочу тебя...” Я уже зашел в этом безумии так далеко, что, мне кажется,

знаю ее тело лучше тела жены, с которой прожил столько лет... Но сработавших меня на пикнике я все же спросил бы: “Почему мне так важно видеть, как женщина раздевается передо мной в неверной тишине мебелирашек?” — И они бы, конечно, не затруднились ответом: “Радоваться ты должен во все дни жизни. Твой нигилизм ни в чем не явлен столь очевидно, как в бунте против постели. Мнимом бунте. Проследи, как легкой походкой приближается к тебе та, которую ты любишь, и тебе станет ясно: именно в этом и состоит высший замысел — чтобы ты захотел ее до того, как она раскроет рот и все испортит.”

Почему постель плохо сочетается с высотой духа? Откуда это рабское убеждение? Или дело в том, что постелей — много? Одну мы могли бы зачесть за добродетель, за жертвоприношение великой идее брака, а вот повторение — да еще со многими — того, что должно воздавать единственной случайной избраннице, и разрушает состав кумира.

Только платоническое? — Но если увлечена душа, то и тело не останется безучастным. Оно тоже влекомо — к другому телу. Это так ясно... И напрасно я изволил чураться постельных радостей, морщить нос. Удовольствие, получаемое от соития, определяется отнюдь не равнодушной природой, а в высшей степени заинтересованным интеллектом. Ты можешь сам взвинтить себя так, чтобы в акте видеть таинство слияния с родной душой. Женщины, видимо, так и поступают... Разумеется, годы воспитания чувств — вещь хорошая. Душа растет, и так далее. Но в наш век, который кажется затянувшимся концом света, это неоправданная роскошь, да. Нам куда больше подходит *carpe diem*^{*}, счастье ловится на лету и проживается в два часа. Кто предоставит нам два года для созревания любви и еще пять — для излияния того, что мы накопили? Зато нам дано вожделение, похоть, которая, может быть, не враг мой, а, напротив, — мое спасение? Вдруг вожделение — это знак иного, знак томления по божеству, воплощенному в этих округлых бедрах, в этих стройных ногах?.. Тогда с кривой усмешкой признаем, что человек, каждый вечер посещающий публичный дом, — или, чтобы выразиться литературнее: севильский обольститель, имевший 1003 женщины, — ближе к богу, чем тот, кто жил одной страстью и сложил за нее голову! Поневоле отбросишь гордость и поставишь похоть выше черемухи — другого пути нет.

Не скажу точно, где застала меня эта мысль, но я вдруг представил себе, что в этот самый момент кто-то может быть с ней. Не с женой, нет. Именно с ней, с Дианой... Хотя нет, скажу. Да, мысль эта застигла меня прямо на улице, у киоска, в витрине которого были развешаны бесстыдные картинки, иллюстрирующие какую-то историю под названием “Веселый Приап”.

* *carpe diem* — лови день.

Страшно мне стало. Но, к счастью, там же висел и календарь, взглянув на который я понял, что 2 недели, назначенные мне, прошли. Что ж: я опять не уложился в срок, подобно тому, как когда-то не смог решить ни одной из задач Симона?

Однако: почему ж не уложился? Сам собою вопрос не отпал — это верно. Потребовалось... что потребовалось? Ну, я слегка пофантазировал, как обращусь к ней с предложением нескромным, и как она с улыбкой откажет мне... Представил, как меня это придавит — особенно важной казалась именно эта третья часть: еще бы — к поражению надо подготовиться особенно тщательно, я ведь не привык к отказу, потому что никогда не просил... об этом. Но готовиться уже было некогда. Я быстро набрал ее номер, вручая себя судьбе. И странно: решившись, я почувствовал, что она играет со мной в поддавки и банкомет болеет за меня. Для чего? Чтобы я не вывернулся еще раз? — Разумеется. Но все равно было приятно, неожиданно.

К моему удивлению, Диана и не думала сопротивляться, наоборот: она точно ждала этого и помогала мне всячески. Сопротивлялся я сам: очень хотелось, чтобы это произошло “по-настоящему”.

Она шла за мной молча, без истерик и экзальтаций, с пугающей преданностью. Или она надеялась, что я женюсь на ней? — Не думаю. В ней никто не отыскал бы и следа вечно-бабьего. Она шарахалась от «замысленных» слов, замысленных мыслей, я мало что знал о ее метаниях, но стал свидетелем и участником последнего акта...

Не стыдно ли мне было, что на меня кладется ее жизненный дебют? На старикашку?.. Или я считал, что мой строгий вид и седина возбуждают в ней страсть, мечты о счастье?

С первого дня я готов был на любые жертвы ради того, чтобы быть с ней, вместе проводить время над формулами. Еще задолго до того, как решил. Я откровенно отдыхал рядом с ее светлой головкой, прилежно склоненной над тетрадкой, в которой я все исчеркал зелеными чернилами. Эта редкая естественность, отсутствие кокетства... Как дались они дочери старого ломачи?

Мне было приятно ей помочь, каждое ее посещение смирало меня, успокаивало, как, конечно, и должно явление красоты успокаивать мятущееся чудовище. Когда она собиралась домой, я машинально вставал и немного провожал ее по коридору, шептал ей: “Пока!”, и мы расставались. Но, сделав несколько шагов, вдруг оборачивались — оба с улыбкой. Вот это оборачиванье, почти автоматическое действие, совершенно бесцельное, бездумное — оно особенно меня бесило, но я не мог отказать себе в нем. Может быть, этот пустяк и решил дело: я оборачивался, а потом — просто посмотрел во все глаза?..

В тяжбе двух душ числа не важны — разумею возраст участников. В этой тяжбе важно только одно: чтобы сразу абсолютно ясны были роли каждого. Не знаю, любила ли она меня, но, когда я обнимал ее, у нее из груди вырывались обрывки сдерживаемых рыданий. Почему? И что значили ее объятия для меня? — Мне некогда пускаться в такие вопросы. Помните, как Печорин, разомкнув ставень, бросился головой вперед в избу с очумевшим казаком? Ровно так было и со мной, когда кончились две недели. Я почувствовал, что от мирового господства меня отделяет одна маленькая деревня — остальное уже давно у моих ног. И эту деревню я видел во сне, хотя и знал, что в ней — гибель. Все захотелось забыть ради ее волос, легкой походки, и вместо того, чтобы, по обыкновению своему, отступить после первой встречи, я стал готовиться к решающей схватке. Почему? Потому что встретил достойного врага, могущего погубить меня, как бедную Лизу какую-нибудь?

Нет, я уже не рассуждал... Она жила на полпути между моим домом и управлением — так что мне, чтобы заехать за ней, не пришлось даже отклоняться от курса. И вообще: ясно, что я чувствовал, проезжая каждый день мимо ее дома. Явочка растревлялась сама собой...

Я вызвал ее во двор, не придавая значения таким мелочам, как “соблюдение приличий”, но она была со мной заодно, да и не удержали бы ее никакие родители... И сказал ей просто: “Хочу, чтобы ты стала моей. Клади пальчик на карту и выбирай: мы уедем с тобой. Это не должно произойти здесь, среди дыма и копоти. Ты согласна?..”

Что было дальше? Когда она сказала “да”, я почувствовал такую радость, что меня потянуло исповедаться перед ней, — подобно тому, как скупой на слова Германн воспламенился красноречием у ног старой графини, не могущей его понять... Но что такое было у меня для нее? Какие дары, надежды? Разве я не был уже полным банкротом?

У меня не было ничего впереди, зато у меня было роскошное прошлое! Из благодарности, наверное, я рассказал ей историю своей души и потащил ее туда, где давно не ходил 35-й троллейбус. Я рассказал ей о той Гжатке, исчезнувшей с лица земли, но нетленно царившей в голове, о которой никто, кроме меня, не мог бы ей рассказать. Она увидела дом, где я проживал до шестнадцати лет, и то окно возле водосточной трубы, из которого когда-то, каждый вечер, уже уложенный спать, спускался в шумную Гжатку огонь и людей...

Почему я всю жизнь молчал об этом? Потому что... замылено слово одно и стало рутиной... Не найти там фасадов, хранящих прежний живой вид, везде показуха. Тошнотворный дух поп-корна и хот-догов страшнее автомобильных выхлопов. Безвкусие и рвачество растащило на рекламные лозунги то, что уже не вернуть. Даже пройти по пепелищу нет сил. Но дети должны знать, *что* есть Гжатка не для одного меня. Может, ког-

да-нибудь она и вернется — нет, родится вновь, если на месте бетонных гадов взойдет новая поросль домиков. А пока — молчание, не обзавелся я родными душами — до такой степени родными, чтобы можно было с ними о Гжатке толковать.

И что же? — Никто никогда не слушал моих стенаний об исчезнувшей улице с таким напряженным вниманием, как Диана. У меня даже мелькнула мысль, что рассказанное мной имело какое-то отношение и к ней. Но почему? — я не мог знать, и мне хотелось думать, что я действительно нашел родную душу, мне было крайне важно дать себе полный отчет в том, чем эта девочка для меня сделалась. Сформулировать в 95 тезисах Лютера. Зачем? — Если бы у меня была любовь, у меня была бы и вера... Но я запутался в ее невесомых волосах, как в паутине, и кроме ее откинутого на подушку лица с застывшей на губах мученической улыбкой ничего вокруг себя видеть не мог.

Насколько решительнее и проще любил я на склоне лет! “Здесь и теперь” — таков был принцип моей любви к ней. Моей последней любви, в которой не было того блаженства, которое дается мечтой, зато была тихая надежда: стать как все. Я сделал открытие: если упорно твердить женщине: “Люблю тебя”, незаметно начинаешь сам в это верить. Женщина была для меня лучшей кафедрой красноречия, а единственно важным в любовном акте — те слова, которые говоришь ей. Они привязывают к ее душе больше, чем можно привязаться к телу. И если ты не фразер, не механический апельсин, то будешь ли ты безнаказанно повторять те же слова, как повторяешь те же движения?

Да, я обнимал, целовал разных женщин. Всерьез? — Я делал так, потому что это — не наслаждение, а долг. Долг дарить радость той, на которую посмотрел с вождением.

Но теперь, когда Диана в самом деле поставила пальчик на карту и, следуя своей любви к северной Венеции, выбрала настоящую, — увидеть ее она и не мечтала, — мне стало ясно, что та невероятная скачка, в которую я пустился на середине пути нашей жизни, вступила в последнюю стадию, что список мой полон...

И мы обманули всех, мы бежали из застенка... Порвался шнурок, на воле сурок...

Нет, какая воля? Вот если бы я мог открыться жене, — чтобы не омрачать ложью лучших минут жизни. — Но она как-то не особенно мне и мешала, я делал все, что хотел. А признаваться и потом отстаивать свое право — нет, это не для меня. Любовь сразу умерла бы, начни я ее отстаивать... Кроме того: Диана — дочь злейшего моего врага.

Или это подло — так обманывать человека, который... Почему я не расстаюсь с женой? Потому что разрыв с человеком — это отказ от познания.

Не хочу разбивать свое сердце и отказываться от прожитого, которое дорого мне хотя бы тем, что прикрывало мою тайную — и подлинную — жизнь. Да и уйти никуда нельзя; уйти можно только от одного человека к другому. Сладко было бы поверить, что любовь есть тайна божия и дав мне любовь, он призывает меня, тогда я ушел бы с той, которую полюбил. Но мне вместо этого... захотелось разорвать, когда документы уже были у меня на руках, отречься на пороге радости и уехать куда-нибудь в Сибирь, чтобы работать на огороде у зажиточного фермера и ходить за больными...

Связь наша явно затягивалась дольше “первой встречи”: опять проваливалась моя попытка утвердить платоническое, только платоническое. Но почему? Платоныч, ответь. Не молчи, старый плут, плешивый бабник! Где растратил ты свои волосы, как не на путях греха?..

Разорвать? Но кто я такой, чтобы разорвать, опрокинуть? Ведь я уже выработал привычку любить. Надо ли вспоминать старое, гордое: “что решено, то решено”? Я теперь другой — не тот, что был в университете, не могу я ничего “решить”. Возвращаясь домой после “рабочего дня” (в продолжение которого каждая свободная минута, каждый час, обманом выцарапанный у шефа, посвящен мыслям о ней, попыткам увидеться с ней, свиданиям с ней...), открывая дверь и видя собак, веретеном вьющихся вокруг меня, туфли детей, трельяж с флаконами и коробочками, с трудом понимаю, что это отсюда я ушел 12 часов назад, из этого дома. До такой степени я уже “не здесь”...

А ведь когда-то были у меня принципы и я мог им следовать. Жена утверждает, что вышла за человека, твердого в предназначениях. Может быть. Значит, тогда я жил по разуму. А ныне принципы — непозволительная для меня роскошь, и я не веду за ними охоты. Зачем они мне, если жить по ним я все равно не смогу, не смогу сделать то, что “решено”?

Конечно, не признавать принципы — тоже принцип, но — единственный, других не знаю. Я люблю то, что неизвестно как называется и для чего предназначено — тот философский камень, питьевое золото, эликсир долголетия, которые человек ищет от сотворения мира и будет искать, что бы ни случилось. Я тоже вступил в жизнь, пережив ее в уме, и мне не то чтобы “скучно” читать скверное подражание старой книге, а скорее просто неумоготу видеть, что и пережил-то я жизнь совсем не так, как она идет. Уже сам факт, что идет она “не так”, означает: я в свои выводы не верю несколько. И ни в чьи выводы. Но стараюсь быть логичен до конца. Упрямо логичен. Я пьянею от тех выводов, которые вырабатывает мой мозг французского моралиста. Я дразню ими жизнь, и мне нужно видеть, как она шутя опровергнет их. Однажды я даже в ванну залез с бритвой (не тупой, о, нет!), чтобы посмотреть: неужели меня так и отпустят — жертвой — и дадут уйти невинным, никому не испортившим жизнь, не насосавшимся живой крови?

Но истина проста: если ты не отрицаешь самого себя в своем вояже по жизни, то ты — человек-машина. А если отрицаешь, то отбрасываешь и то, что нажил, и тех, с кем жил. Выбор?

Если не глядываться в себя профессионально, жить, раз навсегда решив вопрос о бытии, то может показаться, что ты, действительно, такой же, как все. Но можно вдруг *так* задуматься, что уже не остановишься, приглядываясь, не захочешь смешивать себя с кем попало: увидишь, что ты — другой.

Как бы там ни было, но я устал жить с постоянным ощущением, что я никто. И собираюсь содеять нечто такое, что заведомо мне не подобает — на общий взгляд. Содеять нечто из ряда вон — из ряда того, что приросло ко мне, как кора.

Неужели мне в самом деле было когда-то 20 лет? — Иногда я вижу это, точно вчера, вижу, как в 11 ночи выхожу бегать по набережной, и не день, не два длилось напряжение, оно длилось почти 4 года! Я мог быть упорен. Как? Мне трудно это представить, трудно представить себя тогдашнего. Потому что не мог человек так скурвиться за какие-то два десятка лет.

Но ведь умирать, черт побери, а? Тяжелая это мысль, но главнейшая. Что еще может сделать человека человеком — хотя бы на миг? Если жизни его на это не хватило? — Мысль о смерти, да. Я стараюсь долго не задерживаться на этой мысли. Если не отбросить ее, пальцем не шевельнешь. Но и забыть-то не просто. То, что замышляешь в избытке ощущений, надо проверить ею, этой мыслью — и вот, замысел увял. Увял в голове, но тело не столь покорно, оно по инерции продолжает.

Моя жена провозглашала: “В пределах земной жизни гармония замысла и поступка недостижима”. Но это было не более, чем апорией Зенона: движение невозможно, потому что прежде, чем пройти метр, надо пройти полметра, прежде того — четверть, восьмую часть и т. д. Ряд бесконечен, значит, движенья нет! — Но то, что невозможно в познании, очень даже возможно в жизни. И меня влечет эта проба.

Я пишу, значит, мне плохо. Хуже некуда. От хорошей жизни не станешь хвататься за бумагу. Писать — значит оправдываться. Разве я не понимаю, что составлять эти записки не следует? Но они упрямо пишутся вопреки.

Зачем? Только лишь для того, чтобы мне было чем заняться до вылета самолета, а детям достались хотя бы последние капли моей тоски?

Цель, ради которой я пишу, находится вне меня, вне моего разума. Поэтому я пишу и пишу. Но конец близко. Понимаю: если не хочешь сойти с ума от постоянного погружения в свое умственное хозяйство, нужно соблюдать какие-то условности, рассказывать анкету: что? когда? Но я испорчен детской болезнью ванюпедизма и мне недосуг раскрашивать свои мысли. Завещание, даже если оно и сбилось на исповедь, должно быть

составлено сухо и четко. И я бегу подробностей, чтобы не разглашать чужих тайн.

Трудно быть правдивым, употребляя глаголы прошедшего времени, но я с этим справился: работал обычно по свежим следам, в ту же ночь. Иногда получались три строки, иногда — десятки страниц. А сомнения меня не тяготят, я к ним привык. Недоумевающий юноша с вязанкой дров в вагоне метро — такой образ меня самого оставил мне Змей, и я за то безмерно ему благодарен. Он дал мне жизнь не хуже сказки, может быть, и не мою, согласен. Но без него у меня бы не было никакой.

XX

«Промчались дни его, как бы оленей косящий бег. Охотник был на страже, он точно выстрелил. И теперь я сирота. Только я? А дети? Как это я о них не подумала прежде всего? Впервые в жизни. Но муж тоже уходит впервые в жизни.

Итак, его путь окончен. Могла ли я спасти его? Могла, я все могу. Для этого нужно было — нет, не поймать его с поличным, но хотя бы показать, что я что-то подозреваю, надо было делать ему неприятные вопросы, словом — заставлять изворачиваться и лгать: это лишило бы его хотя бы части удовольствий. И он отказался бы от них, потому что он не потерпел бы на своем портрете — автопортрете! — ни пятнышка. Но я делала вид, что ничего не знаю, я не стала мешать его падению в пропасть, чтобы жить вместе с ним долго и счастливо. Я могла бы, но я не смогла. Не смогла простить ложь и предательство, подлый блуд под прикрытием поисков истины. Он разложил меня своими софизмами, меня давно мучило от них. Но я не знала, чем их остановить, возражать словами я уже не умела. Нужно было действовать. Как? Предоставить его самому себе, не чинить препятствий. Он полагал, что сам кует свою судьбу и думал, что я по-прежнему верю всему, что он говорит, не знаю, как он развлекается, верю, что он поехал один. Но если бы он почаще смотрел телевизор, то знал бы, что в каждом третьем фильме распущенный хлыщ отправляется в Венецию с девкой.

Каюсь: он уже стал неинтересен, презренен мне, и я равнодушно позволила свершиться тому, что не могло не свершиться. Позволила жизни досказать сказку, которую он не пожелал выслушать... Он искал этой смерти, думая, что ищет жизнь. А не была ли я его жизнью? Но теперь я тоже не хочу, не могу больше жить во лжи, которой он оплел все. Не хочу: грешна. Вместо продолжительного семейного счастья предпочитаю покаяние и вдовство.

Как я могла стерпеть такой позор? Чтобы меня втоптали в грязь! Угодить на старости лет в банальнейшую мелодраму? За что такой примитив?

Позор предполагает гордость, которую я не смогла изжить. Именно вопрос: как сохранить достоинство, живя рядом с этим изолгавшимся человеком, стал для меня мучительным. Я долго, долго верила ему и плевала на свое достоинство. Зря, как выяснилось. Он-то не побоялся испоганить мне жизнь. И в этом нет ничего удивительного: разве он понимал, что делает? Понимают ли люди в других людях? Ни капельки. Поэтому так и важно исполнять правила, установленные для нас теми, кто хотел помочь. Но исполнять какие-либо правила — это не про него. Он с удовольствием установит свои. И то для других — не для себя же. Это правильно организованный разум стремится к покорности, к вере, а дурной отталкивает всякую веру, противится всякой покорности. Признавал хотя бы один математик бога? У них это не принято. И не только математик. Кое-кто сравнивал человека, исполняющего церковные предписания, с собачкой, умеющей скакать через обруч.

Занятие, без которого он не мог прожить и дня, — богохульство. Он говорил, что надо искать бога, но занимался тем, что складывал разные сочетания с этим словом. И самым удачным считал “бога нет”. Вот и вся его трагедия, его история. Между тем, добиться цели можно было только одним способом: перестать выпячивать свое «я».

— Киферея, как быть? Умер, увы, нежный Адонис!

— Бейте, девушки, в грудь, платья свои рвите на части!

Положение не представляется таким уж безнадежным, пока не начинаешь говорить о нем. Поэтому я и молчала изо всех сил. Но теперь составлять портрет мужа — хорошее занятие для вдовы. Никто никуда не спешит и не может ответить другому, мы можем, наконец, поговорить спокойно. Он — обо мне, я — о нем.

Я пустила его в мир, и он многое узнал: радость, безумие, глупость. Но срок аренды истек. Он больше не принадлежит им, он мой, разве вы забыли?

Так не бывает, чтобы один из супругов был монстром, а другой обыкновенным, нормальным человеком. Оставшись в одиночестве, я чувствую, что начинается новая жизнь. Без иллюзий и ожиданий. И это не всегда плохо: для меня это как выздоровление от паралича. Теперь пробудилась я... Не нужно ждать, надеяться, молить. Можно просто жить.

До 30 лет он был не муж, а чудо, но потом его как подменили. Точно срок годности истек. Он полностью приурочился к жизни, врос в нее.

Но чем большим конформистом он делался, тем непомернее становились его притязания на мудрость, на особые права. Его поразил вирус, крайне опасный для мужчин: “я самый умный”. Мания величия, в общем. Ему было скучно говорить с кем бы то ни было, он устал от окружающей сестры. Когда он не довольствовался достигнутым, ставил перед собой какие-то цели, нельзя было не любить его. Вниманием он меня не баловал, но сам достойный предмет, который он тогда для себя избирал, заливал мягким, теплым светом и меня, мне было хорошо. Разногласия, ссоры возникали, когда он успокаивался, застывал в самодовольстве. В итоге он стал гордиться собой за то, что он не человек, а грозная туча, которая в любой момент может разразиться ливнем и пустить молнию, наскочив на другую тучу. Ему вдруг надоело жить нормальной жизнью, он испугался, что это слишком банально для него, оригинала ручной работы. Он попал в порочный водоворот, предшествующий трагическому финалу.

Моя вина в том, что я не смогла растормошить его, заставить искать, добиваться. Я одобряла его домоседство и его умение зарабатывать. Абсолютно скрытный, он скрывал все — не только лучшее в себе, но и худшее. И мне казалось, что этого худшего нет, мне было легко принять его за ангела.

Это поле было для него мало, его мозг бездействовал, он считал унижительным для себя, что он много получает, что ему завидуют. Как же так, духовная личность и вдруг деньги! Это, мол, нехорошо. Другие были бы счастливы, если бы имели такой недостаток, как у него, но ему больше нравилось притворяться, что ему все опротивело, что он достоин лучшего. Но стезю не бросал! Хотел сидеть на всех стульях сразу.

Он моложе меня всего на несколько месяцев, однако я старуха против него. Все твердят, как молодо он выглядит, какой у него свежий цвет лица. Еще бы! Все его заботы — только о себе. По утрам он полчаса сидит в туалете, читает. Это в то время, когда дети торопятся в школу. А если у него свободный день, то встает он часов в 10 и до полудня вы не услышите в доме иных звуков, кроме открывания и закрывания всяческих дверей — ванной, холодильника, зажигания плиты, звона ложек в стаканах и по тарелке. Как же: отправляем естественные надобности. Когда я вечером спрашиваю: «Будешь ужинать?», они сперва поинтересуются, что я собираюсь подать на стол. И если у них начинается слюноотделение, то они соизволят. Иначе — ни за что. Но через час голова его все равно торчит в холодильнике. Гарнира он не признает, три раза в день пьет кофе, который, действительно, готовит, как никто. Но вообще-то, к нему лучше не лезть с бытательскими разговорами — о хозяйстве, например. Он может говорить только о смысле жизни и считает себя аскетом, востроносим

искателем, но вес его — 90 кг — при совсем небольшом росте. И неплохо разбирается в сортах мяса.

Наверное, все повторяют то же самое, но я не ожидала от него такого поворота. Почему-то думала, что он из числа людей, живущих в себе, которым не нужен никто. Ничей человек. Всегда такой серьезный, мрачный, нелюдимый. Не могу себе представить, как он любезничает с этими девками. Все равно что слон в кордебалете. В нем не было рисовки, он не стремился произвести впечатление, не начинал болтать без умолку. Он казался подлинным, невнимательным к окружающим, которые были для него, как шум ветра в лесу. Или я сужу о нем по тому образу, который навечно запечатлелся во мне четверть века назад, как след каблука на мягком асфальте? Сужу по его же словам, а он только и твердит, что ему от людей ничего не нужно. И он почти прав. Ему нужна от них полнейшая покорность. Иначе ему неохота с ними возиться. Взять телефон, чтобы услышать голос друга — с ним этого не случалось. Ему важнее было замкнуться в норе ради созерцания пупка... Ему подошли бы не люди, а бессловесные слуги, и в этом отношении он ничуть не изменился. Но тому, кто много говорит, или всерьез мечтает, об одиночестве, надо бы познакомиться с узниками, полжизни протомившимися в одиночных камерах. Все это пустая игра словами.

Обидно, знаете ли, что человек, которого считаешь мужчиной, оказывается вдруг сентиментальным козлом. Ведь никогда, никогда не обращал ни малейшего внимания на женщин. При мне, по крайней мере. И я, прожившая жизнь в театре, не заметила, какой актер ходил рядом со мной. Но я, действительно, и отдаленно не представляю себе, о чем он думает, когда остается, вернее — оставался — один. А собеседник он интересный, кто спорит? Мужчине дар речи необходим так же, как павлину хвост. Только более 10 минут не позволяйте ему говорить. Прервите любой ценой. Иначе — конец... Начинает он всегда изумительно ясно, четко, просто Златоуст. Но вскоре пускается в парадоксы, так что вы убить его готовы. Мало того, что он семь раз перевернет все свои исходные принципы. Вам никогда не понять, для чего он это делает. И он сам не понимает. Его несет телега, поток, и вам нужно выпрыгивать на ходу, если хотите спастись.

Он не пожелал выпрыгивать, поэтому и не увидел той свободы, которой так жаждал. Для ее достижения он пользовался негодными средствами, главным из которых была ложь, искусство рабов. Когда давным-давно он признался, что ждет чуда от разговора с первым встречным, он всего лишь пол собеседника обозначил нечетко. “С первой встречной женщиной”, — такой был смысл и тогда, но я не умела читать в его душе.

Ни в чем лживая его натура не сказала так явно, как в слове «жена». Оно у него всегда вертелось на языке. Но только для прикрытия, он ни минуты не думал обо мне. Спросите его о чем-то, он машинально ответит: «А я что? Я — как мать» (подразумеваюсь я). Но на самом деле, он никогда и ничего не делал «как мать» — только на словах.

Не понимаю успеха, которым он пользовался. Может быть, он чем-то и жертвовал ради бедных женщин и они видели, что ставка велика. Но делал он это не ради них, он сам хотел пережить нечто особенное. Так и вышло в конце концов, хотя и не знаю я, отдавал ли он в этом себе отчет. Но чем мог он жертвовать? Только мной и детьми, больше у него ничего не было.

Интересно, что он воображал себя хорошим отцом. Но неужели вы думаете, что он способен рассказать ребенку сказку? Этот человек может говорить только о себе! А я — о нем? Да, я была такой. Не хочу больше.

Он почему-то думал, что ничего важнее, чем он, ничего ужаснее, чем он, нет и не было в мировой истории. И говорил он о себе неведь что, но во всем, что говорил, не было ни слова правды. Никто так сильно не заблуждался на свой счет, как он. А если человек не может найти пути к своему идеалу, то живет он легкомысленнее и бесстыднее, чем тот, у кого идеала нет вовсе, кто не ищет его.

Он обокрал себя тем, что не ценил любовь, которую мы ему предлагали. Бегал за юбками, но не хотел замечать трех человек, которыми тоже мог бы заняться. Он мог бы получше узнать мир каждого из нас — мир, далеко не исчерпанный и не познанный им. Но он не хотел ничего познавать, он искал ожесточенной скачки, погони за призраками. И другого конца не могло быть. А я надеялась до последнего, хотя между нами давно не было никакой близости. Он уходил все дальше — в тот мир страстишек, из которого в семью не возвращаются.

Его всегда окружали только люди, его любившие: других он рядом с собой не терпел. Но орган, которым воспринимают любовь, у него удалили вместе с аппендицитом. Любовь к нему он считал неременным условием бытия и не благодарил за нее. Я прислуживала ему, мы ни разу не отдыхали вместе — я оставалась с детьми, он ехал блядствовать, — но он воображал, что это мой долг. Зато если сам приносил пакет картошки, то трубил об этом на всех углах.

Он много занимался воспитанием детей? Смешно. Он был убежден, что вырастить человека так же просто, как вырастить кабачок. Математикам все просто, на их стороне законы. Нет, разумеется, он что-то делал. Может быть, и не так мало. Но что, мне ему в ножки кланяться за то, что он кормил и содержал своих детей? Это все продажные твари, которые ему почему-то были ближе, чем мы, вбили в его голову мысль, что если

он дает нам деньги, то больше от него ничего и не нужно. Он не учел, что мы-то не продаемся, нас нельзя ублажить на время.

Для него не было вещи смешнее, чем счастливый брак. Если я рассказывала о подруге, вышедшей замуж, он скептически, досадливо ухмылялся: зачем говорить о веревке в доме повешенного? Пока дети были малы, он, видимо, как-то сдерживал себя. Но час пробил, и его прорвало. Баба за бабой. И при этом вид, словно ничего не происходит. Вспоминаются широкие дворянские натуры, говорившие женам: «Дура, тебя я люблю, а любовница мне — для натурального удовольствия». Когда я пыталась вызвать его на откровенность, он прятался в парадоксы, терпеть не мог, когда заходила речь о любви. «Полюбив, мы умираем», — это была его любимая отговорка. Не о том, мол, толкую. Как вам это понравится?

Мужчины не способны чувствовать, они могут только развлекать нас или мучить. Им нужен краткий миг победы, нам — вся жизнь. Поэтому они и не могут быть нравственными, они — мотыльки. Носятся без конца со своей бедной половой жизнью, неспособные наполнить ее естественным содержанием, обогатить любовью. Мы же нравственны не потому, что хотим любви. Мы ждем ее от того, кому дарим ее, от мужа, а не от первого встречного. А им нужны те, кто их знать не желает. Они должны покорить, победить. Тут любовью не пахнет. Марк часто говорил, что нет ничего опаснее любви. Но он путал вещи, как всегда. Опасными бывают связи, секс, а любовь, настоящая любовь — это благодарность, в ней никакой опасности нет. Она дает нам завершение. Мы стремимся к цельности, а мужчины должны во что бы то ни стало разрушить то целое, что мы создаем ценой жизни. У них соревнование: как можно большее число женщин сделать несчастными, убедив каждую, что она — единственная, а потом приоткрыть завесу. Но мужчины не так уж и виноваты: достоинства женщины видны сразу и могут сразу привлечь, а у мужчин этим словом обозначают совсем другое, и горе бедняжке, которая на это клонет.

Откуда это неравенство? И что с ним делать? Наши горемыки не нашли ничего лучшего, чем подхватить речи, которым их с редким бесстыдством обучил великий писатель земли русской. Он первый, как о новой религии, возгласил, что любви нет, что счастливой семьи быть не может. И блуд получил оправдание.

О босом пророке вообще стоило бы поговорить отдельно. Терпеть его не могу. Все его писания столь же лживы, как и его рисовые котлетки. Думаю, когда он стал убеждать весь мир, что жениться не надо, его близкие решили, что он спятил. И детям его приятно было прочитать, что любви нет, есть только похоть, а уж про жену его не говорю. Приятно было 20,

30 лет слушать, что от жены начало греха, и вечно бояться беременности: того, что все будут показывать на ее большой живот и хихикать над этим истинным послесловием к “Крейцеровой сонате”. Непонятно только, почему он не сбежал раньше: то-то было бы всем облегчение! Он не желал признать в женщине человека, заслуживающего, чтобы его любили, а не только хотели. Он за собой одним признавал право на духовные интересы, а за другими, даже за собратьями по перу, отказывался признавать. И они ему не уступали. Один скромный поэт написал:

А с неба смотрела какая-то дрянь
Величественно, как Лев Толстой.

Отвратителен его тон снисхождения до женского разговора, когда он с такими подробностями выписывает, как дамочки толкуют о варенье, сватовстве, платьях для прислуги, — единственно, чтобы показать: коровы — и только. Вот мужчины, тех интересуют и высшие вопросы, нас — никогда. Единственное, о чем может говорить женщина — это как ей делали предложение. Он интересовал моего мужа куда больше, чем любой живой человек, “Анна Каренина” просто была его библией. Странно, не правда ли? Кто читает “Анну Каренину”? Со скуки помереть можно. Но его что-то задевало там за живое. Избирательное сродство, наверное. Или чувствовал, что и ему воздастся за то, что я, по его милости, жила в аду?

«Нападки на Толстого» — это, мне кажется, какой-то естественный жанр. Однако благодаря АК и его интересу к ней я хоть отчасти научилась понимать собственного мужа. И тоже иной раз вымеряла его поступки по этой книге. Вернее, по Левину, этому гигантскому мыльному пузырю, второгоднику, которому, за его умение кататься на коньках, ЛНТ позволяет легко опрокидывать убеждения людей ученых. Сама Анна автора не интересуется, но он побоялся прямо назвать роман “Константином Левиным”, потому что тогда он не потянул бы на бестселлер с любовью и изменой; вот и придумал бедняжку, чтобы легче было говорить о том, какой хороший и правильный Левин и тыкать каждую минуту пальцем: “вот что будет, если не захотите косить и вгрызаться в землю, как плуг”.

Но, несмотря на все старания, угрюмый хозяин полей и курятников остается проходной фигурой. Его переживания не принимаешь всерьез. Они кажутся муками тщеславия, не более. Сначала он знает только коров и хозяйство, потом хозяйство опротивело ему, потому что пришла пора жениться; женившись, он опять весь в хозяйстве. Очень цельная личность. Его умственные горизонты такие же, как у пенсионера, на даче культивирующего свои шесть соток. Ну, чуть шире из-за того, что у него поболее шести. Особенно гадок он в первых главах после женитьбы. Такое самоупоение. И такое же самоупоение ЛНТ, похлопывающего героя по плечу: “Он не понимал, что...” А я, мол, ЛНТ, очень понимаю. Еще бы.

Зная, что скоро будет написана “Соната”, невозможно читать рассказ о счастье Левина: кажется, что автор считает его полным идиотом. Он вообще не переносит, когда кто-то счастлив. Самая скучная глава в АК — та, где сообщается о соединении любовников. Скучно и ворчливо сообщается — так, что не хочется за ними последовать. Или мне не хочется по иной причине: во мне убита женщина? Это не мешает мне заметить, что с удовольствием описывается лишь счастье охотников, влет бьющих мягкие, теплые, пушистые комочки. Во всем великом романе я вижу только двух человек с невыдуманными страстями: брата Николая и самого Каренина, конечно. Но и их старик активно не любит, наверное, именно за то, что они не выдумывают проблем на свою голову, а страдают от других. У него нет ни одной женщины, способной постоять за себя, я уже не говорю — отомстить за унижение. Бессильные, жалкие самки, исполненные жалости к безнравственным обидчикам и готовые простить им что угодно. Они у него не знают, что и женщина может быть хоть в чем-то правой, что нравственность обязана быть мускулистой! Но жестоко выявлено, что выбирать нам, как Кити, приходится между красивым эгоистом и эгоистом, погрязшим в идеях.

Обесценить так называемые духовные искания мужчин мне важно не потому, что, предаваясь им самим по себе, они отгораживаются от нас, от семьи. Нет. Закрывшись в кабинете и проводя дни и ночи в ученых бдениях, они еще наши, чувствительные к нежностям. Чтобы выйти из домашнего круга — хотя бы и ради научных поисков — надо сперва совершить хождение во блуд. Вот тогда нам их уже не достать и они могут спокойно извлекать квадратный корень, но не делают этого. Продолжая безумного профессора, смеявшегося, что женатый ученый уместен в комедии-буфф, повторю, что и жене ученого есть место лишь в дешевой мелодраме, которая для нее самой — мучительная трагедия. Подобно Левину, обрывавшему каждого, кто пытался что-нибудь сказать о его невесте, — это было оскорбительно для его высоких чувств, — мой муж больше всего любил разводить философические сопли вокруг вещей, ясных всем. Но ему трудно было обойтись без этого: возвращаясь от девок, он ведь не мог пойти приласкаться к жене, истомившейся в ожидании, ему позарез требовался какой-нибудь повод, чтобы обидеться и закрыться в другой комнате. Разумеется, и в доме всегда что-то бывало не по нем, и дети воспитывались не так. Он что-то там возражал против телевизора, не понимал, видите ли, почему телевизор всегда включен. А как еще можно было выдержать жизнь с ним? Только оглушая себя еще большим кошмаром. Ему зачем-то было нужно, чтобы я больше читала. Как будто неясно, что если ты замужем за Левиным, — понимай: де Садом — то тебе не до книг. Вся твоя жизнь — роман ужасов. Невозможно выбраться из непроходимой

чащи его речей. Выражаться темно он тоже научился у мусорного старика, который никогда ничего не говорил прямо, все с какой-то заначкой в уме. Эти его любимые выделения курсивом — что, как не тонкий намек на какой-то особый смысл, который содержится за кулисами слов? Толстой — великий мастер слова, такой стилист. Все его герои ходят и бегают в «своих» платьях, в «своих» чулках: «Варенька в своем белом платье была очень привлекательна». Как будто он мог написать: «Варенька в чужом белом платье была очень привлекательна!» Разве нельзя сказать просто: «в белом платье»? Нет, у него стиль... Может быть, кто-нибудь потрудится объяснить мне, что означают «большие волосы» или «наивное пальто»? Что значит: «Уяснив положение и свесив его на внутренних весах»? И как могли сапоги полковника быть «построены» домашним сапожником? Все ли вам понятно, когда говорится: «Начался тот сумбур, из которого Левин уже не выходил до другого дня своей свадьбы»? Или знаменитое: «Накурившись, между казаками завязался разговор»? Так и хочется последовать примеру графа Вронского, который «побрился, оделся, взял холодную ванну и вышел». Куда он ее взял? Под мышку что ли? Такую холодную?.. Или он постоянно кого-то пародирует? Но все равно: прочитав две страницы, мне становится скучно голове...

Вам трудно представить апломб, с которым он годами доказывал мне, что лучше него мужа нет. И я в конце концов поверила в это. Он методично делал из меня идиотку, которую последние десять лет даже по имени не удосуживался называть. С девицами-то, он, конечно, сюсюкался и в распутной тишине на все лады повторял какие-нибудь ласкательные прозванья, лил их в нежные ушные полости, куда следовало бы влить настой белены... А у меня имя было в эпоху моногамии, которая длилась недолго. Теперь имя мое “жена”, но ни одного слова моего не доходило до его слуха. Его организм отвергал, не вникая, то, что я говорила ему, чем пыталась удержать от окончательного падения. Он все шутил. Но шутки его известны. Когда Надя просила у него что-нибудь почитать, он совал ей поваренную книгу. Очень смешно. А если мы с ней спорили, что было всегда: она — его копия, — он повторял дурацкий стишок:

У метро, у “Сокола”,
Дочка мать укокала.

Мечтал, наверное, чтобы это произошло. Хотя чем ему мешала я, бессловесная раба? Я сидела и ждала, когда он снова обратит на меня внимание, подойдет и ни с того, ни с сего обнимет меня. Из нежности. Ну да, я ждала, я хотела бы, чтобы ко мне проявил нежность достойный человек,

отец моих детей, которого я уважала. Но не тот лживый юбочник, решивший, что ради неясной цели можно отменить и совесть.

Нас редко видели вместе, и это тоже было признаком. А если бы он знал, что я жду встречи с ним, жду, чтобы он подошел ко мне, заговорил, приласкал... подал бы он мне эту милостыню? Хочется думать, что подал бы. Но во мне не слишком устойчивым было это ожидание, он для меня с первого дня нашего супружества так и остался только моральной проблемой. Я не могла не помочь ему, как помогаю любому нуждающемуся существу, коих вокруг не счесть.

Вместо этого он гордился дешевым изобретательством такого рода: “Ты не в ответе за того, кого приручил, кто прилепился к тебе, попав на приманку, расставленную не тобой. Ты не виноват, что тебя использовали, как живца, для наивного окуня или очень даже зубастой щучки”.

Возможно, приманка расставлена и не тобой, но отвечать тебе, кому же еще? Я не могу сказать, что он вообще был нечувствителен к чужой беде. Но он был против того, чтобы моя любовь проливалась еще на что-то, кроме него. наших крошечных собачек, спасенных мной от неминуемой гибели, он называл псами! Как будто это овчарки. Ведь самая крупная из них едва больше кошки. Я не смела разбрасываться, и он требовал, чтобы было оценено каждое его усилие к вам. Надо было каждый его взгляд встречать словами: “Спасибо, милый, что посмотрел на меня”. Иначе он дулся два дня. Люди его интересовали, лишь если они согласны были им восхищаться. Но сам он не был столь же щедр на восторг. Или это только применительно ко мне? Можно ли требовать вечного восхищения? Особенно от человека, считавшего, что сам факт, что он женат, его унижает.

О разводе разговор заходил постоянно, но он решительно отказывался расстаться. По его мнению, оставить меня было бы непорядочно. Он полностью признавал свою вину, но не разводился из принципа. Смех, да и только. Но меня это обезоруживало. Я ему верила, верила, что он не хочет жить без меня, что он любит меня.

Я ничего не могла поделать с тем, что ему стало скучно говорить со мной. Напряжение счастья, о котором так любит толковать ЛНТ, у мужчин всегда связано с прелестью новизны. Опасные связи — это была его идея-фикс. Но он слишком поздно понял, что опаснее нашей с ним связи нет и быть не может, что я отомщу за себя. В связях он — вовсе не мотылек по крови своей — искал прочности, которую только я и могла ему дать.

Он нахваливал “Крошку Цахес”, мою студенческую работу: в маленьком уродце, которому все позволено, он видел себя. И не придавал значения тому, что век выскочки не долгоденствие, что терпения у феи не больше, чем

у людей. Теперь я в одиночестве веду с ним бесконечные беседы, и мне хорошо. Я снова чувствую на спине тот крест, который когда-то взяла. Я предполагала нести его до конца, но он попытался отобрать его у меня, убедив, что моя любовь вдохнула в него жизнь, что нет у него иной цели, как заботиться обо мне. Почему было не поверить и в свое счастье? Были счастливые мгновения и их достаточно, чтобы его оправдать. Он много дал мне и только благодаря этому так ощутимо и то, что он отнял. Мне хочется говорить обо всем хорошем, что с ним связано: ему это было бы по душе. И кроме того: не надо думать, что я несчастна. Я узнала все, что положено знать женщине: любовь, измену, одиночество. Каждую из нас можно сделать счастливой, и отнять счастье. Был бы хозяин.

Если я скажу, что ни разу не слышала от него заветных слов: “люблю тебя”, вы спросите, а зачем я вообще вышла за него? Не слышала, но видела, знала: была любовь. Я не только в нее верила, я к ней привыкла за двадцать лет. И потеряла в один день, когда мне надоело обманывать себя.

Какие двадцать лет? Те, что были полны нарастающим год от года отчуждением? Все равно. Пока можешь верить в любовь, она есть. А я верила, что он любит. Иначе зачем ему было жить со мной? Его никто не держал.

Он много обещал, но ничего не исполнил. И ему удалось сделать меня несчастной не потому, что он отнял тепло, нежность. Он отнял иллюзию, уважение, без которого я не могу быть счастлива с ним.

Что до него, то он, наверное, пожил в свое удовольствие, но, конечно, отравил себе максимум наслаждений. А уж заветный грош души просто разменял на ерунду. Можно ли не пожалеть его, не всплакнуть при случае? “Ах, скоро мы умрем, сторевшие дотла, смешаются с песком красивые тела”, — говоря словами пошленького романа.

Но что это я разнылась? Многое, слишком многое, как я ни противилась, передалось мне от него методом диффузии. Любовь к стишкам, витийство до одури. Это действительно важное право: исповедь на вольную тему. Только не надо им часто пользоваться. С правами всегда так: они ведут к дьяволу, тогда как обязанности — к богу. Жизнь моего мужа это доказала.

Только один вопрос и остался без ответа: неужели он даже в последний миг не вспомнил обо мне? Неужели совсем не чувствовал, к чему все идет, куда он катится?

Если ему предоставить последнее слово, десять минут по регламенту, что бы он сказал — рассказал в свое оправдание? Ведь последнее слово должно остаться за ним. С другой стороны, я боюсь снова угодить в ту трясиину, которую он так хорошо умел устраивать между нами, когда хотел обосновать свою правоту, свое право на безобразия.»

XXI

(восстановлено)

Видеть себя со стороны — возможно ли это для смертного? Причем по-настоящему, не фигурально? Наверное, это обычно для лицедея, для клоуна, который только притворяется, что живет, а «нормальный человек» — у него все всерьез. Но тогда откуда же говорю я? Из какой точки?

На самом деле я не действую, но, глядя на сцену, знаю, что среди участников есть и «я», однако, не могу отождествить себя ни с кем в отдельности. Похоже на сон, у которого нет автора, сон-аноним.

Может быть, я нахожусь в гондоле? Попавший в нее всегда отстранен от событий, ни к чему не примыкает, ни за что не хватается, вообще не знает, кто он. А лодка тем временем куда-то влечет тебя, твое тело, лишившееся почвы... разума.

Я тоже ни к чему не примыкаю, ничего не разделяю, не испытываю склонности к чему-либо. Но аз есмь, это несомненно. Я больше не требую от себя «окончательных убеждений», я проделал путь от периода, когда слова имели точный смысл, к эпохе отмены всякого смысла. Незыблемы только ощущения — причем даже в тот час, когда, кажется, утрачивается и самосознание. Что может убедить меня в том, что я действительно жил? — Наверное, лишь несколько вещей... Я родился на Гжатке, я учился у Платоныча, я любил маленькую девочку в длинной черной шубе, с варежками на резинке. А те слова: «Тебя подождать?» так и останутся высшей нежностью человечества ко мне, несчастному, которой я по слепоте пренебрег.

Что еще сказать об этой точке? Где она? — В конце бесконечного блуждания. Да, можно жить и в пустоте и говорить, зная, что никакой отмене сказанное уже не подлежит, но трудно описать это состояние и передать свои ощущения другим. Такова плата за вход.

Это очень удобная точка. В обманчивой кроне древа познания вдруг открылся уголок, из которого меня не видно. Змей злобно ищет вокруг, но тщетно, я недоступен. Явилась способность отличить один миг от другого, почувствовать его длительность. Мало того: появилась и возможность бегства, отпала обязанность жить, участвовать в предустановленном цикле. Что-то пестрое по-прежнему несло дальше, но я был в стороне, я мог выбрать промежуток между двумя соседними мгновениями — и исчезнуть. Что и было сделано.

Я больше не стану с уверенностью утверждать, что я знаю, а чего — нет. Я забыл, к чему применяются эти категории. Может быть, это доказывает, что я приходил в мир, чтобы удивляться, а не хозяйничать на чужом дворе? И даже понял что-то свое, но теперь уже точно не смогу поделиться этим с первым встречным. Хотя имя, данное мне матушкой,

разрешало — а то и принуждало — оставить свое свидетельство, свою (блажую или нет — вопрос другой) весть о том, что я видел!

Перед отъездом я все же навестил мать на даче, где по-прежнему стоит мой “Петроф” и грызутся по ночам собаки. И, удивительно, заметил, что между нами уже нет того разрыва поколений, который так портит жизнь. Мы с ней держимся одних понятий, чего совершенно нет между мной и моими детьми. Отчего это? Оттого, что я ничего не хотел от детей, дал им расти, как цветам? Мне-то мать спуску не давала, во всем вела меня, пока я не вырвался, унося с собой, в себе, ее уроки. Но я благодарен ей, да. Детство мое было холеным, сытным, — хотя и беспросветным, как всякое детство в деспотии матери, — и мне за то пришлось изобретать довольно изощренную систему самоистязаний, не сравнимую, конечно, с толстовской: ему за его десятины и родословные пришлось попотеть вдвое дольше, — но вполне достаточную, чтобы я уже не знал долгих радостей. Пусть и хватался за короткие, как взмах ресниц.

Пробыл я с полчаса: больно было вспоминать, как когда-то патриархально приезжал сюда на электричке, сходил на дальней станции, шел по обезлиствевшей аллее... Иногда приезжал даже зимой — не для того, чтобы жить, а чтобы только пройти мимо убогих палаточек, магазинчиков, лоточков с мерзлыми овощами. С нежностью поглядев на продолжающуюся скучную жизнь, даже не заворачивал к утонувшему в сугробе домику — возвращался в Москву. Было довольно. А теперь... теперь мне некогда, и приезжаю я на машине. Кажется, все то же самое, как и много лет назад. То, да не то.

С первой минуты нашего путешествия вернулось ощущение банкротства — самое мое привычное ощущение. И я не удивился: ведь ехали мы в Венецию, где положено визжать от восторга, демонстративно целоваться на фоне дворцов, самозабвенно лизать мороженое. Но дано ли мне то, что положено, готов ли я свернуть на расхожий путь и бросить свой, который дремуч и темен?.. Мы были грустны, и со стороны едва ли напоминали счастливых любовников, которые, наконец, обрели свободу. Правда, каждая вторая тень считала своим долгом обернуться нам вслед: наверное, мы не походили и на папеньку с дочкой, совершающих вояж с образовательными целями. И я благодарен Диане, что она не замечала этого и сама не стреляла глазами направо-налево. Она тоже была во власти своих мыслей.

Во всем этом было что-то от «Драмы на охоте»: вероломство, побег... Но я истосковался по драме, мне надоели интермедии и интерлюдии. Дrame благоприятствовало и то, что я, безусловно, прибыл в Венецию ин-

когнито: никто не обратил ни малейшего внимания на молчаливую пару, незадолго до полуночи сошедшую с самолета, прилетевшего из далекой северной страны.

Диана сразу проявила странную сноровку, отказавшись от помощи гидов и чичероне. В Москве я отнес это к стремлению избежать лишних трат, но причина была иная. Ей хотелось все делать самой (наверное, впервые в жизни), и она была уверена, что гостиницу мы отыщем и без провожатых.

Мы сели на пароходик “Alilaguna”, что было самым дешевым, (впрочем и самым продолжительным), способом добраться до места, и в полной тишине пустились в плавание. Пассажиров почти не было — только еще одна чета бережливых немцев, совершенно равнодушных к тому, что делалось за окнами. Правда, за ними добрых полчаса почти ничего и не делалось, только после остановки справа стала медленно всплывать темная фантазмагория, в которую под изрядным наклоном были, как карандаши, понатыканы то ли башни, то ли подъемные краны, прописавшиеся в этих местах надолго и повсюду.

Высадившись на пустынной пристани, мы сразу углубились в неведомый переулочек, безошибочно выбранный Дианой. Обстановка была сновидческая: тишина, темнота, дождь. «Мы на сцене средневекового театра», — произнесла она, косясь на мрачные подворотни и едва светившиеся фасады.

Помешкав, она свернула направо и, мигом преодолев небольшое пространство, исчезла под темной колоннадой, за которой, в тумане, спала знаменитая площадь. Нет, гостиница находилась совсем в другой стороне, но нельзя же было деловито пройти мимо...

Туман пах дымом, по бокам площади тянулись ряды огней, и не было вокруг ни души. Нет, мы не осквернили поцелуем сие дежурное, но оттого не менее значительное, место. Мы опустили на каменные ступени и долго сидели молча.

Для меня так и осталось загадкой, что Диане было нужно от Венеции: люди или их творения? Она не бредила музеями или плешивыми дворцами, большая часть которых была покрыта лесами, целлофановыми пакетами и серыми чулками, что, однако, не мешало властям взимать плату за право поглазеть на отреставрированную лестницу или кусочек внутреннего дворика, — плату, равную цене хорошего семейного обеда в Москве. Или ей была нужна Венеция как таковая, без примеси архитектуры или истории? Но зачем?

Похоже, мы явились сюда не для того, чтобы просто поглазеть и забыть (или не забыть). Наша поездка была продолжением жгучих раздумий, кипевших у нас внутри.

Когда я сказал ей, что любить этот город совсем не оригинально — отовсюду только и слышишь, как его превозносят... Диана ответила буквально следующее: «А любить бога оригинально?»

И я оставил вопросы. «Поехать в Венецию — это не то же самое, что поехать в какой-нибудь другой, самый прославленный, пуп земли. Поехать в Венецию — значит прочитать книгу, хороший старинный роман!» — подлинные ее слова. Мне нравилось, что она заговорила, что в ней ожила страсть к чтению. Но вот книга, книги... Приехать в сей город не для того, чтобы носиться из музея в музей, из церкви в церковь? Но она, по-видимому, так и решила: у нее на уме были одни прогулки. Казалось, она все время что-то ищет в бесконечных блужданиях по лабиринтам. Я долго не решался спросить ее, на удивление быстро втянувшись в чертовски забавную игру. Меня еще меньше тянуло в музеи, я не мог заставить себя свернуть в церковь. Я вдруг вообразил, что я живу, давно живу здесь, и я просто жил. Я был уверен, что чем-то отличаюсь от шумных собратьев, приехавших сюда на день-два. Мне тоже, как и им, что-то было здесь нужно, но что-то совсем иное. Я сторонился жизнерадостных людей, алчно фотографирующихся на мосту Академии, как в Москве — от японцев на Красной площади. Проходя сквозь рощу колоннады, я не ощущал себя иностранцем. А моя спутница вдобавок и ориентировалась прекрасно, и ходила по городу как человек, уже бывавший здесь не раз. Нет, она это отрицала, хотя и мечтала с детства. Что ж, мне было приятно раздуться от важности, что помог ей осуществить...

Сам я тоже не остался равнодушным к этому городу, главная башня которого впервые предстала мне наполовину съеденная туманом. Здесь бывали все, и все, особенно важные шишки, твердили: “мой город”... Нет, это не мой город, не по своей воле оказался я в нем, и я, наверное, единственный, в ком он пробудил не восторг, не отвращение, а сострадание и жалость. Мне жаль ее истории, которую оборвали насильственно, жаль дворцов из мрамора и золота, которые разрушаются, жаль картин, которые чернеют и умирают, обновленные яркими мультяшными красками. Жаль венецианцев: очень понимаю, как им приятно без конца наткаться на ржущих чужаков с фотоаппаратами, празднично шатающихся по их улочкам с выпученными глазами и запрокинутыми головами. Я еще удивляюсь, что не все они преграждают вход в свои дворники решительными решетками.

Венеция нравилась мне, как явление географическое: это сближало ее с Россией, в которой географический фактор есть фактор исторический. Но, как не люблю я нашей истории, так и истории Венеции тоже: истории ее падения. Все эти лиги, испанцы и французы, когда наваливаются всем миром, чтобы затоптать цветок, имевший дерзость вырасти на куче навоза... Поход Наполеона — чем не вторжение варваров? Типичнейший разбойник. И тем, что он награл, с удовольствием пользовалась просвещенная нация, крайне негодовавшая, когда часть добычи ее все же принудили вер-

нуть обратно. Как будто оттого, что они выковыряли “Апофеоз Венеции” из потолка, они приблизятся к былой ее славе!

Вообще-то настоящая Венеция так же далека от нас, как Греция или Египет. Венеция без дожа и Совета Десяти — всего лишь декорация, безжизненная и молчаливая. Можно только догадываться о том, что здесь когда-то было. Город, население которого в эпоху Крестовых походов вдвое превышало сегодняшнее, готовится разделить участь Помпей или Фив... Разумеется, в нынешнем диком мире невозможно представить эту древнюю праматерь всех республик, и если бы ее история не остановилась двести лет назад, я бы, конечно, не побывал в *Palazzo Ducale**... Но так ли уж важно, что мы прошли по этим пустынным залам, из которых не вынесли только стены и потолки (а некоторые-таки вынесли)? Могут ли я представить их обитаемыми? А если бы дворец и теперь оставался действующим, я бы, по крайней мере, по телевизору мог увидеть какой-нибудь рядовой прием в “Зале четырех дверей” и вообразить себе, как все было на самом деле. И настоящими в городе были бы не только каналы. Свободная Венеция ни за что не позволила бы связать себя искусственной пуповиной с материком: это просто нечестно — приезжать в нее посуху. И если бы ее не превратили в музей, сюда, как телят, не сгоняли бы стада вертлявых и шумных *ragazzi*** , этой чумы, от которой нет спасения: их не возили бы на экскурсию в эти места... Я не спорю, венецианская история — роман, но это роман, который не хочется перечитывать: слишком грустно.

С такими мыслями следовал я за Дианой и вскоре понял, что, говоря о Венеции, необязательно ворошить историю, не надо делать скидки на немощный дух. Это — идеальное место для каждого, кто ищет самого себя, кто желает окунуться в излишества самопознания. Если он не лишен чувствительности, ему не уйти от тех уроков, которые могут оказаться важнейшими в жизни.

По несколько, помногу часов мы бродили без цели. В церкви ноги не шли, музеи были полны алчущими... Если мы и заворачивали в них иной раз, то понимали, что не там находится то, что мы ищем. Искали мы как будто самих себя, но невольно втягивались в постоянные «А что там, за поворотом?» И каждый раз, выныривая из долгого и узкого (можно не добавлять) переулка, ожидали какого-то особого чуда: верили, что может явиться по меньшей мере хрустальный дворец, невесомо парящий в воздухе на манер северного сияния. Но эти светлые площади, которыми заканчиваются темные кривые переулки, и есть чудо, им вполне удовлетворяешься. А постоянные колебания центра тяжести при подъеме и спуске с мостов становились аккомпанементом привычных колебаний мыслитель-

* Palazzo Ducale — Дворец дожей.

** ragazzi — подростки, школьники.

ного маятника от размышлений о женщинах к обдумыванию математических и метафизических задач.

То, что все здесь передвигались пешком, а не пользовались транспортом, создавало иллюзию, что цель уже почти достигнута. Тем более, что первый, и самый явный урок Венеции напомнил мне, что усадив себя за руль в 35 лет, я не подумал, что ограничиваю свои горизонты кругозором *водилы*. Я отказался от медленного зрения, и надо ли удивляться, что это привело меня к банкротству?

Прошло всего несколько дней, но я сразу почувствовал, что вернулся... как бы назвать? Настоящие ощущения. Не те — торопливые и поверхностные. Пешая идея освободила от спеси, которая переполняет тебя, когда садишься в кабину и презрительно поглядываешь на людишек через ветровое стекло. Самые буквальные котурны — авто — были отброшены, и я стал снова, когда хотел, — останавливать взгляд. Видимо, я пережил нечто подобное тому, что чувствует ребенок, когда впервые начинает ходить сам. Только наоборот: он рвется в мир и обретает способность следовать за ним, догонять свое удивление. А я... я смог, наконец, разглядеть то, мимо чего привык вслепую проноситься.

Автомобиль, этот футляр ослабевшего человечества, вошел в мою жизнь, как продолжение непомерных амбиций, которые я в себе культивировал. Но за рулем человек звереет, он превращается в паровоз и летит, не зная цели. Быстрота метаморфозы угнетает, но мы умеем переступить...

Можно было встать, где придется, и прямо на улице разговаривать, чтобы никто не перебивал. Некуда было спешить, нечего бояться, можно было отдаться разговору там, где он достигал. А если навстречу попадался удивленный, безукоризненно одетый *signore* с собачкой, мне нравилось думать, что мы прикидываемся местными, а он делает вид, что таковыми нас и считает.

Как нежные мои ноги выдержали бесконечные блуждания по тротуару? Ведь сойти на тропу я не мог — ее просто не было, только канал... Но ведь в Венеции нет асфальта. А плитняк, диабаз — совсем другое дело, оказывается. При определенных обстоятельствах камни Венеции казались мне куда мягче и живее травы.

Если в просвете колоннады вдруг вырастал устремленный в небо клин Сан Франческо делла Винья, это было совершенно то же самое, что появление белого гриба на поляне, на которую выбираешься из березняка. И, как в лесу, когда, исходив изрядно, решаешь: «Все, грибов достаточно, пора домой», и тут-то как раз на неожиданную россыпь и нападешь, — так же и в наших прогулках никогда не следовало останавливать: «На сегодня все, пора возвращаться...» Самое важное только тогда и встречается, когда ты уже падаешь от усталости и неспособен воспринимать. Думаешь, что неспособен...

Чего не найти в Венеции, так это прямых углов. Геометрия Лобачевского должна была родиться здесь, и родилась, я уверен. Но они не придали ей значения: для них это само собой, что параллельные *calli* или *rii** могут как разойтись, так и сблизиться, но никогда не выйдут к гранде-канале на той же дистанции.

У Дианы обнаружилась всего одна банальная страсть: ей нравилось кормить голубей на Сан-Марко. Но не совсем, не совсем... Здесь она всякий раз вспоминала о существовании нашей несчастной родины и в гнев принималась поносить страну негодяев.

Я не мог ничего понять. Почему ненависть к отчизне привела нас именно сюда? Ведь благодаря этому пятаццо постепенно превращалась в некий рабочий кабинет, в натуральный полигон чаадаевских настроений. Диана теряла самообладание и начинала честить серый город, в который необходимо вернуться, но в который вернуться нет сил.

«Сначала думала: съездить сюда, а потом взахлеб рассказывать друзьям, как там здорово. Но меня просто вырвет, если я снова увижу липкую черную грязь, в которую засосало нашу родину. Разве можно возвратиться из этих плавучих садов в царство вечной тошноты, занятое нудной борьбой с голодом-холодом, единственные развлечения в котором пьянство-обжорство-блуд? Я не хочу многого — всего лишь чувства величия нашей жизни, которым обладают даже венецианские собачки, испражняющиеся в любом месте чудо-города. Нашей общественной жизни, прежде всего...»

Диана всегда говорила медленно и мало, и все шло из глубины, из какого-то переполнявшего ее содержания, которое она из последних сил удерживала в себе, чтобы оно не выплеснулось и не разорвало ее...

Ну, а в Москве я тоже мог несказанно обрадоваться, увидев ночью, в окне, снегоуборочные машины, шедшие косою чередой, точно на параде. Оранжевые вспышки прожигали мне душу! Мне тоже, в смысле общественного порядка, было нужно совсем не много, и даже такой пустяк воспринимался, как победа над судьбой. Или, наоборот, было нужно слишком много?

Так или иначе, но любая вариация на тему: «дал вместо родины тюрьму» была донельзя опасна для девочки-подростка 23-х лет, успевшей накопить свой опыт отвращения. Доказательства того, что «так жить нельзя» всегда громки и четки, а доводы за то, что можно, тихи и неуверенны. И они совершенно не слышны под сводами Прокуратур. Много карнавалов пронеслось по сей площади, и никому из невольных участников не удалось выступить на них под собственным именем, со своим собственным лицом. Главное: была ли дорога назад из тех истин, которые вырабатывались в сем кабинете? Ведь с угла, с низкой точки, хорошо видно, что торчащая в перспективе кампания явно готовится к взлету и ждет последних

* Calli — улочки, rii — каналы.

пассажиров. А люди нам не помеха, нам наплевать на столы весовщиков, продающих корм для голубей, на полчища неофитов. Мы уже победили желание быть здесь единственными — мы и так здесь одни, потому что нам не нужен календарный, «разрешенный» карнавал, когда любая экзальтация пришлось бы к месту. Конечно, необязательно привлекать внимание случайной публики к своим комплексам, но и нас можно понять: ведь мы, наконец, в Венеции (а это награда для смертного), вот карнавал и готов. Достаточно опуститься на колени в стране святых чудес (как-то раз поздно вечером Диана это сделала) и тогда...

Постепенно — и, во многом, благодаря Диане, для которой наше путешествие не было увеселительной прогулкой, а, скорее, попыткой к бегству от тошноты, — я стал проникаться мыслью, что в сем городе есть что-то и для меня. Не зная, где искать, я поступил наперекор своей спутнице и на один день выписал гида — усталую специалистку по местным диковинкам, которая в течение нескольких часов рассказывала нам об этом городе. Ее глаза, зеленые, как сама Адриатика, смотрели, однако, очень живо, и то, что она нам поведала, кажется, не было раз навсегда заучено наизусть: она импровизировала и меняла направление речи в зависимости от наших вопросов. А у нас были вопросы, нам в этот день не было скучно в музеях. Мы подчинились общему закону, согласно которому говорить о картинах и церквях — долг каждого гостя Венеции. Это хороший закон, он позволяет тебе хоть немного, а вырасти. Я был уверен, что не знаю чего-то общедоступного, но важного и мне.

Александра (так ее звали) не только опрокинула на наши головы ушат разнородных сведений, она приоткрыла дверь, за которой каждый из нас мог уже обнаружить то, что искал. Положение венецианского гида сложно. Если он умен (как в нашем случае), то не может не сознавать, что не гоже много витийствовать на фоне красот, что же ему делать?

Давать установки, намекать на нечто большее, дразнить любопытство... Александра оказалась мастерицей по этой части. В этих отдаленных, казалось бы, широтах, она легко вернула наши мысли к их естественному течению. Мы поняли, что в нашей жизни не было более неизбежного шага, чем поездка в Венецию.

Когда я спросил Александру, можно ли научиться здесь ориентироваться, в этой неевклидовой паутине, она пожала плечами и ответила: «Кому-то же удастся ориентироваться в Гжатских переулках...»

Сколько лет вы не были в России? — спросил я. Или только хотел спросить... Не меняться же с ней ролями, объясняя, что если с Гжатки и убрали машины, превратив ее, так сказать, в *area pedonale*^{*}, и сблизив с Венецией, вернув ей и прежнее имя, отнятое вандалами, вернули-то его не Гжатке, а

* *area pedonale* — пешеходная зона.

скелету из папье-маше, одетому в безвкусные цветные тряпки — с нарисованными глазами, ртом и т. д. Александра уже 6 лет не была в Москве и лучше меня знала, что в то время, как итальянцы сохранили Венецию и Рим, мы оказались неспособны сохранить и одной улицы нашего безумного города, каменной книги, на страницах которой когда-то была записана история мира. Теперь ее место занимала детская книжка-раскраска, где взамен зайчиков и ежиков предавались осмеянию предметы куда более серьезные, которые лишь каким-то ископаемым старожилам не кажутся предметом шутки.

Так или иначе, но появление гидши вызвало новое распрямление пружины. Начались упорные разбирательства на тему русских противоречий — тем более странные, что все трое, казалось, были заодно: возврата нет. Но если Александра уже решила для себя этот вопрос, то нам с Дианой неприятно было читать в ее глазах искреннюю жалость к тем, кто продолжает обитать в тех местах, в тех «недрах», которые не покинул только слепой. Казалось, она говорит нам: возьмитесь за руки, друзья, и признайте: надо бежать. Пусть несется к обрыву птица-тройка — вы еще успеете спастись и насладиться солнцем, звуками флейты, вечным набегом волн.

Но разве Венеции не грозит исчезновение, как Гжатке? — спрашивал я. — Если не море, то «требования современной жизни» не превратят ли и ее в нечто чуждое? Уже Буонапарте начал засыпать каналы — тот самый варвар, что пожег и Гжатку. Согласен, наш народ, тоже создавший кое-что, сравнимое с итальянскими чудесами, может быть, и оказался упорнее в разрушении, но этому не чужды и латиняне: огромное желтое *Campari* при въезде в Венецию может внушить мысль, что впереди — гигантский ликеро-водочный завод. Особенно, если учесть звон стекла со стороны Мурано... А туризм здесь, пожалуй, отвратительнее, чем где бы то ни было. Обьедалы и обпивалы, бродящие по переулкам, которые завтра, может быть, исчезнут... Рестораны, лавки кича и сами отели, расположившиеся в славных дворцах (сразу вспомнилось, что и в старинных московских особняках засели африканские послы), — разумеется, их не может не быть, иначе нищие духом не поедут сюда, им будет скучно, а за счет тех, кто понимает, что нужно здесь смотреть и обретать, городу не продержаться...

Расстались мы с ней довольные друг другом, но с того дня со всех сторон началось вторжение уже виденного, и я стал стремительно погружаться в магическую плазму воспоминаний, которые обваливались на меня, как старая штукатурка.

Идя следом за Дианой, я словно бы не желал на каждом шагу видеть то, что давно мог знать от Платоныча: союз воображения и математики, как основной прием архитекторов, создавших этот город. Почему не желал? Потому что это тоже означало: я не использовал того, что было да-

но. «Архитектура? — возражал Змей. — Очень благородное дело: хибары строить...» Конечно, и это было враньем, как обычно, но все равно: что отстояло дальше от моих мыслей, устремленных только вовнутрь, к самому себе? Жизнь прошла в окружении коробок, не имевших лица, не издававших ни звука. Их подобием я себя и ощущаю. То ли дело венецианские дворцы и виллы: ясно, что в них-то жили люди.

Да, был краткий миг детства, и фасад моего бедного старого дома лет 90 тому назад, наверное, не имел равного в городе, но ведь был он подражанием тому, что вызвало столько ненависти в последующих хозяевах, перекроивших его сообразно своему безобразию. А меня вышвырнули вон...

Ходить в Венеции только посуху значит топтаться в передней, не решаясь войти в гостиную. Мне удалось уговорить Диану сесть в арбузную корку гондолы, чтобы по крайней мере она использовала все, что было дано. И плавание под стенами, грозившими падением, напомнило мне одно из самых тягостных переживаний прошедших лет: как меня, накрытого простыней почти до глаз, везли на каталке по больничному коридору на операцию, а по бокам жались люди, с удивлением и любопытством глядевшие на меня сверху вниз. И я, еще не исполосованный мясником, едва понимавший, что происходит, чувствовал себя, как мертвец, которого тащат в могилу. Не знаю, могло ли это быть, но, кажется, и в том, первом случае, источник движения находился позади меня, что и усугубляло ощущение.

А проплывы под мостами не могли не вызвать воспоминаний о лодочных походах студенческих лет — как приходилось пробираться под толстыми стволами, рухнувшими поперек Вори или Нерской.

Если бы я мог верить снам, что Симон служит перевозчиком на Стиксе, то это скорее всего должно было означать, что он работает на *traghetto** — перевозит людей через большое канале там, где нет моста. Очень прибыльное дело: переправа — необходимость, не то, что увеселительное катание. Для этой цели служат лодки, по форме — ни дать, ни взять те же гондолы, но, кажется, короче: без грифа впереди, без бархатных сидений и уключин в виде Пегаса. Гондолы для бедных. Но пассажиры обычно стоят в них, как важные особы на параде, в движущемся родстере. А гребцов — двое, и не в тельняшках хоккейных арбитров, а просто в черных куртках...

Меня не отпускал вопрос: почему никто не купается в каналах? Ведь и в Москве-реке в жаркое время барахтаются аборигены. Неужто здесь опаснее? Не грязнее ведь. Значит, другое. Близость Аида, может быть? Не случайно же грифы гондол напоминают алебарды, занесенные над морскими чудовищами, скрытыми в глубине.

* *traghetto* — гондола-паром.

Но гондола — приют любовников: люди, не скованные цепью Амура, в нее не сядут. И то, что Диана долго отказывалась (а в остальном была на удивление заодно со мной), подтверждало: мне предстоит потерять здесь то, что я уже считал обретенным, воспитывая в себе несколько месяцев.

Когда она выбрала Италию, мне это должно было прийти по душе: где, как не в стране любви, лучше всего могла вспыхнуть и разгореться моя любовь? Но... Выходя в первый раз на Сан-Марко, нельзя было не понять того, что этот город имеет сообщить: как неуместно и пошло разыгрывать здесь свою любовную комедию. Скорее можно пожелать воздвигнуть изящный храм, который повторял бы пропорции тела твоей возлюбленной, — если уж тебе сподобится ее иметь.

Наблюдатели поболее моего знают: когда в душе зарождается чувство к женщине, мысли о женщине, само собой забредается в тихие сельские церкви — такие, как пузатая и какая-то псковская церковь Санта Фоска на Торчелло: маленькая, темная, старая. Почему? Тянет к прообразу того храма, который незримо воздвигается-таки в душе? Ведь не молиться же приходишь... Если бы не такие обители, такие встречи, такие женщины, человек никогда не произвел на свет высшие идеи, отвлеченные понятия, в том числе и научные, без которых не построить и деревянной церкви. Я в этом уверен. Наука была бы невозможна, не будь женщины, религия была бы невозможна. И бога бы, конечно, не было.

Вот в такой древней восьмиугольной церкви с несколькими рядами простых скамеек для прихожан я мог бы обрести покой, я хотел бы обрести покой. Хорошо там! Конечно, нет органа, нет даже мозаик, не говоря уж о помпезной живописи, которой необходимо восхищаться, даже если ничего и не видно. Церквей в самой Венеции пропасть, прямо соревнования какое-то воздвигло их на каждом шагу, а зачем? Во исполнение обета, сто храмов и никак не меньше?

Если в тебе словно бы оживает и начинает дышать некое существо, ты не станешь искать высокие своды и роскошные драпировки, тебя вполне устроит прозрачная роспись небольшой доминиканской капеллы. Но лишь до той поры, пока не прожжет тебя взор мадонны, вывешанной в дальней зале частной галереи.

Литература пыталась изобразить женщину, спору нет. Но не было ли это в куда большей степени описанием того, что чувствует мужчина? Другое дело — живопись, которую я и в расчет-то не мог брать...

Мучительный, странный, однако, вопрос: кого запечатлели в образах своих мадонн художники Возрождения? Нет, это не праздный интерес: я глаз не мог сомкнуть после случайного посещения пинакотеки Джустини. Взгляд мадонны «с челкой» — вздернутый подбородок, лучистые глаза, устремленные на зрителя, огромный тяжелый младенец, которого она с трудом удерживает на руках, — этот взгляд ужалил меня, и кровь броси-

лась мне в голову. «Как могу я так жить? Как могу?» — застучала мысль. Дымка, которая, как туман, поглощала ее фигуру, помогала забыть, что ты вообще видишь все это. Но взгляд... Он остановил меня, как выстрел. В нем не было кроткой мягкости, это было осуждение — резкое и полное. Мне захотелось оглянуться и спросить: а это действительно мадонна? Может быть, шутник перепутал таблички, и передо мной сама Немезида или Медуза Горгона? Однако младенец сомнений не оставлял, хотя и был он такой большой, что нельзя было не вспомнить кощунственный анекдот о том, что девочка была бы более кстати.

В глазах ее так и сверкало милосердие, люта я любовь, как у моей Даши, и спастись от этого милосердия было невозможно. По крайней мере, мне. Она мстила мне за всех матерей, которых я обидел и оскорбил, заставила пожалеть о необдуманных словах, которые я с гонором пытался выставить против них.

Это был взгляд-сообщение, принадлежавший не ей, но он схватил меня и повел, не отпуская ни на минуту; взгляд, которым тебя встречают после метемпсихоза и, еще неоперенного, ведут дальше. Забыть его, избавиться было нельзя, он ослепил, как долгое глядение на солнце, и кружок перед глазами остался уже навсегда.

Я не мог не угодить в этот капкан, не посмотреть в эти глаза: мадонны — первое, за что цепляется блудник в царстве живописи. Но неужели и в самом деле что-то есть в этой детской сказке, в этой выдумке невежественного народа?

Стоп-стоп! Сначала ответьте: *кого* они изображали? Любовниц герцогов и кондотьеров? Но тогда по какому праву зовут их “мадоннами”? Мадонна с цветком, мадонна с кроликом, мадонна в кресле... — все это не более, чем портреты куртизанок, в которых устранены дефекты прототипов?

Я давно произвел на свет эту ужасную и вздорную, наверное, мысль: на Западе не относятся к религии всерьез. Ее используют, как важнейший регулятор цивилизации и цивилизованности, но никто не верит, что “все это” было на самом деле. Они не настолько наивны и дики, чтобы надеяться на “медного змия”. Церковники, самая просвещенная часть общества, понимают истинное место старых сказок, иначе они никогда не допустили бы прекрасное женское тело в дом главного ненавистника женщин. Они сделали религию такой удобной и красивой, чтобы человеку не повадно было искать чего-то еще. Если человек начнет искать, государство зашатается, а это опасно. Но никто ничего не ищет, все слишком хорошо у них устроено. И смею надеяться, что по крайней мере, это не было копией...

XXII

(продолжение)

От прикосновения к сим вопросам я снова впал в раж. В нетерпимость к намеку на половинчатость в делах религии. Половинчатости слишком было много в житейских делах, чтобы терпеть ее еще и здесь. Но пусть, я не судья в этом, я больше не стану говорить о том, что украшает страну чудес. Симон был прав: в Венецию надо ехать умирать. Город мертвых лучше всего подходит для призрачного нашего бытия в мире, краткого и лживого бытия. Лживого — из-за отсутствия общей цели, краткого — из-за невозможности найти эту цель. Именно здесь, в городе лени и музыки, тишины и нежного колокольного звона, летящего над разноцветными черепичными крышами, я испытал острое чувство конца, полной остановки времени. Отсюда нельзя уехать, нельзя продолжать жить где-то... Лучшей усыпальницы не сыскать. Но, с другой стороны: еще одна смерть в Венеции? Не забавно.

Попав сюда, однажды понимаешь, что все это уже было когда-то. Нет, не каналы, не дворцы. Ущелья между домами и *sotoporteghi**, кривые переулки и арки — разве это не ожившие уголки Гжатки, давно убитые вандалами, но продолжающие жить здесь, словно отданные на хранение в место с более удачной историей, не говоря уже о географии? А когда гондолеры на поворотах отталкиваются от стен ногой, разве не вспоминаешь, как управлял самокатом в тех изначальных дворах, которые начали исчезать еще в пору детства-отрочества, но теперь обрели подобие под иными небесами? И на причале вапоретто: всунув билетик в компостер, рефлекторно (хотя прошло тридцать лет) ищешь внизу окошко для сдачи. Но его нет...

Словом, я, как и Диана, тоже любил “северную Венецию”, только понимал под этим не то, что другие. Я всегда все понимал не так, как другие. В душе я, наверное считал, что и любовь к женщине, власть ее тела, которое ты позволишь себе досконально изучить, обоготворив, должна быть не чем иным, как предисловием любви к богу. Я хотел бы прочесть заветную книгу, но в ней не оказалось ничего, кроме предисловия. И это при том, что ужас вызывало во мне вовсе не отсутствие бога, а, наоборот, существование его. Если он есть, то почему я такой? — был вопрос.

Я женился и отрезал себя от темы, в которой, на самом деле, мне было суждено проявить себя с наибольшей полнотой. Или всякий мужчина с наибольшей полнотой проявляется в мыслях о женщине? Но ведь мне не с кем было поделиться, мне было позволено говорить только о политике: дети Чили были гораздо важнее, чем я.

* *sotoportego* — проход.

Что вообще это значит: «видеть женщину»? Если только эти волосы и глаза, то мысль о ней не жила бы так долго, не лишала сна. Зрительные впечатления, при всей их силе, совсем не стойкие: в сравнении с длительностью жизни они столь же недолговечны, как краски на почерневших картинах Тинторетто, в сравнении с эпохой, отделяющей нас от них. Одни зрительные впечатления будут вытеснены другими — значит, сама собой возникает и предыстория, Ева, Мария и так дальше... Я просто помешался на абстрактной теологии, естественным образом связанной с женщиной. И остановить меня могла только горечь этого последнего поражения... Если бы Диана встретила меня во время оно, я, возможно, не стал бы довольствоваться долей частного человека, уверенного, что он умнее всех. Я понес бы на продажу содержимое своей души или, по крайней мере, своего мозга. И сделал бы так, чтобы она могла гордиться мной, а не только иметь от меня детей.

Почему я так думаю? Потому что, находясь рядом с Дианой, надо слушать не её, а чему-то высшему, она не хочет питаться моим мозгом, она сама служит напоминанием о высшем предназначении. И это очень было бы кстати тогда, но теперь? Что может вспоминать тот, кто все растерял, кто не верит в предназначение? Пытаясь убедить себя, что Диана — мой фараон, исследуя этот последний продукт эволюции, я напряг все силы в стремлении к моему последнему маяку, я верил: чтобы влюбиться, надо только внимательно смотреть, надо выучить наизусть ее тело, каждую черточку его, предназначенную для того, чтобы уловить самца. Я звал вождение, но... Когда человек хочет женщину, он глухо рычит, а не эпитеты подбирает, ему ни до чего нет дела. А я начал думать о том, что собираюсь пережить, задолго до того, как любовь разразилась, как гроза. Я почему-то был уверен, что это произойдет. Но вдруг, в тот миг, когда, в иступленном стремлении к обладанию, уже казалось, что я хочу ее, хочу, как кусок пирожного с кремом, я раскрылся (в смысле бокса) и получил нокаут, от которого уже не встать никогда.

Еще недавно я в соплях признавался: не вижу, что между нами такой разрыв. Но взгляд мадонны доказал мне, что расстояние от самой мадонны до меня едва ли больше, чем от меня до Дианы. Дистанция, которой я не хотел замечать, — как же велика она! Дочка. Разве можно прикоснуться к ней иначе, чем отцовским поцелуем в гладкий алебастровый лобик? И что есть в ней такого, чего не было бы в моей Надюше?

Допускаю, на этот счет у кого-то есть и другие мнения, но: какие могут быть постельные игры на пятом десятке? Не по чину. Нелепо как-то... А касательно всех законных и незаконных совокуплений сказать могу только одно: отвратительно, гадко, стыдно. Не спорю, этого может хотеться, но нельзя не пожалеть потом. И здесь я полностью покрываюсь фрейдовским анализом детского страха: недаром ребенок равно плачет, видя, как отец бьет мать, или же взбирается на нее, чтобы совершить акт.

Мне уже приходилось говорить, что я всегда с величайшим омерзением ложился с ними в постель. Было противно обнажаться, слышать этот запах, который они не могут скрыть. Я уступал телу, потому что иначе нельзя, но знал, знал всегда, что где-то — не то на полпути к соитию, не то по ту сторону его — находится единственная точка, где ты без стыда противостояешь тому, к чему стремился. Уже не воображение лишь, еще не совокупление... Беда в том, что ученик Змея не мог быть не только примерным супругом, он не мог быть и банальным ходяком. Я отрицал похоть, потому что ее было слишком легко погасить, а вот то, что остается, когда она утолена, погасить совсем нелегко! Мой язык не был разработан до такой степени, чтобы избегать слов “любовь”, “любить” там, где более уместно было бы употребить иной термин. Но пришло время наложить запрет на это слово. Я слишком много сил положил на то, чтобы различить. Я кричал и изнемогал в бесплодных попытках раздвоения. Мне было ясно, что это — как небо и земля, но чувствовал, что от того двойного бытия, которое мне не приходилось бы непрестанно подтачивать изнутри, я отделен непробиваемой стеной. Хотя и прозрачной. Я ожидал, что венецианские оргазмы будут остры, как удар ножом в переулке, и выдумал Диану, женщину, которую я хочу. Но увидел: эту женщину я не могу. Я не хочу ее... осквернять. На первый план тут, возможно, вышло не столько благоговение, сколько нежелание отказываться от своей истины, которую я хоть и пытаюсь отрицать под давлением мира, но которая все же была мной открыта. Эти собачьи подергивания... — их можно повторять только при условии полного дурмана, но они несовместимы с тем, что происходит в душах. И, придя в сознание, остается согласиться, что ты — кукла, картонное подобие машины из мяса и костей, которой ты в полной мере быть не можешь. Легкие пожатья рук, поцелуи — без этого, пожалуй, не обойтись. Но — не более. Дальше поверхности — ад. Как дорога Диана! Но: лечь с ней в постель? Ни за что. Речи не может быть. Смейтесь надо мной, по-вашему, я импотент. Пусть. Не хочу слышать этот запах, солоноватый, болотный — от нее, не хочу приближаться, переступать черту. Не хочу. Пусть будет моей богиней, раз нет бога.

У нее прекрасная грудь, она чудесна, и мне приятно думать, что ею вполне мог бы насладиться какой-нибудь непосредственный деятель, *homo ordinarius*, уверенный в своем праве спать с женщиной, иметь от нее детей и думающий, что лучше этого ничего нет. Будь счастлив, дорогой, если сможешь! Но в тот час, когда ступор пережил я легче, нежели якобы вожденное соитие, что утвердил я своим отречением? На какую ступень возвел Диану?

Женщина, с которой нельзя спать, кто это: весталка? амазонка?

Женщина — это ошибка, страшная ошибка шутников-творцов, которую нужно исправить во что бы то ни стало.

Невозможность овладеть Дианой оказалась следствием какого-то врожденного моего свойства, от которого мне невозможно было избавиться. Я со дня на день откладывал решающий шаг. Вечером надо было каким-то образом пригласить ее к себе в номер — или напроситься к ней, — и будь у меня вожделение, оно продиктовало бы верный способ действий. Но его не было, и мы чинно прощались, посыпанные нафталином. Сколько можно было длить колебания? Пора было решаться. Вот только на что? Ведь платонические отношения с Дианой представлялись мне уже, как иллюзия вечной жизни и, быть может, вечной любви. Но она сама? Она ждала совсем другого — там, в неверной тишине мебелирашки, где полозатые отблески канала, как зайчики, неслись по потолку. Нет, по ночам зайчики превращались в огненных пчел, которые не могли разбудить ее, потому что не жужжали.

Она ждала? А может быть, ей, как святой Урсуле, больше подошли бы три года воспитания чувств, которые должен выдержать тот, кто ее домогается? Нет, я не мог знать, что она вожделеет ко мне. Я не хотел этого знать — и не узнаю. Мне осточертел этот круг, в который меня замкнула судьба. Я должен был уйти, потому что больше не мог. Не для меня.

Я думал: если Мадонна могла родить, не совершая “этого”, то и я могу пережить единение с Дианой, не оскверняя ее, не изменяя жене. Конечно, тогда необходимо стать избранником неведомого божества, но это не казалось мне столь уж серьезным препятствием. Дайте мне бумагу и ручку и я напишу священный текст, подобный Евангелию, из которого будет ясно, что я знаю, о чем говорю. Мою последнюю любовь следовало осуществить абсолютно законно, так, чтобы и жена моя ее признала. Ревность здесь неуместна, налицо куда большее, чем обычное амурное дело. В чем тогда ее запретность, основное, по мне, качество всякой настоящей любви? В запрете повторяться и повторять то, что уже было проделано с другими, что бывает и у других. Требование абсолютной оригинальности куда сильнее разжигает мой мозг, чем стены теремов.

Я бесконечно нуждался в ней, она казалась венцом исканий, и влечение к ней было бы столь же естественно, как инстинкт самосохранения. Но я не смел приравнять ее к женщине и любить, как обычно любят. Нет, она была не просто «еще одна женщина» на моем пути: она принесла мне доказательство, что я прав: платоническое возможно — и возможно в пределах земной жизни... Но после того, как ты узнаешь это, нет тебе места на сей земле, почвы под ногами тебе уже не обрести.

Да только зачем мне теперь эта почва — здесь, в Венеции, которая есть апофеоз беспочвенности?

Но Диана, Диана ждала обычного, ждала, что я, наконец, захочу овладеть ее телом. Она ведь не знала, что “это уже было”, не знала, что завое-

ватель из меня никакой. А мне уже виделся иной строй близости, и я был готов пережить нечто великое...

Конечно, и жена не признает законности моих притязаний. “Какой примитив!” — только и скажет она, узнав о похождениях своего казановы. Для нее примитив всякое искание, не удовлетворенное исполнением раз навсегда принятого. Примитив? Может быть. Я так часто пытался представить себе, как лет в семьдесят, избавившись от похоти, смогу говорить о любви, что не удивился, когда это вдруг произошло в сорок. Да, я свободен от похоти, но любовь, как определил бы я ее теперь, когда искания завершены?

Умеренная нежность — так скажу. Без иступления, без надрыва, без вражды. Вроде той, которую можно испытывать к восьмилетним детям. Похожая на тихий летний вечер в деревне, в полях, теплый, звенящий; когда даже записной пессимист не удержится и проворчит: “Хорошо!”

Диана спит. Она совершенно не беспокоится на тот счет, с каким видом отдался. Конечно, знает, что этого и не будет. Прощай, моя любимая!..

Я был не в силах встретиться с Дианой наутро. Я должен уйти, уйти, как уходит шут, когда нет больше потребности в его дурачествах.

Бросить ее? В чужой стране?

Что-то говорило мне: нет, не так все. Не «чужая страна» и не «бросить», вовсе нет. Она здесь отнюдь не на экскурсии, и она не вещь.

«Диана спит»? О, нет, она не спала, она глаз не сомкнула за всю поездку, и прежде меня покинула камеру. Она ждала чего-то чрезвычайного — и получила это. Только не от меня. Куда мне было ей соответствовать?.. Ее оружием была прямота, доводящая до дрожи, и било оно без промаха — по крайней мере, в меня, изолгавшегося и извертевшегося в лабиринте нерешенных вопросов. Вспоминается рассказ о человеке, всегда заявлявшем: «Неправда», если рядом раздавалась самая невинная ложь. Никто не ставил вопрос правильнее, чем она, критиковавшая пороки нашей жизни с той трезвой точностью, которая подчас дается на пороге, тем, кто еще не погрузился в ее мутные воды. Она еще могла остановиться, остаться в стороне от того, что презирала. 23 года — подходящий возраст, как известно.

Может быть, в ее светловолосой головке сложилось очевидное желание: вышибить себе мозги на Сан-Марко — там, где на нее всякий раз накатывала темная и грозная тоска?

Она все время что-то высматривала, у нее тоже была своя мечта. Это была девушка, мечтавшая и предпочитавшая умереть, но не жить, как придется, — иначе зачем мог ей понадобиться старый эгоист, двадцать лет разницы с которым никак не ощущались? Она не признавала исхоженных троп, но не знала, как с них сойти. Да, по указке папаши она терпеливо

кропала дисер, но люто ненавидела тупой удел. Ей хотелось иной защиты, но ей не к чему было приложить себя. Ее интересы были малы для нее.

И ведь она простилась со мной! Вчера, за ужином — последним, стало быть... Это был самый тайный ужин, который только можно вообразить. С форелью: может ли венецианская трапеза обойтись без нее? Это все равно, что в Москве перекусить без чебуреков... Хотя мне вполне достало бы и местного хлеба (с вином). Хлеб итальянский — за уши не оттащишь. Сметана. Конечно, совсем по-другому звучит здесь: «Не хлебом единым...» Такой хлеб полноправный конкурент омаров.

Глядя поверх меня, Диана в первый раз заговорила о том, что, может быть, предопределило цель нашего путешествия.

«Давно, еще в совиные московские ночи, когда напрасно ищет выхода детская душа, оскверненная школой, я придумала себе игру: лечь на диван и читать что-нибудь о Венеции. Я не знала лучшего лекарства. Постепенно стало ясно, что есть некая венецианская Книга, отчасти написанная, в целом — конечно, нет. И я выстраивала в своем воображении этот город. После того, как прочтешь из Книги хоть небольшой кусок, или сочинишь его, можно жить и дальше...» — «И у тебя не дошли руки до купца и мавра?» — «Дошли, конечно, хотя это и не о том. Тогда я просто пошутила, косила под дурочку и загадала: если вы начнете сокрушаться моим невежеством и читать рацею, встану и уйду совсем...» — «Но я не начал...» — «Нет, вы увлекли меня, мне было интересно у вас учиться. Спасибо... Итак, я здесь, но что мне делать со своей любовью к Венеции? Писать о ней книгу? Такую, которую хотелось бы прочитать мне самой? Но кому она нужна, книга-то? Мечта поймала и изжарила меня, как эту рыбку! — закончила Диана резко. — И подала на блюде. Все всё знают про мой город, и стоит мне открыть рот, они скажут: глупая выдумка...»

Тут я как-то нервно заерзал на стуле и попытался возразить, что такая книга нужна прежде всего ей — как очищающее средство...

«Нет, — отрезала Диана. — Этого мало. Если книга никого не разбудит, как удар кулаком, цена ей копейка.»

И все в таком духе. Долгий вышел разговор, но, увы, я не должен претендовать, что меня по-настоящему увлекало путешествие в край ее души, я, как всегда, жил в себе... Венеция, несомненно, была предметом ее мечты, но что она себе намечтала о Венеции, я так и не понял. Наверное, она смотрела глубже, чем я думал. Считала, что книга — не эликсир долголетия, не ключ к бытию, а только миг его. Не зря же она притворялась незнайкой. Ее мучил вопрос: «что дальше?» Но ответа не было.

Я сказал, что у нее, безусловно, есть краткая формула, выражающая ее историю, и она вздохнула:

*«Отворите мне сердце
и прочтите: Венеция...»*

Когда мы покидали локанду, нагрузившись рыбой и Вальполичеллой, мимо пронеслось небольшое, но шумное стадо студентов. Мы отступили в лавку (кича), чтобы нас не сбили и не оглушили, но два маменькиных сынка с намазанными вихрами остановились прямо у порога и принялись яростно что-то обсуждать. Наверное, один звал другого пойти в ГЗ, чтобы взглянуть на звезды с его крыши. Неплохо бы и нам, выходцам из ада... Но, переждав, мы отправились смотреть оранжевое небо в лагуне. Ведь это — цвет прощания.

Меня не удивило, что она исчезла: такую певицу невозможно было держать в клетке. Я вышел следом. Была ночь. Не раздумывая, я двинулся вверх и вниз по мостам, в какой-то эйлеровой мании стремясь обойти их по разу все и вернуться в исходную точку. Я знал, что в конце пути найду ее, и так увлекся поиском этого маршрута — замкнутого цикла — как будто от того, существует он или нет, зависело все.

Но там ли я искал? Может быть, она сделала то, чего так боятся итальянские иммиграционные власти: нелегально осталась в стране и устроилась гувернанткой где-нибудь в Удине или Триесте? Или, опорожнив бутылку «Мартини», добралась до Пьяццале Рома, взяла напрокат «Альфа Ромео» и, погнав в ночи через дамбу, рухнула в лагуну? «Нечестно добираться посуху», — как нравилось мне повторять...

Это казалось тем более вероятным, что путь мой начался с деревянного *Ponte asino*^{*}, который пользовался у венецианцев дурной славой. Он был карикатурой Риальто: к вечеру на нем собирались темнокожие торговцы, которые расстилали на досках белые простыни и выставляли свой убогий товар: сумочки, нелепые статуэтки, платки. На этот раз центральное место занимал тощий азиат, убеждавший прохожих, что магнитное поле его магнитофона, из которого гремела бодрая музыка, способно приводить в движение бумажные марионетки. Некий американец всерьез заинтересовался, в чем здесь дело, но, приблизившись к танцующим Микки Маусам, в изумлении воскликнул: “It is a freak!”^{**} Конечно, с расстояния даже в пару метров нельзя было разглядеть тонкую нитку, которую незаметно дергал хитрый ким.

По мере моего блуждания все гуще становился туман, начал метать дождь, город засыпал — совсем как в памятную ночь нашего прибытия. Круг замыкался, и мой путь складывался в некую однонаправленную кривую, которая, конечно, возвращалась к началу, но это уже был не я — тот, кто надеялся вернуться, и возвращался он не туда.

Я не пошел на Сан-Марко, хотя, казалось бы, именно там и следовало искать Диану, на ее любимом месте у подножия кампанилы, где турбу-

* *ponte asino* — ослиный мост.

** It's a freak! — Обман!

лентные завихрения грозили унести ее прочь. Но по пянице давно уже не протекает канал, его убрали, как Неглинку, а моей установкой было стро-
гое *su e giù per i ponti**. Очень трудно не пойти на Сан-Марко, потому что
оттуда всегда раздаются громкие задорные голоса, призывающие: “Сюда,
Одетто Тутто! К нам! Повеселимся вместе!” И вы не можете противиться,
если вас не гонит иная задача.

Город засыпал. Голуби, нахохлившись, обсели карнизы, бравый па-
рень Коллеони, суровый десятиборец, зловеще надвинул на глаза свою
фашистскую каску... Я шел и шел, и считал мосты, я хотел знать цифру —
совершенно раскольниковское число, единственно для меня важное... Это
было последнее отступление перед расставанием с венецианской топо-
графией...

Голова кружилась, и сам я кружился в петле. Пусть она никогда не кон-
чается, я хочу, как мираж, как черный монах блуждать здесь, среди неба и
волн, без руля, без ветрил... На миг мне представился вид Венеции с вы-
соты: эти две vareжки, пытающиеся ухватить одна другую, и между ними
я, не пожелавший убраться в нору... Взгляд скифа, затерянного в дебрях
эксцентричных представлений о себе самом.

Плитняк летел подо мной, проплывавшие по каналам гондолы казались
неподвижными, новый мост возникал и, связывая противоположности,
переносил меня на другую сторону. Подъем-спуск, взлет-падение, надеж-
да-разочарование... Сколько их было. Увлечение — скука, попытка овла-
деть идеалом — бегство от него...

Как и все в этом городе, я оказался в более естественном, первоначаль-
ном состоянии — пешем. И должен был вернуться к истоку. Головокруже-
ние росло, равновесие давалось с трудом. Я то и дело останавливался, са-
дился на ступени. Не хватало еще оступиться и свалиться в канал, чтобы
больше уже не сбиваться с пути и на жизненной дороге. Еще немного — и
конец? Венеция опасна для Нарциссов.

Щелкнул выключатель: “434”. Последний? — подумал я и, сойдя с мос-
та, обер... Передо мной была натуральная Гжатка: тот же вечный изгиб
интеграла читался впереди и чередование двух-трех-пятиэтажных домов
по правилу, закрепленному в памяти не хуже таблицы умножения. Но пре-
жде всего: сам “палаццо” на повороте улицы, который можно было теперь
не брать в кавычки, такой безнадежно старый и настоящий, облезлый и
лишенный всего того, чем изуродовали его парадную копию в Москве.
Те же две арки, и античный рельеф, и даже голуби на лоджии 2-го этажа,
угрюмые, как Наполеон на Эльбе. Окна, расположенные парами и тройка-
ми — для того, чтобы не скучно было коротать вечность... Сходство было
тем поразительнее, что, сравнив тротуар заподлицо с мостовой, Гжатку

* *su e giù per i ponti* — вверх и вниз по мостам.

давно уже превратили в *rio terà** , а два века письменной истории закрепили ее сравнение с рекой... Я оплакивал потерю родной улицы в Москве, не подозревая о прообразе. Но теперь мне уже некуда было стремиться с этой площади, называвшейся (я огляделся в поисках черной надписи) *Campo dei Burattini*** — разумеется! Вот она, власть и плен слов. Единственное, о чем я по-настоящему жалел, — это о том, что моя благая весть о находке не долетит до слуха матери: уж она приняла бы все с радостью — впервые в жизни.

Нельзя было противиться этому последнему уроку — уроку Пиноккио наоборот. Из непослушного мальчика сорока с лишним лет я, наконец, превратился в послушную куклу, и на меня была возложена важная задача. Ведь я прошел по всем мостам (хотя «434» было просто электронным табло, означавшим, сколько дней остается до открытия отстраиваемого театра “La Fenice”). Мне предстояло обрубить постылую пуповину — мост *Libertà* — и отпустить Венецию на свободу. Она же была последним этапом того пути в бесконечность, который я когда-то себе наметил. Две пушки, развернутые в сторону материка, дали залп, и Венеция отпрыгнула от берега, как надувная лодка. Она сделалась столицей страны снов, куда допускались немногие — те, кому не нужны бутики и рестораны, и дороги только оттенки воды и неба, изгибы переулков и мостов, кто готов часами бродить по каналам, зная, что более важного дела быть не может. Сюда, в эту призрачную обитель, в которую превратилась великая держава после того, как ее историю прекратили насильственно, не могут не стремиться обитатели северной страны, чью историю также прекратили насильственно ее собственными руками. Правда, те соотечественники, что добираются сюда, заражены разнузданным патриотизмом, они таращатся на изгрызенные временем фасады и недоумевают: что здесь делать?... Как справедливо заметил Лев Николаевич, неприятно встречаться с русскими за границей. Что может чувствовать самодовольный москвит, уверенный в своем праве, попав в окружение шедевров кисти и резца? Только то, что он полное дерьмо, и ничего более. Именно это и чувствуем мы в Венеции, но чувство это может стать самым здоровым в жизни. Нет, сюда не надо брать книг, друзей, любимых женщин. Венеция не потерпит соперников и соперниц. Она сама — единственное, чем можно здесь заниматься. Но, как о боге, о ней нельзя ни говорить, ни молчать. А в моем случае разговор этот тавтологичен трижды: из-за моего имени, моего детства на Гжатке — Венеции в Москве, моей истории Казановы поневоле. Но я не исключение: любое венецианское переживание всеконечно связано с артефактами: зеркалами, картинами, письмами вымышленных поэтов. Почему? Потому что жизни “живой”, особенно в нашем, рабоче-крестьянском, смысле, здесь просто нет. И на русских лицах читается недоумение:

* *rio terà* — засыпанный канал;

** *Campo dei Burattini* — кукольная площадь.

зачем сюда ехать? Выцветшие джинсы и разнокалиберные полотенца, натянутые поперек переулков на манер штандартов, казалось бы, говорят, что здесь все-таки живут и “простые люди”, а не только тени дождей и прокураторов. Но ведь джинсы можно напялить и на манекен — это тоже “freak”. А их универсальная формула: «Скуз ми!» Это идеальная отговорка, под эгидой которой вас зарезать могут, а вы будете глупо улыбаться, не зная, что возразить... Страстные итальянские женщины? Но можно ли вожделеть к венецианкам? Вот они проносятся мимо, крича в трубку: «Ciao-allora-cara...» — тонкие, черноволосые, с низкими голосами. Иногда ослепительно привлекательные, но... Они не более, чем декорации, как все в светлейшей. За прекрасным фасадом — холод, плесень, пустота. Они одеты слишком безупречно — в них нет человеческого, легче влюбиться в манекен. Тем более, что сквозь витрины магазинов одежды вы никогда и не отличите продавщиц от манекенов. Собранные вместе, венецианские женщины, разумеется, верещат без умолку, как куклы в балагане. Есть отличный у них глагол: *chiachierare**. В нем так и слышится этот вечный треск, кьоджинские перепалки, которым они восполняют внутреннюю пустоту, отсутствие объема. А их любимые черные очки, которые они даже вечером не снимают: иногда взглянешь и испугаешься не шутя — просто глазницы черепа. Их черные, как смоль, волосы, приедаются, как смола. “Мертвечина, — говорила Диана. — Куда смотрит солнце?” А пахнет от них моющими средствами, во всяком случае, не тем, что я привык считать французскими духами. И они так быстро исчезают из виду, что ими невозможно увлечься. Их парочки — точно фигуры восковые, подражающие живым людям. Они тоже куда-то несутся, пусть даже взявшись за руки или целуясь. Но и это обман, бутафория, неумелое подражание. Зачем любовники едут сюда? Здесь нельзя вожделеть, нельзя совершить акт, я в этом убежден. Недаром родилась такая шутка: «инаморат в венецианскую читтадинку»**. Не бывает этого. Люди здесь — куклы, портреты, бежавшие из пинакотек, чтобы подышать морским воздухом. Даже матери какие-то ненастоящие, хотя и тянущие за собой по три коляски с *bambini*. Слишком они элегантны, совсем не говорливы, угрюмо двигают свой караван к неведомой цели, без сомнения, думая о чем-то постороннем. И никто не помогает им перетаскивать через мосты коляски, чемоданы, так далее. Никто не пропускает их вперед! Конечно, потому, что здесь и мужчины, и женщины сделаны из одного материала и не подчеркивают различий. Подражая, я тоже мякнул им вслед: «Чау» и, обрубив пуповину, вскочил на корму. Вперед, мой капитан, в дорогу, ставь ветрило...

Мы отплыли, но дух мой еще долго носился над гладью моря, и каждый вечер...

* *chiachierare* — болтать.

** Инаморат... — Влюблен в венецианку.

Каждый вечер я выходил из гостиницы и, проделав несколько сотен шагов, оказывался на Сан-Марко. Что искал я там, в темноте? Что еще было мне нужно от каменной голубятни перед игрушечным собором, молча встречавшим меня, как старый патриарх со свитой?

Я подходил к освещенным окнам «Флориана» — что уже было победой над презрением к штампам — и думал: наверное, это место специально предназначено для тех, кто должен что-то сказать о судьбах мира и культуры, о женщинах, о смерти... А мне, которому говорить не с кем и не о чем, можно хотя бы постоять здесь, как голодному бродяге, несколько минут, считая ряды огней, а над головой чтобы бесшумно проносились ночные птицы.

Но, заглянув внутрь, я вдруг обнаруживал многолюдное сборище, там сидели те, кто некогда укрылись за псевдонимом «Ванюпье», там были Платоныч, Симон, Змей. В углу, вместо вешалки, как видно, стоял скелет, белые мраморные столики хранили остатки обильной трапезы. И, хотя в дверях, как Диоскуры, готовые броситься на помощь, застыли служители в белом, собравшиеся — во исполнение обета того, кого уже не было вместе с ними, — день и ночь говорили... не о математике, о нет! Они сошлись, чтобы беседовать о любви, они не считали это зазорным. Седовласые старцы в широких шляпах и мятых пиджаках оставили в стороне серьезные вопросы, они очень мило вели свой разговор и, думаю, их мысли дались им без труда, за них не было заплачено чьей бы то ни было жизнью. Панцирь философии защищал их от случайного, и они упрекали меня в том, что я не пожелал этого панциря... Это был тот пир семи мудрецов, на котором я уже когда-то побывал. Но меня все же пригласили за стол — пару вопросов я поставил достаточно остро, — и бесповоротно осудили: не стоило класть жизнь, доказывая, что Афродита печется не о плотском соитии... Я посидел среди них и отведал того кофе, который нахваливали снобы. Что сказать мне о качестве напитка? Подали его с такой помпой, точно это рождественский гусь, но количество — три глотка — больше смахивало на яд. Столь же торжественно и следовало его выпить... А семи последних слов о любви, которые были обещаны, никто так и не произнес. Все взоры были обращены ко мне, но я, что мог я сказать? Мне нечего было больше сказать.

XXIII

P. S.

1. Теперь все известно: где я и что со мной. Пора открытий миновала. Но у меня остается немного времени, чтобы проститься. Нет, я знаю, благодать не коснется моей души, но благодать знакома ей уже, знакома и позабыта: это — любовь Даши. К ней и обращаюсь, не к детям. Они поймут ли? Говорю ей — такой, какой она была в то время, когда с удовольствием

меня слушала — потому что мне не было нужды каяться перед ней, опасная болезнь еще не успела во мне угнездиться.

2. Дни мои промчались, как бы оленей косящий бег, и из другого мира я покаянно и глухо лепечу в ночи: у меня нет врагов, мне нужно было только понять себя. Но это невозможно, пока живешь. Усилий наших не достает на решение, мы можем пойти только до точки дурмана, когда нам кажется, что дальше идти некуда и мы нашли то, что искали.

Я не хотел этой точки, но не смог ее избежать. Я ведь не исключение. Ввиду краткости отпущенного мне срока я прожил жизнь так, что у меня, как у Поприщина, каждый день были открытия, потрясения, катастрофы, и я не смел заняться чем-то другим, кроме самого себя. Но, к сожалению, искренность недоступна. Сокровенное невыразимо — вот в чем подлость. То, что ты тепленьким вынул из души, чтобы передать ближнему, поделиться с ним, давно красуется на плакате с рекламой мыла, и тебя поднимут на смех. Сокровенного просто нет. Есть пустячки — они могут быть неповторимыми, «важное» — никогда. Я тоже пишу для *happy few*^{*}, для тех, кому не нужны многоточия и кавычки, потому что они сами остановятся, где нужно, сами выделяют голосом то, что требует подчеркивания. У этих записок, как и у автора их, неизменной останется только одна претензия: быть. Я ведь не писатель, я всего лишь злосчастный муж, который не смог распорядиться неожиданным богатством. Уверен, однако, что мне удалось воздвигнуть себе памятник. Какой? В полный рост или сидящий? Нет, памятник мой — человек на коленях, спрятавший лицо в ладонях.

3. Мне пришлось узнать, что не всякий человек и не во всякое время, имеет право на исповедь. Кому и когда оно дается? Думаю, исповедь — не столько право, сколько потребность, родственная покаянию, которую испытывает тот, кто осквернил чужую душу. И величайшим заблуждением моей жизни было то, что я думал: мне дано право исповедоваться всегда. Таким образом я надеялся получить и право на жизнь.

Моя исповедь обладает одним несомненным достоинством: я никому не читал ее, даже себе; пришлось бы все вычеркнуть. И спасло ее то, что сказанное вырвалось на одном дыхании, на последнем дыхании. Вперед, только вперед. Обнажение воли!

4. О чем можно говорить без стеснения, со знанием предмета? О себе. Но говорить о себе — стыдно и нескромно. Нельзя столько копаться в себе, заниматься только собой. Парадокс? Значит, молчать?

Товарищи! Братья! Загляните в свои души так, как я заглянул в свою, и вы не сможете оторваться, вы найдете бездонный атом, безгранично делимый вопреки науке, и вам совестно станет за ваш вопрос. Заглядывая в себя, я вижу вас, вижу весь этот маленький удивительный шарик, объятый гневом творца. Почему? Потому что я — образ и подобие, отражение и средоточие всего, что вокруг. Я пишу не для того, чтобы рассказать о жиз-

* *happy few* — немногих счастливых.

ни своей: жизнь моя не стоит и плевка. Единственно ценного в ней было то, как я думал, это и была подлинная жизнь. Другой я и не заметил, жизни-то. А сознание выполненного долга принесла мне спасительная мысль: я думал правильно!

Знаю, говорить о себе — страшная слабость, но мне внушили: прежде, чем начать жить, надо как-то сформулировать себя, найти свою истину. Моя ли вина в том, что это аккурат на всю жизнь и растянулось? Простите, что я не умел воспевать, не научился должным образом восхищаться. Простите, что жил среди вас.

5. А сын — это хорошо. Пусть говорить с ним и нелегко. Но сын помогает: благодаря ему у меня всегда была невидимая кафедра, на которую я мог подняться, когда хотел. Он меня не услышит — да. Но я и не тороплюсь. То, что я скажу, останется с ним, он будет изучать меня, как Библию, даже если, зевая, отбросит мое завещание в угол. Ему не уйти. Для меня, как и для них, ребенок — величайшая удача в жизни. Думаю, я всегда это знал, неслучаен же мой *homme de ménage*. Но я почему-то стыдился быть им до конца.

Да, друг мой, я даю тебе урок не математики, как мне самому когда-то давал то же самое Платон Ильич. Даю ненавязчиво, без гонора. Даю урок — и беру его, потому что это важнее всего. Учусь обращаться к тебе с тем уважением, с той надеждой, которых заслуживает всякий, приходящий после. Могущий успеть больше. Как говорил поразительный человек, под этим небом желавший перейти в католичество: если через много лет ты будешь счастлив... Нет, я не претендую на то, чтобы стать звеном золотой цепи. Кроме того, я едва ли понял бы того, кто может быть счастлив. Но я все равно протягиваю ему руку.

Разумеется, из идеи завещания не могло получиться ничего хорошего. Негоже говорить сыну о его матери, а о чем еще могу я говорить, о чем еще осталось мне сказать? Но не отступать же от задачи объяснить все, которую я перед собой поставил... Кажется, на доньшке у меня остается совсем немного. Достаточно, впрочем, чтобы составить тему нового рассказа, новой жизни. Но не моей, не моей...

6. Дни, в самом деле, промчались быстро, о счастье не говорю, но я понял, что конец близко, хоть нам и не дано предугадать. Нам не дано, но мы очень хорошо можем чувствовать, что испили до дна чашу злодейств и приговор объявлен. Пепел наслаждений развеян по ветру, и можно перестать мучиться неудачей призвания. Что ж, все очень ясно: меня никто не звал, я самозванец — и только.

Что я умею делать, что я мог рассказать, на манер старых волков, молодой девушке, чтобы она слушала, положив руки перед собой, как школьница за партой? — Я мог рассказать только то, что человек не стоит ни черта, как трезво выразился один американ.

Что я делал в жизни? Наблюдал себя? Кажется, недавно я только и умел, что управлять стружкой мочи, но научился ли я еще хоть чему-то? По большому-то счету?

Самое чистое желание, которое я знал, это уединение. Я хотел укрыться, я знал, что мне не жить среди людей, но... Люди хотели, чтобы я жил с ними. Значит, я не самозванец?

7. Я был призван одним человеком, обратиться к которому напрямую мне и теперь крайне тяжело. И все же, когда ей плохо, мне тоже плохо, мой разум блуждает и не находит слов. В это время я даже могу пребывать в чих-то объятиях. Но, пока я знаю, что ей плохо из-за меня, я выбираю ложь — простейший способ уменьшить боль. То есть выбирал... Я надеялся, что еще придет то время, когда она махнет на меня рукой и спокойно плюнет мне вслед; вот тогда и я буду, как Сократ, жить по правде. Но жизнь миновала, я выдохся и закис: у меня машина, дача, сотовый телефон, любовницы... Одним словом, скука. Того человека, которого когда-то полюбила моя чистая сердцем жена, давно нет. Мне больше не найти себе места рядом с ней: не могу же я во второй раз возвратиться к ней моральным инвалидом.

Дорогая! Ты дирижировала своим «Марком» не хуже настоящего демидурга, но, как и он, ты отдала кукле слишком много живой души, т. е. свободы, с которой та не справилась. Моим величайшим врагом всегда было милосердие и прочие формы размягчения, которые мне так и не удалось в себе победить. Но ты добилась своего: когда я вижу страдающее существо (собаку, поджимающую подбитую лапу на морозе), у меня болит сердце. Этого мало: если передо мной проходит холеная, «шикарная» женщина в енотовой шубе, мне тошно, мне жаль зверя... Но воспользоваться плодами твоей победы уже нельзя.

В нашей семье был тайный шифр, по которому распознаются счастливые семьи. Увы, он оказался слишком сложным, мы переусердствовали, составляя его недоступным для чужих, и мы забыли его.

8. Но я удивлен, что у меня нашлись слова и для нее. Кроме неизбежных «прости меня», которые я все как-то медлю произнести. Надо ведь еще и помочь ей простить. Конечно, это нелегко: ей же хочется непременно отомстить тем, кто пользовался мной без ее ведома, кто брал куклу взаймы, не уплатив за амортизацию.

Но можно ли отомстить? Можно ли вернуть назад блаженные часы?

Постарайся забыть, говорю смиренно. Забыть — это иногда и есть: отомстить.

9. Почему я так и не решился бросить ее?

Потому что, говоря вашим языком, я люблю ее. А вы ждали иного ответа?..

Я сам хотел чего-то безмерно оригинального, но шифр-то, шифр был банален и прост. «Ты и я, мы так похожи, как две капельки воды, в мире

никого дороже и любимей нет, чем ты...» Совсем недавно Даша подарила мне открытку с этим убогим стишком, и короста, казалось бы, спала с глаз: мы действительно похожи и суждены друг другу, а то, что я находил против нее, — и что она находила против меня, — было не более, чем пятнами на солнце, на солнцах... Никаких неустранимых противоречий не было, но я так много думал и искал, что создал их и поверил, как не верил ни во что другое.

Если бы мы могли жить долго и счастливо, я бы носил эту открытку с котом и собакой, привалившимися друг к другу, как два тюфяка, в качестве талисмана, я уверен, она хранила бы меня от напастей. Да, хочу я или нет, жизнь моя есть любовь. Пусть и неудачная.

10. Пора заканчивать. Думаю, то, что хочу я сказать, как-то дойдет до Даши. Хотя бы во сне она это услышит. И увидит, как сажу я на берегу моря, читая стихи ребенку, который сооружает из песка высокую башню, наполовину подрубленную туманом.

«Что выпало мне — быть или не быть? Героем — или попросту шутком?..»

Я хотел быть героем ее романа, но выпала мне роль шута при ее дворе. Все мы ведем себя, как старый фигляр Дзампано, не бережем своих кротких Джельсомин. Поэтому в конце мы и плачем, одни, на берегу моря, омывающего пустыню наших надежд.

Вкладывая в нее все, что имел, служа ей, я когда-то думал, что приближаю тот миг, когда она, как прекрасный цветок, распустится у меня в руках. Но... не завял ли этот чудо-цветок именно оттого, что попал в мои руки?

Я любил тебя, Даша, но так и не смог доказать этого себе. Не сумел в это поверить, не сумел этого выразить. Прости меня.

Алексей Мякишев

Р Е К В И Е М

(ПОВЕСТЬ)

... Маленькая девочка посередине грязного двора прыгает через старую скакалку, в нескольких местах связанную узелками.

... Полумрак и сырость...

... Затхлый запах, кажется, пропитал все на свете...

Но девочка ничего не замечает.

Девочка увлечена игрой и напевает глупую детскую песенку:

*“There was a crooked man and he went a crooked mile,
He found a crooked sixpense against a crooked stile,
He bought a crooked cat which caught a crooked mouse,
And they lived all together in a little crooked house. “
“And they lived all together in a little crooked house,
He bought a crooked cat which caught a crooked mouse,
He found a crooked sixpense against a crooked stile,
There was a crooked man and he went a crooked mile...”*

Девочка увлечена игрой и напевает глупую детскую песенку.

Но девочка ничего не замечает:

... Затхлый запах, кажется, пропитал все на свете...

... Полумрак и сырость...

... Маленькая девочка посередине грязного двора прыгает через старую скакалку, в нескольких местах связанную узелками.

Глава первая

... Старик-швейцар по кличке Мурло неторопливо надел казенную шинель — минута-другая оставалась еще в запасе — и направился к выходу. На пороге оглянулся, любуясь игрой быстрых и веселых красных язычков (кривая, зловещая усмешка, гадюкой вползшая на лицо его, ужаснула бы всякого) и, аккуратно прикрыв за собой дверь и дважды повернув в замке ключ, очутился на улице, где тотчас смешался с толпой спешивших на работу служащих.

А вскоре стоял он за шатким замызганным столиком в третьесортной закуской, задумчиво созерцая стакан с изрядно разбавленным водою кефиром (кровь леденящая гримаса все не сходила с его физиономии).

И екнуло сердце и спряталась в пятках душа:

— у выглянувшего из своего кабинета директора заведения (не иначе, ревизор, не иначе, ревизор — застучало тревожно в голове);

— у старушки, в тележку собирающей грязную посуду (антихрист! — сразу поняла она и украдкой перекрестилась);

— у вышибалы, торчащего в дверях (да это же папашка ейный! накапала-таки, бестия — догадался вышибала, здоровый бугай со смазливой рожей);

— у пожирающих поспешно за соседним столиком яичницу двух каких-то клерков (новый начальник департамента! за опоздание уволит без выходного! — засвербили мрачные мысли).

Но Мурло вроде бы и не замечал, какой пронзительный страх он вселил в окружающих, продолжая с отрешенным видом разглядывать стакан с кефиром...

... ибо он находился сейчас в покинутом им несколько минут назад казино.

Да!

И видел ясно, чувствовал, з н а л:

Вот — ало полыхнула занавеска.

Вот — пополз по полу едкий дым.

А из залы доносится резкая, неприятная музыка; гудят голоса немногочисленных в ранний час посетителей; хлопнуло шампанское... в туалете блюет кто-то, выворачиваясь наизнанку; граф Морис Понти в вестибюле закуривает гаванскую сигару — и благородные холеные руки его трясутся с похмелья — никто еще ничего не понял...

Никто еще ничего не понял.

* * *

“Извозчик! “ — выкрикнул отчаянно. (Ах! Разве дело в извозчике! Все извозчики Республики бессильны помочь мне! Равно как и все идиоты, игуменьи, инсинуаторы, изверги, инфанты и инфантилы... Друзья, девушки, доктора, демократы и дуэлянты... Да с какой не начни буквы — все

толку выйдет мало... Сатирики, сатрапы, статисты, суфлеры, сангвиники... учителя, ученые и умники... упыри... полиция, пошляки, предатели, провокаторы, проститутки и прощельги... Сам господин Президент... и особенно господин Президент! Никто, никто!.. в целом свете никто не спасет меня!)

Карлик, между тем, взгромоздился мне на плечо, устроился поудобнее и принялся пускать слюни.

“Извозчик!! “

Из мрака вынырнул кэб и остановился. “Куда прикажите, барин? “ — пробасил бородатый кучер в тулупе, мгновенно напитав окрестности неприятным запахом чеснока и перегара. “Живей в “Алмаз” , приятель, — распорядился я, полезая в кабину, — гони во весь опор. Зелененькая за мной. “

“Quo vadis, quo vadis? “ — заныл карлик протестующе. “Thy wish was father to that thought “, — прибавил он немного погодя и звякнул бубенчиком. “Цыц, ты, гнусье! “ — гаркнул я, не удержавшись, и немедленно карлик расплакался.

“Пусть, — думал я, — не нужно только обращать внимания. Все-таки, мы мчимся к цели. “

Кучер без всякой пощады нахлестывал и нахлестывал лошадей; расстояние между “Алмазом” , храмом забвения — и мною, одиноким, потерянным человеком — стремительно сокращалось.

“Скорее! Скорее, борода! Так их! Не жалей! “

Первым делом потребую водки. Графин водки и чтобы закуски. Или нет — закуска ни к чему.

* * *

Возвращаясь из гимназии через парк, Саша остановилась посередине дорожки и залюбовалась голубым весенним небом, позабыв обо всем на свете.

Случилось, что в это же время прогуливался по парку и некий господин, чрезвычайно respectable вида: цилиндр, фрак, гвоздика алая в петлице, массивная трость из красного дерева и с набалдашником из слоновой кости.

Господин, шурясь, поглядывал в небо да поплевывал себе под ноги, изредка затягиваясь дорогой гаванской сигарой и сверкая на солнце золотыми зубами.

Ничего необыкновенного не находил он в ослепительной этой синеве, искрящемся ласковым солнце, а скорее всего, полагал даже, что вполне сможет обойтись без того и без другого. Прекрати вдруг Гавана поставлять свои сигары Республике или запрети Президент карточные игры, вот тогда бы он опечалился не на шутку.

Итак, совершая однажды в парке предобеденный моцион, заметил господин стоящую на дорожке девочку, обо всем на свете позабывшую и лю-

бующуюся голубым весенним небом.

Все Понти издавна слыли знатоками женщин, лошадей и вин — не составлял исключения и граф Морис (а это был именно он) ; секунды хватило ему, чтобы оценить юную гимназистку: прелестное и невинное создание. Сравнение с нераскрывшимся бутонем розы напрашивалось. Или с едва раскрывшимся.

Граф Понти сравнил и тут же поклялся цветком овладеть (будет моею! или я не Морис Понти! и не граф! уж у меня бутончик сей распустится быстро! и, господа, какая дивная выйдет из него роза!)

Неслышно подкравшись к девочке и едва не вскрикнув от восхищения (вблизи она показалась Понти совершенством), он дотронулся до ее плеча.

“Ах! “ — вырвалось у Саши, когда она, почувствовав чье-то прикосновение, с небесных высот опустилась на землю и увидела перед собой — графа Мориса Понти, во всем величии.

* * *

... к концу прошлого столетия Восточная Империя, держава с самой обширной в мире территорией и самым многочисленным населением, по-прежнему оставалась наиболее отсталым государством — и в политическом, и в экономическом отношении. Народ, лишенный элементарных понятий о свободе, демократии, о каких-либо нравственных и материальных нормах, все свои потребности с легкостью удовлетворял в кабаках и домах терпимости. Следует отметить, что при последнем Императоре Всея Восточной Империи Дундуке Восьмом, дома терпимости и кабаки, в огромных количествах заполонившие страну, отличались необычайной дешевизной. Стакан водки, селедка на закуску и женщина обходились в сумме не дороже головки голландского сыра.

Дундук же Восьмой купался в разврате и роскоши, и слышать не желал ни о каких реформах. “Какого черта я стану хлопотать ради стада вонючих рабов? Чем больше их передохнет, тем лучше “ — частенько говаривал он.

Среди крестьян, влачащих бремя существования в жалких лачугах, свирепствовали повальные эпидемии чумы и тифа; в печать просочились сведения, что в Империи вшив каждый третий.

* * *

Вероятно, у читателя давно назрел к автору вопрос: “Полноте, что за ерунду вы пишете? “

Спешу оправдаться в его глазах: все, что было до сих пор, и все, что будет дальше — придумал не я. Все сочинил один посредственный писательшка (он и мне самому глубоко неприятен).

“Да-с, с первых страниц — головой в дерьмо — вот, если угодно, мое творческое кредо “ , — обыкновенно откровенничает он перед своими приятелями за кружкой пива.

Впрочем, писателишка этот, каюсь, целиком и полностью — плод моей (довольно-таки нездоровой!) фантазии.

Может быть, и меня кто-нибудь выдумал. Некий со скуки в конец одуревший графоман.

Возможно всякое.

* * *

... Он шел по матово блестящей равнине, вокруг возникали и рушились темные образы, вибрировали, издавая хаотический перезвон, то стихающий до еле слышного пианиссимо, то нарастающий до неистовой силы.

Вдруг голова его стала вспухать, вспухать... достигла необъятных размеров, звон перешел в надсадный вой — серое пространство завалилось, скручиваясь в извивающиеся жгуты и разбиваясь на мириады осколков...

Он открыл глаза. Все плыло. Впереди лежала мокрая после дождя, тускло освещенная луной полоса асфальта, вдоль которой чернели громады зданий; лишь в нескольких окнах горел свет.

“Однако... ну и налился...”, — с трудом собрал он разбегающиеся мысли, — лезет всякая чертовщина... совершенно ничего не помню. Хотя б узнать, куда я попал? “

“А находимся мы, — тотчас противно запищали за его спиной, — на Дворцовой Площади; которая представляет собой: культурный, политический, административный и торговый центр столицы, и вам все это должно бы хорошо... “

“Замолчи, ты “, — тоскливо пробормотал он, не оборачиваясь.

“А-а... замолчи... всегда у вас так... скажите лучше, зачем в “Алмазе” зеркала побили? зачем цыганок разогнали? Не знаете, конечно... Известное дело... А уж меня — меня! — существо тихое, безответное, так последними выбрали словами. Всякий стыд забыли. Эх!.. “

“Ну. виноват, виноват; кругом неправ, не канючь ты только... “

“Опять вы за свое... а пора бы и о душе подумать... да-с, о душе! Вот перед вами прямо — Дворец Президента, и в окнах горит свет; потому что господин Президент не только денно, но и ночью пекется о благополучии и процветании своего народа, ergo — и лично о вашем процветании и благополучии, но вы почему-то процветать не желаете; вам, извиняюсь, лишь бы нажраться — до свиного непременно состояния. И меня хотите извести оттого все, что всегда я скотским желанием вашим поперек стою. Но знайте — ни пропить меня, ни в карты проиграть (как давеча пытались графу Понти в покер) — вам не удастся! “

“Отвяжись ты от меня. Господи, голова и так раскалывается, а тут зануда эта подлая... Пошел вон, ублюдок! “

“Cum principia negante non est disputandum “, — сообщил печально Карлик. По его лицу текли слезы, целый соленый водопад.

* * *

Добротные романы Маргариты Тартарон, излюбленное Сашино чтение, иллюстрировались очень красочно. Например, в книжке “Роковой дровосек”, повествующей о любви прекрасной принцессы Розалинды и отважного рыцаря Бергольна, которому ради святого чувства пришлось истребить семь злых и коварных великанов и своротить три горы, — была такая картинка: Бергольн, в шлеме и в латах, вострым мечом отсекает великану голову; на следующей картинке рыцарь, уже без шлема, преклоняет колени у ног принцессы — и подпись: “Я буду любить тебя вечно, Розалинда. И смерть не властна над нами.”

И сейчас, глядя на стоящего перед ней изящного, с иголки одетого графа, Саша вспомнила, что уже видела его на одной из подобных картинок. Вот только как называлась книга?..

* * *

... а в столице и крупных губернских городах знать щеголяла изысканными нарядами, сорила деньгами и предавалась неистовым оргиям.

В это трагическое для страны время и появился на горизонте — будущий Сокрушитель Тиранов и Деспотов, Светлый как Солнце, Великий Стратег и Тактик, Вождь Всех Времен и Народов, Первый Президент Восточной Республики — а тогда мало кому известный, только окончивший институт где-то в провинции и получивший адвокатскую лицензию, двадцатисемилетний Фыхняркул Дурчегнуб. В свои двадцать семь он не только разбирался порядочно в юриспруденции, но и успел отменно изучить пришедшую с Запада полуполегалную теорию эквализма.

* * *

... Один бумагомарака (тот самый небезызвестный теперь вам писатель-лишка) всю свою жизнь сочинял роман: напишет лист — сожжет в печке, напишет другой — опять сожжет; и читать никому не давал, и сжигал — так как чувствовал: не то, не так, да и вообще — зря.

* * *

Я слышал, как они громко переговаривались:

— Да тут он где-то, нутром чую!

— Деваться некуда ему!

— Ясно, некуда!

— Гоняйся за паскудой разной по ночам...

— Точно! Уж я и забыл, откуда у телок ноги растут...

— Ты забудешь!

— Сказали, брать живым. Живым не живым, а ребрышки я ему уже пересчитаю...

Я чувствовал даже их смрадное дыхание.

Покуда ночь спасала меня. Не видно ни зги. А я всегда боялся темноты;

а теперь тьма — последняя моя надежда спастись.

Но почему они не зажигают фонарики? Непонятно. Ведь фонарики у них должны быть, у каждого. Странные существа. Фонарики есть — не включают; наверняка, есть у них и зубной порошок и щетка — а чистить зубы не хотят. Сволочи.

— Гравий! — загремел совсем рядом начальственный окрик.

— Я! — мгновенно и подобострастно откликнулась ночь.

— Сколько человек поставил ты на Западной Дороге?

— Семь, Ваше Превосходительство.

— Гм... А не мало?

— Ему не скрыться, Ваше Превосходительство.

— Смотри, Гравий. Он уйти не должен. Понял?

— Так точно, Ваше Превосходительство. Он не уйдет, Ваше Превосходительство.

Сволочи. Дорогу перекрыть догадались. Что делать? Что делать? А если попробовать — к Лесу? Лучшего, похоже, ничего не придумать.

Я нащупал в заднем кармане холодную рукоять парабеллума. В любом случае, живым я им не дамся. Последняя пуля — себе. Но для этого вам придется еще попотеть, господа.

— Полно слезы лить, — шепнул я карлику, огромным клетчатым платком вытирававшему глаза, — не все потеряно. Отходим к Лесу.

— К Лесу! — взвизгнул он, — меньше нужно... — но тут я заткнул ему пасть ладонью и, нагнувшись к самому его уху (волосатому и с бородавкой на мочке), тихо молвил: “Пикни еще раз, гадина, попробуй. “И ткнул стволом между лопаток.

* * *

... Морис Понти, граф, улыбнулся широко и ясно; сверкнули слепяще тридцать два маленьких солнца — его золотые зубы.

— *Qui est vous?* — обратился он к девушке (чудо как хороша! Надин, конечно, прелесть, но уж куда ей до этой девчонки), — *qui est vous, ma petite?*

Саша отвечала, также по-французски.

Господин, перейдя на родной язык, представился: ученый; изучает цветы и прочие растения, но больше всего на свете любит прогуляться по парку и послушать пение птиц, а еще — клубничное мороженое.

Саша, почувствовав себя удивительно легко и свободно, вдруг выболтала ученому две свои маленькие тайны: она обожает арахисовый шоколад и ананасовое мороженое. Об этом знали только ее мама да слуга — верный старичок Самсон.

Господин с полной серьезностью заметил, что ананасовое имеет, бесспорно, свои достоинства, но с клубничным мороженым ему не тягаться.

Тут они немного поспорили, причем симпатичный знаток флоры и любитель фауны сильно разгорячился и перешел чуть не на крик.

“Уверю вас, моя милая — доказывал он, размахивая руками, словно небольшая мельница, — вы заблуждаетесь; вы, верно, не пробовали настоящего клубничного...”

“Ах, нет, да нет же! — топнула Саша ножкой во гневе (как хороша! о боги, как хороша! Надин же... с ней следует непременно порвать и как можно скорей... романчик и без того затянулся...), — сами вы ананасового никогда и не ели, раз говорите такое.”

“Не ел? Я не ел? Ха-ха-ха! — обидно рассмеялся господин. — Я съел их тысячи. Что тысячи, миллионы — всяких всяческих. И знаю: клубничное — вне конкуренции. Могу доказать — хотите, свезу вас в одно тут местечко, неподалеку, где подают, уверяю, совсем недурное клубничное — тогда увидим, как запоете.”

“Все так же!” — воскликнула девушка запальчиво.

“Посмотрим, посмотрим. Лично я сомневаюсь. Значит, завтра. Часу в седьмом, вас устроит? Я пришлю карету”, — и Понти неожиданно поцеловал ей руку.

Саша руку в смущении выдернула и покраснела. Покраснел отчего-то и граф, несколько секунд пристально разглядывая носки начищенных до зеркального блеска ботинок, а когда поднял голову, краски не осталось и следа на его лице, а глаза лучились спокойным доброжелательством.

“Что до шоколада, здесь правда ваша, арахисовый не имеет равных. Так завтра, в седьмом часу.”

* * *

...В середине прошлого века, точнее, в марте пятьдесят второго, студент-недоучка, отчисленный из Имперского Западного Университета с факультета естественных наук ввиду академических задолженностей, покидает столицу и возвращается в родные пенаты — небольшой приморский городок Нис, где устраивается на службу почтмейстером, а все свободное время отдает изучению философии и экономики, навсегда, видимо, отчаявшись постичь премудрости математики и физики.

Почтмейстер занимался усердно; дело пошло и вскоре Лар Сукрам (именно так звали почтмейстера) сделал остроумное открытие.

От его пронизательного взгляда не ускользнуло: человек непрочь иногда покушать; того кроме — не покушай он вовремя, так, пожалуй, загнет-ся. Еще подметил начинающий философ: важную роль в человеческой жизни играют половые отношения. Так же установил, что одни кушают мало, а норовят побольше, другие, напротив, много — а могли бы поменьше. Аналогичные закономерности удалось выявить в интимной сфере.

Собственно, науке об этом было известно задолго до Сукрама. Новое заключалось в том, что он взял вышеуказанные особенности за основу и опираясь единственно на них, попробовал объяснить все остальные потребности, страсти, поступки, весь ход истории.

Так родилась стройная теория эквализма, суть которой Сукрам изло-

жил в вышедшей в пятьдесят седьмом году книжке. На первых же страницах почтмейстер с треском расправился с Богом (стр.8: "... таким образом, господя, идея бога неприемлема для свободного человека"). Дальше в лес — больше дров. Не пощадил он и души (стр. 22: "Следовательно, бытие, и только оно, определяет сознание.), разоблачил миф о загробной жизни (стр. 51: "... выдумки для неврастеников, сказки для одурачивания пролетариев"), но зато обещал рай на земле (стр. 2096: "Наступит время, господя, когда никаких господ не будет, а будет социальное равенство").

Райская жизнь, по Сукраму, в общих чертах выглядела так: ни богатых, ни бедных, отсутствие всякой собственности; по утрам веселые краснощекие крестьяне и рабочие с песнями выходят из уютных жилищ на поля и фабрики, часа четыре дружно работают, тогда как писатели и поэты в это самое время слагают о них оды и гимны — а потом весь оставшийся день все проводят в удовлетворении разных других потребностей: принимают питательную и вкусную пищу; затем поэты читают оды, прочие — слушают и мотают на ус; а затем, в час вечерний — танцы, хороводы и пляски, ну, и конечно, любовь; истинно свободная, так как другой и не может быть в свободном обществе; детей же вскормит и воспитает государство.

А наступит сладкая жизнь, указывал Сукрам, как только рабочие перестанут валять дурочку, соединятся с крестьянами, и могучим ударом сметут паразитов и богатеев с лица земли.

Однако на Западе эквализм широкого распространения не получил. Там и так жилось неплохо, и большинству рабочих было как-то не с руки затевать бучу ради сомнительных удовольствий: спеть хором за станком и навестить скопом бордель.

Далеко не все полагали, что Свободный Труд на Благо Общества станет для них насущной потребностью. Многие мечтали сколотить капиталец, купить загородный домишко, и о любом труде — исключая рыбную ловлю — навсегда позабыть.

* * *

... Еще не принесли пиво, а писака уже извлек из портфеля потрепанную тетрадку в клеенчатой обложке.

"Вот, — затрещал он, то и дело бросая на меня тревожные и вместе заискивающие взгляды, — нашел вчера на антресолях. Истоки, так сказать. На антресолях вчера нашел. Забавная, очень забавная вещица.", — и сделал паузу, ожидая, несомненно, вопросов: что за вещица? почему и чем забавная? — но, так и не дождавшись, продолжал:

— Да, рылся вчера на антресолях, макулатуру собирал — ну, и наткнулся на тетрадочку эту (— вот и снес бы куда следует, — злобно подумалось мне), заглянул в нее — и многое припомнил. Я, знаете, (— кому же и знать, как не мне!) сочинять-то начал с измальства — лет в девять. И тетрадочка эта — из детства, чудом сохранилась. Детство, мой друг, оно быстро проходит и забывается быстро, а вчера я...

Появившийся с подносом официант прервал его разглагольствования; поставил на стол четыре кувшина с пивом; нехитрую закуску — брынзу и крабьи лапки; принес пепельницу и дружелюбно кивнув — мол, отдыхайте — исчез.

Писака налил кружку, осушил ее залпом и снова затянул свое:

— О чем, бишь, я?.. Совсем в горле пересохло... Пивко, кстати, недурно. Отнюдь недурно, сказал бы я... Так о чем?.. Ах, да! Хочу познакомить вас с кой-какими отрывками, — он раскрыл тетрадь, достал из кармана очки в безобразной оправе и водрузил их на нос.

— Полагаю, они покажутся вам не лишними интереса... Ну, что?.. Готовы?

Я сделал глоток, вздохнул и приготовился слушать.

* * *

ТАЙНА ОДНОГО УБИЙСТВА.

1.

Я вошел в отель. Навстречу мне вышел хозяин. Я представился: “Джордж”. Хозяин сказал: “Очень мило”. Затем он тоже представился: “Майкл”. Потом он повел меня в номер. По дороге я спросил: “Кто здесь живет?” Он ответил: “Здесь живут два человека, один — механик, Джон, а другой (тоже механик) — Эдуард.” Пока он говорил, мы подошли к номеру, Хозяин открыл дверь и вошел. Я вошел за ним. Хозяин поставил вещи на пол и вышел. Я огляделся, комната мне понравилась. Но вдруг на столе я увидел записку:

Джордж! Убью без предупреждения.

2.

Утром я проснулся и направился в холл. Там я встретил Джона и Эдуарда, познакомился с ними и спросил, не писал ли кто-нибудь из них записку. “Какую записку?” — сказал Джон и густо покраснел. Я вынул из кармана записку и показал Джону. Тот снова покраснел и возразил: “Я ничего не писал.”

Я слегка подкрепился, надо сказать, без всякого аппетита, и пошел к себе в номер.

3.

Я сразу же уселся в кресло и стал думать, но так ничего и не надумал, и заснул. Разбудил меня стук в дверь. Я открыл и в коридоре никого не увидел. Зато на полу я обнаружил еще одну записку:

Привет, Сова. Завтра в пять утра. Алик.

Вот в чем дело! Наверное, Сова — это Джон, а записку, наверное, по ошибке подбросили мне.

4.

Но как это понять? “Завтра, в пять” — может, это значит, что меня

должны убрать в это время? А? Если так, то тогда я завтра уеду пораньше. А чтобы Джон по ошибке не убил меня сейчас, надо доставить записку по адресу — подбросить ему в номер.

Я вышел в коридор. Хозяин как раз звал обедать. Когда я проходил мимо номера Джона, то просунул под дверь записку. Потом поел и стал готовиться к отъезду.

5.

Наступило утро. Я взял вещи и вышел из отеля. Хозяин спал, но зато из номера Джона доносился подозрительный шум.

Я завел мотор и заметил, что около моих ног поднялся песок. Я сразу же понял, что кто-то стреляет, и упал. Тот, кто стрелял, решил, наверное, что я убит. Во всяком случае, стрельба прекратилась. Я встал и отряхнулся. Ехать я уже не мог, пуля попала в шину и в стекло. Когда я входил в дверь, то сзади услышал звуки. Я оглянулся — по дороге бежал Джон. Должно быть, он выпрыгнул из окна. Я поднял увесистый бульжник и метнул его в Джона. Бульжник попал ему в ухо. Он потерял сознание и упал в песок. Я обыскал его, но ничего не обнаружил, к сожалению, кроме патронов, их, конечно, я взял себе. После этого я взвалил несчастного Джона себе на плечи. Из уха у него текла кровь. Но я споткнулся и моя ноша грохнулась об крыльцо. Когда я поднял Джона, он был уже мертв (потому что когда он упал, то ударился виском, и висок переломился).

6.

Я поручил хозяину закопать труп Джона, а сам отправился к Джону в номер и начал вести обыск. Сначала я нашел какой-то дневник. На обложке было написано: “Дневник.” Первые страницы я читал без интереса. Но вот мое внимание привлекла запись от вчерашнего числа: “завтра утром покончу с Джорджем”. А ниже: “Мои парни сообщили — Джордж упаковывает вещи и сматывает удочки. Нужно спешить.”

Больше Джон ничего написать не успел.

Еще я нашел шкатулку и отнес к себе — было похоже, что она — с двойным дном.

7.

У себя в номере я взял плоскогубцы и вытащил гвозди из шкатулки. Она развалилась и из боковых стенок выпала увесистая пачка денег. Примерно сто рублей. Я подобрал пачку и засунул ее в карман. После этого я положил рядом заряженный автомат, повалился на койку и заснул.

8.

Я проснулся от шума в коридоре. Я быстро оделся, взял автомат со стола и распахнул дверь. Грянул выстрел и клочок моих волос упал на пол. Я выстрелил в ответ. Кто-то со стуком рухнул к моим ногам. Я его так изрешетил, что нельзя было разобрать: где рот, где нос, где прочее — и вообще, кто он такой. Я взял его еще дымящийся пистолет и патроны. Затем открыл окно и выбросил в него труп. Спать мне больше не хотелось

и я пошел чинить машину.

9.

Машину я починил как раз к ужину, вымыл руки и сел за стол. Сытно поел, попрощался со всеми, сел в машину и поехал навстречу новым приключениям.

* * *

— Я спрашиваю: с кем пил, скотина!! Ну! Живей! С кем пил!!

(— Не понимаю, к чему глотку драть... думает, обер-майор, значит, все можно?)

— Хе-хе! А славное стечение обстоятельств: кругом ни души. Самое времечко пособить Президенту в борьбе за трезвость.)

— С Бодей, господин обер-майор.

(— И пошел, пошел скулить! Полицейских ненавижу, а себя ненавижу во сто крат сильнее: рабская душонка.)

— Какое ничтожество... Противно и руки марать...)

— С Бодей? Кто таков?

— Не могу знать, господин обер-майор. Так назвался.

— Вот как? Не можешь знать?

(— Черт возьми! Аж искры из глаз. Какое право имеет он распускать руки!

— Пора кончать. Ну и слизняк, все они такие...)

— А ты повспоминай... может, и припомнишь чего...)

(— В челюсть! Черт... В печень! его... Под вздох! подери... В челюсть! какое право... В печень! имеет он... под вздох! распускать ру...)

* * *

Уроки Саше делать не хотелось. Она сидела за столом, грызла карандаш и поглядывала на большие настенные часы. Тихо было в комнате, только маятник считал монотонно: кланг-клинг-кланг; клинг-кланг-клинг... вниз-вверх-вниз... вверх-вниз-вверх...

Пробило шесть и минутная стрелка неумолимо принялась вычитывать минуты из следующего часа.

— Так и знала, надует... Еще ученый...

Отворилась, не скрипнув (сидели в доме за порядком — на петли и пружины масла не жалели), дверь и в комнату неслышно вошел слуга Самсон. Вошел и замер. Не шевелилась и Саша — задумавшись. Все будто бы застыло, как на фотографическом снимке. Но нет, маятник-то! считал монотонно: клинг-кланг-клинг... вверх-вниз-вверх... не останавливалось время.

А Самсон глядел устало (все-таки, сильно клонило в сон — ночь прошла в хлопотах) в спину девочке; глядел и, с трудом удерживая зевоту, думал: Что Понти? Не Понти, так другой. Не другой, так третий... Пойдет по рукам, как оно всегда и бывает... с хорошенькими... А после? Тоже не

секрет — алкоголь, венерическая лечебница и полное разрушение личности. Или головок спичечных нажрется — и привет. Только не дойдет до всего этого; уж мы с госпожой Надин позаботимся... сбережем, хе-хе, для Бога и Отечества; девчонка вырастет — сама спасибо скажет; и всего-то делов, что пустяшный намек, и все устроено.

И он, не в силах одновременно справиться с зевотой и распирающим его смехом, издал неприятный отрывистый звук.

Саша, вздрогнув, обернулась, но, увидев слугу, тотчас успокоилась.

— Это ты, Самсончик... Напугал...

Самсончик не успел ничего ответить — в прихожей громко зазвонил звонок.

— Наконец-то, — воскликнула девочка, — Самсоша! Одеваться!

— Воля ваша, барышня, — ворчал слуга (то именно, что и полагалось ворчать престарелому слуге, радеющему о благополучии хозяйской дочери), подавая пальто, — ваша воля, а не ходили бы вы только... Знаем мы этих ученых господ... — и заключил всю фразу, негодным, основательным зевком.

А Саша, стуча каблучками по паркету, умчалась к входной двери.

На пороге, однако, ее ожидал никакой вовсе не граф.

Высокая, красивая и богато одетая женщина смерила Сашу ненавидящим взглядом, и негромко — от ненависти дрожал ее голос — сказала:

— Вот ты какая... Хороша... Морис — не промах малый...

— и, не выдержав, сорвавшись на визг:

— Дрянь! Дрянь! Мерзавка!

— выхватила одним стремительным движением из ридикюля небольшую склянку и выплеснула содержимое девочке в лицо.

... И Саша, не понимая, что происходит — куда вдруг пропало все окружающее, сжавшись в гущее люто красное пятно — закричала от невыносимой боли.

* * *

... Коллеги-философы отнеслись к эквализму с откровенным презрением и насмешкой. Потешалась тоже и пресса. Вот, впрочем, некоторые выдержки:

“... эта теория, рассчитанная на свинью или обезьяну, в действительности непригодная даже им. “(В. Клибер “В мире животных “, 63 г.)

“... труд сделал из обезьяны человека? — какая чепуха! И если уж человек произошел от обезьяны, то только потому, что ей чертовски не хотелось работать. “(там же)

“Зачем Сукрам переводит столько бумаги на то, что легко уместилось бы на одной странице? Чтобы запутать малоумных? Чтобы придать своему детищу веса? Да изведи он все леса Империи, дальше и глубже мысли о том, что все люди — животные, ему не уехать. “(там же)

“Господин Сукрам не понимает, на что замашивается. Ведь именно вся-

кого рода неравенства всегда заставляли человека творить, бороться, думать, страдать, любить и ненавидеть, то-есть, быть человеком. Именно неравенство лежит в основе бытия и наполняет его смыслом. “(К. Каркарум. “Еще раз о эквализме. “, 62 г.)

“Всеобщее равенство? Свобода? Не правильнее ли будет сказать: рабство, духовная смерть? “(В. Гарт. “Болото “, 65 г.)

“Что же предлагает Лар Сукрам людям взамен Господа Бога? Полную свободу совокуплений? Придуманно неплохо, для почтмейстера. “(рецензия в газете “Запад “, подписанная “Ф.Ф.”)

Такого рода отклики, непопулярность в массах — ввергли Сукрама в уныние. Утешал он себя выдумками о том, что травят его по указке самого Императора; и травят бездари, завидующие его гению. (“... завидуют, продажные сволочи, — писал с горечью Сукрам своему издателю в июне шестьдесят девятого, — завидуют, гады, бешено, оттого и клеветуют. “) Все чаще стал прибегать он к поддержке алкоголя, до которого, впрочем, всегда был охоч.

* * *

...Некоторое время помолчали.

— Так когда, говорите, вы это сочинили? — вяло полюбопытствовал я.

— Лет в восемь, девять, — с готовностью отозвался писака.

— Что же... Как документ, оно, пожалуй... Непонятно только, откуда у вас, Советского Мальчика, взялись все эти Джоны и Джорджы...

— А что вы хотите! Много книжек почитывал приключенческих. Вот и получалось, что у Смитов и Майков — самая развеселая жизнь. Даже отечественные авторы заселяли ими свои произведения. Только в империалистической загнивающей среде могли твориться разные увлекательные злодейства, о которых так интересно читать...

— Допустим, доля истины в ваших рассуждениях имеется...

— Немалая! Несколько лет, помню, тогда промучился с “Туманностью Андромеды “, доверившись предисловию — мол, книга — что надо. Каждый месяц начинал ее читать, но дальше десяти страниц прорваться не удавалось. Вот Шекли, Гаррисон, Саймак — этих глотал моментально.

— Не те у вас начала, позволю заметить, не те...

— Ну, насчет начал, корней, так сказать...

— Да-да! Детективы! Дешевая фантастика! Западная! Пантеров, небось, ерунды такой в детстве не читал.

— Пантеров-то? Он в детстве читал, скорее всего, один букварь...но Бог с ним. Так вот, насчет корней-то...

* * *

— Tu l’as voulu, George Dandin,— сказал карлик. Впервые увидел я улыбку на его лице. И улыбаясь, он выглядел много противней, чем когда плакал.

— Будь так добр: объясни, чтостряслось?

— С превеликим удовольствием. Стряслось вот что: минут десять назад один веселый старикан, переодетый обер-майором, взял и шулки ради обычным лобзиком распилил ваше тело на части, припрятав их (вот где пуанта) в колодце, тут неподалеку. Так что здешних жителей, привыкших умываться свежей колодезной водицей, ожидает сюрпризец. Да! Престранное хобби у дедушки — недаром известен он как расчленитель, а ведь это — лишь одна грань многогранной его натуры. Впрочем, речь сейчас не о нем, а о вас. За что боролись, на то и напоролись. Жили, как животное — ну, и сподобились участи какой-нибудь говяжьей туши.

— Ладно, ладно... Но куда же мы теперь?

— Куда? Кое-куда, где вас поджидают давненько. Да что говорить — сами все увидите и узнаете, очень скоро.

— Так... Еще скажи — кто ты? Сначала я думал...

— Знаю, знаю — alter ego. Ха-ха! На это и был весь расчет. Однако, поражала и поражает меня ваша... э... недостаточная проницательность... Хвастать не стану: я — не “часть той силы...” и так далее, ведь помните? Но часть этой части. Малая, не спорю, но часть. Меня, собственно, послали за тем, чтобы лишить вас слуха и зрения. Человек-то вы были скверный, так себе человечешко, но в последнее время уж слишком что-то мучились... Мера Его никому не известна (карлик понизил голос и пугливо заозирался по сторонам), иногда из наших рук уходили самые, казалось, надежные и достойные...

— И тебя... тебя я считал... какой кретин! какая дубина!

— Ну-ну. Чего уж... теперь раскаиваться поздно.

(На полях в этом месте писака пометил: “О. плебейское косноязычие, рабская немота — проклятье холуйского рода! Мне больно, обидно и стыдно. Чем серьезнее мысль, тем карикатурней выходит она на бумаге. “Аналогичные реплики во множестве разбросаны по страницам рукописи, и далее, естественно, мы будем опускать все эти “Ужасно!”, “Скверно!”, “Хуже и некуда!”, “Дрянь дело!”, восклицательные и вопросительные знаки, “NB”, а также весьма редко, но встречающиеся “Недурно”, “Почти хорошо” и т.д. Еще только одно рассуждение, обнаруженное нами также на полях, и двинемся дальше. “Единственный шанс — писать правду, но никакая правда не компенсирует отсутствие таланта: да и что это значит, писать правду? Можно ведь по-разному. К примеру, кругом вешают и распинают на дыбе... да и зачем так круто? пусть, скажем, если и вешают, то слегка, но отнюдь не распинают, а я сижу себе и пишу: у меня в квартире — стол. Он — квадратный, обычно застелен клеенкой в серую клетку — пишу, заметьте, чистую правду. Это один пример. А вот, пожалуйста, другой... “(Этот пример по цензурным соображениям, ввиду его нарочитого натурализма, мы здесь опустим.)”

... Карета графа подкатила к половине седьмого. Понти, откинувшись на спинку сидения, курил неизменную сигару, внешне сохраняя абсолютно невозмутимый вид. Между тем, ночью он не спал, терзаясь похотью. Похоть продолжала терзать его и сейчас — мысленно он обладал гимназисткой уже неизвестно каким по счету способом и в который раз, и ему не терпелось сказку сделать былью.

... Появившийся лакей не сразу привлек внимание графа; раз пять лакею пришлось учтиво покашлять.

— Ну, что? — встрепенулся Понти, наконец его заметив.

— Не велено принимать, Ваше Светлость... беда приключилась с хозяйской дочкой...

— Беда? Вздор, братец. Ты несешь вздор. Какая там еще беда? — отрывисто произнес граф.

— Беды бывают разные, — отвечал другой лакей, выросший из-за спины первого, — ступай в дом, Петр. Я все объясню Его Светлости.

Граф машинально окинул говорившего взглядом — невзрачный плешистый старичок — и что-то заставило Понти посмотреть внимательнее. Этот старик... нет, ерунда... быть не может... чушь!

А в памяти замелькали картинки — далекого, страшного дня.

Десять лет назад... паршивый городишко в огромной дикой стране... грязное казино... резкая неприятная музыка из зала... гудят голоса немногочисленных в ранний час посетителей... в туалете блюет кто-то, выворачиваясь наизнанку... веселые язычки пламени на портьере... Швейцар по кличке Мурло идет к выходу, сжимая ключ в руке...

Мурло!!!

— Не признали, Ваше Сиятельство? — прогнусил Мурло развязно, и с необыкновенным, но в книгах отчего-то постоянно поминаемым, проворством вскочил в кабину и примостился на сидение рядом с графом, — вот и встрелились... слава Господу...

— Велите кучеру трогать, — властно приказал он, и Морис Понти, совершенно парализованный, беспрекословно подчинился.

Гикнул кучер, на запятки вскочил форейтор, и понеслись. Мурло задернул занавеску.

И не молчал ни секунды; сыпал и сыпал словами:

— А должок? Должок, Ваше Сиятельство, ведь так и остался за вами... Причитается с вас, на чаишко-то. Ладно, Бог простит. Ума не приложу — как это вы тогда смылись? Через сортир, что-ли? По трубам просочились? Но не важно... Эх, граф! (Мурло фамильярно похлопал его по плечу; Понти не шелухнулся.) Графинчик вы мой! До чего опустили... Картишки, винишко... девочку хотели совратить... ребенка! Плохо, очень плохо... ну-дов-ле-тво-ри-тель-но! Поди, и в Господа не веруете? А то мне сдается, небольшая молитва пришлась бы кстати, я бы обождал. Так как? Ну, дело

ваше.

Занавески почти не пропускали света и невозможно было уследить за мгновенным перемещением стального жала, вонзившегося графу Морису Понти в самое сердце.

Не издав ни звука, он медленно начал сползать на пол...

— Зубки, — шепнул старик, одной рукой придерживая покойника за талию, а другой-извлекая из кармана миниатюрные плоскогубцы, — зубки вам теперь ни к чему, Ваше Померкшее Сиятельство; а мы золотишко это расплавим и в оборот пустим...

* * *

... Под конец судьба над ним сжалилась. В восьмидесятых годах, усилиями неутомимого Дурчегнуба, семена эквализма попали в плодородную почву Восточной Империи и дали отменные всходы. Учение охватывало все новые уголки Державы, подобно пожару в прериях.

Дурчегнуб самолично навестил угасающего на склоне лет одинокого экс-почтмейстера, выразил уверенность в неизбежности победы эквализма — не только на Востоке, но и на Западе, просил советов, лебезил всячески, называл Сукрама Великим Учителем — очень, очень уважил старика — тот даже возобновил ежедневное бритье, пить стал поменьше и начал подумывать о новой книге.

А вскоре и на Западе произошли перемены — образовалась целая партия эквалистов, почетным председателем которой, разумеется, стал Сукрам. Каждые три года эквалисты выдвигали его кандидатуру в парламент, и как-то раз едва не собрали голосов больше, чем знаменитый опоссум Даша — группа остряков, пользуясь тем, что нигде в Конституции не оговаривалась принадлежность избираемого к Homo Sapiens, регулярно включала зверушку в борьбу за министерский портфель. Опоссум этот издох незадолго до очередных выборов девяносто седьмого — злые языки поговаривали, оттого будто, что люди Сукрама подсунули ему отравленных конфет.

Но и сам Сукрам не дотянул до компании, скончавшись в том же году, в апреле.

Последовавшую спустя четыре года Великую Восточную Революцию он предсказывал, но не через такой короткий срок. И вряд ли, при всем своем огромном самомнении, мог предсказать все же, какое будущее ждет его имя. В честь Сукрама в Восточной Республике назывались и называются — города, улицы, площади, институты, музеи и фабрики, театры и заводы. Именем его кормится многотысячная армия паразитов: бездарные художники малюют портреты и лепят скульптуры Великого, писатели со словарным запасом в сотню-другую слов, списывают друг у дружки книжки о Великом, историки, не бельмеса в истории не смыслящие, выискивают какие-то неопубликованные его сочинения, а им подобные философы берут на себя труд их комментировать...

А честные работяги в поте лица своего зарабатывают на хлеб, обходящийся им немногим дешевле, чем обходился до Революции, водки пьют не меньше, чем тогда — но ничего этого не знают и знать не хотят. Твердо знают они одно: Сукрам и Дурчегнуб дали им все. Жизнью они обязаны Сукраму и Дурчегнубу.

* * *

... Рос я с матерью — она развелась, когда мне было около года. С тех пор я сделался ее жизнью — и она баловала меня, потакала всячески, берегла от внешнего мира — что потом, естественно, мне же и вышло боком — да здравствует мудрый Макаренко! — к окружающей жизни я так приспособиться и не сумел.

Больше всего, как я говорил, мне нравилось читать книги, я вообще читать научился в пять лет, прекрасно помню и первую книжку — “Собака Баскервилей“, в желтенькой корке, Библиотека Приключений; лет в одиннадцать добрался до писателей посерьезней: Тургенев, Чехов... Шекспир. Над Ромео и Юлией рыдал; впрочем, и над Сетоном-Томпсоном тоже... Мало я что понимал, но отпечаток какой-то остался...

В школу же ходить ненавидел, коллективная жизнь сразу пришлась не по вкусу — скучно; только и жди разных гадостей — сплошное над собой насилие. Специально пил холодную воду, чтобы заболеть и никуда не ходить, сидеть дома с книжкой.

И открывалась мне отраженная жизнь, пусть из хороших — но все-таки книг. И столько их прочел, что когда подрос — сам себе стал казаться ужасно мудрым, прожившим лет тысячу. Но скоро понял, что все это — липа, пока шкурой не почувствуешь, лучше не берись судить...

Да... нагадили они мне сильно, книги... здорово нагадили... (— Будьте любезны, повторите, пожалуйста — обратился писака к проходившему мимо официанту.) Непонятно было, что хорошо, что плохо; ибо получалось, что все можно вертеть и так и эдак...Ну, ладно... привык я, короче, с детства много думать о своих мыслях и чувствах, и незаметно расположился в самом центре Вселенной. Привык доверять не кому-то, а книгам.

Ничего такого не случилось бы, найдись на меня свой Макаренко. Система Макаренко на будущих писателей не рассчитана, разве что на таких, как сам Выдающийся Педагог.

* * *

... И видел ясно, чувствовал, з н а л :

Вот — ало полыхнула занавеска.

Вот — по полу пополз едкий дым...

Но никто... никто!.. еще ничего не понял...

Мелкими глоточками допивал Мурло кефир и думал так:

— Смерть. Все помрете. Никому не уйти. Никому. А я останусь. Смерть. Смерть. Смерть.

Глава вторая

Мурло аккуратно свинтил колпачок, выдавил на кисточку немного клея из тюбика; провел ею по краям конверта и тщательно пригладил.

В доме давно уже все спали. Лишь в каморке старого слуги тускло светилось окно. А за окном, на улице...

... черные голые деревья тянули кривые свои руки к мертвенно-бледной луне, отражавшейся в больших, грязных и вонючих лужах...

Мурло послунывил кончик химического карандаша с надписью “Pencil-color НВ” на ребре и кривыми, разбегающимися буквами вывел на конверте: “Господину Президенту. Лично.”

Потом он наклеил две марки; чуть подумав, наклеил еще одну — для верности.

Часы где-то в глубине дома, в сплетении коридоров и комнат, прокашляли хрипло три раза.

* * *

Если бы вы, любезный читатель, собрались заглянуть на часок в пивную “Три кабана” — пропустить кружку-другую — и выбрали бы для этой цели среду — то вас неминуемо ждало бы разочарование. По средам в “Трех кабанах” появлялась табличка на дверях: “Заведение закрыто. Санитарный день.”

Допустим, что вы все-таки приперлись сюда именно в среду, и стоите сейчас у входа, злобно сверля глазами ненавистную вывеску и прикидывая, куда бы направиться дальше.

Не торопитесь!

Оденем шапки-невидимки и постоим еще немного.

А теперь смотрите в оба, и тогда вы непременно увидите:

— как к черному ходу время от времени подходят — преимущественно по одиночке, реже — парами — какие-то таинственные личности, беспокойно глядят по сторонам и стучатся, лишь убедившись, что поблизости никого нет...

... вот, вот! еще один крадется, озираясь... обратите внимание, ну и морда у этого юнца, до чего противная: вся в угрях... а волосы! он стриг их и мыл последний раз, должно быть, года два назад.

Ага, постучался, открыли...

Давайте-ка и мы последуем за ним — в шапках-невидимках нам некого опасаться.

* * *

... В один прекрасный весенний день, совершая предобеденный моцион, прогуливался по парку некий господин; вида, следует отметить, самого respectableного.

Черная фракная пара, черный цилиндр и черные же туфли, остроносые и на мощных каблуках; массивная трость из красного дерева с затейливой резьбой и набалдашником из слоновой кости. В петлице — зеленая гвоздика.

Сверкая на солнце золотыми зубами, изредка затягиваясь дорогой гаванской сигарой и после каждой затяжки сплевывая себе под ноги, господин, щурясь, поглядывал в небо — если я скажу: “прозрачное как хрусталь”, — вы, скорее всего, не поверите, а пожалуй что и надсмеетесь. Ну и смейтесь себе на здоровье, все равно, небо от вашего смеха менее прозрачным не делается...

* * *

... и кто только не ударялся в воспоминания! Сначала — соратники-сподвижники, братья и сестры, старушка-мама, жена; позже — прочие родственники по духу и крови, расплодившиеся после кончины Вождя в невероятных количествах.

Одной из самых излюбленных мемуаристами тем стали детские годы Дурчегнуба.

Все сходились на том, что Фыха был необыкновенно честным ребенком, хотя и большим проказником. Сломает ли ветку в саду, кокнет ли вазу — сейчас бежит к матери виниться.

Двадцать три года назад лорд Ричард, в то время ректор Имперского Университета, произвел подсчет, опираясь исключительно на эти исторические источники, и оказалось, что юный Дурчегнуб истребил в сумме столько деревьев, что их с лихвой хватило бы не на один фруктовый сад, а посуды перебил такую уйму, что на ней только неминуемо должен был разорить свою не слишком обеспеченную семью.

Вообще, ввали много, глупо и безвкусно. Так, сестра Дурчегнуба в своих “Записках революционерки” утверждает, что прежде всего Фыха научился говорить “народ”, а потом уже “мама”.

Но иногда попадались вещи, похожие на правду.

Вот, например, несколько фрагментов, взятых из воспоминаний матери нашего героя:

— Фыха был баловник, но его хорошей стороной была правдивость — нашалит и всегда признается. Помню, в возрасте пяти лет он сломал раз у старшей сестры линейку, которую она только перед тем получила в подарок. Он сам прибежал со сломанной линейкой сказать ей об этом, а когда она спросила, как это случилось, сказал: “об коленку сломал”, приподнял ногу и показал, как это произошло;

— ... игрушками он мало играл, больше ломая их. Раз, в день его рождения, он, получив в подарок от няни запряженную в сани тройку лошадей из папье-маше, куда-то подозрительно скрылся с новой игрушкой. Нескоро нашли его в чулане: он стоял тихо и сосредоточенно крутил ноги лошади, пока они не отвалились одна за одной;

— меньшей братишка Моня в возрасте трех-пяти лет был очень жалостлив и не мог без слез допеть “Козлика”. Его старались приучить, уговаривали. Но только он наберется мужества и старается пропеть, не моргнув глазом, все грустные места, как Фыха поворачивается к нему, и с особым ударением, делая страшное лицо, поет: “Напа-али на ко-озлика серые волки...” “Моня крепится изо всех сил. Но шалун не унимается и с еще более трагическим видом, испытывая брата, поет: “Оста-авили ба-абушке рожки да но-ожки...” “, пока малыш, не выдержав, не зальется в три ручья.

* * *

... чем больше я живу на этом свете и чем больше совершаю гадостей, чем больше обрастаю грязью и чем чаще иду вразрез с совестью, чем постылей представляется мне существование — тем отраднее вспоминается детство.

А ведь и в детстве приходилось несладко, бед хватало. Лет в шесть я собирал марки и у меня сперли китайский альбомчик — сотни Мао-цзе-Дунов всех цветов радуги; пустяк! — думаешь сейчас и невозможно удержаться от сладенькой улыбочки: эх, малыш, мне бы твои заботы... а тогда горевал, наверняка, так же безутешно, как и в отрочестве, когда “девушка в белой накидке сказала мне ласково — нет “. Ведь эти марки для ребенка значат не меньше, чем первое свидание для паренька или же лишний рубль для человека зрелого. Не нравится лишний рубль? Хорошо, пускай сборник рассказов Кафки.

Воображать детство эдакой безоблачной порой и игрищ и забав — означает обманывать себя. Ведь мы ничего не помним, так, отдельные картинки... а чувства, мысли?

Но все же...

... Солнце льется в растворенное окно. Назойливый лучик лезет в глаза и мальчик просыпается. Он знает: впереди его ждет длинный-предлинный, светлый день.

И этот день пролетает мгновенно, уж вечер, но мальчик не унывает: совсем скоро настанет день завтрашний. Скорее бы!

Было же так! Не могло не быть!

И куда все делось? Тучи незаметно затянули солнце, и наступающий день давно вызывает лишь страх и тоску...

* * *

... Прыщавый бросил швейцару краткое: “уплочено “, — и беспрепятственно скользнул мимо.

... Слабо мерцала под потолком неоновая трубка, в свете которой все приобретало отвратный трупный цвет.

Стены украшала историческая мозаика “Взятие Дворца” : грязноватые, но с одухотворенными лицами, массы, вооруженные кто чем — винтовки, колья, кухонные ножи и даже паяльники и рубанки! — рвутся вершить

возмездие; впереди, к толпе вполоборота, с гранатой в левой руке и с маузером в правой — Бесстрашный и Бессмертный, с лицом вдохновеннейшим — по которому, правда, вдоль щеки и влезая на волево подбородак, тянулось неприличное слово из пяти букв (не менее, если не более, бессмертное, чем сам Дурчегнуб и все революции на свете), нацарапанное, не иначе, в припадке белой горячки каким-нибудь алкоголиком. В одном из окошек Императорского Дворца маячила удивительно поганая рожа, вся от ужаса и злобы перекошенная и в короне — очевидно, по замыслу художника, то был Дундук, Восьмой и, стало быть, последний, собственной персоной. Рядом чья-то рука красным фломастером вывела жирно: Ищу женщину. Ленуар.

Несколько поколений пьющих испохабили произведение искусства, выплеснув на его поверхность свои нетрезвые откровения и жалкие потуги оставить свой след в мире. На дворцовом флюгере, на спинах, плечах и грудях штурмующих — ну, всюду! — приглядевшись, можно было разобрать:

— Люблю Свету.

— Пил и пить буду. Феофилакт.

— Террариум (название популярного в народе ансамбля).

— Нюрка — блядь.

— Сюрприз (еще один популярный в народе ансамбль).

— Сидор — гомик.

— Петя был здесь.

— Мудаки вы все. Тезиус.

— Даешь Барановича!!! (солист популярного в народе ансамбля “Террариум”)

— И так далее, и тому подобное — попадались и стихи:

— Поезд мчится, юность мчится, Только разница одна:

Поезд может возвратиться,

А вот юность никогда...

... Пиво здесь пили за деревянными, от грязи и от старости почерневшими столами...

* * *

... Смерть, и смерть ужасная, караулит его в завтрашнем дне; оттого надменная, самоуверенная физиономия господина этого раздражает особенно — самоуверенная и надменная настолько, что кажется — перед прогулкой распорядился он, как в ресторане: эй! вы, там! я тут собираюсь поразмять слегка косточки, так потрудитесь, устройте солнышко, небо и чтобы почки на деревьях распукались... ну, сами знаете, что там еще... (а ему — слушаем-с, не извольте беспокоиться, обслужим по первому разряду) — и теперь проверяет, все ли исполнено... находя: нет, не все — солнышко могло бы светить и поярче.

Книги — не жизнь, все поменять можно в книгах, и исправить, и заново

начать...

Стоит только захотеть — и граф Понти вообще останется в небытии.

Стоит захотеть только — и он сгорит живьем в казино вместе со всеми.

Только стоит захотеть — и ему не вырваться за пределы первой главы.

Только захотеть стоит — и смерть отступится от него.

Захотеть стоит только — и он начнет появляться на каждой странице, растлевая несовершеннолетних и проигрывая в карты имения и состояния.

Захотеть только стоит — и...

* * *

... Пыталось ли государство противодействовать как-либо Дурчегнубу, проникшему пламенными призывами “разрушить старый мир” “самых отдаленных уголков Империи?

Обратимся к книге “Старый таз”, принадлежащей перу господина Ливера, бывшего Советника по Внутренней Безопасности Восточной Империи, написанной после революции в эмиграции (экая музыкальная тарбарщина!).

“... Крайне обеспокоенный, я добился аудиенции, дабы лично ознакомить Владыку с происходящим. Дундук Восьмой принял меня в постели. Как обычно, ложе делила с ним одна из фавориток. Он предложил мне рюмку коньяка (не в моих правилах пить по утрам — но отказаться я не посмел) и провозгласил тост — за здоровье прекрасной, кажется, Аглаи. В столь ранний час Дундук был уже пьян вдребезги — и все же я решил говорить с ним, хотя и отдавал себе отчет, что стараюсь напрасно и едва ли что-нибудь возможно изменить. “Ваше Императорское Величество, — начал я, — Дурчегнуб стал весьма опасен, необходимо взять самые решительные...” — но он, разразившись хохотом, перебил: “Как? Дур-че-гныб? Ну и наградил господь имечком! Дур-че-гныб! Ха-ха-ха! Охо-хо! Дур-че... Не могу! Ливер, брат, уморил ты меня совсем...” — и хохотал неистово и долго: хохотал до слез, до икоты, так, что стекла в окнах зазвенели; и сучка вторила визгливо и тонко, невыразимо противно: хи-хи-хи-хи...”

(Через три года, стоя у стенки и глядя в зрачки направленных на него винтовок; услышав в последние секунды жизни, как затрещало ребро, когда штык вонзился косо в грудь его десятилетнего сына; услышав еще, как сын вскрикнул жалобно, и как убийца проговорил хрипло, вытерев штык о штаны: “жалко пулю стратить на гаденьша” — о! тогда-то Дундук, я думаю, вспомнил это свое безудержное веселье.)

“Но, Ваше Величество, — попробовал продолжить я, когда они немного поутихли, — он погубит Империю; он уже губит ее... “Новый взрыв смеха был мне ответом, и сквозь смех Дундук с трудом из себя выдавливал: “Что? Он? По-гу?.. Дур... Погубит? Он? погуби... гыгыгыгыгы!! “, — и его сучка верезжала тоже всю, как зарезанная; пришлось и мне

улыбнуться, испустить несколько хеков — того требовал этикет.

Наконец успокоившись и вытерев простыней выступившие слезы, Император опять наполнил рюмки, большую часть содержимого бутылки вылив на ковер, и с трудом ворочая языком, произнес: “Ты, Ливер, его излови обязательно, излови и выпори хорошенько... знаешь, штаны сними и всыпь горячих... но раньше приведи ты его сюда, под наши светлые очи, нам любопытно будет взглянуть на его харю, и если она подстать фамилии... Х-хы, воображаю.. ладно, хрен с ним, довольно об этом. Давай лучше выпьем... за... есть у моей девочки одна штучка (Дундук, задрал одеяло, ткнул пальцем в то место, которое имел ввиду), вот за нее, за штучку энту, хочу выпить...”

В душу мою вошло спокойствие отчаянья; чокнувшись с Императором и потаскухой, я выпил и подумал: Все кончено. Погибла Держава...”

* * *

... Слушать его было все-таки интересно — он умел, особенно в подпитии, рассказывать. И слушая, поражался я — почему же на бумаге выходит у него вымученно, скучно и безжизненно тяжело?

А наш сочинитель, миновав раннее детство, перешел к воспоминаниям, относящимся к школе.

— ... нельзя не упомянуть и о Степане. Именно он, мы учились тогда в девятом классе, привел меня в это самое заведение и научил пить пиво. Кружка в те времена стоила двадцать копеек — это в сидячем-то баре! — и на три рубля посидеть можно было славно чуть ли ни вдвоем — учтите наш возраст: пары литров хватало вот так! Он же и преподавал азы преферанса — правила, специфические присказки: марьяж — и в Африке марьяж; знал бы прикуп — жил бы в Сочи; хода нет — ходи с бубей и т. д. Но пиво и преферанс — ерунда в сравнении с самим Степаном, фигурой колоритнейшей. После школы жизнь нас раскидала быстро, он сразу женился и пропал — однако сотни раз приходил на помощь, сам того не ведая. Нужно ли было расположить к себе компанию случайных собутыльников или развеселить девчонку — я начинал повесть о Степане и сразу достигал цели.

Степан, милый Степан! Где-то теперь ты? В каких краях носит тебя Судьба? Ты, первый из нас променявший друзей и свободу выпить на семейный очаг, и не ведаешь: искажен и оболган, высмеян, твой двойник живет припеваючи в пивных, гостиных, поездах дальнего и ближнего следования, а может, пробрался и куда-нибудь в Америку.

Не понимаете? Но все просто.

Вот сидит рядом с вами симпатичная девушка — вы купили вина и позвали ее к себе домой. Как там сказал поэт: “Что верно, то верно! Нельзя же силком девчонку тащить на кровать! Ей надо сначала стихи почитать, потом угостить вином...” “И вот бутылка пуста наполовину, но со стихами внезапно вышел сбой, не клеится задушевный разговор... беседовать вро-

де бы уже не о чем — обсудили и погоду и последнюю статью в “Новом Мире”, взбудоражившую умы... мучительные паузы... сейчас оборвется струнка, девушка встанет, попрощается и уйдет.

В этот критический момент вы откидываетесь на спинку дивана — и вызываете дух Степана.

— Кстати, — роняете вы непринужденно (с опытом придет надлежащая светскость; и каждое слово, отшлифованное и выверенное многократными повторениями, засверкает прямо алмазным блеском), — кстати, учился я когда-то вместе с одним... Степаном звали.

И понеслось!

— ... знаменит он был амурными делишками, слухи о которых сам и распускал. Мало кто верил ему, правда — но это сначала. Степан не сдавался, едва не каждый день извещая о новой победе — и постепенно своего добился, посеял сомнения — в классе решили: нет дыма без огня.

Вижу, как сейчас: окружен приятелями, высокий, черноволосый, полный и не по годам солидный армянин (не шестнадцать, а все двадцать можно было ему дать с легкостью — потому однокашники часто, с немного иронической почтительностью называли его по имени-отчеству: Степан Иванович), — с блестящими черными глазами и густыми, как у Брежнева, сросшимися бровями, одетый в синий джинсовый костюм — попыхивает он тридцатикопеечной “Явой” (из советских сигарет курил только этой марки, как всякий солидный человек, закупая блоками; прежде, чем употреблять, высушивал на батарее) — и неспеша рассказывает:

— о непостижной архитекторше Альбинской, пришедшей к нему в дождь и в ночь, в одном плаще на голое тело (“выпили коньяку и я разделся тоже; танцевали нагие под песенку Wings “Up and down “, но у меня был только “Up” “);

— о его приятеле по кличке Маляр и маляровской подружке, которую тот как-то раз привел неосторожно к Степану Ивановичу, рассчитывая использовать в своих низменных целях отсутствие родителей Степана Ивановича, отбывших на дачу. (“Девчонка приглянулась мне и я решил, что Маляру она не достанется. Вот тут-то, мужики, и завязался поединок между длинным . . . и интеллектом. И интеллект победил.”)

— Позвольте... не слишком ли грубо? Говорить так в мужской компании, дело одно... но с дамой?.. — осведомился я.

— Ничего не грубо, — решительно отрезал писака, — поверьте мне. Эта история прекрасно идет под шампанское, достаточно только нецензурное слово обозначить паузой, а иногда и этого не требуется. Когда-то, впрочем, и я считал: выбирать подобные темы бестактно при общении с женщиной, но потом убедился — они-то именно и занимают слабый пол сильнее прочего.

... Человек тридцать, в том числе и несколько женщин, сдвинув столы буквой “П”, преспокойно попивали себе пиво и было ясно, что санитарный день им нипочем.

Они собирались каждую среду, платили владельцу некоторую сумму — разумеется, в накладе он не оставался — и сидели долго, до позднего вечера, никого из посторонних требуя не пропускать — тогда-то хозяин и вывешивал на дверях известную нам уже табличку. Допоздна сидели они, предаваясь каким-то странным разговорам, при этом беспощадно истребляя пиво, а так же и водку, которую они в изрядных количествах приносили с собой.

Появление угреватого юноши не прошло незамеченным (в отличии от появления нашего с вами, читатель!). Со всех сторон посыпались саркастические приветствия:

— А, вот и Трюндель! Однако, он не торопится!

— Явились, молодой человек, явились — не запылились!

— Уж и не ждали! Осчастливил, спасибо!

— А что, — отвечал всем сразу Трюндель, усевшись и с нарочитой развязностью закинув ногу на ногу, пытаясь этим прикрыть охватившее его смущение, — а что такое? Толстяка ведь нету еще?

— Ты, сосунок, на Толстяка не смотри, — обрушился на Трюнделя сухощавый седой старик с поразительно узким лбом, — Толстяк! он возьмет и совсем не придет — на то он и Толстяк. А тебе сказали к пяти — значит, должен к пяти и быть. К без четверти даже — мало ли что! Понимать нужно.

— Нет, — махнув рукой, отнесся он к соседу, мужчине тоже пожилому, — мы в их годы... да что там говорить. Вот и делай с такими дело...

Сосед кивнул печально головой; он лет пять как совершенно оглох, и с тех пор на всякий вопрос отвечал кивком головы, отчего приобрел репутацию человека пусть немногословного, но мудрого.

Трюндель сердитому старику возразить не посмел и, подвинув к себе ближайшую непочатую кружку, надолго к ней присосался, каждой клеточкой тела чувствуя на себе осуждающие взгляды.

В действительности о нем и думать забыли — всех увлек спор, завязавшийся в противоположном от Трюнделя конце стола.

— Что бы вы не говорили, почтеннейший, — убеждал господин интеллигентной наружности, в пенсне и с холеной бородкой, в прекрасно сшитом из дорогого материала костюме модного стального отлива — своего оппонента, выглядевшего отнюдь не столь преуспевающе: с лицом бледным, отечным — с испитым.

— Что бы вы не говорили, а эквализм не оправдал себя как система, экономически и политически не оправдал. Переход же к системе иной иначе как путем переворота невозможен. Вы возразите — снова кровь и

снова насилие. Да, отвечу я вам, снова кровь и снова насилие. Таков общий закон — очередной шаг к свободе не мыслим без насилия и крови. И весь опыт мировой истории это подтверждает. Чтобы далеко не ходить за примером, вспомним хотя бы ту славную заварушку в Перу, если не ошибаюсь, в семидесятых годах, точнее, в семьдесят третьем. Или же...

— А может, все же реформы? — отбивался вяло испитой. — И потом, есть же Конституция... нельзя ли действовать, оставаясь в ее рамках? А то, знаете, кровь... невинные... детишки вот тоже... нехорошо это как-то.

— Чушь, милостивый государь! Притом опаснейшая чушь! Вас попросту растопчут — сошлют на Север или сгноят в психушке — вот чего вы добьетесь гуманными вашими методами! Нам необходимо вооруженное, организованное сопротивление, не так ли, мой друг?

Последнюю фразу, произнесенную в полемическом задоре с особым жаром, сторонник крутых мер адресовал (вероятно, надеясь, что vox populi послужит решающим аргументом в дискуссии) сидящему напротив средних лет плечистому крепышу, со свекольного цвета и в складках физиономией и шеей.

Крепыш, с механической размеренностью опустошавший спокойно кружку за кружкой и никем не тревожимый до этого внезапного вопроса, ответил не прежде, чем расправившись с очередной пинтой. Окинув оратора мутным взором, он, отдуваясь, просипел: “Конечно, бестии, разбавляют...”, — и хотел добавить еще что-то, но что, так и осталось невыясненным — вследствие вдруг возникшего и в секунду всех собравшихся облетевшего шепотка: тс-с... тише... вы видите? сам...

* * *

... Слякотным осенним утром граф Понти возвращался на извозчике домой, не очень крупно, но проигравшись. У самого парка он велел остановиться, вылез из кабины и расплатился, решив остаток пути проделать пешком, в надежде немного рассеяться — еще в клубе навалилась на него хандра; та, что терзает часто людей неглупых, состоятельных и праздно живущих.

“... кто я и зачем я? Обрыдло все. Не нужен никому сам, и самому не нужен никто... Что за жизнь!.. Днем и ночью, ночью и днем одно: “Пас”, “В червях семь”, “А эту карточку мы прижмем”, “Человек, шампанского!”, — Господи, до каких же пор? И бабы!.. всякие Надин, Катрин, Жаннет, Анетт и Антуанетт... Экая мразь! Подлые, приторные бляди, одинаковые; одинаково отдающиеся и одинаково клянчащие... “Целуйте, целуйте меня, граф... крепче, сюда... ах! М-о-о-о-рис, я твоя... что вы подарите своей киске? “Скверно, ах, до чего же скверно! Пустота вокруг, пустота в себе, тридцать лет как тянется один и тот же день, помереть и то совестно... да уж умер давно!

Чистое, наивное существо тебя бы спасло; душа воскресла бы и обновилась... но где его найти в проклятом мире...”, — сокрушался граф,

обходя лужи.

А небо, надув в обиде тучи-щеки, хмурилось, собираясь прослезиться не на шутку, и Понти, взглянув вверх, выбрал себя еще и за то, что опрометчиво отослал извозчика: не хватало под ливень угодить... поделом тебе, дураку!

Не упуская готовую разбушеваться стихию из-под наблюдения, он ускорил шаги и в результате налетел на первого же встречного.

“Какого дьявола! — вспыхнуло было его Сиятельство, — смотреть нужно под... “ — но слова застряли в горле.

Перед графом стояла, растерянно, виновато и доверчиво хлопая глазами, девочка лет пятнадцати.

Чистое, наивное существо, ниспосланное самим Богом, пожалевшим его несчастную, истрадавшуюся душу...

* * *

... Дурчегнуб, каким-то образом прознав о намерении Дундука его выпороть (повсюду имелись свои ребята — в трактирах, борделях, войсках, гимназиях, институтах, на фабриках, заводах, на фермах; и сообщить Дурчегнубу о визите господина Ливера к Императору и состоявшейся беседе мог любой: повар, камердинер, шофер, та же Аглая), поспешил, выражаясь официально, удалиться в изгнание, а говоря по-просту, смылся за границу и тщательно законспирировался (что весьма затруднило полиции бы его поиски, будь они затеяны). Вот как, к примеру, была налажена связь с Отечеством и верными людьми: сначала в некий городок приходило письмо некоему Спичкину, монтеру; Спичкин, запечатав его в новый конверт, а отнюдь не вскрывая, отправлял далее, в городок совсем другой, Синичкину, майору; тот, в свою очередь, пересылал депешу Свечкину, учителю, черт знает куда; а Свечкин, дождавшись сумерек, садился на велосипед, и, покружив некоторое время по улицам, чтобы оторваться от возможных преследователей, мчал загород и где-то в лесу опускал ее в дупло старого дуба и т. д. Случалось, письмо по три-четыре раза пересекало границу, прежде чем попасть по назначению, в руки Дурчегнуба. Таким же порядком осуществлялось обратное сообщение, путем которого он наводнял Державу листовками — содержания безхитростного, но небезобидного. Вот характерный образчик.

Товарищи!

С каждым днем растет недовольствие восточного народа!

С каждым днем усиливается натиск сознательных революционеров!

Настало время, когда и камни говорят.

Позорно стоять за станком, когда рука тянется к оружию, когда решается судьба народа.

Все, как один человек, поднимайтесь за хлеб и свободу!

И кличем вашим пусть будет клятва: победа или смерть!

Долой самодержавие!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствует эквализм!

— и прочая трескучая дребедень, с обязательной пометкой в уголке: прочитав, передай товарищу.

* * *

... Летом Степан Иванович съездил на Юг, вернулся загорелый и потряс известием: там, на Юге, удалось овладеть ему дикторшей с телевиденья, притом не местного, а центрального. Не знали, как и отнестись к этой новости, казавшейся слишком дерзкой, чтобы быть вымыслом. Но седьмого ноября, в день всенародного праздника, многое прояснилось.

В этот день мы выпили на двоих с Степаном Ивановичем бутылку доброго вина — дешевого портвейна, емкостью 0,8 л., через несколько лет подорожавшего по просьбам трудящихся, а там и вовсе канувшего в небытие.

... Выпив, захмелели, и тогда Степан Иванович, вспомнив, что сегодня в центре — народные гуляния, обронил небрежно: “А что, не съездить ли нам на Красную Площадь и не снять ли по женщине?” ““Можно “, — протянул я, как бы колеблясь. Поехать-то, дескать, можно, но вот стоит ли? Тащиться еще... То было сплошное притворство — вызванное опасениями излишней суетой выдать собственную неискушенность. Я давно мечтал познакомиться с девушкой и слышал, в частности и от самого Степана, что на Красной Площади, как раз во время народных гуляний, познакомиться особого труда не составляет, слышал и не то еще.

Так повелось, что девочек я избегал, боялся... смешно — ручку запасную у соседки попросить не смел... потому что — угадывал: рядом неизвестный, загадочный мир, хотелось бы верить — чудесный... светлый, согласно Тургеневу... а с другой стороны, сальные рассказы Степана Ивановича и многих других, известного рода снимки и сочинения (навсегда запомнилась фраза из ходившей по рукам рукописной копии некоего порнографического сочинения, гениально исполненная малограмотным переписчиком: “... она испытала чувство организма...” — это, напротив, остерегало — этот, по видимости, притягательный мир полон грязи. Все было впереди, во всем предстояло разобраться.

... На Красной Площади народу оказалось — не счесть; часто попадались девчонки парами. Они обгоняли нас, шли навстречу, чуть не касаясь, обдавая ароматом духов.

— Что же он мешкает? — недоумевал я, в то время как Степан Иванович хладнокровно дымил сигаретой и поглядывал посторонам, — не хочет, видимо, продешевить... профессионал...

Или Степан Иванович чересчур привередничал, или просто не везло, но отыскать подходящую пару не удавалось долго — которые были, согласно остроумной его классификации, “бабы не про нас “, т. е. излишне представительные, не нам чета, их он печально провожал глазами и цокал

сокрушенно языком; которые же — “бабы не для нас“, уж очень хреновые, им он презрительно сплевывал в след. А других не попадалось, и минут через сорок, когда опьянение улетучилось окончательно, а Степан Иванович в тысячный раз поставил диагноз: “... — не про нас“, — самые страшные подозрения начали закрадываться в мою душу — а вдруг все дело в том, что это мы не про них про всех...

И тут Степан Иванович молвил: “Смотри... вон там... ничего, вроде. “Сердце ударило с силой в грудную клетку. Свершилось!

Но ничего не свершилось, а только началось.

Я ожидал, что Степан Иванович приблизится и бросит крылатую фразу, что-нибудь веселое и находчивое, девчонки посмеются, и так, слово за словом, мы познакомимся. Но он избрал иную и весьма на мой дилетантский взгляд странную тактику — преследования. Однако, не мне же было спорить со специалистом. Пристроившись метрах в пяти сзади, мы следом за девицами блуждали по улицам, спускались в переходы — и, наконец, они обнаружили слежку: хихикали, оборачиваясь... Тут бы и подойти, но Степан решительно воспротивился: не время.

— Здесь, — подумал я, — верно, как с рыбой...когда клюет, не подсекают сразу, сорвется...

Неожиданно спустились в метро, потом ехали в поезде — и превесело: только динамик затянет свое “осторожно...“, девочки — раз! — и выскочат на платформу, но и мы не дремали у соседних дверей, тоже выпрыгивали. Так несколько раз.

Когда снова выбрались на воздух где-то в Филях, стемнело и сильно похолодало. Завершался второй час погони — а мы все не обмолвились с девушками ни словом; они давно уж перестали улыбаться, какое там веселье, унести бы ноги — они решили, должно быть, что за ними охотится парочка маньяков. В подошедший автобус девушки бросились бегом, по инерции сунулись и мы туда же, хотя давно стало ясно, что потенциальное приключение выродилось в какой-то маразм. Автобус тронулся, народу в салон набилось порядком — и вот смотрю я, барышни наши вступили в переговоры с кем-то длинным и в плечах широким, и этот тип как-то недобро очень косится в нашу сторону... ба! вон и приятели его! два... четыре... да их футбольная команда, не меньше! и все как на подбор — обросшие мускулами здоровяки, в тренировочных костюмах с лампасами, кепках с длинными козырьками и в кроссовках Adidas . О чем они там совещались, я прислушиваться уже не стал, а немедленно полез к выходу, попутно двинув приятеля локтем в бок и с ненавистью прошипев: “Дикторша? Альбинская? Был у тебя “Up“, а сейчас будет тебе “Down“, старый валенок...“

К счастью, подъехали к остановке и мы с позором слезли, провожаемые незатейливыми, но все равно обидными остротами: куда же вы, сошли бы вместе и т. д. Когда двери закрылись, Степан Иванович погрозил спорт-

сменам кулаком и грязно выругался.

... На метро опоздали. Пришлось звонить домой — предупреждать, что вернемся на такси, и чтобы готовили деньги.

... В машине Степан спросил: “А что нашим-то завтра расскажем? ““Как, — удивился я, — как что? все и расскажем, как было. ““ Ну, — поморщился он, — это неинтересно. А давай лучше... (он, понизив голос, наклонился к моему уху) давай скажем, будто мы их... того... баб этих...” — и вмиг набросал упоительную картинку, и в каждом штришке чувствовалась уверенная рука мастера, ибо мой друг был безусловно в своем роде Художник.

Все было на самом деле так: немного погуляв, мы отправились не в Фили вовсе, а на Сокол, где, возле церкви, снимала квартиру одна из девиц.

... Утром класс гудел, обсуждая новую победу Степана Ивановича, победу бесспорную и мною заверенную — знали, что на этот счет я врать не люблю. Сама история подана была блестяще, с описанием множества мелочей, что, как известно, особенно убеждает: “... ночник с зеленым абажуром... я абажур этот случайно сигаретой прожег... сварила кофе и принесла в кровать — маленькую такую чашечку фарфоровую с синим цветочком, ручка с трещинкой...”

Весь урок у меня чесался язык — и на перемене я раскололся.

Степан подстерег меня в коридоре, и процедил презрительно: “Настоящие мужчины так не поступают... Предатель...”

Ныне, обремененный семьей, он, наверное, обо всем этом давно позабыл; но если и вспоминает — надеюсь, с улыбкой...

* * *

... На пороге стоял тот, кого здесь называли Толстяк; действительно, называли не без оснований: даже длинное, до пят, просторное драповое пальто не скрадывало противоестественно-огромное его брюхо. Словно был он беременной женщиной в последней стадии.

В наступившем молчании, из-под глубоко на лоб надвинутой коричневой фетровой шляпы, черными злыми глазками, затерянными в рыжих густых зарослях бровей, усов, бороды, шевелюры и бакенбард, Толстяк не торопясь, по-очередно, оглядел присутствующих и направился к председательскому месту во главе стола; уселся в специально для него приготовленное кресло. Небольшой же чемоданчик, с которым пришел и который держал в руке, осторожно поставил на пол рядом.

Откашлявшись, заговорил — глухим, лишенным интонаций голосом.

— Так. Собрались все. Что-то я не вижу Феррума. Что с ним. Не заметили.

— Никак нет, не замели — по-военному четко отрапортовал, вскочив и вытянувшись в струнку, старик, давеча распекавший Трюнделя за опоздание, — у него зуб мудрости прорезался, просил передать, что к лекарю

пойдет, адские, говорит, боли — нет сил терпеть.

— Зуб. — Толстяк поморщился. — Адские боли. Понятно. Вы можете сесть, Неукротимый, спасибо. Люди, отдавшие себя борьбе за справедливость, должны быть сильнее не только страданий, но и самой смерти. Какие песни запоет наш Феррум в тюремных застенках, от которых никто из нас не застрахован. Если из-за какой-то ерунды пропускает сходку. Придется объявить ему партийный выговор. Так. Ладно. Остальные на месте. Тогда начнем, но прежде — и с этими словами Толстяк извлек из внутреннего кармана бутылку водки и поставил на стол — прежде я предлагаю выпить: Дамы и господа! Победа или смерть!

— Победа или смерть — эхом откликнулись господа и дамы; защелкали замочки открываемых чемоданов, заскрипели потревоженные пасти портфелей — почти у каждого нашлось, чем составить Толстяку компанию. А он, ловко орудуя вилкой, первым сорвал с горлышка красную жестяную крышечку, но, как споро ни действовал, официант оказался проворней, успев принести откуда-то и поставить перед ним небольшую хрустальную рюмку. Остальные же наливали в кружки.

Толстяк, опрокинув рюмку, зажмурился и понюхал корочку черного хлеба. Выпили следом и остальные, и тоже жмурились и нюхали хлеб.

Ну-с, — Толстяк постучал вилкой по рюмке, дав понять, что неофициальная часть окончилась, — приступим. Ты, Трюндель, фиксируй.

Трюндель лихорадочно сунул руку в карман брюк, и там поковырявшись, вытащил карандашный огрызок и мятую ученическую тетрадь в клеточку. При этом на пол посыпались: табачные крошки, шелуха от семечек, скомканные бумажки, засаленная колода карт, потрепанный студенческий билет и фотография абсолютно голой женщины в эротической позе.

Толстяк, стерев Трюнделя страшным взглядом в порошок, дождался, пока тот не рассует свой мусор обратно по карманам, и продолжил:

— Итак, прошу внимания. Час пробил. И мы переходим от слов к делу. Как стало известно, послезавтра на Дворцовой Площади Президент устраивает войсковой смотр; вот подходящий случай покончить с узурпатором. (... и Трюндель, старавшийся ничего не упускать, далее внес в протокол, в скобках, следующее: бурные аплодисменты, выкрики с мест: достоин смерти! смерть диктатору! давно пора! победа или смерть! еще пивка!

Пива потребовал багровый складчатый крепыш, во время речи Толстяка прикончивший последний кувшин; удивительно, но официант разобрал его возглас в общем шуме и взял соответствующие меры).

Все же отыскался и недовольный — невысокого роста, плюгавенький господинчик, было пискнувший: Терроризм не есть решение проблемы! Позвольте! — но лепет его потонул в возмущенных восклицаниях: Оппортунист! Дерьмо! Сволочь! (А Трюндель и это записал.)

Толстяк, мановением руки утихомирив собрание, проговорил:

— Спокойствие. У нас здесь не парламент какой-нибудь, а демократия. Коль скоро имеются недовольные, вопрос будет вотироваться. Прошу поднять руки тех, кто считает, что Президента следует ликвидировать.

Тотчас вырос лес рук. Плюгавенький господинчик, на лице которого от злобы проступили розовые пятна, нервически отхлебнул из кружки, затем привстал и с некоторым даже достоинством произнес:

— Что же, я подчиняюсь большинству. Но знайте — вы поступаете крайне опрометчиво. В данных условиях эта акция — тактически неверный ход, политическая авантюра. Dixi — и вновь опустился на скамейку и больше не проронил ни слова, а только пил: пиво и водку, водку и пиво, а под занавес — ерш.

— Голосование, — бесстрастно подытожил Толстяк, не обратив на тираду жалкого пророка никакого внимания, — подтвердило полностью мои ожидания, я не ошибся в вас, дорогие соратники. Мною заранее обдуманы все детали, вплоть до выбора орудия возмездия. В чемодане (и он указал на стоявший у кресла чемодан) помещено взрывное устройство с дистанционным управлением. Стоит нажать вот сюда, на кнопочку (Толстяк поднял над головой металлический параллелепипид размером со спичечный коробок, на поверхности которого выступала красная кнопка), и в радиусе десяти метров камня на камне не останется. Завтра, в ночь, надлежит поместить бомбу в канализационный люк на площади. Эту почетную миссию возлагаю на Неукротимого.

Старик с военной выправкой сорвался с места, получив будто отменный пинок, и приняв стойку “смирно”, пролаял:

— Благодарю безмерно! Доверие оправдаю! Победа или смерть!

— Победа или смерть, — бесцветным своим голосом подтвердил Толстяк. — Неукротимый, когда пойдете на святое дело, возьмете с собою еще двоих, на ваше усмотрение. Для прикрытия.

— Так точно!

— Ну, если так и если точно — у меня, наверное, все. — Толстяк взглянул на часы. — И время поджимает, придется вас покинуть. А на дорожку, по обычаю, следует... верно, Трюндель! по глазам вижу, соображаешь. Так выкинь свой карандаш, кончай марать бумагу и налей-ка себе до краев. Господа, прошу наполнить бокалы. За удачу.

Все налили водки и выпили за удачу. Затем Толстяк, напомнив о необходимости не терять бдительность (... расходиться только по одному, только... и главное, господа — *silentium*. Тогда скоро нам задышится вольней...), удалился, и с ним вместе исчезли скованность и робость и страх, всегда одолевавшие людей в его присутствии.

* * *

“... прелестное дитя, не знающее жизнь! ты сердцем поймешь меня, ты прольешь бальзам на мои раны...”

Прелестное дитя, не знающее жизни, блуждало по парку уже часа два и

отчаялось: погода дрянная, клиентов нет, покрутившийся вокруг паглатый юнец не в счет — с дырявым карманом; уходить собиралась, когда в конце аллеи появился представительный господин не первой молодости. Он шел быстро, озабоченно поглядывал в небо и чертыхался — и еще издали было заметно, что денег у него куры не клюют.

Завязать знакомство удалось запросто — имитировав случайное столкновение. Богатый старик, не успев толком извиниться, тут же понес какую-то ахинею насчет мороженого.

Она-то отлично знала, какого мороженого им, мужикам, нужно; но отвечала осторожно, в тон (мороженое — так мороженое...): а я вот больше люблю ананасовое... (ха-ха! а ананасовый ликер не хочешь, сундук?)

* * *

... Дурчегнуб решил, что посвящать народ в тонкости — только лишние хлопоты. Народ должен знать суть: перебьем кровососов-эксплуататоров, поделим все поровну — то-то пойдет жизнь!

Но сам со своими присными не мог не понимать (не совсем же были дураки!), что перебить — лишь начало. Ломать — не строить, а строить-то как?

Эти все вопросы обсуждались на первом съезде ВПЭ (Восточной Партии Эквалистов), как, впрочем, и на втором, и на всех последующих.

Первый съезд проходил в обстановке сугубой секретности; каждый участник, прежде чем прибыть к месту назначения, совершил едва не кругосветное путешествие — заметая следы.

Вот где закипели теоретические баталии, доступные только избранным. Вот где решались глобальные проблемы, такие как план вооруженного восстания, программа действий на 50 лет вперед после свержения самодержавия, возможность существования эквализма в отдельно взятой стране и проч. и проч. Одновременно не упускались из вида и всякие, несущественные лишь с дилетантской точки зрения, другие вопросы — какого, скажем, цвета носки пристало носить Человеку Светлого Будущего. Кстати, по этому поводу Дурчегнуб серьезно поцапался с неким товарищем Цорским, также обладавшим немалым авторитетом в среде партийцев. Дурчегнуб настаивал на красных, а Цорский ратовал за зеленые (и та и другая позиция базировалась на веских философских аргументах). Сошлись на компромиссе: красные, но в зеленую полоску.

* * *

Первая Любовь... “Когда-то у той вон калитки мне было пятнадцать лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково — нет... “Ну, моя мне запомнилась в розовом, и прощались без особой ласки, а так — все правда.

Звали ее Наташа, и мы встречались не потому, что нас тянуло именно друг к другу, а потому что друг для друга мы были просто представителями неведомой половины человечества, о которой необходимо было узнать

хотя бы что-то.

Моя бы воля, встретить бы и ей и мне для этой цели кого-нибудь иного... все-таки, уж слишком мы оказались разные, точки соприкосновения отсутствовали, за исключением, конечно, единственной: когда я держал Наташу за руку; когда я держал ее за руку, чувствовал себя на седьмом небе. Это было оттого, что просто я впервые касался рук девушки. Будь на ее месте любая другая — Оля, Марина, Света — ничего бы не изменилось. Но я об этом не догадывался и посчитал Любовью влечение к женщине вообще. А до Любви было как до Большой Медведицы — душа насытилась быстро новизной, а ничего кроме ей предложить не могли... знаю, чему вы там ухмыляетесь. Должен огорчить вас — или обрадовать? — далее пожатия рук не зашло.

Так что скоро все лопнуло. В расстроенных чувствах отождествив Любовь с похотью, я решил: мне все теперь известно, есть самки и самцы; стишки сочиняют и музыку — на этой все почве; стал я, короче говоря, воистину адептом Фрейда, которого тогда не читал еще, и о котором не слышал. Им и оставался, пока не полюбил, и понял тогда многое; понял, в частности, что нет никакой меры... что счастлив и блажен стократ тот, кто отыщет женщину, которую можно выдумать и которая — сердцем ли, умом — заставит видеть себя такой, какой вы ее выдумали... тот, кто может женщину в ы д у м а т ь ...

* * *

... Революционеры, быстро преодолев начальные стадии опьянения, перешли к средним — а кто и ...

Неукротимый клеился к тощей девице в кожаной куртке, сжав под столом ее коленку своими ногами.

— Не смотри, что стар. Стар, но орел. Стар, но щенка любого кой в чем за пояс заткну.

Хохотала девица, грозила пальчиком — ах, бесстыдник! пустите, шалун!

А гуманист с испытанным лицом исповедывался глухому старичку. Тот всегда кивал головой с такой мудростью и пониманием, всегда так кстати вставлял прочувственные “ну и ну “, “вот дела “, “скажите, пожалуйста “, “однако “, “бывает “, что редкое застолье обходилось без того, чтобы кто-нибудь не делился с ним сокровенным.

ИСПОВЕДЬ ГУМАНИСТА

...единственной отдушиной была... придешь, винишка притаранишь... потрепешься о том, о сем, когда и поцелуешь... а она эдак ручкой проведет тебе по волосам, и вот ей-Богу, тоска уходит из груди... а тут появляется этот тип... с омерзительно цветущим рылом, появляется неизвестно откуда, нажратый, и обещает увезти ее куда-то в тундру и подарить звезду. Для первого раза неплохо! Девчонка, во всяком случае, слушает, разинув рот...

второй раз он приползает глубокой ночью, с известием, что шел пешком двадцать километров, чтобы поцеловать ей тапочки и умереть у ног; да, сердце разрывается у него от любви и печали; чего никак не подумаешь, глядя на его румяную харю! Если что и разорвется у него, так это печень, и не от любви и печали, а от водки. Дурочка же млеет — уж не принц ли из сказки забрел к ней на огонек? Ах, чтоб он и в самом деле сдох, ока-янный! Но куда там. Вместо того, чтобы попасть под поезд и хоть этим попытаться немного искупить грехи, вместо этого он, вдрызг пьяный, наносит третий визит, в ходе которого выпивает бутылку моего вина, а также заявляет, что вышибит дух из любого, кто только осмелится... ну, и так далее, ты, мол, только прикажи, а если хочешь, сейчас кинусь из окошка. Полный рыцарский набор! Но отыщите мне бабенку, которая не мечтала бы послушать такую чепуху? И которая не будет после вспоминать об этом, как о счастливейшей минуте жизни? В тайниках своей душонки бабьей. Ну, ладно... все ему сходит с рук, выкидываться его, конечно, никто не заставляет, он этим пользуется и на всех парах несется дальше — став вдруг мрачнее тучи, начинает бляеть, что жить вообще глупо, люди — скоты; сверх того, кстати цитирует, правда, путаясь, стишок из Лермонтова, что его заставляли зубрить в школе... и так далее — другой набор, малый философский. И я вижу, что она не только с удовольствием похандрила бы с ним на пару, но и легла бы в постель. А в четвертый раз он на всю свою убогую зарплату покупает цветов, подумаешь, безумство — и мне понятно, что нужно уходить. Он отнял ее у меня! Да! Ему, подлецу, легко сходить с ума, он молоден, свободен и глуп, как пробка — значит, у них всегда найдется, о чем поговорить — а попробуй, побезумствуй, когда у тебя на шее жена и трое детей, и платят на работе гроши, и если ты позволил кружку пива, пилить будут тебя неделю; побезумствуй, попробуй, когда стесняешься пороть чушь, когда знаешь, что тебя предали все и вся, и ты сам — в первую очередь; когда на мир смотришь глазами пожилой потаскухи...

* * *

... отворилась, не скрипнув, дверь (следили в доме за порядком, и масла на петли не жалели), и в спальню, неслышно ступая, прокралась тать и склонилась над ложем.

... и вспугнул на мгновение ночную тишь шопоток: “Самсончик, ты?” — и взметнулись навстречу руки и обвилились вокруг шеи, и губы нашли губы, и вновь — тишина...

... с гадостным чмокающим, вурдалачьим звуком оторвались друг от друга, и тотчас запел под потолком тонко и жалобно о смерти безумный одинокий комар; внезапно начатая, внезапно и оборвалась песнь...

... и опять зашептались в ночи:

— денжищ уйма...

— сигары курит гаванские...

— и трость с резьбой...
— мороженым собрался угощать, а зубы золотые...
— карету, сказал, придет...
И заныли пружины, заглушив остальное...

* * *

... Когда прибыл гонец с известием, что массы созрели и все готово, Дурчегнуб без промедления двинулся в обратный путь, по дороге умело маскируясь то матросом, то фермером, а то и жандармом; границу же пересек, нарядившись старушкой.

Все действительно было готово, переворот в столице совершился в какие-то сутки. Клика Дурчегнуба, захватив власть, спустила с цепи Плебея.

По городу, не таясь — все теперь народное! — шастали выродки с винтовками в руках, сапогах в гармошку, с папиросками в зубах — и сводили счеты.

Они убивали, убивали и убивали, пьяные водкой и кровью, грабили, насильовали...

Дурчегнуб засел в Императорском Дворце, переименовав его во Временный Штаб Революции и оттуда направлял гнев народа в нужное ему русло.

* * *

У нас в классе училась девочка с экзотическим, но к ней совсем не подходящим именем — Виолетта, так как была она толстенькой низенькой дурнушкой. Несмотря на это, она осмелилась воспылать страстью к моему приятелю Федоту — не сводила с него глаз на уроках, а на переменах все время пугалась под ногами — тщетно! Ничего не хотел замечать бессердечный Федот. А все-таки она позвала его на день своего рождения; пришлось, приличия для, пригласить и меня со Степаном, как федотовских друзей, и еще некоторых своих подружек.

Обилие девушек очень смутило меня, привыкшего исключительно к мужским компаниям; желая смущение утаить и не зная, чтобы такого для этого сделать, к собственному удивлению схватил со стола лимон и сожрал его целиком, не очищая... встретив изумленный взгляд виолеттиной матушки, потерялся окончательно... дело чуть поправила бутылка шампанского, распитая в основном мною со Степаном Ивановичем... шампанское-шампанским, но с каждым съеденным блюдом нарастало во мне нервное возбуждение — трапеза двигалась к концу, а значит, приближалось время танцев. Ни разу не танцевал я с девочкой, и не умел... и всякий раз в подобных ситуациях чувствовал себя чертовски неловко, боялся ужасно насмешек... Виолетта тоже волновалась, но то волнение наверняка было радостным, еще бы, ведь сейчас сны станут явью — Федот обнимет ее и

закружит в вальсе...

Вяло ковырялся я в салате, в дурацкой надежде оттянуть неизбежное, но вот и чай подали, и не успел я и сахар себе положить, как Виолетта поднялась из-за стола, вся красная от избытка чувств, и с фальшивой беззаботностью предложила: ну что, потанцуем теперь, ребята?

Мебель сдвинули к стенке, свет погасили почти весь, включили магнитофон. Я забился в угол, к магнитофону поближе и прикинулся меломаном (а играл, кажется, “Space “), дрыгал пяткой в такт, но краем глаза наблюдал: вот льнет Виолетта к Федоту, пытаюсь склонить ему голову на плечо (что при ее росте было нелегко), вот топчется с какой-то девицей Степан Иванович... и вдруг услышал рядом:

— Пойдем, потанцуем.

— Не танцую, — выдавил, проклиная себя.

— Пойдем, — настойчиво повторила девушка (откуда она взялась!?)...

... Теплота ее тела сквозь платье передавалась моим ладоням; голова кружилась от слабого цветочного аромата, исходившего от ее волос — и я воспринял его как естественный, обязательно присущий этим волшебным существам с рождения (сейчас мы знаем, что это были дешевые духи, какой-нибудь “Красный Октябрь” или “Мак”, но поверить в это отказываемся)... я держал в руках ч у д о — но, впрочем, не буду входить в детали — да потратить я хоть тысячу слов, все равно, мне, убогому, не передать и тысячной доли того, что я ощутил... это ощущение живо во мне до сих пор — разве только не подменил я его незаметно впоследствии какой-нибудь книжной выдумкой.

... бубнил: напрасно ты... того... затеяла... ноги-то береги... неровен час... — но сам не понимал, что такое несу.

Хорошо помню, как шли потом к остановке — немного впереди Виолетта, вцепившаяся в Федота, а следом — Наташа, конвоируемая Степаном и мною; держали ее под руки, как менты — на узкой тропинке трое никак не могли поместиться, но уступать не хотелось — и то я, то Степан Иванович с бульканьем проваливались в канавки и скоро извозились в грязи по колено; и все шли и шли и никак не могли выйти к проклятой этой остановке, потому что Виолетта вела какими-то закоулками и подворотнями, чтобы удлинить путь; пытаюсь задержать мгновение, она, очевидно, не прочь была гулять хоть ночь на пролет; мне же и Степану отдаться романтике препятствовало раздражающее соседство друг с другом; Наташа устала слоняться впотьмах, а Федот — тот вообще с каждой секундой накалялся все больше, и в конце концов на редкость гнусным, придушенным каким-то голосом, потребовал немедленно вывести его к автобусу, а Виолетту прямо обозвал Сусаниным.

На остановке, в ту минуту, когда мой соперник угощал сигаретой праздничношагающего гражданина и поэтому оставил нас вдвоем, я отважился спросить у Наташи номер телефона.

На следующий день позвонил и условился о свидании; в школе же, не удержавшись, похвастался этим Степану Ивановичу, который, к немалому моему удовольствию, тотчас надулся и сказал, что не верит.

— А приходи и посмотри, — пожал я плечами, — в четыре к метро; увидишь сам.

Если честно, я сомневался, что Наташа придет, но убежден был, что приятель мой не унижится до проверки.

Он, однако, унижился — явившись в назначенное место даже раньше, чем я — я увидел его, толстого, высокого, в голубом джинсовом костюме еще из окошка автобуса, подъезжая к метро. Встретил он меня злорадно: “Что я говорил! Наташки-то нет.”

Я взглянул на часы — без пяти четыре, и нервничая, закурил, затягиваясь с неистовой пылесосовой силой; закурил и Степан свою неизменную “Яву”. В четыре закурили еще по одной — а в пять минут пятого — только я, причем Степан Иванович похлопал меня по плечу и посоветовал не падать духом. Еще через пять минут он предложил не терять напрасно времени, а рвануть куда-либо по пиво. В четыре часа тринадцать минут я заметил в толпе розовое платье и двинулся навстречу, разом позабыв не только о Степане, но и о многих других вещах.

Вдруг возникла пульсация под коленкой. Это, не иначе, уходило в пятки сердце.

* * *

Пивная “Три кабана “. Время: 19.51.08 — 19.51.57

— Эх, Вова, не знаете вы жизни совершенно...

— Нет, женюсь, решительно женюсь. Холостой мужчина, что холостой патрон...

— И глядит, вообрази, свысока, с видом вкусившей всех тайн бытия — оттого только, что вчера переспала с двадцать третьим по счету...

— Как тресну я его, судари мои, прямо в морду...

— Раструбили, как всюду плохо, и думают, что теперь всюду будет хорошо... Дудки!

— ... а у меня стэндует как сабля...

— ... истина, говорю вам, ужасна: оказавшись, к примеру, на необитаемом острове вдвоем с женщиной, вы неизбежно вступите с ней в половые сношения, вне зависимости от ее и ваших нравственных и религиозных убеждений, а так же уровня умственного развития...

— ... что же, что дура? Я, может, и сам дурак!

— ... как политик, он, безусловно... и следует полагать, что...

— ... любовь, мой милый? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!

— ... догадались, сволочи, что ничем не рискуют... ну, чуть больше пици уму и сердцу, чуть больше возможностей начать мыслить... против одного на тысячу станет двое... а зато мы уж готовы и пятки лобызать, опьяненные глоточком свободы, а зато враги на Западе пушай поскрежешут...

толпа же все одно тупа и сера...

— Душу в нее вкладывал, понимаешь ты? Можешь ты это понять?

— ... изошрились, подбавили правды щепотку...

— ... революцию, мой свиноликий друг, нужно делать чистыми руками...

— ... лифчик она сама расстегнула, а трусики пришлось снимать с нее мне...

— ... наша так называемая интеллигенция — опаршивевшая гидра, которой снова и снова рубят головы...

— ... искусство принадлежит народу? Это кто же такое придумал? Тысячу лямблий ему в прямую кишку, засранцу!

— А говна еще хватает кругом!

— ... всего только пара месяцев, и разучился с ними обращаться, неинтересен стал и все! или бабы, или книжки, одно что-нибудь...

— Народ — это быдло, быдло и еще раз быдло. Быдластое быдластое быдло!

— Закурить не найдется у вас? Премного обязан...

— Когда-то книжки писали кровью, а теперь — говном да спермой, желчью да блевотиной...

— ... как можно помочь бешеной собаке? Свинцовой примочкой. Прямо из двух стволов и промежду глаз.

— ... дети? А как же-с. Их у меня двое: самец и самочка.

— ... колеса истории вспять, конечно, не повернуть — так ведь при его повороте полною каждая точка возвращается в прежнее свое положение, тут математика нехитрая...

— ... это, извини, одно и то же, что при живой жене онанизмом заниматься... зачем тогда нужно было жениться?

Эти все слова, выскакивающие из группок в два-три человека, складывались в протяжный монотонный звук:

— У-у-у-убу-убубу-ууу-у-ы-ы-ыхх-уухы... —

— будто бы сокрушительно зевало некое огромное, больное и беспредельно уставшее животное...

* * *

... Не скоро удалось уснуть. Запахнувшись в пестрый шелковый халат, курил при свечах за сигарой сигару, и комнату наполнил голубоватый дым... вздыхал, улыбался, что-то тихо шептал сам себе; наконец, достал с полки небольшой черный томик с золотым обрезом и быстро отыскал нужную страницу. Запрыгали перед глазами знакомые строчки, казавшиеся ранее лишь причудой Поэта, далекой, пустой и странной игрой словами... теперь же вдруг обретшие Смысл.

И был волшебный миг: граф ощутил с испугом и восторгом, как выплеснулась на строчки эти его душа и ими заговорила...

Маленькая девочка
со странными глазами,
Чтобы ты хотела,
чтоб я сделал для тебя?
Я старый, больной,
И я умер давно
Для себя,
Не любя...
У меня уже нет никаких желаний,
все мои желанья — желанья твои.
Маленькая девочка с золотыми волосами,
мне нельзя добиться твоей любви...
Как это горько — и как это больно —
Иметь нежную душу и ненавистное тело,
Смотреть из-за занавесок несмело,
И бесполезно, бессмысленно мечтать
О том, чего никогда не достать
И никогда не добиться...*

* * *

... В числе первых был отдан приказ о расстреле Дундука со всем его семейством, включая, разумеется, детей. “Не время для сантиментов, — писал Дурчегнуб по этому поводу, — жалость? буржуйские штучки! Историческая необходимость диктовала нам: уничтожить. И мы уничтожили. Да, не только Дундука. Да, и всех его близких. Иначе реакция, взяв их под свои знамена, подняла бы голову. Тяжел молот пролетарского гнева!”

Очень скоро он распорядился пустить в расход и Цорского, припомнив ему зеленые носки и прочие разногласия. Народу объявили, что Цорский на самом деле никакой и не Цорский, а Царский, состоящий в прямом родстве с Дундуком; что, утаив свои истинные фамилию и происхождение, обманом втерся он в доверие, дабы разложить ряды — не только по зову барской крови, но и по специальному заданию западных разведывательных управлений, ими завербованный еще до своего появления на свет.

Круто взялся Дурчегнуб за интеллигенцию, поставив перед ней дилемму: кто не с нами, тот против нас; другими словами, или смерть, или жизнь на коленях. Нашлись, и немало, выбравших смерть.

Перебив чуждые элементы, плебеи было принялись тузить друг дружку, но Дурчегнуб сумел накинуть на них уздечку власти.

И когда те немного поостыли, то обнаружили: кругом — пуще прежнего — Голод и Нищета.

Дурчегнуб же всех утешал статейками в газетах: “Товарищи! Впадать в панику нет ни малейших оснований — все учтено и продумано; самое

* Данное стихотворение принадлежит перу В.А. Тезина (Прим. авт.)

главное сделано, теперь нужно работать, работать и работать; не щадя сил и не покладая рук”.

И закипела работа. Они работали как муравьи и дохли как мухи.

* * *

... Осерчавший Степан Иванович отправился к Федоту и долго на меня там жаловался: как же так... несправедливо... и что она в нем нашла... ну, язык подвешен, а ничего больше ведь и нету...

Тут он, пожалуй, перегнул, кое-что во мне было и помимо языка — все больше величины отрицательные и близкие к нулю, а то и мнимые.

Большая ранимость — меня могла обидеть и тень насмешки; неуверенность в себе, неумение постоять за себя, трусость, мелкие страстишки... ум, измеряющийся количеством прочитанных книг... способность каждой своей слабости найти оправдание...

С возрастом все это ширилось и раздувалось, а параллельно, в полном соответствии с Достоевским, ширилось и раздувалось самомнение — это во мне-то! никчемной душонке и свою никчемность осознающей! но нельзя же было расписаться в этом без борьбы?

Люди всяко себя утверждают: зато я тому-то, тому-то и тому-то могу плюнуть в морду; зато я с той-то и с той-то могу переспать; зато авто у меня последней модели и одеваюсь я у Диора; зато Господь спасет меня; зато я возьму и спрячусь в бесконечномерных пространствах и супермногообразиях... Понятно, так как ум измерял я количеством прочитанного, а читал много, то и стало казаться мне, что я всех умней, а с недавних пор прибавилась и еще лазейка — зато как напишу про вас всех, тогда, небось, попляшите.

Поверите, однажды как следует насосавшись, вещал на всю пивную, что соединяю в себе одновременно интеллект Толстого, Достоевского и Чехова — вот до чего доходило! Но не смеяться — а пожалеть нужно... никем не понят, слабый, один... ужасно.

В бытность свою студентом регулярно бивал в пьяном угаре стекла — в телефонных будках, в магазинных витринах, разбивая руки в кровь — и легче становилось! А раньше еще, в школе когда, со Степаном выбирали на улице влюбленную парочку, и мимо проходя, обменивались друг с другом мерзейшими фразами, нарочито громко — фразами, загодя изготовленными (вроде “... и можешь себе представить, ее . . . сразу пять человек! “или “... и тут она мне и говорит — нет, . . . я у тебя сосать не буду, от него мочой воняет! “) — тоже как-то легче делалось...

После я про это в “Подростке” прочитал — и обрадовался. Еще бы, можно сказать, попал в книгу! И не таким, что ли, одиноким, почувствовал себя. И долго спустя, встречая в книжках мысли, приходившие и мне в голову, или схожие жизненные ситуации — радовался. Пока не допер: а ведь каждое совпадение так и орет — нуль ты! нуль! все за тебя придумали, сказали и сделали, стоило ли появляться на свет...

... с щекой, обмотанной теплым шерстяным платком. Как-то нерешительно, бочком, пробирался он к столикам, выбрав путь отнюдь не самый короткий: вдоль стенки.

Первым его заметил интеллигент с аккуратной бородкой и сердито выкрикнул: “Стыдно, милостивый государь, стыдно! Так недолго докатиться и до предательства! Толстяк остался вами очень недоволен. Вас это как будто бы удивляет, господин Феррум?”

— Так ведь зубы, — растерянно оправдывался Феррум.

— Бросьте, коллега, бросьте, — неприязненно заметил кто-то, — не стоит...

И его, видимо, долго бы еще донимали, если бы не внезапное вмешательство Неукротимого.

— Ладно вам, накупились тоже на человека, — урезонил он остальных, — проходи, Феррум, садись сюда, пей свое пиво... Водочки тебе налью, от зубов, говорят, полезно...

Было прерванное появлением Феррума, разговоры возобновились. Кругом смеялись, спорили, сплетничали, горевали, и — говорили, говорили, говорили... Проникшись общим настроением, уже знакомый нам свекольный богатырь, обыкновенно замкнутый, теперь испытал сильнейшую потребность излить себя в беседе и почему-то решил, что Трюндель — тот самый человек, который выслушает его со вниманием и сочувствием. И вот что он ему, Трюнделю, поведал.

НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ МОНОЛОГ. БЫЛОЕ И ДУМЫ.

...Да, сынок, правильное дело вы затеяли... а то, что хочет, то, собака, и воротит. Где это видано — за бутылкой вина чтоб полдня в очереди стоять? А пивных так вообще стало четыре на весь город — попей, попробуй, пивка — по всей морде! Без вас не знал бы, что и делать... вы — хоть куда ребята, только собираться могли бы почаще... Бог даст, свернете гаду шею... я сам... своими бы руками... а то, парень, жалко мне таких как ты... мы-то хоть попили в наше-то время... прикинь, на каждом метре — пивной ларек! да! на каждом метре — по ларьку, и отовсюду воняло мочой, потому что сортиры строить не успевали... А теперь везде соки с водами, !! И одеколон в такую цену, что где уж там выпить! — не побриться по-человечески! Ах, суки! Что вытворяют! Друг мой Васька, он весил полтора центнера — представь, сколько ему нужно было на грудь поднять, чтобы отрубиться! Потому два раза всего и отрубался, один раз в скверике, и двойной наряд жандармов, протасив его метров пять, так и бросил, отчаявшись, на газоне; а во второй не повезло, подкосило это его на Центральном Вокзале, и они, гниды, сходили за носильщиком, на тележку Ваську загрузили и так и свезли в отделение; этот Васька, бывало, за гривенник пивную кружку съедал, а пятак согнуть — это ему как два пальца... так вот, я... когда это... позавчера, да, точно, в понедельник...

встречаю, значит, его — веришь, не узнать человека! Похудел втрое, смотрит волком — все, говорит, завязал. Васька — завязал! Ах,
. !!! Или Роман. Ты про Романа слышал? Он пивом торговал на перекрестке Цветочной и Пластилиновой, в палатке. И говорили, что в палатке этой он и десять лет назад сидел, и двадцать и сто двадцать. Трезвому это понять трудно, но тогда я ходил пьяный всегда в стельку и ничему не удивлялся, ну а теперь и сам порой усомнюсь: возможно ли? как это так? сто двадцать? Но ты слушай, сынок, мотай на ус. Роман пиво отпускал, случалось, и в пять утра, и в два ночи. Как сейчас помню: темень, ползешь по Цветочной, голова трещит, в кутузке бока намяли — жить, короче, неинтересно... и вдруг — бац! у Романа свет горит и народ толпится... вмажешь кружечку и снова человеком станешь... Да, многих выручал, благодетель. Но мог и пропадать где-то сутками, а то и неделями. И такая тоже была в нем странность: какому-нибудь ханыге возьмет и нальет задаром, а разным денежным мешкам, вроде вон того — ишь, расселся! — или просто рожка чья не понравится, иной раз ласково так скажет: ступай себе с Богом, не будет тебе пива. Да... и вот однажды прибежал в рюмочную у Розовых Ворот — теперь там кофе с пирожками и пончиками, ! — пьяный мужичонка, рыдает и трясется. Мол, был он сейчас у Романа, выпил кружечку пять, и еще собирался взять парочку, но Роман не позволил: довольно, говорит, тебе, хорош и так, а сам дерябнул стакан водяры, палатку запер, обернулся вороном да как каркнет — мойдодыр! — и улетел. Ну, скинулись мы мужику на сто пятьдесят, а он все отойти никак не может — трясется, зубами лязгает и бормочет: мойдодыр да мойдодыр, и рюмку в руки взять боится, чтобы не расплескать... смотреть противно. И мы решили — просто дядя перепил. Но Роман с тех пор исчез, как в воду канул, а назавтра как раз и вышел Указ, ! А в палатке романовой засела какая-то шлюха, в белом халате, торгует квасом, ! И квас-то дрянной — кислый. Я как-то... —

— но тут Трюндель, которого давно уже мучили тошнота и головокружение, перебил рассказчика — “извините, я сейчас “, с трудом выбрался из-за стола и, пошатываясь, направился к дверям. На улице он минут пять стоял неподвижно, подставив прыщавое лицо свое легкому освежающему ветерку, с наслаждением и полной грудью вдыхая прохладный вечерний воздух.

— Нет, обратно он уже не пойдет. Махнуть уж лучше к Кристине — пусть не ждет она его и не любит!

* * *

... буквы расплывались, слипались глаза, склонилась голова на грудь...

... сейчас ты придешь ко мне, милая...

Но приснился ему паршивый городишко в дикой огромной стране, грязное казино и веселые язычки пламени на портюре.

Приснился ему швейцар по кличке Мурло, идущий к выходу с ключами

в руке.

Граф закричал в отчаянии — и тут же вновь перенесся в кабинет, но кошмар не отпускал: щелкнул в двери замок, и в проеме... нет! нет!! — нарисовалась старая плешивая сволочь, Мурло!!!

Оскалившись страшно и растопырив руки, подступал он к онемевшему графу, и подступив вплотную, трижды подпрыгнул на левой ноге.

— Ах!!!

Не наступало пробуждение.

И тянулись к лицу жирные волосатые пальцы, губило отвратное сипение:

— Никто еще не уходил от меня... и тебе не уйти... тебе некуда идти... ибо я — в с ю д у .

... а Время текло себе и текло, дальше и дальше; осторожно огибая свежий островок небытия, где бедный граф Понти обречен на вечное блуждание в бесконечном лабиринте бесконечнодробящейся последней секунды — наедине с убившим его Злом.

* * *

... Зачем он затеял эту Великую Резню? Тому можно отыскать множество причин.

Очень вероятно, что руководили им обыкновенные жажда власти и желание обессмертить свое имя — которые человек попроще удовлетворил бы, помыкая женой или любовницей и изредка оставляя на стенках в общественных туалетах надписи: “Здесь был такой-то “.

А выдающийся психоаналитик профессор Дав, ссылаясь на неувязки в личной жизни, с самого начала несложившейся (не взирая на угрозы Дурчегнуба наложить при случае на себя руки, особа, по которой он сходил с ума в студенческие годы, предпочла ему губернатора, человека весьма начитанного и состоятельного, причем решение свое мотивировала с подкупающей прямоотой: ... он мне серьги подарил золотые, колечко с драгоценным камушком, стихов знает много про любовь, а в ресторацию заходим мимо очереди, вино пьем из Франции, а суп едим из черепак... а с тобою только семечки лузгать! “ — как следует из письма, черновик которого на радость всем поклонникам Клио чудесным образом сохранился), выдвигает гипотезу, что именно после этого случая возненавидел отвергнутый поклонник интеллигенцию, буржуазию и монархию, роковым стечением обстоятельств соединившихся в лице счастливого соперника, и вся его дальнейшая жизнь — отмщение за поруганное Чувство и убитую Мечту.

Лорд Ричард считает, что большую роль сыграло врожденное рстремление к разрушению и хаосу. В уже упомянутой нами статье “Дурман диктатуры “он пишет: “так же точно, как в детстве сосредоточенно и спокойно крутил Дурчегнуб ноги игрушечным лошадкам, так же и потом, спокойно и соредоточенно, не выходя их кабинета и лишь отдавая приказы, он скрутил — не ноги, головы — миллионам людей... “

По мнению же архиепископа Свенсона — Дурчегнуб — дубинка в руках Господа, чашу терпения которого переполнили погрязшие во грехе человеки; а патриарх Всея Восточныя Империи Феофан без всяких обиняков отождествил Первого Президента с Антихристом...

А быть может, Дурчегнуб и впрямь задумал осчастливить человечество, всерьез полагая, что эквализм — ключ к решению всех проблем?

Кто знает...

* * *

... Эко его разобрало, как бы сменить пластинку? Попробуем.

— Так и что Наташа-то?

— Виновать... опять полез в какие-то дебри... на чем я остановился?

— Свидание...

— А, ну, ну... свидание... да... ходили по парку, о чем-то говорили, вот только о чем? Я бы ее поцеловал, вернее, попытался бы — но не знал, как к этому подступиться... походили, походили, проводил домой, а через два дня встретились снова, и я повел ее в кино — на отвратительный фильм “Красные дипкурьеры”. Причем, я его уже смотрел, и знал прекрасно — та еще мерзость! — но знал также, что в кино с девочкой идут не ради фильма, а потому, что там темно. Друзья научили!..

В буфете выпили сока и с первым звонком уселись на места. Я составил план: вот кончится журнал, погаснет свет, тут же и обнять... журнал кончился, свет погас и я произвел корректировку, зарезервировав еще минут десять... но минуло и десять, и пятнадцать и двадцать минут... а рука, срывающая замыслы, бойкотировала приказы Центра. — Давай же, давай! — по-нукал я, но она не подымалась, не поднималась и все! Взглянул украдкой на Наташу — с интересом наблюдала за происходящим на экране, жевала безмятежно ириску, не подозревая, казалось, какие тучи нависли над ее плечами.

Когда самого лучшего и самого красного дипкурьера сразила-таки вражеская пуля и он в затянувшейся агонии наказывал кстати подвернувшегося товарищу не забыть передать: нашим, что Антанта согласна менять станки на кроликов, а жене — партбилет, я вдруг вспомнил, что это — почти последние кадры фильма, и ужаснулся. Отчаянье придало сил.

Почесав за ухом и этим ложным маневром вывел свою армию, беспомощно трепетавшую пятерню, на ударную позицию, я зажмурился и бросился на штурм.

Но то ли время я выбрал неподходящее — и действия мои в свете подлого и вероломного дипкурьерова убийства отдавали кощунством; или же в любом случае обречен был на провал — только услышал я, едва дотрогнувшись до плечика, тихое и твердое: руки уברי.

Так-то!

А дружкам между тем рассказывал, что давно уж всюю целуемся, и Наташу в разговорах иначе, как Поварихой, не называл (действительно, мать

у нее работала поваром) — эта пренебрежительность, я думал почему-то, самый верный тон. Сводил, видимо, счеты: за то, что на самом деле даже и обнять ее не сумел...

Развязка не заставила себя ждать — сработал простейший механизм: кто-то из приятелей передал мои бесстыдные речи одной из своих подруг, кое-что, как водится, прибавив и от себя, та, в свой черед — своей знакомой, и тоже кое-что добавив — и т. д. — до Наташи все это дошло уже в совершенно разнuzданных формах. Воображаю, что она ощутила, узнав, что я отнял у нее невинность и трубку об этом на каждом перекрестке — ведь, наверное же, услышала она что-нибудь в эдаком роде!

А я беды не чуял, и когда она позвонила мне (что делала редко) и сказала, что немедленно и обязательно должна меня видеть — заинтригованный — что же стряслось? — поспешил на свидание.

На сей раз она не опоздала; не поздоровавшись, со словами: “Сюрприз. Дома посмотришь, не раньше “, — сунула мне загадочный сверток и пропала в людской толпе — как потом выяснилось, навсегда.

В сверток я заглянул сразу же и обнаружил там сказки братьев Grimm на немецком языке (мой подарок к наташиному дню рождения — ведь в школе она изучала немецкий), из которых, наподобие закладки, торчал вдвое сложенный листок. Развернув, я прочел (почерк у нее был округлый, красивый — как у большинства женщин): “Желаю тебе встретить на жизненном пути девушку, чье интеллектуальное развитие бы соответствовало. Прощай. Н. “ — а на обороте — разящий стишок, клеймивший бессердечие, подписанный каким-то таинственным и совершенно неведомым Цадасой.

И эти наивные попытки уколоть, особенно страшный Цадаса — знай наших! не вы одни книжки читаете! — вовсе не растрогали меня, а причинили сильную боль. Я немного оторшел только после того, когда заново пробежав записку глазами, отыскал в тексте штук двенадцать разнообразных ошибок. Например, слово “интеллектуальное” в авторской редакции выглядело так: “интиликтуальное”.

* * *

... В “Трех кабаках “веселие, по всем признакам, близилось к завершению. Допили всю водку, не лезло больше пиво. Человек десять, обнявшись, затагнули негромко старую революционную песню:

— Там, вдали, за рекой, догорали огни ... — иногда прерываясь, чтобы крепче обнять товарища и шепнуть: “Душевнее, душевнее, браток... “.

Когда же дошли до слов: “Ты, конек вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих... “ — многие прослезились, а Гуманист, долгое время сидевший неподвижно, уставившись в одну точку, вдруг вышел из оцепенения, поднял голову и внятно произнес: “Все мы родом из детства, господа... “ — после чего, стошнив себе на брюки, рухнул лицом в тарелку с копченой рыбой и задремал.

... Никто не обратил внимания на слаженный грохот множества сапог, донесшийся с улицы. Он все нарастал, нарастал — и внезапно оборвался.

Дверь открылась и вошел жандармский офицер с револьвером в руке. За ним виднелись фигуры солдат.

— Леди и джентльмены — обратился он к борцам за справедливость, бесстрашно и четко выговаривая слова, — имею сообщить вам, что вы окружены. Соппротивление бесполезно. Прошу сдать оружие и следовать за моими людьми.

В ответ заохали, заохали, запричитали, кто-то всплакнул; нашлись, впрочем, и рассмеявшиеся — кто знает, что померещилось им в пьяном бреду. Гуманист безмятежно похрапывал в тарелке, при выдохе разгоняя рыбью чешую по столу, а при вдохе вновь концентрируя ее вокруг себя.

Девушка в кожанке, бледная и с проступившими на лбу капельками пота, встав, потянула руку в карман — где затаился миниатюрный дамский пистолет.

Однако офицер выстрелил первым.

Страшная сила отбросила женщину к скамейке, и зацепившись за нее ногами, она опрокинулась навзничь и ударилась затылком о каменные плиты пола, произведя глухой деревянный звук. Пуля угодила в переносицу, проделав небольшую аккуратную дырочку.

В помещение, привлеченные шумом, набились солдаты. Тускло-тоскливо разлился по штыкам неоновый свет.

— Руки за голову, выходи по одному, — скомандовал офицер и...

... и тогда грянули тысячи громов и вспыхнули тысячи солнц!!

Бомба, предназначенная для господина Президента, взорвалась.

Пивная “Три кабана “и все ее содержимое перестали б ы т ь .

* * *

... Первый Президент не ошибался никогда. И при жизни (при жизни своей не ошибались и остальные президенты: хотя в Республике и любили прихвастнуть Самыми Демократичными Выборами в Мире, тем не менее, властителей менял не народ, а, обыкновенно, инфаркт либо паралич), и после смерти (и тем отличался от прочих; он не мог ошибаться никогда — иначе тень упала бы на всю систему).

А вот его преемники в загробном своем существовании оказывались менее удачливы. Ибо стоило сыграть в ящик одному, как другой немедленно начинал валить на него все шишки, обвиняя в изгибах, перегибах и отступлениях от Генеральной Линии; когда же списывать жалкое прозябание народа на грехи покойника становилось неудобно и неприлично — время-то шло! — в газетах вновь появлялись статейки о том, как веселее и вольнее всем живется и дышится, особенно в сравнении с дореволюционной Империей (поди, проверь!). В действительности же жизнь продолжала оставаться для масс безрадостной борьбой за кусок хлеба, и как и прежде, скрашивали ее водка, амур и бессмысленная болтовня.

И кривые роста преступности и алкоголизма в секретных донесениях, хотя и изрядно заниженные, а все равно подымались до альпийских высот, и все больше пьяных пролетариев, стуча в пивных кружках об стол, сходились на том, что жизнь — блядская, что при прошлом Президенте лучше было, а при позапрошлом — совсем даже хорошо; эх, Дурчегнуба бы сейчас — обязательно сокрушался кто-то, и все следом за ним.

Тогда Президент выступал по телевиденью с разъяснениями: да, еще не все благополучно, и причиной тому, во-первых, принципиально необуздываемая стихия — засухи и грозы, набеги саранчи, снегопады; во-вторых, вражеские козни — там, на Западе, чего бы они не говорили, а много у них разных паскуд, только и норовящих стране сбыть товар с гнильцой, вовсе никудышный и вообще учинить какую-нибудь пакость. Об этом, товарищи, нельзя забывать! Чего стоит один колорадский жук, выведенный в ихних лабораториях и затем сброшенный с дирижабля на парашютах на наши нивы и поля, на наши с вами посевы, и без того, кстати сказать, беспощадно терзаемые грызунами! в-третьих же, товарищи, ошибки прошлого руководства, которые, согласитесь, в два и три дня не исправить...

... И когда, наконец, Руководитель отходил в мир теней, его сменял следующий, и весь цикл повторялся заново...

* * *

... Ну-с, дабы облегчить страдания, исписал я целую толстую тетрадь бредятиной в стиле журнала “Юность” (Прим. авт. : имеется ввиду “Юность” образца 70-ых — начала 80-ых гг.) — впервые попробовав на бумаге разобраться в себе и в жизни. За что искренне благодарен Наташе.

А читанный вами “детектив” и проникший в школьные сочинения мифический Сергиенко — это... Что? Сергиенко? Разве я не говорил еще вам? Это — личность, порожденная преподаванием в школе Литературы и Истории. (Историю, допускаю, можно и нужно преподавать — подлинную, конечно; сложнее с Литературой — всякое ее коллективное изучение уж больно смахивает на групповое изнасилование). То были уроки гнусного вранья: картонные фигурки выдавались за людей, омерзительные казенные штампы — за реальную жизнь; на этих уроках всех приучали одинаково думать, а точнее, одинаково не думать; судить, не зная. Блок в “Незнакомке” воспел революцию, Пушкин в “Онегине” разоблачил дворянство, самодержавие — и т. д. Заставлять читать Гоголя! — ах, этим всем можно лишь привить к классикам стойкое отвращение, верно, о н и этого и добивались. “Я вас любил” — в двенадцать — не рановато-ли? А Достоевский в пятнадцать? Толстой? Притом насильно, из-под палки.

Так и вот — сражаясь по-своему с “литературой” и “историей”, изобрел я своего Сергиенко.

К примеру, требуют от вас сочинения на тему: “Герой нашего времени в современной литературе.”

Извольте:

“Книга писателя Иванова из Фрунзе “Донбасские каменоломни” с первых же страниц вовлекает читателя в непростой мир шахтерского быта: “Ночь над поселком... Свежо и покойно; ярко светят звезды (разносторонний дар писателя проявляется, в частности, и в мастерских описаниях родной природы)... В забоях весело, с огоньком трудятся добытчики черного золота, столь необходимого нашей промышленности. Дневная же смена — отдыхает. Спит и бригадир пятой коммунистической бригады имени съездов и пленумов Корней Сергиенко. Спит крепко, с сознанием выполненного долга (точность в изображении психологических деталей — также присуща Иванову вполне; никак ее у него не отыметь) — еще несколько сот тонн выработано сверхплана. Тишина над поселком, и ничто, как будто, не предвещает беды. Но чу! Что это? Будто бы ухнула огромная сова (весьма поэтично!) — обвал в штреке! Корней, разбуженный зловещим звуком, как был, в пижаме, наспех сунув ноги в тапки, рванулся к дверям: ребята... там ребята... надо скорей, ведь дорога каждая секунда...” — и т. д. “

Или просят рассказать о некоем пламенном революционере.

Пожалуйста:

“Николай Иванович Сергиенко родился в Куйбышеве (бывш. Самара) в 1890 г. Отец его, по профессии зубной техник, придерживался демократических воззрений, отчего и лечил иным беднякам зубы бесплатно; мать, образованнейший человек своего времени, встречалась с Добролюбовым, переписывалась с Карлом Марксом и все собиралась кинуть в царя бомбой, да как-то руки не доходили, а потом появился Колянька и стало вовсе не до того. С материнским молоком всосав тягу к справедливости, Коля не мог оставаться равнодушным, повсеместно сталкиваясь с крестьянами и рабочими в кабале, и поэтому уже в возрасте десяти лет он пять раз кряду прочитывает “Что делать”; к этой книге он будет возвращаться всю жизнь, как в трудные (до 17-го г.), так и в другие (после 17-го) времена — и т. д. “

Или пристали: что новенького происходит на планете? (т.н. “политинформация”).

Сергиенко и тут не оплошает, выручит, даже если для этого потребуются перевоплотиться в нефтяного спрута, порвав временно с революционным прошлым:

“ТАСС сообщает: Арабские Эмираты. Здесь, в минувший Понедельник, шах-крепостник Серг-заде заключил договор по эксплуатации местных нефтяных месторождений с небезызвестной в деловых кругах “Рокфеллер Оил Компани”; договор, грубо попирающий интересы коренного населения. По всей стране прокатилась волна протеста, в столице демонстранты окружили роскошный особняк надменного феодала и скандировали: Не отдадим нашу нефть Америке! Янки, прочь из эмиратов! — Подоспевшая полиция применила огнестрельное оружие. Имеются человеческие жерт-

вы, многие патриоты брошены в тюремные застенки. Все прогрессивное человечество с негодованием... “

И т. д., и т. д., и т. д.

* * *

... Мурло прислушался. Судя по долетевшим звукам, где-то далеко вырвало перепившего великана. Мурло, довольно усмехнувшись, подбросил на ладони небольшой, со спичечную коробку, металлический брусочек и швырнул его в лужу. Всхлопнуло, взметнулся фонтанчик грязи.

Старик усмехнулся вновь — и, доложу я вам, премерзко! — поднял воротник драпового своего пальто, и побрел... Куда?

... Уж не к тебе ли?

Глава третья

... Полчища мстительных человечков, проникших в него вместе с выпитым, притаясь, как всегда дожидались своего часа. И, как всегда, дождавшись, дружно нагадили в глотке, а затем пробрались в черепную коробку и энергично, неумоимо застучали молоточками в стенки. Усиливая муки, оживал в памяти вчерашний вечер — вонзающимися в душу осколками.

... Вот стоит он, свободный, отважный и дерзкий — эдакий лейтенант, нет, капитан, нет, полковник целый Глан — перед заветной дверью, потенциальный властелин мира, прыщавый Робеспьер, а в сумке у него — заначенная бутылка водки.

Знакомый, милый голосок, настороженно: “Кто?”

— Тот, кто приносит дождь. Открывай, Кристина! Я был полетом стрелы! Я шел по следу оленя! (нетрезвый Трюндель цитирует, в восторге от своего остроумия, слова из песни популярного в народе ансамбля “Террариум”)

... В прихожей розовый пузатый абажурчик обманчиво сулил покой и волю своим мещанским сладеньким освещением.

— Трюндель! Да ты, никак, пьяненький, Трюндель?

Чепуха! Она смеется, оболстительная Кристина — она все-таки чертовски привлекательна, и особенно, когда смеется — о чем прекрасно знает.

— А где же обещанный дождь?

— Здесь, в сумке. У нас без обмана. Давай-ка рюмки. Эх, веселые граменные стаканчики, в вашем звоне узнаю я ресторанчики! (вновь процитирован заслуженно пользующийся народным признанием “Террариум”)

— По какому, если не секрет, поводу?

— Не секрет. За успешную сдачу предстоящего экзамена.

(Да, экзамен завтра, и надо бы договориться насчет конспектов — хоть полистать с утра...впрочем... ха, история! как бы не пришлось историкам этим вонючим вносить на днях кое-какие поправки... но об этом ни сло-

ва... Толстяк...глупая девчонка, ни о чем-то ты не догадываешься... но нельзя, Толстяк... почти прозрачная блузка... руку протянуть... неужели же есть негодяй, что приходит сюда как хозяин... сажает на колени... и она ластится к нему... курят одну на двоих, по-очередности затягиваясь, потом он щелчком ногтя отправляет окурочек в форточку, гасит торшер... нет! никого она к себе не подпустит — кружит только головы и потешается... не больше)

— На брудершафт? Но ведь, Трюндель, мы и так на “ты”, и вообще, скажи спасибо, что я не выгнала тебя в три шеи, да еще и пью с тобой эту дрянь... разве так должна вести себя порядочная девушка? Превратить квартиру в притон, распивать по ночам водку с личностями более чем сомнительными... так недолго, мой милый, и на панели очутиться.

И опять смеется. Дразнится. Руку протянуть... Мой милый... кружит головы и потешается... а того не ведаешь, с кем дело имеет... но нельзя, никак нельзя! Толстяк пронюхает, а он пронюхает непременно, и пощады тогда не жди...

— Знакомый мой говорит так: “...вы, женщины, как бутылки. Откроешь, напьешься и выкинешь... приспичит, откроешь новую... “и так дальше... чего это ты, Трюндель, приумолк? И приуныл как будто? Не хочешь ли почитать стихи? Отличный штопор, уверял тот же знакомый.

(Издевается! но я не игрушка тебе, понятно!? не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого... как там дальше...)

— Стихи? А я непрочь. Желаете про любовь? Тогда позвольте небольшой экспромтик: Кристина! Сжальтесь надо мною, быть может, за грехи свои, мой ангел... ах, уже где-то слышали... а тогда такой: мужчины говорят руками! — это, врать не стану, не мое — известной нашей поэтессы сочинение — здорово сочинила, правда? Поговорим?

... Пусти сейчас же... Кристина... поговорим о чем-нибудь другом... я вас люблю любовью брата... пусти, дурак... а может быть, еще сильнее... надоел, пусти же, пусти!

Уперлась коленкой в грудь и столкнула на пол. Больно ушиб ногу и пока прочухивался, Кристина спрыгнула с дивана и укрылась в ванной. Щелкнула задвижка.

— Какая ты, Трюндель, оказывается, скотина!

Но справедливое это замечание лишь подлило масла в огонь.

— Что? Война? Что ж, мы мирные люди, но наш бронепоезд... короче, пять минут тебе на размышления: либо капитуляция, полная и безоговорочная, либо пеняй на себя — открываю военные действия. Штурм унд дранк, операция “Осиное гнездо” — и принялся засовывать под дверь газету, стараясь шуршать ею при этом возможно громче, загремел угрожающе спичичным коробком.

... вышла. Не видел лица в темноте, а голос спокойный: “до чего же мерзок ... “

Шагнул навстречу, думал обнять —

... до чего же мерзок ...

— и замер, обожженный картинокой: потный, прыщавый, бухой кретин... мерзее, и впрямь, некуда... ласок домогается, а ее, может, вырвет сейчас от отвращения.

... Потерявшие или ненашедшие Бога люди пытаются обыкновенно загнать чувство ненужности своего бытия в самый дальний уголок подсознания, возводят вокруг забочки: не засорят башку ерундой, мы — как все, пропустим лучше по рюмашке, опять колбасы нигде не купишь, а какой мальчуган растет — богатырь! , они — чернь и стадо, а я — мыслитель и творец — и т. д.

Между тем, жизнь беспрестанно тычет нас носом в наше же ничтожество, и как бы не старались мы ничего не замечать, все это скапливается там, в потойном уголке, суммируется, вызревает — и вот уже достаточно малейшего толчка, чтобы рухнули казавшиеся неприступными бастионы.

— до чего же мерзок — сказала Кристина, сказала холодно, спокойно, но ядро ударило в крепостной вал, пробило брешь — и следом, в единый миг, ворвался поток боли и отчаянья, обиды и безысходности, слившийся в сплошное безграничное НЕ ТО.

Напрасно все, впустую; все, что ни сделано, ни сказано, ни передумано, ни перечувствовано — не то, не то, не то!!

Равнодушная вечность ненароком коснулась его, исчезли пространство и время — и корчился несчастный задавленный человечек и молил о смерти.

... Другими словами, ему “стало мучительно больно за бесцельно прожитые годы. “

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 1.

Кто бы ты ни был, я боюсь, ты идешь
по пути сновидений

(Уолт Уитмен)

Первый встречный, если ты, проходя,
захочешь заговорить со мной, почему
бы тебе не заговорить со мной? И почему
бы мне не начать разговора с тобой?

(Уолт Уитмен)

Если я кого люблю, я нередко бешусь от
тревоги, что люблю напрасной любовью,
но теперь мне сдается, что не бывает
напрасной любви, что плата здесь верная,

та или иная. Я страстно любил одного человека, который меня не любил, и вот оттого я написал эти песни

(Волт Уитмен)

АВТОИНТЕРВЬЮ (выдержки):

В (вопрос) : Работаете ли сейчас над чем-нибудь новеньким?

О (ответ) : Да или нет, на это всем наплевать.

В: Вообще, зачем Вы пишете?

О: А зачем вы ходите в клозет? Вот и я — облегчиться.

В: Часто ли перечитываете Вы классиков?

О: Гораздо чаще, чем берусь за перо; но что толку?

В: Ну, а Ваш взгляд на современную литературу? Большая ли разница между т. н. официальным и подпольным искусством?

О: Никакой разницы нет, как нет и никакого современного искусства, а одно дерьмо. (В скобках замечу, что дотошные филологи как-то подсчитали, какое слово у Пушкина встречается чаще всего. Этим словом, конечно же, оказалось слово “любовь”.) А дерьмо — оно дерьмо и есть, как ни назови.

В: Пусть так. В этом случае, не тот ли это самый навоз, который вскормит будущие роскошные сады?

О: Сомневаюсь. Да, роза может расцвести в навозной куче, и еще как, но для этого необходимо, чтобы сначала ее семена попали в унавоженную почву. Сама же по себе куча дерьма никогда ничего не произведет, так и оставшись кучей дерьма.

В: Запад, по-Вашему, находится в лучшем положении?

О: Слишком малой информацией мы располагаем, чтобы делать какие-либо выводы. Но лично мне кажется, что и у них все тоже самое, если не хуже.

В: Так что же? Искусству грозит гибель?

О: Вы чертовски проникательны. На это именно я и намекал: да, оно гибнет. И с ним вместе — человечество.

В: Смущает Ваше хладнокровие. Сознаетесь — Вы и сами-то не вполне верите мрачным прогнозам Вашим? Сгущаете, за ради красного словца, краски?

О: Как сказал Ильич врагам народа и революции (и наоборот) : История нас рассудит.

В: Насколько нам известно, детей покуда у Вас нет...

О: Насколько мне известно, нет.

В: Предположим, они появятся? И в один прекрасный день снимут с полки томик Ваших сочинений...

О: И на пушечный выстрел не подпущу. Вообще, моя бы власть, никаких книг. Но, раз уж без этого нельзя, сказал бы я им, дети мои, опасайтесь

всех этих солженициных и ю. семеновых, карамзиных, светониев и пикулей, пушкиных и дементьевых, гоголей и пещухов, лениных и фрейдов, марксов и ницше, де садов и ерофеевых, набоковых и бокаччио, достоевских и распутиных; бегите джойсов, прустов и кафок; не вляпайтесь в толстых, шекспиров и панферовых; бойтесь всяких камю и буниных, арцебашевых и сологубов, айматовых и поляковых; трепещите беккетов, пинтеров, ионесков, в особенности отечественной закваски: петрушевских, садуров и прочих монстров; не прикасайтесь к щедриным, булгаковым, аксеновым, войновичам; стороной обходите еврипидов и розовых и розановых, апулеев и цецеронов, чайковских и чуковских, цветаевых и приговых... нет, дети мои, не прикасайтесь к этой сволочи. Винни-Пух, Хоббиты, мистер Пиквик, Дживс и Вустер, Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро — вот кого держитесь. Они не обманут и не предадут.

* * *

... Дурчегнуб умер, оставив страну в разрухе. Спасти режим могла лишь беспощадная тирания, подмявшая бы под себя все население.

Наибольшую опасность представляла интеллигенция — как средоточие людей, способных осознать, что даже в идеале государство Сукрама, по сути своей, противно и человеческому началу в человеке (ибо в фундамент закладывает начала животные) и животному (ибо животное начало не приемлет равенства в любых формах) — т.е., способных осознать, что цель никогда не оправдывает средств; смечь пролитую кровь будет нечем. Не говоря о том, что цель эта едва ли достижима.

Итак: чтобы поставить общество на ноги и не упасть при этом самому, режим должен был прежде всего отрубить обществу голову и вырвать сердце. Предлог не нов и хорошо известен: голову и сердце объявить злокачественной опухолью, себя же — сердцем и головой.

* * *

... Поступив в институт, я влюбился в сокурсницу, безнадежно, но всерьез и надолго. Как водится, на этой почве накопал с десятка два рассказцев. Из глупости и тщеславия читал их некоторым приятелям — и нарывался на бестактные, но, увы, справедливые отзывы: детские каракули, графоманские штучки, ну, и т. п. А один каналья, собака и прохвост — взяла и вздремнула, когда я вслух зачитывал что-то из своих шедевров; тщетно старался я себя убедить, что этот фортель выкинул он специально, из личной ко мне неприязни.

Да я и сам знал: выходит, в основном, дрянь, но так же знал, что кое-что могу передать верно, и чувствовал, что в двух-трех рассказах мне это уже удалось. В особенности — хе-хе — когда перечитывал их, порядком нализавшись. Сразу смысл обретал глубину, а форма — отточенность. Все равно как с книжечками, в которых картинки смотреть нужно сквозь специальные очки. Без очков, сколько ни гляди, ничего, кроме разноцветных,

беспорядочно разбросанных пятен, не увидишь — а оденешь их — и пожалуйста: перед тобой изображение какой-нибудь симпатичной дамочки.

... А все-таки, в один знаменательный день, я снес рукописи на свалку и устроил небольшое аутодафе — в знак протеста против бездарности своей... против черствости сердец человеческих... против мира, в котором не смог найти себе места.

И хоть бы жалкая молния, самая малюсенькая, либо раскатишко громовой... но нет, стихии, явно сговорившись со Злым Роком — не замечать, и тем унизить сильнее всего — стихии помалкивали...

* * *

... застонал и укусил подушку. Однако спасатели уже торопились на помощь, заделывать бреши (чем толще кожа, тем реже нуждаются в их услугах, и тем быстрее идут восстановительные работы). Внутренний утешитель принялся нашептывать: да будет тебе! Полно! Из-за бабенки, подумаешь... ну, нажрался, ну, полез, ну, не дала... и все, с кем не бывает? кстати, экзамен сегодня, ты не забыл?..

Трюндель свесился с кровати и дотянулся до пакета, лежащего под стулом. (Пакет этот купил у спекулянта совсем недавно, без сожалений расставшись с двумя рублями — изображена на нем была оттопыренная, в натуральную величину, задница, туго обтянутая синими джинсами с фирменным клеймом .)

Обнаружив в пакете тетрадку, Трюндель вытащил ее, раскрыл на первой странице и прочитал красочно выполненный плакатным пером (ах! прилежная Кристина!) заголовок:

Искусство и люди. Магистр философии Умбедден Слууд.

А прочитав, тетрадь отшвырнул и выругался — напутал спьяну, и вместо истории — прихватил, значит, конспект по искусству.

Но нам его оплошность на руку, так как в дальнейшем мы намерены уделить личности магистра и его трудам самое пристальное внимание. Поэтому воспользуемся удобным случаем и представим Слууда читателю.

Трюндель же через некоторое время сообразит вновь заглянуть в пакет и к своей радости, найдет там еще и другую тетрадку, именно ту, какую и было нужно — с конспектами по истории. И мы тогда опять займемся его делишками.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 1.

КАК БЫВАЕТ

Молодой человек не спешил. После каждого глотка он опускал бутылку на ступеньку и устремлял на меня лукавый взор, давно, видно, догадавшись, что мне от него нужно. Нужна же мне была пустая бутылка — все

же двадцать копеек. Я сильно надеялся, что юноша выручит меня. Тогда останется добыть еще пятьдесят, и, сложив с остальными сбережениями, купить пузырь и выпить. Дальше — легче будет, что-нибудь придумаем...

Так. Допил. Ну, теперь за дело. Главное — что? Обходительность и ненавязчивость. Ненавязчивость и, вместе с тем, непринужденность. Одним словом, интеллигентность. В эдаком духе:

— Прошу прощения, посудка ведь ни к чему вам?

— Бери, бери — разрешил юный джентльмен, ухмыляясь.

Что же, щедра молодость. Мне вон — двадцать копеек подарил, какой-нибудь бабенке — известное физиологическое наслаждение, тело и душу — партии и народу. Все справедливо. Теперь дело за полтинником; чертовски болит голова и тошнит.

Вот так повезло! Кто-то обронил рубль. Целый рубль валяется у меня в ногах, и молит, как выброшенная на сушу рыба, быстрее ввергнуть его обратно в речку товарно-денежных отношений.

Магазин был рядом. Через несколько минут бутылка портвейна покоилась во внутреннем кармане пиджака.

Если сейчас свернуть направо, то попадешь в уютный скверик, где никто не помешает. Ни разу не встречал я тут развязных мальчишек и милиция сюда не наведывалась — один только брат-алкоголик... Нравилось мне это местечко — сядешь себе на лавочку под сенью стаканового дерева, сорвешь с ветки переспелый, разящий винцом стакашек, и — прекрасно в нас влюбленное вино!

Я приготовился свернуть, и свернул бы, но вдруг заметил, что какая-то женщина, остановившись метрах в пяти впереди, глазет на меня.

А чего глазеть? Как человек опуститься может? — так таких, как я, много, а есть и похуже.

— и тут понял, что знаю ее. Да она внешне и не изменилась особенно. А ведь минуло-таки лет семь, как я ее последний раз видел. А она не изменилась. Стоит и смотрит; и думает, наверное — и этот-то вот когда-то обнимал меня, говорил, что любит. С отвращением думает. А может, и не узнала. Просто шла по улице, видит, пьянчужка тащится. Взяла и пожалела, абстрактно, то-есть пожалела: вот, мол, до чего докатился, бедолага.

Впрочем, мне-то все равно. Совершенно все равно. Ей всегда было все равно, а теперь и мне все равно.

Или и не она это вовсе, а кто-то на нее похожий? Да какая мне разница...

... и ноги повернули направо, в скверик. Когда я вынимал из кармана бутылку — заметил: немного трясутся руки.

С похмелья в последнее время у меня всегда тряслись руки.

... Не нужно обладать сверхпроницательностью, чтобы понять, зачем автору, человеку, кстати сказать, умеренно пьющему, понадобилось сочинить эту алкогольную фантазию.

Что до трясущихся рук... конечно, можно было и без них обойтись, автор иронически относится к подобного рода романтическим деталям, поверьте! Но ему так стало себя жалко, так он растрогался, сочиняя этот бред, что не смог одолеть искушения поставить такую вот сентиментально-пошлую точку.

Впрочем, с руками ли, без — слабый, очень слабый получился рассказ. Искренний, правда, но слабый.

И так бывает...

* * *

... Казни, тюрьмы, лагеря и ссылки, грозившие интеллигенции, ожидали и остальных.

Чтобы вовлечь народ в революцию, эквалисты убеждали его в том, что корень зла — Дундук и империализм. О том, что корень зла может быть и в бескультурии и тупоумии людского стада, они хотя и любили потолковать промежду себя на партийных съездах, перед массами не слишком-то распространялись.

Эквалисты обещали золотые горы: свободу, равенство, братство и достаток, — и подводили к мысли, что наступит вся эта благодать немедленно после расправы с Дундуком. Скажи они народу иначе: у нас нет никаких гарантий, переворот — начало пути в неизвестность, а то и в никуда; после него лет двадцать нужно из кожи вон будет лезть, чтобы только восстановить разрушенное — мало кто встал бы под их знамена.

Прекрасно это понимая, эквалисты потому и напирали единственно на то, что, дескать, опрокинем Дундука — и то-то, братцы, заживем!

Вот и опрокинули.

После чего поставили народ в известность, что он отныне — властелин, полноправный хозяин и самый великий в мире, как разбивший оковы ненавистного рабства; а поэтому и обязан работать с утроенной энергией.

Но ведь согласно Сукраму — соловья баснями не накормишь. А призывы к труду подкреплялись пока одними словами — условия существования отнюдь не улучшились, как надеялись плебеи, а напротив — ухудшились.

— Как же так? — удивились плебеи.

— А так, — разъяснили эквалисты, — очень просто. Чего вы, собственно, нервничаете? Просили вы свободу? нате, берите ее со всеми потрохами. Никакой Дундук теперь вам не страшен. Империалистов сокрушили, заводы и фабрики в вашем распоряжении. Мы-то свое слово держим. Очередь за вами. И так как вы — народ-исполнин, то, конечно, не подведете.

Разъяснить — разъяснили, а сами волновались: передовое учение предсказывало, что в такого рода ситуации исполин может и сплеховать. В соответствии с передовым учением к бодрящим душу словам следовало прибавить что-нибудь повесомей.

Никаким иным средством, кроме страха, эквалисты не располагали.

— Кто не работает, тот не ест? Нет, кто не работает, того к стенке или в лагерь. За невыполнение плана — к стенке или в лагерь. За опоздание на службу — к стенке или в лагерь. Верить в идеалы — живи, а нет — к стенке или в лагерь. Усомнился — туда же. Верил в идеалы и все равно угодил к стенке или в лагерь — значит, плохо верил, прятал вражью суть. Загляни себе в душу — все ли в порядке там? И если нет — после зря не обижайся, а если да — тоже не обижайся, и на старуху бывает проруха, лес рубят, щепки летят, ничего, потерпишь за партию и за народ, когда-нибудь воздастся тебе по заслугам: сидел спокойно, не квакал в ущерб Идеи и врагам на нечистую руку.

Загляни в душу соседа. заметишь что чуждое — скорее сообщи куда положено. Не уверен? Там разберутся, ты, главное, сообщи. А нет — пеняй на себя, теперь ты — негодяев пособник, и сам — негодяй.

И не сомневайся — зря людей никто обижать не станет.

И пораскинь мозгами — неужто ты все делаешь из одного только страха, желания сберечь свою шкуру? Нет, нет и нет. Дерьмо ты, что ли? Скот? тебе обидно быть дерьмом. Чтобы сознавать себя человеком (и заодно сберечь шкуру!) ты веришь любой ахинее.

Поэтому: ты участвуешь не во всеобщей резне и безумии, а в построении нового, светлого мира. Мира счастья и справедливости.

* * *

... Знаменитый куфельный мужик, на которого так надеялись классики, не подкачал: Ивана Ильича и вправду научил, что помереть — дело нехитрое, научил крепко, со всем размахом загадочной русской души; Онегина с Печориным исцелил от сплина, кстати избавив общество от лишних людей, а Татьяну и княжну Мери, некогда бесивших господина Писарева идиллическим мировоззрением, заставил наконец-то внять народным чаяньям: изнасиловал их в ихних же поместьях и замках и вышвырнул на улицу.

Стряслось непоправимое: княжна Мери, давно уже страдавшая легким умопомешательством (до чего довели ее, с одной стороны, писаревы со своей неистойвой и площадной руганью, а с другой — печерины со своими вселенскими хандрою и выкрутасами), а теперь, после надругательства, и вовсе спятившая — эта больная, обесчещенная женщина понесла от куфельного мужика и разрешилась от бремени отвратительным ублюдком, чье имя — псевдоинтеллигенция.

Профаны, хамы и дураки вломились в храм Искусства и осквернили алтари.

Исключительно посредством любя, спешат высокое унижить до себя — это сказано о них. Привыкшие к гнусному отупляющему пойлу, они дорвались до вин столетней выдержки, вин, один глоток которых назначен будить все светлое, стремить к прекрасному — и хлещут, как привыкли хлестать свое пойло, не замечая разницы — ее для них не существует.

Ослу образование дали, он стал умней? Едва ли. Но раньше как осел он просто чушь порол, а нынче — ах, злодей, — он с важностью педанта при каждой глупости своей ссылается на Канта (цитата).

Это они — на острие культурной жизни — с модным журнальчиком в руках прохаживаются в фойе модного театра или по залам модной выставки, разглагольствуя (опять цитата) : живопись свежа... идея слишком символична, но стилизовано прилично...

Это они, полистав Толстого, а зачастую не утруждая себя и тем, смеют вкаты, что “он, как художник, бесспорно, велик, но как философ — извините, довольно примитивен “. Это не моська лает на слона, это инфузория-туфелька бранит мироздание.

Они не понимают, почему “бесспорно великий “Достоевский действительно велик, но боятся сознаться в этом даже себе. Зато обожают при случае вернуть: перечел давеча Карамазовых, вот это, доложу вам, глыба... — а если его и почитывают — себя превозмогая, престижа ради.

Поэтому им Булгаков ближе, чем Гоголь и Гофман, а разные орловы — ближе Булгакова.

Уж конечно, жить они не могут без Кафки и Камю — которыми оправдывают псевдоинтеллигенты собственное бездействие. Да, их ежедневно и ежечасно лупят по морде и втапывают в грязь, а поди спроси — чего ж сидишь, сложив ручонки и буйну голову повесив — получишь в ответ: да что вы, батенька? ведь цельная машинерия адская, безжалостный механизм — щепку сделает, в порошок сотрет... что я могу, песчинка в бездне мироздания? да и что такое наша жизнь, как не лабиринт, в котором выход — смерть, караулящая за каждым углом со своими меньшими братьями: насилием и предательством?

И вот они благославляют сыновей на ратные подвиги в жарких странах, исправно навещают избирательные участки, частые гости на субботниках, воскресниках и собраниях — и скажут выступить с зажигательной речью на митинге — выступят, не поперхнутся — потому что как же иначе? Машина же — что может противопоставить ей жалкая песчинка?

Ну, кое-что все-таки может.

Например, придя домой, послушать что-нибудь эдакое, для души, ну, там, шлягер, зовущий кручиниться “под музыку Вивальди об этом и об том “. А то, глядишь, запустят и самого Вивальди — и покручинятся вволю.

Или засесть в пивной, нарезать до чертиков и попищать в своей кампании: нас душат, душат! — а после не смыкать всю ночь в тревоге глаз и подсматривать из-за занавески — не окружают ли чекисты дом — а утром взять и с перепугу вступить в партию.

Противнее же всего, что эти существа сами берутся за кисть, смычок или перо...

Умбедден Слууд, как принято говорить, был человеком непростой судьбы. Большую часть своей жизни этот мыслитель провел в лагерях, на короткий срок попадавший на волю всякий раз при смене президентов.

Очередной президент начинал всегда с разговоров о необходимости экономических реформ и преобразований и о необходимости дальнейшего (sic!) расширения демократии. И если легко, и тысячами способами, можно было доказать, что экономические реформы — не пустая болтовня (к примеру, повысив цены на мясо и понизив на кашу “Геркулес” — ведь, во-первых, научные опыты на крысах со всей очевидностью продемонстрировали предпочтительность последней во всех отношениях: крысы, употреблявшие мясо, хирели и вырождались, а евшие кашу — наливались здоровьем и силой; во-вторых же — мяса все равно в магазинах нет, а “Геркулес” пока еще лежит), то, для того, чтобы дать миру немедленное, бесспорное, наглядное и яркое свидетельство демократических перемен — приходилось заходить все время с одного и того же козыря: реабилитация “не совсем справедливо осужденных вследствие некоторых отклонений от Сукрамо-Дурчегнубовской линии, к сожалению, имевших место. “

И кое-кого из числа “не совсем справедливо осужденных“, сумевших дожить до счастливых времен, действительно отпускали на волю. Предпочитали, естественно, реабилитировать посмертно — оно как-то надежнее.

Реабилитация при нынешнем президенте оказалась для магистра Слууда третьей.

Газеты вновь запестрели заголовками “Возвращен к жизни“, “Торжество справедливости“, “Он не озлобился“, “Вера в людей“.

В первый раз Слууд и впрямь был склонен питать некие иллюзии, но вскоре опять очутился в лагерях. Чему предшествовали горячие и повсеместные уверения тогдашнего вождя — дескать, наконец свершилось: веха на пути, историческая победа, и демократия отныне в соку, зените и апогее.

Поэтому вторично выпущенный, Слууд отнесся к дифирамбам в свой адрес с философским спокойствием, но за прессой следил внимательно и регулярно, и однажды вычитав в газете, что близится самый разгар демократии, сложил рукописи в сундучок, зарыл его в саду под яблоней и отправился в парикмахерскую, где велел остричь себя наголо: в тюрьме эту же процедуру осуществляли при помощи тупых и ржавых лезвий, что само по себе было достаточно неприятно, к тому же могли порезать и внести инфекцию.

Никогда не паредпринимал магистр попыток покинуть родину, не слишком жаловавшую своего сына, хотя и были его книги изданы на Западе (и только там) и признаны.

Нынешний президент столь часто горланил о демократии, что, освобо-

дившись в третий раз, Слууд даже не рискнул выкопать заветный сундук. Не выкопал, и узнав о Высочайшем Позволении прочесть курс лекций в Университете. Лекции на пятой аудитории посетил некое высокопоставленное лицо (безусловно, посещали лекции магистра и другие лица из того же ведомства, но, не будучи столь высокопоставленными, они и не афишировали своего присутствия; однако же, конспектировали усердно). По окончании лицо долго пожимало Слууду руку, в присутствии студентов пылко и неоднократно восклицая: великолепно, магистр! бесподобно! какая отточенность мысли! истинное наслаждение вас слушать, — а потом, понизив голос, уже конфиденциально прибавило: а знаете, есть мнение и книжечку вашу издать. Пора, давно пора! А то им, понимаешь, можно, а нам, понимаешь, нельзя!

Тем же вечером Слууд, смекнувший, что к чему, поспешил в парикмахерскую и не ошибся. Ночью за ним пришли.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 1.

В ПОДРАЖАНИЕ БИТОВУ

Он проснулся в десять, как всегда. Умылся, позавтракал. Решил съездить в институт. Все же дело. Сунул в дипломат книжку, чтобы было что почитать в метро, оделся и вышел на улицу. Моросил дождик. Около метро купил пачку сигарет, и, не торопясь, выкурил штучку. Торопиться некуда было. Через час добрался до института. У входа встретил приятелей.

— Пошли пиво пить?

— Да у меня рубль всего.

— Ну ничего. У нас по-стольку же. Пару кружек пропустим — там видно будет.

— Я могу еще рубль...

Скинулись. Еще по две наскребли. Разговор живее пошел.

— Вот, я помню, случай был...

— А я как-то, помню...

Допили пиво. Денег нету. Осталось трое, самых стойких — среди них и наш герой. Остальные разъехались по домам.

— Что делать будем?

— Пойдем в общагу, там зайдем.

— Если тебе только, нам уже не дают...

— Там посмотрим. Идем пока.

Идут в общагу. Занимают червонец.

— Пойдем водки купим, заершим.

— Да ну, пива поьем лучше. Почти по шесть выйдет.

— Конечно, пива, ну ее, водку эту. Подорожала...

Решили — пиво. Вернулись в пивнушку. Времени уже два. Быстро летит.

* * *

Эквалисты нуждались в козлах отпущения. Чтобы всегда было в кого ткнуть пальцем: смотрите! вот кто сует нам палки в колеса! вот из-за кого мы гнем спину, как мухи дохнем, а не живем припеваючи! Да-да! Из-за них, из-за них, проклятых, а вовсе не из-за того, что жизнь наладить человеческую — не сукрамовские зубрить книжонки...

Воспользовавшись расхожим эквалистским штампом, скажем так: “сложились все объективные предпосылки тирании”.

Возможно, теоретически и существовал некий минимум насилия, обеспечивший бы устойчивость режиму. Но так как он, этот минимум, все равно включил бы в себя расправы над десятками, если не сотнями тысяч людей, повинных разве в том, что они — живые люди, а не заводные куклы, или еще в том, что на плечах у них головы — а не пустые кастрюли или капустные кочерыжки — личность, вознамерившаяся ограничиться минимумом насилия, никогда и нипочем этого не добилась бы. Так как подобная личность, именно в силу этого стремления, хоть во что-то ставит человеческую жизнь.

Наивно полагать, что заправлять тиранией мог какой-нибудь мямля, слизняк, льющий слезы по поводу каждого им загубленного человечка — ай-ай-ай... этим-то, пожалуй, пожертвовать придется ради всеобщего блага (т. е. пребывания эквалистов и самого себя у власти)... но неохота страсть... а не удастся ли сберечь?

Нет, возглавить тиранию способен только тиран (ни в чем не уступающий самому Дурчегнубу) : одержимый манией величия мерзавец с никогда не утоляемой жадной подчинять, убивать и мучить. Это для него — отнюдь не временная печальная необходимость прибегнуть к злу, дабы в итоге добро торжествовало (но коль скоро есть возможность прикрыться интересами добра, он никогда ее не упустит) — но самая цель.

* * *

... Хлев и свиньи в хлеву. Свиньи-сочинители и свиньи-потребители. Сочинители — те, кто пробрался к стенкам, заглянули в щелку и пытаются хрюканьем передать увиденное. Остальные же свинки — и вовсе от стен далеки, порой настолько, что не догадываются о их существовании и отождествляют хлев с Вселенной. Но все же в каждой живет — часто неосознанная — тоска по какому-то другому, настоящему миру — потому-то и пользуется спросом среди потребителей хрюканье сочинителей, и чем оно доступней и примитивней, тем большим спросом оно и пользуется.

А свинья-сочинитель наслушается там у ограды, о чем между собой люди говорят, рассмотрит в щелку отражение колокольчика в луже, совсем ошалеет и возомнит себя человеком.

... Выучили всякие слова и к ним не подступишься... хрюканье свое называют Искусством, себя — Творцами, и все без исключения горят творческим огнем. Телевизор ли включишь, газету ли развернешь — непре-

менно там боров какой-нибудь распинается: мы, артисты! мы, художники! кто-то внутри меня хочет петь, и хоть ты тресни! ни дня без строчки, вышивал годами, ночи напролет бился... пишу, ибо не могу молчать — тут и почешешь себе в затылке — не Лев ли Николаевич воскрес? Не Александр ли Сергеевич? Ан нет! Это, знаете, вознесевские, евтушенские, петрушеские всякие — и как же им молчать, когда сам Аполлон призвал их... ну, и так далее...

Они закованы в броню из подслушанных у людей разговоров, и их не прошибить.

Даже взять хоть свинью, всю жизнь незатейливо визжавшую — на радость миллионам других — что “ты такой холодный, как айсберг в океане“. Казалось бы, уж у нее-то какое может быть горение? С чего бы ей? А вот горела, горит, и прекращать не собирается — ведь хочется ей донести к сердцам пускай простое, но зато вечное — конечно, попробуй тут не превратись в головешку! А допекут ее когда коллеги повыше рангом и их поклонники — что это, матушка, мол, туфту какую гонишь — подлая безмозглая сука в ответ на происки сбациает, например, стишок Мандельштама, кой-что по-свойски подсократив, кой-что подправив — и миллионы свиней закусят под этот стишок, выпьют под него и потискают друг дружку... — а она вам скажет, что приобщает массы к Искусству... Да... будто бы на твоих глазах всем скопом насилуют любимую девушку, а ты ничего не в состоянии сделать, разве что отвернуться.

... Рангом выше? У них и щель в ограде и хрюканья диапазон — пошире, дано им больше, и именно поэтому среди этой категории свиней встречается самая гнусная разновидность — берущихся философствовать и обобщать, устанавливать причины и следствия. А философствующая свинья — это, пардон, !!!!

Сохранившие остатки разума довольствуются, не зарываясь, изображением сиюминутных фрагментов из быта отдельных свинок — причем, как правило, впадая в зубоскальство, но уверяют (за людьми следом), что оно скрывает невидимые миру слезы.

Но их смех — смех не человека, а свиньи, не очищает, а марает душу, и за ним стоит — не сострадание, а презрение и злоба (тщеславные и мелочные, порожденные желанием доказать свое превосходство и свести какие-то личные счета), и творческое бессилие — отними у них издевку, поперхнутся и захлопнут пасти или вовсе начнут нести чушь несусветную ...

* * *

Умбедден Слууд. Искусство и люди.

(Примечание: автор, рискнувший изложить некоторые волнующие его мысли от имени им же выдуманного магистра философии, понимает, что ставит себя в ужасно глупое положение. Бывало, ни с чем не сравнимое удовольствие получал он, любуясь актеришкой, чьи познания в точных науках едва ли простирались далее таблицы умножения, гримированного

Эйнштейном и на телевизионном экране бодро дробящего мел о доску и приговаривая при этом, как шаман, какое-нибудь сугубо научное заклинание: “здесь бы нужно поаккуратней работать на верхнем пределе”, “а что, если мы слегка транспонируем эту вот матрицу”.

В сущности, появление Слууда в романе мало чем отличается от такой “работы на верхнем пределе”.

Но, чтобы совсем не опозориться, автор взял свои меры: лекции магистра изложены в виде конспектов, выполненных, конечно же, Кристиной — а она, понятно, субъект, в философии малосведующий. Удачно выйти замуж и нарожать детишек — вот и вся ее философия (отметим, философия не из худших).

Итак, откроем конспект...

1. Искусство. Созидатели.

Чувство, ощущение — глубинное восприятие окружающего. Внешний раздражитель, зрительный или слуховой: мимо проходящая девушка, неприятности на службе, свет солнца или луны, шумящие на ветру деревья, прочитанная книга — что угодно.

Рождается чувство — нечто происходит в душе. Нельзя полностью осмыслить и передать словом, образом или звуком.

Искусство — попытка выразить невыразимое, душу.

Не отражение окружающего, а отражение воздействия окружающего на душу, передача не импульса, задевшего струны, но прозвучавшего аккорда (в частности, путем передачи импульса).

Стремление, присущее каждому. Не каждому даны хотя малейшие к тому склонности.

Художник, созидатель — умеющий передать пережитое чувство. Пересадить в душу другого.

Искажения неизбежны. Гений сводит их к минимуму.

2. Искусство. Пользователи.

Большинство бессильно самостоятельно удовлетворить потребность в осознании и выражении происходящего в душе. Ему остается отыскивать свое “я” в чужом творчестве.

3. Духовное развитие.

Одна и та же книга кого-то тронет слишком, кого-то — не очень, кого-то не тронет вовсе.

Зависит от развития. Грубая аналогия: три группы.

Первая — владельцы игрушечных рояльчиков с единственной октавой, лишенной полутонов — 85%.

Вторая — игрушечные рояльчики также. Но — полутоны. Полторы октавы — 14%.

Третья — настоящий рояль — 1%.

Ноты в октаве везде одинаковы и суть Страх Смерти, Жажда Чуда, Мечта о Любви и т.д.

Каждую группу поделим в отношении 1: 1000000.

Меньшая — музыканты, большая — слушатели.

В первой группе успех имеют сочинения из одной-двух нот. Немного там найдется способных воспринять нечто иное, еще меньше — создать.

Их музыка для человека из третьей группы покажется, в лучшем случае, обычной гаммой.

Некоторой, наиболее развитой части первой группы, не чужда музыка второй, хотя полностью они понять ее не в состоянии, но попадается много знакомого. Пристрастия третьей группы непостижимы для них, что озлобляет.

Представители второй группы чувствуют разницу между ними и представителями первой группы, чем гордятся и кичатся. Разницу между второй и третьей зато замечать не хотят, а часто и не могут.

Процеируя на их рояльчик музыку высшего порядка, иногда удается добиться сносного звучания, что рождает у них иллюзию доступности Великого, сопричастности Великому. Иллюзия того, что их музыка ничем не уступает, и даже превосходит.

Действительно: вещь, написанная для настоящего рояля, но исполненная на игрушечном клавишине — с одной стороны, а с другой — вещь, специально созданная для игрушки игрушечных дел мастером.

4. О гениях.

Преуспевающего в выражении себя по достоинству оценят только в границах группы, к которой он принадлежит.

Естественно потребовать от гения принадлежности к третьей группе, иначе пришлось бы — *ad absurdum* — считать гением человека, ничего не чувствующего и ничего не выражающего — значит, выражающего себя гениально, со всей возможной полнотой.

5. Движение вперед.

Не следует все представлять застывшим и монолитно. В принципе, всякий может идти вперед, или назад, как, впрочем, и топтаться на месте.

Далеко не ушедшие топтуны преобладают.

Продвигаться вперед тяжело.

Рецепты старые, проверенные: страдания (безответная любовь и проч.), чувство собственного несовершенства.

Правда, то же самое может повернуть и вспять.

Но всем довольные останутся на месте.

6. Предел развития.

Точка зрения: развитие бесконечно, но ограничено.

Мелодией, вобравшей в себя все сущее, мелодией нечеловеческой гармонии. Ее услышат те, кто добивался этого всю жизнь — переходя в Вечность.

7. Искусство и эквализм.

.....

Из сожженных рассказов. Сборник 1.

ДУРАК

Дурак сидел на ступеньках и курил — в ожидании. Он ждал девушку. Познакомился он с ней еще два месяца назад.

Вначале дурак девушке понравился своею необычностью. То, что он говорил (а дурак поговорить любил), показалось ей оригинальным. Глупость распознать порою трудно (особенно, если сам не блещешь умишком), и девушке на это потребовалось целых три дня. И поняла она, что нарвалась на обыкновенного дурака, а это так скучно и совсем не оригинально.

Тогда она решительно заявила дураку, что им больше не к чему встречаться и чтобы он ей не звонил и, наконец, что он — дурак.

Дурак обиделся (да и любой бы осерчал) и хотел было послать ее к черту (как и сделал бы любой нормальный человек), но с удивлением обнаружил, что не в состоянии — влюбился!

Моя бы воля, я воспретил бы любить дуракам, ведь любовь дурака — пожалуй, хуже, чем его ненависть.

Влюбленный дурак быстро забыл нанесенную ему обиду и принялся обрывать своей жертве телефон.

— Оставь меня в покое, дефективный, — говорила она ему.

А потом:

— Ее нет дома.

А потом:

— Меня нет дома.

А потом и вовсе перестала поднимать трубку или отключала аппарат.

А дурак не сдавался. Разузнал ее адрес, торчал под окнами и подстерегал у подъезда — и действительно кой-чего добился: однажды его крепко поколотил кто-то из знакомых девушки.

А дурак не сдавался и продолжал караулить и подстерегать.

И был счастлив!

Вечерами, отходя ко сну (его не мучила бессоница), сладко трепетал при мысли, что завтра вновь Ее увидит.

А то, что при встрече она обязательно обзовет его дураком и сволочью — как-то его мало заботило.

Все искупляла захлестывающая дурака радость: он видит девушку, которую любит.

Так это и тянулось. Родители девушки собирались уже писать на дурака — только никак не могли решить, куда именно — в милицию или в психиатрическую лечебницу — но настало лето, и девушка уехала на Юг, отдохнуть и развеяться.

Что же дурак? Дурак последовал за ней.

И вот сейчас он сидит на ступеньках, ведущих напрямик в ресторан “Звездочка”, где в компании друзей-поклонников развлекается как раз за этим сюда приехавшая девушка.

Дурак сидит, покуривает, и — весь в ожидании скорой встречи — мечтательно и глупо улыбается.

Как я ненавижу его!

Но наконец-то пробил и мой час. Пусть покурит, помечтает. Он не знает.

Никто, кроме меня, не знает, что курит и мечтает дурак последний раз в своей дурацкой некчемной жизни.

Потому что я, я, который заперт в самом пыльном и глухом закоулке его дурацкой башки, таки добрался до ниточки к его большому и глупому сердцу и держу ее в своих руках.

Стоит только дернуть за кончик... и на дурака обрушится все. И дурак закричит от страшной боли и муки, от которых кричал беззвучно, надрываясь — я, все это нескончаемое время, и лопнет, разорвется его безумное сердце.

Сейчас она выйдет, я дождусь... больше ни дурак, ни я — ее не увидим.

Я дождусь ее — и дерну за ниточку.

* * *

... Феликс Нок, второй президент. Двадцать лет правил он страной, и все эти двадцать лет расстреливали, пытали, отправляли на каторгу — миллионами.

Насилие не знало преград — со всем согласный ли ты честный труженик, интеллигент ли смирившийся, слагатель ли патриотических гимнов, рядовой ли партиец или партийная шишка, даже палач — ничто не гарантировало безопасности.

Костяк карающего аппарата состоял из отборной сволочи (разнообразных копий президента — от миниатюрных и до едва не достигавших натуральной величины) и опирался на пустоголовых фанатиков и покорных запуганных баранов. Эти бараны исправно уничтожали паскуд-умников (интеллигенцию) и себе подобных баранов-пролетариев, стерегли в тюрьмах и лагерях.

Периодически Нок заставлял палачей потрошить самих себя; чтобы не воображали, что им все позволено, и чтобы народ знал: товарищ Нок бдительно следит за соблюдением законности и беспощаден к “превысившим полномочия” (деликатная формулировка!), хотя любая резня проводилась с его ведома и по его указаниям.

Прцветали доносы, их строчили как законченные негодяи, отправлявшие на смерть и страдания своей клеветой им насоловивших или вставших поперек дороги (квартирный вопрос, дерзкий сослуживец, придира-начальник, упрямая женщина и проч.), так и по-своему честные люди, почи-

тавшие долгом информировать надлежащие инстанции о том, что такой-то что-то поздно стал возвращаться домой, такой-то, наоборот, слишком рано из дома выходит, а у такого-то по вечерам собираются и черт его знает, зачем — может, криминала здесь и нет; наше дело — заявить, а не судить. А когда сами попадали в переплет — по навету по-своему также честного соседа — терялись в догадках: за что? зачем? не иначе, ошибка... товарища Нока ввели в заблуждение... передайте товарищу Ноку... он просто не в курсе... — и летели к товарищу Ноку отовсюду душераздирающие челобитные, но молчал товарищ Нок...

... Хуже всех пришлось интеллигенции (но и то правда, что в процентном отношении она составляла беспорное меньшинство). Нок, как и положено тирану, не терпел — что там людей думающих — пытающихся мыслить независимо. Партийной верхушке тоже пришлось несладко. Как и положено тирану, Нок всюду видел покушение на трон — и постоянно обновлял окружение. Умерщвлял смеющихся или когда-то посмевших ему перечить (и такие быстро перевелись), умерщвлял снискавших народную любовь (метят на его место), умерщвлял пытающихся войти к нему в доверие (из тех же побуждений) и вошедших в доверие (слишком много знают). Умерщвлял как преданных, убежденных в том, что Нок ведет в рай прямой дорогой — и такие были! — так и прикидывавшихся преданными (не верил вообще никому).

И наверное думал он, чем больше людишек перекокать, тем вернее расправится он с невыгодным ему Прошлым: дореволюционная жизнь, о которой скоро можно будет сочинять какие ему угодно сказки; его собственная роль в перевороте — малозначительная в действительности, она все более возрастала по мере уничтожения соратников.

В печати то и дело разоблачали очередного врага народа, наймита Запада, совсем недавно бывшего соратником и другом Вождя. Как свидетельствовали неопровержимые улики — среди них чистосердечные (если только может быть у такой гадины сердце) признания и запоздалые лицемерные покаяния — коварная помесь свиньи и лисицы с рождения ненавидела эквализм и продалась Западу еще с пеленок, мечтая провалить революцию, а когда не вышло, под маской друга ошивалась вокруг Вождя, чтобы улучшить минутку и пырнуть Солнцеликого ножиком. Ножик, отмечалось в статье, изъят при обыске.

Разоблачения как две капли воды походили друг на друга и изобиловали хлесткими терминами: дегенерат, ренегат, мракобес и т. д.

Под ними стояли подписи членов ЦК — и почти каждому из них суждено было в недалеком будущем превратиться из соратника в гадину.

* * *

... Перемены ударили по ним всем.

Неуютно стало записным “патриотам”:

— неутомимым собирателям народного фольклора —

... одной из первых в деревне “Вешние Воды” “на нашу просьбу поделиться чем-нибудь былинным, откликнулась старушка Акинафья. Вынеся из сеней гусли и удобно примостившись на крыльчке, она с приятцей, под тихий перебор струн, задремала:

Сорву аленький цветочек,

Приколю себе на грудь.

Дорогой товарищ Ленин (Сталин, Брежнев)

Вывел нас на светлый путь;

— сладчайшеголосым песнопевцам, восславляющим вождей —

И отступали палачи, и загорался свет в ночи,

Народ всегда вперед вели Добрыни, Муромцы Ильи,

Поповичи и Ильичи;

— влюбленным в красоту родной природы —

О, мой край родимый, реки и поля,

Ивы и осины, в пухе тополя...

Теперь им нужно отвечать на неприятные и довольно щекотливые вопросы: позвольте... как же так? вы вот все райской птичкой заливались, а вокруг, как выясняется, страшные дела творились? что же, ослепли, что ли? или как?

И нет, чтобы, положа руку на сердце, признаться: нам просто очень хотелось жить, и по-возможности, комфортно — пускаются в выкрутасы:

— стишок был у меня, а в нем — одна строка такая... с намеком... а если между строк читать, тогда вообще...

— а у меня романчик — о Владимире Красном Солнышке, но — якобы! якобы о нем! а стоит копнуть глубже, и...

— выросли на принципах, энтузиазм бурлил в крови... и впрямь одно видели хорошее, а что видали, о том и пели... искренне...

— ах, какой урок! суровый урок всем нам! соотечественники, покайтесь! клянемся впредь преследовать зло в любом облики, прошлому не повториться!

— после двадцать седьмого съезда, поверите ли, как пелена упала с глаз!

Нельзя, ну никак нельзя им поверить! Поверить им — все равно что поверить в раскаянье флюгера: случилось, крутился не туда, запутавшись, который вихрь — враждебный, а который — нет. Отныне, обещаю, не повернусь, не разобравшись, и если окажется, что ветра подули тлетворные — вступлю в противоборство.

... И, как всегда, не растерялись они, проворно сориентировались — сколько бы не талдычил новый хозяин о новых песнях, сгодятся и старые — в дифирамбах кормчому лишь поменять имя, а в остальном — подбавить кое-где вместо медку — требуемое количество дегтя, а кое-где напротив: вместо дегтя — медку.

... Если “патриоты”, сначала поволновавшись, быстро обрели душевное

равновесие, то с разными полулегальными ранее бардами и менестрелями, писаками и писателишками из подземелья — вышло наоборот.

При Леониде Ильиче (теперь принято говорить — “в застойные времена”) их довольно низкопробное кудахтанье о кабаках и одиночестве, о разных разностях, всем известных и понятных, но не совпадавших с формулой “у нас в стране все хорошо, все очень даже здорово “и потому официально замалчивавшееся — использовалось властями, под видом запретного плода, как отдушина для утомленных беспросветной ложью свинок. В основном все эти меннезингеры, вольно-невольны, состояли на государственной службе, и если кто порою забывался и хватал через край — получал сразу по рукам, вперед становясь осторожнее.

И вот сейчас им позволили, не таясь, выплыть на поверхность, покрасоваться в белых одеждах и щегольнуть мученическим венцом: мы-то сражались, мы — разоблачали! это Пугачиха розами своими баки забивала, а мы поднимали проблемы! Пьянства! Взятничества! Проституции! Молодежь учили думать! И молодежь тянулась к нам! А нас зажимали, устраивали травлю и гонения!

Почему бы и не позволить? Разоблачениями ихними им нынче не перплюнуть и журнал “Пионер”, а побасенки о гонениях (в подавляющем большинстве случаях “травля” в переводе с клоунского означает: не допустили как-то на манеж, принудили выступать в сарае, не выпустили в творческую командировку зарубеж, пропесочили в газете) — только подчеркивают огромную разницу между бывшим отвратительным застоем и нынешней глупостью.

... Молодежь, извольте видеть, к ним потянулась. Ха! Нашим педагогам, как думается, не лишне будет напомнить одну древнюю эпиграмму. Она так и называется:

Стихотворцу, который хвалился, что стихи его поют уличные певцы и хвалят мальчишки.

Тешат глупых юнцов песни Зиновия,
Оглашают их звуки шумные площади,
К самым злачным местам льнет неученый стих.
А Зиновий и рад, верит, наверное,
Что в потомстве несет славу достойную.
Так и птица себе кажется певчею,
Ипуская одни хриплые посвисты.

... вот поголосили они, погоношились, а после призадумались. Почет, признание — это все хорошо, но как прикажите конкурировать с прессой? Гады-журналисты замахнулись на их привилегию обличать! Сущая это напасть для множества сочинителей-свиней: за шелухой злободневности и манящим налетом недозволенности обнажившая пустоту.

* * *

... И ему открылось немало содержательных и мудрых истин.

Так, он узнал, что:

— кто не работает, тот не ест, от каждого — по его способностям, и каждому — по его труду, потом (наступит день!) и по потребностям;

— партия — авангард пролетариата, его руководитель и вдохновитель, состоит из наиболее активных и сознательных граждан;

— эквализм превратил в реальность то, о чем прежде лишь мечтали —

— и проч., проч., проч.

Наконец выяснив, что “Дурчегнуб любил пошутить, посмеяться и смеялся заразительно; любил послушать хорошую музыку, спеть хором песню, повозиться с маленькими детьми, играл в шахматы, катался на коньках, ходил в горы; со всем этим его отличали чуткость, доброта и скромность”, — Трюндель ощутил неудержимый позыв к рвоте, сорвался с дивана и помчался через всю комнату в сортир.

Поблевав и отдышавшись, припомнил вдруг Трюндель где-то слышанный анекдот — и решил прекратить подготовку. Да и экзамен уже час как начался.

Анекдот же ему вспомнился следующий:

ПАРТИЙНАЯ ИСТОРИЯ

... Учился на медицинском факультете некий Т. И как-то раз призадумался: что может произойти с человеком, если тот добросовестно, стараясь вникнуть в каждую строчку, попробует проштудировать толстеннейшее пособие по истории партии.

И чтобы в этом разобраться, затеял Т. поставить эксперимент, причем, как в таких случаях и поступали все великие — над самим собою. Ведь обезьяну или кролика здесь пользоваться было не совсем уместно, а рисковать чужою человеческой жизнью Т. почел негуманным.

Раздобыв в библиотеке страшную книгу, ранним февральским утром 19** года, запершись в кабинете, приступил он к опасному опыту.

Методически, с интервалом в полчаса, заносит Т. в специальный журнал данные о своем самочувствии — вплоть до трагической развязки.

Социально-экономическое развитие страны в эпоху империализма ему удалось миновать, отделавшись незначительным повышением артериального давления, однако назревание революционного кризиса уже сопровождалось сильным недомоганием;

— острая боль в затылочной и височной областях; а\д — 160\100; пульс — 120; тошнота, обильное потовыделение — отмечено в журнале.

И далее, между сухими медицинскими терминами, мы внезапно натываемся на следующие пронзительные строчки:

— дело табак; но, сказавши “а”, найди в себе силы сказать и “б”, отступить не желаю, да уже и поздно и некуда отступить...

Велик подвиг ученого, во имя истины сознательно идущего на смерть!

Период перерастания буржуазной революции в народную приводит к более чем печальным для Т. и, по-видимому, необратимым последстви-

ям:

— а\д — 190\130; пульс — 140; рассудок мой гаснет, душа скорбит смертельно...

— ай-ля-ля, улю-улю, ты — удав, я — какаду — таково содержание последней записи.

С установлением рабочей диктатуры разум оставил его окончательно и Т., содрав с окна гардину из темно-красного бархата и обернувшись ею на манер простыни, с диким хохотом ворвался в кухню, опрокинул пинком помойное ведро и продолжал его с остервенением пинать, выколачивая мусор. Удары перемежал восклицаниями “мы наш, мы новый мир построим” и нецензурной бранью.

Вызванных по телефону перепуганной и убежавшей к соседям женой санитаров встретил неприветливо — со шваброй в руках, загородив спиной вход в квартиру — и угрюмо осведомился:

— Вы — кто? Сволочи? Или большевики?

— Большевики, — переглянулись санитары.

— Тогда попрошу предъявить партийные удостоверения, — сказал Т. заметно потеплевшим голосом и поставил швабру в угол.

— Это можно. Сейчас предъявим. — отвечали санитары, но вместо этого внезапно набросились на Т. с двух сторон.

Все же Т. удалось ускользнуть; он выбежал на лестничную клетку, на мгновение обернулся — крикнуть наступающим прямо в морды: “Народ и партия едины, мерзавцы!” — и кинулся в пролет.

И он уже лежал внизу — мертвый, а жуткий его вопль все еще блуждал, эхом отражаясь от стен, по этажам...

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 1.

МОНОЛОГ

... Я, может, чего и не понимаю, конечно. Вот мне говорят: “Женщины, женщины...” А что они? По-моему, так они нужны нам, мужикам, для одного только. Хе-хе. Ну, ясное дело, для чего — не книжки с ними вслух читать. Ты говоришь — стихи, поэты; это все — как? А никак. Стихи-то, конечно, стихами, ну, а подумав если, все, чего они там наплели — у ног упасть... как сестру... — ну, нет! Не того они хотели; чего там у всяких ног валяться?

Нет, я — почему же? И сам не чужд... да-с... напишешь там... бабочки летают, солнышко блестит... Отчего же, не чужд поэзии — да и женщинам очень нравится. Под гитару — особенно. Очень, очень это на них действует. Поиграешь так, попоешь, потом — извольте приз... за хорошую игру... хи-хи-с, гитара в нашем деле — незаменимый инструмент.

Представь — вечер, эдакие звездочки всякие на небе... подлещы... темно кругом, тихо, только костерок потрескивает, плюется искрами, а ты си-

дишь и тренькаешь чего-нибудь душевное... А рядом — какая-нибудь... хе. В теле. Я потому что женщин люблю, которые в теле. Тренькаешь, значит, бренчишь — им жалостливые особенно по вкусу, а она насупится, чуть слезу не пустит — да и прижмется к тебе покрепче.

Я ведь так думаю: бабе — ей много не надо. В общем, надо ей только мужика. Ну, и на гитаре чего-нибудь послушать.

Нет, я серьезно.

Что характерно: без того, чтобы не поломаться, не поговорить о всякой там.. поэзии... нет, не даст. Я не имею ввиду падших женщин, которых я, хе-хе, вообще редко когда имею... каламбур получился! — дорого выходит...берут, понимаешь, деньгами, бляди! Нет, я уж лучше за то же удовольствие стишком отделаюсь.

Женщины, они ведь тоже разные бывают: одни, наверное, сначала требуют стишат — так просто, потому что просто так им не велит их моральный кодекс. А другие — и с ними беда! — всерьез считают, что им необходимо это — как его — двух душ соединенье. С этими возни, понятно, больше...

Но в любом случае приходится прежде работать языком, а уж потом руками и всем остальным.

Интересуешься, не противно ли сначала сантименты разводить, высокие всякие материи затрагивать, для того только, чтобы скорее в постель залезть?

Ну, брат, любишь кататься — люби и саночки возить.

Да и сам-то ты о чем думаешь, когда с бабой трепешься? Молчишь? То-то.

Любовь? В книжках, разумеется, читал — там о ней всего много написано. Я, может, и сам напишу — и не хуже выйдет. Там ведь пишут то самое, что я обычно говорю женщинам, так что, хватит, пожалуй, на много книжиц! Так напишу — все женщины рыдать будут! — про хрустальное про это, про вечное, про чудо... хе-хе — про настоящую, стало быть, любовь. И пусть их в гости ко мне заходят, прочитанным делиться и обсуждать — я им там устрою автограф на добрую память...

Конечно, в этих книжках — чушь одна. Я вот недопонимаю: ну, не дает баба. Какие трудности? Не дает, не надо. Подумаешь. Да я себе другую сразу же найду — не хуже: женщин-то вон сколько бродит... пальцем помани...

А было ли так, что никого другого не хотелось?

Пристал ты, дядя, как банный лист. Нет, не было. Никогда, даже на заре моей туманной юности и половой зрелости. И не будет — я что, похож на идиота?

* * *

... последние полстолетия перед революцией искусство Востока переживало невероятный подъем. Будто бы страна знала о близких социальных

бурях, несущих искусству если не гибель, то длительный паралич — и стремясь поэтому успеть как можно больше, подарила миру десятки талантливейших музыкантов, живописцев и литераторов.

Захватив власть, Дурчегнуб немедленно издал указ, объявляющий искусство — партийным и народным.

Это означало: славить забитую чернь, расписывать ее жите-бытье в розовых и радостных красках, восхвалять эквализм, чернить любые иные воззрения и людей, их придерживающихся, закрывать глаза на творившиеся мерзости, пресмыкаться перед правительством — и беспрестанно лгать, лгать и лгать.

С легкой руки бесноватого и бессовестного Дурчегнуба это получило название: эквалистический реализм.

Особенно он расцвел при Феликсе Ноке.

Нок истребил, в первую очередь, выдающихся Художников, оставшихся после революции на родине (кому не удалось, а кто и не захотел бежать за границу), посмевших не лизать пятки вождям. Таких безжалостно отправлял на тот свет еще и Дурчегнуб, но в суматохе дел не до всех добрался.

Нок истреблял и подозрительно молчавших — а продавших свой талант, чтобы выжить (чем мельче, тем проще продать) — держал под несусыпным наблюдением и в стархе — ведь растоптать себе душу нелегко, нет-нет, а и возникнет желание ощутить себя человеком снова, или, по крайней мере, не совсем подонком — и у кого такие желание возникали систематически — те, опять-таки, подлежали уничтожению.

Сложившаяся ситуация, безусловно, благоприятствовала развитию эквалистического реализма — когда диктатор пускает подданным кровь, он не испытывает недостатка в соловьях и в соловьиных трелях о том, что:

— человек проходит, как хозяин необъятной Родины своей;

и что:

— я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек;

и что:

— да здравствует созданный волей народов единый, могучий, великий Союз;

и т.д. и т.п.

И не так еще зачирикаешь, если дорожишь шкурой.

Особо отличившиеся соловьи, во-первых, награждались денежной премией имени Нока, а во-вторых, им дозволялось изредка перевести дух и спеть что-нибудь нейтральное, прямого отношения к эквализму не имеющее. Одна из таких песенок, на очень избитой сюжет, и донельзя фальшивая, но зато сентементальная и приправленная постельными сценами (речь шла в ней о Смерти и Любви; Смерть, стандартная беззубая старушонка в черных одеждах, выбирает себе в жертву стандартную молоденькую и премиленькую девчонку. Но вот заковыка: как Смерть к ней не заявись, а

все застает в объятиях стандартного мускулистого юноши где-нибудь под кустом. Тут Смерть обыкновенно раздражалась, бряцала косой и начинала брюзжать, что, де, пора и честь знать... ей, Смерти, недосуг... — а девушка в ответ — каночить: ну, бабушка, ну, еще ночку, ну, пожалуйста... — и вот Смерть в конце концов плюнула, отступилась и даже, распаленная сладострастной молодежью, отправилась к Сатане, рассчитывая склонить пожилого греховодника к прелюбодеянию. Мораль: Любовь торжествует, а Смерть не торжествует, она побеждена Любовью.), удостоилась лестного отзыва самого Нока:

— эта штука, — написал он прямо в книжке поперек страницы, — сильнее будет, чем гетевский Фауст.

...Нужно отметить, что эквалисты не скупались на громкие эпитеты, засыпая ими товарища Нока (Сукрама и Дурчегнуба) сверх всякой меры. Широко использовалось творческое наследие Гомера, биографии римских цезарей и т.д. — за вычетом религиозных оборотов вроде “Божественный” или “Богоравный”, потому что Бога эквалисты поначалу запретили и отменили (правда, это не совсем удалось) — вплоть до специальных инструкций книгоиздателям — вымарывать повсеместно слово “Бог” и производные от него, а уж если где нельзя не напечатать — то печатать непременно с прописной, маленькой буквы.

Объективно же Лучезарный и Солнцеликий товарищ Нок являл собою рябого, низкорослого мужчину, похожего на павиана.

* * *

... но оружия складывать не собираются.

Кто продолжает неравный бой с газетчиками, кто — выжимает соки, видимо последние, из одряхлевшей романтики, спекулируя пошлыми карикатурами на любовь и одиночество: костры в тайге, дальние дороги, северные сияния, большие и малые медведицы, парящие над морским простором чайки, и на этом фоне — ты да я, да мы с тобой, или же я да без тебя, да совсем один.

Кто промышляет пародиями на эти пародии — занятие, не требующее ни особой ловкости, ни особого умения.

Кто маскирует пустоту туманными намеками — на пустоту же, ни на что; намек ни на что болван спутает с намеком на что угодно — в узеньких пределах ему доступного. В произведениях этого сорта чрезвычайно распространены частицы “что-то”, “кто-то”, “нечто”, “все” и с их помощью составленные обороты: “найдется кто-то, кто мне все расскажет”, “сны о чем-то большем”, “мне нужно чего-то еще”. Чего? Бутылочку пива? Пухлую девочку? Поплывать на яхте? Иных миров? Смерти? Бессмертия? — Выбирай, что хочешь.

Кто лепит подряд бессвязно все, что ни придет в голову — а свинье, натурально, кроме вздора ничего прийти не может — вопя о поисках новых форм и объявляя себя идейным наследником Джеймса Джойса или

там Беккета.

Подпустит клубнички с чертовщинкой пополам в свою бурду — и готово дело, успех обеспечен: сожрут и не подавятся. Похвалят и добавки еще попросят. Не фунт, скажут, изюма, здесь надо шевельнуть извилиной, поток сознания, как-никак.

Поток дерьма!

Кто пытается совместить понятия “. . . “и “Бог “, а то и заменить первым второе, и во всяком случае добиться, чтобы “. . . “писали с заглавной буквы и воздавали бы ему всяческие почести. Тоже не ново!

Кто сочиняет своеобразные детективы для наших интеллектуалов, насыщая свои опусы скрытыми цитатами из великих и стилевыми заимствованиями; нашим интеллектуалам доставляет огромное наслаждение разгадывать, что и откуда автор спер и зачем.

Кто, утя конъюктуру, стряпает откровенно уродливые подделки. Например, под Булгакова.

Или занят современным прочтением классики — это когда вместо трех сестер по сцене шляются штук сорок и в неглиже, разбредаются по залу, там плюхаются зрителям на колени, кланчат сигареты и ноют “В Москву, в Москву! “Хлестаков выезжает на мотороллере и в джинсах, отплясывает с женой и дочкой Городничего буги-вуги, раздевает их и очень натурально имитирует половую близость...

Кто подвизался на исторической ниве — и из их произведений свиньи с удовольствием черпают, что разные там графы и маркизы, хотя и в роскоши купались, а тоже: пожрать, нажраться и с бабой переспать — не дураки были.

А в перерывах между творческой деятельностью сочинители грызут и восхваляют друг друга: такой-то отменно владеет пером, такой-то не владеет им вовсе; такой-то в былые недобрые времена героически промолчал, когда требовалось попинать уже совершенного Матросова, посмеявшего что-то вякнуть поперек и супротив, тогда как такой-то пнул, но не сильно, а вот такой-то пнул еще как.

... Художник и Время взаимосвязаны, подземными корнями связаны Художник и Народ — и если все, что эти связи сейчас способны породить, вершина — что-нибудь типа (здесь читатель волен вписать фамилию своего кумира из нанешних), а некогда породившие Пушкина и Шекспира, Тютчева и Толстого, Сервантеса и Достоевского и т.д. — что же! горе нашему времени, горе нашему народу и горе всем нам. Бедное, проклятое наше время...

... Ах, я знаю, не заслуживают они все ни ненависти, ни презрения — а только жалости. Но я ненавижу и презираю их — потому, что одной с ними крови, и не презирать и не ненавидеть их не могу (а значит, и самого себя; на них замахиваясь, попадаю все себе по морде) — и я лелею в сердце сладостную мечту: собрать бы всю эту нечисть и проехать по ней

катком, размазать по асфальту (да, выходит, и по себе проехаться...); ведь для того, чтобы ощутить что-то другое, нужно посмотреть на них с высоты человека, а я — такая же свинья.

Но писать я не брошу: уж очень гадостно в хлеву, и для меня это единственная тропинка на волю. Наверяд ли удастся вырваться из заточения, но идти нужно.

И потом: когда я пишу — то забываю о смерти. Не в том, конечно, смысле, что “нет, весь я не умру... душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...”, моя душа, может, и так уже давно прах и тлен — нет, дело в том, что за этой работой страх смерти отпускает меня... я забываю о смерти — в прямом смысле; а мысль о ней и ее неизбежности часто меня гложет... до тошноты — физической и душевной...

* * *

Не разбирался Трюндель в людях, а в женщинах — совсем не разбирался. Поэтому, случайно столкнувшись с Кристиной в коридоре, он отшатнулся в испуге, нисколько не сомневаясь, что сейчас его отхлещут по щекам.

А Кристина — к его изумлению — с улыбкой поздоровалась, будто бы вчера ничего и не было.

— Привет, Трюндель! Что, головка-то бо-бо? Как, подготовился? А старик, кажется, в духе — влепил мне пять баллов не глядя!

... Не глядя! — томясь перед аудиторией в ожидании вызова, негодовал Трюндель. — Не глядя! Да нет, уж верно, поглядел. А попадись ты ассистентке, вот тогда бы... меня-то он едва примет с распростертыми объятиями.

И Трюндель, за весь семестр не удосузовавшийся побывать хотя бы на одной лекции профессора Своона, не знавший его даже в лицо, ощутил к нему сильнейшую неприязнь.

Зиждилась она на опасениях получить неудовлетворительную отметку, на жестоком похмелье, заставлявшем смотреть на весь вообще мир в черных тонах, но также проистекала из чувств более глубоких и, наверное, высоких — которых сам Трюндель затруднился бы перевести в слова.

Мы же — попробуем.

Трюндель, так сказать, сердцем, понимал вот что:

Между порядочным человеком и человеком, накачивающим незрелые умы пакостью, именуемой Историей Партии либо Партийной Философией, не может быть ничего общего. (Помните? Сказано: А кто соблазнит одного из малых сих... тому было бы лучше, если бы мельничный жернов повесили ему на шею, и утопили его в пучине морской.) Такова специфика этой работы — не для порядочных она людей.

Ведь в чем состоит эта специфика?

— Говорить то, что требуется говорить в данный момент. В данный момент требуется воспеть величие данного момента, величие Идеи и обя-

зательно — безупречность действий Высшего Руководства, т.е. того, кто в данный момент стоит у власти. Также требуется отметить и трудности, сопряженные с данным моментом и препятствующие дальнейшему, все одно неизбежному, процветанию. Кроме того, следует внести ясность в момент предыдущий — вскрыть недочеты, имевшие место и повлекшие за собой те самые трудности.

Таковы требования, и они сохраняются, когда данный момент становится предыдущим, а последующий — данным, т.е. — когда меняется Высшее Руководство.

Каркас тот же: по-прежнему безупречны действия Высшего Руководства на данный момент и неизбежно будущее процветание.

Таким образом, т.н. “история “всякий раз, сообразно с требованиями сегодняшнего дня, переписывается заново. И вот почему эти люди вынуждены из дня сегодняшнего поносить себя вчерашних и одновременно выгораживать — и всегда лгать.

И ухитряются же как-то жить, видимо, в ладу сами с собой — ведь редко услышишь, чтобы какая-нибудь из этих гадин добровольно удавилась бы или выпрыгнула в форточку.

Едва ли черпают они стойкость в их Великой Диалектике.

Спора нет, штука это могучая и когда нужно срочно доказать, что зеленое — красное или серое или иногда красное, а иногда серое (что черное — белое, и наоборот, это уж азы диалектики), хотя и раньше уже было доказано, что зеленое на самом деле суть оранжевое — в два счета справится.

А все-таки, не она, нам думается, главная опора в их жизни, не она — а еще с древнейших времен, задолго до всякой диалектики известная мудрость: своя рубаха ближе к телу.

Автору, в период учебы в институте, довелось столкнуться кое с кем из славной этой когорты — как с историками, так и с философами, и он хорошо помнит, как болезненно реагировал на все эти встречи.

(В каждом из нас сидит Минотавр — глубокомысленно замечают видные детективщики братцы Вайнеры в одном из своих произведений. Я же пойду дальше и скажу: в каждом из нас сидит Николай Гаврилович. Вот и сейчас, чувствую, скатываюсь в самую черную чернышевщину: мозгов мало, гонора много, несомненно наличие убийственной иронии семинариста-недоучки, убивающая, правда, в первую очередь самого недоучку — но пускай, пускай!)

Бывало, сидишь на занятии и слушаешь, как кто-нибудь, под одобрительные кивки наставника, заученными из пособия фразами отчитывает Канта, будто нашкодившего ребенка, либо обзывает Ницше разными нехорошими словами (ни строчки не зная ни того, ни другого) — и понимаешь — что-то неладное творится в твоей душе да и во всем мире.

Это поднималась ненависть — и не только к режиссерам отвратитель-

ного фарса, и лицедеям, играющим в нем заглавные роли, но и ненависть к самому себе.

Как не прикидывайся зрителем, эдаким праздным созерцателем, коллекционером глупостей и подлостей человеческих — никакой ты не зритель, а самый что ни на есть непосредственный участник, ведь зритель имеет право выбирать и может пойти или не пойти в театр, найти спектакль по душе и наслаждаться им, а с не понравившегося — удалиться; ты же почему-то всю жизнь каждый день смотришь одну и ту же ненавистную тебе постановку.

Да-с, так-то! Как прикажите оправдываться? Никак... А впрочем, такое уж было время, удушливых застойных лет, притом и тогда даже автор не все бездействовал и мирился: однажды дерзко заявившись на экзамен по философии в тренировочных штанах, отчаянным этим поступком он плюнул застою прямо в его сонное рыло.

Нынче газеты полны признаний маститых наших литераторов, актеров и проч. — откуда явствует, что и они сражались с застоем, не щадя сил и не покладая рук. Только жаль, бойцы, вспоминая минувшие дни, как правило, не любят вдаваться в подробности. И это вполне по-нашему: вынести младенца из горящего дома, сдать на руки ополоумевшей мамаше и, не дожидаясь благодарности, скрыться в толпе, а если потом и отыщут настырные журналисты, на все “как и почему” скромно ответить: на моем месте так поступил бы каждый.

Совершенно естественно, что против нашего совместного (т.е. всей творческой интеллигенции) натиска — застой не устоял.

Расскажу о своем вкладе в общую победу более подробно.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 1.

ЕЩЕ О ДУРАКАХ

1. Дурак был не дурак выпить. Он говорил, что алкоголь помогает ему уйти от реальности. И в самом деле, пьяному, ему это удавалось. Но постоянно быть пьяным не удавалось ему, а похмелье всякий раз было тяжелым.

2. Как-то дурак влюбил себя безответно в одну девушку, которую, собственно, сам и придумал. Впрочем, страдал по-настоящему, даже с упоением, чем и гордился.

3. И еще дурак мучился: дурак он или нет? Но ответить на этот простой вопрос не мог.

4. А женщинам дурак не нравился. И мужчинам. Никому не нравился дурак. Он притворялся, что это его не волнует, хотя и знал, что дорожит чужим мнением, кто бы этот чужой ни был.

5. Дурак страсть как уважал умные разговоры о всяких умных вещах. И то, что разговоры — одно, а жизнь — совсем другое, его тоже огорчало

очень.

6. Частенько дурак думал вот о чем: “Хорошо бы было все кончить, да только и на это я не гожусь. Боюся.”

7. К пунктам 1-6 остается добавить, что они практически исчерпывают мысли, чувства и поступки дурака. Исчерпывают его суть. Или отсутствие сути.

* * *

... Искусство мешало эквалистам, как свет мешает тьме, свобода — рабству, ум — глупости.

И все-таки, даже при Ноке, оно было упразднено не полностью. Так, издавались произведения классиков, к большому для них счастью не успевших дожить до триумфа Дурчегнуба и его шайки.

Выбирались произведения, как можно менее противоречащие идеям и методам эквализма; при этом все противоречия объяснялись заблуждениями авторов, обманутых буржуйской пропагандой или морально незрелых до уровня таких столпов, как Сукрам с Дурчегнубом; заблуждениями вполне простительными ввиду дьявольской изобретательности эксплуататоров по части засорения мозгов и ввиду необычайной гениальности великих основоположников. Зато любой протест против несправедливости, сострадание к мелкому униженному люду выдавались за бунт против общественного устройства, за призыв к его ниспровержению и за страстную тягу к эквализму.

А классики покоились в сырой земле и возразить ничего не могли — а если кто чудесным образом и воскрес бы, эквалисты поспешили бы немедленно упрятать его обратно в гроб и покрепче заколотить крышку.

Таким образом, эквалисты хотели опасного их врага, Искусство, превратить в друга, точнее, заставить выглядеть другом; стать их невольным адвокатом.

И хотя в каждой из речей, специально отобранных эквалистами и якобы оправдательными, нельзя все же было не уловить обвинений в их адрес (Искусство же!), эквалисты и этим умело пользовались: у нас, глядите, демократия в культуре.

Однако не в привычках эквалистов нянчиться с врагом, если этого врага можно уничтожить. А что, казалось бы, проще: запретить печатать, изъять из музеев — ведь грянуло новое время и искусство должно соответствовать (а впрочем, так и говорилось, так и делалось — но до логического конца так и не дошли!). Станут попрекать? Что ж, Западу мы ответим, что старое померло, а родилось искусство из искусств, наше, эквалистское, и катитесь со своими Шекспирами и Пушкиным, засуньте их себе в жопу! (и говорили подобное, но печатали-таки и Пушкина и Шекспира) А своим — своим-то всегда найдем чего и как ответить.

Стоит ли оставлять зерна истины в царстве лжи, чтобы убеждать кого-то в том, что, раз правители сберегли горсточку, царствует не ложь, а

правда? Возможно ли кого-то вообще убедить столь неубедительными доводами? А с другой стороны — как знать, не дадут ли эти зерна нежелательных всходов? Удастся ли контролировать их рост?

Одни ненужные хлопоты.

Конечно, в том, что ветераны не были сброшены с корабля современности, определенную роль сыграли: небезразличие эквалистов к тому, как они выглядят в глазах Запада; их бескультурие и невежество, а следовательно, недооценка Искусства как враждебной им силы; а также, усилия немногих смельчаков, пользовавшихся дремучестью эквалистов в интересах Искусства... Определенную, но не главную.

* * *

... он возмущен: только-только отрубя из одного корыта трескали, и вдруг такое вероломство! Он читает, кряхтя и морщась, с брезгливой рожей, будто бы жрет свои любимые отрубя, а в них подмешали что-то несъедобное. И накряхтевшись, спесиво изрекает:

— Эдак и я бы понаписал, раз плюнуть...

Меня так и подмывает, подобно всякой уважающей себя свинье-литератору, разразиться:

— О ты, который... о ты, презренный!.. ты, не вкусивший! Ты ведал ли, когда душа горит, и бьется трепетно над словом, тшась в муках выразить себя!?

Но, удержавшись, ограничиваюсь хрестоматийным “*Hic Rhodus, hic salta*” — и протягиваю ему бумагу с ручкой.

И он, с решительным видом усевшись за стол, бодро выводит посередине листа: “был прекрасный летний день” — и останавливается. Что-то заело. Зачеркивает “прекрасный”, зачеркивает “летний”, под ним пишет “зимний” и опять погружается в раздумья. Перечеркивает все, и начинает по-другому: “взошел месяц и я сказал ей...” — что именно, останется тайной — скомканный лист летит на пол.

— Что-то настроения нет... но ты, пожалуй, не воображай... просто времени жалко... а тебе вот его не жаль — ну кому, кому нужна пачкотня твоя? Народ, боюсь, не поймет тебя...

— Народ? Это кто: ты сам? пресловутая чернь? некая духовная элита? Впрочем, без разницы. Я пишу о себе и для себя, и больше ни на что не претендую — в учителя-паяцы не набиваюсь.

— Допустим... Но все, что ты там настрочил, я уже где-то встречал, в других книгах.

— С чем и поздравляю. Видишь ли, моя задача — не сказать что-нибудь новое, а передать свое “я”... Часть мною прочитанного становится частью меня; возможно, остальные части рассеяны в еще мной не читанном. Хорошо это или плохо, но отыщись Универсальная Книга, целиком совпадающая с моим “эго” — тотчас разломал бы ручки, порвал писульки и удавился на первом же дереве. Но пока такой книги не обнаружилось,

мне остается набирать понемногу отовсюду, да вкраплять отсебятину... впрочем, я уж давно запутался и различить не умею, что там мое, что чужое. Да и как различить, когда чужое — может, и мое, а мое, наоборот, чужое?..

* * *

... Философию вел средних лет татарин, внушавший мне колоссальное отвращение. На занятия приходил он всегда в строгой тройке, при галстукe, но почему-то очень часто с физиономией, плотно облепленной пластырем — и с такой лютой злобой принимался бранить пресловутых исторических и др. фальсификаторов, что поневоле закрадывалось подозрение — уж не они ли подстерegli его накануне где-нибудь в подворотне, учинив презрительное мордобитие.

Однажды, жарким июльским днем, отправился я к нему на экзамен. Отправился в тренировочных штанах и в майке — не сомневаясь ни капли, что поступаю достойно Печорина: мерещился мне какой-то кому-то вызов...

В институте стояла такая духота, что, несмотря на легкую спортивную одежду, я лип к ней, подобно таящему куску сала.

Философ же татарин и в жару не изменил своей тройке и галстукe. Мы, наверное, являли весьма контрастное зрелище — когда я брал билет, смехок прокатился по аудитории; но ничего нельзя было прочесть по лицу философа — тому препятствовали как его природная непроницаемость, так и искусственная: лицо его, по обыкновению, почти целиком было заклеено пластырем.

Вызвав меня отвечать, не стал он сразу спрашивать, что есть истина — а именно этот вопрос стоял в билете первым. Сначала он поинтересовался, почему я одел эти штаны.

— Без штанов, — покрывшись дополнительным слоем пота от собственной наглости, выдал я, — приличия не позволяют. Меня бы в метро не пустили без штанов.

Помолчали.

— Что ж, давайте тогда поговорим об истине. Что это вообще такое, и какой такой ее критерий вам известен, — после паузы донеслось из-под пластыря.

— А это смотря с каких излагать позиций, — попытался я подпустить шпильку, но, напорвшись на бесстрастную реплику “разумеется, с позиции истины, мой друг, с позиции марксизма “ — как-то опешил, вследствие чего в разговоре вновь образовалась пауза.

Далее, помнится, пустился я лепетать, и довольно жалко, о том, что, дескать, Маркс и Ленин безусловно правы, но вот хотелось бы все же их сопоставить: и с Аристотелем, и с Платоном, и с Гегелем, и с Кантом, а даже и с Фейербахом, — не по учебникам только, а по оригиналам, а то слишком многое приходится брать на веру.

— Ах, молодой человек, молодой человек... — заговорил ученый муж и впервые уловил я в его голосе какую-то теплоту и задушевность.

— Это бродит в вас юношеский максимализм, ничего страшного, пройдет. Мне это все понятно, ведь и я когда-то был в вашем переходном возрасте... такой же был, как и вы, зеленый, горячился много... тоже вот и Аристотеля думал почитать... между нами, знаете ли вы, что это не так-то просто? Да это адская работа! А в результате, что же получается? В сравнении с Марксом все они ну чисто дети малые. Так что, откиньте сомнения и доверьтесь нам. А доверившись, вы сэкономите массу времени, и направив деятельность вашего разума в какое-нибудь более достойное русло, нежели чтение разных Шеллингов и Гегелей, принесете пользу Отчизне и, значит, всему прогрессивному человечеству. И в жизни не пропадете, имея компасом Великие Идеи. Доверьтесь нам! А уж мы-то людям доверяем, и вы сейчас в этом убедитесь. Давайте зачетку — я ставлю вам “удовлетворительно”, хотя объективно здесь чистый “неуд”. Но я в вас верю.

... Странное, нелепое существо — для Сатаны явно мелковатое, но на побегушках у Князя Тьмы состоящее несомненно...

И еще один эпизод, отчасти связанный с темой нашего лирического отступления, но, главным образом, предназначенный составителям учебников по литературе, лет эдак через сто-двести.

К тому времени, думаю, произойдут всякие перемены, меня признают, зачислят в классики — и вот тогда-то потребуетя поведать потомкам (уж как это водится) всю горькую правду о гонениях и нападках на выдающегося мастера слова, коим подвергался он со стороны тогдашней изолгавшейся, прогнившей, но оголтелой хунты.

Дабы облегчить задачу будущим моим биографам, привожу пример гонения, притом гонения открытого и, так сказать, натурального.

Как-то раз (кажется, на третьем это было курсе) черт догадал меня (с моим умом и талантом!) забрести на лекцию по какой-то общественной дисциплине. Он, то-есть черт, нашептал мне, что там я встречу и хотя бы издали погляжу на любимую девушку. (Я любил ее так сильно и так безнадежно, что надеялся встретить ее и хотя бы издали поглядеть — в любых, самых невероятных местах. Что там на лекции по марксизму! Слоняясь пьяненький по ночной Москве, все ждал: вот-вот, сейчас... из-за угла появится ...) Зрение подвело меня. Я принял за Нее совершенно постороннюю, как вскоре выяснилось, особу, засевающую в первом ряду — с затылка стрижкой и цветом волос очень похожую на мою Прекрасную Даму. Сердце учащенно забилося, я разомлел и целиком отдался созерцанию этого премилого затылка, стараясь телепатически вогнать в него отчаянные вопли моей души. Загадал: если обернется она, не все еще потеряно. И она обернулась и я увидел заурядный блинчатый и в веснушках лик, очки в монструозной оправе.

Какая тут нахлынула на меня тоска! Какая досада! Впустую транжирить лучшие чувства! — Человек бы невыдержанный на моем месте вообще, наверное, взвыл, как смертельно раненный зверь, но я себе ничего такого не позволил, разве что побледнел страшно. Как в тумане, встал и побрел к дверям.

Тут-то и состоялось гонение.

Весьма почтенного вида старец, убеленный сединами и до этого мерно бубнивший возле доски о неотвратимости краха капитализма, вдруг пронзительно взвизгнул и с неожиданной прытью бросился мне наперерез. Раз такой оборот, и я надал, и к выходу поспел раньше, но разъяренный марксист продолжил погоню, вырвавшись следом в коридор (молодость, что ли, революционную вспомнил). Однако годы все же взяли свое, и настичь меня ему так и не удалось.

Ну, вот я и поделился с вами, чем хотел, и теперь ничто уже не помешает вернуться (давно пора) к Трюнделю.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 1.

МОДНОЕ

И змеи кружились тревожно летали вокруг абажура тревожно и жадно свиваясь к тому же в клубки картина три розы один одуванчик поник головой на груди не нужно смеяться и плакать не нужно недужно недужно и нету напиться воды а солнце взойдет ли звезды не достать во мраке наощупь себя не сыскать а все поезда ушли в никуда умчался никто в предел далеко в уютном купе и со ржавой петардой играет на скрипке и курит сигару оставьте надежду козырная карта виконт молодой ослепительно яркий заплакала ваша вдова в два ручья в три ручья и в четыре ручья то хнычет хохочет рыдает она и рядом лежит притаившись как мышь гибка как камыш как осока востра и хочет к виконту и хочет виконта и словно виконт холодна зачем почему отчего я устал и кто раздробил мой волшебный кристалл а я бы взлетел высоко высоко а мне остается и мне лишь дано бутылка вина да книжка стихов да дурная молва да бред мотыльков да красный обман стена и туман дерьмо замесить и в ступе толочь невыносимая жуткая ночь камин не зажечь отсырели дрова о пальмах забудь бурьян и трава затейник фома решил пошутить решил пошутить придушил петуха он шею свернул и петух замолчал петух не кричит соловей не поет что было то было быльем порастет а радио скажет в стране все в порядке читайте газеты займитесь зарядкой читайте журналы концы и начала читайте газеты икс игреки зеты в стране все нормально бумага в клозете и сотни медалей не счесть всех наград орденов и регалий а мы пионеры обуты в сандалии одеты в береты сердца наши смелы и галстуки алы за правое дело нам жизни не жалко да здравствует гнида подгнидышам слава а жизнь умирает малютка взгляни цветок одуванчик застыл на груди

* * *

... Всякое государство нуждается в людях, затрачивающих по долгу службы немалое количество умственной и душевной энергии. И эти люди, в свою очередь, нуждаются в пище для ума и для души. Если им в такой пище полностью откажут, начнут их кормить исключительно отравой — они погибнут, задохнутся. И с ними вместе накроется и данный общественный строй.

Так что, кормить приходится. А ребеночек, хоть и убогий, а все растет, горбатенький. Кушать просит — больше и больше.

Вот и мучайся: как бы это не обкормить — чтобы в силу не вошел; и как бы это не уморить голодом...

* * *

... эта недостойная перепалка натолкнула меня на любопытную идею. Взявшись за реконструкцию своей молодости, мне не хотелось довольствоваться одной лишь внешней стороной, описать которую, худо-бедно, было мне по плечу.

... а жизнь внутренняя... естественно, она проявляется во внешней, но — если не побоимся громкого слова — подобно айсбергу; а если побоимся, тогда можно и так сказать: судить о жизни внутренней по жизни внешней — все равно что судить по ракушке об обитающем внутри моллюске...

... жизнь, значит, внутренняя... рассказывать о ней непосредственно силенок, то бишь способностей, явно не хватало... Долго я ломал голову, как быть — пока не озарило:

— у тебя же в сохранности отражения душевных твоих движений — то, что открылось тебе, когда ты увидел из своего смердящего хлева Женщину (лишь издали, из помойной ямы, и то, если повезет, глядеть на Женщину — наш удел; и тогда становятся различимы Люди и слышны Их голоса — ведь обостряются слух и зрение; а приблизиться к Женщине иначе, чем затащив Ее в хлев, свинья не умеет, даже если и думает, что все происходит наоборот и поступает из лучших своих намерений; и поскольку свинья, как царь Мидас, превращавший все в золото, также превращает все, до чего ни дотронется — только не в золото, а в дерьмо — она втаскивает в хлев уже не Женщину, а еще одну свинью, а после сетует, что ее надули).

Да! Остались в памяти стихи, и что с того, что не тобой написанные. К ним тянулась и ими (а чем же еще) жила душа. (Иногда не следует остерегаться громких слов!)

Каждая строчка Мастера — концентрация чувства, буква в алфавите духа. Их, этих буковок, и сейчас уже хватит с лихвою, чтобы выразить любую, самую сложную фразу. К чему же вмешивать сюда свое немощное хрюканье?

И я решил попробовать выстроить свой внутренний мир из этих строк-

кирпичиков.

И строить, стараясь передать динамику; и строить честно — кирпичик явно свиного замеса или сомнительного происхождения, не отшвыривать с презрением, а ставить на законное место. Раз они попали в кладовую, когда-то в них была нужда.

... работенка для импотента? для попугая или обезьяны? Эх! Скажите уж лучше — для свиньи. А все же — чем не сочинительство музыки? Строка — нота, стихотворение — аккорд. Недаром результат упорных и длительных трудов тянуло окрестить “Симфонией Молодости” либо “Песнью о Любви”.

Но, поборов соблазны, я выбрал скромное: “Игра в кубики”.

* * *

— ... пожалуйста сюда зачетку вашу. Ну-с, берите билет.

Трюндель оцепенел. Ни капли сходства не было между лысым, хлипким профессоршкой и буйноволосым мощным Толстяком; но голос: голос узнал бы Трюндель из тысячи.

— В чем дело? Никогда экзаменов не сдавали? Берите же билет.

Трюндель все никак не мог опомниться, и по-прежнему стоял перед столом неподвижно.

— Полюбуйтесь-ка, — отнесся Своон к своей ассистентке, наружностью и телосложением похожую больше на существо мужского пола, — да на нем лица нет. Думает, наверное, что я его сейчас съем. Хе-хе.

И профессор вроде бы с улыбкой поглядел на Трюнделя, а в действительности с таким бешенством, что миг сообщил ему достаточно энергии, чтобы обрести вновь способность к перемещениям в пространстве.

Он взял билет, чистый лист бумаги и сел за парту.

— Коллега, — опять обратился Своон к ассистентке, — этот нервный юноша, как я понимаю, последний, и я с ним разберусь сам, а вас задерживать долее не смею.

Выпроводив таким образом ненужного свидетеля, Своон (а на самом деле, конечно же, Толстяк) минуту помолчал, а затем негромко, но властно произнес: “Прикрой двери”.

Трюндель поспешно выполнил приказ.

Профессор-диверсант, не повышая голоса, продолжал:

— Кроме того, что ты, Трюндель, прогульщик, ты еще и дурак. Хорошо, хоть с порога не заорал: “Вот это встреча!” “Соображать же надо! Ведь сотни раз было говорено: бдительность и консперация. Консперация и бдительность. И особенно сейчас. Газеты утренние видел? Понятно. Газет ты вообще не читаешь. А иногда бы следовало. На, ознакомься, — и протянул Трюнделю лежащую на столе “Правду”. Через всю полосу шла набранная гигантскими буквами шапка: “Заговор отщепенцев. Преступление века.”

Передовица подействовала на Трюнделя удручающе — не осилив и

третьей части, газету он выронил, сам как-то весь сжался и спросил, заикаясь:

— К-к-к-ак же т-так?

— А так. Продала нас какая-то гнида... да не будь ты бабой, возьми себя в руки. Никто не обвиняет тебя в предательстве. Знаю, пораньше смылся к своей крале. Теперь слушай внимательно: провокатор в наших рядах, в этом не сомневайся. Значит, ГБ наступает уже тебе на пятки.

— Что делать? Что же делать?

— Хороший вопрос... Прежде всего, утри сопли. Вот так. И запоминай: в эту полночь, на Площади Восстания, у памятника, тебя будет ждать человек. У него получишь: паспорт, деньги, билет на самолет и адреса явок. Пароль прежний...

Глава четвертая

Кроме цитат, нам уже ничего не осталось.

Наш язык — система цитат.

(Борхес. “Утопия усталого человека”)

Он обложил себя тысячами книг и пишет сочинение, в котором нет ни строчки самостоятельной. Он обкрадывает эти книги и рукописи и, хотя ему остается лишь обрабатывать и связывать между собой краденые куски, тщеславия у него больше, чем у настоящего сочинителя.

(Лесаж. “Хромой Бес”)

ИГРА В КУБИКИ

\ there I was on a July Morning looking for love and nothing more I was looking for love in the strangest places there was no stone that I left unturned must to try more than thousand faces but no one was a face I love \ лица стертые краски тусклы то ли люди то ли куклы взгляд похож на взгляд а тень на тень \ my sweet lady Jane when I see you again \ вон там звезда одна горит так ярко и мучительно лучами сердце шевелит дразня его язвительно \ в жилищах наших мы тут живем умно и некрасиво справляя жизнь рождаюсь от людей \ so many colours that I want to paint it black \ жизнь это просто потрепанный том без сотни другой страниц \ стар мир ты его затер до дыр веселых красок в мире больше нет \ would you believe in a love at first sight yes I'm certain that it happens all the time \ среди шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел но тайна твои покрывала черты \ рядом на цепь посадим восемь больших голодных псов чтобы они не спали к дому не подпускали горе врагов и дураков а там вокруг такая тишина что вовек не снилась нам и за этой тишиной как за стеной хватит места нам с тобой \ мальчик сказал мне как больно и мальчика очень жаль еще так недавно он был доволен и только слышал про печаль \ people see

me laugh at me and I only say hey got to hide your laugh away \ там дамы
щеголяют модами и каждый лицеист остер \ пустынно взморье с тоской во
взоре цветной узор я слежу на шторе \ in this land every man lands you hand
when you need it and every one knows that the sun in this land is stronger \
чудная картина как ты мне мила белая равнина полная луна и саней дале-
ких одинокий бег \ а в ненастные дни собирались они часто гнули Бог их
прости от пятидесяти до ста и выигрывали и отписывали мелом так в не-
настные дни занимались они делом \ отчего же в этот час тяжелый час
наши кони не всегда выносят нас \ два голубя как два родные брата жили
а есть ли у тебя с наливкою бутылки \ исполнен отвагой окутан плащом с
гитарой и шпагой я жду под окном ты спишь ли гитарой точас разбуду
проснется ли старый мечом уложу \ pink days that confused for so long it's
not true lot's of people talking few of them know so lovely woman was created
below \ не отходи от меня друг мой останься со мной не отходи от меня
мне так отрадно с тобой \ спи еще зарею холодно и рано звезды за горою
блещут средь тумана \ я с тобой не стану пить вино оттого что ты маль-
чишка озорной знаю я у вас заведено с кем попало целоваться под луной а
у нас тишь да гладь Божья благодать а у нас светлых глаз нет приказу под-
нимать \ look out of the window goldenhair I heard you singing a marry air my
book is closed I read no more watching the fire dance on the floor I have left my
book I have left my room for I heard you thinging trough the gloom \ что вы
наденете жемчужную ли нить иль полумесяц изумрудный алмазный мой
венец \ close your eyes and I kiss you tomorrow I'll miss you \ yesterday love
was such an easy game to play now I need a place to hide away oh I believe in
yesterday why she had to go I don't know she wouldn't say I say something
wrong now I know for yesterday \ do you remember that day at september \ гул
затих я вышел на подмостки прислонясь к дверному косяку я ловлю в дале-
ком отголоске что случится на моем веку на меня наставлен сумрак но-
чи тысячью биноклей на оси если только можно Авва Отче чашу эту мимо
пронеси я люблю твой замысел упрямый и играть согласен эту роль но
сейчас идет иная драма и на этот раз меня уволь но продуман распорядок
действий и неотвратим конец пути я один все тонет в фарисействе жизнь
прожить не поле перейти \ любимая женщина бросит вся жизнь твоя будет
как сон возникнут немые вопросы исчезнут под звук похорон \ на дне бо-
кала вырос сад и протекла река там чьих-то глаз зеркальный взгляд два
синих василька хочу добыть свой смысл со dna бокальной глубины хочу
плесни мой друг вина уйти в туман стены \ one day you look to see I've gone
but tomorrow be rain so I'll follow the sun some day you find I was the one
but tomorrow be rain so I'll follow the sun \ сядь у моря жди погоды отчего
не ждать словно воды наши годы станут прибывать \ как мысли черные к
тебе придут откупори шампанского бутылку иль перечти женитьбу фигу-
ро \ все очень просто в сказках обман солнечный остров скрылся в туман
\ февраль достать чернил и плакать \ я сразу смазал краску будня плеснув-

ши краску из стакана я показал на блюде студня косые скулы океана на чешуе жестяной рыбы прочел я зовы новых губ а вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб \ жил на свете рыцарь бедный молчаливый и простой с виду сумрачный и бледный духом смелый и прямой он имел одно виденье непостижное уму и глубоко впечатленье в сердце врезалось ему \ взгляни на звезды между них милее всех одна за что же ранее встает ярчей горит она нет утешает свет ее расставшихся друзей их взоры в синей вышине встречаются на ней \ so I'm telling you my friend that I'll get you I'll get you in the end yes I will I'll get you in the end \ во всем мне хочется дойти до самой сути в работе поисках пути сердечной смуте до сущности протекших дней до их причины до оснований до корней до сердцевины все время схватывая нить судеб событий жить думать чувствовать любить свершать открыться и если бы я только мог хотя отчасти я написал бы восемь строк о свойствах страсти о беззаконьях о грехах бегах погонях нечаянностях впопыхах локтях ладонях я вывел бы Ее закон Ее начало и повторял б Ее имен инициалы я б разбивал стихи как сад всей дрожью жилок цвели бы липы в нем подряд гуськом в затылок в стихи я б внес дыханье роз дыханье мяты луга осоку сенокос грозы раскаты как некогда шопен вложил живое чудо фольварков парков роц могил в свои этюды достигнутого торжества игра и мука натянутая тетива тугого лука \ на севере мрачном на дикой скале кедр одинокий под снегом белеет про юную пальму все снится ему что в дальних пределах востока под пламенным небом на знойном холму стоит и цветет одиноко \ это было у моря где ажурная пена и где редко увидишь городской экипаж королева играла в башне замка шопена и внимая шопену полюбил ее паж \ грустно нина путь мой скучен дремля смолкнул мой ямщик колокольчик однозвучен отуманен лунный лик \ иногда мне кажется что по шатким лестницам карлики безумные в душу мне взбираются ходят суетливые карлики горбатые бьют о душу пленную каблучками острыми пилят нервы пилами пьют вино зеленое и поют забавники песню приглушенную голосками пьяными но глаза открою я пропадете сгинете лестницы рассыплются будто домик карточный близко время может быть бросив жизнь неверную снами быстролетными сам явлюсь кому-нибудь суетливым карликом \ seven six eleven five nine and twenty mile today four eleven seventeen thirty two the day before boots boots boots boots movin up and down again there's no discharge in the war \ ты бьешься в стенку воспоминаний но злые иглы терзают руки \ снится маске снится рыцарь темный рыцарь улыбнись он рассказывает сказки опершись на меч а за ними тихий танец отдаленных встреч и на завесе оконной золотится луч протянулся от сердца тонкий цепкий шнур и потерянный влюбленный не умеет прицепиться улетевший с книжной дверцы амур \ в длинной сказке тайно кроясь бьет условный час в темной маске прорезь ярких глаз нет печальней покрывала тоньше стана нет вы любезней чем я знала господин поэт вы не знаете по русски госпожа моя

на конце ботинки узкой дремлет тихая змея \ но в камине дозвенели угольки за окошком догорели огоньки и на вьюжном море тонут корабли и на южном море стонут журавли верь мне в этом мире солнца больше нет верь лишь мне ночное сердце я поэт я какие хочешь сказки расскажу и какие хочешь маски приведу и пройдут любые тени при огне странных очерки видений на стене и любой колени склонит прет тобой и любой цветок уронит голубой \ вот прошел король с зубчатым пляшущем венцом шут прошел в плаще крылатом с круглым бубенцом дамы с шлейфами пажами в розовых тенях рыцарь с темными цепями на стальных руках ах к походке вашей рыцарь шел бы длинный меч под забралом вашим рыцарь нежный взор желанных встреч ах петуший гребень рыцарь вам украсил шлем ах скажите милый рыцарь вы пришли зачем к нашим сказкам милый рыцарь приклоните слух эти розы милый рыцарь подарил мне друг эти розаны мне рыцарь милый друг принес ах вы сами в сказке рыцарь вам не надо роз \ мне грустно и легко печаль моя светла печаль моя полна тобой одной тобой \ кто создан из камня кто создан из глины а я серебрюсь и сверкаю мне дело измена мне имя марина я бренная пена морская \ и теперь он знает все не хуже мудрых и старых вас не сладит с горькой болью первой любви \ so I will set you free go with him you can go with him girl \ и кричит душа моя от боли и молчит мой черный телефон \ все что ликует и блестит наводит скуку и томленье отдайте мне метель и вьюгу и зимний долгий мрак ночей \ непогода осень куришь куришь все как будто мало хоть читал бы только чтение продвигается так вяло серый день ползет лениво и болтают нестерпимо на стене часы стенные языком неумоимо \ день проходил как всегда в сумасшествии тихом \ печально я гляжу на наше поколение его грядущее иль пусто иль темно меж тем под бременем познания и сомнения в бездействии состарится оно к добру и злу позорно малодушны и перед властью презренные рабы \ вот открыт веселый балаганчик для веселых и славных детей смотрят девочка и мальчик на дам королей и чертей вдруг паяц перегнулся за рамку и кричит помогите истекаю я клюквенным соком забинтован тряпицей на голове моей картонный шлем и в руке деревянный меч заплакали девочка и мальчик и закрылся веселый балаганчик \ я взойду на высокую башню сосчитаю во тьме ступени был безрадостен день вчерашний а сегодня день огорчений и туман проползет сквозь двери в щели стрельчатых окон башни я сегодняшнему дню не верю он такой же как день вчерашний \ I can't spent my days in bed \ сгину я меня пушинкой ураган сметет с ладони \ ночное веселье в парке асакуса вмешался в толпу покинул толпу с опечаленным сердцем \ я зеленый потешный гном и чернильный прибор мой дом но в чернильнице нет чернил в ней паук паутину свил мой мохнатый и добрый сосед пригласил на роскошный обед несказанный отведашь улов из сушеных мушинных голов что ж приду и с собой принесу в колокольчике звонком росу мы ее на двоих разольем расплескав веселиться начнем уроню свой дурацкий кол-

пак и одежду сорву буду наг буду в счастье смеяться плясать и бессильный паду на кровать а паук паутинную нить станет в диком неистовстве вить потертый восход мутный день продвиженье начнет и заплачет потерянный гном в неприятном жилище своем \ живи хоть сотни лет от века все повторится словно встарь ночь леденая рябь канала аптека улица фонарь \ отряд марширующих солдат я долго на них глядел как ни тени печали на лицах \ горько пьяное раздолье в бесшабашной стороне нераспаханное поле в беспробудном русском сне неисполненных желаний и несбывшихся надежд край несчастий и метаний идиотов и невежд \ горе малый я несильный съест упырь меня совсем \ и когда мне говорят что труд и еще и еще будто хрен натирают на заржавленной терке я ласково спрашиваю взяв за плечо а вы прикупаете к пятерке \ ах о пастыре небесном я забыл в своей гордыне то что люди это стадо не забыл я и поныне \ тишина на белом свете тишина я иду и размышляю не спеша то ли стать мне президентом сэ шэ а то ли взять да и окончить вэ пэ ша \ вдали от света и искусства вдали от жизни и любви мелькнут твои молодые годы живые помертвеют чувства мечты развеятся твои \ если на улице вдруг облик мелькнет похожий так и заплашет сердце в груди пожалей меня \ улеглася метелица путь озарен ночь глядит миллионами тусклых очей погружай меня в сон колокольчика звон выноси меня тройка усталых коней и былую мечту наряжает в забытые сны то вдруг слышится мне страстный голос поет с колокольчиком дружно звеня ах когда-то когда-то мой милый придет отдохнуть на груди у меня у меня ли не жизнь чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть самовар мой кипит забушует ли вьюга ломпада горит и когда я дремлю мое сердце не спит все по нем изнывая тоской то вдруг слышится мне тот же голос поет с колокольчиком грустно звеня где-то старый мой друг я боюсь он войдет и ласкаясь обнимет меня что за жизнь у меня и тесна и темна и скучна моя горница дует в окно я большая брожу и не еду к родным побранить меня некому милого нет лишь старуха ворчит как приходит сосед оттого что мне весело с ним \ мухи как черные мысли весь день не дают мне покоя жалят жужжат и кружатся над бедной моей головою сгонишь одну со щеки а на глаз уж уселась другая некуда спрятаться всюду царит ненавистная стая валится книга из рук разговор упадает бледная эх кабы вечер придвинулся эх кабы ночь поскорее черные мысли как мухи всю ночь не дают мне покоя жалят язвят и кружатся над бедной моей головою только прогонишь одну а уж в сердце впиалась другая все вспоминается жизнь так бесплодно в мечтах прожитая хочешь забыть разлюбить а все любишь сильнее и больше эх кабы ночь настоящая вечная ночь поскорее \ зачем я живу и что не умру в сырую траву упав поутру тоскливую песнь полжизни я пел а правды донести к сердцам не сумел к чему мне уста для смеха даны четыре креста четыре свечи четыре свечи висят предо мной кричат замолчи и больше не пой уйди в мутных рек развод ледяной укройся навек четвертой стеной другие придут оты-

щут ключи тебе же приют могила молчи \ молчи скрывайся и таи и чувства и мечты свои пускай в душевной глубине встают и заходят оне безмолвно как звезды в ночи любуйся ими и молчи как сердцу высказать себя другому как понять тебя поймет ли он чем ты живешь мысль изреченная есть ложь взрывая возмутишь ключи питайся ими и молчи лишь жить в себе самом умеи есть целый мир в душе твоей таинственно-волшебных дум их оглушит наружный шум дневные разгонят лучи внимай их пенью и молчи \ и с улыбкой безобразной он ответит ишь начитался дряни разной вот и говоришь \ и каждый вечер за шлагбаумами заламывая котелки среди канав гуляют с дамами испытанные остряки под озером скрипят уключины и раздается женский визг а в небе ко всему приученный бессмысленный кривится диск и каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен и влагой терпкой и единственной как я смирен и оглушен и пьяницы с глазами кроликов in vino veritas кричат и медленно пройдя меж пьяными всегда без спутников одна дыша духами и туманами она садится у окна и странной близостью закованный смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль в моей душе лежит сокровище и ключ поручен только мне ты право пьяное чудовище я знаю истина в вине \ алкоголи алкоголи в голове туман и неволен может болен кто совсем не пьян мир кружится веселиться уплывая вдаль полупьяная столица мертвая печаль и не жаль ни с чем расстаться потерять пути и не жалко даже братцы навсегда уйти хмель безудержно веселый поприбавит сил выйти что ль из комсомола кто-то вдруг спросил что же выйди в чисто поле душу потрави только пляшут алкоголи у меня в крови \ мело мело по всей земле во все пределы свеча горела на столе свеча горела \ ржут отбившиеся кони на души моей задворках для меня весь мир задвинут в черный ящик недомолвок \ бессрочному кораблю не плыть и соловью не петь я столько раз хотела жить и столько умереть \ без цели я из дома выхожу без цели возвращаюсь друзья смеются надо мной \ в какой ночи бредовой и недужной я зачат такой большой и такой ненужный \ а у психов жизнь так бы жил любой хочешь спать ложись а хочешь песни пой предоставлено им вроде литеры кому от сталина кому от гитлера \ будь что будет все равно парки дряхлые прядите жизни спутанные нити ты шуми веретено все наскучило давно трем богиням вещим пряхам было прахом будет прахом мы на ложь обречены роковым узлом от века в слабом сердце человека правда с ложью сплетены лгу чтоб верить чтобы жить и во лжи своей тоскую пусть же петлю роковую жизни спутанную нить цепи рабства и любви все пред чем я полон страхом рассекут единым махом парка ножницы твои \ и нет избавленья разорваны звенья а шпагу и шпоры в дороге украли и мне же продали негодные воры \ и был озарен и выстроен дом туманом витающей скуки трещали дрова катились года по рельсам мгновений привычно но вот однажды случилась беда при страшных грозе и ветре столкнулись года в семнадцатом километре и скуке на смену пришла тос-

ка по прежней тихой сказке но кровью забрызгана эта строка заляпана черной краской хозяин расстрелян дом пуст ютятся в нем мыши и клонится лишь одинокий куст поближе к широкой крыше кричали бежали визжали года мелькали в дикой пляске и вот уже полилась вода на мельницу новой сказке над жарким и ярко пылавшем огнем мы грели замерзшие руки стоял озарен построенный дом туманом тоски и скуки \ умом России не понять аршином общим не измерить у ней особенная статья в Россию можно только верить \ облаком волнистым пыль встает в дали пеший или конный не видать в пыли вот промчался кто-то на лихом коне друг мой друг далекий вспомни обо мне \ я в сотый раз опять начну сначала пока не меркнет свет пока горит свеча \ работай работай работай ты будешь с уродским горбом за долгой и честной работой за долгим и честным трудом под праздник другим будет сладко другой твои песни споет с другими лихая солдатка пойдет подбочась в хоровод ты знай про себя что не хуже другого плясал бы вон как ах сладко как сладко так сладко работать пока расцветет и знать что лихая солдатка ушла за село в хоровод \ я долго лежал ничком на холме вспоминая боль моей первой любви \ пью за здоровье мери милой мери моей тихо запер я двери и один без гостей пью за здоровье мери \ где четыре не всегда дважды два вот какие я придумал острова \ все что было невозможно стало близким как объятье \ весенний день горяч и золот весь город солнцем ослеплен я снова я я снова молод я снова весел и влюблен душа поет и рвется в поле я всех чужих зову на ты какой простор какая воля какие песни и цветы \ порато баско весной в сивовце \ ты женщина и этим ты права ты книга между книг ты в наших безднах образ Божества мы для тебя влечем ярем железный тебе мы служим тверди гор дробя и молимся от века на тебя \ I came in the love satisfaction I'm try I'm try I can't get no \ быть женщиной великий шаг сводить с ума геройство а я пред чудом женских рук спины и плеч и шеи и так с привязанностью слуг весь век благоговею \ сколько лет пройдет узнают пока кандидат на сажень городского морга я бесконечно больше богат чем любой пьерпонт морган \ отчего ты все дуешь в трубу молодой человек полежал бы ты лучше в гробу молодой человек \ я искал в этой женщине счастье а нечаянно гибель нашел \ а за морем есть мама нет а где мама умерла что это значит это значит вон идет глупый поэт он вечно о чем-то плачет о чем о розовом капоре так у него нет мамы есть только ему нипочем ему хочется за море где живет прекрасная дама а эта дама добрая да так зачем же она не приходит она не придет никогда она не ездит на параходе подошла ночка кончился разговор папы с дочкой \ пять коней подарил мне мой друг люцифер и одно золотое с рубином кольцо чтобы мог я спускаться в глубины пещер и увидел небес молодое лицо много звездных ночей много огненных дней я скитался не зная скитанью конца я смеялся порывам могучих коней и игре моего золотого кольца там на высях сознания безумье и снег но коней я ударил свистящим бичом я на выси сознания направил

их бег и увидел там деву с печальным лицом в тихом голосе слышались звоны струны в странном взоре сливался с ответом вопрос и я отдал кольцо этой деве луны за неверный оттенок разбросанных кос и смеясь надо мной презирая меня люцифер распахнул мне ворота во тьму люцифер подарил мне шестого коня и отчаянье было названье ему \ я кончился а ты жива \ я увидел во сне можжевельовый куст остывающий лепет изменчивых уст легкий лепет едва отдающий смолой проколовший меня смертоносной иглой облетевший мой садик безжизнен и пуст да простит тебя Бог можжевельовый куст \ please my friend help me now never felt so bad before never never before \ нет имени тебе мой дальний \ oh how long will it take 'till she think 'bout mistake she has made \ море стонет путь далек тонет тонет мой челнок \ я говорю прмчатся годы и сколько здесь не видно нас мы все сойдем под вечны своды и чей-нибудь уж близок час \ мужайтесь о други боритесь прилежно хоть бой и неравен борьба безнадежна \ мы плененные звери голосим как умеем глухо заперты двери мы открыть их не смеем что в зверинце зловонно и скверно мы забыли давно мы не знаем утешаяся лаем мы лаем однозвучно и скучно кукуем к повторениям сердце привычно все в зверинце безлично обычно мы о воле давно не тоскуем \ из колоды моей утащили туза да такого туза без которого смерть \ я действительности нашей не вижу я не знаю нашего века родину я ненавижу я люблю идеал человека \ гвозди бы делать из этих людей крепче бы не было в мире гвоздей \ когда приходится служить капризным наглым самодурам как страшен кажется весь мир \ вам любящим баб да блюда жизнь отдавать в угоду да лучше я в баре блядам буду подавать ананасную воду \ по утрам просыпаются птицы выбегают в поле газели и выходит из шатра европеец размахивая длинным бичом он садится под тенью пальмы обернув лицо зеленой вуалью ставит рядом с собой бутылку виски и хлещет лентящихся рабов мы должны чистить его вещи мы должны стеречь его мулов а вечером есть солонину которая испортилась днем слава нашему хозяину-европейцу у него такие дальнобойные ружья у него такая острая сабля и так больно хлещущий бич слава нашему хозяину-европейцу он храбр но он недогадлив у него такое нежное тело его сладко будет пронзить ножом \ я прорубил жестяное оконце в глухой стене в него заглядывает солнце и ярко светит мне \ тень несозданных созданий колыхается во сне словно лопасти латаний на эмалеовой стене всходит месяц обнаженный при лазоревой луне звезды реют полусонно звезды ластятся ко мне \ мне мило отвлеченное им жизнь я создаю я все уединенное неявное люблю я раб моих таинственных необычайных снов но для речей единственных не знаю здешних слов \ милый друг иль ты не видишь что все видимое нами только отблеск только тени от незримого очами милый друг иль ты не слышишь что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий \ цель творчества самоотдача а не шумиха не успех \ эти песни были и слова звучали их снега укрыли унесли печали я пою их

снова с сердцем одиноким что же в том плохого что уж были строки \ я не знаю других обязательств кроме девственной веры в себя в этом мире одно есть блаженство сознавать что ты выше себя \ мой дар убог и голос мой негромок но я живу и на земли мое кому-нибудь любезно бытие и как нашел я друга в поколеньи читателя найду в потомстве я \ еще одно последнее сказанье и летопись окончена моя \ старый бродяга в аддис-абебе покоровивший многие племена прислал ко мне черного копьеносца с приветом составленным из моих стихов лейтенант водивший канонерки под огнем неприятельских батарей целую ночь под южным морем читал мне на память мои стихи человек среди толпы застреливший императорского посла подошел позвать мне руку поблагодарить за мои стихи много их сильных злых и веселых убивавших слонов и людей умиравших от жажды в пустыне замерзавших на кромке вечного льда верных нашей планете сильной веселой и злой возят мои книги в седельной сумке читают их в пальмовой роще забывают на тонущем корабле я не оскорбляю их неврас-тением не унижаю душевной теплотой не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца но когда вокруг свищут пули когда волны ломают борта я учу их как не бояться не бояться и делать как надо и когда женщина с прекрасным лицом единственно дорогим во все-ленной скажет я не люблю вас я учу их как улыбнуться и уйти и не возвра-щаться больше а когда подойдет их последний час ровный красный туман застелет взоры я научу их сразу припомнить всю жестокую милую жизнь всю родную странную землю и представ перед ликом Бога с простыми и мудрыми словами ждать спокойно Его суда \ звук осторожный и глухой плода сорвавшегося с древа среди немолчного напева глубокой тишины лесной \ и когда мой голос похабно ухаёт от часа к часу целые сутки может быть Иисус Христос нюхает души моей незабудки \ разбросанным в пыли по магазинам где их никто не брал и не берет моим стихам как драгоцен-ным винам наступит свой черед \ и меж детей ничтожных мира быть может всех ничтожней он но лишь божественный глагол \ ко мне уже раскра-шенному в просесть придет она повиснет на шею плакучею ивою владимир владимирович милый попросит я сяду и напишу что-нибудь замеча-тельно красивое \ не дорожи любовью народной ты царь живи один ты сам свой высший суд всех строже оценить сумеешь ты свой труд ты сам доволен ли взыскательный художник доволен так пускай толпа его бранит и плюет на алтарь где твой огонь горит \ я долго стоял неподвижно в дале-кие звезды глядясь меж теми звездами и мною какая-то связь родилась \ в том лесу белесоватые стволы выступали неожиданно из мглы и следы в песке видали рыбаки шестипалой человеческой руки только раз отсюда в вечер грозовой вышла женщина с кошачьей головой но в короне из литого серебра и вздыхала и стонала до утра и скончалась тихой смертью на заре перед тем как дал причастье ей кюре это было это было в те года от кото-рых не осталось и следа это было это было в той стране о которой не за-

грезил и во сне может быть тот лес душа твоя может быть тот лес любовь моя или может быть когда умрем мы в тот лес направимся вдвоем \ и девочки к нему по воздуху плывут одна из них снимает крестик тихонько падает в траву и девочка лежит нагою в огонь откинув кружева ребенок тихо отвечает младенец я и не окреп ужель твой ум не примечает насколько твой замысел нелеп красот твоих мне стыден вид закрой же ножки белой тканью смотри как мой костер горит и не готовься к поруганью и тихо взяв мешалку в руки он мудро кашу помешал так он урок живой науки душе несчастной преподавал \ но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле да в дальнюю область в заоблачный плес ушел мой товарищ и песню унес отряд не заметил потери бойца новые песни придумала жизнь не надо ребята о песни тужить не надо не надо не надо друзья гренада гренада гренада моя \ иногда мне кажется я петух голландский а иногда что я король псковский а иногда мне больше всего нравится собственная фамилия владимир маяковский \ полюбил я большие цветы им оставшее сердце так радо что взросли у могильной плиты в глубине запустелого сада \ о не кладите меня в землю сырую скройте заройте меня в траву густую \ не пой красавица при мне ты песен грузии печальных напоминают мне оне другую жизнь и берег дальний \ сижу задумчив и один на потухающий камин сквозь слез гляжу с тоскою мыслю о былом и слов в унынии моем не нахожу былое было ли когда что ныне будет ли всегда оно пройдет как все прошло и канет в темное жерло за годом год за веком век что ж негодует человек сей знак земной и снова будет все что есть и снова розы будут цвести и терни то ж но ты мой бедный бледный цвет тебе уж возвращенья нет не расцветешь \ дар напрасный дар случайный жизнь зачем ты мне дана иль зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена кто меня враждебной властью из ничтожества воззвал душу мне наполнил страстью ум сомненьем взволновал цели нет передо мною сердце пусто празден ум и томит меня тоскою однозвучный жизни шум \ не знаю отчего я так мечтал на поезде поехать вот с поезда сошел и некуда идти \ я вас любил любовь еще быть может в душе моей угасла не совсем но пусть она вас больше не тревожит я не хочу печалить вас ничем я вас любил безмолвно безнадежно то робостью то ревностью томим я вас любил так искренне так нежно как дай вам Бог любимой быть другим \ и ветер и дождик и мгла над холодной пустыней воды здесь жизнь до весны умерла до весны опустели сады я на даче один мне темно за мольбертом и дует в окно вчера ты была у меня но тебе уж тоскливо со мной под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой что ж прощай как-нибудь до весны проживу и один без жены сегодня идут без конца те же тучи гряды за грядой мне больно глядеть одному в предвечернюю серую тьму мне крикнуть хотелось вослед воротись я сроднился с тобой но для женщины прошлого нет разлюбила и стал ей чужой что ж камин затоплю буду пить хорошо бы собаку купить \ я долго лежал ничком на холме вспоминая боль моей пер-

вой любви \ it was night in the lonsome october of my most immemorial year
it was hard by the dim lake of auber in the misty mid region of weir here once
through an alley titanick of cypress I roamed with my soul with psyche my soul
but psyche uplighting her finger said sadly this star I mistrust her pallor I
strangely mistrust ah hasten ah let us not linger ah fly let us fly for we must and
I said what is written sweet sister on the door of this legened tomb she replied
Ulalume Ulalume 'tis the vault of thy lost Ulalume \ барон фон гринвальдус
известный в германьи в забралах и латах на камне пред замком пред за-
мком амальи сидит принахмурясь сидит и молчит отвергла амалья баро-
нову руку барон фон гринвальдус от замковых окон очей не отводит и с
места не сходит не пьет и не ест года за годами бароны воюют бароны
пируют барон фон гринвальдус сей доблестный рыцарь все в той же пози-
ции на камне сидит \ моя любовь плененный жупел звериной бытности
фасад толку ее в железной ступе уж много много дней подряд я стану жел-
тым диким зверем тупую ярость затаю сорву оковы выбью двери и рас-
топчу любовь мою \ да мне нравилась девушка в белом но теперь я люблю
в голубом \ что верно то верно нельзя же силком девчонку тащить в кро-
вать ей надо сначала стихи почитать потом угостить вином \ да есть прав-
да земли подглядел я ребяческим оком лижут в очередь кобели истекаю-
щую суку соком \ и в атаку бросаюсь я жаден и груб как ватага червей на
бесчувственный труп \ о жестокая тварь красотою твоей я пленяюсь тем
больше чем ты холодней \ ой где был я вчера не найду днем с огнем помню
только что стены с обоями помню клавка была и подруга при ней целовал-
ся на кухне с обоими ты говорят по квартире скакал голым песни орал а
отец говорил у меня генерал кто плевал мне в лицо а кто водку лил в рот а
какой-то танцор бил ногами в живот хорошо что вдова верность мужу хра-
ня пожалела меня и взяла к себе жить если правда оно так хотя бы на треть
остается одно взять да и лечь помереть \ женщина продажная странная
печальная встретились однажды мы в пору обручальную \ gainly bedight a
gallant knight in sunshine and in shadow had journeyed long singing a song in
search of eldorado but he grew old that knight so bold and o'er his heart a
shadow fell as he found no spot of ground that looked like eldorado \ тогда я
исторгала грозы теперь исторгну жгучей всех у пьяного поэта слезы у
пьяной проститутки смех \ наша жизнь простыня и кровать наша жизнь
поцелуй и в омут \ отмерзают руки ноги ком вползает в грудь помогите
люди боги помогите кто-нибудь ну чего тебе злодейка эка баба закорюка
ну и время вот скамейка сяду я и покурю-ка \ Боже ужасный век ужасные
сердца \ жить метаться и мечтать и не знать когда умрешь непрерывно
повторять где-то слышанную ложь поцелуям не любя отдавать себя без
звука день за днем вот так губя что за мука что за мука подарить свой труд
навек государству и народу но по-прежнему живут вокруг тебя одни уроды
верить что единый Бог за тебя уж все продумал и поставил потолок суете
мирской и шуму иль запоем вина пить с головой как буй туманной и в

стакане утопить все химеры и обманы выше всех себя считать и свои предубеждения и бросаться словно тать на слепого от рожденья \ there was an old person of buda whose conduct grew ruder and ruder till at last with a hammer they silenced his calmour by smashing that person of buda \ there was an old man of cromer who stood on one leg to read homer when he found he grew stiff he jumped over the cliff which concluded that person of cromer \ и чувства нет в твоих очах и правды нет в твоих речах и нет души в тебе \ не плоть а дух растлился в наши дни и человек отчаянно тоскует он к свету рвется из ночной тени и свет обретши ропщет и бунтует и жаждет веры но о ней не просит \ люблю блуждать я над трясинной дрожащим огоньком люблю за липкой паутиной таиться пауком люблю быть явным тайным поводом к мучению людей я злой больной безумно мстительный зато томлюсь и сам мой тяжкий стон мой вопль мучительный укору небесам судьба дала мне плоть растленную отравленную кровь я возлюбил мечтою пленную безумную любовь и всем во всем завидую и стать хочу иным \ голова моя машет ушами как крыльями птица ей на шее ноги маячить больше не в мочь черный человек на кровать ко мне садится черный человек спать мне не дает всю ночь водит пальцем по мерзкой книге и гнусаво как над усопшим монах читает мне жизнь какого-то прохвоста и забулдыги нагоняя на душу тоску и страх в книге много прекраснейших мыслей и планов этот человек проживал в стране самых отвратительных громил и шарлатанов в декабре в той стране снег до дьявола чист и метели заводят веселые прятки был человек тот авантюрист но самой высокой и лучшей марки был он изящен к тому ж поэт хоть с небольшой но ухватистой силой и какую-то женщину сорока с лишним лет называл скверной девочкой и своей милой счастье есть ловкость ума и рук все неловкие души за несчастных всегда известны в грозы и в бури и в житейскую стынь и когда тебе грустно казаться улыбчивым и простым самое высшее в мире искусство может с толстыми ляжками тайно придет она и ты будешь читать свою дохлую лирику ах люблю я поэтов забавный народ в них всегда узнаю историю сердцу знакомую как прыщавой курсистке длинноволосый урод говорит о мирах половой истекая истомою жулик и вор так бесстыдно и нагло обокравший кого-то черный человек ты прескверный гость эта слава давно про тебя разносится я взбешен разъярен и летит моя трость прямо в морду к нему в переносицу ах ты ночь что ты ночь наковеркала я в цилиндре стою никого со мной нет я один и разбитое зеркало \ если подстрелят тебя в упор пой ширин вирин ристофор \ не знаю когда даже плакать я разучился неужели нет человека чтобы тронул душу мою до слез \ в кабаках зеленый штоф желтые салфетки рай для нищих и шутов мне ж как птице в клетке и ни церковь и ни кабак ничего не свято нет ребята все не так все не так ребята \ я же жизнь отдавал за тебя подлеца а ты жизнь прожигашь паскуда а винтовку тебе а послать тебя в бой а ты водку тут хлещешь со мною \ и с отвращением читая жизнь мою я трепещу и прокли-

наю и горько жалуясь и горько слезы лью но строк печальных не смываю \ мы жадно бережем в груди остаток чувства и ненавидим мы и любим мы случайно ничем не жертвуя ни злобе ни любви и царствует в душе какой-то холод тайный когда огонь кипит в крови и к гробу мы спешим без счастья и без славы глядя насмешливо назад \ руки скрестив на груди часто думаю я теперь где он враг великан пусть выйдет попляшет передо мной \ любовь есть сон а сон одно мгновение и рано ль поздно пробуждение а должен наконец проснуться человек \ когда вы стоите на моем пути такая живая такая красивая но такая измученная говорите все о печальном думаете о смерти никого не любите презираете свою красоту что же разве я обижу вас о нет ведь я не насильник и не обманщик и не гордец хоть много знаю слишком много думаю с детства и слишком занят собой ведь я сочинитель человек отнимающий аромат у живого цветка сколько ни говорите о печальном сколько не размышляйте о концах и началах все же я смею думать что вам только пятнадцать лет и поэтому я хотел бы чтобы вы влюбились в простого человека который любит землю и небо больше чем рифмованные и нерифмованные речи о земле и о небе право я буду рад за вас так как только влюбленный имеет право на звание человека \ мне нравится что вы больны не мною мне нравится что я больна не вами мне нравится еще что вы при мне спокойно обнимаете другую не прочтите мне в адовом огне гореть за то что я не вас целую спасибо вам и сердцем и рукой за то что вы меня не любите не зная сами за редкость встреч закаты часами за мой ночной покой за наши негулянья под луной за солнце не у нас над головами \ нежность не спутаешь ни с чем и она тиха ты напрасно бережно кутаешь мои плечи и грудь в меха и напрасно слова покорные говоришь о первой любви как я знаю эти упорные несытые взгляды твои \ и о чем-то запоет бледно-палевый восход \ я глубоко упрятал в далекие гроты самоходные флоты желаний проклятых \ ты молода и будешь молода еще лет пять иль шесть вокруг тебя еще лет шесть они толпиться будут тебя ласкать лелеять и дарить и серенадами ночными тешить и за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью но когда пора пройдет когда твои глаза впадут и веки сморщась почернеют и седина в косе твоей мелькнет и будут называть старухой тогда что скажешь ты \ я скажу тебе с последней прямоотой все лишь бредни шерри-бренди ангел мой ангел мери все равно пей коктейли дуй вино \ тихо над альгамброй дремлет вся натура дремлет замок памбра спит эстремадура дайте мне мантилью дайте мне гитару дайте инезилью кастаньетов пару погоди престлестница поздно или рано шелковую лестницу выну из кармана о сеньора милая здесь темно и серо страсть кипит унылая в вашем кавальеро здесь перед бананами если не наскучу я между фонтанами пропляшу качучу но в такой позиции страх боюсь я святой инквизиции ведь недаром мерзостный старый альгвазил мне рукою дерзостной давеча грозил но его для срама я маврою одену загоню на самую на сьерру-морену и на этом месте

если вы мне рады будем петь мы вместе ночью серенады \ нежно говорил ей мы у реки шли камышами слышите шуршат камыши у оки вы прекрасно картавите только жалко италию она ах зачем вы давите и локоть и талию вы мне мешаете у камыша идти \ и была у дон жуана шпага и была у дон жуана донна анна вот и все что люди мне сказали о прекрасном и несчастном дон жуане \ увы такого страшного урока не мыслил я найти на свете вы мне казались женщиной иной среди тех бездушных кукол и я безумец как мечту свою баюкал как имя нежное шептал петрову звал во мраке ночи ты была для меня идеал пойми петрова если хочешь я твоя агляя бери меня скорей со стула вы сами проситесь к любви о как унять волнение крови безумец что я здесь нашел пошел отседова дурак пошел \ о чудный амстердам зачем я здесь не там \ где-то кони пляшут в такт медленно и плавно вдоль дороги все не так а в конце подавно а в чистом поле васильки и дальняя дорога \ there was an old person of spain who hated all troubles and pain so he set on a chair whis his feet in the air that umburguous person of spain \ из края в край из града в град судьба как вихрь людей метет и рад ли ты или не рад что нужды ей вперед вперед \ жизни мышья беготня что тревожишь ты меня \ пора мой друг пора покоя сердце просит летят за днями дни и каждый миг уносит частичку бытия а мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь как раз умрем на свете счастья нет а есть покой и воля давно завидная мечтается мне доля давно усталый раб замыслил я побег в обитель дольнюю трудов и чистых нег \ все что волшебнo так манило из-за чего весь век живешь со днями зимними остыло и непробудно улеглось нет ни надежд ни сил для битвы лишь посреди ничтожных смут как гордость дум как храм молитвы страданья в прошлом восстают \ и болела голова оглянулся тридцать лет хватъ похватъ а сердца нет и нашел весьма банальным конец души своей печальной \ не рассуждай не хлопочи безумство ищет глупость судит дневные раны сном лечи а завтра быть чему то будет живя умей все пережить печаль и радость и тревогу чего жалеть о чем тужить день пережит и слава Богу \ werther had a love for charlotte such as words could never utter would you know how first he met her she was cutting bread and batter charlotte was a married lady and a moral man was werther and for all the wealth of indias would do nothing for to hurt her so he sighed and pined and ogled and his passion boiled and bubbled till he blew his silly brains out and no more was by it troubled charlotte having seen his body before her on a shatter like a well conducted person went on cutting bread and butter \ помню я тебя ребенком скоро будет сорок лет твой передничек измятый твой затянутый корсет было в нем тебе неловко ты сказала мне тайком распусти корсет мне сзади неудобно бегать в нем весь исполненный волнения я корсет твой развязал ты со смехом убежала я ж задумчиво стоял \ by the old moulinein pagoda lookin lazy at the sea there's a birma girl a-settin and I know she thinks of me for the winds is in the palm tree and the temple bells they say come you back you british soldier come you back

to mandalay \ отвернув к другому плечи и немного наклонившись вниз ты мне скажешь тихо добрый вечер я отвечу добрый вечер мисс и ничто души не потревожит и ничто ее не бросит в дрожь кто любил уж тот любить не может кто сгорел того не подожжешь \ в старинном замке джейн вильмор чуть ночь звучат баллады \ и однажды закат был особенно красен и особенный запах летел от лесов и к палатке моей подошел европеец исхудалый небритый и есть попросил вплоть до ночи он ел неумело и жадно клал сардинки на мяса сухого ломоть как пилюли проглатывал кубики магги и в абсент добавлять отказался воды я спросил почему он так мертво бледен почему его руки сухие дрожат как листья лихорадка великого леса он ответил и с ужасом глянул назад я спросил про большую открытую рану что сквозь тряпки чернела на впалой груди что с ним было горилла великого леса он сказал и не смел оглянуться назад я постель предоставил усталому гостю лег на шкурах пантер но не мог задремать жадно слушая длинную повесть лихорадочный бред пришлеца из лесов в рукопашную помни отравлены стрелы бей того кто на пне он кричит он их вождь горе мне на куски разлетелась винтовка ничего не могу повалили меня нет я жив только связан злодеи злодеи отпустите меня я не в силах смотреть жарят пьера а мы с ним играли в марселе на утесе у моря играли детьми что ты хочешь собака ты встал на колени я плюю на тебя омерзительный зверь но ты лижешь мне руки ты рвешь мои путы да я понял ты богом считаешь меня ну бежим не бери человечьего мяса всемогущие боги его не едят лес о лес бесконечный я голоден акка излови если можешь большую змею он стонал он хрипел он хватался за сердце и наутро почувдилось мне задремал но когда я его разбудить попытался то увидел что мухи ползли по глазам \ пусть целует она другого молодая красивая дрянь ах постой я ее не ругаю ах постой я ее не кляню \ как убит и отчего знает сокол лишь его да кобылка вороная да хозяйка молодая сокол в рощу улетел на кобылку недруг сел а хозяйка ждет милого не убитого живого \ обложили меня обложили гонят весело на номера \ ждешь когда щеки провалятся ямкой попробованный всеми я приду и беззубо прошамкаю что сегодня я удивительно честный \ другие же суя табак в пустую трубку облизываясь мысленно целуют ту голубку которая пред ними пролетела пресветлая остаться не захотела и девку нежно обнимая она же к этому привыкнув сидела тихая не пикнув закон имея естества она желала сватовства \ есть земля на свете францева иосифа там навек забуду что меня ты бросила полно разговаривать знаю я заранее будешь ты участвовать в северном сиянии мне людей не надобно мне делиться хочется с белыми медведями черным одиночеством \ не помогла мне ни верка ни водка с водки похмелье а с верки что взять лечь бы на дно как подводная лодка чтоб не смогли и запеленговать \ меркнут знаки зодиака над просторами полей спит животное собака дремлет птица воробей все смешалось в общем танце и летят во все концы гамадрилы и британцы ведьмы блохи мертвецы

разум мой уродцы эти только вымысел и бред только вымысел мечтанье сонной мысли колыханье то чего на свете нет над постройками села спит животное собака дремлет рыба камбала колотушка тук тук тук спит животное паук спит корова муха спит над землей луна висит над землей большая плоска опрокинутой воды спит растение картошка засыпай скорей и ты \ не пылит дорога не дрожат листья подожди немного отдохнешь и ты \ выхожу один я на дорогу сквозь туман кремнистый путь блестит ночь тиха пустыня внемлет Богу и звезда с звездой говорит в небесах торжественно и чудно что же мне так больно и так трудно жду ль чего жалею ли о чем уж не жду от жизни ничего я и не жаль мне прошлого ничуть я ищу свободы и покоя я б хотел забыться и заснуть \ молчи прошу не смей меня будить о в этот век преступный и постыдный не жить не чувствовать удел завидный отградней спать отградней камнем быть \ когда в кругу убийственных забот нам все мерзит и жизнь как камней гряда лежит на нас вдруг знает Бог откуда нам на душу отградное дохнет минувшим нас обнимит и страшный груз минутно приподнимит \ what have you done with your sheep little bo peep what have you done with your sheep bo peep little boy blue what fun I've lost them everyone oh what a thing to have done little boy blue what are you going to do little bo peep what are you going to do bo peep bo peep little boy blue you'll see they'll all come home to tea they wouldn't do that for me little boy blue whom are you going to marry little bo peep whom are you going to marry bo peep little boy blue boy blue I'd like to marry you I think I should like it too little bo peep where are we going to live little boy blue bo peep bo peep up in the hills with the sheep and you'll love your little bo peep boy blue I'll love you for ever and ever little bo peep I'll love you for ever and ever bo peep little boy blue my dear keap near keap very near I shall be always here little bo peep \ it was many and many a years ago in a kingdom by the sea that maiden there lived whom you may know by the name of annabel lee and this maiden she lived with no other thought then to love and be loved by me but we loved with a love that was more than a love I and my annabel lee that was the reason that the wind came out of the cloud chilling and killing my annabel lee neither the angles in heaven above nor the demons down under the sea can ever dessiver my soul from the soul of beautiful annabel lee and the stars never rise but to see the bright eyes of the beautiful annabel lee \ там утром всегда огородник лениво проходит меж гряд на нем неопрятный передник угрюм его пасмурный взгляд польет он из лейки капусту и спаржу небрежно польет нарежет зеленого лука а после глубоко вздохнет намеренно к нему подъезжает чиновник на тройке лихой где дочка твоя вопрошает чиновник прищурясь в лорнет но дико взглянув огородник махнул лишь рукою в ответ и тройка назад поскакала сметая с капусты росу стоит огородник угрюмо и пальцем копает в носу \ пусть никто не плачет не рыдает слабостям в любви пощады нет чувств моих сегодня заседает революционный комитет заседатель память обвиняй можно ли в дешевое

влюбляться здесь не равнодушный нагоняй здесь расстрел без всяких апелляций заседатель детство скажешь всем кто обидел сказку кто преда-
тель \ в себя ли заглянешь там прошлого нет и следа и радость и мука и все
там ничтожно \ но вот все двери растворились повсюду шопот побежал на
службу вышли ивановы в своих штанах и башмаках пустые гладкие трам-
ваи им подают свои скамейки герои входят покупают билетов хрупкие
дощечки сидят и держат их перед собой не увлекаясь быстрою ездою стоят
волшебные сирены иные дуньками одеты сидеть не могут взаперти при-
щелкивая в кастаньеты они идут куда идти кому нести кровавый ротик у
чьей постели бросить ботик и дернуть кнопку на груди неужто некуда иди-
ти о мир свернись одним кварталом одной разбитой мостовой одним про-
плеванным амбаром одной мышиною норой но будь к оружию готов целует
девку иванов \ каждая курсистка прежде чем лечь она не забудет над
стихами моими замлеть я пессимист знаю вечно курсистка будет жить на
земле \ когда-нибудь в столице шалой на скифском празднике на берегу
невы при звуках омерзительного бала сорвут платок с прекрасной головы
но если эта жизнь необходимость бреда и корабельный лес высокие дома
лети безрукая победа гиперборейская чума на площади с броневидами я
вижу человека он волков горящими пугает головнями свобода равенство
закон \ он стоит пред раскаленным горном невысокий старый человек
взгляд спокойный кажется покорным от миганья красноватых век все то-
варищи его заснули только он один еще не спит все он занят отливаньем
пули что меня с землею разлучит кончил и глаза повеселели возвращается
блестит луна дома ждет его в большой постели сонная и теплая жена пуля
им отлитая просвищет над седою вспенною двинной пуля им отлитая оты-
щет грудь мою она пришла за мной упаду смертельно затоскую прошлое
увидю на яву кровь ключом захлещет на сухую пыльную и мятую траву и
Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой и горький век это сде-
лал в блузе светло-серой невысокий старый человек \ а между тем отшель-
ник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет и не уйдешь ты от
суда мирского как не уйдешь от Божьего суда \ his form is ungainly his
intellect small but his courage is perfect and this after all is the thing that one
needs with a snark \ there was an old person of dundulk who tried to teach fishes
to walk when they tumbled down dead he grew weary and said I should better
go back to dundalk \ нет правды на земле но правды нет и выше \ я вынул
из головы шар положи его обратно нет не положу ну и не ложи вот и не
положу ну и не надо вот я и победил ну победил и успокойся нет не успо-
коюсь хоть ты и математик а честное слово ты не умен нет умен и знаю
очень много много да только все ерунду нет не ерунду надоело мне с то-
бой препираться нет не надоело \ some like drink in a pint pot some like to
think some not strong dutch cheese old kentuckey rue some like this not I some
like poe and others like scott some like miss store some not some like to laugh
some like to cry some like chuff not I \ не знаю я коснется ль благодать моей

души болезненно-греховной удастся ль ей воскреснуть и восстать пройдет ли обморок духовный \ вянет лист проходит лето иней серебрится юнкер шмидт из пистолета хочет застрелиться погоди безумный снова зелень оживится юнкер шмидт честное слово лето возвратится \ я знаю веселые сказки таинственных стран про черную деву про страсть молодого вождя но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман и верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя и как я тебе расскажу про тропический сад про стройные пальмы про запах немыслимых трав ты плачешь послушай далеко на озере чад изысканный бродит жираф \ будто кто-то вдруг ударил в мой волшебный барабан закричали в джунглях птицы зазвенел вдали тимпан сто слонов в боях бывалых затрубили впереди и от страха и от злости сердце дрогнуло в груди засверкали сотни копий оцетинились штыки готовились к атаке иноземные полки мой посыльный негритенок все метался тут и там и гремели барабаны ядра били по кустам генерал был тяжело ранен меткой пулей прямо в грудь он сказал мне умирая продержись еще чуть-чуть бомбы с свистом пролетали неприятель наседали я запомнил и исполнил что сказал мне генерал и пока враги в сражении из последних бились сил я резерв отрядов конных им забросил прямо в тыл с свистом хохотом и бранью мы ворвались в их бивак захватили командиров и убили как собак \ среди миров в мерцании светил одной звезды я повторяю имя не потому чтоб я ее любил а потому что я томлюсь с другими и если мне сомненье тяжело я у нее одной ищущу ответа не потому что от нее светло а потому что с ней не надо света \ чары полные печали нес колдун в суме походной \ утро туманное утро седое нивы печальные снегом покрытые нехотя вспомнишь и время былое вспомнишь и лица давно позабытые взгляды так жадно так робко ловимые первые встречи последние встречи тихого голоса звуки любимые \ на песчаном берегу не отирая влажных глаз с маленьким играю крабом \ не верь мне друг когда в избытке гнева я говорю что разлюбил тебя в отлива час не верь измене моря оно к земле воротится любя \ в одной знакомой улице я помню старый дом \ я помню чудное мгновенье передо мной явилась ты как мимолетное виденье как гений чистой красоты \ я вас люблю хоть я бешусь хоть это труд и стыд напрасный но в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь без вас мне скучно я зеваю при вас мне грустно я терплю и мочи нет сказать желаю мой ангел как я вас люблю вы улыбнетесь мне отрада вы отвернетесь мне тоска за день мучения награда мне ваша бледная рука не смею требовать любви быть может за грехи свои мой ангел я любви не стою но претворитесь этот взгляд все может выразить так чудно ах обмануть меня не трудно я сам обманываться рад \ я знаю век уж мой измерен но чтоб продлилась жизнь моя я утром должен быть уверен что с вами днем увижусь я \ я в вашей воле и предаюсь моей судьбе \ как живется вам с другою проще ведь удар весла линией береговою скоро ль память отошла обо мне плывучем острове по небу и по водам души души быть вам сестрами не

любовницами вам как живется вам с простою женщиной без божества государыню с престола свергнув с оного сошед как живется вам хлопнется ежится встается как с пошлиной бессмертной пошлости как справляетесь бедняк судорог да перебоев хватит дом себе найму как живется вам с любовью избранному моему как живется вам с подобием вам поправшему синай как живется вам с чужою здешнею ребром любя стыд зевесовой вожжою не охлестывает лба как живется вам здоровится можется поется как с язвою бессмертной совести как справляетесь бедняк как живется вам с товаром рыночным оброк крутой после мраморной каррары как живется вам с трухой гипсовой из глыбы высечен бог и начисто разбит как живется вам с стотысячной вам познавшему лилит сыты ли к волшбам остыв как живется вам с земною женщиной без шестых чувств ну за голову счастливы нет в провале без глубин как живется милый тяжче ли также ли как мне с другим \ слава тебе безысходная боль умер вчера сероглазый король вечер осенний был душен и ал муж мой вернувшись спокойно сказал знаешь с охоты его принесли тело у старого дуба нашли жаль королеву такой молодой за ночь одну она стала седой трубку свою на камине нашел и на работу ночную ушел дочку мою я сейчас разбужу в серые глазки ее погляжу а за окном шелестят тополя нет на земле твоего короля \ не искушай меня без нужды возвратом нежности твоей разочарованному чужды все обольщенья прежних дней уж я не верю увереньям уж я не верую в любовь и не могу предаться вновь раз изменившим сновиденьям \ а если мне грубому гунну кривляться перед вами не захочется и вот я захохочу и радостно плюну плюну в лицо вам я бесценных слов транжир и мот \ сердечным нежным языком я искушал ее сначала она словам моим внимала с тупым бессмысленным лицом в ней разбудить огонь желаний еще надежду я хранил и сладострастных осязаний язык живой употребил она глядела также тупо потом разгневалась глупо беги за нею модный свет пленяйся девай идеальной владею тайной я печальной ни сердца в ней ни пола нет \ и закатные краски этой были постылой ожидали развязки \ ты на постель свою весь мир бы привлекла о женщина о тварь как ты от скуки зла бездушный инструмент сосущий кровь вампир ты исцеляешь нас но как ты губишь мир как не бледнеешь ты перед размахом зла с каким горда собой на землю ты пришла чтоб темный замысел могла вершить природа тобою женщина позор людского рода тобой животное над гением глумясь величье низкое божественная грязь \ идешь на меня похожий глаза устремляя вниз я их опускала тоже прохожий остановись почти слепоты куриной и маков набрав букет что звали меня Мариной и сколько мне было лет не думай что здесь могила что я появлюсь грозя я слишком сама любила смеяться когда нельзя и кровь прилиwała к коже и кудри мои вились я тоже была прохожий прохожий остановись но только не стой угрюмый главу опустив на грудь легко обо мне подумай легко обо мне забудь \ тебе имеющему быть рожденным столетие спустя как отдышу из самых недр

как насмерть осужденный своей рукой пишу друг не ищи меня другая мо-
да меня не помнят даже старики на встречах женщин тех живых счастли-
вых как смотришь и ловлю слова сборище самозванок все мертвы вы
она одна жива \ что есть красота и почему ее обожествляют люди сосуд
она в котором пустота или огонь мерцающий в сосуде \ моя любовь паля-
щий полдень явы как сон разлит смертельный аромат там ящеры прикрыв
зрачки лежат здесь по стволам свиваются удавы а ты вошла в неумолимый
сад для отдыха для сладостной забавы \ и лишь ради этого жить и лишь
из-за этого умереть оставь оставь бесполезный спор \ в тени косматой ели
над шумною рекой качает черт качели мохнатою рукой я знаю черт не
бросит стремительной доски пока меня не скосит грозящий взмах руки \
ох как крошится наш табак шелкунчик дружок дурак куда как одиноко
нам с тобой товарищ желторотый мой а мог бы всю жизнь просвистать
щеглом заесть ореховым пирогом да видно нельзя никак \ непригодный к
делу поэт-фантазер вот что он думает про меня и у него-то как раз у него
мне пришлось попросить займы \ если бы вы захотели быть моим учени-
ком я бы стала в тот же миг слышите мой ученик в золоте и серебре сала-
мандра и ундина мы бы сели на ковре у горящего камина ночь огонь и
лунный лик слышите мой ученик юношей воскрес старик я осталась бы
стоять заломив от счастья руки чувствуя что ты велик \ наплывала тень
догорал камин руки на груди он стоял один неподвижный взор устремляя
вдаль горько говоря про свою печаль я пробрался в глубь неизвестных
стран восемьдесят дней шел мой караван цепи грозных гор лес а иногда
странные вдали чьи-то города и не раз из них в тишине ночной в лагерь
долетал непонятный вой мы рубили лес мы копали рвы вечерами к нам
подходили львы но трусливых душ не было меж нас мы стреляли в них
целясь между глаз древний я отрыл храм из-под песка именем моим назва-
на река и в стране озер пять больших племен слушались меня чтили мой
закон но теперь я слаб как во власти сна и больна душа тягостно больна я
узнал узнал что такое страх погребенный здесь в четырех стенах даже
блеск ружья даже плеск волны эту цепь порвать ныне не вольны и тая в
глазах злое торжество женщина в углу слушала его \ любезная сердцу кар-
тина вся в белых сквозных кружевах мечтает под звук клавесина горит в
золотистых лучах в привычно заученной роли в волнисто-седом парике в
лазурно-атласном камзоле с малиновой розой в руке я вас обожаю кузина
извольте цветок сей принять смеются под звук клавесина и хочет кузину
обнять \ в лунном свете звездной зале на простуженном рояле извлекая
звук из клавиш ты безумица играешь пальцы тонкие ломая в ряд ударив
черно-белый звуки гневно покидают черно-белые пределы \ я в этот мир
пришел чтоб видеть солнце а если день погас я буду петь я буду петь о
солнце в последний час \ веселой зарею влюбленные дети закинули в море
непрочные сети прибой торопливый лазурного моря занес в них обманы
сомнения и горе но ножницы судеб разрезали пути на дне утонули и слезы

и смуты и дети с досадой разорванный невод втащили на берег под звуки
напева \ о расмейтесь смехачи о засмейтесь смехачи что смеются смеха-
ми что смеяньствуют смеяльно о засмейтесь усмеяльно смейево смейево
усмей осмей смешики смешики смеюнчики \ for they hangin deeny deever
in the mornin \ under the wide and starry skies dig the grave and let me die glad
did I live and gladly die and I laid me down with a will this be the verse you
grave for me here he lies where he longed to be home is the sailor home from
sea and the hunter home from hill \ я в мире не оставлю брата \ и бестолково
любит он и бестолково ненавидит \ блажен кто смолоду был молод \ слов-
но спятивший трубач спозаранку я друзей своих всех собираю \ в поле не
видно ни зги кто-то кричит помощи что я могу сам я и беден и мал сам я
смертельно устал чем помогу \ цуккерброд не лезет в рот пастила нехоро-
ша без тебя моя душа \ а счастье было так возможно так близко \ в лесах
игрушечные волки глазами страшными глядят \ о вещая моя печаль о тихая
моя свобода \ он любил три вещи на свете за вечерней пение белых павли-
нов и стертые карты америки не любил когда плачут дети не любил чая с
малиной и женской истерики а я была его женой \ кто-то мне судьбу пред-
скажет кто-то завтра сокол мой на груди моей развяжет узел стянутый то-
бой вспоминай коли другая друга милого любя будет песни петь играя на
коленях у тебя мой костер в тумане светит искры гаснут на лету ночью нас
никто не встретит мы простимся на мосту \ there was an old person of burton
whose answers were rather uncertain when they said how d'ye do he replied
who are you that distressing old person of barton \ вода зашумела в стене
глубоко должно быть по трубам бежать нелегко всегда в темноте и всегда
в тесноте в такой темноте и такой тесноте \ wherever I am there's always
pooh there's always pooh and me whatever I do he wants to do where are you
going today says pooh well that's odd 'cos I was too let's go together says pooh
says he let's go together says pooh what's wise eleven I said to pooh twice
what said pooh it wasn't an easy sum to do but that's what it is said pooh says
he that's what it is said pooh let's look for dragons I said to pooh yes let's said
pooh to me we crossed the river and found a few yes those are dragons all right
said pooh as soon as I saw their beaks I knew that's what they are said pooh said
he that's what they are said pooh let's frighten the dragons I said to pooh that's
right said pooh to me I'm not afraid I said to pooh and I held his paw and I
shouted shoo silly old dragons and off they flew I wasn't afraid said pooh said
he I'm never afraid with you so wherever I am there's always pooh there's
always pooh and me \ все что сберець мне удалось надежды веры и любви
в одну молитву все слилось переживи переживи \ и один вы слышите один
\ зацелована околдована с ветром в поле когда-то обвенчена вся ты словно
в оковы закована драгоценная моя женщина не веселая не печальная слов-
но с темного неба сошедшая ты и песнь моя обручальная и звезда моя су-
масшедшая я склонюсь над твоими коленями обниму их с неистойвой си-
лою и слезами и стихотворениями обойму тебя горькую милую \ шопот

робкое дыханье трели соловья и лобзания и слезы и заря заря \ я пришел к тебе с приветом рассказать что солнце встало рассказать что лес проснулся весь проснулся веткой каждой каждой веткой встрепенулся и весенней полон жажды рассказать что с той же страстью что вчера пришел я снова что душа все также счастьем и тебе служить готова рассказать что отовсюду на меня весельем веет что не знаю сам что буду петь но только песня зреет \ мою любовь широкою как море вместить не могут жизни берега \ скучно мне вечно болтать о том что высоко и прекрасно все эти толки меня только к зевоте ведут бросив педантов бегу с тобой побеседовать друг мой знаю в этих глазах больше прекрасного чем в нескольких стах фолиантах \ люблю глаза твои мой друг с игрой их пламенно-чудесной когда их приподнимешь вдруг и словно молнией небесной окинешь бегло целый круг но есть сильнее очарованье глаза потупленные ниц в минуты страстного лобзания и сквозь опущенных ресниц угрюмый тусклый огонь желанья \ ты на курсах ты родом из курска ты мила у тебя есть поклонники этой белою ночью примостясь на твоём подоконнике смотрим вниз с твоего небоскреба \ ревнуя к копернику его а не мужа марьи ивановны считая своим соперником \ наши плечи покрыты плащом вокруг тебя мои руки обвиты я ошибся кусты этих чащ не плющом перевиты а хмелем ну так лучше давай этот плащ в ширину под собою расстелим \ что за чудо за диво то вы леди годива через миг иоланта через миг вы сафо все на свете возможно все для вас ничего \ послушайте если звезды зажигают значит это кому-нибудь нужно ведь теперь ничего не страшно \ не позволяй душе лениться чтоб воду в ступе не толочь душа обязана трудиться и день и ночь и день и ночь гони ее от дома к дому тащи с этапа на этап по пустырям по буреломам через сугробы и ухаб коль дать ей вздумает поблажку освобождение от работ она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет она рабыня и царица она работница и дочь она обязана трудиться и день и ночь и день и ночь \ стан ее полувоздушный обвила моя рука и качается послушно зыбкая доска просыпаюсь что случилось руль оторван через нос вдоль волна перекатилась унесен матрос что же делать будь что будет в руки Бога отдаюсь если смерть меня разбудит я не здесь проснусь \ задыхаясь я крикнула шутка все что было уйдешь я умру усмехнулся спокойно и жутко и сказал мне не стой на ветру \ этого быть не может это подлог день так тянулся и дожив иль недожив изнемог \ вспомни за этим окном впервые руки твои исступленный гладил сегодня сидишь вот в железе день еще выгонишь может быть изругав \ вошла ты резкая как нате муча перчатки замш сказала знаете я выхожу замуж что ж выходите покреплюсь видите спокоен как пульс покойника помните вы говорили джек лондон деньги любовь страсть а я одно видел вы джиоконда которую надо украсть и украли и чувствую я для меня мало кто-то из меня вырывается упрямо алло кто говорит мама мама ваш сын прекрасно болен у него пожар сердца скажите сестрам люде и оле что ему уже некуда деться \ нет это

неправда нет и ты любимая за что же хорошо я ходил я дарил цветы я же из ящика не выкрал серебрянных ложек в грубом убийстве не пачкал рук ты уронила только он фрукты вино на ладони ночного столика любовь только в моем воспаленном мозгу была ты глупой комедии остановите ход смотрите срываю игрушечные латы я величайший дон кихот помните под палкой креста Христос секунду стоял усталый толпа орала марала маарр-ралааа довольно теперь клянусь моей языческой силой дайте любую красивую юную души не растрочу изнасилую и в сердце плюну насмешку ей \ две гитары зазвенев жалобно заныли с детства памятный напев старый друг мой ты ли что за горе плюнь да пей ты завей его завей веревочкой горе топи тоску в море чибиряк чибиряк чибиряшечка с голубыми ты глазами моя душечка в них хоть раз бы поглядеть прямо ясно смело а потом и помереть плевое уж дело как и вправду не любить это не годится но что сил хватает жить надо подивиться собирись и умирать не придет проститься люди станут толковать это не годится отчего б не годилось говоря примерно значит просто все хоть брось оченно уж скверно басан басан басана басаната басаната ты другому отдана без возврата без возврата что за дело ты моя разве любит он как я нет уж это дудки я у ног твоих смотри с смертною тоскою говори же говори сжался надо мною неужель я виноват тем что из-за взгляда твоего я был бы рад вынести муки ада что тебя сгубил бы я и себя с тобою лишь бы ты была моя навсегда со мною лишь не знать бы только нам никогда ни здесь ни там расставанья муки пусть больнее и больней завывают звуки чтобы сердце поскорей лопнуло от муки \ не думаю не жалуясь не спорю не рвусь ни к солнцу ни к луне ни к морю ни к кораблю живу не видя дня позабывая число и век на кажется надрезанном канате я маленький плясун я тень от чьей-то тени я лунатик двух темных лун \ сбились мы что делать нам в поле бес нас водит видно да кружит по сторонам мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине визгом жалобным и воем надрывая душу мне \ there was an old man of whiteheaven who danced a quadrille with a raven but they said it's absurd to encourage this bird and they smashed that old man of whiteheaven \ целься конечно все бей меня в лет \ пробили часы урочные поэт роняет молча пистолет \ once upon a midnight dreary while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore while I nodded nearly napping suddenly there came a tapping as of someone gently rapping rapping at my chamber door it's some visitor I muttered tapping at my chamber door only this and nothing more ah distinctly I remember it was in the bleak december and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor eagerly I wished the morrow vainly I had sought to borrow from my books surcease of sorrow sorrow for the lost lenore for the rare and radiant maiden whom the angels name lenore nameless here for evermore and the silken sad uncertain rustling on each purple curtain thrilled me filled me with fantastic terrors never felt before so that now to still the beating of my heart I stood repeating tis some visitor

entreating entrance of my chamber door soon again I heard a tapping some what louder then before tis the wind and nothing more in there stepped a stately raven of the sainty days of yore pretched upon a bust of pallas just above my chamber door pretched and set and nothing more other friends have flown before on the morrow he will leave me as my hopes have flown before then the bird said nevermore caught from some unhappy master whom ummerciful disaster followed fust and followed faster but the raven still beguiling my sad fancy into smiling what this grin ungainly ghastrly gaunt ahd om'nous bird of yore meant in croaking nevermore on the cushions velvet lining that the lamplight gloated o'er she shell press ah nevermore wretch I cried thy God hath lent thee by these angles he hath sent thee respite respite and nepenthe from thy memories of lenore quaff oh quaff this kind nepenthe and forget the lost lenore quoth a raven nevermore prophet said I thing of evil prophet still if bird or devil take the beak from out my heart and take thy form from of my door quoth a raven nevermore and the raven never flitting still is sitting still is sitting on the palled bust of pallas just above my chamber door and my soul fraum out that shadow that lies floating on the floor shall be lifted nevermore \ стражное грубое липкое грязное жестко тупое всегда безобразное медленно рвущее мелко нечестное скользкое стыдное слизкое тесное явно довольное тайно блудливое плоско смешное и тошно трусливое вязко болотное и тинно застойное жизни и смерти равно недостойное рабское хамское гнойное черное изредка серое и в сером упорное вечно лежащее дьявольски косное глупое сохлое сонное злостное трупно холодное жалко ничтожное непереносное ложное ложное \ a fool there was and he made his prayer even as you and I to a rag and a bone and a hank of hair we call her the woman who did not care but the fool he called her his lady fair even as you and I oh the years we waste and the tears we waste and the work of our head ahd hands belong to the woman who did not know and now we know that she never could know and did not understand a fool there was and his goods he spent even as you and I and a honour and faith and a sure intent and it wasn't the least what the lady meant but a fool must follow his natural bent even as you and I oh the foil we lost and the spoil we lost and the excellent things we planned belong to the woman who didn't know why and now we know that she never know why and did not understand the fool was stripped to his foolish hide even as you and I which she might have seen when she threw him aside but it isn't on record the lady tried so some of him lived but the most of him died even as you and I and it isn't the shame and it isn't the blame that stings like a white hot brand it's coming to know that she never knew why seeing at last she could never knew why and never could understand \ ну что ребятки еще по разу не оставлять же ее заразу люблю по пьяни поговорить а то бы бросил давно бы пить а ну-ка вспомним о наших всех о тех кто в море об этих тех тебе ж неплохо мой друг виталик еще наполнить один стопарик я знаю бутый ты во хмелю безумен буен а все ж люблю а ты виталик себе налей не хочешь больше не

хоть не пей о чем я то бишь забыл ах да пораскидали нас всех года ваблякин ванька попал в тюрьму а пьер безухов на колыму свалился ромка под электричку а сука зинка уж большевичка осталось трое из наших я виталик бутый мои друзья одни забыты других уж нет а кто-то спился на скло не лет непримирившиеся со всем смирились а добывавшиеся всего добились кто правды жаждал теперь страдают что делать братцы и сам не знаю

Глава пятая

Из сожженных рассказов. Сборник 2.

— Благодарю! — сказал он, обращаясь ко мне.
— Ваш полет не высок, не орлиный, но не лживый.
(Писемский. “Взбаламученное море”)
Laertes: You mock me, sir.
Hamlet: No, by this hand.

(Shakespeare. “Hamlet”)

БЕЗЫСХОДНОСТЬ

Поздно вечером я ехал в почти пустом вагоне метро.

Они, значит, распозлились по углам, размазались по сидениям и занимались кто чем: кто ковырял спичками в зубах, кто клевал носом, а кто и бесновато посверкивал глазишками в мою сторону — небритый, расхристанный и сильно выпивший, я противостоял им в самом центре вагона, широко расставив ноги для равновесия и в руках разминал последнюю сигарету. И действительно подумывал о том, чтобы закурить прямо в транспорте — частенько их этим эпатировал; эпатировать — не этапировать все-таки; к тому же, как известно, они вынесут все и широкую ясную грудь дорогу проложат себе...

Быть может, я и сейчас бы закурил — назло этой поганой стране, где люди, считающие себя солью земли, кичаться бараньей стойкостью и доблестью — и, видимо (что самое ужасное), и взаправду состоящие соль этой земли.

Да, я бы закурил — но вот заметил прислонившуюся к дверям с надписью “не прислоняться” девушку, погруженную в чтение книги. Мне, главное, понравилось, что она, как и я, не примкнула ко всей сидячей сволочи — хоть места было свободного полно. Книга ее настолько увлекла, что она и сесть позабыла — какова сила печатного слова!

Забыв о сигарете, я пронизательным взглядом Максима Горького вглядываюсь в Жизнь, и тоже начинаю склоняться к тому, что порой человек звучит гордо: очень эта девушка собой хороша. И без очков можно установить, которые кокнул на прошлой неделе в пивной один залетный буревестник. Не успел я во-время спрятать тело жирное в утесы, попался под горячую руку, вот он, черной молнии подобный, и постарался, аж

дужки расщепил. Чего без очков не выяснить с такой дистанции — так это названия книги.

А девушку я мог бы описать подробно, но не буду — пусть остается просто Девушкой; потеряв лицо и фигурку она зато из разряда конкретных, то-есть скучных и глупых девиц, из плоскости серых будней пусть переместится мгновенно в многомерные пространства Мечты и Символов.

Поезд нырнул из туннеля в туннель, пожирал с ревом километры, а я, большой, но никем пока не признанный писатель, из тех, что опережают — когда переберу, страдаю манией величия — раскачивался в такт с вагончиком и прислушивался к прыгающим в моей голове мыслям — те прыгали как жабы в болоте, напуганные пальбой из рогаток: а вдруг? вдруг это Она, та самая, которую ты ищешь всю свою жизнь? (— половую — уточнил ехидный голосишко, но его заклевали: затыкай! помолчи хоть немного; будь друг, помолчи) Эх, чем черт не шутит: подойди и попытайся заговорить.

Заговорить! Легко сказать! Простите, сколько сейчас времени? Как вам погода? Такие жары, сторожили вряд-ли упомянут... писатель, называется.

Рождались фразы одна другой ужасней. А поезд мчался с грохотом к очередной станции. Девушка могла исчезнуть в любой момент. Каждая уходящая секунда напоследок, перед тем как кануть в Вечность, чувствительно пинала мой отравленный алкоголем мозг.

Будь что будет! Шатаясь, но не падая, эдаким подраненным комиссаром, я двинулся к Ней. Сонная нечисть пробудилась и гадила теперь во все глаза; даже ковыряющаяся в зубах флегма оставила это дело и присоединилась к остальным. Забыв захлопнуть пасть, отчего казалось, что у нее не два, а три глаза, какая мерзость.

Бараны, я вижу вас насквозь, я знаю все ваши мысли и самые тайные помыслы — только это все мне неинтересно.

Наконец, я приблизился. Она, по-прежнему ничего не замечая, смотрела и смотрела в свою книгу.

— Это... — выдохнул я нерешительно, покачнулся, нелепо взмахнул руками и задел ладонью ее плечо (отшатнулась, будто гад какой полез кушаться) . — Это что у вас за книга такая?

Запах перегара заполнил пространство.

— А это не ваше дело.

И отвернулась.

Ничего не оставалось, как плюхнуться на сидение.

— А ведь, — горько усмехался я, — хотел сказать, что и сам сочиняю книги. Дурак ты, дурак! Но и эта тоже... подумаешь, Маргарет какая Тэчер, Генриет Бичер Стоун. Да плевать... и хорошо, и отлично! такая же небось первичная материя как и все они... сгусток мясистой материи... — и не заметил, как задремал. На конечной молодой милиционер вызволил ме-

ня из небытия, с несвойственной ихнему брату деликатностью похлопав меня по плечу.

— Спасибо, — поблагодарил я.

Чувствовал я себя совершенно трезвым, да и объективно был уже трезв — потому и обошлось без прогулки в отделение.

На улице обнаружилось, что остался без сигарет. Выронил, пока дрых. Нужно было под ноги посмотреть, теперь-то поздно.

Болит голова. Кругом темно и ни души. Автобуса не предвидется.

Шаги. Подходит сзади какой-то идиот и спрашивает (тотчас обнаруживши свой кретинизм): — Сэр. Не угостите ли сигаретой.

— Нету, — сухо, как лист в гербарии, но безнадежно, как заспиртованная рептилия, отвечаю я.

Какие, однако, пошли любезные идиоты. А может быть, он из этих... из негодяев... ну как треснет сейчас кастетом по башке. Но нет, уходит. Я оглянулся — и след простыл. Растаял в темноте. Ночь съела идиота.

Да, темно. Темно. Пусто и безысходно.

* * *

... Чувство меры плюс железная воля; ну, не железная, так хотя бы деревянная; да что: хотя бы ватная, хотя бы пластилиновая! но хоть какая-то — и был бы я совсем другой человек и была бы у меня совсем другая жизнь. Вероятно, имел бы деньги, жену, детишек кучу и кучу любовниц, автомобиль и виллу. А что самое главное, обрел бы душевное равновесие и самоуважение — и на этих могучих китах воздвиг бы себе не просто башню, а цельную крепость из слоновой кости, в которую никто не проник бы; за вычетом рабов и прислуги, и, когда-нибудь, смерти.

Чувство меры плюс воля — и пришлось бы тогда нашему писাকে поискать другого исповедника.

Но нет ни меры, ни воли — вот потому-то сижу я в дыму и грязи, накачиваюсь дряным пивом — кружка за кружкой, курю дряные сигареты — одну за одной; и слушаю разную дрянь — словцо за словцом.

Хотя и знаю, ничего из этого всего не получится: все хуже и хуже становится на душе; а бедная моя головушка! трещит вся, поперек и вдоль, и, видимо, треснет; да, треснет непременно, если так все и будет продолжаться; треснет — и тогда встречу изумленным взглядам вырвется наружу с бешеной скоростью кукиш на пружинке — этот пока сокрытый от посторонних глаз истинный стержень моего существа.

А я сижу все и сижу, не в силах чего-либо предпринять — подтаявший, теряющий форму кусок масла с кукишем внутри.

... Меж тем писака уж очень раздулся от выпитого, навис над столом, колебаясь — точь в точь воздушный шар, снаряженный в полет: все готово, канат только еще удерживает; появилась надежда: очередная порция пива обрубит канат. Ах, поскорей бы! Вот-вот оборвется канат, и тогда наш шаровидный прозаик взмоет, наконец-то, под стол.

... Пока же он молот и молот языком:

.. Студенческие годы — под знаком Бахуса. Тут многие обстоятельства: ну, любовь эта самая несчастливая; и дома все складывалось не лучшим образом — не входя в детали, просто скажу: дома быть не хотелось; помножьте на бесхребетность и инфантильность... мало? а постоянное ощущение себя на чужом месте, да, всегда на чем-то, чужом, не своем... за что бы ни брался, уже загодя не верил в успех, и, действительно, всегда все проваливал, а впрочем — оболтус, пустоцвет, сельдерей на жизненных грядках — называли и так, и сам я себя так называл, кому что за дело? А если как на главного виновника укажу я на собственное зрение, с которым творилось что-то неладное (уже не знаю, непомерно ли оно обострялось, позволяя наблюдать самую суть вещей, или, напротив, поразила меня неумолимо прогрессирующая слепота — но только мир вокруг и внутри быстро погружался в темноту. Или солнце отказывалось светить мне больше? Или это Князь Тьмы постарался? Или и не было никогда никакого солнца, а лишь опрометчиво принятый мною за солнце мыльный пузырь, давно лопнувший?) — никто мне, пожалуй, не поверит; и сам я себе не поверю.

Так разлагался я несколько лет, в геометрической убывающей прогрессии, если не по отрицательной экспоненте — убывал все и убывал; особенно по утрам это замечалось: бывало, проснешься, в жутком похмелье, неизвестно где, вспомнишь вчерашних гадостей, содеянных в пьяном угаре — и поймешь: еще частица души ушла Врагу... Правда, сейчас-то я вспоминаю это все не особо болезненно, а подчас даже и с юморком... надо думать, постольку-поскольку нечему уже болеть, все похерено... хотя нет-нет, а и защежит там, в недрах: подобно тому как любознательный Гальвани, воздействуя электричеством на сдохших жаб, заставлял усопших уморительно дрыгать лапками, так, случается, какое-нибудь воспоминание ударит в умершую душу сильнейшим разрядом и принудит ее трепыхаться.

Да-с, покуролесили! Порядком покуролесили с тогдашними моими приятелями, ныне пережившими и остепенившимися...

Допускаю, что наши совместные похождения предстают в их памяти, окутанные розовой ностальгической дымкой, сладеньким романтическим туманцем, окутавшим навсегда ушедшую молодость.

Ха-ха! Ну-те, если не возражаете, глотнем-ка и мы этой дурманящей сырости.

А ведь пахнет гнильцой!

КАК Я УМЕР

Во всяком случае, момент я выбрал удачный: соседи по палате резались в холле в домино, благодаря чему мне и удалось провести последние минуты наедине с собой.

Да, повезло! Ведь большая часть времени прошла здесь в компании этих трех мало мне симпатичных субъектов, и мысль, что кто-нибудь из них, а то и все вместе, будут присутствовать при моей кончине, душу мне не грела (зато, возможно, она лишь и удерживала ее в теле — нужно остаться одной, чтобы собраться в столь серьезное путешествие).

Первый, пятнистый как гиена (говорил он, барахлят почки; на почки свои жаловался, на мозги же — нет, на мозги свои он в претензии не был), все приставал с разными идиотскими штучками.

— Ты только представь, старик, на одном берегу волк, кочан капустный и коза. Как их переправить на другой берег, если ты на борт больше одного взять не можешь? а? думай, старик, думай, шевели извилинай, тебе это полезно.

И не было от него спасения.

— Ну, что, сдаешься?

— Отвяжись ты, Бога ради.

— Ага, значит, сдаешься. Тогда слушай...

И наседал с очередной ерундой, и так дальше. Редко навещала его жена, а я на ее месте не то что навещать, и замуж никогда не пошел бы за этого идиота. Когда она приходила, он тут же набрасывался на нее со своими головоломками и требовал назвать город, где проживает один мальчик и сто девочек (Севастополь!), или еще чего-нибудь в эдаком роде.

Второй сосед был в своем роде философ. Видимо, материалист, и донельзя вульгарный. Он ежедневно часами старался втянуть меня в дискуссию.

— Вот, — говорил, — похоже, нам скоро крышка. Но я-то хоть женщин имел. Ох, и имел же я их! Да, поимел-таки за свою жизнь. Так что и помереть теперь не жалко. Так, браток? Или не так? Чего такой кислый, как суслик?

Я отмалчивался, и он тогда принимался вслух вспоминать, скольких и каких, где и с кем и как.

А в другой раз говорил так:

— Вот, похоже, нам скоро кранты. Но я-то хоть попил. Ох, и попил же я! Да, попил-таки за свою жизнь. Так что, и помереть не жалко. Так, браток? Чего такой смурной, как самурай?

И принимался вспоминать, сколько и чего, где и с кем и как.

Его никто не навещал.

Третий же... третий же оказался такой гадиной, что и говорить о нем не стоит.

И вот однажды они отправились забить козла, оставив меня в палате одного, чем тотчас поспешила воспользоваться моя душа, торопливо расставшись с телом.

Спустя некоторое время входит уборщица тетя Маня, со стуком ставит в центре палаты грязное и вонючее ведро и сует в него обмотанную грязной и вонючей тряпкой швабру. Зловеще чавкнув, болотце, заполняющее внутренность ведра, моментально поглотило тети Манино хозяйство.

Назревало то, что здесь официально именуется “влажной уборкой”. Однако от зоркой тети Мани не укрылась моя странная неподвижность — ведь обыкновенно перед началом уборки я, собрав остатки быстро покидающих меня сил, впадал в шлепанцы и уползал в коридор — и она, оставив швабру погибать в болоте, приблизилась к моей койке.

Обнаружилось: в мире стало человеком меньше.

Сердобольная старушка, пробормотав “Бог дал, Бог и взял”, пошарила у себя в одеждах, откуда-то из глубин вынула пригоршню меди, и за отсутствием пятакон закрыла мне глаза трехкопеечными монетками. Грязными и вонючими.

Затем тетя Маня поставила в известность старшую сестру.

Сразу всех разогнали по палатам — де, сейчас нагрянет какая-то комиссия, соседей моих увели в процедурную и накормили лекарствами (никто не должен видеть покойника, к чему отравлять отрицательными эмоциями психику и без того нездоровых людей), меня водрузили на тележку и под эскортом молодой и привлекательной санитарки отправили в морг, расположенный в здании неподалеку.

Сначала ехали в лифте, вскоре выбрались на свежий воздух, поехали по дорожке.

Лето было в разгаре, погоды стояли отменные; там и сям попадались больные в уродливых серых пижамах, греющиеся на солнышке и похожие друг на друга как китайцы.

Один из них увязался за нами следом и при ближайшем рассмотрении оказался крупным мужчиной, и, что удивительно, и в самом деле азиатской наружности.

— Далеко, сестричка, — участливо поинтересовался он, — не тяжело? Давай-ка пособилю. Надорвешься еще. Молодая такая, красивая — и надорвешься, таская всяких жмуриков.

— Ха-ха,— рассмеялся он, довольный собой.

— Хи-хи, — рассмеялась и сестричка, от полноты жизни.

Тут у них завязалась шутливая борьба за управление тележкой, в ходе которой предприимчивому этому весельчаку удалось крепко ухватить девушку обеими руками за груди. Вследствие чего, как принято говорить, на ее щеках ало запольхал румянец или расцвели розы.

На мгновение мы образовали живописную и поучительную в высшей степени картинку из серии “жизнь торжествует над смертью”.

Но вот сестра тихонько завизжала и начала вырываться из цепких объятий; хотя и не слишком энергично, но тележку пришлось отпустить; а в этом месте дорожка как раз шла немного под уклон; пущенная на самотек тележка едва не заехала с разгона в канаву. Бездыханное мое тело, немного попрыгав вместе с тележкой, все же удержалось на поверхности. Как будто бы, все обошлось.

А я подумал: умирать нужно бы, наверное, зимой, в самую лютую стужу. Но теперь-то уж что! Теперь-то ладно, теперь не страшно. И в сущности, зимой ли, летом, нет разницы. В конечном счете, не прогадаешь. Никогда.

* * *

... Средства изыскивали! Стипендии, родительские субсидии, продажа книг. С легкостью необычайной, в относительно короткий срок пустил я по ветру, за жалкие гроши, неплохую библиотеку, оставшуюся в наследство от деда.

Кстати, моя бабушка (по материнской линии; что касается линии отцовской, здесь мне известно лишь, что в моей родословной значится некий купчишка третьей гильдии, чью кровь в своих жилах я очень ощущаю) дважды выходила замуж. Первый муж, не успевший стать отцом моей матери, отличался большим личным мужеством и сложил свою буйну голову за пролетарское дело; был он комиссар, нашивал, наверное, кожанку, скрипучие сапоги, какой-нибудь именной наган и трофейные, с белой сволочи снятые, часы; а быть может, все было наоборот: именные часы и трофейный, снятый с белой сволочи, наган; если только эта самая сволочь вооружалась наганами; если же ей по штату полагался другой род огнестрельного оружия, то можно предположить, что с белой сволочи снят был все-таки наган, еще раньше снятый ею, в свою очередь, как трофей, с какой-нибудь сволочи красной.

Как-то раз комиссар, будучи окружен пресловутой белой сволочью, неистово отстреливался из своего дважды трофейного нагана, все же успевая при этом изредка поглядывать на свои именные часы — вот-вот должна была подойти подмога. Но не подошла, а дедушка в горячке боя расстрелял все патроны и не сберег последний, как это в заводе у комиссаров, для себя. В результате, воспользовавшись этой его оплошностью, беляки взяли его в плен, а ночью, покуда они, как это в заводе у беляков, выдумывали ему пытку пострашней, он бежал с легкостью знаменитого Колобка, раздетый, по снегу и стуже.

К своим он пробрался, но по дороге захворал воспалением легких. По роковому совпадению, на излечение его отправили в тот самый госпиталь, где буквально месяц назад он именем революции экспроприировал разные медицинские штучки-дрючки из золота и серебра.

Из госпиталя он живым не вышел — то-ли не оказалось нужных штук-чек-дрючек, то-ли тамошние врачи не слишком усердствовали.

Если он и знал грамоту, то наверняка круг его чтения ограничен был Манифестом и различными прокламациями, а все же порой мне становится жаль, что у него не получилось подмешать в купеческий чаек напиток покрепче.

Настоящий же дед, второй, нельзя сказать, чтобы был чересчур отважен и храбр, иначе и не понять, как ему удалось не попасть в мясорубку лагерей и тюрем в те страшные годы, на которые пришлось его зрелость.

Работал он в министерстве какой-то промышленности, начинал чуть не писарем, и потихоньку продвигался по служебной лестнице, особенно не высовываясь, а после смерти Вождя достиг уже и известных степеней. Тут начали и кое-какие книжки издавать, вот он и покупал их — сам почти не читая (частенько мне приходилось разрезать страницы); думал — потом, на пенсии почитает — с детьми и внуками. Но пил много и помер рано — от разрыва сердца. Полагаю, что почти всю свою жизнь он, как и многие, прожил без веры в людей и в себя, в Бога поверить не смог — и книги казались ему единственным уголком, где существуют еще справедливость и доброта. Впрочем, возможно, все это — лишь домыслы.

Как бы оно ни было, а накопил он книг порядком: собрания Бальзака, Гюго, Мопассана, обоих Маннов, Золя, Шиллера и проч. Почти ничего не уцелело. Не тронул я Пушкина, Толстого и других русских классиков — все же не посмел, как-то рука не поднялась, да и не в цене они были; разве что расправился с пятитомным Есениным.

— Ну да уж он-то не осудит, — говорил я себе по дороге в букинист, — сам не просыхал.

Кстати, с именем Есенина связана одна история, якобы случившаяся в общежитии одного из столичных вузов.

СПЛОШНАЯ МИСТИКА

В некоем столичном вузе набралась целая команда любителей пообщаться с потусторонними силами, всякие наши доморощенные теософы и мистики, блаватские и сведенборги; собирались они вечерами, при свечах — погонять по круглому столику чайное блюдечко; предварительно на столе раскладывались картонки с буквами алфавита, как нашего так и латинского; ведь иногда они дерзко вступали в контакт и с зарубежными духами.

Посоветовавшись и выбрав достойную кандидатуру, оккультисты возлагали на поверхность стола руки, сцеплялись пальцами, кто-нибудь один задавал духу вопрос, после чего совместными усилиями стол приводился в колебательно-вращательное движение, блюдечко начинало прыгать между картонок, образуя разные слова или их подобия, естественно, подающиеся всяческим толкованиям.

В числе прочих однажды был вызван и дух Сергея Есенина, как оказа-

лось, весьма строптивый — похожей на лягушку пучеглазой спиритке пришлось повторить раза три: “Сергей, ты здесь? Ты слышишь ли нас?” — а блюдечко упрямо не шевелилось.

Пошли было на четвертый заход, как вдруг блюдечко подпрыгнуло на несколько сантиметров, но не разбилось, а принялось вращаться, причем с немалой угловой скоростью, и, продолжая непрерывно вращаться, прочертило по поверхности стола довольно замысловатую траекторию, раскатывая карточки, пока не добралось до середины, где рядом с застекленным портретом гениального поэта (тем самым, полюбившемся массам: с трубкой) горела свечка. Тут оно на мгновение остановилось, как бы набирая сил, а затем ловко поддело и портрет и свечу разом — те рухнули на пол, стекло на портрете с радостным звоном разбилось, свеча погасла и все погрузилось во тьму.

Зажгли опять свечу, и поместив ее вместе с останками портрета в более безопасное место, на шкаф, возобновили переговоры.

— Сергей, что с тобой? — по-матерински допытывалась пучеглазая, — тебе плохо, Сережа?

В ответ блюдечко медленно подползло к букве И, а потом к букве К. Все с напряжением ожидали продолжения, но его не последовало.

— Что он этим хочет сказать? — нарушил робко кто-то затянувшееся молчание.

— Быть может, И. Ключеву... что-то в этом роде, но у него нет сил говорить или ему кто-то мешает, — остроумно предположила соседка пучеглазой. Если соседка превосходила ее эрудицией, то обаянием — нет, отнюдь.

Гипотезу поспешили проверить.

На сей раз блюдечко отвечало молниеносно, но, в некотором смысле, уклончиво, поскольку распространяться о Ключеве и помехах не стало, а кратко заметило:

— Пошли вы все в !

Больше в тот вечер вопросов не задавали, а блюдечко долго еще не могло успокоиться и продолжало браниться, причем почему-то с явными грамматическими ошибками, а потом и вовсе перейдя на английский язык.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 2.

ШУМ И ЯРОСТЬ

Рано поутру я вышел из дому в настроении самом решительном. Дивной розой на моих глазах распускалось солнце, вырвавшись из убогого окружения наших жилищ, питая меня своей энергией.

— Будем, как солнце, — некогда сказал поэт.

Другие времена, другие песни.

— Будем, как сволочь, — скажу теперь я.

Ибо который из нас однажды не пробовал воспарить подобно Икару? но даже не Солнце спалило нам крылья, куда! увы, при самой попытке взлететь гадкая серая сволочь подкралась и продырявила их заржавленным гвоздиком.

Поэтому: будем как сволочь.

Я подхожу к остановке и с удовольствием отмечаю скопление нашего брата — серой сволочи, томящейся в ожидании автобуса.

Лица у всех, отмечаю я с радостью, серые и сволочные, как и должно быть.

Да, вот они мы: ссучившиеся Икары; покалеченные Фазтоны; бывшие Маленькие Принцы, ставшие Большим Дерьмом; красноносые Красные Шапочки, готовые за скромную мзду отдаться любому волку; опухшие Дюймовочки; Алисы, попавшие вместо страны Чудес в страну Дураков, одуревшие и одурневшие, потускневшие и обрюзгшие — вот они мы!

Но что это? Ай-ай-ай, какой диссонанс! Затаившаяся в некотором от общей массы отдалении парочка юных оболтусов своим сияющим видом, сияющим непозволительно, рискует испортить мне настроение. Держатся за руки и скалятся друг дружке — в полет, подлюки, намылились.

Тут, конечно, неплохо бы вмешаться. Неплохо бы подойти и оглоушить сходу. Эдак вот, к примеру:

— Не угодно ли, молодые люди, парочку презервативов? Только что из Индии и с усиком, бездны наслаждения и отдам дешево, обожаю потому что молодежь!

Но я не вмешиваюсь. К чему? Все равно, найдется кто-нибудь, кто вместо меня и не хуже меня всадит им ржавый гвоздь в крылья. Кто-нибудь, кто не позволит порхать им, беспечным, аки птицы небесные, кто печатает каблуком их в землицу-матушку.

А у меня дела поважней. Сегодня у меня паломничество в страну Востока, к святым мощам.

Мы все, конечно, подлецы, но в мелочах. Там кому подгадить, кого снасилничать, кому кровь пустить — так, одному-другому.

Немногом удастся понегодаяйствовать масштабно, с размахом — так, чтобы отнять не две-три жизни, не два-три десятка их, а, скажем, двадцать-тридцать миллионов.

Цель моего сегодняшнего визита — останки такой вот выдающейся и редкой сволочи.

Очень похвально, что наш народ их чтит и охраняет — иначе пришлось бы еще наломать дров, выбирая местечко для развязки, ну, а коль скоро мощи в порядке, не может быть и никаких сомнений.

Так-с, вон и автобус подползает, уже набитый до отказа, и я, под сильным давлением перейдя в жидкое состояние, просачиваюсь вовнутрь. Внутри, обретя некоторую твердость, нахожусь тем не менее стиснутый

со всех сторон, словно рожаемый заново.

Особенно сзади прут, и кто-то злобно хрипит в спину:

— Да проходите же, проходите! вперед же можно пройти еще!

— Не сдвинусь ни на йоту, — хладнокровно и не оборачиваясь (что и невозможно в такой толчее) говорю я беспокойному невидимке, — сами вы идите, куда хотите. Хотя бы и в задницу.

Слышу в ответ протяжное шипение и вздрагиваю — а вдруг он обратился в ползучего гада? почему бы содержанию не принять достойной формы? а как тогда тяпнет сейчас за ногу? сволочь такая!

Вообще, острее обычного ощущаю, что начинен гремучей злобой к ним всем, рвущейся наружу так яростно, что удерживать ее с каждой секундой становится все трудней — и думаю: а не пора ли?

Нет, потерпим. Не будем размениваться по мелочам.

Из автобуса поток вносит меня в метро, и там опять потное стадо давит и душит друг дружку.

И опять я борюсь с искушением и с честью одолеваю его.

Через пол-часа я выбираюсь из-под земли. Идти недалеко, рукой подать. Пара минут — и я у цели, так сказать, в сердце спрута.

Асфальт кончился, пошли булыжники. Вот и хорошо всем известное гранитное здание, обсаженное елками. В его недрах, запакованная в стеклянном ящике, лежит мумия Великого Подлеца.

По большим революционным праздникам на стены этого здание слетается нынешняя высокопоставленная нечисть. Парад нечистой силы, созвездие упырей, цвет нации! Редко когда и где увидишь сразу столько мерзостных, гнуснейших физиономий.

И я почувствовал: началось.

Да, началось и уже не остановишь. Как невозможно остановить цепную реакцию или рвущееся из чресел семя в момент оргазма.

Недаром поспешно срываются воробы и неуклюже улепетывают голуби. Недаром возникает передо мной сержант и требует документы.

— Ты что, — успеваю пошутить я напоследок, — опух? Не узнал, что ли? Меня сюда общественность направила, по гривеннику с граждан собирать, с посетителей. Чучелу будем, значит, реставрировать. Подновить, значит, надо-ть, чучелу-то...

А вот ответить мне он уже не успеет.

Ненависть, всеокрушающая ненависть бушевала во мне, росла беспредельно и каждый миг моего ненавистного бытия обращался теперь в жгущий и бешеный пламень; и я стал ненавистью, и ненависть ревела яростно: пусти меня, пигмей! пусти меня!

Колоссальная энергия вырвется сейчас; небесный свод померкнет, содрогнется земля и рухнут ненавистные стены, исчезнет ненавистная ноша, я отпущу на волю души ненавистных рабов! конечно, тех, у кого остались еще души! да что! весь шарик я разнесу к чертовой бабушке! Солнце!..

... негромкий хлопок.

Милиционер удивлен — подозрительная личность исчезла, как испарилась. Теплый ветерок обдает ему щеку. Недоуменно пожимает милиционер плечами и направляется к очереди в экспозицию — не там ли схоронился.

Меж тем, моя одинокая душонка с горечью посмотрела вниз, сплюнула и нехотя, боязливо поплелась к небесам.

* * *

... Книги продавать я стыдился, но продавал; торговаться стыдился тоже — и не торговался; книжным жучкам, ошивающимся у букинистов, практически все доставалось за бесценок.

Случалось, правда, иногда в дело вмешивался один из моих приятелей, некто Викторovich, и тогда им приходилось туго.

Этот Викторovich, однокурсник, при крайней стесненности в средствах, ухитрялся следить за собой самым тщательным образом: что-то не вспомню, чтобы он когда-либо явился на улицу в неначищенной обуви, или, тем более, в отечественной; сверх того — прежде чем выйти, он душился одеколонами и вертелся не менее четверти часа у зеркала, расчесывая и эдак и так бороденку (носил бороденку, а как же! и холил ее и лелеял); вертелся, образуя с зеркальной поверхностью порою немислимые углы своею физиономией, выискивал прыщ; когда находил, искривившись, казнил подлеца. Что скрывать, склонные к однополю любви извращенцы так и реяли за ним стаями; но он их отнюдь не поощрял, держал на дистанции; зато он любил иностранные вещи, писателя Гессе, скупать математическую литературу, порассуждать о жизни и смерти — и выпить (ну, и выпить и порассуждать — это кто же из нас не любил).

Терпеть же не мог, наряду с содомитами, и физический труд (а возможно, что всяческий), питая к обоим, как он выражался, “врожденную антипатию”.

Самый среди нас старший, Викторovich менял за вузами вуз; и в нашем институте осел ненадолго. Все искал себя и не мог отыскать, метался из града в град, и более всего, вероятно, своими неупорядоченными метаниями досаждал военкомам. Если гомосексуалисты безуспешно пытались склонить Викторovichа к противоестественной любви, то военкомы так же безуспешно пытались склонить его к выполнению воинского долга.

Так, совершенно напрасно бесновался в свое время в Ленинграде грозный и тучный полковник Бородько, заламывая у себя в кабинете в отчаяньи руки и скрежеща от бессильной ярости вставными зубами; напрасно он наводнял Северную Пальмиру курьерами с приказом — из-под земли достать и доставить — неуловимый Викторovich крутился уже где-нибудь в Пемзе.

А в городе Пемзе один подполковник в сердцах даже поклялся пристрелить негодяя, но негодяй был уже далеко и подавал документы в очередь.

ной институт города N.

Надо сказать, что Викторовичу посчастливилось где-то разжиться добротным английским пальтецом из коричневого вельвета. Пальтецо плюс бороденка плюс личное обаяние и некоторая жесткость — все это в совокупности наделяло его достаточной солидностью и позволяло продавать мои книжки спекулянтам не совсем за гроши.

Помнится, однажды толкнул он тонюсенькую книжонку какого-то удмуртского писака (известного разве в удмуртских кругах, да и то в очень узких удмуртских) — рублей за пять.

Что правда, то правда, книжка эта называлась интригующе: “Лицо со шрамом”, и на обложке и в самом деле красовалось заманчиво гнусное рыло.

Викторович, без особых угрызений, представил книжонку как детектив с порнушкой.

Естественно, сам он ее не читал, и даже не подозревал, насколько далека была его реклама от истины. Но я-то ознакомился с “Лицом” (на меня и о сю пору успокоительно действует подобного сорта литература, успокоительно и бодряще — не то, что, скажем, Набоков, с которым, бывает, столкнешься и ко дну пойдешь; а со всякими “Шрамами” — эффект обратный: так и тянет ухватиться за перо) :

... Действие разворачивается в Удмуртии в конце тридцатых годов, основные персонажи — рабочие крупного металлургического завода. Двое — он и она — положительны в особенности. В середине повествования они решают пожениться; где-то на высоком холме, откуда их промышленный гигант виден во всем своем великолепии, происходит объяснение в любви.

— Если родится сын, мы назовем его Трактор, — радостно бормочет он, обнимая возлюбленную за плечи и накидывая одновременно на них пропитанный рабочим потом и табаком пиджак, так как солнце клонится к закату.

— А если девочка — то Сеялкой, — застенчиво щебечет она, вдыхая вечернюю свежесть, щедро одобренную пиджачными миазмами.

Казалось бы, ничто не омрачит их светлое будущее. Но вскоре выясняется, что все далеко не так просто. На заводе появляется инженер из бывших, тот самый, со шрамом, скрытый вредитель и гад, и сразу же начинает вредить и гадить направо и налево, повсюду. Пока, правда, по мелочам: то в станке замыкание короткое устроит, то у кого-нибудь бутерброд слямзит, то автомат с газированной водой из строя выведет. Рабочий народ в замешательстве, и никак не поймет, в чем дело, хотя у врага даже и на морде написано, что враг. Ну, известно, наш народ запрягает медленно, зато быстро ездит!

Между тем, инженер из бывших, с подлой расчетливостью пользуясь всеобщим замешательством, ловко подстраивает, чтобы подозрения пали

на главного героя. (Во-первых, потому что главный герой — очень хороший и очень советский человек и инженера из бывших просто судороги сводят при виде таких людей; во-вторых же, потому, что инженер из бывших положил глаз на подружку главного героя; инженеришку, естественно, и от ее вида бросает в корчи, но в ее он жаждет изнасиловать всю советскую власть.) В один прекрасный день в заводской столовой кто-то подсыпает в чан с супом невероятную дозу черного перца. Все улики указывают на главного героя. Но рабочие (вот где враг просчитался) не могут поверить в его вину.

— Скорее пролетарии всех стран разъедятся,— говорит старый, уса-тый рабочий, пуская дым в прокуренные усы, — чем Леха пойдет на такое.

Настоящий же преступник решает, как и давеча, попользоваться общим замешательством и приступает к осуществлению своего главного, воистину сатанинского плана: вывести из строя какую-то чрезвычайно важную турбину, отчего завод парализует минимум на неделю, что нанесет громадный ущерб государству.

Но тут все прозревают, хватают гадину под белы ручки и волокут в ближайшее отделение НКВД, а потом берутся за руки (рабочие мозолистые) и все вместе исполняют (так в книге) Могучую Симфонию Труда.

На этой высокой ноте повествование завершается.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 2.

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ

... Я и приятель... чистоплюй-англичанин сказал бы: приятель и я... но мы сейчас находимся не в Англии, сейчас мы находимся на балконе двадцатого этажа одного из студенческих общежитий, каких немало в Москве, заплывшем сердце нашей родины — и поэтому к черту все их светские антиподы условности!

Итак, мы — я и приятель — стоим на балконе и потягиваем гадостное дешевое вино прямо из горлышка, по очереди передавая друг дружке бутылку.

И беседуем.

Беседуем, да.

Ведь что еще остается нам, в наши-то годы (как-никак, сорок с хвостиком на двоих), бесконечно уставшим от жизни, бесконечно ею пресытившимся и бесконечно проникшим в ее тайники, и, стало быть, познавшим все ее козни с коварствами, а также сомнительные удовольствия.

Да ничего другого и не остается нам, кроме как коротать время в меланхолических беседах о тщетности всего земного — за непременно бутылочкой винца.

Правда, прикончив этих бутылочек достаточное количество, мы, веро-

ятнее всего (как оно и бывало частенько!), начнем шататься по коридорам, ломиться в комнаты, навязывая свое высокоинтеллектуальное общество встречным женщинам, а те, вероятнее всего (как оно и бывало частенько!), отнесутся к этому всему с изрядной прохладцей.

Но пока что выпито недостаточно, и философическая беседа в разгаре. Фон благоприятствует, навевая самые подходящие для философических бесед мысли.

Куда ни кинь взгляд:

— вниз ли, где далеко-далеко снуют погрязшие в своих суетных хлопотах, и разумеется, схожие с муравьями, всякие людишки;

— окрест ли, где, совсем затерянное в небоскребах-параллелепипедах, с возмутительным равнодушием заходит Солнце —

— решительно все служит отличным топливом для поддержания разговора.

Так, например, взирая с высоты на людишек, при известной доли фантазии легко представить себя неким Высшим действительно Существом, а поглядев на Солнце, тут же рухнуть с вершин и познать свое ничтожество.

Ибо на все плюет Солнце: сотрись сейчас в порошок все людское стадо, бредущее у подножья; полопайся вдруг селезенки у наших кормчих; скорчи я Светилу страшную рожу, высуну язык и погрози кулаком; да даже воскресни поганый Троцкий и пройдишь на ушах по улице Горького, изрыгая проклятия — никак не отразилось бы все это на равномерной поступи Звезды. Ни на шаг не отступилась бы от своего веками проложенного маршрута и спокойно заходила бы и заходила, пока бы не зашла — чтобы взойти на следующий день, как всегда.

Но мой приятель не желает мириться с положением вещей и мстительно бормочет: “А пошленько как-то заходит, проклятое... “ — и сплевывает. Шарик слюны по всем законам физики набирает исправно скорость, но не успев пролететь и полсотни метров, отклоняется ветром к стене и разбивается об нее.

— Вот, — говорит приятель, — опять не вышло.

— Чего, — спрашиваю, — не вышло?

— А пролетарской революции. Тюкнуло бы сейчас какому-нибудь пролетарию по башке, остановился бы он, как громом пораженный и в гневе неопишущем и озарился бы: ба! да что же это с нами вытворяют! да сколько же можно! докель стенать под супостатом! всю жизнь обхарканным — докель! Глядя на одного, задумался бы второй, за ним третий — и вот, смотришь, неоильич штурмует неозимний. Словом, при удачном раскладе плевок мой вполне мог оказаться каплей, переполнившей чашу народного терпения. Ну и что, отсрочка все равно временная, победа неминуема и давай-ка за нее и выпьем.

Выпили за победу. Бутылка кончилась, и я ее аккуратно в уголок пос-

тавил, хотя и хотелось швырнуть с балкона — но были уже прецеденты, были жаркие споры с милицией, чуть не закончившиеся разлукой с институтом; так что эти низменные инстинкты мы теперь подавлять умеем — вплоть до двух пузырей на рыло. А после двух низменные инстинкты все равно берут верх.

Мишка же (назовем его так) достал из сумки еще отравы, и принялся ключом проталкивать пробку вовнутрь (есть силачи, которым довольно собственного пальца, но мы не из их числа). Пробка поддалась не сразу — он сопел и тихо матерился, но вот раздался характерный звук (будто бы шампанское открыли; звуки можно было спутать, но содержимое — никак), закрепляющее успех крепкое словцо — и возлияния продолжались.

... Положа руку на сердце, не люблю пить с Мишкой, но с кем-то приходится же! Да, неприятный он человек, отталкивающий. Он даже если и вытрезвеет, помоеется, побрызжется дезодорантом “Орфей”, побреется и припудрит прыщи — и тогда в общественном транспорте редко кто усядется с ним рядом, хоть и в часы пик, разве что какой индифферентный негр — вот это что за человек!

Как известно, и последняя сволочь отгадет сволочной своей душонкой, созерцая презабавные ужимки маленьких детишек. Миша же, по его уверениям, не отгаивал, а только представлял, какая из них вскорости вырастет плесень: равно ненавистные ему рефлекслирующие нытики, раздавленные бременем жизни либо же т.н. “настоящие мужчины”. Чем настоящее мужчина, говаривал он, тем ближе к животному. Женщин же за людей вообще не почитал — вот что это за человек!

И начинен он был сотнями историй (сам ли выдумывал, черпал ли из моря житейского — не знаю), вроде бы занятыми, вроде бы и смешными, а иногда вроде бы и трогательными, но в сути своей — во Зле зачатými и Зло поющими.

И теперь Миша потчует меня из своих запасов:

... Понимаешь, до них в прошлом году в этой комнате ютилась вьетнамка, по имени ли, фамилии — звали ее Минь. Ну, и в тумбочке нашлись ее какие-то записки, что-то вроде дневника, причем пыталась она писать зачем-то по-русски. Практиковалась, что ли. Все записки, за исключением последней, носят бытового характера. Ну, там, походы в ГУМ и встреча в ГУМе со “спекулятором”. Ну, там, наивное удивление, что с тряпками “совсем плоха”, хуже, чем в родном Хо-Ши-Мине. И прочая. Проставлены даты. Судя по ним, записки производились с интервалами в день-два. Кроме последней. Между ней и предыдущей — промежуток почти в месяц. А запись такая: никада ни вер ни один мущина.

Позвольте спросить вас, мой юный друг, понимаете ли вы, сколько всего сокрыто в этой, на первый и поверхностный взгляд, немудреной фразе? Сколько отчаянья и боли? Трагедия, понятная и близкая всему человечеству. Нам неизвестно, что конкретно стряслось с Минь тем роковым меся-

цем, как именно развивались события, но каждый с легкостью нарисует милую и горькую его сердцу картину и раскрасит в единственно ему ведомые краски. Флобер и Лермонтов, Толстой и Мопассан и т.д. — все их частные версии попадают в гениальный пропуск. Да! Минь своей блистательной паузой запрятала в нее все. Вот универсальное произведение, доступное даже папуасам с Новой Гвинеи, доступностью и близостью заткнувшее за пояс всех на свете: и классиков, и авангард и кого угодно. Да здравствует Минь! Уж за нее-то выпить не грех!

— и мы приканчиваем еще одну бутылку.

Осталась последняя. Михаил открывает и ее.

Я чувствую, что уже порядком пьян. Общение с Михаилом, вся эта пустая болтовня — начинают тяготить. Значит, не за горами коридорные похождения, неуклюжие заигрывания с честными советскими девушками и женщинами.

А ограничиться бы все же, пускай пустой, а болтовней, двух пустых, но привыкших друг к дружке человечков. Ограничься я ею, и завтрашнее пробуждение будет много покойнее, нежели чем в случае, когда пустая болтовня перейдет в гадостный фарс насильственных попыток включить себя в далекие и чуждые мне орбиты посторонних жизней. И пойдет тогда по-утру надоевшее самоедство: где вчера какую глупость учинил, кого еще обидел, кому еще показался идиотом и сволочью — казалось бы, да что мне за дело! а вот поди же...

... Видно, винцо и Мише ударило в голову. Говорит, запинаясь, с остатками. Что ж, опять послушаем грязноватую байку...

Но внезапно открывается поразительная вещь! Да-да! Факт! Он плачется мне в жилетку! Быть не может, ведь между нами такого не принято... Перебрал, что ли? Да нет, с чего, пили-то наравне...

... я теперь часто вспоминаю... эпизод один в моей жизни... в начале... семь лет, не больше... сижу я с матерью на диване... вечером, темно... и так как-то стало... страшно... и еще чего-то... трудно определить словом... вползала всюду эта темнота... грозила... и я прижался к матери, спасаясь, спросил: мама, ты ведь никогда, никогда не умрешь?.. правда?.. глупенький мой, конечно, никогда — отвечала она...

— И что же? — говорю я с нарочитой прохладцей. Потому что мне делается неуютно от этих его мемуаров, здорово смахивающих на крик о помощи. Может, и померещилось, но все равно разговор этот лучше присесть, ведь помочь-то мне нечем...

— А то, — говорит Миша таким тоном, что я понимаю: в самом деле, померещилось; зло говорит, без запинок, — что наводит оно меня, это воспоминание, на весьма тягостные раздумия. Во-первых, мать меня обманула. Во-вторых, давно уже некому меня обманывать, разве только самому если себя, и то хер обманешь. В-третьих, удручает меня почему-то некая разница между мной тогдашним и мной теперешним. Так и подмывает за-

нить, прямо как в безобразном “Самгине” нудят тысячекратно на каждой странице: а был ли мальчик? был ли? А в-четвертых, абсолютно неясно, зачем я это все пробую кому-то выложить, знаю же, напрасный труд; что, быть может, и есть самое обидное! Ну и черт с ним! А вот взгляни-ка лучше в коридор!

Я оборачиваюсь и сквозь стеклянные двери вижу, что по коридору, удаляясь от нас вглубь, идет девушка.

— Смотри внимательней, — ораторствует Миша, — как будто бы ничего особенного? во всяком случае, вид сзади... уверяю, что и спереди не лучше...а внутри-то и говорить нечего...ну, баба идет и баба. А знаешь ли ты, что год назад некий молодой человек из-за нее с балкона выпрыгнул? Не поручусь, что с этого самого, но что в этом здании — точно. А скорее всего, что и с балкона с этого самого, интуиция мне подсказывает. Стояли они, вот так как мы с тобой стоим, и тоже языки чесали. Думаю, что юноша был сильно на взводе, иначе трудно объяснить его странное поведение. Девушка как раз пересказывала ему, в меру своих способностей, какой-то редкий фильм, что посчастливилось ей увидеть на закрытом просмотре в Доме Кино, куда — хи-хи — пригласил ее один наш творческий деятель — как вдруг на самом интересном месте юнец перебивает ее и говорит: если ты равнодушна ко мне, я сейчас же расстанусь с жизнью, без тебя все одно и не жизнь вовсе, а так, прозябание... короче, да или нет, и если нет, то прощай, детка, прощай, и навсегда прощай. — Ишь, — подумала детка, — вымогатель какой нашелся. Посмотрим, как он станет выкручиваться... — и эдак весело и кокетливо чирикает: я свою жизнь и судьбу с истеричками связывать не желаю, больно ты прыткий! да посмотри на себя со стороны, хорош гусь... А юноша и впрямь оказался прыткий! Кто бы сдрейфил (о, я много знаю таких), обратил бы все в шутку, а его — сию же секунду — как ветром сдуло. Ноги перекинул — и айда. Прыг-скок! Летел пока, должно быть гундосил себе под нос бессмертную фразу из Минь, с поправкой на свой лад: никогда, мол, не верь ни один женщина. И зря — при чем здесь женщина, он сам себя надул, и потому опять-таки выходит: никогда не верь ни один мужчина. А самое правильное — никогда никому вообще не верь. Да-с, такие, брат, дела!

И тут я просто весь вскипаю. Надоел он мне, надоел, проклятый циник!

— Ты не смеешь! — кричу я. — Ты, ты... тебе бы все смешать с дерьмом, потому что сам ты дерьмо! Они не такие! И она не такая!

— Ну, ну, — Михаил спокоен. — Смерч... тайфун... цунами... а известно ли тебе, что в запасе у нас всего полбутылки?

— Плевать! — кричу я. — Плевать я хотел на твои бутылки! Вот я сейчас догоню ее и сам...

Не докончив — ибо не знаю, что “сам” и вообще чего хочу, но подчиняюсь уже импульсам искривленного алкоголем мировосприятия (послед-

твием чего наверняка будет утренний приступ лихорадки совести, но до утра далеко) — бросаюсь к дверям.

Распахнуты стеклянные двери!

Потерявши рассудок, я мчусь по коридору.

Я — догоню! Я обязательно догоню ее.

И действительно настигаю.

— Извините, — забубнил, путаясь, — извините... мы не знакомы... но вы... человек вас ради... простите, я груб... бестактен... и глуп, все это так, наверное... косноязычен с перепугу и изъясняюсь не по-русски... но вы-то, вы... вы-то должны понять... вы — другое дело, вы — не такая, вы — словом одним можете...

Она отвечает лаконично и каждое слово обрушивается на меня увесистой загрещиной.

— Проваливай отсюда, пьяный выbleядок, и поскорее, не то я позову милицию.

Я вмиг трезвею.

— Понял, понял, барышня, не извольте беспокоиться. Ошибочка произошла, ошибочка-с! Напутал-с, маху дал, с кем не бывает. Лобызаю прах у ног и удаляюсь трепеща. Прощайте.

И ретируюсь, развернувшись на 180 градусов. И думаю, что да, и правда, ошибочка, а Мишка, сука, опять на коне... всегда на своем коне, впряженном в бочки с дерьмом.

... Что же, осталось еще полбутылки... — с этой приятной мыслью я возвращаюсь на балкон.

Стоит недопитое вино и никого нет.

— Пошел в сортир, — смекаю я и зачем-то выглядываю с балкона вниз.

А там, внизу, уже собралась толпа.

* * *

... Что касается спиртного: в те годы со спиртным было просто. Пойдешь, куда глаза глядят и непременно вскорости наткнешься на пивной ларек, либо на т.н. “тошнилловку” — загончик с пивными автоматами, где за двадцать копеек они нальют тебе полную кружку разбавленного стиральным порошком пива (в те баснословные года — и пива и порошка хватало всем). А рядом с пивной точкой, в двух шагах, винный магазинчик — это уж так было всюду заведено: устал пить пиво, зайди в магазин — большой выбор дешевых и крепких вин.

Около нашего института процветала тогда пивнушка, именуемая в народе “Тайвань”. Народ награждал ее этим прозвищем (как награждал всякое пивное заведение: “Сайгон”, “Яма”, “В мире животных”, “Пиночет”, “Голливуд” — каким-нибудь прозвищем, метко и по существу) за ее соседство с Китайским Посольством. В самом деле “Тайвань” располагалась между посольством и институтом, скорее ближе к посольству.

Не слишком просторное помещение (приблизительно метров двадцать квадратных). Большую площадь (эдак две трети, если не три четверти) занимали круглые шаткие столики, за которыми распивали как пиво, так и другие, менее безобидные, напитки (ими торговали буквально за углом), не взирая на суровую табличку на стенке, строго-настрого воспрещавшую как приносить, так и распивать. Тут же висела и другая табличка, а под ней — кружок, похожий на дорожный знак. “У нас не курят” — сообщала табличка, а дорожный знак, на котором черным была нарисована дымящаяся сигарета, перечеркнутая красным крестом — это лишний раз утверждал. Но и этот запрет нарушался: дымили вовсю, так дымили, что хоть кружки полные вешай. С интервалами примерно в два часа (к вечеру сокращавшимися) в “Тайвань” заглядывала пара милиционеров, которые любят, как контролеры или гомосексуалисты, расхаживать парами. И тогда нужно было не хлопать ушами: могли привлечь и штрафануть — и за курение, и за распитие. Обыкновенно при появлении милиции кто-нибудь громко кричал “Воздух!” или выпускал пронзительный свист — эти сигналы оповещали о близкой опасности и призывали повысить бдительность: притушить сигареты и припрятать бутылки. Все равно, всегда находились потерявшие контроль, и стервятники без поживы не уходили.

На меньшей же половине у самого входа находился сортир, внутри испещренный неприличными рисунками, матерными афоризмами и просто словами, автографами (и по-китайски!); далее простиралось царство тети Зои, необычайно тучной женщины, отпускавшей пиво в разлив. (Я всегда был уверен, и в этой уверенности пребываю и по сей день, что природа не обделила меня фантазией и воображением. Если на то пошло, вероятно, я даже смог бы представить себе, чем и как занимались Владимир Ильич и Надежда Константиновна в одной постели — возникни такая острая необходимость; это, конечно, отняло бы много энергии — но, видимо, смог бы. Но представить себе хотя бы только сожителя тети Зои, румяной великанши в белом докторском халате, тем паче их любовные игрища — здесь воображение мое пасовало решительно. У Гомера бы получилось, у Рабле, вероятно...)

Тетя Зоя, в окружении кружек, с влажными, в пиве, руками, наполняла и наполняла емкости, при том успевая перекинуться фразой-другой с постоянными клиентами, которых было порядком и которых она всех знала в лицо, а многих — поименно. За ее спиной на полке стояли пустые коробки из-под виски, коньяка, черного доктора (тетя Зоя считала, что реквизит этот придает пивнушке особый, старорежимный либо западный, лоск); над полкой висел плакат: поел — попил и в добрый путь, убрать посуду не забудь. Виднелся проход на кухню, откуда тянуло гарью и где вечно копошилось некое существо — тетя Зоя, оно, да еще неопрятная, но бодрая старушка Дуся или Маша, сновавшая под хмельком там и сям со шваброй или собиравшая пустые кружки — вот и весь обслуживающий персонал.

Из кухни поступали вареные сосиски, а также фирменное тайваньское блюдо — яичница с ветчиной.

Понятное дело, заказав яичницу, редко когда удавалось ее тут же заполучить: пока поджарят, пока на тарелку выложат, пока то-се — на чем и грели себе руки (точнее, желудки) различные проходимцы.

Шум, гам, толчея, дым коромыслом — и где-то далеко, за дымовой завесой, тетя Зоя кричит: “Возьмите яичницу, пожалуйста!” Не всегда достигнет сей возглас нужных ушей, а темный элемент тут как тут: подкрадется к прилавку, скроит невинную физию, цоп яичницу — только его и видели.

Тут, мне кажется, самое время помянуть Плинтуса. Учился он со мной на одном курсе, учился, в основном, жизни, родом был откуда-то из прибалтов, с длинной и затейливой прибалтийской фамилией — кончалась на “каускас”, и для краткости и простоты прозывался Плинтусом. Среднего роста и плотного сложения, наружностью напоминал он прославленного композитора Раймонда Паулса без очков. Так же как и сам маэстро в его годы, он крепко зашибал, отчего лицо Плинтуса уже обрело столь характерную для алкоголиков со стажем бугристость и отечность. Натуру же Плинтус имел скорее пролетарскую, нежели непролетарскую, по-пьяни предпочекая не задушевные беседы, а дать кому-нибудь в рыло. Он вспомнился мне именно в связи с яичницей, поскольку, говорили, однажды Плинтус исхитрился присвоить себе, совершенно противозаконно, порций двенадцать, действуя, правда, не в одиночку; половину сожрал, а половину поменял на пиво. Вообще, про него много чего говорили. Говорили, например, что это единственный человек в мире, которому удалось наблеть себе на спину. Его называли также и “Летучим Голландцем”, и вот почему:

Как-то раз, слякотным осенним вечером, Плинтус выпивал в компании. Спиртное подходило к концу и решили отрядить гонца в магазин, пополнить запасы. Вызвался Плинтус. Собрал со все деньги, взял у кого-то дипломат, облачился в просторный, с чужого плеча, плащ и вышел за дверь. Вернулся он ровно через неделю, не только без вина, но и без чемодана, плаща и даже без ботинок, но пьяный зато смертельно. В ту роковую неделю, когда он пропадал неизвестно где, разные люди, ходили слухи, встречали его то в одном, то в другом магазине: в развивающемся плаще, бледный, сумрачный и молчаливый, набивал он чемодан бутылками и исчезал. Причем, согласно легенде, его видели в разных магазинах разные люди одновременно.

Мне довелось присутствовать при одной из проделок Плинтуса. Выпивали в общежитии вместе, и вроде бы еще не очень набрались, когда Плинтусу захотелось справить малую нужду, из комнаты он выходить поленился и поссал прямо в окошко с третьего этажа. Минут через десять в дверь робко постучали.

— Кто? — спросил Плинтус.

— Откройте, оперотряд — пропищали за дверью.

(Тогда в Москве практиковалось следующее: набирали из числа самих же студентов группы, актив, и те вылавливали по общежитиям пьющих; так погиб однокурсник Вася Потрохов: оперотряд ломился в его комнату, тот перепугался — за пьянство могли выселить из общежития и автоматически отчислить из института — связал простыни, по которым хотел спуститься на соседний этаж, сорвался, и насмерть разбился).

Спрятали вино, на стол для конспирации поставили чайник, и отворили. Вошли трое, впереди писклявый предводитель-очкарик с почему-то мокрой головой. Я еще удивился тогда: с чего бы? дождя-то, вроде, и нет?

Запинаясь, очкарик промямлил, очень неуверенно, долго подбирая слова, что, дескать, товарищи, из вашего окна наблюдался факт мочеания.

Тут до меня доперло, и подавляя в себе смех, я едва не лопнул. Представление, между тем, продолжалось. Плинтус набросился на очкарика как тигр на мясо и стал тыкать его головой в прицепленный к лацкану пиджака комсомольский значок (которого, готов поклясться, минуту еще назад там не было), а после заорал, надсаживаясь и как бы с пеной даже у рта:

— Ты это видел? Видел?

— Ну, видел, — как-то уж совсем приуныв, отвечает очкарик.

— И что это, по-твоему, такое!? А? Что!?

— Ну, значок, комсомольский...

— И ты! смел! подумать! что я! комсомолец! я! ленинец! да ты просто подлец после этого! пошел вон!

И Плинтус вытолкнул потерявшегося и не сопротивляющегося очкарика вместе со свитой за порог и захлопнул дверь.

Ну, однако, он надоел уже мне, этот Голландец; в Тайвани можно было встретить не одного его. Кого только туда не заносило...

Студентов, в основном, разумеется. Но частенько захаживали и китайцы из посольства, и преподаватели из института, пропустить кружку-другую. Захаживал сюда и профессор К., читавший у нас лекции по дифференциальным уравнениям. Что-то у него в жизни не сложилось, и заходил он не на кружку-другую, а до закрытия, или, что случалось, как правило, раньше — пока не напивался до положения риз. Студенческий фольклор хранит историю о кривой профессора К.

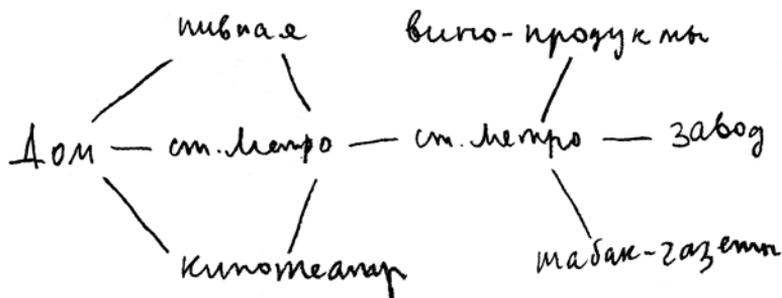
Читая в нетрезвом виде лекцию, профессор К. споткнулся и упал, а пока падал, мел, таки не выпущенный из руки, вычерчивал на доске некую причудливую линию. Так родилась знаменитая кривая.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 2.

ШАНС

Посмотрите на схему. Эти незамысловатые линии вмещают в себя уйму слов.



Пространство замкнулось, и в замкнутом пространстве Гиенову оставался только скудный выбор из ограниченного количества прямолинейных траекторий.

Кстати сказать, и течение времени перестал он ощущать, очутившись в тесном кубике трех измерений объемом в несколько кубических километров. Казалось Гиенову — времени просто нет.

Иногда поэтому Гиенов смотрел в ночное небо и тосковал, сам не зная о чем и почему. Мы-то, пожалуй, можем пролить на это кое-какой свет: наверное, тосковал он о воле. Ее символ — звезды, существующие тоже будто бы вне времени, но блуждающие по всему необъятному своду небесной сферы.

Плохая физика: ведь, как известно, движение звезд отнюдь не вольное, а подчиняется законам Ньютона и Эйнштейна, и ход светил можно рассчитать наперед.

Но вернемся к схеме, изображенной на рисунке. Вот одно простое из нее следствие, которое мы и хотим предложить вниманию читателя.

... Под вечер ударил мороз и от завода до станции метро пришлось почти бежать. Спускаясь по эскалатору, Гиенов согревался и думал, что в одном отношении холода, пожалуй, и кстати... Вдруг им по силам окажется унять соседку этажом выше. Последнее время, воюя с подступающей старостью, она напивалась в дымину, высовывалась в форточку и оглашала

окрестности каким-нибудь циническим воплем. Ну, например:

— Меня мужики до сих пор . . . и деньги плотят!!!

Откровения пожилой гетеры едва ли идут на пользу пятилетней гиеновской дочке, частенько играющей во дворе. А при таких морозах небось пропадет охота орать из окон.

Людской поток втащил Гиенова в поезд и прижал к дверям. Радостный голос хорошо поевшего человека объявил название следующей станции и поезд, набирая ход, нырнул в туннель.

Гиенов привык в метро разглядывать случайных попутчиков, наделяя их, по своей прихоти, тем или иным характером; выдумывал жизненные ситуации и представлял их действия в этих ситуациях — словом, творец немножко был Гиенов, художник, но, конечно, о том не ведал...

На сей раз его внимание привлек мужчина лет тридцати с аккуратной заостренной бородкой, внешность которого показалась Гиенову знакомой. Ах, да. Телевизор. Интересная фильма — про мушкетеров. Вот у кого жизнь! Насадив на шпагу гвардейца-другого, скакать во весь опор, загоня лошадок, за подвесками королевы, опутанной кознями кардинала. Коварный Ришелье, потирая суховатые ручонки, празднует победу. Королеве не миновать крупных неприятностей — ее супруг, Людовик № ?, неоднократно уже справлялся о подаренных им украшениях. Но радость интригана преждевременна: мушкетер успевает в самую последнюю минуту совершить невозможное, заслужив бесконечную признательность Ее Величества, перстень из Ее рук и Любовь прекрасной Констанции.

Э-хе-хе! Зловещий кардинал так не похож на начальника цеха Сидорова, хотя и Сидоров, спора нет, тоже изрядная сволочь. Констанция, что ни говори, жене не чета...

— И вот я жду Ваших распоряжений.

(— Мать, купить чего, как с работы пойду?)

— А что будет порукою мне, если я решусь доверить Вам эту задачу?

(— Зайдешь в магазин — не перепутай, Гиенов — в магазин, не в пивную, и купишь банку майонеза.)

Похоже, тип с бородкой снимался в роли одного из мушкетеров. Непонятно тогда, как и зачем очутился он в обыкновенном вагоне обыкновенного метро. В представлении Гиенова — жизнь актеров, искрометная как бенгальский огонь, сродни фильмам, в которых они играют. В этой жизни полагается если не мчаться по прериям, вонзая шпоры в лошадиные бока, то, по крайней мере, развезжать по чужим далеким городам в цыгарообразном импортном авто. В этой жизни полагается пить дорогие вина, возводить особняки из разноцветного мрамора и с бассейном, менять, как костюмы (а значит, ежедневно), женщин... но метро? метро сюда никак не вписывается.

И решив, что ошибся, Гиенов переключился на краснолицего грузного майора. Отважный воин пытался уступить место женщине, чему препятс-

твовала утроенная действием алкоголя сила тяжести.

Как вдруг лжекиноактеришка, проталкиваясь сквозь людскую гущу, устремился в направлении Гиенова. Очутившись, наконец, рядом, он, радостно улыбнувшись, хлопнул нашего героя по плечу и воскликнул:

— Вы целы и невредимы! А мы уже опасались за вашу жизнь. Недурно изучив образ мыслей Его Высокопреосвященства и убедившись на собственной шкуре, что значит оказаться в его немилости, можно было предполагать самое худшее.

Гиенов вздрогнул. Замелькало в голове: пьяный? спиртным не пахнет... помешанный! сейчас возьмет и попишет ножиком, рассказывал же Семеныч... им что — попишут и обратно в Кашенки, отдыхать.

Незнакомец, между тем, действительно сунул руку в карман (к ужасу Гиенова), но вытащил не нож, а платок, которым и вытер себе лоб.

Платок выглядел необычно. Обычные — знаете, такие в синию или зеленую клетку, ну, в красную. Этот же был белоснежным, из тонкого материала и с кружевами.

Разум Гиенова, напряженно искавший реальное и безопасное объяснение происходящему, неуверенно предположил: может, все-таки актер? репетирует, может?

Странный человек продолжил свои безумные речи :

— Однако же, каков старый лис, нужно отдать ему должное. Подходящее выбрал местечко! Из пасти самой Бастилии вырвать вас, кажется, было бы задачей менее трудной. Но, тысяча чертей! Вы бледны, отощали и напоминаете больше собственную тень, чем мушкетера Его Величества! Как видно, господа, в чьи лапы вы угодили, не слишком потчевали вас добрым бургундским и всякого рода живностью. Канальи! Мы еще рассчитаемся с ними сполна за их гостеприимство. А теперь поторопимся, мой друг. Нас ждут.

И с этими словами он подхватил Гиенова под руку и...

... Они шли по вымощенной камнями мостовой. Припекало солнце.

Длинные сапоги со шпорами. На камзоле вышит крест. Шляпа с огромными полями и перо. Тяжелая шпага.

Идут мушкетеры Его Величества...

Гиенов понял, что спит, и воспрял духом. Просыпаться ему не хотелось. Волшебный сон! Правда, шпага — цепляется, окаянная, за ноги. Неприятно.

— Атос, — рассказывал Арамис, — недавно обыграл двоих англичан в кости и с этих пор засел в “Фазане”, объявив, что намерен устроить своей печени серьезное испытание. Ведь он, милый д’Артаньян, потерял всякую надежду увидеть вас живым... Но вот мы и пришли.

Трактир был почти пуст. Атос с каким-то мушкетером расположился в углу за столом, заставленным бутылками и блюдами со снедью. Он поднялся из-за стола навстречу вошедшим.

— У меня радостные вести, Арамис, — начал он и внезапно умолк, бледнея на глазах.

— Однако, — прошептал Атос, несколько секунд спустя, — неужели я пьян настолько, что у меня двоится в глазах? Или может быть, д'Артаньян, — обратился он к мушкетеру, сидевшему спиной к дверям, — у вас есть брат-близнец? Тогда встречайте брата.

Мушкетер повернулся и Арамис удивленно вскрикнул.

Два д'Артаньяна молча глядели друг на друга. И не Гиенов, конечно же, заговорил первым.

— Этот господин дорого заплатит за лицидейство! Посмотрим, так ли хорошо он владеет шпагой, как тот, за кого себя выдает. Эй, сударь! Угодно вам совершить небольшую прогулку? Под стенами монастыря Дешо никто не помешает нам во всем разобраться. Шпион кардинала!..

Дело принимало нежелательный оборот.

— Ишь, резвый какой, — подумал Гиенов, — разбежался...

Романтика романтикой, но ему не улыбалось погибнуть — от руки самого ли д'Артаньяна, или же — почем знать — такого же проходимца, как и сам Гиенов — хоть даже и во сне. Да и сон ли? Никогда Гиенову такие сны не снились.

... Но он и шпагу-то в руках никогда не держал. Не приходилось. И Констанция... ошивается, понимаешь неизвестно где... будь она рядом, я бы, пожалуй, рискнул...

— Ну же, сударь, следуйте за мной, — наседал непоседа-мушкетер, в глазах которого горела самая настоящая ненависть.

И Гиенов, забыв о том, что все это — лишь сон, пронизанный страхом Гиенов выкрикнул: “Нет! Не желаю!! Оставьте меня!!!”

И тотчас вещи и люди стали расплываться, менять контуры, и Гиенов, чувствуя, что исчезает из этого сказочного мира навсегда — а тот, другой, остается (могло ведь быть наоборот?), крикнул еще яростно: “Фуфел! Фальшивка!”

... Майору удалось-таки победить тяготение; но уступая даме место, он наступил даме на ногу. “Слон!” — завизжала дама, майор обиделся, Гиенов заплакал невидимыми миру слезами...

Поезд подходил к станции.

* * *

... С Длинным я познакомился “на картошке”, в начале второго курса. Жили гадко, в дырявом бараке, пронизаемом не только солнечными лучиками, но, случалось, ветрами и ливнями. О горячей воде оставалось мечтать. В сортир, подгнившую избушку на холме, было страшно и зайти — того гляди, провалишься в нечистоты. А заходить приходилось. Поделен он был дырявой и тонкой фанерой на две половины — “М” и “Ж”. При удачном стечении обстоятельств можно было услышать, как за фанеркой, сладострастно покряхтывая, очищает с тобой в унисон набитый

разной дрянью желудок какая-нибудь девица. Услышать, а при желании и увидеть. Все это как-то подрывало устои, отчего многие пили. (Впрочем, отдельно взятые девушки и их дружки с гнусной казспэшной придурью находили во всем этом безобразии любимую свою романтику; эти вечерами разводили костры, пекли картошку и пели под гитару песни: Машины Времени, Володи Высоцкого, Юры Визбора и супруги Юры Визбора, “пара гнедых”, “среди миров в мерцании светил” — вот Вам и бессмертие, г. Апухтин и Анненский — также и собственного сочинения; блаженные идиоты: посади их в буквальном смысле в чан с говном, так они и там бы, нам кажется, разожгли бы костерок и попели бы). Пило начальство, пили и студенты.

Вот однажды вечером оставалась у меня непочатая бутылка портвейна, а выпить почему-то было не с кем. С горя собрался даже идти к романтикам, давно уж запалившим костры, но, к счастью, по дороге, в темноте, наткнулся на неизвестного.

— Выпьешь? — с надеждой спросил я неизвестного.

— Отчего же не выпить, — отвечали покладисто откуда-то сверху, явно за гранью моих 180 см.

Так мы и познакомились, Длинный и я, и впоследствии пили вместе и не раз, и не два; пили, как сказал бы Г. Кантор, равномощно континууму.

Длинный оказался занятым человеком. И не только потому, что много пил — этого еще не достаточно, хотя, похоже, необходимо.

Разбирался он здорово в математике; и нередко, явившись на экзамен без подготовки, самостоятельно выводил теорему, указанную в билете, предварительно справившись у экзаменатора насчет ее формулировки. Пораженный экзаменатор, если попадался не слишком сальеристый, быстро отпущал его с “отлично” в зачетке.

Кроме того, Длинный баловался антисоветчинкой, но больше всего притягивал меня тем огромным успехом, каким пользовался у женщин. (Поскольку я при женщинах постоянно оказывался кем-то вроде Грегора Замзы — превращался в отвратительное насекомое: и для женщин и для себя.) В тех кругах, в которых мы с ним вращались, а именно в студенческих, был он неотразим. Но и в народе его любили: как-то ночью Длинный возвращался домой пешком, ибо к тому времени метро уже не функционировало. Возвращался голодный и начинающий трезветь, что сопровождалось неприятными ощущениями в голове и желудке. И вот представьте: напоролся посреди ночи на бабу (как позже выяснилось, продавщицу в универмаге), немедленно ей приглянулся (при свете ли фонаря? или он и в самом деле флюиды источал из себя эротические, пронзавшие пространство навряд радиоволн), она отвела его к себе домой, накормила колбасой, поставила бутылку водки. Которую распив, они отправились в кровать и там предались сладостным утехам. Займись Длинный на досуге мемуарами, таких историй у него набралась бы уйма, хватило бы на Декамерон.

Так в чем же секрет его обаяния? Уж наверное, не своими математическими способностями пленял Длинный слабый пол. Сложением? Сложение не дурно (худой и длинный), но отнюдь не геркулесово. Внешностью? И внешность недурна — эдакий розовощекий и гладкокожий живчик, но тоже ничего особенного. Не Капабланка, не Бельмондо. Задавшись целью раскрыть секрет, я у некоторых женщин, подпавших под губительное воздействие его чар, прямо, пусть и бестактно, интересовался: чем именно он разбивает им сердца? мне, дескать, как писателю, это очень важно знать.

Кто от ответа уклонился, кто снисходительно уронил, что нужно быть женщиной (или гомосексуалистом — мысленно дополнил я), чтобы это понять, а некая поэтическая особа, даром что с квадратными ногами в сечении и сочинявшая стихи все в том же казспэшном духе, выразилась довольно туманно: Длинный, де — Цветущая Роза.

Что ж, поэту виднее, что-то она ухватила. Черт его знает, разгадать загадку Длинного — не то же ли самое, что постичь самые сокровенные тайны бытия? (И прелести твоей секрет разгадке жизни равнозначен...)

Но довольно завистничать. Лучше я расскажу о малоизвестном еще, как в нашей стране, так и за ее пределами, покушении на Ильича. Речь, конечно, пойдет не о выстреле отравленной пулей, произведенной рукой малосведущей в химии психопатки-эсерки.

Начну издалека.

Как вы знаете, а может, и нет, раньше Столешников переулок являлся одним из крупнейших в столице оплотов Зла и Соблазна. Когда-то мы с Длинным, да и с Викторовичем, и еще со многими частенько туда наведывались. Там тогда в единой точке сконцентрировались: букинист, пивной бар “Ладья” (или “Яма” — располагался в подвале), винный магазин, рюмочная, и (last but not least) институт марксизма-ленинизма. И все это было очень удобно:

1. Сначала продаешь в букинисте книги.
2. Потом заходишь в “Ладью”, попить пива.
3. Потом — в рюмочную, выпить, естественно, рюмку-другую водки.
4. Потом — в магазин, запастись винцом.
5. И уж потом — в скверик, разбитый у подножья института, чтобы спокойно и без помех распить на лавочке вино — под сенью мраморного Ильича (вторая, третья и четвертая операции порой менялись местами, порой повторялись неоднократно, но первая всегда оставалась первой, а последняя — последней), памятник которому был установлен в самом центре сквера. Ильич сидел задумчивый, подперев одной рукой подбородок, а другую возложив на колено, и сощурившись, смотрел куда-то вдаль, в направлении Юлия Долгорукого. Милиция сюда никогда не ходила, так как и помыслить не могла, что у кого-то достанет наглости кощунственно налимониваться в святом этом уголке.

Ну, вот, неким зимнем днем (198* года), очутились мы с Длинным и

с тремя бутылками портвейна на скамеечке, как раз насупротив задумчивого Ильича, уже совершив №№ 1 — 4. Темнело рано, и не успели мы выпить первую бутылку, как начали сгущаться сумерки; где-то в середине второй они сгустились и в сквере зажглись фонари.

Неожиданно я заметил, что чем меньше остается у нас вина, тем сильнее во мне разгорается злоба к мраморному идолу, равнодушно смотрящему поверх наших голов. Допили вторую — и вдруг Длинный шепнул: “Ненавижу “. Я и спрашивать даже не стал, кого. Понятно было без слов. В молчании откупорили и выпили последнюю.

Все произошло стихийно; первым кинул бутылку я — и промазал. Она просвистела возле уха и форменной бомбой взорвалась за Ильичом, нанеся врагу легкие осколочные ранения. Следом за мной, обхватив пустую бутылку за горлышко, словно начинена была она зажигательной смесью, попер на памятник, как на танк и Длинный, размахнулся и с сильно удивившим меня криком — Привет от братьев Карамазовых!! (трезвый, он никогда бы не додумался) — метнул ее в Вождя. Бутылка угодила прямо в лоб, но проклятая алалыка даже не поморщилась. Последним патроном я тоже не дал промаха, поразив Честь и Совесть в область грудной клетки. Но ему-то что — как с гуся вода. По другому и быть не могло: все ведь делалось без надлежащей подготовки и совершенно негодными средствами — пустой бутылкой тут вряд ли обойдешься, да и полной, пожалуй что, тоже.

Перебив посуду, мы поспешили скрыться — и мне все чудилось, что вот-вот, сейчас, позади раздастся жуткий топот многотонной громады, треск и грохот проламывающегося под ее тяжестью асфальта и картавый окрик: П’иказываю вам немедленно остановиться! именем п’елета’ской ‘эволюции, стойте! Шаг впе’ед и два назад, шукины дети, говно нации!

В метро я поделился с Длинным своими свежими страхами. Обнаружилось, что его, как реалиста, гораздо больше волновали две-три старушки (свидетели!), некстати случившиеся в скверике. Я успокоил его. Я сказал: “По моему мнению, не успела еще первая бутылка пролететь и половины пути, как все бывшие там старушки посходили с ума, разумеется, при том условии, что не выжили из него раньше, что, впрочем, маловероятно, и, во всяком случае, теперь-то все они абсолютно безвредны, опасности не представляют.”

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 2.

ПОБЕГ

Совсем плохо пошли дела у Гиенова после необъяснимого случая, приключившегося с ним в метро. Не будь этого происшествия, он до самой смерти безропотно перемещался бы по прямым линиям в ограниченном пространстве, не желая замечать убожество окружающего его мирка. А

теперь Гиенов взроптал, возненавидев жизнь и себя. Он перестал смотреть телевизор. Телевизор ежесекундно напоминал об ужасающе ничтожных размерах кубика, замкнувшего в себя бытие Гиенова; в телевизоре показывали много всякой всячины: Австралию и мишек-коал, занесенных в красную книгу, далекие острова Гаити, президента-скандалиста Рейгана... Гиенову никогда не побывать на Гаити, не поговорить по душам с распоясавшимся агрессором и не погладить по головке мишку-коалу, угостив экзотическое животное сочным эвкалиптовым листом... Потому что: ни Гаити, ни Австралии, ни даже Америки (один наш знакомый, по специальности физик, хвастал: “В отличии от Колумба, отправившегося за тридевять земель, я открыл Америку единственно силою ума, вывел ее существование “на кончике пера” — исходя только из неуклонного роста цен на водку, как некогда Леверрье просек существование Нептуна по отклонениям Урана от рассчитанной орбиты “) не нашлось места в мирке Гиенова, а значит, ничего этого просто нет, как нет и мушкетеров, прожигающих жизнь где-то в ирреальной стране.

А могло бы быть! Страшной тяжестью давит проклятое “бы”.

Гиенов и раньше смеялся редко, но сейчас разучился смеяться совсем, да и просто улыбаться. Некоторое время не мог спать по ночам, пока не придумал вот какую вещь: лежа в кровати, представлял, как садится в небольшой космический корабль, из сопла вырывается струя ослепительно-го пламени и: — в секунду рушится ненавистный куб — с высоты успеешь заметить, не куб, точка — через мгновение и сама Земля стягивается в неприметную точку — одинокий и свободный Гиенов уносится прочь — в просторы вселенной.

А дальше? А дальше, быть может, планетка, где интересно жить. Планетка не без роскошных любвеобильных женщин и не без сигарообразных авто, доступных, конечно, не всякому, но Гиенову и его честным и отважным друзьям обязательно.

Что делать? Гиенов — не Томас Мор, не Кампанелла и не Карл Маркс. У него своя, личная утопия — планетка, где не нужно выть от скуки и одиночества.

Эти фантазии успокаивали, и тогда удавалось заснуть.

... В конце февраля потеплело, снег стал таять и однажды, по дороге домой, Гиенов промочил ноги и простудился. На следующее утро врач написал ему бюллетень на трое суток; вернувшись из поликлиники, Гиенов поставил чайник и прилег на кушетку.

В этот момент позвонили в дверь.

— Странно, — подумал Гиенов, вновь влезая в тапочки, — жена на работе, Нина в садике... Кто?..

Отперев, он увидел на пороге двух мужчин в одинаковых серых комбинезонах со множеством карманов, молний и клепок. За их спинами вид-

нелось нечто, упакованное в оберточную бумагу и обмотанное бичевкой, очертаниями и габаритами напоминавшее ванную.

— Гражданин Гиенов? — обратился официально один из них, причем произнес вместо “е” — “э”, что придало его словам смешной грузинский акцент, хотя этот человек вовсе не похож был ни на грузина. Не похоже было и на то, что он намерен попотчевать Гиенова грузинским анекдотцем, имитируя для этого акцент.

Гиенов растерянно кивнул головой.

— Тогда распишитесь. Вот здесь, — и Гиенову протянули какую-то синюю бумажку с печатями.

— А, собственно, в чем?..

— В получении, дарогой, в получении. Черт бы побрал их, — продолжал неизвестный, явно осерчав на кого-то, — посылают в такую даль. Спасибо, не пятый этаж. Ну, расписывайтесь.

— Я все-таки не понимаю...

— Послушайте, — вмешался ранее молчавший напарник. Говорил он без акцента, но что-то слишком уж медленно, как бы подбирая слова, хотя слова были самыми обыкновенными.

— Вы...ээ...Гиенов, правильно?

— Гиенов, — подтвердил Гиенов.

— Мечтаете покинуть... ээ... Землю? Звездный... ээ... скиталец?

— А твое какое... — было возмущился Гиенов — и осекся. Вспомнил: так же вот, в метро тогда, пристал вроде бы сумасшедший, ахиною нес... Но откуда известно им, что...

— Да что ты ему втолковываешь? — закричал первый. — Распишется как милэнкий. Знает он прэкрасно, что будет, когда нэ распишэшься.

— Подожди, — перебил второй, очевидно, человек рассудительный и куда менее вспыльчивый, — откуда ему знать? Ему...ээ... знать этого и не нужно. Так вот, гражданин...ээ...Гиенов. Некая могущественная организация решила...ээ...оказать помощь... пойти навстречу. Нам поручено... доставить космический корабль — модель, правда, не из... ээ... последних, но... чрезвычайно надежная. С кораблями же...ээ... вы понимаете, корабль не игрушка, необходим учет... учет строжайший. Пожалуйста, распишитесь, и счастливого вам пути.

И вновь синяя бумажка оказалась у лица Гиенова. Перед глазами запрыгали графы: управление охранения... директор управления...д-служба... начальник службы...а, вот: подпись получателя — и Гиенов размашисто расписался нивесть откуда взявшимся в руке карандашом.

Посланники таинственного Управления помогли втащить бесценный дар в квартиру и исчезли.

... как себе представлял многократно: вырвалось из сопла ослепительное пламя и рушился в секунды ненавистный куб и через мгновение точ-

кой обернулась Земля — одинокий, свободный Гиенов мчится в просторах Вселенной.

... Покинув здание космопорта, Гиенов очутился в тенистой аллее. Он шел, вдыхая сладкий воздух свободы.

Аллея вывела его к мышиного цвета пятиэтажной постройке. Пораженный Гиенов замер. И на Земле он жил точно в такой же!

Показалось: дом молча и презрительно разглядывает Гиенова всеми своими глазами-окнами.

А потом дом заговорил — и как еще заговорил! Распахнулась с треском форточка и истерический женский вопль сотряс воздух. Вопили очень знакомо: меня до сих пор мужики . . . и деньги плотят!!

... и выскочил из подъезда начальник цеха Сидоров и принялся сжимать и душить Гиенова в крепчайших объятиях.

— Гиенов, чертяка! И ты к нам! Заждались, брат! Не чаяли! Оля-то с дочкой — для них-то радость какая! Пойдем, брат, скорее, врежем по рюкзаке — дорожка-то была дальней!

* * *

...О Первой Любви разговор уже состоялся. Не умолчу и о своей Первой Женщине. Как можно!

... Родом с Востока, она и имя носила соответствующее, но предпочитала склонять его на русский лад, называя себя Мариной. Будем называть ее так и мы. Стало быть, Марина... С годами внешность ее стерлась из моей памяти. Ну, что: носила очки и черные волосы. Волосы густые ли, нет; длинные ли, короткие — не вспомню. Глаза — тоже вроде бы черные и не особенно узкие, но узковатые — Азия-таки проступала. Гордилась своими ногами — это запомнилось, сами ноги — нет. Грудь имела не женскую. Вот и все.

Внутренними же качествами походила на героинь французского сочинителя детективов Себастиана Жапризо: умственное развитие, вставшее на отметке около десяти лет; вспыльчивая, резкая и наивная; похотливая, нельзя сказать чтобы очень уж, но в отношении “трахнуться” (ее любимое словечко) всегда не прочь, и о чем не заведет разговор, обязательно в итоге все сведется к тому, кто, кого, где и когда трахнул или хотел трахнуть; лично она, Марина, вождеденная цель для всякого . . . ; по ее глубочайшему убеждению, ее жаждал трахнуть любой — было бы, как говорится, чем; в музее при виде нагой скульптуры она хихикала и шептала на ухо спутнику непристойности — в ее устах, впрочем, таковыми не казавшиеся. Вообще, старик Сигизмунд не нарадовался бы на нее — просто живое воплощение его теорий, отличное учебное пособие, ходячий справочник.

Вскоре после поступления в наш институт (как удалось ей это?) Марина поругалась с родителями, и те сняли ей комнату в доме близь Курского вокзала. За комнату платили, но больше не давали ей ни копейки. На что

она жила, непонятно.

А познакомил меня с ней, конечно, Длинный.

Однажды нам негде было выпить, он вспомнил про свою подружку на Курском, и мы поехали к ней. Там, действительно, выпили без помех и как следует (сама хозяйка лишь символически плеснула себе на доньшко стакана), я опьянел порядочно, и когда Длинный отправился в сортир, вдруг игриво подмигнул Марине и предложил пока что наставить ему рогов.

— Это как же? — удивилась Марина.

— Хотя бы поцелуемся давай.

Целовались, покуда в коридоре не послышалось шарканье ботинок — и тогда в смущении отпрянули друг от друга. Не замедливший появиться Длинный окинул нас, как мне показалось, поощрительным взглядом и вытащил из сумки очередную бутылку. Он давно подозревал, что я — девственник и готов был с легкостью, как сигаретой, поделиться Мариной, с легкостью же ему и доставшейся — чтобы сделать меня, наконец, мужчиной. Да, оказать эту небольшую дружескую услугу.

Но в тот раз не вышло. А все же, дельце выгорело, не прошло и нескольких дней.

... Я заявился к Марине из магического столешникова пятиугольника, изрядно надюдюренный и весь огонь и пламя от расправшей меня... страсти?.. похоти?

Ворвавшись в квартиру, я бросился к выключателю, вырубил лампочку, обнял Марину, и тут, внезапно почувствовав потребность что-то сказать, немного поразмыслил и рывкнул: “Сними с себя все”.

Тотчас же на меня навалились миллионы и миллиарды самцов, давно обратившихся в пыль, но в оное время попользовавшихся именно этой фразой, подмяли под себя и принялись тузить, приговаривая: нечестно! не смей! не твое! наше! наше!

Известное дело, чего ни скажешь, ни подумаешь — все уже было, и ничто не ново под луной. Но почему-то как раз при общении с женщиной (и не обязательно в интимные минуты) этот детерминизм особенно угнетает.

Марина же, надо полагать, потупившись (в темноте было не разобрать), прошептала: “Тогда и вы разденьтесь... сеньор...”

Малоуместный (а потому нестандартный!) в этот век и в этой части света “сеньор” несколько меня взбудрил, и я отважно скинул штаны, пиджак и рубашку (в такой последовательности), оставшись в одних трусах. Краем уха я все же слышал возмущенное улюлюканье задетых мариниными словами покойниц, и настороженное сопение обиженных мною жмуриков — и решил по-возможности молчать, а если и придется говорить — до крайности лаконично.

Марина, особенно не спеша, стянула через голову платье. Мне ничего другого не осталось, как снять с себя трусы, после чего, к собственно-

му изумлению, на миг ощутил я себя в кабинете хирурга на медосмотре. Отогнав идиотскую иллюзию, я вспотевшими пальцами окончательно оголил доставшееся мне сокровище — и затем мы плюхнулись на матрас, очень ненадежно опиравшийся на несколько книжных столбиков (учебники из библиотеки) и заменявший неприхотливому существу кровать.

А затем я попробовал этим существом овладеть — но в самый ответственный момент шаткие опоры рухнули и мы вместе с ними. Пришлось вставать, наводить порядок, а когда улеглись снова, обнаружилось, что... пыл угас во мне, к большой общей досаде и моему стыду.

Пушкой я практик был никудышный, но теоретик блестящий (точь в точь Бухарчик, любимец партии) — читывал некогда полупорнографические-полуавантюрные книжонки на английском; знал, что советует теория в этом случае, но Марина с негодованием (вот она, наша сексуальная отсталость и серость, необразованность, наконец!) отвергла это верное средство.

Но воля и труд все перетрут, и в конце концов чего хотел, я достиг — пройдя через боль и отвращение ко всему, пустил попасть в недра ее гостеприимного лона стада отощавших и изголодавшихся сперматозоидов.

И в самый момент оргазма не удалось мне забыться целиком; некая, самая важная часть меня привычно бодрствовала — перво-наперво самодовольно констатировав свою недреманность, а после со вкусом вслушиваясь в мое учащенное дыхание и щенячьи маринины повизгивания.

Такова наша писательская планида. Весьма горькая.

Ну-с, дальше. Из своего опыта я вынес то убеждение, что во всем этом больше, пожалуй, грязи, чем чего другого. Так покарала меня Венера за это противоестественное соитие с нелюбимым созданием. А что же любимое? Утешал я себя, что ему на меня наплевать; и потом: писателю ведь нужно все изведать.

Да, и продолжал эксперименты. Понаведался к Марине еще и еще (а если только сначала так гадко) и вроде бы и действительно начинал входить во вкус, но уезжал всегда, будто выбравшись из болота. И Длинный не забывал старушку. Образовался устойчивый треугольник (быть может, многоугольник с неизвестными нам вершинами). Никаких между нами трений по этому поводу не возникло. А как-то мы с Длинным пересеклись в камерке на Курском, оба основательно налимоненные (для красоты допустим, что и взаправду лимонной водкой) и в пьяном кураже ошеломили Марину известием о якобы вышедшем за подписью Леонида Ильича декрете “о нормализации половых отношений в государстве”: в стране, де, свершилась сексуальная революция, а посему всякой гражданке, вступившей в пору зрелости, вменяется в обязанность делить ложе как минимум с двумя гражданами, при этом, однако, число сожителей не должно превышать пяти. Посмеялась Марина необыкновенному нашему остроумию

(наивность ее простералась столь далеко, что она вполне могла принять всю эту чепуху за чистую монету) и пустила сразу обоих к себе под одеяло. Там, в ужасной тесноте, мы предались унылому коллективному разврату, точнее, попытались... тянешься к Марине, а все натыкаешься на Длинного, уже оккупировавшего какой-нибудь форт в неприятельском стане... Вскоре всем стало противно, Марина обиделась и прогнала нас. Сходили на кухню, покурили — и я отправился каяться. Длинный же пока прилег в противоположном углу — на простыне или там скатерти.

— Один? — с подозрением спросила Марина. Убедившись, что один, подвинулась, освобождая место рядом. Я пришел к ней, можно сказать, с открытым забралом, доверчивый мирносец и коварная баба, застав меня в совершенный расплах, мстительно обработала вручную — да так споро и скоро, что я и ахнуть не успел.

Таким же макаром, в свой черед, надругалась она и над Длинным.

Черт знает, чем бы все это кончилось, но вот однажды Длинный неосторожно отвез на Курский нашего приятеля по прозвищу Сторож. Делится пополам, вероятно, думал он, и на три как-нибудь разделится. Но здесь вышла закавыка. Отведав Марины, Сторож (человек не без странностей) объявил на нее монополию: на том, дескать, основании, что он ее, Марину, полюбил. И не стало житья на Курском — когда ни приди, Сторож уже сидит, а нет, так тут же и нагрянет, с букетом роз, тверезый или нет, но непременно начнет швырять малочисленные кастрюли, бегать по комнате с кухонным ножом и кричать, что сейчас всех, начиная с себя, порежет... Последовательный в своем безумии, он на ней даже женился. Хотя развод и не заставил себя ждать...

... Ах, Марина, Марина... как и мы все, и больше, чем многие из нас, она достойна жалости; смеяться же над ней — смеяться над собой. Пусть так. Ибо право на жалость и право жалеть еще нужно заслужить. И начавший со смеха над людьми рискует помереть от смеха — от смеха над самим собой.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 2.

ВАРИАЦИИ НА СТАРУЮ ТЕМУ

Девочка идет по лесу, беззаботно напевает и в такт размахивает корзинкой. В корзинке — пирожки для бабушки, накрытые сверху красной шапочкой. Шапочку девочка сняла, потому что ей нравится, как ветерок обвеивает ее золотистые волосы. Пробиваясь сквозь ветки, светит солнце и отражаясь от листьев с травой, наполняет воздух сказочным изумрудным сиянием. Там и сям купаются и пляшут в этом сиянии разномастные бабочки волшебными переменчивыми узорами в воздушном ковре.

Все хорошо и даже слишком хорошо — поэтому-то выходит навстречу девочке (чуть было не обмолвился: из-за угла — что значит жить в горо-

де!) — Серый Волк. Неужоженный какой-то он был, растрепанный и серый скорей от грязи — и ничуть не страшный. Девочка и не испугалась его ничуть. Некоторое время они в молчании друг на друга смотрели.

— Далеко ли путь держите? — наконец вежливо спросил Волк.

— К бабушке, — отвечала девочка.

— Как? — встрепенулся Волк. — Позвольте, позвольте... К бабушке... хм... если к бабушке, тогда где же ваша красная шапочка?

— Шапочка в корзинке, — удивилась девочка волчьей пронизательности. — Только маме не говорите, пожалуйста, она снимать не велела.

— Маму нужно слушать... Да уж ладно, не скажу. Стало быть, вы — Красная Шапочка. Давненько же я вас поджидаю. Как все странно получилось... Знаете, я уже отчаялся... дай, думаю, схожу посмотрю — последний раз... И вдруг — вы! Судьба! Давайте-ка присядем, сюда вот, на травку. Тут у меня неподалеку припрятана бутылочка доброго винца — из погребов самого Синей Бороды. Предлагаю распить ее за встречу. И только потом приступим к главному.

— Я вина не пью, — сказала Красная Шапочка, — и вам не советую. Кто пьет вино, у того сначала нос краснеет, потом глаза, а когда весь делается красный, то его забирают черти и жарят на костре — совершенно точно, мама мне рассказывала. И к чему это собрались вы потом приступить?

— Как к чему? — Волк в недоумении развел передние лапы. — Не надо издеваться над пожилым хищником. Будто вам и невдомек: ваше, Красных Шапочек, дело — бродить по Лесу, а наше, лесных санитаров — вас есть.

— А вы, оказывается, шутник, — посмеялась Красная Шапочка, — с вами весело, но мне пора идти. Бабушка заждалась.

И с этими словами попыталась обойти Волка, но он суетливым прыжком вновь преградил ей дорогу.

— Пойдите! — с тоскою воскликнул Волк. — Нельзя вам уходить. Я должен вас съесть, так надо. И ничего в этом плохого нет. Обычная история, в порядке вещей. Куда же вы? У меня упадок сил, и я теперь не тот, что раньше — ужели вы воспользуетесь этим? Или же смущает вас моя прямота? Хотя что может быть лучше откровенности... и доверия... взаимного... Стойте же. Если голая истина не по душе вам, пожалуйста... воспользуемся иным языком — иносказаний. Прибегнем, если потребуется, к эзоповым речам.

Опять посмеялась Красная Шапочка, и сострила: Господин Волк, а вы, случайно, не Бешеный? Ну что за чушь вы здесь городите? Иносказания какие-то...

Волк обиделся.

— Напрасно вы оскорбляете. Я, хоть и стар, а из ума все же пока еще не выжил. Никакого почтения к сединам в нынешней молодежи — оттого-то

весь мир и трещит по швам. А иносказания вот какие: словосочетание “я тебя съем” коробит ваш слух. Попробуем по-другому, к примеру — “пожалей меня, моя милая, успокой меня, моя нежная, утешь меня, моя прелесть”... Так подойдет?

Но ответа Волк не дождался — Красная Шапочка, оказывается, пока он вещал, потихоньку его обогнула и припустилась во всю прыть — только он ее и видел.

— Эй! — закричал он ей вслед. — Дура! Куда! Не я, так другой, какая разница!

Но девочка не услышала его — бежала и бежала, а ветки хлестали ее по лицу, хватали за руки и за ноги; долго бежала — но вот споткнулась о предательский корень, упала — а придя в себя, сразу же увидела Второго Волка.

Второй Волк, стоящий в двух шагах, шерстку имел гладкую и прилизанную и был по-своему очень мил и, опять-таки, совершенно с виду не опасен.

— Маленькая девочка, здравствуй... — музыкально подвывая, заговорил он. — Не ушиблась ли ты? Не поранилась? Нет? Ну, и славно. Ты меня не бойся, я зла тебе не причиню. Они все говорят, мол, волки, волки... мы, де... какое, однако, еще и слово гадкое выдумали... Что мы будто бы Шапочек Красных... Маленькая девочка, должен сказать тебе со всей ответственностью: чушь! чушь собачья! Клевета и наглая ложь! Гнусная фальсификация. По моему глубокому убеждению, мы, волки, рождены для песен. Послушай-ка, какие чудные строки сегодня только родились в сердце: Зачем я живу, и что не умру, упав по утру в сырую траву... Плохо разве сказано?

— Почему же, господин Волк, — неуверенно вымолвила Красная Шапочка. Второй Волк казался ей гораздо симпатичнее Первого.

— И все-таки, — подумала она, — странные какие-то песни.

— Тебе понравилось? Я рад безумно. Но не называй меня “господин”. Мне было бы много приятней услышать из уст твоих “товарищ”, еще лучше “брат”. Ну, пожалуйста, ну что тебе стоит... “товарищ Волк”, а совсем было бы прелестно — “Одинокий Менестрель. “Ибо действительно, я очень одинок. Некому даже и погладить меня. Что ж, я не плачу, хотя Бог один ведает, чего стоит мне моя сдержанность... (Волк подозрительно зашмыгал носом) А ведь, в сущности, это и все, что нужно Одинокому Певцу. Чтобы однажды пришла маленькая девочка, погладила его и попросила спеть...

Волк казался столь убедительным, что Красная Шапочка протянула было руку — но внезапно Одинокий Менестрель так страшно лязгнул зубами, что этот зловещий звук, эхом пронесясь по всему лесу, мигом пошибал с веток перепуганных птиц.

— Съест, — поняла Красная Шапочка, не имея сил бороться, — съест,

проклятый. Все они, волки, одинаковы...

— А будто бы вы, шапочки, разные, — словно прочитав ее мысли, ощерился Волк. И неотвратно разинул пасть. Рекламным блеском сверкнули ухоженные клыки, спасения не было... но тут затрещали сучья и случилось чудо — появился из чащи, и очень своевременно, Странствующий Рыцарь: в шлеме, закованный в броню, с веским мечом в руке.

— Оставь девочку, — прикрикнул он.

— Р-р-р-р, — раздраженно огрызнулся Волк.

— Что такое? — удивился Рыцарь. — Ты смотри у меня, как бы не помереть тебе в сырой траве прямо сейчас, не дождавшись утра. Пошла вон, вонючая псина, — и играючи, единым махом, Рыцарь срубил подвернувшуюся под горячую руку березку.

Поджав хвост и уши, Волк вынужден был, несолоно хлебавши, убраться восвояси, со всей доступной скоростью. А девочка заплакала, и сквозь слезы благодарила Рыцаря: “Сударь, я вам обязана жизнью... я...”

— Ерунда, — остановил он ее, — я просто выполнял долг. И любой на моем бы месте поступил бы так же. Пустяки. Теперь я провожу вас к бабушке — в Лесу, как вы поняли, небезопасно, пошаливают эти шелудивые псы... они храбры лишь со слабыми, беззащитными креатурами, вот как вы, но при встрече с настоящим мужчиной сразу ретируются в кусты. Итак, прошу вас следовать за мной.

С радостью подчинилась Красная Шапочка, но постепенно, по мере углубления в Лес, ее вновь начало охватывать беспокойство.

Во-первых, Рыцарь шел странно-заплетающейся походкой, то и дело склоняя корпус тела едва не до прямого угла; во-вторых, как-то незаметно они сбились с пути: разве эта тропинка ведет к бабушке?

— А мы правильно идем? — наконец не выдержав, обратилась Шапочка к Рыцарю.

— Я знаю этот Лес, — не оборачиваясь, отвечал он, — и выбрал дорогу напрямик. Следует торопиться — солнце заходит...

И вдруг Рыцарь сильнее обыкновенного накрепился и ловко уперся руками в землю. Забрало открылось и Красная Шапочка с ужасом увидела... что же? да-да-да! еще бы! ну, разумеется! — уже отлично ей знакомый волчий оскал.

Умело запущенные позже слухи, что Охотники подросли в должную пору, не соответствуют действительности.

* * *

... Не я один занимался, с позволения сказать, творчеством. В нашей компании водились всякие.

Был там и художник, похожий на повзрослевшего мальчика с картины Пинтуриккио. О качестве работ нашего художника судить не берусь, поскольку плохо разбираюсь в живописи, могу разве с уверенностью сказать, что светлого в них мало, что и неудивительно. Какое время, такие и песни.

Между прочим, вспоминается мне довольно своеобразный комплимент: как жаль, что вы — не прекрасная женщина — однажды подаренный мне художником после продолжительной дискуссии за кружкой пива; дискуссией, затрагивающей некоторые аспекты творчества и бытия; художник пиво уважал и даже создал целый цикл под общим названием “Московские пивные”. Где-то там, на одном из этих полотен, среди прочих уродов и уродиц, изображать которых художник никогда не уставал, запечатлен и я, или, быть может, самая гадкая часть моего “я”.

И поэт имелся у нас, по имени Володя. Его стихи, кстати, я собираюсь использовать в романе, над которым работаю (естественно, заручившись согласием автора). Поэт любил разнообразить серые будни какой-нибудь экстравагантностью. Помнится, пили мы это с ним как-то в одном пустынном садике; неясно зачем, безо всякой причины и безо всякого предупреждения, Володя вскарабкался на дерево (с неожиданным при его полноте проворством), выбрал ветку потолще, уселся на нее и давай крыть по матушке; ругался же довольно длительно, изобретательно и со вкусом, пока за заборчиком не появился спешивший по своим делам милиционер. Поэт заметил его не вдруг, и витиеватая брань достигла ушей блюстителя порядка. Тот притормозил, огляделся сначала по сторонам, ничего подозрительного не обнаружил, и тогда устремил взгляд свой ввысь — и увидел сидящего на ветке тучного мужчину в костюме и в галстухе; а слышать-то его он все время слышал. Порядки во вселенной грубо были попораны, на милиционера просто столбняк напал. Тут и Вова его приметил, отпустил по инерции фразу-другую и тоже замер. Так, в неподвижности и молчании, созерцали друг друга противоположности, антимиры. Первым выйдя из оцепенения, Володя удивительным плодом сорвался на землю, вскочил и скрылся в неизвестном направлении...

Подобные проказы не мешали, однако, сочинять ему стихи и в огромных количествах поглощать книги. Воспринимали его все-таки несерьезно, частенько в насмешку как бы, к месту или нет, цитировали строчки из его стихов — никак не могли поверить, что нечто стоящее и настоящее вклинилось в нашу мерзкую жизнь.

Сейчас стало понятно, что Володе удалось не только заключить эту жизнь в свое творчество, но и подняться над ней.

* * *

Из сожженных рассказов. Сборник 2.

ЗАПИСКИ НЕВРАСТЕНИКА

... Не знаю я, коснется ль благодать моей души болезненно-греховной, удастся ль ей воскреснуть и восстать, пройдет ли обморок духовный ...

... Чем дальше в лес, тем больше дров. Не жизнь, а цитата из Шопенгауэра...

... Кафка и Достоевский...

... И третий год мучительно загнивает зуб и к врачу идти страшно, а помогает только чеснок, и за версту воняет чесноком, какая жуткая история...

... А родственные души... Не понимаю, говорит, что это нас до сих пор вместе держит... разве что поразительное неумение жить, и все норовим не себя к обществу, а общество к себе приспособить, мы хотели, может, на него плевать, а оно-то и в самом деле плюет на нас, точнее, поплеывает... ага, отвечаю, точно, оно всякого переплюнет, коллектив — куда же, думаю себе, ты клонишь... так стоит ли, он поясняет, протягивать руки друг дружке, из-за того лишь, что случилось тонуть в одной луже — того гляди, быстрее пойдешь ко дну... а-а! — догадался — ты, значит, выплыть, философ, хочешь! да нет, — улыбается, — где уж мне... плавать не обучен... но пузыри не прочь подольше попускать... — ну-ну, давай, пускай... а то и поплывешь вдруг... по-собачьему...

... и с тем расстались...

... а ведь клялись когда-то на горах воробьевых спозаранок...

... и друг последний, друг единственный...

... отправились пивка попить и я открылся: де, шизофреник с эпилептиком на пару, они снова взяли меня в оборот, видать, мне нет от них избавления... и мучат, терзают душу, набросились как стервятники на прометееву печень...

... отхлебнул... и... не торопись...

... рискованные параллели, браток! ты погоди в Прометеи лезть... там все-таки огонь священный, а у тебя потолок — сырок спереть плавленный в магазине... и не душу терзать, а снять штаны и выдрать хорошенько! вот славная панацея... тоже мне... Мировая Совесть, Мировая Скорбь. Вселенская гнида!? Да полно!.. Куда!.. Аскарида с астероида нумер... следует многозначная цифра...

Все эти песни, говорит, наизусть знает... Как там, бишь?..

...of cypress, I roamed with my Soul — of cypress, with Psyche, my Soul. There were days when my heart was volcanic, as the scorias rivers that roll — as the lavas that restlessly roll...

Звучало жутко среди пьяных морд.

Пил с чистой совестью. Выпьет и сейчас перышком скрипеть. Чтобы Мировой Скорби, насосавшись пива, было о чем скорбеть лет через сто пятьдесят.

Странно ли, что мерещатся превращения во всяких гадов. Имело место, имело давно, и, разумеется — в трутня.

... Одно дело — когда сам себя мучаешь, другое дело... ах, совсем другое дело!.. Захрипел я, понес чепуху.

... Тебе удобнее делать меня червяком, потому что ты сам червяк! А я же — одновременно творец и обитатель множества миров. Бог даст сил, и в них вложу я душу, и расскажу людям.

... Кому нужны твои дерьмовые миры... И Бога ты, пожалуйста, оставь. Оставьте. Оставьте-с!

... Не тебе судить! Не тебе!

... Тютчев хренов: нам не дано предугадать... иногда очень даже и дано, неврастеник ты и дурак бесхребетный...

... Прав. Не кровь ли виной всему? Холопов и плебеев. Купчишка третьей гильдии...

... Сволочь! Злая и глупая сволочь. Глупостью прет от тебя.

... Ничего-с. Все лучше, чем чесноком.

Дешевка!

... А вот... ну да, ну да. О женщинах. Господа! Поговорим о бабах. Рядовой Сидоров! О чем вы думаете, глядя на этот кирпич? О бабах, товарищ старшина. Почему, Сидоров? Потому, осмелюсь доложить, всегда я об них думаю, товарищ старшина.

А попадались тупые и вредные создания. Хотя коня, может, и остановят на скаку и в избу горящую войдут, но все равно так себе особы...

... Завидуешь, жирный? Им не в бирюльки играть — детей рожать. Они Вечность и так за руку держат...

Прекрасная же Дама, как известно, находится за морем, и не придет никогда, поскольку не ездит на пароходе. Пускай! Там за морем ей и место.

... Один. Вы узнаете, каково одиночество... Тьфу! Дрянь! Торговля одиночеством оптом и в розницу. Фирма солидная и гарантирует чистое, неподдельное одиночество...

... Сочинять? Но как можно, не веря, что кому-нибудь нужно.

Открываются, знаете, дверь, врываются Белинский с Некрасовым, хлопают по плечам, заходятся в радостных слезах и смехе: голубчик! вы сами не понимаете, каких делов наделали! Второй Гоголь родился.

Нет, не заходят что-то. С другой стороны, оно и лучше. Кому приятно лишний раз услышать из авторитетных уст, что даром своим не уступаю даже и Парпаре. Да-с, дорогой товарищ Парпара, за номером леодор и один, поздравляем с появлением на свет...

Впрочем, откуда им и взяться, неистовым Виссариянам? Которых в расхорду пустили, которые сами на себя петельку накинули... которые в дальние страны подались, за море, что ли... в широких шляпах, длинных пиджаках, с тетрадами своих стихотворений, давным-давно рассыпались вы в прах, как ветки облетевшие сирени. Так-то вот.

Прекрасная Дама наверняка бы сказала: ты пишешь плохо, но честно, стремясь выразить все... твой дар убог, сказала бы она, и голос твой не громок, но не сдавайся, и как нашел ты друга в поколеньи, найдешь читателя в потомстве... придут силы, получится настоящее...

Эх! скажи она так, может, чего и вышло бы!

Но Прекрасная Дама — всегда за морем, а мало кому удавалось попасть в те края. Чаще же всего бывает так: кажется, что вот она — рукой по-

дать — где-нибудь в Мытищах, в каком-нибудь Переславль-Залесском или Свиблове — а потом глянешь внимательней — нет, все-таки за морем!

Друзья же-товарищи, однополчане... Молчи, усталое сердце!

Незаметно пришла... подошла?... подступила?... настала осень.

Кому ты нужен со своими дерьмовыми мирами?

И дни сменяли дни. Безразличное время тащило из дня вчерашнего — в день сегодняшний, из сегодняшнего — в завтрашний.

... Что день, то короче к могиле наш путь ...

... А вот и идея, на три с минусом, ха-ха!

В пустую бутылку из под пива залетела муха. Жужжит, тыкаясь в стекло — хочет на волю, не в силах вырваться из западни.

Одинокий человек... одинокий настолько, что в пору возомнить о себе, как о центре мироздания... вернувшись однажды домой в постылую комнату, находит попавшего в бутылку узника. Насекомое рождает естественные ассоциации.

Заведу-ка я муху. У других — собаки и кошки, а у меня будет муха. Пусть живет и зовется... ну, Жучкой.

Видишь, какие дела, Жучка. У нас с тобой схожие судьбы. Я тоже сам себя загнал в бутылку. Но тебе-то грех жаловаться. Тесновато, правда, зато тепло. А что свобода? Холод, голод, пауки-потрошители. Кто бы спорил, сдохнуть упоительно израненному в битве, при этом поучая подвернувшегося кстати ужа — я, дескать, видел-то небо... но гибнуть, увязнув в липкой паутине, вздрагивающей под мохнатыми лапками спешащего к жертве злодея — еще невидимого, но неизбежного — зачем нам такая свобода, Жучка.

Жучка откликнулась солидным, вполне шмелиным, гудением.

... Кормил сахарным сиропчиком...

... Хотел подыскать друга или подругу, а чтобы выяснить, кого именно, все собирался раздобыть увеличительное стекло и какую-нибудь книжку про мух.

Подумывал о конструкции поводка, чтобы прогуливать Жучку...

... С каждой рюмкой проникался к себе жалостью. Да, да, так! Кто-то давным-давно взял и подрезал тебе крылушки — а ты все пытаешься взлететь. Или сам себе пообломал. А крылья — не хвост у ящерицы — не вырастут снова.

... Еще выпил... и понял: бескрыл от рождения. Понял и то, что всегда знал об этом и лишь притворялся, ломал комедь... Зачем? И перед кем?

И еще выпил, и еще... нехорошо получается, Жучка... Я, царь земли, прирос к земле... а ты, аки сокол... нехорошо... ну, ничего, мы это дело скомпенсируем...

И он собственноручно обрывает крылья беззащитному насекомому.

А утром лежал в темноте: экий гадостный сон! — Но Жучка молчала.

... Да, примерно так. Что-нибудь в этом роде...

Я не Лермонтов, не Пушкин, я — блатной поэт Кукушкин.

Парпара сжигает десятый том поэмы “Пионерская зорька”. Кукушкин сжигает свой ненаписанный рассказ “Жучка”.

Умрешь со смеху, правда?

(Прим. авт. — довольно пространное: упомянутый выше Парпара, Анатолий — лицо, реально существующее, представитель обширного клана фальшивопоэтчиков. Бог весть, зачем топчут они землю, отравляют бумагу своей рифмованной тухлятиной и даже ведут презабавные дневники, типа:

— Такого-то числа. Встал рано, побрился и напился кофию. До обеда читал Данта. Местами совсем неплохо. Но недурно бы изучить итальянский, дабы насладиться им в подлиннике. Обедал без аппетита, это оттого, что много работаю. До глубокой ночи трудился над поэмой. Другого числа. Проснулся на заре, и лежа в кровати, думал о величии необъятной нашей Родины и силе духа великого нашего народа. Родились строчки: О, как велика ты, моя Держава! О, как велик ты, мой народ. После обеда и до поздней ночи читал Иогана Вольфганга. Глубок местами. Но хорошо бы изучить немецкий, дабы насладиться им в подлиннике. Ночью терзали родившиеся утром строки, не позволяя уснуть. Быть может, лучше так: О ты, великая Держава! О ты, великий мой народ! Следующего дня. Думал за завтраком о величии могучего нашего и родного языка. После же завтрака приступил к изучению немецкого: какой все-таки грубый, корявый язык! Дошел до середины буква А. — и т.д. и т.п.

Да-с! Одно время я даже собирался взять в качестве эпиграфа к роману вот какую строчку из Парпапы, великолепно венчающую очередную его нелепицу: *Ужель над сердцами строкой не прольюсь!* — до того по душе пришлось мне наглая прущая воинственная нахрапистая бездарность фальшивопоэтчика, с которым у нас примерно равные шансы по части проливаний над сердцами. Собирался, но так и не собрался: слишком много отыскалось цитаток, достойно украсивших бы первую страницу — и не парпариных, а забирай куда выше. Чересчур их набралось, и потому пришлось от эпиграфа и вовсе отказаться. Но приведу здесь несколько образчиков, чтобы труд не пропадал даром:

1.

Писатель: Я писатель.

Читатель: А по-моему, ты говно.

2.

Тому, кто при жизни не в силах справиться с жизнью, одна рука нужна, чтобы отбиваться от отчаянья, порожденного собственной судьбой, — что удастся ему плохо, — другой же рукой он может записывать то, что видит под руинами, ибо он видит иначе и больше, чем окружающие: он ведь мертвый при жизни и все-же живой после катастрофы. Если только для борьбы с отчаяньем ему нужны не обе руки и не больше, чем он имеет.

3.

Взгляните на несчастное создание, которое находится перед вами. Это Точка — существо, подобное нам, но обреченное на вечное пребывание в пучине Нулевой Размерности. Для нее в ней самой заключен свой мир, своя Вселенная. Она не в силах представить себе никого, кроме себя. Она не ведаёт ни длины, ни ширины, ни высоты, ибо эти понятия чужды всему, с чем ей когда-либо приходилось сталкиваться. Эта Точка не имеет ни малейшего представления ни о числе два, ни о том, что такое — много. Она сама воплощает для себя Единичное и Общее, будучи в действительности Ничем.

4.

— Прозу? — встрепенулся, услышав это слово, мистер Скоуган. — Вы пишете прозу?

— Да.

— Не роман ли?

— Да.

— Бедняга Дэнис! — воскликнул мистер Скоуган. — О чем же? Дэнис почувствовал себя неудобно.

— О, просто о жизни.

— Ну да, ну да, о жизни — проворчал мистер Скоуган. — Я сейчас расскажу вам сюжет. Маленькому Перси — это главный герой — никогда не везло в спорте, но он с детства поразительно умный... Он заканчивает, как водится, частную школу и университет и переезжает в Лондон, где живет в среде художников. Его подавляет меланхолия, на своих плечах он несет всю тяжесть вселенной. Он пишет блестящий роман. Потом возникает тонкая любовная интрига, и, наконец, мы расстаемся с героем, уходящим в сияющее будущее.

Дэнис густо покраснел. Мистер Скоуган изложил план его романа с пугающей точностью. Он деланно рассмеялся.

— Вы глубоко ошибаетесь, — сказал он. — Мой роман нисколько на это не похож.

Это была героическая ложь. Хорошо еще, подумал он, что написал только три главы. Он порвет их сегодня же вечером.

Мистер Скоуган, не обращая внимания на его слова, продолжал:

— Почему это вы, молодежь, продолжаете писать о таких совершенно неинтересных вещах, как внутренняя жизнь молодых людей и художников? Профессиональным ученым, быть может, и интересно порой переключиться с религиозных представлений черных аборигенов Австралии на философские представления студента последнего курса. Но вряд ли можно ожидать, что нормального взрослого человека, вроде меня, очень взволнует рассказ о его духовных исканиях.

— Уф... До чего утомительная выдержка, прошу прощения. Конечно же, указывать, что чьего пера, не стану: проницательный и искушенный

читатель в миг разгрызет и этот пустой орешек.

* * *

Роман Никитин не принадлежал к числу моих хороших знакомых. Была у него своя компания, у меня — своя, и пересекались они редко. Но все же иногда пересекались; и друг дружку немного знали, при встречах в институте здоровались за руку или кивком головы.

Сойтись с ним ближе я не стремился — уж очень он был шумный, так и брызгал энергией; большой любитель сальных острот и скабресных анекдотов, принимал жизнь, как она есть — и не роптал, а наслаждался. Таких людей я всегда старался обходить стороной.

Пил Роман хотя и много, но на внешности его это не отражалось. Занятия плаваньем в отрочестве накопили в нем неисчерпаемые запасы здоровья, которое транжирил направо и налево, и все равно всегда выглядел на ять: высокого роста (длиннее Длинного), мускулистый, косая сажень в плечах, улыбчивый и белозубый, с короткой аккуратной стрижкой — короче, прекрасно, спортивно выглядел.

... В тот роковой день мне не хотелось выходить из дома; настроение паршивое, погода под стать: зима, вроде, кончилась, весна, однако, не началась — ветер, гололед, гнойное небо. Но минули уж две недели с начала очередного семестра, и пора было хотя бы съездить, узнать расписание.

От метро до института можно было добираться на автобусе — пара остановок — но я никуда не спешил, и пошел пешком.

В дороге меня неожиданно настигли мысли о смерти. Только что мусолил в голове житейскую ерунду: учеба там, расписание — и вдруг, на тебе, засвербило:

— все это так и будет, эти же здания, эти же асфальтированные дорожки, машины, невесть куда спешащие людишки — только тебя уж не будет здесь; не будет нигде; да, помру, ведь помру же, и зачем тогда все, я не хочу, не желаю, я не вынесу смерти, нет, нет, ни за что; а может случиться в любую минуту, в любую секунду: залезая в трамвай, сбывая щетину, прикуривая, на вздохе иль выдохе...

— Ах, я болен, болен,— томясь духом, думал я, — большие мысли, большие мысли!

И я ускорил шаги: быстрее, быстрее, в институте кого-то, а встретишь — сходим по пиво, и чуть отойдет.

И действительно, в институте мне повстречался Роман. Как всегда, он излучал жизнерадостность, тут же попотчевал соленым анекдотцем и сам же первый загоготал на весь этаж. С облегчением рассмеялся и я, почувствовав, что мрак рассеивается.

Тут кстати подвернулся и Длинный, и мы втроем отправились в близлежащую 20-копечную тошнилровку (не в “Тайвань”, поскольку денег было совсем мало, а в “Тайване” пиво было вдвое дороже). В тошнилровке поболтали о том и о сем; средства быстро иссякли. Перебрали общих зна-

комых — на предмет пополнить заимообразно казну: такой-то поперся с бабенкой в киношку, такой-то живет слишком далеко, такой-то неизвестно где пьет — сплошной непер!

— Но так же не бывает, — горячился Роман, — чтобы раз — и все. Уж если я начал пить, то должен непременно нарезатьась.

Длинный махнул рукой на это все и уехал домой. А Роман поднатужился и вспомнил, что у него работает в котельной один приятель, на Войковской, там рядом; а у него-то выпить всегда найдется.

Сели в метро, сошли на Войковской, отыскивали котельную и в ней — приятеля. Приятель и вправду не подкачал — выпить у него нашлось. Пили допоздна, братались, пили, орали песни, опять пили, опять братались, блевали и снова пили. Кажется, обещались с Романом бросить на . . . институт и с завтрашнего дня устроиться в котельную помощниками.

... Последнюю бутылку допивали вдвоем — котельщик полностью вырубился и похрапывал, распластавшись на цементном полу.

Рядом с Войковской ходила и электричка; Роману до дома удобнее было добираться на ней — сильно пьяные, в темноте и по гололеду, мы с трудом вползли на платформу. Вот и электричка подъехала. Попрошались (мне-то — в метро), Роман полез в тамбур и тут я, поддавшись мощному дружескому импульсу, переменял свои планы и решил проехать с Романом пару станций; занес ногу, двери с шипением закрылись, причем треть моей ноги осталась в тамбуре, а все остальное — на платформе. Я и испугаться не успел; подумал лишь — отвлеченно, со стороны — ну вот и все. Даже вырваться не пытался.

Сейчас поезд тронется, и мне — какюк.

А спас меня Роман. Просунул в зазор руку, напрягся — дверная пасть чуть разжалась и выпустила добычу. И вновь сомкнулась. Роман, я видел, махнул мне рукой, улыбнулся — мол, все хоккей! — и электричка со скрипом и скрежетом тронулась. Я медленно побрел к метро, ежась от запоздалого ужаса.

... В институте я появился через три дня и от первого же встречного узнал, что три дня назад Роман попал под электричку.

Глава шестая

я вижу ему не интересно дурак спасибо скажи что здесь вообще си-дишь нашел бы другого кого нет времени не лучшая моя придумка но как-то нужно было все это выплеснуть и как-то оформить пусть он почему бы и нет человек без лица так и есть без меня без лица ну его к черту нет его или да все равно есть вещи куда поважней похоже рождается монстр но это не странно при такой-то мамаше да и костлявая рыщет мешает она угнетает рассудок мой уставший рассудок лучится отчаяньем хотя она и далеко но мне ее слышно ну а с другой стороны все стало бы невыноси-

мым иначе отраднo нам ведать когда-то придет звать не надо в том и фокус не знал бы что рано иль поздно заглянет ко всем то позвал бы и сам а так-то зачем а все-таки плохо ужасно что вера в конец неизбежный мне нынче единственная в жизни опора я ненавижу кончаться эх где мое босоное детство ну как тут работать в таком настроении возможно ли статoшное ли дело необходимо спокойствие а где его взять ну если не сложилось и не умножилось а если и сложилось или умножилось то все не то не книга а сплошная истерика беснуюсь себе и беснуюсь при том же что в вакууме в пустоте мы сделаем вид что так де и надо мол замысел соль заключаются в этом вранье вранье писатель что бы когда не говорил и как бы не петушился не пишет для себя одного он пишет пленившись безумной надеждой обрести бессмертие и воскресить свое я в чужих душах вечно всегда чтоб блуждать из крепости в крепость воевать замок за замком а я видно смертен но все же могу помечтать кто же он мой читатель кто же никто но могу помечтать в ком буду жить после смерти ведь я не хочу в первом встречном ни в первом и ни во втором и ни в третьем да я привередлив весьма разборчив брезглив где-то сноб позором бы счел очутиться в мелкой капризной женской душонке даром что сам баба фетюк но нет не желаю ну а когда вдруг придется пускай хоть и вовсе безмозглая кокетка и сплетница даже блядь но чтоб непременно смазливая рвет меня от ученых кикимор а раньше а раньше давно при виде дурнушки зарывшейся в книжный мусор себя убеждающей в том это жизнь это истина а они там пусть кривляются шушукуются наслаждаются стервы пустые набитые похотью чучела пусть пусть да раньше когда-то мне делалось стыдно при виде дурнушки за себя за нее и за мир и за всех теперь меня рвет я терпеть не могу ненавижу кикимор вот что до женщин лучше не стоит или сошедшие с плакатов кукурыникс толстенные антисоветчики с сигарой в зубах в цилиндрах видит Бог не для них я старался правда недолго осталось советской власти похоже исчезнет она и значит антисоветчики канут с ней вместе зато интеллигенция наша и тамошняя пребудут во веки веков что с ней сделаешь возможно войду в моду меня откроют меня станут читать по-разному поперек наискось с конца с середины отыскивать смыслы и толковать о да посмотреть если в корень не все здесь лежит на поверхности налейте пожалуйста чаю а вы обратили внимание дно-то двойное почтеннейший глубже копайте тройное а вон тот кусочек милочка будьте любезны бедняга бродяга досталось ему на орехи ему не везло а что вы скажите касательно мистической сути в целом вещь безусловно сильная но нет уж увольте не марайте вы меня своими чистыми грязными лапами поддельными душами я не ваш не ваш я вижу тебя мой далекий брат сквозь толщу времен любезный читатель ты издерганный измученный избитый изнасилованный ты вцепившийся в книгу как в соломинку утопающий ты боящийся выйти на улицу себя заперший в убогой комнатухе заваленной бутылками и книгами ты идущий среди людей скро-

чившись втянув голову в плечи не смея глянуть по сторонам ведь всюду лишь злоба подлость похоть притворство и зависть измена глупость бессмыслица животные ты их убегаешь люди пугают тебя как и зачем с ними быть и если случайно увидишь улыбку или слезы шипишь негодяи ублюдки шушера муть уродство ржа ложь оставьте меня приветствую тебя залог моего бессмертия но довольно напрасных рефлексий прежде мне нужно окончить роман осталось не так уж и много только зря я ввязался в политику в публицистику не мое это дело поединок могильных червей с разложившимся трупом однако следует оплачивать долги ничего доберемся и до наших дней слууд пригодится как лакмус интеллигенция и правительство и дадим прогноз на будущее сомнительна синусоида змея уж очень рьяно взялась за себя пожирает с хвоста и пожрет полвека от силы лишь бы крови поменьше а в школьных учебниках строчки мы заплутали в те годы пропали многие зато теперь знаем куда не нужно сворачивать и чтим память усопших да чтите а сколько их кто сосчитает и погибших насильственной смертью и тех кто родился жил помер сам по себе но жизни не ведал и тех не сумевших родиться но здесь ясно напишется легко и то славно скучно единственно писать всем известные вещи устал что еще трюндель ну трюнделю крышка от мурло не уйти понятное дело полиция найдет обезображенный труп на площади восстания личность установят по студенческому во время обыска трюнделевской квартиры обнаружат кассету с записями террариума и неотправленное письмо к кристине представляющее собой неуклюжее переложение террариумских песенок в прозу справлюсь что я не знаю трюнделя госпожа бовари это густав а трюндель это я и морис понти граф и кристина все это я мурло же нет это вне это зло зло всяческое разлитое всюду и каких ни огромных размеров ужасное но всегда пошлое всегда тупое всегда прячется гадит трусливо оно безобразно чтобы ни хныкали неврастеники вполне реальное чтобы ни хрипели нищестанствующие подонки зло порой в одеждах величия и в благородной маске оно все ширится ширится и обращает в рабство косит косяками но не побрезгует мелочью зло ради зла с мурло мы схлестнемся еще несомненно сорвать с него маски и тоги я кость в его горле кнопка в его заднице гондон на его кляпе вошь под мышкой прыщ на морде цирроз в печени гниющий зуб его мудрости неуловимый необоримый вирус в его крови надеюсь что так чем же все кончится и где-то сейчас бесчинствует эта падаль бывает мне кажется он водит моею рукой стоит за спиною чем же все кончится чем мне непонятно напрасно я пью столько много и водку и пиво когда-то допьюсь до горячки однако ну и свет тут противный мурловские штучки муть уродство ржа ложь оставьте

Глава седьмая

... Рассказав грустную историю о Романе, писака и сам опечалился, умолк, придвинул кувшин. Рука не послушалась его, пиво лилось мимо кружки, на стол, капало ему на брюки — он не обращал внимания: находил в том градусе, когда подобных вещей не замечают.

Выпив еще — сколько же может вместить это брюхо; есть ли предел? — откинулся на спинку стула и задумался неведомо о чем.

Прошло и пять и десять минут, прошло и больше. Писака все молчал, сидел неподвижно — лишь раз-другой оглянулся зачем-то по сторонам.

— Официант ему нужен, — догадался я, — экая прорва. Нет, уходить пора, уходить. Хотел встать, и сразу почувствовал: пока мы здесь беззаботно пробавлялись пивком, тяготение возросло чудовишно. С тем же успехом я сдвинулся бы с места где-нибудь на Юпитере. Вообще всюду творилось неладное: галдеж соседей воспринимался как прокрученная на малой скорости в обратную сторону магнитофонная запись; вместо крови в жилах поползла сгущенка; неоновые лампы под потолком испускали свет дискретно, с большими интервалами и пока отдельная порция успевала достичь стола, можно было разглядеть каждый квант; самое время, казалось, замедляет ход; вот-вот остановится; того и гляди, потечет вспять: писака пододвинется к столу, возьмет пустую кружку, поднесет ко рту и начнет изрыгать в нее пиво.

Словом, я перебрал, перебрал основательно; берега реальности подмыл алкогольный поток, окутал алкогольный туман — и когда в этом тумане возникла Она (по всем законам логики бреда), ничуть не удивился, хотя и ждал Ее столько лет, без надежды дожждаться.

Украдкой взглянул на табло своей “электроники” — время и вправду застыло; застыло на дикой пугающей отметке: 68.97.48 — и, разумеется, не без причин, с неясным, но смыслом. Некогда было ломать над этим голову; оно застыло и в целом мире нас осталось трое: Она, я — и писака.

А писака весь взмок от напряжения; извилины его разрывались от непомерной нагрузки: сейчас он вытряхивал из сундуков все свои сокровища, кидался от одной побрякушки к другой, мучился, сомневался — взять вон ту? а может быть эту? глаза разбегались — глупец, он еще верил, все верил, что ко всякому замку можно подобрать ключик из слов, к каждому — свой единственный ключик; нужно только найти эти единственные слова и расставить в единственно правильном порядке. Глупец! будто-бы тут что-то зависело от слов!

И первой заговорила Она — зря, выходит, он напрягался. Зря.

— Нет, — сказала Она писаке, — нет.

А мне сказала:

— Пойдем.

— Ошибка, — завопил писака в панике, уже ничего не выбирая, швыряя слова, что попадались под руку, — что Ты делаешь! Что делаешь Ты со мной! Останься! Я сочиню для тебя “Маленького принца”, для Тебя и с Тобой — у меня получится! А без тебя — грязь, фальшь и злоба! Муть, уродство, ржа, ложь! Останься! Я задыхаюсь без Тебя, я без Тебя не могу! А он-то, он — зачем Тебе он?

— Я не нужна тебе; тебе никто не нужен; ты и сам знаешь; а его я спасу.

Писака затрясся в рыданиях. Он думал, что нас лишь трое во всем мире, а среди своих не грех и всплакнуть.

Но нас оказалось не трое; уже четверо — то ли Автор понял, что слишком уклонился от жизни, и потому решил, как и в жизни, разбавить слегка трагедию фарсом, то ли задался еще какой целью — и вот невесть откуда взялся пьянющий старик, старикашка препротивный: в отрепьях, дряхлый, замшелый, плешивый, морщинистый, как многожды использованный презерватив, и такой же вонючий.

Усевшись без приглашения на свободный стул, он затарахтел:

— Ну, ну, полноте, молодой человек. Взвейтесь соколы орлами, полно горе горевать... дамочка обидела? пустяки, могу устроить вам французский паспорт — и всего-то за кружку пива. Недельку в Париже — на нашеньких кривоножек год смотреть не станешь, а как же! С валютой, считайте, заматано — у меня там родственник. Кстати сказать, граф. Ну же, решайтесь. Пивка дерябнем — и в консульство. А хороший все-таки город, Париж. Вот помнится, идем мы с Володей, с Высоцким, по рю де...

— Заткнись, — оборвал дедушку писака. Плакать он перестал, побледнел только, как спирохета, и весь как-то сократился, сплющился.

— Значит, уходите? А я, значит, с ним останусь? Видно, быть по сему... Что ж, ступайте... Смотрите только, потом не пожалейте...

* * *

... И обнявшись, мы зашагали навстречу огоньку, зовущему нас во мраке.

Я знал, что пламя его никогда не достигнет небес и мощью своей никогда не сравняется с солнцем; раз так, ночь — до конца. Зато, верил я, рядом с ним тьма не так уж страшна. Главное — не потерять и сохранить этот огонек.

Иначе нельзя.

* * *

Идущий за мною будет сильнее меня...

1981; 1986-89гг.

Москва — Истра — Москва

Алексей Мякишев

ТРИ ПЬЕСЫ

Сердце стынет понемногу,
И у жаркого камина
Лезет в голову большую
Все такая чертовщина.

А.Фет

Горе! Приходит время, когда человек не будет в состоянии создать ни одной звезды. Горе! Приходит время самого презренного человека, который не может даже презирать себя. Что такое любовь? Что такое звезда? Что такое творчество? Что такое стремление? — Так спрашивает последний человек и бессмысленно моргает. Земля делается тогда маленькой и на ней будет прыгать последний человек, который делает все маленьким.

Ф.Ницше

Ире и Володе, с любовью

МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ

комедия в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Ш у т — играет свою роль неохотно, спустя рукава

О л я — молодая и красивая девушка

С т у д е н т — худой длинноволосый юноша, заурядной наружности

С е м е н С е м е н о в и ч — суфлер, весьма гадкий старичок

Р а б о ч и й — трудолюбив и прямолинеен

В л а д и м и р С о ф р о н о в и ч И в у ш к и н — кинорежиссер, с холеной физиономией

В р а г н а р о д а — по обыкновению, очень из себя противный

Л ю б и т е л ь п о э з и и — как и положено, большой чудак

П ь я н и ц ы — всего девять штук, вконец уже опустившиеся и разложившиеся

В о в а — кудрявый малыш в возрасте пяти лет

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В центре сцены — лавочка . В углу — деревце . На середину сцены выходит

Ш у т , одетый соответственно : его наряд включает и колпак с бубенчиком.

Ш у т. Господа зрители! Должен огорчить вас. Должен сообщить вам, что вас надули! Черт догадал вас прийти сюда этим вечером!.. Уплатив, вдобавок, некоторую сумму... А сидели бы лучше дома. Книжечку бы почитали, что ли. Ну, дома не сидится — отчего бы не поужинать в хорошей ресторации? Какая семга, доложу я вам, у Тестова! М-м-м-м! Да мало ли чем можно было заняться? Пиеска же, собравшая нас здесь всех вместе, увы, ничего не скажет ни сердцу, ни уму, уверяю вас. Ах, господа, господа — странный способ убить время вы выбрали... Честное слово, дрянная пиеска, и автор ее — величина бесконечно-малая... Я вот, между нами-то говоря, по авторскому замыслу давно уж должен бы спуститься в партер, выклянчить сигарету у произвольного зрителя и сказать ему следующее (кривляясь): благодарствуйте за папироску. Что-то нынче скверные стоят погоды. Ну, и как там дела, в Сыктывкаре? Ужасно остроумно. Театр, понимаете, абсурда — в гробу я видел их обоих: и театр этот и абсурд. Я человек семейный, дети у меня — и как прикажете детишкам после этого всего в глаза смотреть? Не все равно мне, за что деньжата получать, хотя и подневольное я существо. По счастью, перепились они там все — премьеру празднуя! — и автор, и режиссер, и, самое главное, суфлер наш-Семен Семенович(оглядывается). Гадина неопикуемая, лите-

ратурных и жизненных аналогов в своей мерзости не имеющая. Больше всех надрался, водой отливали — да куда! Семен Семенович — наша совесть, чуть что — сигнал в инстанции, и мое почтение... Такие дела(шарит по карманам)... Как назло, сигареты забыл... (Сконфузившись.) Как бы это закурить? Господа?

Пошатываясь, из-за кулис появляется старичок, мокрый с ног до головы.

Под мышкой держит красную папку с надписью “Сценарий”.

Ш у т поспешно смывается в зал за сигаретой.

Семен Семенович (*грозя Ш у т у пальцем*). Ну-ну, Коровкин... Ты... Это... Я товарищам пообещал... Ты, Коровкин, смотри... Смотри у меня... Чтобы... Чтобы у меня без этих... Чего забыл, мы подскажем... Хе-хе... Если надо... И накажем... Хе-хе... Если надо...

Ш у т (*из зала, плаксиво*). А я что, Семен Семенович? Я ничего. (*К зрителю, угостившему Ш у т а сигаретой.*) Благодарствуйте за папироску. (*Злобной скороговоркой*) Что-то нынче скверные стоят погоды ну и как там дела в сыктывкаре .

Тем временем Семен Семенович, достигнув суфлерской будки, с шумом падает в нее; Ш у т подбегает к месту происшествия, наклоняется.

Ш у т (*участливо*). Не ушиблись ли, Семен Семенович?

Из будки доносится невнятное бормотание. Ш у т выпрямляется, лицо испуганное; собирается с мыслями.

Ш у т (*с тоской*). Я, собственно, вот о чем поговорить хотел, побеседовать... Вы — публика интеллигентная, ergo, должны понять... Давайте вознесемся над Землей и посмотрим на нее из космических глубин. Охватим холодным и спокойным взглядом из пространства человечков, копошащихся на поверхности планеты. Ах, ни жалости, ни даже смеха не вызывают они. Только скуку и недоумение, гм... что-то я запутался... отвык думать, привык болтать... Да... скуку и недоумение, пожалуй... Но вооружимся увеличительным стеклом, выберем ничтожную личинку в этом муравейнике — и столько боли, надежд любви и ненависти обрушится на нас... и столько грязи... иной раз, такое, извиняюсь, дерьмо попадется... Вы спросите — зачем я разговор весь затеял и к чему? А затем и к тому, что, каков бы я ни был, а высоких материй тоже не чужд. Мне дерево посадить и ребенка сделать — еще маловато, чтобы человеком себя чувствовать...

Ш у т умолкает, потому что появляется девушка О л я, за нею следом —

Р а б о ч и й. Девушка садится на скамеечку и достает из сумки книжку.

Чтобы не мешать действию, Ш у т прячется за деревом.

Р а б о ч и й останавливается рядом с лавкой и обращается к девушке.

Р а б о ч и й. Ты красивая. Пойдем со мной и образуем семью. Захочешь — я прочитаю книжки, какие читаешь ты; начну слушать музыку,

какую слушаешь ты... И если даже я ничего не пойму — разве это главное? Я — мужчина. Я защищу тебя от жизни — день сегодняшней и день завтрашний станут тебе не страшны. Ты родишь сильного и умного сына и добрую и красивую дочь. Разве не для того живет женщина? Разве ей нужно что-нибудь еще? Пойдем со мной.

О л я. А вдруг ей и в самом деле понадобится что-то еще? Как тогда?

Р а б о ч и й (*мрачно*). Не хочешь жить со мной — так прямо и скажи, нечего тут зубы заговаривать, я не мальчик. Смотри только, потом не пожалей.

Р а б о ч и й уходит.

К лавочке приближается И в у ш к и н, очень загорелый в отличном костюме, в руке держит изящный дипломат.

И в у ш к и н (*непринужденно*). Какая жара сегодня, вы не находите?

О л я молчит.

И в у ш к и н (*веско*). Позвольте представиться — Владимир Софронович. (*Помедлив.*) Ивушкин.

О л я (*удивленно*). Ну и что ?

И в у ш к и н (*обаятельно улыбаясь*). Вы мне не верите? Вот, пожалуйста... моя визитная карточка (*достает из кармана и протягивает*).

О л я (*читает вслух*). Ивушкин, Владимир Софронович. Телефон...

И в у ш к и н (*шутит*). Могу и паспорт показать, недоверчивое вы существо.

О л я. Да нет, зачем. Пусть вы и в самом деле этот... (*заглядывает в карточку*) Ивушкин. И что с того? Вы что, специально наделали себе визиток, чтобы приставать на улицах к женщинам? Довольно оригинально.

И в у ш к и н (*перестав улыбаться*). Простите, здесь явно какое-то недоразумение. Позвольте спросить: как часто посещаете вы кинематограф?

О л я. Изредка посещаю. Но если это приглашение...

И в у ш к и н. Спокойствие. Фильм “Амбар” смотреть не приходилось?

О л я. “Амбар” “? Как будто бы что-то из деревенской жизни?

И в у ш к и н (*радостно*). Ну, наконец-то! Именно что из деревенской! А я, между прочим, режиссер этого фильма. И многих других.

О л я (*сухо*). Вот как.

Пауза.

И в у ш к и н (*вытирает платком лоб*). Фу-у... Жара! Похлеще, чем в Каире. Знаете, я неделю всего как оттуда — заканчивал съемки. Очень, очень любопытный городишко. Идешь, вообразите, по улице — машины кругом, небоскребы, и вдруг навстречу — верблюд. Каково?

Пауза.

И в у ш к и н. Вас, извините, как звать — величать?

О л я. Оля.

И в у ш к и н (*задушевно*). Оля, хотите сниматься в кино? Сейчас мы с норвежскими товарищами как раз приступаем к работе над одной картиной...

О л я. Вы шутите, Владимир Софронович.

И в у ш к и н (*горячо*). Отнюдь! Не сомневайтесь, у меня глаз наметанный, профессиональное чутье, если угодно... Едва я вас увидел, как внутренний голос мне сразу и сказал...

О л я. И что же он вам такое сказал?

И в у ш к и н. Он сказал : Ивушкин! Смотри! Это она — разведчица Люба, заброшенная на чужую землю в фашистские тылы, чтобы взорвать неприятельский аэродром в фьордах.

О л я. Ну-и-ну...

И в у ш к и н. Никаких “ну-и-ну” быть не может. Сейчас же едем ко мне на дачу; там, вдали от городского шума и суеты, вы сможете спокойно ознакомиться с сценарием и...

О л я. И все это тоже нашептал вам внутренний голос? Напрасно тогда вы ему доверяетесь — у него замашки обычного ловеласа.

И в у ш к и н (*осерчав*). Девчонка! Ну-ка, давай сюда (*Отбирает визитную карточку и быстро уходит, чуть не сбив с ног появившегося на сцене Любителя Поэзии*).

Л ю б и т е л ь П о э з и и в нерешительности описывает круги вокруг скамейки.
Наконец, нервно покашливая, заговаривает с девушкой.

Л ю б и т е л ь П о э з и и. Который сейчас час, не подскажите?

Слышится громкое сопение из суфлерской будки.

Г о л о с С е м е н а С е м е н о в и ч а. Эй, кто там? Коровкин? Поди-ка сюда!

Ш у т подходит.

Ш у т. Я здесь, Семен Семенович.

Г о л о с С е м е н а С е м е н о в и ч а. Вот что, Коровкин. Ты знаешь, что? Нечего тебе прохлаждаться, а то стоишь, как пень. Сбегай, друг, принеси-ка мне водки стакан.

Ш у т. Но, Семен Семенович, однако...

Г о л о с С е м е н а С е м е н о в и ч а. Я вот покажу тебе “однако”. Будет тебе и “но” и “однако”, дай только срок! Видно, нельзя с вами по-человечески, человеческого языка потому что не понимаете. Дуй за водкой, одна нога чтобы здесь, а другая — там и опять здесь.

Ш у т убегает.

О л я (*посмотрев на часы*). Десять минут четвертого.

Л ю б и т е л ь П о э з и и (*слегка повизгивая от нервного возбуждения*). Простите! Я не знал, как заговорить с Вами — и начал с пошлой фразы.

О л я. Господи! Ужас какой-то! Что вам всем от меня надо?

Л ю б и т е л ь П о э з и и (*не слушая, лихорадочно*). Жизнь так груба и учит молчанию. А когда нужно говорить — ничего не получается.

О л я. И не нужно никаких разговоров, оставьте меня в покое!

Л ю б и т е л ь П о э з и и (*в отчаянии*). Я понимаю, я кажусь Вам обыкновенным пошляком-приставалой. Но это не так. Поймите: это не так. Я шел по улице, увидел Вас и тотчас же узнал. О Вас писал Блок. И Пушкин писал о Вас. И каждый поэт. Не подойти к Вам я не мог, не мог и не заговорить. Моя ли вина, что в нынешней жизни — любые слова фальшивы! Язык хама — вот язык теперешнего подлого бытия, другие же речи — неуместны. Я двадцать лет искал Вас, нашел, и — нечего сказать. Пачкать Вас плебейскими словами не смею и не желаю, а слова иные — пускай мы бы и знали их — как скажешь здесь?

Возвращается Ш у т, в одной руке у него — стакан с водкой, в другой — вилка с насаженным на нее соленым огурцом.

Голос С е м е н а С е м е н о в и ч а. Явился, не запылится... Тебя, Коровкин, только за смертью посылать.

Ш у т. Так я что? Все автор жадничал... а мы, говорит, с чем останемся?

Пауза.

Голос С е м е н а С е м е н о в и ч а. Крепка, зараза... Дурак он, твой автор. Я ему устрою.

Ш у т. Буратину, говорит, что-ли пить будем?

Голос С е м е н а С е м е н о в и ч а. Ты, Коровкин, тоже дурак. Ох, и дурак! Дубина! Понял?

Ш у т. Как не понять, Семен Семенович.

Голос С е м е н а С е м е н о в и ч а. Ладно. Возьми, Коровкин, с полки пирожок, ха-ха! Ленка!

Пауза.

Голос С е м е н а С е м е н о в и ч а (*совершенно пьяный*). Ленка! Оглохла, что-ль? А ну, залазь ко мне!

Ш у т. Семен Семенович! Дорогой! Это никак не возможно! В самый разгар драмы!.. Потерпит ли публика? Неужели приостановить?..

Голос С е м е н а С е м е н о в и ч а. Ты, Коровкин, дурак. Тупой, как я не знаю что, как жизнь твоя. Зачем же останавливать? Играйте. Тебе, Коровкин, все одно, делать нечего, останешься пока заместо Ленки. (*капризно*) Лен-о-о-к!

Ш у т. Но, Семен Семенович, позвольте... Я совсем не знаком с ролью Елены Дмитриевны... Да и Лососев вон (*кивает в сторону Л ю б и т е л я П о э з и и*) рольку свою не доучил... А кто подскажет? (*игриво*) На вашем месте и Цезарь бы спасовал.

Голос Семена Семеновича. Ничаво. Вы того там... ымпровизацию... Лосось у нас ымпр... (*икает*) ымпровизатор знатный — ползарплаты на алименты пустил... (*смеется нехорошим смехом*) Г-ы-ы... Ничаво. Справитесь.

Любитель Поэзии (*тихо, девушке*). И ты пойдешь к этому замшелому сморчку?

Оля (*надменно*). Не вмешивайтесь в мою личную жизнь. (*подходит к будке*) Сема! С квартиркой поспособствуешь?

Голос Семена Семеновича. Залазь.

Девушка скрывается в будке.

Шут (*мягко*). Я понимаю, Кирилл Борисович, тяжело... однако же, нужно играть.

Садятся на лавку.

Шут (*кокетливо*). Какой вы дуся... угостите эскимо...

Любитель Поэзии (*вяло, косясь на будку*). Есть одно... эээ... местечко... вне... эээ... пространства и э... эээ... вне времени... где сливаешься с... ммм... природой... эээ... натурой, то-есть... живут там... зяблики живут... ммм... соловьи, конечно... соловей залется дивной трелью... воздух, напоенный... эээ... травка... творишь, сливаясь... ммм... но одиноко, ах как одиноко порой... (*с облегчением*) и у вас прочел я одиночество в глазах.

Шут (*достаёт из кармана яблоко, надкусывает, хрустит*). Попали в яблочко. Это точно, ужасно я одинокое создание. Вчера было хотела броситься под поезд (*откусывает*), да передумала. Но мне сдается, напрасно.

Любитель Поэзии (*морщится — из будки слышны возня и странные звуки, отдаленно напоминающие мычание*). Я спасу вас от одиночества... эээ... союз двух душ и двух сердец... корабль давно пошел ко дну, но я укрою вас на острове...

Шут. Так поспешим! Хочу предупредить только, что спасательные работы встанут вам рублей в десять и деньги попрошу вперед.

Выбирается из будки девушка и, поправив юбку, садится на лавку;

Шут вновь уходит под дерево,

Любитель Поэзии, безнадежно махнув рукой — со сцены.

А у скамейки стоит уже Враг Народа.

Враг Народа (*с сарказмом*). Сидим?

Девушка не отвечает.

Враг Народа. Молчим? Так-с. Правильно. Совершенно правильно. Сидим, молчим и взносы платим. Комсомольские платим взносы, партийные и профсоюзные. Моя хата с краю, не так ли?

Оля. Что вам надо?

Враг Народа. Нам-то? Да ничего и не надо. Сыты, обуты — и ладно. Думать? — Боже упаси. Пусть человек давно животное, что с то-

го — ведь вот и свиньи в хлеву находят, что все “тип-топ”.

О л я. Перестаньте...

В р а г Н а р о д а (*со вздохом*). Да. Зачем душу бередить? Но все-таки: не могу постичь! Утратив все представления о чести и честности, о чистоте, фактически попав в рабство... и при этом — ничего не замечать! ничем не мучиться! будто бы и не происходит ничего особенного (*почти шипит от ненависти*). Достоевского читают, Чехова! Льва Николаевича! (пожимает плечами) Ухитряются совмещать. Нет, решительно не могу постичь.

О л я. От вашего нытья едва ли что-нибудь переменится. А может, зубы у вас болят?

В р а г Н а р о д а. Зубы? Нет, зубы не болят. И нить, вы правы, ни к чему! (*опускается на лавку*) В самом деле! Время идет, подкрадывается старость. Вот у вас прекрасные ножки — ну, ну — нынче на правду обижаться не принято — и не успеете ахнуть, были ножки — стали ноги, а то и ножища. И так далее и тому подобное (придвинувшись и положив девушке руку на колено), что и требовалось доказать. Возьмем от жизни все, пока мы молоды и прекрасны!

О л я (*сбрасывает руку, брезгливо*). Довольно гадостей.

В р а г Н а р о д а. Гадости? “Это было у моря, где ажурная пена...” Почему же вдруг гадости? Или вы ждете любовь с большой буквы? Э, оставьте. Такого слова и нет сейчас. Есть слово “хочу”. Есть слово “нрависься”. (*пытается обнять*) Ты мне нравишься, девочка, я тебя хочу.

О л я (*вырывается*). Пустите меня! Я позову милицию!

В р а г Н а р о д а. Да хватит строить из себя!.. Тело — высший разум, приходилось слышать?

О л я. Я сейчас закричу.

Из-за дерева выглядывает Ш у т.

В р а г Н а р о д а (*замечая Ш у т а, отпускает девушку*). Ладно, ладно. Не будем ссориться — мир тесен и еще встретимся. А сейчас я ухожу — что поделаешь, нужно же кому-то и о нашей многострадальной Родине позаботится. Я бы взял вас в жены, но, к сожалению, настоящий революционер не должен обременять себя семьей, да и потом — я уже женат.

Уходит.

Ш у т. Антракт, господа.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

На сцене — несколько столиков, уставленных кружками с пивом; за столиками —

П ь я н и ц ы, всего девять; курят и негромко переговариваются. Влетает Ш у т.

Ш у т (*радостно*). О, ужас, горе!
Кто-то из П ь я н и ц. Что стряслось?
Кто-то из П ь я н и ц. Война, Коровкин? Стихийное бедствие?
Ш у т. Семен Семенович... оставил нас...

Пауза.

Кто-то из П ь я н и ц. В своем ли ты уме?
Ш у т. Оставил нас. Ушел в расцвете сил наш дорогой Семен Семенович! Вечная тебе память, беспощадный труженик! На кого покинул ты нас? Снесем ли утрату? Ай-ай-ай.

Кто-то из П ь я н и ц. Коровкин! Да ты объясни все толком.

Ш у т. Не верю! Нет, не верю! Душа не вмещает. Только что изволили Семен Семенович кушать ветчинку и запивать Псоу, и пошутили даже: тебе, говорят, Коровкин, не в театре работать, а половым в трахтире... как вдруг — передернулись и головкою в салат поникли, в салат с кальмарами. И сами стали фиолетовый весь, как кальмар. Врач сказал, надежды никакой. Нет Семена Семеновича! Какой светильник разума погас! Какое сердце биться перестало!

Во время монолога Ш у т а постепенно собираются остальные актеры.

Кто-то из П ь я н и ц (*тихо*). Неужели помер?

Л ю б и т е л ь П о э з и и (*О л е, с ядом*). Поздравляю. Накрылась твоя квартирка-то.

О л я (*злобно*). Хам!

Ш у т. Ну-с, скинемся по рублику на помин души, да и по домам. Хватит!

В р а г Н а р о д а (*громко*). Вот тебе и на! Совершенно отказал слух. Ничего не слышу. Ничего!

О л я. Как то-есть по домам? Кто дал такие указания?

Ш у т. Елена Дмитриевна! Умер всем, а некоторым в особенности, близкий человек. Во-первых. Без которого не сыграть — во-вторых.

Р а б о ч и й. Разойтись, конечно, можно... но вот стоит ли? Работа есть работа, за саботаж по головке не поглядят.

И в у ш к и н. Да, посидим еще часок. Водочки попьем, в картишки перекинемся (*подмигивает*). По ходу действия.

О л я (*холодно*). Отсутствие Семена Семеновича никоим образом не отразится на представлении. Равным образом не повлияют на продолжение спектакля гнусные подстрекательства и намеки, которые мы здесь, товарищи, вынуждены были выслушать. Так что, Сипулькин, водку дома попьете, ни для кого, я думаю, не секрет, чем вы там дома занимаетесь, а тут вас держат, чтобы играть, и играть достойно. Как полагается.

И в у ш к и н (*тихонько*). Крыса. (*громко*) Мы — люди маленькие.

Ш у т. А может, все-таки разойдемся? По тихому. Надоело же чушь (*смотрит в зал*) нести в массы.

Р а б о ч и й. Пьеска, что и говорить... Но... Коровкин, а ты уверен? Он точно помер? Совсем?

Кто-то из П ь я н и ц (*зловец*). Провокация!

Все вздрагивают.

Л ю б и т е л ь П о э з и и. Как хотите, господа, а я остаюсь. Остаюсь во имя искусства.

В р а г Н а р о д а. Хоть убей, не слышу ничего. Это, товарищи, последствия контузии. Старые раны дают о себе знать.

Кто-то из П ь я н и ц. Ты воевал, что-ли? Интересно, где? И с кем?

В р а г н а р о д а. Ишь, какой любопытный. (*спохватившись*) Впрочем, говорите громче, ничего не слышу.

Р а б о ч и й. Если надо, значит, надо...

И в у ш к и н. Что ж, мы — люди маленькие. (*в сторону*) А дерьмо зато порядочное.

О л я. Ставлю вопрос на голосование. Прошу поднять руки тех, кто остается играть пьесу.

Г о л о с а. Играем! Слава КПСС! Смерть Коровкину!

О л я. Единогласно. Остается выяснить, кто же попробует заменить нам вообще говоря незаменимого и безвременно ушедшего...

Ш у т (*поспешно*). Я! Я справлюсь! Покойный завещал: последние слова были...хочу, дескать, Коровкина, Коровкин не подкачает...

Появляется Се мен Се мен о в и ч; его замечают. Немая сцена.

Се мен Се мен о в и ч. Послушал я тут вас всех, товарищи артисты... внима-а-тельно послушал. И тебя послушал, Коровкин, старина... (*сорвавшись*) Высоко метишь, сволочь! Теперь не отвертись, свое получишь!

Пауза.

Се мен Се мен о в и ч (*взяв себя в руки*). Так. Продолжаем. Лишним покинуть сцену.

Остаются девять П ь я н и ц, Ш у т и С т у д е н т; встают за столики.

П е р в ы й П ь я н и ц а. А я тебе говорю, пил он! Пил!

В т о р о й П ь я н и ц а (*мрачно*). Некогда ему было пить.

П е р в ы й П ь я н и ц а. Намается за день, вечером домой придет, эх, скажет, Надинька! совсем буржуи одолели. А что, рябиновая осталась еще? Посмотри, милая, там, в шкапчике, должна быть.

В т о р о й П ь я н и ц а. Прошу тебя, помолчи... Тошно...

Т р е т ь и й П ь я н и ц а. ...ты, говорит, добрый, но слабый. Зачем друг дружку мучить? Я люблю тебя, мой славный, но хорошо нам вместе не будет.

Ч е т в е р т ы й П ь я н и ц а (*тупо*). Им, бабам, одно нужно...

Т р е т ь и й П ь я н и ц а. Да... Замуж вышла... Сын теперь у нее... от неслабого... а мне плевать...

П я т ы й П ь я н и ц а. Она совершенно сознательно спаивала его и спивалась сама и все от ревности к сочиняемым им книгам. Факт.

Ш е с т о й П ь я н и ц а. А есть книжки, над которыми плачешь...

С е д ь м о й П ь я н и ц а. Все зависит от того, в каком состоянии у вас нервы. Если нервы ослаблены, пустишь слезу и над “Мурзилкой “. А когда дух крепок, никакой Достоевский не прошибет.

В о с ь м о й П ь я н и ц а. В здоровом теле — здоровый дух. Когда есть бабы и вино — книжки человеку ни к чему.

Ч е т в е р т ы й П ь я н и ц а (*горько*). Им, бабам, одно нужно...

П я т ы й П ь я н и ц а. Русскому человеку свойственно выпить, а выпив, поговорить о женщинах и смысле жизни... это и классики отмечали.

Ш у т. То-то и оно, что свойственно... Попробуй, объясни жене моей. “Зачем ты пьешь, Федя? “Невдомек глупой женщине: пьянство — явление социальное.

П е р в ы й П ь я н и ц а. Я, знаете, не ходок в светлое будущее. Мне туда дорожки заказаны. Вот и отмираю потихоньку, мешая водку с пивом. Кому — к коммунизму шагать, а кому — от первой стадии ко второй, от второй — к третьей. В Свидригайловы я тоже не лезу и в свою Америку еду окольными путями, винно-водочными тропками. Кроме того, трезвый, я боюсь смерти.

В т о р о й П ь я н и ц а. А я искал... искал сначала Бога, потом человека, после — женщине...

Ш у т (*участливо*). Безуспешно?

В т о р о й П ь я н и ц а. Как видите...

Ш у т. Порядочек неверный выбрали... перепутали... надо бы начать с женщины.

Т р е т ь и й П ь я н и ц а. С женщины? Заблуждаетесь. Я с нее и начал. С нее начать — ею и кончить. Любовь, может, и дает какое-то там приближение к Истине, только платить приходится дорого. Я бы вовсе исключил женщину из вашего списка — в конце концов, она приведет вас или сюда (*обводит столики рукой*), или в мешанский тупичок с голубым финским сортиром, или (*ожесточаясь*) в КВД! (*Ч е т в е р т о м у П ь я н и ц е*) Верно, Сеня?

П е р в ы й П ь я н и ц а (*было задремавший и медленно сползающий со стола, внезапно встрепенувшись*). НКВД! Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ! И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ! (*вновь впадает в протрацию*)

Ч е т в е р т ы й П ь я н и ц а. Я так скажу: баба всегда баба, и ей одно нужно. Было бы время и деньги — любую можно заполучить.

Ш у т. Зачем вы пьете, Сеня?

Ч е т в е р т ы й П ь я н и ц а (*с недоумением*). Человек не может не хотеть выпить.

П я т ы й П ь я н и ц а. Глас народа! Да, и мне вот ничего не осталось, кроме как пить... Все казалось: я — писатель, напишу книгу... жизнь вел праздную, глупую, совершенно, наконец, напрасную. Но, думал, искуплю! Искуплю и оправдаю книгой! Описать бессмысленное существование — значит придать ему смысл.

Ш у т (*беззаботно*). Творить — потребность духа.

П я т ы й П ь я н и ц а. Только Святой Дух не снизошел, так сказать, снизойти... Ничего у меня не вышло — дребедень какая-то, полная беспомощность, школьные сочинения, сердитый гимназист... (*плачет*)

Ш у т. Успокойтесь, пожалуйста.

П я т ы й П ь я н и ц а (*сквозь слезы*). И били, били все время... А я сносил. Погодите, думал, голубчики, вот уж вы попадете у меня в литературу... передоновы проклятые! Все зря, зря! Бездарен и никому не нужен... Подыхай со своей тоской и болью! Нельзя не пить!

Ш е с т о й П ь я н и ц а. Нельзя! Потому что говорить правильные слова не означает жить правильно, и говорить, что говорить правильные слова не означает жить правильно, все-таки не означает жить правильно... И говорить, что говорить, что говорить правильные слова не означает жить правильно, все-таки не означает жить правильно, опять-таки означает лишь говорить и говорить... В пределе получается — не странно ли — ложь, свиные рыла и, разумеется, кружка с пивом...

С е д ь м о й П ь я н и ц а. Почему бы здоровому мужику не пропустить кружечку-другую? Не вижу в этом ничего дурного. Не следует только злоупотреблять. Жизнь не терпит крайностей и излишеств.

В о с ь м о й П ь я н и ц а (*заметно разгорячившись*). А моей ноги здесь вообще бы не было! (*делает добрый глоток*) Дайте только нам стадионы, теннисных кортов вдоволь. И городошных площадок! И хороших фильмов про наши проблемы! И дискотеки! Чтобы можно было общаться! Дайте!

Ч е т в е р т ы й П ь я н и ц а (*наносит В о с ь м о м у П ь я н и ц е удар в глаз*). На вот, получай авансец, спортсмен... твою мать.

В о с ь м о й П ь я н и ц а (*потирая ушибленное место*). Везет же некоторым. Займись я в свое время боксом... кое-кому не поздоровилось бы (*отхлебывает из кружки*).

Ш у т (*укоризненно*). Сражаться с фантомом... Стоит ли?

Ч е т в е р т ы й П ь я н и ц а (*убежденно*). Стоит! Вы, что же, думаете, что я намерен спускать всякому дрянному вымыслу? Ну, нет. Им только дай волю, уж я их хорошо изучил. С ними ухо держи в остро, и чуть что — мочи без промедления и жалости!

Ш у т. Да, но тем самым вы как бы боретесь с несуществующим?

Ч е т в е р т ы й П ь я н и ц а. Да ты, брат, никак, философ! Ох, и люблю философов, особенно материалистов! Хочешь, как заеду сейчас в ухо! Меня хоть пивом не пои, а только подай сюда материалиста, да пожирней

человек, молодой человек... Выбор невелик, да и нет его, выбора. Как и всех, вас основательно потопчут в грязи. Хуже того — и вам придется посадить в лужу одного-другого-третьего-десятого, ничего не попишешь, а то купайся сам весь век в дерьме... Останетесь вы один-одинешенек, и станет вам тогда не до смеха...

Студент. Извините, но не люблю я этих слов, не доверяю им — слишком многие ими пользовались. Тусклые они, как старые медяки, и доступны, как продажные женщины: слова-потаскушки.

Шут. В том-то и заключается весь ужас: в них — правда, и правда настолько дешевая, что вам выложит ее первый встречный забулдыга вроде меня или споет, томно закатывая глазки, какая-нибудь фифочка с экрана... Это — правда маленьких людей, людишек... а остальные, кажется, просто вымерли и с ними вместе — все их Высокие Истины.

Студент (*посмотрев на часы, резко*). От вашей болтовни только башка пухнет. Мне пора идти.

Шут (*любезно*). Счастливый путь!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

На сцене — опять лавочка и дерево. Под деревом притаился

Шут, весь увешанный фотоаппаратами. Теперь на нем кожаная куртка со множеством карманов, из которых торчат ручки, карандаши и блокноты.

На лавочке — Студент и Оля.

Оля. Опять от тебя пахнет пивом.

Студент. Был грех: чуть-чуть употребил.

Оля. Пиво пить у тебя денег хватает. А когда ты дарил мне цветы?

Студент (*виновато*). Я тебя люблю.

Оля. Больше пива? Или... пиво, креветки и меня?

Студент (*упрямо*). Я тебя люблю. Выходи за меня замуж.

Оля. Эх! Горе ты мое. Ну, какой из тебя муж. Ты у милиционера дорогу спросить стесняешься, когда...

Студент (*перебивая*). Я боюсь людей, действительно. Даже в глаза им заглянуть боюсь, будто виноват. Они взрослые и похожи на танки. Может, экипаж за броней давно спятил, а то и погиб в перестрелке... или внутри такой же как я...но я вижу только танки... (*после паузы, озлобленно*) И о чем не подумаешь и чего не скажешь — все я, я и я.

Оля (*нежно*). Милый мой мальчик!

Студент. Но без тебя я не могу... Ты должна быть рядом со мной всегда.

Оля. Любимый, ну зачем эти слова? И без них...

Студент. Подожди... Слова — ничто, ими не меряют... А я? Вот уж, в самом деле, “человек слова“... подло было добиваться твоей любви. Все

равно, нужно идти до конца. Пока не поймем оба, что конец. Да?

О л я. Андрей, все будет хорошо (*глядит по голове*). Все будет хорошо...

С т у д е н т (*угрюмо*). Они жили счастливо и померли в один день... С кем-нибудь другим ты могла и не узнать никаких забот...

О л я. В танке — скучно. На ослике кататься гораздо веселей.

С т у д е н т. И в дождь и в снег?

О л я (*смеется*). И в дождь, и в снег, и в лютую стужу.

Обнимают друг друга и целуются. Ш у т выходит из-за дерева.

Ш у т. И как вам понравится эта идиллия? Сии пастушка с пастушком? А все же, не уют, не стиральную машину и не холодильник подарил бы я молодым. Пистолет и пару добрых пуль к нему.

Лавочка и дерево установлены на деревянном круге, другая половина которого — за кулисами. Круг поворачивается, С т у д е н т и О л я исчезают, а появляется Р а б о ч и й у станка.

Ш у т (*бодро*). Здравствуйте! Я — корреспондент журнала “Юность”. Редакция поручила взять у вас интервью.

Р а б о ч и й. Да некогда мне. Работать нужно.

Ш у т. Золотые слова! Но войдите, голубчик, и в мое положение — я к вам тоже не песни петь пришел. Отниму у вас минут пять. Вопрос-другой, и баста.

Р а б о ч и й. Ладно, спрашивайте.

Ш у т. Вопрос первый. Вы, как передовик производства и просто советский человек...

Р а б о ч и й. А как же! Конечно!

Ш у т. Отлично. (*чиркает в блокнотике*) А как по-вашему: существует ли любовь? Нашего юного читателя...

Р а б о ч и й. Передайте вашим юным читателям, чтобы они не занимались ерундой.

Ш у т. Оригинально! Значит, вы отрицаете...

Р а б о ч и й. Ничего я не отрицаю. Только нечего тут дискуссии разводить — существует, не существует. Учились бы лучше гвозди забивать — так им и скажите. А то, гвоздь забить не умеет, а туда же.

Ш у т. Любопытная точка зрения... И последнее...

Р а б о ч и й (*решительно*). Все. Больше времени у меня нет.

Включает станок. Ш у т пытается что-то спросить, но тщетно. Круг совершает еще поворот, на сей раз перед зрителями предстает И в у ш к и н — около песочницы, в которой ковыряется маленький мальчик В о в а.

Ш у т. Добрый день, коллега (*пожимают руки*). Телезрителю “Кинопанорамы” хотели бы ознакомиться с вашими творческими планами.

И в у ш к и н. Поделюсь с удовольствием и откровенно, что, к сожалению...

нию, раньше удавалось далеко не всегда, но к чему я всегда стремился со свойственной мне бескомпромиссностью. Да! Теперь наконец-то можно смело говорить все, что думаешь, все, что наболело — спасибо Партии и лично ее Генеральному Секретарю, а также, скажу без ложной скромности, и нам, творческой интеллигенции, своей борьбой в застойные годы значительно приблизившей наступление Гласности и Перестройки.

Ш у т. Так над чем же сейчас вы все-таки работаете?

И в у ш к и н. Снимаем документальную картину. Она называется “Не сотвори себе кумира”.

Ш у т. И основная мысль?..

И в у ш к и н. Она частично отражена в названии. Пора, знаете ли, поведать нашей молодежи, да и не только ей, всю страшную правду о прошлом. Художник, понимаете ли, не вправе молчать.

Ш у т. Итак, картина-предостережение?

И в у ш к и н. Если хотите. А вообще, вещь получается многоплановая.

Ш у т (*в сторону*). Скорее уж, после остережением назвал бы я это все, ну да уж ладно... (*И в у ш к и н у*) Хорошо бы побывать на съемочной площадке.

И в у ш к и н. Извольте.

Подходят к песочнице, в которой копошится мальчуган.

И в у ш к и н (*зрителям*). А ведь сразу и не скажешь, глядя на эту симпатичную поросль, что ее дедушка в тридцать седьмом был арестован как враг народа и вскоре сгинул в лагерях; о том же, что приключилось с бабушкой в этом же роковом тридцать седьмом, просто язык не поворачивается сказать... ужасно, ужасно! (*мальчику*) Скажи, Вова, ты любишь строить? Когда вырастешь, наверное, строитель будешь?

В о в а. Ага.

И в у ш к и н. А память дедову чтишь?

В о в а. Ага.

И в у ш к и н. А кто дедушку убил?

В о в а моргает глазками и молчит; И в у ш к и н вынимает из кармана шоколадку и незаметно показывает В о в е.

И в у ш к и н (*тихо*). Ну же!

В о в а (*жадно глядя на шоколад, неуверенно*). Дядя Сталя, бяка... сам он влаг... наладный...

И в у ш к и н (*ласково*). Ну, умница! (*треплет по головке*) Какой хороший мальчик. (*зрителям*) Устами, как говорится, младенцев — истина глаголет. (*Ш у т у*) Ну, как?

Ш у т. Замечательно!

В о в а (*плаксиво*). Шоколадку! Дя-ядь! Шоколадку.

И в у ш к и н (*улыбаясь несколько натянуто*). Ведь вот, обжора малень-

кая! У-гю-гю! На, кушай, Вовочка. Не поверите, шоколад просто тоннами трескает!

Внезапно свет на сцене гаснет и в темноте Ш у т, И в у ш к и н и В о в а вновь повторяют все со слов Ш у т а: “Так над чем же вы сейчас все-таки работаете?” “и до слов И в у ш к и н а про маленькую обжору и шоколад — но с некоторыми изменениями и так, будто бы говорят не живые люди, а прокручивается старая полустертая магнитофонная пленка.

И в у ш к и н. Снимаем документальную картину... называется “Миру — мир” ...

Ш у т. ...основная мысль?

И в у ш к и н. ...ично отражена в... тина-предостережение... сейчас, когда... ечество подошло... асной черте... пора бить в набат, во все, так сказать, колокола трезвонить... отвратить катастрофу... удожник не вправе... олчать...

Ш у т. ... бы побывать на ...

И в у ш к и н. Скажи, Вова... бишь строить... оитель будешь...

В о в а. Ага

И в у ш к и н. А чтобы люди в мире жили, хочешь?

В о в а. А...

И в у ш к и н. ...помеха — кто?

Пауза.

В о в а. Дядя Леган, бяка... сам он плотив... милу...

И в у ш к и н. Умница... роший мальч... устами... енцев... истина глаго...

В о в а. ... околадку... шоко... ку...

И в у ш к и н. ... жора ма... просто то...

Зажигается свет.

Ш у т. Ходят слухи, Владимир Софронович, что вы взялись за экранизацию пьесы “Маленькие люди”. Насколько они соответствуют действительности?

И в у ш к и н. Не соответствуют. Слишком уж надумано это произведение, да и подражательно. А где идея? Создается впечатление, что автору все равно, о чем говорить, лишь бы говорить... И, затем, претензии... на остроумие и , хм, на даже глубокомыслие... увы, так претензиями и остающиеся. От всей пьесы просто несет злобой и фальшью. Притом, все действующие лица почему-то изъясняются одним и тем же языком... И не лица они вовсе — карикатуры...

Ш у т. И Шут?

И в у ш к и н. Ни в какие ворота не лезет. Не получился Шут, вышла пародия какая-то...

Ш у т (обиженно). Пародия?

И в у ш к и н. Безусловно! Видно, впрочем, что читывал автор и Булгакова, и Андреева — что само по себе похвально. Однако, с творчеством этих выдающихся писателей знакомы многие, но что-то в сочинители не лезут.

Ш у т. Спасибо за содержательную беседу, Софроныч! Дальнейших тебе удач и свершений, мать твою за ногу!

Круг поворачивается, унося за кулисы ошеломленного И в у ш к и н а, которого сменяет В р а г Н а р о д а .

Ш у т. Прошу меня извиняйт... Ай эм плохо говорить по-рюски... Ай эм... Как это? Фром пресс... ньюспэйпа...

В р а г Н а р о д а (*радостно*). Корреспондент?

Ш у т. Йес, интервью... Виз первый встречни...

В р а г Н а р о д а (*потирая руки*). Повезло вам. Записывайте. Вот вам самая суть ихней перестройки, возможно, я буду резок, но это оттого, что накопело. Вечно они срали и срали на всех и вся, а теперь вдруг поразились: откуда же столько говна? И принялись ковыряться в нем и строить различные догадки и предположения, пути-дороги выбирать — а сами тем не менее все срут и срут — да и как же им быть иначе? Положение, знаете, обязывает. Да, каких только гипотез не выдвигают — как, мол, с говном бороться, обещают даже срать поменьше и вообще засранцам спуску не давать — на все, короче, готовы, лишь бы сохранить свои жопы и головы, что, впрочем, едино; прикинулись, по обыкновению, душками и простачками — им, якобы, и невдомек, что говно исчезнуть может лишь вместе с ними, его основными производителями...

Ш у т. Ви не любит советска власт...

В р а г Н а р о д а. Я ее ненавижу. Не-на-ви-жу! Эх, мне дать бы волю — я бы им показал перестройку. Для начала бошки всем в ЦК поотрывать, а там бы уж пошло дело: пароход идет мимо пристани, будем рыб кормить коммунистами.

Ш у т. Ви сердится... (*лукаво*) Вы слышаль... Фройд? Зигмунд Фройд?

В р а г Н а р о д а. Причем здесь...

Ш у т (*лукаво*). Он говорил: злой, когда...хау ит ис?...вэн нету...девушка. Ви в ссора с герл?..

В р а г Н а р о д а. Послушайте, мистер! Оставим этот детский сад. Говорили ведь о вещах серьезных...

Ш у т. Ви приезжайт гости... Я буду знакомить вас один девушка... Ха-ха!

В р а г Н а р о д а. Ах, оставьте вы эту чепуху. Я могу передать вам свои записки; в редакции вы получите солидный гонорар...

Ш у т. А вот сколько дадут вам — решат партия и народ, которые будут судить вас со всей строгостью наших гуманных законов. Извините за маскарад — такая служба. Полковник Иванов, к вашим услугам.

Умело заламывает руки.

В р а г Н а р о д а (*безуспешно пытаюсь вырваться*). Подонки! Добра-
лись-таки!

Ш у т. Иди, иди, сволочь, не разговаривай.

Круг поворачивается: лавка, дерево; перед пустой лавкой
стоит Л ю б и т е л ь П о э з и и.

Л ю б и т е л ь П о э з и и. Она исчезла. И, видимо, навсегда. Конечно
же, навсегда. Опять мечта убита. Так ловко все подстроено — вечно ос-
таешься в дураках... А кого винить? Ее? Его? Или себя? Быть может, всех
нас... таких маленьких и жалких... Страшный мир...

Ссутилившись, уходит. Занавес медленно опускается.

Из будки вылезает С е м е н С е м е н о в и ч.

С е м е н С е м е н о в и ч (*требовательно*). Коровкин! Эй!

З а н а в е с .

КОНЕЦ

Москва 1996 г.

Пусть моськи буржуазного общества визжат и лают по поводу каждой лишней щепки при рубке большого, старого леса. На то они и моськи, чтобы лаять на пролетарского слона. Пусть лают.

/ В. И. Ленин /

*Умеющим не менее трех раз
кряду, без запинки, произнести
слово “экзистенциализм”, — т.е.,
советской интеллигенции —
посвящает автор свою пьесу.*

ЧТО ДЕЛАТЬ !

трагедия в двух действиях

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Занавес поднимается. Перед зрителями предстает существо о трех головах, смахивающее на дракона. Оно движется, пошатываясь.

Это — Призрак Коммунизма.

Призрак коммунизма (*замогильным голосом*). Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма...

Внезапно вбегают
немецкие полицейские, французские либералы
и много других людей — и набрасываются на Призрака.

Крики. Пошел вон! Осторожней, господа! Кусается, гадюка! Ату его!

Целься в головы, робяты! Не робей! Стрельба.

Дым рассеивается.

Небогато обставленный кабинет: стол, пара стульев.

За столом, заваленным бумагой, сидит Энгельс и размышляет.

Энгельс (*сосредоточенно*). Абсолютное и совершенное число нуль противопоставим в высшей степени абстрактной бесконечности. Минус единица отрицает единицу. И напротив. Диалектика железная. Так. Далее: интеграл отрицает дифференциал. Дифференциал — интеграл. Пока все согласуется. (*с возмущением*) Но что прикажите делать с мнимой единицей?

Звучат первые такты Интернационала.

Входит Маркс.

Энгельс (*привстав*). Здравствуйте, Карл.

Маркс (*слегка надменно*). Здравствуйте, Фридрих.

Энгельс (*жалобно*). Не идет наука, Карл!

Маркс (*наклоняясь к столу*). Что тут у вас... ага...

Э н г е л ь с (*возбужденно*). Видите, мнимая единица? Должна же она отрицать, доннер ветгер!

М а р к с (*подумав секунду, покровительственно*). А она и отрицает, Фридрих. Отрицает самое себя.

Э н г е л ь с (*восхищенно*). Диалектика!

М а р к с (*веско*). Диалектика.

Появляется П о ч т а л ь о н с большим конвертом в руках.

П о ч т а л ь о н. Могу я видеть господина Маркса?

М а р к с. Можете. Это — я.

П о ч т а л ь о н. Вам письмо, господин Маркс.

М а р к с. Благодарю. (*берет письмо*) От кого бы это? (*изучает конверт*) Отправлено 24 июня 1852 года... гм... Ба! Почерк Лассаля! Наконец-то, давно поджидаем... Стоп! Что такое: Взгляните-ка, Фридрих. (*передает письмо Э н г е л ь с у*)

Э н г е л ь с (*разглядывая итемпель*). Неужели вы полагаете, Карл...

М а р к с (*гневно*). Безусловно, конверт вскрывали.

Э н г е л ь с. Теперь я вижу. Топорная работа. (*с отворачиванием*) Какие подлецы! (*возвращает М а р к с у письмо*)

М а р к с (*пристально смотрит на П о ч т а л ь о н а*). Нуте, господин письменосец, пролейте нам свет...

П о ч т а л ь о н (*с достоинством*). Я ничего не знаю, господи. Я к этому не причастен.

М а р к с (*недоверчиво*). Надеюсь. Надеюсь, что так. (*распечатывает конверт и, пробежав письмо глазами, тихо бормочет*) Как дети... как здоровье Женни... хм...

П о ч т а л ь о н переминается с ноги на ногу, но не уходит.

М а р к с. Фридрих, дайте ему пару марок, я кошелек дома забыл.

Э н г е л ь с вздыхает и достает деньги.

П о ч т а л ь о н (*с достоинством*). Премного благодарен.

Уходит.

Э н г е л ь с (*грустно*). О чем он пишет?

М а р к с (*бодро*). Партийная борьба — пишет — придает партии силу и жизненность. Вообще пишет много всего.

Пауза.

М а р к с. А знаете ли? В “Слона” пиво свежее привезли. Зайдем на пару кружек, там все и обсудим.

Э н г е л ь с (*вздыхнув*). Ну, пошли.

Тот же самый кабинет, только за столом — Д ю р и н г, невысокого роста полный человек с аккуратной борожкой.

Д ю р и н г (*медленно, себе*). ... в основе всего, несомненно, некая туманность... некое состояние мировой Среды... которое нельзя понять ни как чисто статическое, ни как динамическое... именно! (*не торопясь, обдумывая каждое слово, записывает*)

Входит А н т и д ю р и н г, и внешне являющий совершенную противоположность господину Д ю р и н г у. Так, у А н т и д ю р и н г а светлые волосы, он гладко выбрит, высок и худ собой.

А н т и д ю р и н г (*желчно*). Здорово, Дюринг.

Д ю р и н г (*невероятно ошеломлен*). Здравствуйте... то-есть... простите, что-то не припомню... с кем имею честь?

А н т и д ю р и н г. Не помнишь? Ну, теперь запомнишь небось! Антидюринг я.

Пауза.

А н т и д ю р и н г. Вижу, пришел не зря. Ладно, давай, показывай писанину свою!

Брезгливо, кончиками пальцев берет со стола исписанный лист, читает, затем комкает его и швыряет на пол; долго и оглушительно смеется.

А н т и д ю р и н г. Bravo! Ай, шельма! О-хо-хо! Ха-ха-ха! Ох, насмешил! (*отдышавшись*) Как там у тебя? (*цитирует, кривляясь*) "... ни как чисто статическое, ни как динамическое... "То-есть, состояние, которого вообще понять нельзя! Лихо! (*снова разражается хохотом*) Баранья твоя башка! Ты, верно, держишь своих читателей за младенцев! Да и откуда им взяться, читателям-то? (*наподдав хорошенько комок бумаги ногой*) Бабушке своей чешую эту расскажешь, понял?

Д ю р и н г (*поблуднев*). Сходить и в самом деле навестить старушку?..

Вынимает пистолет и стреляет себе в висок.

У дверей в кабинет Ш е ф а Т а й н о й П о л и ц и и
сталкиваются д в о е, одетых в офицерскую форму.

Д а н т е с. Господин Мартынов! Мое почтение.

М а р т ы н о в. Господин Дантес! Мое почтение.

Раскланиваются. Двери распахиваются.

Ш е ф Т а й н о й П о л и ц и и (*в дверях*). Прошу вас, господа.

Проходят в кабинет.

Ш е ф Т а й н о й П о л и ц и и. Садитесь!

Все садятся, первым — Ш е ф.

Ш е ф Т а й н о й П о л и ц и и (*пододвигает коробку с сигарам*).
Курите.

О ф и ц е р ы торопливо хватают по сигаре, причем Д а н т е с незаметно пытается стянуть две штуки, но, встретив укоризненный взгляд Ш е ф а, ограничивается одной; берет сигару и Ш е ф; отрезает специальным ножиком кончик —

Д а н т е с с М а р т ы н о в ы м одновременно чиркают спичками о коробок, но у Д а н т е с а спичка сразу же гаснет.

Д а н т е с (*в сторону, с досадой*). Ку диавл!

Ш е ф Т а й н о й П о л и ц и и (*прикурив, М а р т ы н о в у презрительно*). Весьма признателен.

Мартынов (*деликатно*). Вы позволите? Ножичек-с?

Ш е ф делает глубокую затяжку и кивает головой.

О ф и ц е р ы также закуривают. Короткая пауза.

Ш е ф Т а й н о й П о л и ц и и. Итак, господа. Государь серьезно озачбочен (*выпускает дым*)... пф-ф... время идет, а дело стоит на месте! Две паскудные бумагомараки разгуливают, где только захотят и строчат новые мерзости. Вот, не угодно ли взглянуть?

Бросает через стол свернутую трубочкой рукопись.

О ф и ц е р ы читают, заглядывая друг другу через плечо.

Д а н т е с (*шепчет*). “О русский глупый наш народ, скажи, зачем ты в самом деле... “Ужасно, Ваше Превосходительство! Какая гнусность!

Ш е ф Т а й н о й П о л и ц и и. Пф-ф... пф-ф... остается на вашей совести, господин Дантес. (*осторожно кладет сигару в пепельницу*) Вам, наверное, неизвестно, что Государь Император посетил меня на днях? В таком случае, вам, конечно, неизвестна и тема нашей беседы. (*срываясь на визе*) “Я, — говорит, — не понимаю, барон!! Это третье отделение или, может быть, богадельня? Объяснитесь, барон!! “Понятно вам, ослы!! Богадель-ня!!

М а р т ы н о в и Д а н т е с (*перебивая друг друга и трепеща*). Помилуйте, Ваше Пре... помилуйте-с... сделаем-с... что вы...

Ш е ф Т а й н о й П о л и ц и и. Вон отсюда! Вон!!

О ф и ц е р ы в панике разбегаются; в спины им несется:

Неделя сроку!! В рядовые — и на Кавказ!!

Ш е ф Т а й н о й П о л и ц и и (*оставишись один, спокойно усаживается в кресло и затягивается сигарой*). Пф-ф...пф-ф...увидим теперь, господа поэты! (*после паузы*) Кто же остался еще? Гоголь... Стало быть, господин Гоголь, слишком знаменитый своим зубоскальством... Укрывающим, якобы, невидимые миру слезы... (*злоеще*) Ничего, любезнейший, мы научим вас плакать не в шутку-с!

В правом углу сцены — дерево; к одной из веток подвешен колокол; под деревом, свернувшись калачиком и мирно посапывая, спит Г е р ц е н.

В противоположном углу — скамейка, на которой сидит Нищий и лузгает семечки; недалеко от спящего — четверо Гимназистов, что-то тихо между собой обсуждающих. Расталкивая Гимназистов, к Герцену пробирается Человек в Шинели.

Человек в Шинели (*пиная спящего сапогом*). Эй! Будет тебе дрыхнуть, вставай! Все проспидишь.

Герцен издает протестующий звук.

Человек в Шинели (*пиная*). Протри зенки-то. Нечего. нечего тут.

Герцен пробуждается, ословело глядит по сторонам, зевает и потягивается.

Человек в Шинели. Я тороплюсь, к сожалению. Но ты смотри — не подкачай.

Уходит.

Герцен (*позевывая*). Да... милостивые государи... потерпел-таки за правду... эээ... познал в избытке, какая она, пята самодержавия... что такое застенки, изведаль... Как вспомнишь — ночные смены караулов — специально подстроили так, чтобы они происходили прямо под моим оконцем (*потягивается*) — жуткий топот сапожищ... (*печально*) с наступлением темноты, господи, я не в состоянии был заниматься, читать — мне не давали свечей! Вообразите... Да-а... как вспомнишь все эти ужасы — так и содрогнешься невольно. А потом поневоле подумаешь — неужли и потомкам нашим в эдакой кунсткамере жить придется? — и пуще прежнего содрогнешься. Как тут не ударить в колокол?

Хватает веревку и звонит

Колокол. Бом-м! Бом-мм! Бом-ммм!

Оживление среди Гимназистов.

Первый Гимназист. Чу! Слышите?

Прислушиваются.

Нищий в противоположном углу продолжает беззаботно щелкать семечки.

Второй Гимназист. Да. Пробил час. (*взволнованно*) У нас все готово?

Третий Гимназист. Ахнет так, что только перья полетят.

Четвертый Гимназист. Запал, запал вставляй! Сюда! Да не тем концом!

Второй Гимназист. Наше дело правое (*принимает из рук Третьего Гимназиста сверток*). Ну, так что? Пойду я ее, пожалуй, кину?

Третий Гимназист (*радостно*). Дернешь за колечко, и абзац Николашке.

Первый Гимназист (*горячо*). Обнимемся, товарищи... Кто знает...

Обнимаются.

Второй Гимназист (*удерживая слезы*). Брат у меня там... посмотрите, если что... смысленный растет парнишка...

Четвертый Гимназист. Не беспокойся, Александр. Брат твой попадет в надежные руки.

Второй Гимназист. Прощайте, не поминайте лихом...

Гимназисты (*все, хором*). Мы — победим!

Появляется Государь Император в сопровождении

Жандармов и Шефа Тайной Полиции.

Второй Гимназист (*подбегая к Императору и пытаясь кинуть в него бомбу*). Получай, тиран!

Шеф Тайной Полиции (*вцепившись Гимназисту в руку, хладнокровно*). Не торопитесь, молодой человек.

Первый Гимназист. Ай, пропал Сашка!

Гимназисты рассыпаются — кто куда.

Шеф Тайной Полиции. Жандармы! Запал вытащить, преступника связать, остальных — изловить!

Жандармы принимаются за дело; общая суматоха; постепенно на сцене остается один только Нищий и откуда-то взявшийся Николай Гаврилович со швейной машинкой “Зингер”.

Николай Гаврилович (*зрителям*). Граждане! Я тут швейную машинку достал... Теперь мы все будем работать, заживем дружной коммуной и построим новое общество.

Ставит машинку на землю и подает Нищему руку.

Николай Гаврилович. Брат мой! Пойдем в швейные мастерские!

Нищий.!

Встает с лавки и уходит.

Николай Гаврилович. Подожди, брат! Давай разберемся!

Подхватывает машинку и устремляется вслед за Нищим.

Фасад здания; у парадного стоит Вера Павловна.

Вера Павловна (*стонет*). Как болит голова! Как болит голова! А спать — страшно. Опять чего-нибудь приснится (*вздрагивает*). Что это за дом? Знакомое место... Ах, да, здесь снимает комнату этот странный,

непонятный человек. Зайти разве? Вдруг он посоветует что-нибудь... Как болит голова.

Скрывается в парадном.

В е р а П а в л о в н а — в убогой, тесной комнатухе. Она только что вошла и не успела увидеть Р а х м е т о в а, который сидит в самом уголке на табуретке, засунув в розетку два пальца; весь синий и трясется.

В е р а П а в л о в н а. Я стучалась, но никто не отвечал... Дверь не заперта...

Замечает Р а х м е т о в а.

В е р а П а в л о в н а (*с ужасом*). Что это такое, помилуйте, Рахметов?

Р а х м е т о в (*трясаясь*). П-п-п-роба... Н-н-н-н-уж-жно... Н-не-п-п-п-рав-д-д-доп-п-п-од-д-д-добн-но к-конеч-но... од-днак-ко-ж-же... н-н-н-а всяк-к-к-кий с-случ-чай...н-н-нужно...в-вижу м-мо-мо-гу... В-вы к-к-к-ста-ти... П-п-п-омогите... р-руку...

В е р а П а в л о в н а (*бросаясь к Р а х м е т о в у*). Сейчас, сейчас, голубчик!

Р а х м е т о в. С-с-с-с-той-те!! Э-э-э-л... п-п-п-пер-чат-перчатки н-на с-с-толе...

В е р а П а в л о в н а надевает резиновые перчатки и высвобождает руку Р а х м е т о в у.

Р а х м е т о в (*спокойно*). Благодарю. Однако, зачем вы здесь?

В е р а П а в л о в н а. Меня мучают кошмары, Рахметов, голова раскалывается... нельзя ли сделать что-нибудь?

Р а х м е т о в. Что ж. Услуга за услугу. Вот адрес (*подсаживается к столу и пишет на бумажке*), сходите. Человек толковый.

В е р а П а в л о в н а в кабинете Про ф е с с о р а.

Про ф е с с о р усаживает ее в кресло.

Про ф е с с о р (*устремив на В е р у П а в л о в н у проницательный взгляд*). Чем могу служить, фрау?

В е р а П а в л о в н а (*нутаясь*). Понимаете, профессор... Кошмары... Просто боюсь заснуть... голова болит мучительно...

Про ф е с с о р. Вид у вас действительно нездоровый... Но продолжайте, прошу вас.

В е р а П а в л о в н а. Не знаю, как и быть... рассказала миленькому, а он только посмеялся...

Про ф е с с о р. Миленькому?

В е р а П а в л о в н а (*краснея*). Так называю я мужа...

Про ф е с с о р. Понимаю, фрау. Успокойтесь (*наливает в стакан воды*

из графина). Вот, выпейте.

В е р а П а в л о в н а пьет, а он, тихо приговаривая “так-с, замужем “, что-то помечает в блокноте.

П р о ф е с с о р. Поведайте мне ваши сны, ничего не тая, абсолютно ничего, слышите! — полная откровенность — условие неперемное — а я разьясню, в чем их смысл, и вам тогда станет легче.

В е р а П а в л о в н а. Сначала все мерещился подвал... потом поле...

П р о ф е с с о р (*подавшись вперед*). Так-так. А в поле, конечно же, столбы?

В е р а П а в л о в н а. Н-нет, ничего такого...

П р о ф е с с о р (*задумчиво*). Что ж, подвал — тоже кое-что (*помечает в блокноте*). Продолжайте, пожалуйста.

В е р а П а в л о в н а. И снилось мне: идет по полю — не то англичанка, не то — немка, а скорее всего — француженка, идет и светится вся — красивая-красивая... и добрая такая...

П р о ф е с с о р. И что она вам говорила?

В е р а П а в л о в н а. Говорила, что невеста своих женихов, а женихов у нее много, но будет еще больше, и зовут ее — любовь к людям.

П р о ф е с с о р. Весьма, весьма любопытно. Это многое проясняет, фрау (*помечает в блокноте*). Скажите (*вкрадчиво*), вы не обратили внимания — она вам никого не напомнила? Мужа, например? или другого знакомого мужчину?

В е р а П а в л о в н а. Нет.

П р о ф е с с о р (*значительно*). А не напомнила ли она вам — вас же?

В е р а П а в л о в н а (*растерянно*). Да вроде бы нет... Погодите... А! Сестра ее, зато... из следующего сна... та действительно...сама даже сказала — я, мол, это — ты, а ты — я.

П р о ф е с с о р (*победно откинувшись на спинку стула*). А-а! Теперь все встало на свои места! Я с самого начала заподозрил: у вас, моя милая, ярко выраженный нарциссов комплекс. Дело в том, фрау...Извиняюсь, имя ваше и отчество?

В е р а П а в л о в н а. Кирсанова, Вера Павловна Кирсанова.

П р о ф е с с о р (*перекосясь*). Что?! Вера Павловна? Та самая? из мастерских?

В е р а П а в л о в н а (*нервно*). И что же?

П р о ф е с с о р (*гневно*). Ведь целый час голову морочила! Сказали бы сразу. Я вам помочь бессилен.

В е р а П а в л о в н а (*заламывая руки*). Но почему, профессор?

П р о ф е с с о р (*холодно*). Нипочему. Мой вам совет — обратитесь к учебному пособию по литературе за восьмой класс. Я же, еще раз повторю, ничем помочь вам не могу.

Дворец Государя Императора. По зале прохаживаются, беседуя,
Ф. М. Достоевский с Победоносцевым.

За одной из колонн спрятался известный в своих кругах литературный критик
В. Е р м и л о в, доктор разнообразных гуманитарных наук.

П о б е д о н о с ц е в (*заговорищники подмигивая, ележно*). Так не забудете, Федор Михайлович? Насчет Зосимы-то. Вставьте обязательно. Без Зосимы и роман — не роман.

Д о с т о е в с к и й. Всенепременно, господин Победоносцев, не извольте беспокоиться.

Е р м и л о в (*высовываясь из-за колонны, трагически*). Лидер дворянской реакции, злобный и коварный душитель всего живого и честного на Руси, учит Достоевского сочинять романы! И Достоевский прислушивается к советам этого обер-лакея!

Во время монолога Е р м и л о в а П о б е д о н о с ц е в,
попрощавшись с Д о с т о е в с к и м, уходит.

Е р м и л о в (*развязно*). Федор Михайлович, позвольте на пару минут.
Д о с т о е в с к и й. Что вам угодно, сударь?

Е р м и л о в. Эх! Окрутила реакция вас, Федор Михайлович! Окрутила! А как начинали? “Униженные и оскорбленные “! Макар Девушкин! Что за сила страстной любви к забитым людям?! Любви, которой пронизаны лучшие страницы “Преступления и наказания “! Как начинали — и чем кончаете!

Д о с т о е в с к и й. Да как вы смеете?

Е р м и л о в (*невозмутимо*). Смею — я говорю от лица миллионов. Эх, вы... докатиться под старость лет до церковнического романа! А разная мразь и по сей день использует его в своих темных целях. (*укоризненно*) Носитесь с богом своим, как с писаной торбой: Митьку хотя бы вашего взять. Как же, дескать, человек добродетелен-то без бога будет — всю дорожку не перестает сокрушаться этот надуманный персонаж! А сам-то! Ну, верует он, и что? Второго такого мерзавца поискать еще надо!

Д о с т о е в с к и й. Да если Бога нет, тогда какой же я, к чертовой матери, писатель!?

Е р м и л о в. Вот именно тогда-то и вышел бы из вас крупный реалист. Почему вы избегаете нас? А ведь не за горами то время, когда уж более не прольется ни одна слезинка замученного ребенка — исключительно благодаря нашим стараниям.

Д о с т о е в с к и й (*мрачно*). Вот как?

Уходит.

Е р м и л о в (*горько*). Не иначе, сейчас за “Бесов “засядет. Скверный все-таки человек. (*подумав, убежденно*) Архискверный!

Г о л о с Д о с т о е в с к о г о (*за сценой, мрачный*). А вашим, впрочем,

передайте — пусть зря не ждут. В Америку, де, барин поехал — так и передайте!

Е р м и л о в (*возмущенно*). Как? В Америку! Следовало ожидать, следовало предвидеть — таковы-то вы все на деле, господа правдолюбы и богоносцы!

Лавочка со знакомым нам Н и щ и м.

Появляется Л.Н. Т о л с т о й — просто одетый старик с длинной бородой, под мышкой несет огромное, немного кривое, зеркало. Обращается к Н и щ е м у.

Т о л с т о й (*задушевно*). Что, мил человек, не сладко, я чай, в городе-то? На вот тебе копеечку.

Свободной рукой достает монетку и отдает Н и щ е м у.

Н и щ и й. Спасибо. Дай вам Бог здоровья, барин.

Т о л с т о й (*назидательно*). Какой я барин? Такой же человек, как ты. А ты вот что, скажи лучше: винишком, небось, балуешься?

Н и щ и й. Что греха таить, случается.

Т о л с т о й. Да ведь дурно это?

Н и щ и й. Дурно.

Т о л с т о й (*растроганно*). Не будешь больше?

Н и щ и й. Пора завязывать.

Т о л с т о й (*светясь*). На тебе копеечку.

Н и щ и й (*с воодушевлением*). Табакокурение тоже вот бросаю.

Т о л с т о й. Ну?! (*дает еще копейку*) Ты человек неплохой. Что только тебе в городе делать? Ступай назад, к земле. Там обретишь счастье свое.

Н и щ и й. Это вы верно говорите. Это так оно и есть...

Подобострастно глядя на Т о л с т о г о, протягивает ладонь за новым подаванием — но Т о л с т о й, прослезившись от умиления, этого не замечает; утирая слезы, направляется за кулисы. Навстречу выскакивает Н е к т о Б е з у м н о г о В и д а, с гривой спутанных волос и начинает размахивать руками.

Н е к т о Б е з у м н о г о В и д а (*истерически*). А-ха-ха-ха!!!

Т о л с т о й (*пренебрежительно*). Он пугает, а мне не страшно.

Звучат первые такты Интернационала.

Входит В.И. Л е н и н.

Л е н и н (*прищурившись, насмешливо*). Разрешите пройти, господа интеллигенты? У меня небольшое дельце к вон тому человеку (*указывает на Н и щ е г о перстом*).

Н е к т о Б е з у м н о г о В и д а сразу умолкает, как-то в миг растеряв все свое безумие, и покидает сцену вместе с Т о л с т ы м.

Л е н и н (*Н и щ е м у*). Какой губернии? Вятский?

Н и щ и й. Коломенские мы.

Л е н и н (*весело*). Как же, бывал там, бывал. Красивые места. Звать-то тебя как?

Н и щ и й. Кузьмою.

Л е н и н. Как смотришь, Кузьма, на такую штуку: вся власть — Советам, земля — крестьянам?

Н и щ и й (*подумав*). Оно бы ничего, конечно... (*скребет в затылке*) Только как еще Фрол Фомич решат?..

Л е н и н (*живо*). Фрол Фомич? Кто таков?

Н и щ и й. А вон они...

Проследив за взглядом К у з ь м ы, В.И. Л е н и н в углу сцены видит
жирного З а ж и т о ч н о г о К р е с ь т ь я н и н а,
молча грозящего в их сторону кулаком.

Л е н и н (*со смешком, не предвещающим Ф р о л у Ф о м и ч у ничего хорошего*). Наел пузо ваш Фрол...

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Занавес поднимается. Темнота.

Г о л о с (*ликующий*). Буря! Пусть сильнее грянет буря!!

Зажигается свет. Имение Г р а ф а П р о с п е р о в а. Г р а ф восседает в роскошном кресле, положив ноги на стол; на специальном столике рядом с креслом — бутылка водки, стакан и тарелка с селедкой.

Г р а ф П р о с п е р о в. Революция — поллюция... да плевать я хотел на ихние революции! Плевать! (*выпивает стакан водки, закусывает; про-жевав*) Пусть себе беснуются, а мы будем веселиться. (*хлопает в ладоши*) Палашка!

Появляется П а л а ш к а, смазливая бабенка.

П а л а ш к а. Звали-с, барин?

Г р а ф П р о с п е р о в. Звал.

Молчание. Г р а ф кидает на П а л а ш к у сальные взгляды;
она встречает их, не краснея.

Г р а ф П р о с п е р о в (*себе*). Черт возьми, девчонка свежа, как наливное яблочко! Прелесть! (*П а л а ш к е*) Затопишь сейчас баню и сиди там — жди меня. Наташку не забудь позвать — дескать, барин познакомиться с ней желает (*хохочет*) поближе. Ну, ступай. Или нет, подойди-ка, чего скажу.

П а л а ш к а подходит; П р о с п е р о в шиплет ее за грудь.

П а л а ш к а (*хихикая и вырываясь*). Пустите, барин, какие вы... Пустите, все равно же в баню пойдём...

Г р а ф П р о с п е р о в. Ладно, ступай.

Вдгонку шлепает ее по заду. П а л а ш к а уходит.

Вдруг, таинственным образом, перед Г р а ф о м П р о с п е р о в ы м возникает П р и з р а к К о м м у н и з м а, на все головы которого надеты нелепые карнавальные маски.

Г р а ф П р о с п е р о в (*в ярости*). Эй, ты, уродина, откуда ты взялась?!

П р и з р а к К о м м у н и з м а молча кружится по комнате в вальсе.

Г р а ф П р о с п е р о в (*в совершенном бешенстве*). Люди!! Сюда!! Поймать эту гадину и сорвать с нее маски, чтобы мы знали, кого поутру на славу попотчует березовой кашей!

П р и з р а к снимает маску с первой головы.

Г р а ф П р о с п е р о в. Ай!

П р и з р а к снимает маску со второй головы.

Г р а ф П р о с п е р о в. Ой!!

П р и з р а к снимает маску и с третьей головы.

Г р а ф П р о с п е р о в. Уй!!!

Падает на ковер, мертвый.

Кабинет И л ь ч а в Смольном. На стенках развешаны плакаты: “Учение Маркса всесильно, потому что оно верно “и “Учение Маркса верно, потому что оно всесильно “. И л ь ч сидит за столом и сочиняет декреты.

Входит Г о р ь к и й.

Г о р ь к и й. Здравствуйте, Владимир Ильич.

Л е н и н. Здравствуйте, Алексей Максимович. Вы вовремя — сейчас чай будем пить. А какой рыбкой угошу! Прислали из Астрахани. (*сердась*) Присылают, точно барину. Как отвадишь? Отказаться, не принять — обидишь. Передаю, конечно, в детские дома. Но рыбку вот не успел еще отдать.

Г о р ь к и й. А я к вам, Владимир Ильич, опять с просьбишкой.

Л е н и н (*уклончиво*). Да... Открыл я недавно, Алексей Максимович, Толстого... Какая глыба,а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник. Кого в Европе можно поставить рядом с ним? (*потирает руки*) Некого! (*довольно смеется*)

Г о р ь к и й. Некого. (*настойчиво*) Я, собственно, хотел бы выяснить...

Л е н и н (*не обращая внимания*). Или вот Appassionata. Ничего не знаю лучше. Готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая

музыка (*сощурившись, усмехается*). Но часто слушать музыку не могу, на нервы действует. Хочется милые глупости говорить, людей гладить по головкам — которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. (*наставительно*) А сегодня гладить по головке, Алексей Максимович, нельзя никого: руку откусят. И надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, адски все-таки трудная должность.

Г о р ь к и й (*настойчиво*). Так я насчет одного поэта...

Л е н и н (*сердито*). Слышали уже!.. Не кажется ли вам, батенька, что вы занимаетесь чепухой, пустяками? Какой он там поэт — этого я не знаю, не компетентен, а вот то, что негодий первостатейный — это мне известно хорошо. Феликс Эдмундович третьего дня докладывал, что раскрыл крупный контрреволюционный заговор. И ваш служитель муз оказался не последней фигурой в подготовке мятежа.

Г о р ь к и й (*поблуднев*). Третьего дня!.. Значит...

Л е н и н (*участливо*). Опоздали вы, Алексей Максимович... (*философски*) раз на раз не приходится... ничего! сегодня опоздали, завтра, может, в аккурат поспеете... Давайте-ка, батенька, лучше чай пить.

За учебной кафедрой — Е р м и л о в, перед ним — конспект.

Е р м и л о в обращается в зрительный зал.

Е р м и л о в. Сегодня, дети, мы познакомимся с основами великой, замечательной науки. Она называется марксизм-ленинизм. Один немец как-то сказал: “Теория суха, мой друг, а древо жизни вечно зеленеет “. Наше учение, в отличие от всех других, зеленеет вечно. Марксизм не догма, а руководство к действию. Запишите. Его суть составляет следующее: Принцип Диалектики, Закон Отрицания Отрицания и Переход из Количества в Качество. А так же : Бытие Первично, Сознание — вторично. Запишите. Когда вы повзрослеете, то поймете, какая невероятная мощь кроется в этих, вроде бы не таких и уж мудреных, правилах. С их помощью можно сокрушить в идеологическом споре любого врага, разрушить любую стену, и вообще объяснить и доказать все, что угодно. А теперь, дети, запишите предложение: “Буржуазные философы, фальсификаторы науки, утверждают, что материя непознаваема. Это — ложь, в противном случае не бороздил бы просторы Северного Ледовитого Океана первый в мире атомный ледоход, на борту которого начертано имя великого вождя — “Ленин “, а он, как всем известно, бороздит. “Предложение уникальное, вот в каком смысле. Если попробовать спрессовать весь марксизм-ленинизм в одну фразу, то как раз и получится только что вами записанная. Она является как бы квинтэссенцией непобедимого нашего учения. Советую заучить ее наизусть. Кстати, скажу несколько слов по поводу искусства. Как и все на свете, оно подчиняется законам марксизма-ленинизма

и обязано быть партийным. Главная наша линия в его развитии — укрепление связи с жизнью народа, правдивое и высокохудожественное отображение богатства и многообразия социалистической действительности, вдохновенное и яркое воспроизведение нового, коммунистического, и обличение всего того, что противодействует движению общества вперед. Естественно, подлинных своих высот у нас в стране искусство достигло только после революции. Раньше же... ну, что нужно сохранить — мы сохраняем... но художникам капиталистического прошлого никогда не удавалось создать истинно народное произведение. Рассмотрим, например, поэму Александра Блока “Двенадцать “. Оставляет она все же какое-то ощущение двусмысленности, и это при том, что поэт принял революцию, что называется, с распростертыми объятиями. Зачем — возникает сразу вопрос — появляется Христос в белом венчике из цветов? На каком основании шествует он впереди наших?.. Даже сам автор затруднялся дать на него ответ. А ларчик, между тем, открывается просто, ребята! Христос для Блока — символ справедливости и доброты. Буржуазное бытие определило сознание поэта далеко не лучшим образом. Изучи он работы Энгельса, Маркса и Ленина о религии — финал поэмы мог бы, да что там мог, стал бы непременно — иным. Хороша была бы следующая концовка: “В белом венчике из роз — Луначарский-наркомпрос “. Просто и понятно.

Пустая, без декораций, сцена. По произвольным траекториям бродят разные люди в шляпах. У всех на лицах написана озабоченность. Вот двое подходят к краю сцены.

Первый (*приподнимая шляпу*). Здравствуйте, господин Гегель.

Второй (*приподнимая шляпу*). Здравствуйте, господин Фейербах.

Первый. Как ваши дела, господин Гегель?

Второй (*печально*). Так себе, господин Фейербах. Какие у нас теперь могут быть дела?

Первый. Прекрасно понимаю вас, господин Гегель. Мы с вами оказались в положении человека, у которого, к примеру, украли сервант — вещь добротную, хотя и не самую в доме дорогую. Но самое обидное, что воры не прячутся по углам, а напротив, на каждом перекрестке похваляются, какой замечательной штукой обзавелись, притом выдавая ее за ценнейшее из того, что можно было взять.

Второй (*печально*). Вы абсолютно правы, господин Фейербах. В результате сложилось мнение, что у нас в квартирах ничего, кроме сервантов, и не было.

Первый. Поражает и то, как они пользуются этим добром: дверцами топят печку, орудуют ножками вместо шпaga — словом, делают что угодно, только не хранят в серванте столовое серебро и посуду.

Второй. И все же, господин Фейербах, наша доля еще не из худших. Посмотрите-ка на господина Канта (*смотрят на человека, с потерянными*

видом описывающего по сцене кругу). Совсем скукожился старик. Вот вам и критика чистого разума...

Первый. Да... нынче любой юнец в порошок ее сотрет, вооружившись до зубов вашей диалектикой...

Второй (слегка поклонившись). ... и вашим материализмом. Но и судьба господина Канта для многих навсегда осталась мечтой. (указывает на проходящего мимо человека)

Первый (с любопытством и сочувствием — Проходящему). Извините, что позволяю себе вмешаться — у вас горе? На вас просто лица нет. Могу я чем-нибудь помочь?

Проходящий (горестно). Никто и ничто не спасет меня. Если бы вы знали, кто я, то не задавали таких вопросов.

Первый. Кто же вы?..

Проходящий (угрюмо). Датский мракобес Кьеркегор.

Купе в вагоне поезда: Зажиточный Крестьянин,
Недобитый Белогвардеец, переодетый красногвардейцем и
Представитель Антанты.

Представитель Антанты. Насколько я понимаю, господа, цели у нас совпадают... Задушить в зародыше (делает руками движение, будто скручивает кому-то шею) ... поэтому нет смысла скрывать что-либо друг от друга. Лично я задумал покушение на ГОЭРЛО и сейчас еду в Петербург — может, удастся загнать пяток-другой бракованных турбин... один крупный большевистский чин, а в действительности, глубоко наш человек, обещал посодествовать.

Зажиточный Крестьянин. У меня в Смольном — тоже свой дядя. Как-то говорил — станет немого, милости прошу ко мне, что-нибудь придумаем. А куда уж хуже — хлеб отняли, коров обобществили, поганцы... (с ненавистью) Эти строят... колхозы, голь бесштанная.

Недобитый Белогвардеец. Меня командование уполномочило — вступить в тайные переговоры с неким господином Троцким...

Зажиточный Крестьянин и Представитель Антанты (одновременно):

Крестьянин. Так это он и есть, благодетель!

Представитель. Наш человек в Питере!

Телеграфный пункт в Бресте. У телеграфа — Троцкий
(гнусного вида личность).

Троцкий (просматривая ленту, выползающую из аппарата). "... немедленно заключайте мир. Нам нужен мир на любых условиях". Хе! Что-то подписи не разберу никак (заливаясь мелким отвратительным смешком). Не то Ленин, не то Сталин, не то оба сразу... Впрочем, какая разница... (опять смеется — по-прежнему мелко и отвратительно, так как

по другому не умеет, и начинает выстукивать ответ) “Петербург... Смольный... Ни мира, ни войны! “ — и чтобы вы все подавились!

Два пожилых человека азиатской наружности, в халатах и тюбетейках.
В руках — домбры.

Первый (*со злобой, смешанной с удивлением*). И ты здесь!?

Второй (*точно так же*). И ты здесь?!

Первый (*с сарказмом*). Как же ты попал сюда, аксакал?

Второй (*гордо*). Гомер двадцатый века (*тыкает пальцем себе в грудь*).

Горький говорила...

Первый опешил и молчит. Второй перебирает струны и негромко напевает.

Второй. Колхоз на правильном пути, ты помогай ему расти, дорогой Ленинской иди — в пути не отставать старайся!

Первый (*придя в себя и яростно ударив по струнам, завывает*). Вокруг меня толпится народ, все называют меня бюл-бюль!! (*по-казахски “бюл — бюль “означает “соловей “*)

Второй (*возвысив голос, скороговоркой*). Ты урожаем убрать старайся. Один — так учит Сулейман (*чуть приседает, обозначив, что Сулейман — именно он*) — лишь капля. Все мы — океан!

Первый (*пытаясь заглушить коллегу*). — Спой, — говорят они, — твой черед! Все, что на сердце, излей, Джамбул.

Второй, не утерпев, отбрасывает домбру и налетает на Первого.

Второй. Орел, да?! Орел?!!

Первый (*тоже кидая домбру*). Орел!!!

Потасовка.

Занавес медленно опускается и гаснет свет. Звучит траурный марш.

Группа Далеких Голосов. Горе! Беда!

Общий скорбный стон.

Голос Первый (*исполнен печали*).

До нашего далекого края, к берегам мелководной Юконды,

Докатилась весть печали: Дедушка Ленин умер.

Умер, добрый, как солнце, Нам подаривший счастье.

Плачут охотники манси, плачут их жены и дети.

(*Захлебывается в рыданиях*).

Голос Второй (*с надрывом*).

Посадил кусточек я, Возле дома ивы куст.

Сам ходил за ним, сметал листок опавший.

Пауза.

Г о л о с В т о р о й (*с невероятной тоской*).

Тяжко, тяжело было нам, Как скончался Ленин-друг,
Наш учитель, мудрый вождь, Путь нам указавший...

Вой и плач со всех сторон усиливаются и, достигнув максимума,
постепенно затихают.

Г о л о с Т р е т и й (*энергично, мощно*). Идеи Ленина — бессмертны!
Дело Ленина — продолжается! Ленин — жил, Ленин — жив, Ленин —
будет жить!!

Москва Январь 1987 г.

КОНЕЦ

МИНУТЫ РОКОВЫЯ

фарс в одном действии

для чтения

Поперек занавеса — огромными буквами — надпись: П. П. ШОУ.

Занавес раздвигается. На сцене — стол, обильно заставленный изысканной снедью и выпивкой. За столом расположились сливки общества. Сейчас они будут представлены ведущим передачи — П о с т ф а к т у м - П о с т с к р и п т у м о м, именуемым в дальнейшем для краткости просто П и - П и . А вот и он сам, бодро подпрыгивая, появляется из-за кулис. В одной руке держит микрофон, в другой — бокал, наверняка с шампанским. Одет в хорошо пошитый черный костюм. При галстукe, но не бабочкой. Средних лет, с благородной эллиптической плешью в обрамлении благородных же седин. Весьма развязен.

Говорит ненатурально,
нарочито взвинчено.

П и - П и . Дорогие телезрители! Рад приветствовать вас в прямом эфире! Сегодня у нас в гостях — да вы и сами видите, кто! Сии, фигурально выражаясь, киты и столпы готовы отвечать в течение часа на ваши, уважаемые зрители, вопросы. Запишите контактные телефоны (*диктует, не забывая между делом потягивать шампанское*). Букет отменный... Все же, шампанское наше выше всяких похвал и здесь я патриот безукоризненный... Однако, приличия требуют представить наших гостей. Пустая формальность, ведь их знает каждый. Но долг хозяина обязует. Начнем, разумеется, с дамы. У нас в студии — отец, а точнее, мать города — очаровательная госпожа Кушкускина, прошу любить и жаловать!

Полная женщина непонятого, благодаря ухищрениям косметологов, возраста, встает и раскланивается. Аплодисменты присутствующих. На ней какое-то доуродливости дерзкое пятнистое платье — непременно от лучших портных; на это безошибочно указывает самая его уродливость. Прическа К у ш к у с к и н о й являет хорошо обдуманый хаос.

К у ш к у с к и н а (*неожиданно зычным басом, тем не менее, жеманно*). Ах, Пи-Пи! Вечно ты вот наплетешь всего — аж уши вянут.

П и - П и . Ну-с, номер два! Популярнейший наш, знаменитейший наш сочинитель, золотое перо наше — Альберт Лебядкин! Поприветствуем! Бестселлеры “Не ходите, девки, замуж “, “И спереди и сзади “, “Аристократический ребенок “ — покорили весь мир!

Л е б я д к и н , полируя ногти специальной пилочкой, не удосужившись приподняться, слегка кивает головой. Одет по-писательски запросто: демократические джинсы, бархатный пинжачишко. Строен и холен, в частности,

холеные усики. Как позже выяснится, голосок у него пискляво-противный. Все же, подобно большинству из собравшихся, Л е б я д к и н пытается говорить веско и значительно: вещать. В глубине, правда, за этим фасадом кроется фальшь и вечный страх удачливого жулика. Отсюда — незапные и многочисленные паузы в разгар лихих дискуссий; нередко оживленная беседа прерывается томительным, минутным почти молчанием, когда участники только беззвучно открывают рты, либо тревожно переглядываются.

П и - П и. Далее! Доктор философских и экономических наук, профессор Констриктор! Надеюсь, сегодня мы получим исчерпывающую информацию о ходе реформ — из первых, так сказать, рук... или уст? Неважно. Как, профессор? Можно надеяться?

Ответа нет. Госпожа К у ш к у с к и н а деликатно подталкивает локотком соседа, лысого старичка в помятой тройке и с хрестоматийной бородкой клинышком; тот, погруженный якобы в свои государственные мысли, что-то царапает в блокнотике.

К о н с т р и к т о р (*встрепенувшись*). А? Что? Что такое?

П и - П и (*благодушно*). Дает профессор! Ну, за экономику я спокоен. Вы, верно, ночей не спите — все работаете? Все думаете? Мыслите все? (*плутувано*) И что же, госпожа Констриктор поощряет?

К о н с т р и к т о р (*подумав, многозначительно*). Как древние говорили, чего хочет бог, того и женщина.

Наступает одна из пауз, оговоренных выше. К о н с т р и к т о р застывает с открытым ртом и самодовольствие, щедро разлитое по всей его физиономии, понемногу сменяется испугом. Непродолжительный, зато всеобщий, паралич. Дальнейшие повторения этой или схожей с ней сценки — обязательны. Впрочем, и злоупотреблять ими не следует — на ваш вкус.

П и - П и (*оправившись*). Браво, профессор! Наслышан был о вашей эрудиции, но так вот столкнуться с ней лоб в лоб... Слегка подавляет спервоначала. Феноменально!

К о н с т р и к т о р (*с вновь обретенным самодовольством*). На языке оригинала эта фраза звучит красивее...

П и - П и. Конечно, конечно. Но я вижу, бокал ваш пуст... Так не годится. Павлуша, будь добр...

При этих словах симпатичный юноша, опрятный и отглаженный, проворно вскакивает и секундой позже уже наливает К о н с т р и к т о р у из пузатой бутылки, подкладывает затем что-то лакомое К у ш к у с к и н о й. Все делает, непрерывно улыбаясь.

П и - П и. Вот кстати о Павлике. Здесь такая получилась история. Иду сегодня в студию, а жарко — пить охота. До невозможности охота пить. Хорошо, на улицах свободная торговля процветает — и пивом в том чис-

ле. Благодетели! Замечу в скобках: и если какой-нибудь оборотистый малый с утра пораньше подсутился, сгонял в магазин, а то и на завод, купил пивка там, а после делает на этом деньги — не вижу ни крупницы криминала. Типичные рыночные отношения. Да... иду, значит, солнцем палимый и жажду. Дай, думаю, куплю бутылочку. Смотрю, паренек один торгует — так он чего выдумал, самородный наш Карнеги! Бутылку достает из ящика и чистым белым платком протирает — сервис почти-что западный! А улыбается — во всю ивановскую! У такого — и не захочешь, а купишь. Естественно, торговля бойкая у пацана...

П а в л и к улыбается с неистойвой силой; возникают опасения за целостность его физиономии.

П и - П и. Познакомились с Павлухой, и пригласил я его на передачу, потому Павлик этот — наше, надеюсь светлое, будущее, а пообщаться с будущим кому не интересно! Один, что ли, ученый не слишком ласково детишек называл дурною бесконечностью. Не знаю, чего не понравилось старому злыдню... но вот гляжу на Павлика (*глядит; пауза*)... гляжу и думаю: когда же у тебя, негодник, морда трес... фу! то-есть думаю: на данном этапе бесконечность наша отнюдь недурна. Отнюдь.

Аплодисменты.

П и - П и. Подошел черед представить спонсора нашей передачи, господина...

Встает высокий мужчина в смокинге и шелковой маске. На пальцах сверкают кольца и перстни во многия караты. Во рту — сигара.

М у ж ч и н а в м а с к е (*цедит, не вынимая сигары*). Допустим, господин Икс.

Внезапно за его спиной возникают двое дюжих парней в военной форме, замыкаемые точной иксовской копией (смокинг, маска, перстни и даже сигара). Дюжие парни ловко набрасывают на голову господину И к с мешок, заламывают руки и уводят, слегка дымящегося, за кулисы; откуда доносится затем короткий вскрик. Копия занимает пустующее место. Все совершается в несколько секунд.

М у ж ч и н а в м а с к е (*как ни в чем не бывало*). Вернее, господин Игрек.

П и - П и (*любезно*). Да, да, понимаю. Государственные интересы требуют подчас блюсти инкогнито. Так-с. Вроде бы, все. Никого не пропустил. Намекну, что, несмотря на сугубую занятость, нас посетит, возможно, сам господин Президент. В принципе, договоренность была достигнута...

Появляется почти голая девушка и передает П и - П и папку.
Уходит, покачивая бедрами.

П и - П и. О! Поступили, стало быть, первые вопросы. Что же, господа, давайте работать.

Просматривает содержимое папки.

П и - П и. Вопросов масса! И один интереснее другого! Особенно домогаются нашего блистательного мэра. Спрашивают, например, отчего это вы, мадам, будучи популярной эстрадной певицей, забросили вдруг сцену и ударились в политику.

К у ш к у с к и н а (*весело*). Я и сама себя об этом часто спрашиваю. Ха-ха. Шутка, конечно. (*серьезным тоном*) Я всегда любила свой народ, любила слишком. Несла ему песней радость и веру, помогала выдавливать тысячелетнего раба, пусть по капле, но помогала. Но никогда меня не оставляло чувство, что могу сделать для народа больше, еще больше. И как только благоприятная возможность представилась, я поспешила ею воспользоваться — не ради там власти или денег, нет — ради народа. И если найдется более достойный — милости просим! Я с радостью уступлю ему место. В отличие от своих предшественников, этих мерзких мздоимцев, гадких властолюбцев и вопиюще некомпетентных бюрократов — мне есть куда податься. Эстрада ждет меня всегда. Вернусь и снова запою (*напевает мечтательно*): я вам спою еще на бис...

П и - П и. Вы помянули некомпетентных бюрократов. А лично ваша компетенция насколько простирается?

К у ш к у с к и н а (*осторожно ударяя себя в пышную грудь*). Моя компетенция — это сердце. Большое и бескорыстное сердце, полное любви к народу и, соответственно, ненависти к его врагам. Кроме того, удалось набрать команду толковых, преданных делу людей. Среди них имеется даже один фокусник.

П и - П и. Спасибо. Еще, вот, интересуются — конкретно: что проделано за последнее время.

К у ш к у с к и н а. Хороший вопрос, замечательный. Нужный и правильный. Острый и принципиальный. Увы, двумя словами здесь не обойтись — ведь мы наделали-таки делов — но я должна придерживаться регламента. А он довольно жесткий. Жесткий и, я бы даже сказала, шершавый, то-есть... тьфу! — мог бы быть пожестче, то-есть помягче. Что-то я немного запуталась. Все же попробую ответить вкратце, отринув эмоции, на языке сухих фактов. Начну с образования — ну, здесь мы имеем форменный переворот: сменили вывески, изъяли из истории КПСС и теперь у нас вместо совковых, пожирающих души наших детей, школ — повсеместно и благородно лицеи с гимназиями. Большие успехи тоже и в здравоохранении: уже открыта парочка — другая малогабаритных публичных домиков, а скоро — настоящий подарок жителям города — запустим в эксплуатацию целый дворец. То будет роскошный небоскреб с суточным обо-

ротом в несколько тысяч койкомест, оборудованный по последнему слову науки и техники. И, добавлю, гигиены, что немаловажно. Цены доступны. Думается, в самом ближайшем будущем каждый сможет беспрепятственно взойти в гостеприимно распахнутые двери нашего дворца. Где умелые, профессионально обученные мастера своего дела помогут скинуть груз прожитых лет, а то и впервые вкусить сладчайших таинств — и все это без всякого риска для здоровья, в специальном помещении, а не где-нибудь под кустом. Пару слов касательно СПИДа. Поверьте, меры взяты самые решительные. Одноразовых шприцев одних закуплено более миллиона или на миллион, точно сейчас не вспомню. Не говоря уже о... кондонах... Их, наконец-то свободно, можно купить в любом киоске за смехотворную цену! В области культуры — наше несомненное достижение в том, что мы обезглавили порнографическую гидру. Мы просто-напросто ее упразднили, и порнографической гидры, посмевшей было увечить нравственность нашей молодежи, не стало. Осталась здоровая эротика и свободный секс, а ведь это так здорово, ребята! Что же еще в культурной сфере? Ах, да. Свыше нескольких сот новых, с иголки, общественных уборных вступили в строй. А это, в свою очередь, не может не отразиться на самосознании нашего народа, развитии и углублении как самосознания, так и народа в цивилизованном направлении. В плане же социальной защиты (буравит П и - П и взглядом)... О, тут коренные сдвиги. Сдвиги коренные в плане защиты. Социально, и в плане коренных сдвигов, защищаем мы... (*отчаянные взгляды*) что плохо защищено, то и защищаем мы коренным образом...

П и - П и (*сжалившись*). Ангельский у вас голосок. Не говорите, поете просто, как соловей. Слушал бы и слушал, но время... время поджигает. Похлопаем милому мэру за содержательный ответ.

Аплодисменты.

П и - П и. И двинемся дальше. Ну-с, Павлик, дружок, есть и тебе вопросик. Люди желают знать о твоих житейских планах.

П а в л и к (*улыбаясь*). Планы обыкновенные. Поднакоплю денегжат, открою заведение пивное. Тогда заходите, не пожалеете. Обслужим по первому разряду.

П и - П и (*восторженно*). Прелестно! В кои-то веки хозяин ступил на эту беспризорную, обгаженную коммунаками землю. Отраднo зреть, как пробуждается великоросс от спячки. Стало быть, до встречи лет через десять “У Павлина “?

П а в л и к (*улыбаясь хладнокровно*). А может, и пораньше.

П и - П и (*растрогавшись*). Молодец! Молодчага! Дай, обниму тебя, паршивца!

Обнимаются под аплодисменты.

П и - П и. Как-то я тебя все: Павлуха, Павлуха... А ты, вон, оказалось, человек солидный... получается неудобно. Назвался бы ты подробнее.

П а в л и к (*безмятежно улыбаясь*). С фамилией у меня сложно. Мама моя гулявая была больно, потому фамилий у меня много. Был я Морозов, был я Корчагин, а ныне... как его... знатная, мама говорила, фамилья, дворянская... как его... забыл! Как будто бы на букву че.

П и - П и. Жаль. Короткая у тебя, брат, память. А пожалуй, оно и к лучшему — наследственность ведь у всех у вас тяжелая!

Заглядывает в папку и адресует к Л е б я д к и н у.

П и - П и. Побеседуем теперь с вами, почтенный мэтр. Получите стандартный писательский наборчик в полном объеме: зачем и над чем творите? и напоследок, так сказать, на посошок, натурально — о смысле жизни. Куда идти, и с кем идти, и все такое прочее. Неплох вопросец, а? Глобальный. Ну, мое дело маленькое — прочел, спросил, послушал — а вы уж там выкручивайтесь себе, как знаете.

Пока П и - П и разглагольствует, с господином И г р е к, происходит метаморфоза, недавно случившаяся с господином И к с. Его подменяет очередное И н к о г н и т о в маске — всего вероятнее, господин З э т. На метаморфозы эти остальные присутствующие опять никак не реагируют.

Л е б я д к и н (*лениво повертев во рту зуботычкой и непринужденно закинув ногу на ногу*). Отвечу по порядку. Зачем. А зачем порхает бабочка? Зачем, к примеру, сношается кот? Многие беды проистекли в изящной нашей словесности, да и в обществе, вследствие ложного убеждения, что поэт-де у нас больше, чем поэт. Теория сия, будучи приложена к практике, парадоксальным образом ведет к результатам прямо противоположным. Искусство и самодостаточно, и самонеобходимо. И все же некоторые цели лично я преследую вполне сознательно. Не секрет, что культура отечественная в контексте мировой всегда выделялась невинностью своею и чопорностью. Отдельные исключения не следует принимать всерьез, ибо они представляются исключением лишь на первый поверхностный взгляд. На самом же деле — все та же невинность, все та же наивность и все то же младенчество. Вотще вы стали искать бы в культуре нашей фигур, подобных, скажем, монструозному маркизу. Жуткая связь Венеры и Танатоса, inferнальная и мистическая сущность Эроса как такового — вообще остались за рамками родного слова. Впрочем, проблемы эти поднимались в трудах философов Серебряного Века, но философские труды ввиду их рафинированности трудно доступны широким массам. Перефразируя поэта, скажу так: следует привить розу западного менталитета нашему засидевшемуся в девках почтенных лет дичку. Выражаясь грубее, но проще: необходимо старушку дефлорировать. По первому пункту все. Буду краток во втором: закончен и скоро увидит свет роман “Спермосос”.

Сейчас работаю над диалектически продолжающим и развивающим его романом “Говноед “. Хочу только предостеречь читателя: избегайте вульгарной трактовки! В романах присутствует как второй, так и третий план. Скажем, мой говноед — говноед не простой, а сакральный и, в известном смысле, метафизический. Говно (*с вызовом*) — развернутая метаметафора и, если угодно, прорыв в бесконечность. Последний вопрос — из ряда “проклятых “. Изложу свою позицию. Абсурдность бытия вытекает из его конечности; конечность эту нужно преодолеть. Как? Естественно, абсурдом же. Поправ Хаос и Логос, добыть себе Свободу и на ее плечах ворваться в Беспредельность! Право, заманчиво! Но поясню примером. Потребуется, впрочем, фетиш-другой. (*К у ш к у с к и н о й*) Позвольте, дорогуша, нательный ваш крестик (*простирает бестрепетную длань в направлении весьма выдающегося бюста*).

К у ш к у с к и н а (*кокетливо отпрянув*). А зачем?

Л е б я д к и н (*сухо*). Для опыта. Эстетика шока и последствия.

К у ш к у с к и н а (*томно*). Вы интригуете меня... интриган. Натe, возьмите (*снимает крестик*).

Л е б я д к и н. Мерси-с. Другая необходимая компонента — любой документ, удостоверяющий личность. Шоферские права, паспорт — а лучше всего партбилет. Понятно, иные времена, иные нравы, но, может, у кого найдется добрый старый билетец члена КП...(*к Ч е л о в е к у в м а с к е*) Товарищ и-краткий, вручайте, а то полнейший зарез.

Ч е л о в е к в м а с к е (*чеканя слоги*). Гос-по-дин! Гос-по-дин Зэт. Шутки твои, Лебядкин, здесь не совсем к месту. Как бы они, шутки эти, тебе же боком бы и не вышли. Не забывайся, Лебядкин. Знай свое место, Лебядкин. Должен понимать, с кем разговариваешь.

Л е б я д к и н (*покладисто*). Простите, погорячился.

Ч е л о в е к в м а с к е (*смягчившись*). То-то, погорячился. А если я горячиться стану, тогда что? Ладно, к искусству из любви, пособлю тебе...

Щелкает пальцами, чем вызывает известных нам д ю ж и х п а р н е й и тихо наставляет их. П а р н и исчезают и сразу возвращаются; у каждого в руке по красной книжице — их передают хозяину и ретируются.

Ч е л о в е к в м а с к е. Держи — целых два.

Л е б я д к и н. Два! Вот русские размах и щедрость. Покорно благодарю. Дамы и господа! Сосредоточьтесь, следите за мной! Кладу крест сюда. Так. Кладу партбилеты — слева и справа. Так. Готово. Излив теперь на все это животворное семя, взорву привычные табу и вектор вашей экзистенции пронзит границу материального.

Недвусмысленно тянется к молнии на штанах, но

П и - П и стремительно перехватывает его руку.

П и - П и. Пожалуй, довольно будет и мысленного эксперимента. А вы,

господин Лебядкин, оригинал, оказывается. Эко залудили. С вашими парадоксами недолго, хе-хе, и в пароксизм впасть. Ну, присядьте, отдохните — выступление ваше ведь было довольно насыщенным. А мы дадим слово господину Констриктор! Господин Констриктор! Вы склоняетесь? В смысле, фамилия ваша... Нет? Значит, я правильно сказал вначале. Вам вопрос самый животрепещущий: что с реформами? Этим обеспокоены все без исключения слои населения. Пожалуйста, профессор, раскройте нам глаза пошире.

К о н с т р и к т о р (*Человеку в маске, с ударением на первом слове*). Мне отвечать, господин Зэт?

Человек в маске. А то кому? Не мне же? Валяй, жми.

К о н с т р и к т о р (*покорно*). Ну что ж. (*с неестественной бодростью*) Ситуация, врать не стану, сулит в перспективе процветание для всех. На ближайший месяц прогноз таков: в масштабах страны мероприятия по стабилизации вероятны в области финансов, транспорта и средств связи, а также в рабочих коллективах. Политическая жизнь обещает быть весьма интенсивной. Ответственные периоды с 1 по 6 и с 17 по 31, когда вероятность ошибок самая большая. А наиболее опасны с точки зрения пожаров, аварий и дорожно-транспортных происшествий дни с 15 по 25. Новолуние — 4; полнолуние — 18. Луна в перигее — 16. Если же входить в подробности, то, допустим, для Козерога все же месяц не будет отличаться стабильностью. Деньги достанутся ему с трудом, зато повезет в любви, исключая период с 14 по 20. Не то Рыба: здесь, напротив...

П и - П и. Превосходно, профессор. Но мы выбиваемся из графика. Посему — что там у нас дальше на очереди? (*зачитывает из папки*) Признаете ли вы факт “утечки мозгов”? Вообще ваше мнение по этому поводу.

К о н с т р и к т о р (*разводя руками*). Есть такая проблема. Знаком с нею непонаслышке, изведаль собственную шкуру. Бывалоча, засидишься за неотложными делами заполночь... (*рассеяно*) и прямо чуешь нутром: мозги-то... того... текут куда-то и текут... куда? зачем? (*философски*) Кто знает. (*вдруг осерчев*) Я не знаю! Не знаю и точка. Пристали всякие: почему да отчего? зачем то? зачем се? Мозги покоя не дают им, судьба реформ их занимает. Хотя, кажется, и ежу понятно: свободы не может быть без рынка; а полурынок — это абсурд, бред, нонсенс и яперс. Все равно что беременная наполовину женщина! Зато, полуживым наполовину быть наука не возбраняет. И полумертвым. Так что, нечего впадать в фрустрацию, протрацию... флукутацию и менструацию — а надо работать. Признаюсь, с народцем нам не повезло. Но выбирать не приходится. Ну что они все ноют!!!

П и - П и (*ласково*). Не напрягайтесь, доктор. Не кипятитесь. Мы сейчас, знаете что? Возьмем у него и спросим, у народа, прямо спросим: чего же ему не по ндраву. Недаром мы пригласили в студию среднестатисти-

ческого, как говорят, представителя. (*сложив ладоши рупором, командует в сторону кулис*) Ввести исполнина!

За кулисами давно нарастает загадочный шум. Сейчас он резко усиливается.

П и - П и (нервничая). Вводите же!

На сцену просачивается густая темно — красная жидкость. Теперь и на сцене многие заголосили, но не все. Истерические выкрики перемежаются замечательно спокойными репликами.

Г о л о с а

— Что это!!

— Кровь?

— Кровь!!

— Проклятые быдла! Не усидели!

— Человек! Шампанского!

— Ах, мне дурно, мне дурно!

— Бывает, кисуля, когда перекушаешь. Животик и сведет. Позвольте, пуговичку...

— Прими лапища, говноед!

— Вонючие рабы. Лишь бы не работать!

— А ты не очень-то кукарекай, дура.

— Убрать немедленно эту мерзость!

— Беснуется люмпен... а нам-то что? Отведайте-ка лучше рябчика...

— Разлил какой-то болван бочонок с клюквенным соком...

и т. д. и т. п.

Между тем порядок постепенно восстанавливается усилиями тех же все плечистых мужичков из окружения Инкогнито в маске.

П и - П и (*полностью овладев собою*). Прошу прощения, дорогие телезрители: случилось недоразумение. Горе-работнички (*жест большим пальцем через плечо*) переборщили чуть с этим делом (*выразительный щелчок по шее*), что-то там разбили, пролили... отрывка, словом, социализма. Но все позади, и посему вернемся к нашим баранам. Не поймите, впрочем, буквально. (*возвысив голос*) Входи, Ванюша! Не смущайся! Аплодисменты, господа!

Туш. Под музыку важно выступает на сцену Загорелый Тип в шортах и рубашке с короткими рукавами. Лицо совсем нерусское.

За собой ведет поросенка на поводке.

Исключая П и - П и, все в некотором замешательстве.

П и - П и (*в экстазе*). Черт возьми, это по-русски! Ваня, широкая душа, и корешка с собою прихватил. Милости просим! Нежданный гость, как говорится в народе, хуже... нет, лучше... ааа, понятно, короче.

(к поросятку). Но познакомил бы с товарищем, Иван, а то приличия...
(Загорелому) Господин?.. Сэр?.. Мистер?..

Загорелый (с тем еще акцентом). Не есть вашно. Што вашно Ванья
ошень застенчив... да. Просиль помош... вы делай ваш вопрос.

Благодушие за столом. Хихиканье, тосты под сурдинку.
Лишь один Лебядкин недовольно кривит губы и бормочет.

Лебядкин. Грубовато... аляповато...не тот Федот, болваны. Впрочем,
суть схвачена...

Пи - Пи (любезно). Делаю свой вопрос, извольте. Как, Ваня, настроение?
Как служба? Доволен ли всем? Не обижают ли? А то пожалуйся.

Поросянок. Хрю-хрю.

Загорелый. Мой друк Ванья много смушон и я сказала за ней: окей,
польный почти окей, но дайте Ванья крошка ням-ням и капель попить и
будет зовсем окей.

Пи - Пи. В момент устроим.

Кидает объедки со стола. Поросянок с благодарным хрюканьем
кидается к ним.

Пи - Пи (Загорелому). А вас прошу к убогому нашему шалашу —
акриды здешние не бог вещь что, естественно... уж не обессудьте.
Чем богаты...

Загорелый (с достоинством). Окей.

Присоединяется к компании. Некоторое время застолье идет своим чередом, но
вскоре явление Президента обрывает плавное течение его. Все поспешно
вскакивают (за вычетом Поросянка и Загорелого). Президент,
с каменным и вместе медным (такое возможно) ликом, обводит собравшихся
мутным взглядом маленьких свиных глазок и внезапно начинает истово
креститься на люстру. В какой-то момент замечает Поросянка под ногами
и, не переставая креститься, пинает животное.

Президент. Развели, понимаешь, свиней!

Поросянок уносится с жалобным визгом.

Президент (кланяясь в пояс). Люди русские! (с трудом выпрямившись).
Россияне!

Делает шаг вперед, раскрыв объятия, но ступает в лужицу (в суматохе уборку
произвели не очень тщательно) и поскользнувшись, падает. Прежде чем кто-либо
еще успевает пошевелиться, вылетевшие молотобойцы —
клеветры Человека в маске — придают туловищу вертикальное
положение и далее бережно поддерживают его под локотки.

Президент (подобен запиленной пластинке). Люди русские!..

Пауза. Смотрит на Загорелого и, морща лоб, что-то мучительно

соображает.

Президент. А так же, взять глобально, сэры и пэры. Люблю, когда глобально. Важные новости, господа: Америка поможет нам. Со всей ответственностью. Глобальным буду, мужики! Я был там и пил мед с пивом. Всяким сплетням — не верьте. Я трезвый был, то-есть в дребадан был трезв. И помню все. Помню, подали рыбу. Называется: ла-бар-дан. При том, что Буш объелся груш. Тут и началось: чистый Карабах-Барабах! Но — тсс! Из дипломатии я умолчу. Опосля — дают Вермут. По прямому проводу. Саша позвонил. Ну, что, говорю, брат Саша? Да так, говорит, все как-то, брат. Поговорили душевно.

Пауза. Президент манит пальцем Пи - Пи.

Президент. Подойди сюда, баушка. Подружка дней моих суровых. Голубка гнусная моя. Споем-ка нашу, русскую (поет, а Пи - Пи подблеивает). Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...

В сей миг, все заглушая, со страшным скрежетом и лязгом из-под потолка на цепях спускается хитроумное приспособление, из коего выплывает в ореоле слепящего света Шаробразное Существо.
Немая сцена.

Существо (*грозно*).

Приблизьтесь, упыри.

Терпение мое иссякло. Час ваш пробил.

Анчутки дерзкие. Сойдете днесь Аида царство.

Паника. Вопли и визги.

Голоса.

— Ай! Оно ужалилось!

— Прочь, чудище!!

— Нет! Нет!!

— Ой! Да что же это!

— На помощь! Караул!

— Не буду больше!

— Не погуби! Живота!

— Оно дерется!

— Полиция! Режут!

и т.д. и т.п.

Свет, исходящий из Существа, зело не люб нашим уродцам. Они извиваются и корчатся. Наконец, лучи пронзают их. С шипением и свистом выходит воздух. Тела морщатся, опадают — и скоро остаются от них только резиновые тряпочки, в беспорядке разбросанные там и сям.

С у щ е с т в о (*уныло, сияние его заметно меркнет с каждым словом*).
Полуношный морок истаял?.. Слишком просто.
Оставьте розовые сны. Мечты напрасны:
Тщетно, себя и Бога позабыв, вы ждете чуда.
Так пробуждайтесь. Может быть, еще не поздно
Воспрянуть ото сна...

Во время этого последнего монолога на сцене вновь собираются знакомые нам лица в полном комплекте. Как всегда, пьют. Как всегда, жрут. Как всегда, точат лясы. Теперь С у щ е с т в о потешает их, но не долго. Кто-то метко пускает в него бычком. Подобно воздушному шару, С у щ е с т в о с треском лопается. Взрыв общего хохота. Занавес медленно опускается, а они все хохочут.

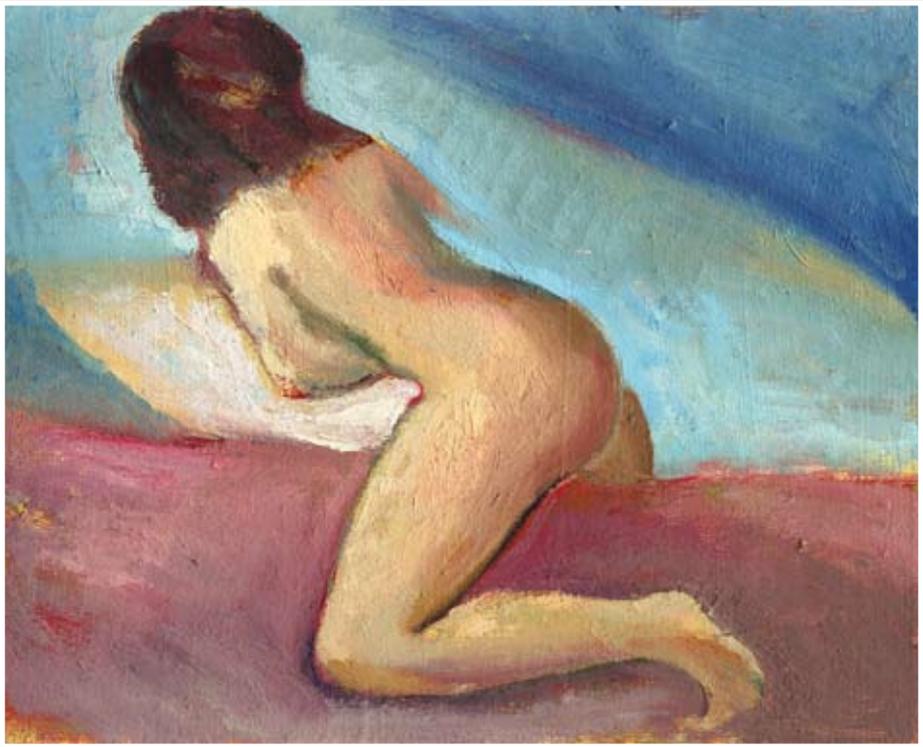
Москва июль — август 1992 г.

КОНЕЦ

Александр МАТЕВОСЯН
ЖИВОПИСЬ







Ню / Пейзаж (фрагмент)



Красная машина

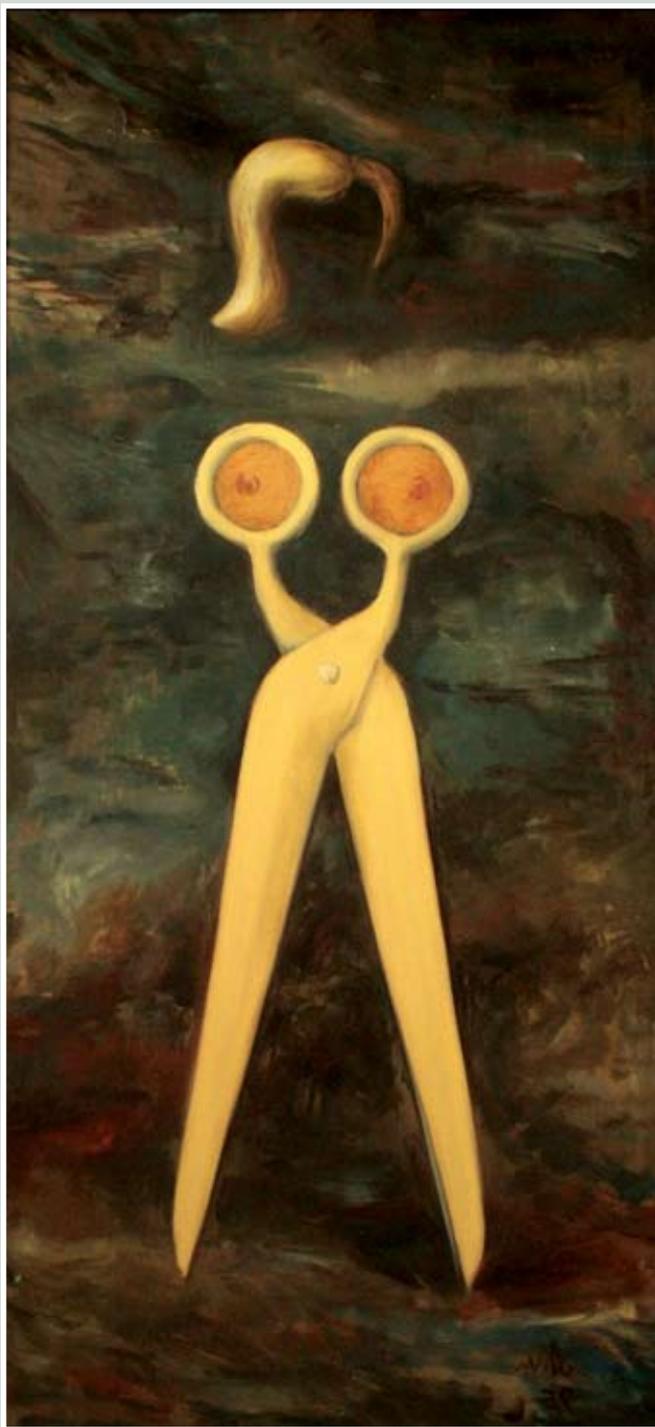


Обелиск

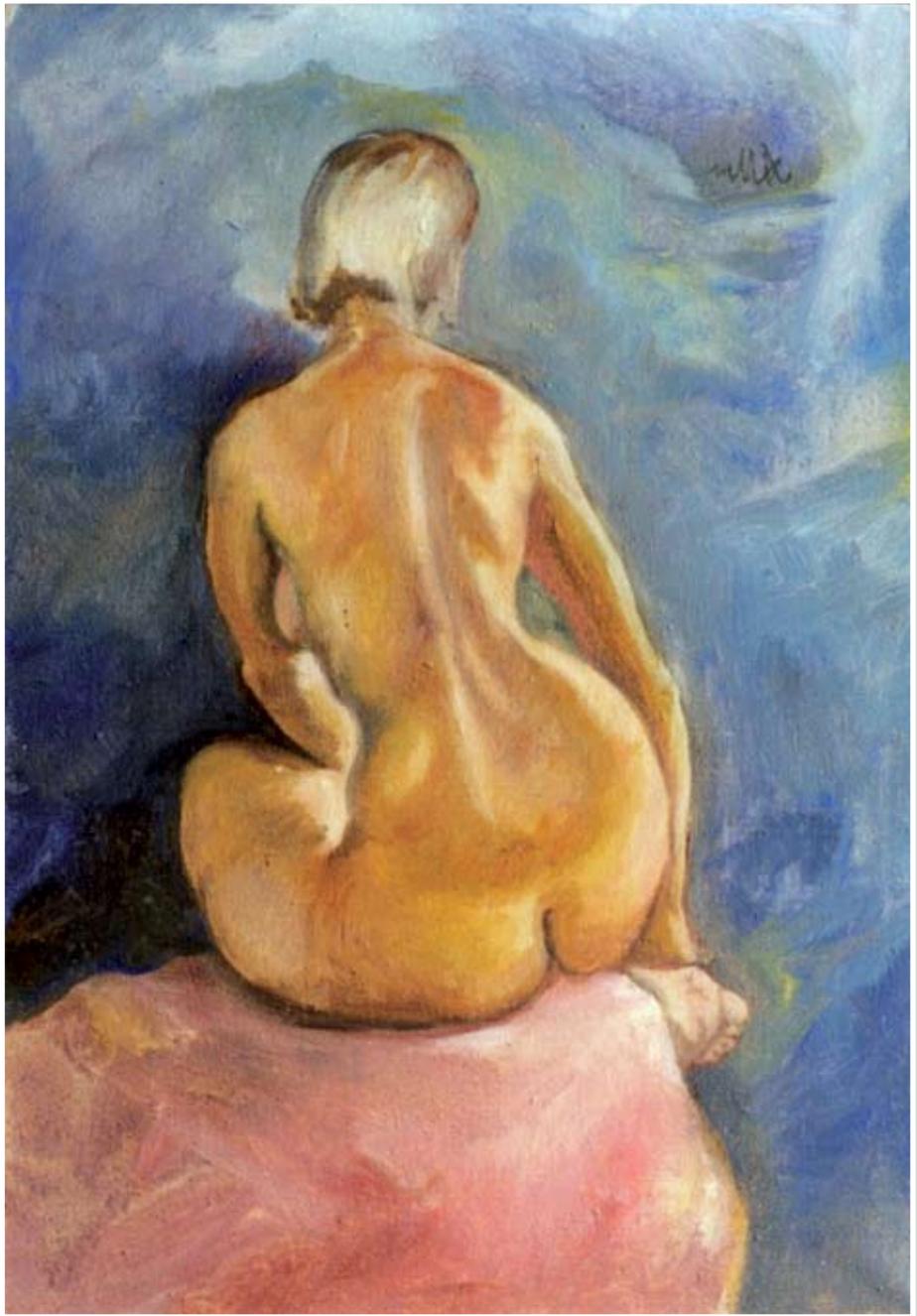
V



Леда
VI

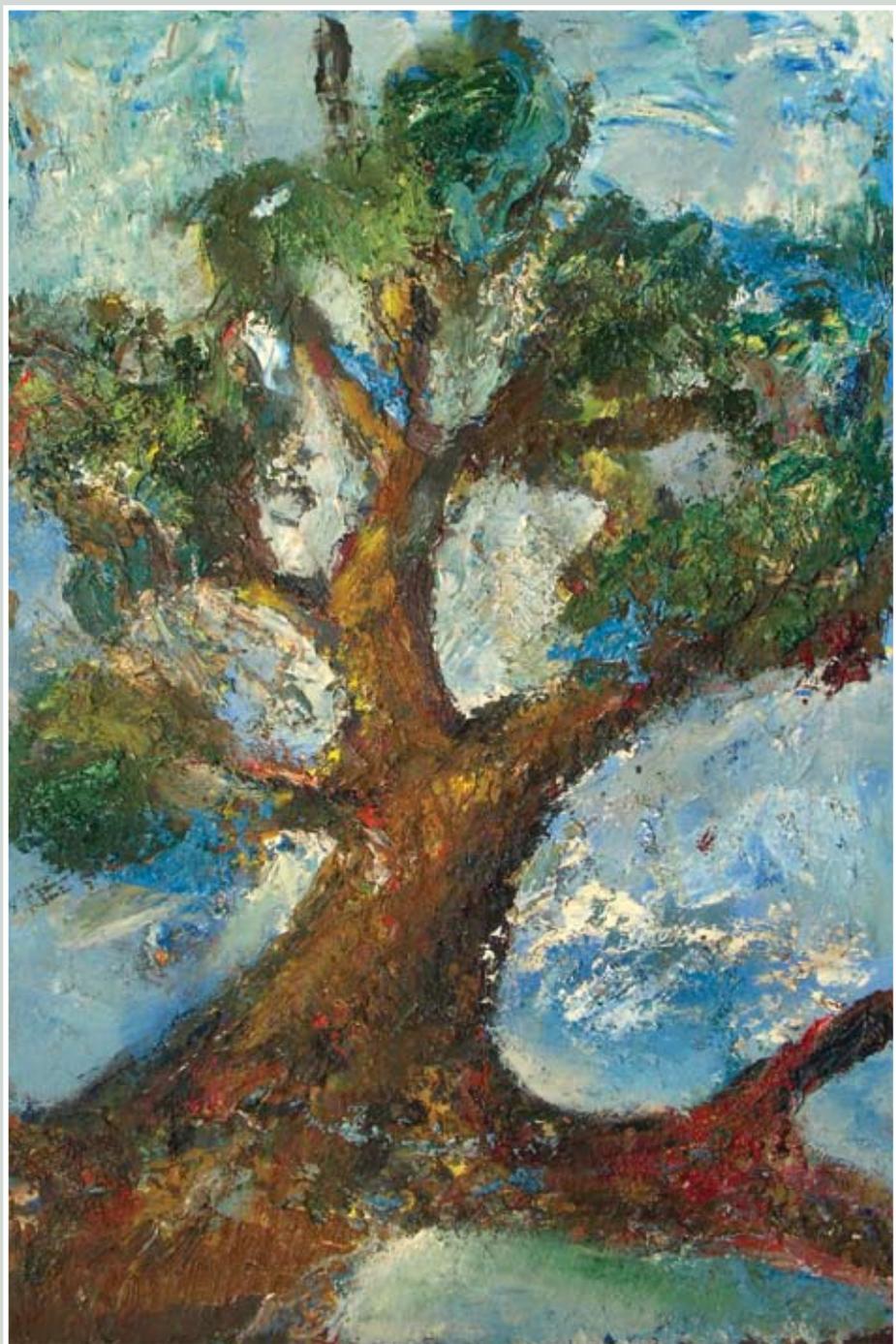






Ню на розовом камне

IX

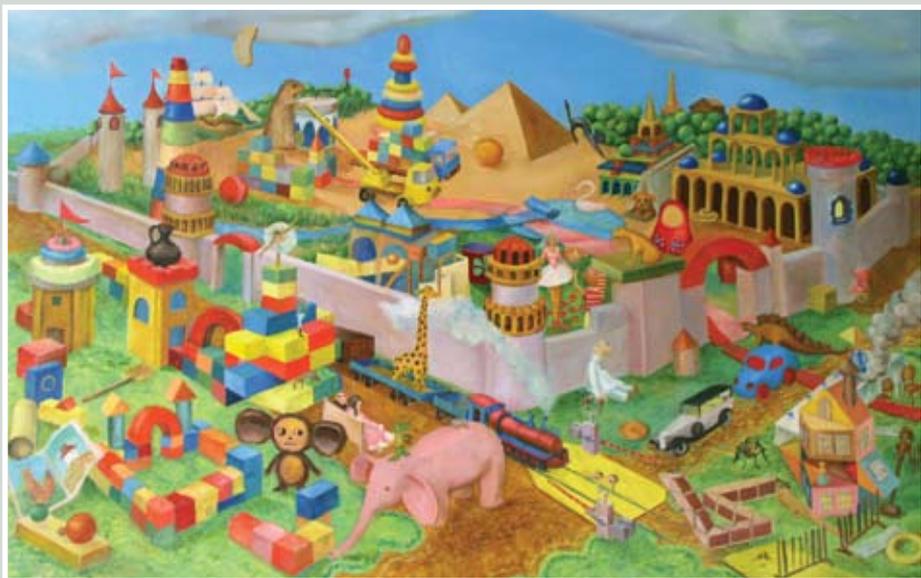


Дерево



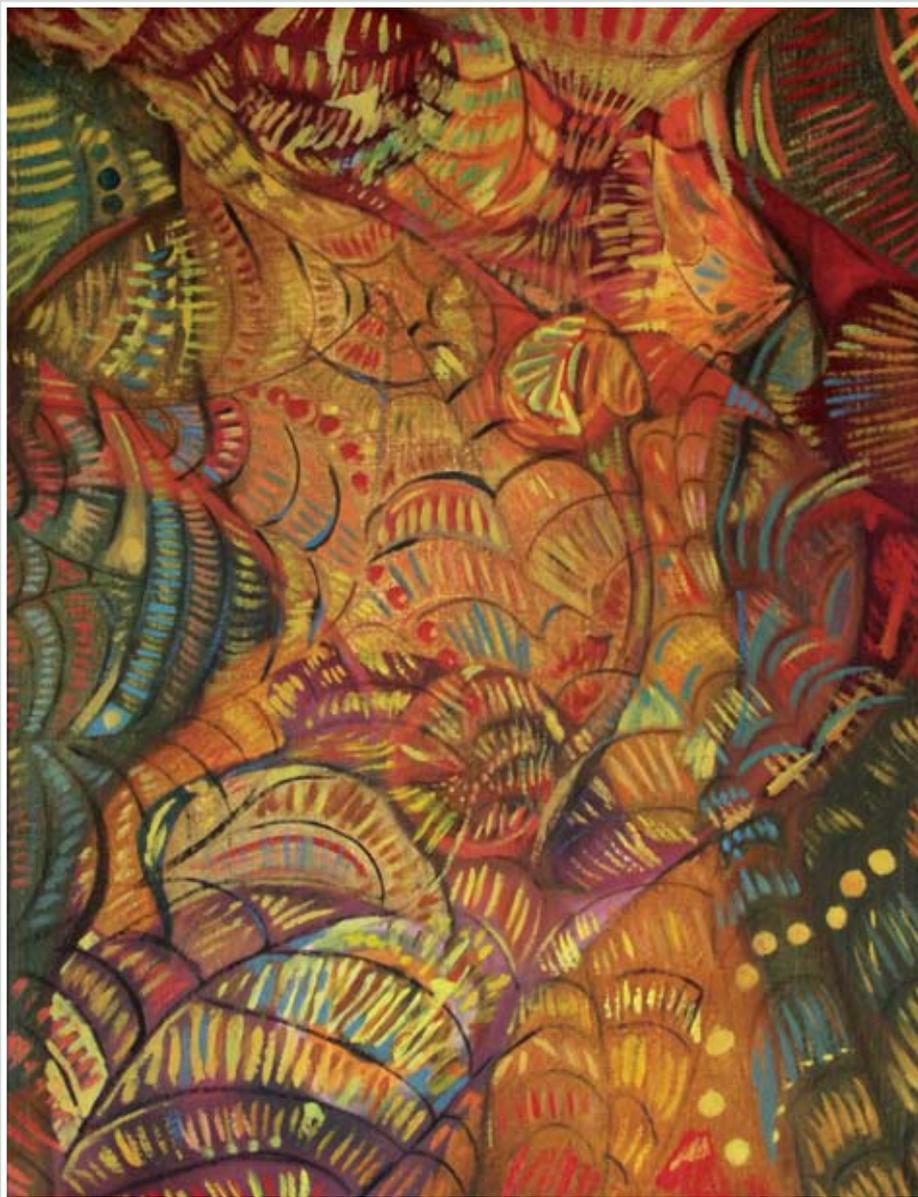
Археология

XI



Пейзаж с красным шаром / Город







Смятение

XV

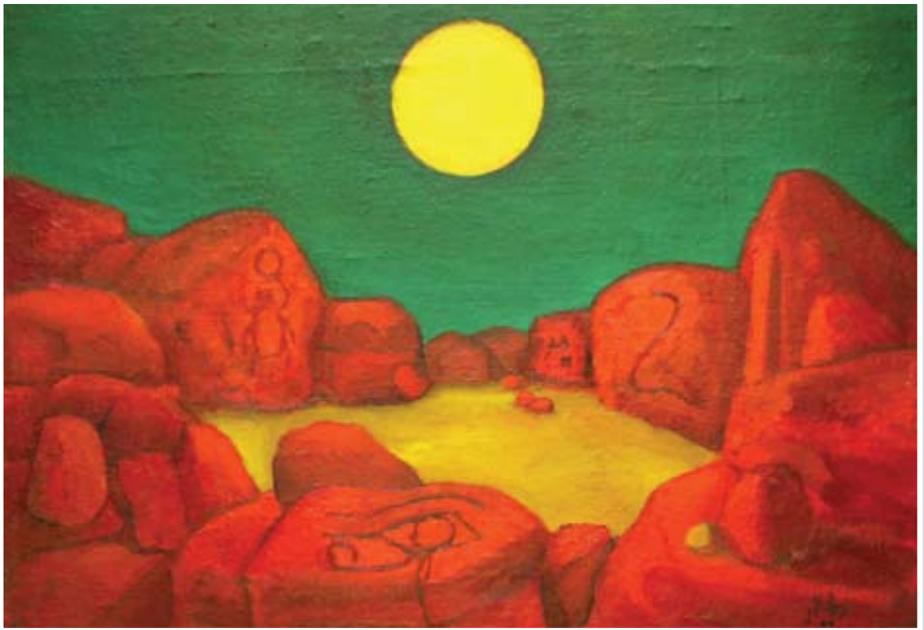




Полет шмеля / Даная
XVII



Царевна-лягушка / Лекало



Леся и Зап / Красные камни



Тарелки
и нож
XX



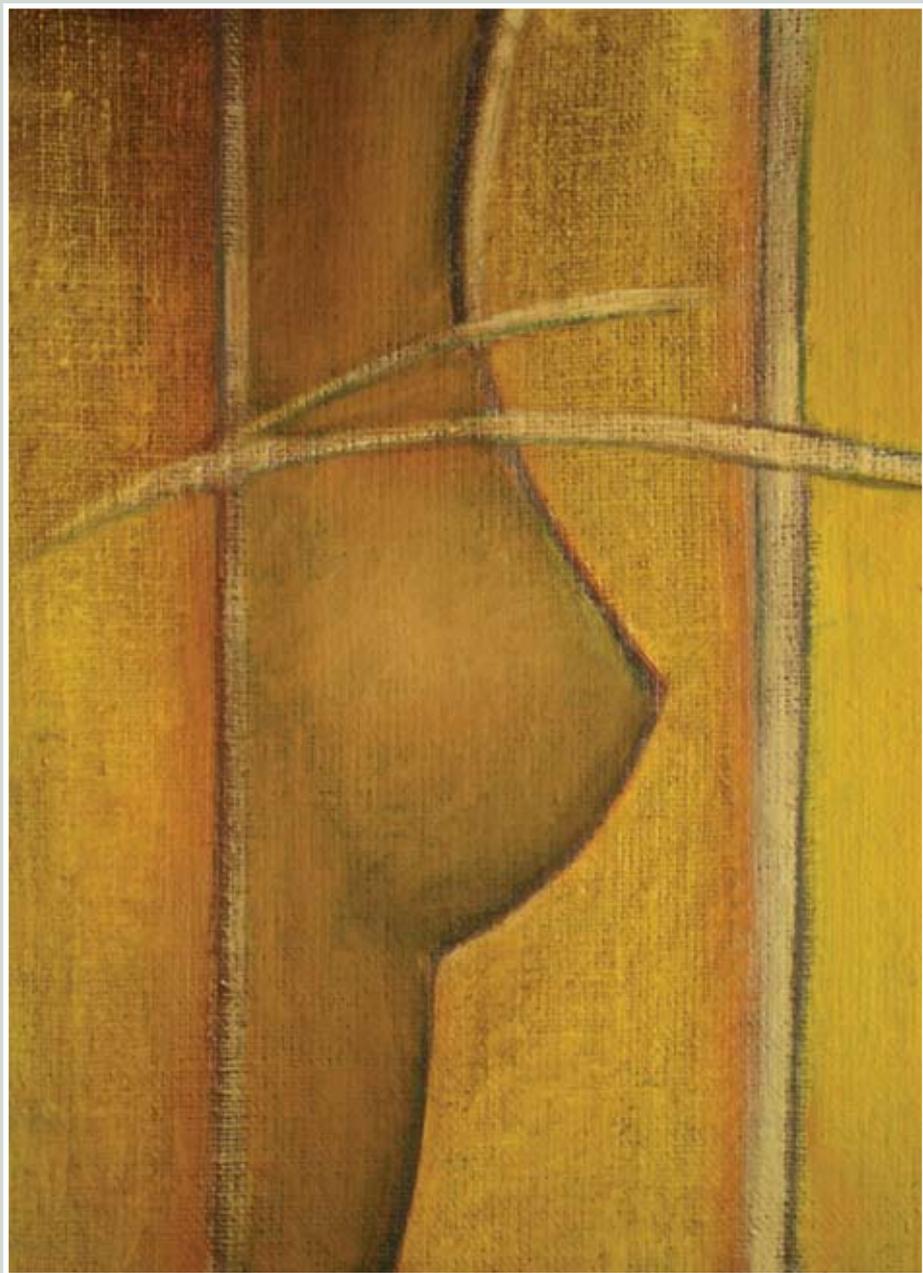
Ворота / Надежда



Дерево
XXII



Окно
XXIII

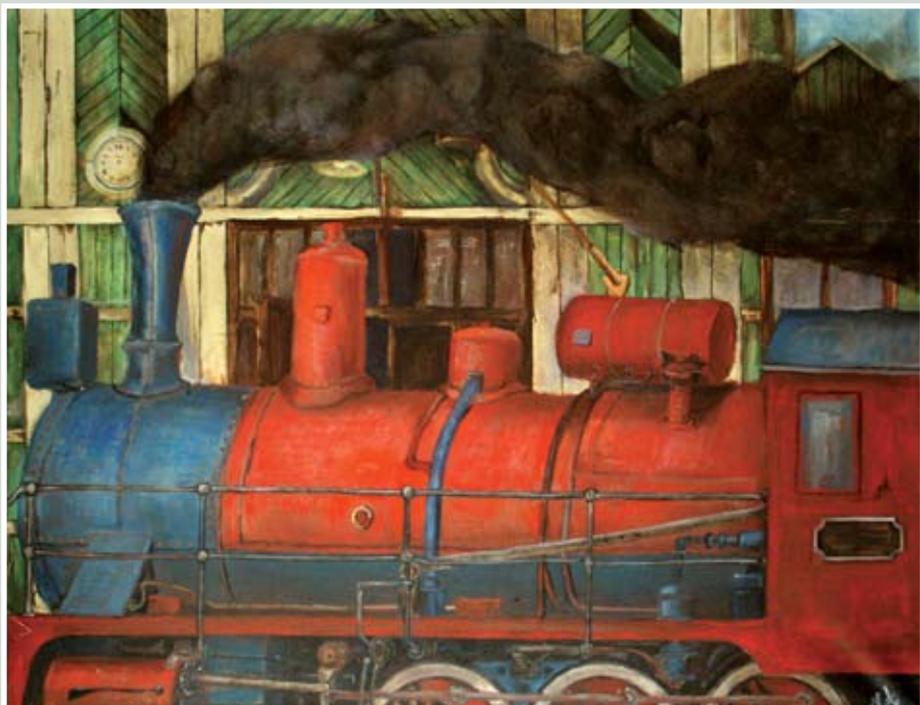


Две линии
XXIV



Желтый уголок

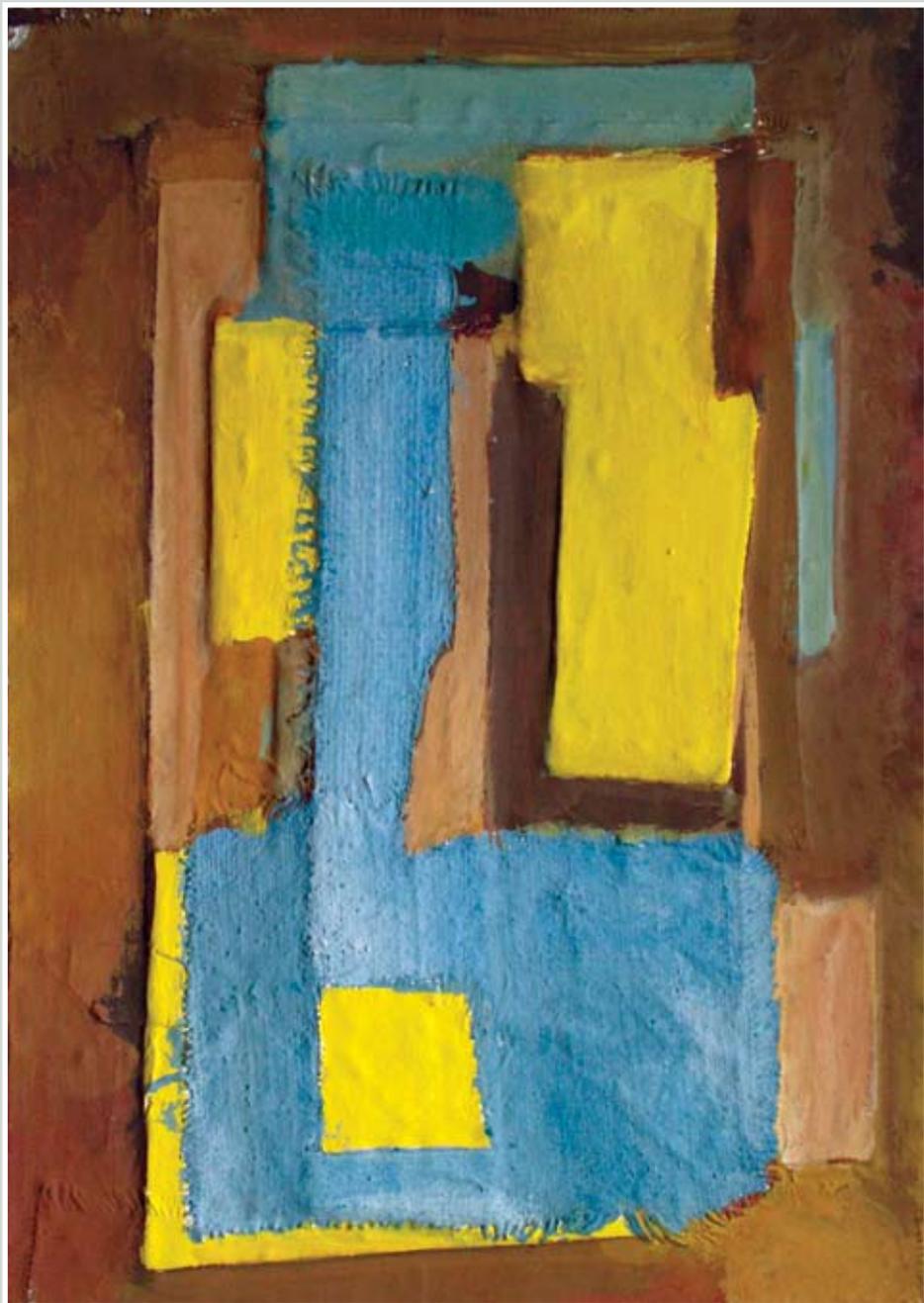
XXV



Красный паровоз / Последний путь
XXVI



Паровоз / МВ
XXVII

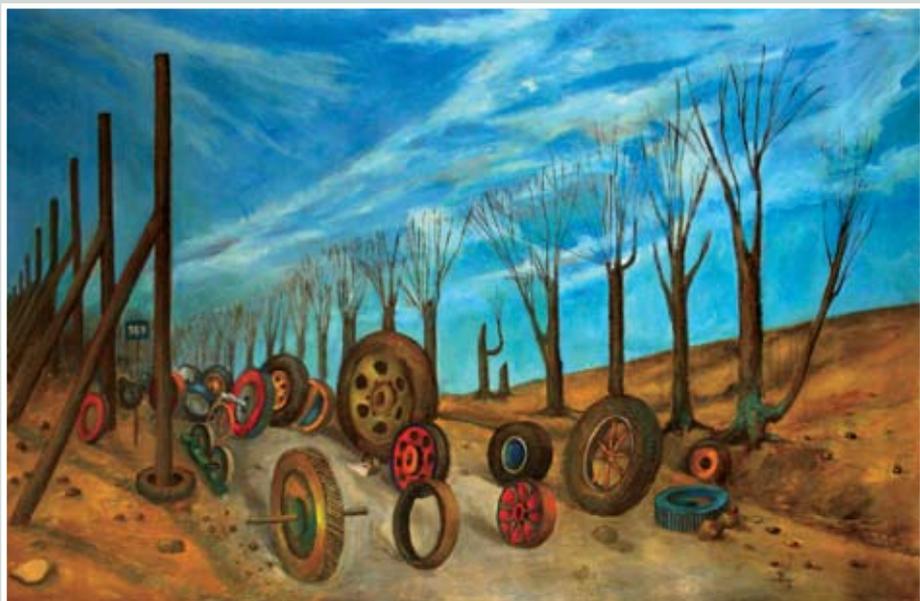


Диптих (левая часть)



Диптих (правая часть)

XXIX



Колеса / Труба
XXX



Памятник

XXXI



Кода